



ГОСУДАРЬ
РУСИ ВСЯНКОУ

ЛЕВ
ЖДАНОВ

—♦—♦—♦—
ТРЕТИЙ
РИМ

ГОСУДАРИ
РУСИ ВЕЛИКОЙ



ЛЕВ
ЖДАНОВ

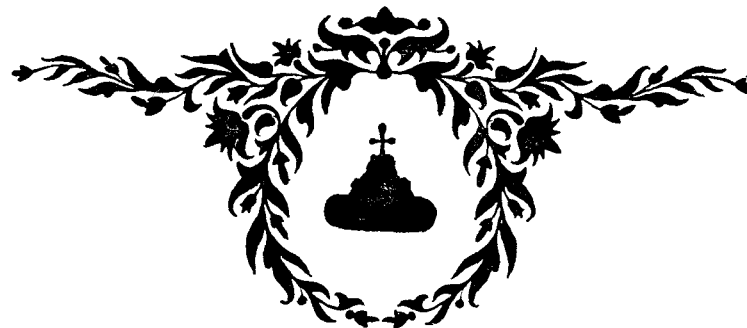


ТРЕТИЙ РИМ

Романы

Москва
«Современник»
1995

БК 84РІ
Ж 42



Серия основана в 1991 г.

Ответственный редактор серии *В. А. Серганова*

Текст печатается по изданиям:

Жданов Лев. Собр. соч. Исторические романы: В 12 т.

Спб.: Прометей, 1912—1917. Т. 9, 10

Жданов Лев. Во дни Смуты. 1610—1613 гг. Спб.; М.:
Освобождение, 1914

ТРЕТИЙ РИМ

Генеалогические древа и годы княжений и царствований на форзаце даются по «Иллюстрированной хронологии истории Российского государства в портретах» (Спб., 1909)

Жданов Лев

**Ж42 Третий Рим: Романы.— М.: Современник, 1995.—
576 с.— (Государь Руси Великой).
ISBN 5-270-01872-1**

В книгу вошли три романа об эпохе царствования Ивана IV и его сына Федора Иоанновича — последних из Рюриковичей, о начавшейся борьбе за право наследования российского престола.

Первому периоду правления Ивана Грозного, завершившемуся взятием Казани, посвящен роман «Третий Рим». В романе «Наследие Грозного» раскрывается судьба его сына царевича Дмитрия Угличского, сбереженного, по версии автора, от рук наемных убийц Бориса Годунова. Историю смены династий на российском троне, воцарение Романовых, предшествующие смуту и польскую интервенцию воссоздает роман «Во дни Смуты»

Ж 4702010201—023
М 106(03)—95 Без объявл.

ББК 84РІ

ISBN 5-270-01872-1

© Б. Н. Чупрыгин, оформление, 1995

Часть I

ДЕТСТВО ЦАРЯ

(ВМЕСТО ПРОЛОГА)

Глава I

ГОД ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА 7034-й (1526)

Чудный осенний день почти на исходе. С ясного, прозрачно-синего неба ветер согнал последнюю тучку из их не-
сметного полчища, которое чуть ли не две недели скрывало сияющий лик солнца от земли. И теперь лучи его — ласковые, нежащие — не жгут, как летом, только пронизывают все: и поределую листву дремучих лесов, которые с северо-запада подбежали почти к самым стенам дивно обновленного древнего града Москвы, и ветви одиноких, старых деревьев, которые кудрявятся в тенистых садах. А сады с огородами обступают повсюду обширные боярские жилища в самом Кремле и дома посадских да торговых людей. Посады эти московские широкой, темной, неправильной полосой деревянных строений бежали, словно подковой обогнули, Кремль и легли вокруг твердыни, высоко поднимающей теремные и бойничные башни и золоченые главы церквей на крутом прибрежном холме. Золотыми, тонкими стрелами сыплются с неба лучи, пронизывают сквозные бойницы башен крепостных и узкие оконца церковных куполов, осеняющих новые белокаменные храмы московские. То загорится блик света на кистях красной, спелой рябины, что перекинулись, свесились через садовый забор, над грязной колею, в переулочке узком, и без ветерка колыхаются, ждут лишь первых заморозков, чтобы «дойти»... То скользнет лучом своим солнце и отразится в широкой подорожной луже, блестящей и гладкой, как зеркало, не взбаламученной сейчас ногами прохожих или рябью от ветерка... И загорается зеркальная лужа, а зайчики от нее играют на соседней темной и мшистой стене и на темных дулистых стволах. Это липы столетние, как часовые, стоят в соседнем саду за надежным тыном, за пальями острыми.

Даже в мрачные извороты и закоулки торговых рядов ухитряются заглянуть осенние ласковые косые лучи в этот предвечерний час...

И среди затихающего торгового гомона и говора, среди суеты человеческой, которая так и кипит всегда в проходах между ларями, лавками и палатками, чем-то чистым и неземным отблескивают заблудившиеся золотистые нити лучей, скользящие по выступам бревенчатых строек, по щелистым рядам дощатых балаганов.

Усталые, мрачные или озлобленные лица людей, на которые падают ненароком лучи, сразу светлеют, словно проясняются внутренним светом. Морщины сглаживаются, брови распрямляются; невольно перестают хмуриться и торжники, и смерды, и господа, — всякого звания люди, — и с улыбкой произносят:

— Эка... и денек же нынче выдался... краше летнего!

Словно воспрянув силой и духом, живее берется каждый за ту же работу, которую так вяло выполнял за минуту перед тем, лишь бы довершить обычный дневной свой урок.

Особенно щедро осыпан лучами, обогрет теплом высокий детинец московский.

Радостно сияют золотые главы церквей... Высокие звонницы облиты солнцем...

И печально, мерно несется с этих звонниц какой-то необычайный, словно похоронный перезвон.

Заслыша редкие, протяжные удары тяжело гудящих больших колоколов, москвичи кто просто осеняет себя широким крестом и шепчет:

— Помилуй и спаси, Господи... защити достояние Твое!

Другие же обращаются к знакомым и незнакомым с тревожным вопросом:

— Что прилучилось? Али негаданно помер кто на княжьем дворе?..

— Помер?.. Не помер, а все едино; даже хуже... Постриг великой княгине дают... Ай не слышал?.. Не тутошний?..

— Не! Слышать-то слышал... Да все не верилось!.. — отвечает вопрошающий и молча, тоже осеняв себя крестом, проходит дальше.

Во всех кремлевских церквах — соборных и монастырских — началось служение. В набегающих сумерках, под сводами храмов причудливо сверкают бледные, призрачные сейчас огни паникадил и лампад и свечей у киотов... Где в окна сильнее ударяет свет погасающего дня, там огни, зажженные руками людскими, кажутся совершенно умирающими, бесцветными, беспламенными. Только в более темных углах, в приделах, за колоннами багровое пламя светилен

бросает трепетные полосы света и теней на все вокруг: на золотое и серебряное сияние венчиков у икон, на дорогие самоцветы и молочно-белую низь жемчуга, обрамляющего темные лики вместо окладов.

Душно, мрачно... и полутьма царит в обширной горнице, где совершается пострижение во инокини великой княгини Соломонии, двадцать долгих лет безупречно и мирно прожившей с великим князем Василием Ивановичем всяя Руси.

— «Неплодную смоковницу — посекают и измещут из вертограда!» — изрек покладливый митрополит Даниил, а за ним все духовенство и весь синклит боярский.

Попы и бояре знали, что если властительный Василий спросил их совета в таком важном и близком ему деле, как развод, то, значит, заранее решил, понял неотложность и необходимость этого поступка и только согласия требует, а не ждет возражений ни от кого.

Отговорить князя?

Пожалуй, оно и можно с умом. Да кого-то еще из братьев княжих после смерти Василия нанесет на трон?

Андрея ли, Юрья ли — оно, пожалуй, все равно. У каждого своя дружина, свои отцы духовные...

Там что-то еще будет впереди, а боярам Васильевым и митрополиту Даниилу вовсе не плохо живется теперь, хоть и крутенок порою князь.

Объявленный наследник — брат — сейчас же, конечно, начнет мешаться во все... А при том повороте дела, какой сам князь надумал, когда-то еще новая свадьба, когда-то еще Бог сына пошлет!.. И пойдет себе покуда все по-старому, по-бывалому...

И успокоили близкие люди совесть княжью; порешено было дело. И свершилось.

С тяжелым сердцем сидит князь у себя в горнице... слушает звон похоронный, что мерно несется над Москвой; сам думает:

«Не мертвую хоронят, живую... Стольколетнюю любовь мою... Как мирно-то прожили... Кроткая ведь, тихая была... Терпела все... Даже любовь мою к Елене... Все прощала... Чем виновата, что Бог ее посетил бесплодием?.. Да ведь и царство мое не виновато, тоже надо сказать!.. Отцы и деды и я сам — на то ли кровь свою и ближних и вражескую кровь ручьями лили, ночей не спали, зной, стужу выносили, чтобы все теперь братьям али племянникам все отдавать?

Нет, не будет того!.. Братья и своих уделов не умеют устроить! Где же им на Москве быть?..»

И смахивает князь невольные слезы, набегающие на глаза.

Внутренним взором, минуя тесные, кривые переходы и лесенки теремные, проникает он в большой, низкий покой с окнами в глубоких амбразурах, похожих на бойницы, где идет обряд пострижения.

Много здесь народу столпилось, все ближние люди и бояре Васильевы, в полном наряде.

Тут и престарелый Иван Кубенский, князь, свояк государев, женатый на двоюродной сестре Василия; и Воронцов, тезка княжой, Василий Феодорович, чей предок Тодор Воронец двести лет тому назад приехал от Варяжской земли на Русь... И доселе еще по обличью видно, что не славянин по роду князь Иван: темноволосый, быстрый, сухой весь...

И брат его здесь, Данилка. Князь Дорогобужский с ними же... И Феодор, князь Овчина, роду Телепневых-Оболенских. Пониже старика местом, — красуется дородный, статный, пригожий, кровь с молоком, — родной сын его, юный княжич Иван Феодорович. Этого особенно любит великий князь. И много помогал он государю в сближении с намеренной новой супругой, красавицей литвинкой, Еленой Глинскою.

Вельможный князь Бельский Иван, ближний и родич, и слуга царский, стоит чуть поодаль от всех. Видимо, тяжело князю глядеть на все, что сейчас происходит перед глазами. Но кроткий и справедливый боярин чтит волю цареву и пришел, поневоле глядит. Пальцы порою готовы ухватиться за рукоять широкого боевого меча, но тут же молодой, горячий воин вспоминает, что не в доспехах, а в боярском наряде, безоружным явился он на эту печальную церемонию.

Нет среди этих вельмож одного из главнейших, князя Семена Курбского.

Не склонился князь безмолвно перед решением государя и приспешников его, настойчиво уговаривал Василия: не гнать от себя кроткой, святой женщины, ничем не повинной перед мужем.

И заплатился вечным изгнанием за свое правдолюбие.

Хуже еще досталось Вассиану, иноку Симонова монастыря, родом Гедиминович, а из семьи Патрикеевых.

В миру звался иннок князем Василием Ивановичем, по прозванию Косой. Пылкий, прямой, истый державный Гедиминович по крови, первую опалу снес он от Ивана III еще в

1449 году, когда примкнул к сторонникам юного внука великокняжеского, Дмитрия, — грудью стал против новшеств гречанки Софии Палеолог, вступился за старый наследственный порядок, за права дружины княжеской, которым грозил урон.

Желая на ближних явить пример строгости, Иван III и Василия Косого, и отца его, Ивана Патрикеева Большого, велел постричь.

Первый в совете и на войне, Василий захотел одним из первых остаться и при своем невольном монашестве: принял схиму и удалился от мира; в глухой пустыне старцем-молчальником заперся на много лет. Оскорбленная гордая душа решила порвать всякое общение с греховным миром, где не дали простору смелым порывам ее.

Прошли года. Воцарился все-таки Василий Иванович. Венчанный княжич Димитрий Угличский был заточен, долго томился в темнице, а потом, по приказу бабки, и удушен там без огласки.

Воцарившийся великий князь Василий Иванович, сведав про святое житие родича своего Вассиана, забыл старую вражду, вызвал его в Москву и поместил в Симоновом монастыре, часто прибегая к нему за благословением и советом. Не изменился прямой характер инок Вассиана. Он сурово восстал теперь против развода Василия с Соломонией. И сослал его вторично московский князь, но не в любимую стариком «матерь-пустыню», а в волоколамский Иосифов монастырь, известный суровым, тяжким уставом жизни и угрюмостью своих монахов. Покорные приказу великого князя, отцы-иосифляне скоро сумели сократить жизнь строптивого, непреклонного старца.

Был сослан и заточен и другой сильный заступник за Соломонию — монах Максим из Афонского монастыря, прозвищем Грек, родом из Арты, города в Албании.

Приблизился он к князю и прославился переводом многих греческих священных книг на славянский язык. Озлобленный его супротивными речами по поводу развода, князь распорядился нарядить суд над бывшим любимцем-толковником. А судьями назначил непримиримых врагов Максима: тех же монахов-иосифлян и присных им.

Обвинителем был сам Даниил, митрополит, ревновавший Максима к влиянию на умы, к той власти, которую присвоил себе при дворе ученый монах. Даниила поддерживали, во-первых: Вассиан, Топорков прозванием, епископ коломенский, развратный и злобный, сосланный тоже потом за

все свои грехи. Затем — Иона, чудовский архимандрит. И сослали Максима Грека в тверской Отрочь монастырь на строгое послушание, так как он был признан еретиком и «блазнем», портившим, а не переводившим правильно священные книги церковные.

И многих других также сослал или заточил Василий, кто только решался стать на сторону постригаемой, отвергнутой им из-за бесплодия жены.

Вот в обширный, слабо освещенный, низкий покой ввели осунувшуюся, постарелую, но все же еще величественную и прекрасную, несмотря на годы и жгучие страдания, княгиню. И сразу почуяла она, что стоит одинокой среди этой тесно сплоченной, сверкающей парчовыми нарядами толпы бояр и служилых людей.

А в переднем углу, окруженный черным и белым духовенством, в богатой ризе и клобуке, с пастырским посохом в руке, стоит Даниил, ее главный враг и погубитель. Не согласись он — князь, может быть, и отложил бы свой замысел... И полным ненависти взглядом окинула владыку несчастная женщина, поруганная жена, развенчанная великая княгиня.

Сейчас же, с тою же лютой ненавистью, взор ее перекинулся и на другое, не менее ей враждебное лицо. Впереди всех, важно поглаживая бороду, стоит главный приспешник князя, холоп и любимец его, боярин, «советник» Иван Шигоня.

Сам не очень чтобы знатных родов, он опередил многих и многих посановитей и родовитей себя только потому, что умел читать в душе повелителя, понимать мысли его и творить по воле Василия все, как тому хотелось.

Теперь ведь тяжкие времена пришли для боярства и дружины княжеской. Не по-прежнему московские князья раду свою ближнюю честят и слушают. Все больше по своей воле творят. Такие советы к сердцу берут, какие им самим по мысли. И хмурится старое боярство. Порой и заговоры заводит. Да не везет что-то им! Глядишь, или, как вот Берсеню Беклемишеву при Иване III, языки режут, или последние маёнтки да вотчины отбирают в казну, а самих чуть не на посад в тяглые люди ссаживают.

Горькие времена настали для старого боярства. А вот толстый, пузатый Шигоня, поглаживая свою окладистую бороду, стоит поперед всех и величается, вошедшей великой княгине еле поклон отдает!

Как же, ведь вместо князя он наряжен нынче! При по-

стриге стоять, порядок вести и князю потом про все доложить он обязан.

Медленно Соломония взошла, скорее, была возведена двумя монахинями, поддерживающими ее, на небольшой, черным сукном покрытый помост, устроенный посреди кельи.

Начался обряд... отпевание человека заживо. «Ныне отпущаеши с миром душу рабы Твоея...» Как печально звучат напевы!

Княгиню не спрашивают ни о чем, как привычно в таких случаях. За нее отвечают, за нее молитвы творят, за нее действуют, пригибая, когда надо, непокорную шею несчастной для подневольного поклона...

Она, бледная как мертвец, даже сопротивляться перестала, как это было до сих пор. Широко раскрыты ее черные и без того большие прекрасные глаза; как затравленная серна, озирается она с тоскою кругом и ждет: не явится ли откуда-нибудь спасения, не пошлет ли Бог чуда? Нет! Ярко озарены огнями лики темных икон... Кротко глядит Спаситель; скорбно улыбается Матерь Его... Сам Саваоф, грозный и всемогущий, простер длани и благословляет мир, «сияя на злые и на благия» всеми солнцами своими. В небесах — правда и мир и покой! Но здесь, на земле, нет ей помощи, ни от кого нет спасения. Он, даже он, в кого княгиня так верила, кого любила, несмотря на все измены, на его болезни и на лютость нрава порой, — он, Василий... князь... он сам отдал жену свою на поругание врагам... хуже — оторвал от себя! И место ее займет хитрая, распутная девчонка литовская.

Кровь татарских князей, кровь предка Соломонии, мурзы Четала, опять вспыхнула в жилах. Бледные до сих пор щеки сразу побагровели. Мрачно горевшие, заплаканные глаза сразу засверкали, как раскаленные угли.

Грудь, которая перед этим была словно камнем тяжелым сдвлена, опять ходенем заходила, заволновалась. Какой-то клубок подбежал, подкатился из глубины — к самому горлу. Давит княгиню, больно ей.

Красные от жары и напряженного состояния бояре, стоявшие поближе, зашептались между собой:

— Гляди, никак, на нее находит. Пожалуй, не удастся по чину и обряду доправить?!

А уже на нее собираются возлагать облачение иноческое.

Вот приблизился Даниил.

Почувствовав его дыхание почти на своем лице, Соломония вздрогнула, невнятно застонала.

— Смирися, жено! Не твори соблазну!— раздается ненавистный, властный голос.

Приняв ножницы из рук иерея, митрополит коснулся распущенных волос княгини.

Та громче застонала и забилась в истерических рыданиях.

Две сильные монахини, выбранные и приставленные здесь нарочно, поддерживают под руки несчастную, но теперь едва могут удержать Соломонию, так порывисто и сильно рвется и трепещет она всем телом у них в руках.

— Нет... нет... не... хочу... не изволю сама... на это!..— с визгом вырывается из груди у Соломонии, губы которой до сих пор словно судорогой были сжаты.

Но ее не слушают.

Клир старается громким пением покрыть жалобы, крики и плач женщины, а Даниил быстро и сильно смыкает концы ножниц над волнистыми прядями ее волос, которые черным блестящим каскадом падают вниз.

— Ну, ладно. Чего не так, потом достригут!— произносит он, кое-как исполнив обычный обряд пострижения.

Подана мантия, кукуль...

Стоит надеть его — и все кончено! Мир земной совсем и навсегда закрыт для бывшей великой княгини. За что?.. Она ли виновата, если так изжился, изболелся Василий, что не мог быть отцом? Вина здесь не Соломонии, она уверена в том! И зачем только она так свято хранила долг жены?! Лучше было погубить свою душу, прочь откинуть, растоптать свою чистоту супружескую... Первому встречному кмету, челядинцу отдать ее!

Да ведь так и будет с Василием! Не его дитя принесет ему литвинка. Соломония чувствует, она уверена в этом.

Стены кельи сразу словно раздвинулись перед нею. Она видит бывшую опочивальню свою. Но на постели другая лежит... И в полутьме, при сиянии лампад неугасимых видит Соломония: к этой новой ее заместительнице крадется кто-то... Не Василий только...

Тот может прямо войти... Нет, другой, молодой, здоровый, пригожий... Да вот, может, этот самый?

И Соломония сухим, воспаленным взором уставилась на Ивана Овчину-Телепнева.

Тот даже поежился от этого взгляда.

А Даниил уже совсем вплотную подошел...

— Возьми кукуль сей и возложи на тя, жено, аки подобает по велению святых отец...

И он уж сам готов был возложить вместо вечного савана монашеский кукуль на княгиню.

Но тут безумие окончательно овладело ею.

Сделав движение, словно желая склониться, она сразу вырвалась у державших ее и, дико вскрикнув, взметнула кукуль кверху, бросила его на землю, стала топтать ногами, истерично выкликая хриплым, надорванным голосом:

— Сама... на себя? Живой в могилу? Не лягу!.. Слушайте, люди! Христиане, слушайте!.. Стуги князя и мои! Не по воле сан принимаю... Не охотю, но силою, вопреки закону Божескому и человеческому, постригаема. И вот... вот... вот как топчу я кукуль сей... и насильников моих топчу... Вот... вот!..

Вместе с дикими криками пена слетала с побелевших уст у несчастной.

— Что делаешь, безумная!— устремившись к Соломонии, грозно прикрикнул Шигоня, когда увидел, что Даниил, видимо оробев, отступил от иступленной женщины.

Сильно схвативши за локоть, он пригнул ее к земле, словно принуждая поднять брошенный кукуль.

— Нет, не возьму!.. Не хочу... Прочь с ним вместе, диавол, слуга диавола... Плюю на тебя...

И она брызнула ему пеной прямо в лицо.

Шигоня, побавровев от гнева, поднял было свой тяжелый посох боярский, но вовремя спохватился, заметив, как двинулись вперед и князь Бельский, и Иван Кубенский, словно решили защитить несчастную от опасного удара.

Быстро оглядевшись, боярин выхватил из-за ближайшей божницы пук лозы вербной, с Недели Ваий здесь оставленный, и, нанося сильные удары по обнаженным рукам и плечам Соломонии, закричал:

— Смирися! Войди в себя, богохульная жено!.. Что ты творишь, подумай?!

Все окаменели на миг.

От неслыханной обиды и срама иступленная женщина мгновенно пришла в себя.

Поднялась, трепеща мелкой дрожью, до крови стиснула зубами край своей губы, изнемогая не столько от телесной боли, сколько от позора и негодования.

Прежде чем она успела сказать что-нибудь грубому палачу, Шигоня, желая по возможности загладить жестокость необдуманного поступка, утрюмо произнес:

— Как смеешь ты, жено, противиться воле государя, великого князя нашего? Дерзаешь ли не исполнять приказаний его?

— А ты как смеешь, ты — холоп, бить меня, свою княгиню? — негодующим, твердым голосом только и спросила Соломония.

Но от этих простых слов, от величавой осанки, которую безотчетно приняла несчастная, от искаженного скорбью лица ее повеяло чем-то таким необычным и грозным, что мороз пробежал у всех по телу.

— Именем великого князя наказую тебя за непокорство, а не своей рукою и волею! — нашелся ответить надменный боярин и быстро отступил, давая знак продолжать обряд.

Явное замешательство воцарилось вокруг.

— Можно ли так? Не донести ли великому князю? — робко, неуверенно зашептали иные из присутствующих.

— В монастырь али в изгой захотелось? — отвечали им товарищи. — Дома жить надоело?

Смолк ропот. Обряд пошел своим чередом.

Но Соломония, уловив эту минуту замешательства и тишины, ровно, негромко, с роковым каким-то спокойствием, обедая всех глазами, проговорила:

— Стоите?.. Молчите?.. Рабы лукавые, неверные! Нет ли ножей под полою кафтанов, чтобы тут же и зарезать, как овцу бессловесную, княгиню свою былую «милостивую». Так ведь вы прозывали меня! Я ль не заступалась за вас! От скольких от вас государев гнев отвела, от опалы избавила, милостей добыла... И никто не вступился? Да? Будьте же все вы прокляты!.. Богу в жертву против воли приносите меня... Нет, не Богу... В жертву княжой прихоти! И обрек вас Господь. Человекоугодники, не слуги вы прямые княжеские... И горе вам! Бог помстит за меня. Вижу гибель вашу!.. Не пурпур и золото — кровь ваша и язвы и лохмотья покроют тела ваши, аки тела слуг нерадивых, выпустивших на волю диавола!.. Жены ваши и дочери — поруганы, растлены, пострижены насильно, как и я!.. Дети ваши, нерожденные, изгублены в утробах материнских... Не терема высокие — виселицы построются для вас, и вороны черные обовьют боярские головы взамен шапок горлатных... Вот мое слово последнее... мое заклятие на вас, на детей ваших! Великое самое преступил князь великий: совесть теперь свою преступил ради стяжания царского. Вас ли пощадит?! Пом-

ните же и трепещите, ехидны, змеи-предатели. А ему скажите...

Но тут и Шигоня, и Потата, писец ближний и «печатник» княжой, и Рак, советник его, онемевшие сперва, когда раздалась мерная, зловещая речь княгини, произносимая каким-то необычным, несвойственным ей звонким голосом, — теперь все эти вельможи пришли в себя. Дан был знак. Громко запел клир. Надрывались басы... дисканты краснели от усилий подняться на крайнюю, доступную им высоту... Загудели чтецы... монахи, священники стали подпевать тоже... А среди этого чтенья и напевов и рокота — прорезался зловещий голос Соломонии, сулившей болезни, горе и беды супругу вероломному и всему грядущему роду его. Но голос ее стал слабеть... Она зашаталась, сразу опять помертвела... И если бы не поддерживали ее снова две монахини, так и рухнула бы, потеряв сознание.

— Что с ней? — спросил Шигоня, видя, как навалилась Соломония на свою соседку-держальницу.

— Сомлела, кажись, боярин.

— Ничего... Тем лучше...

— Вестимо! — отозвался и Даниил. — Господь видит сердца наши, во сне ли, наяву ли мы или в бесчувственном состоянии. Сердце чисто у княгини. Бес вселился в нее и глаголал. А там очнется-опамätется — и сама же порадуется чину своему ангельскому...

И обряд пошел своим чередом, быстро теперь, без помехи. Через несколько минут из кельи уведена была, все также без памяти, не великая княгиня московская Соломония, а инокиня, старица София, которую готовились везти в Покровский девичий монастырь, что в Суздале.

Глава II

ГОД 7038-й (1530), 25 АВГУСТА

Веселый, радостный перезвон так и стоит над Москвой златоглавою, словно в Светлое Христово Воскресенье! Не успеют затихнуть колокола в одном месте, как в ином, тем на смену, начинают заливаться другие...

А самый большой, соборный «боец-колокол» без устали так и гудит, словно шмель между пчелами, пуская свою басовую ноту: дон-дон... дон-дон!

И в его гуденье вплетается малиновый перезвон монастырских, небольших, но серебристых колоколов: динь-диль-

динь! Динь-диль-динь! Динь-диль-динь-диль, динь-диль-динь!..

О чем говорят, о чем поют-заливаются колокола, эти спутники жизни людской, христианской?

Отчего толпы московского люду, хоть и не праздник, но запирают лавки, покидают торжища, бросают все дела и работы и бегут, валом валят туда, к Кремлю, из которого подан был первый сигнал к необычайному благовесту?..

Радость великая для Москвы, для всей земли Русской: у государя, великого князя Василия, и молодой княгини Елены, роду Глинских, — сын родился.

— Да сын ли? — спрашивает на бегу немолодой посадский другого из толпы, который тоже спешит к Кремлю, уже на ходу надевая на себя кафтан понаряднее.

— Сын, сын, Кириллыч! Уж так было сказано. Да нешто по звону не слышишь, что сын?.. Ведь вон и старец блаженный, юродивый Христа ради-для, прорицал нашей княгинюшке: «Родится у тебя сын — Тит, широкий ум!..» Конечно! Сын!.. И Тита нынче память аккурат, угодника... Двадцать пятое августа...

— Слава Те, Господи. Не сиротеет земля!..

И оба бегут дальше, а сзади еще и еще катятся и набегают народные волны... И все не с горы, а в гору катятся... туда, к высоким теремам кремлевским.

— Слышь! — орет один парень другому. — Поторапливай! Столы от князя ставить будут... Место бы получше захватить!..

И все бегут... И женщины, и дети, и старухи... Иные падают от усталости, но опять поднимаются и мчатся вперед.

А из Москвы гонцы скачут... Боярам-наместникам, разным воеводам и тиунам весть подавать, кого следует, светских людей и пастырей духовных, на крестины звать... Радость великая совершилася! Долгожданный наследник дарован великому князю и всей земле. И попутные жители, селяне и горожане, которым, мимо проносясь, развешали желанную весть гонцы, — все от радости обнимались и целовались по-братски; без праздника — пир и праздник снаряжали. Всем близка была радость княжая, долгожданная.

Ведь шутка ли, четыре бесконечных года ждать пришлось.

Царь Василий — совсем угрюмый, словно ночь, темен ходил. И подумывать даже стал:

«Неужто права была Соломония: я виной в бесплодии

ее? Али сбилось ее слово — проклятие страшное, какое в злобе она изрекла?! Ведь до чего озлилась баба!..»

Вспомнил он, какую кашу сумела заварить разведенная за бесплодие жена, едва привезли ее в монастырь.

Не успел князь обвенчаться с Еленой, как слух повсюду прошел: тяжела-де разведенная княгиня... И должна родить на скорях. Выходит: не ради бесплодия постриг и сослал ее государь, а просто прельщенный молодой литвинкой полоненной.

— Кто слышал о том? — спросил Василий у Шигони, который поспешил известить повелителя о новой клевете вражьей.

— Кто слышать мог? Сама старица София двум женам знатым толковала про то: Юрьевой жене, когда та приехала навестить по старой дружбе княгиню...

— Юрьева жена? И мне ни слова? Плетьми ее, сороку стрекотливую... Нынче же... Будет знать, как языком трепать, а мне и не доводить ничего... А еще?

— Еще постельничего твоего Якова женке, Аринке Мазуровой, княгиня говорила. Те дома потолковали... От слуг да мамок и говор пошел.

— Обеих баб подальше убрать... Чтобы не слышал я о них.

Приказал Василий и сам задумался.

Шигоня стоял и ждал.

— Как полагаешь: правда ли? — спросил Василий.

— Чтобы прямая правда была — не думаю. А только тоже слышал я: в злобе сказывала княгиня: «Хошь от клятого самого, да будет мой сын у князя великого». Чтобы потом чего не было, теперь поразведать бы надо, княже!

— Конечно. Потату пошли... да Рака, Феодорика. Он же и по лекарской части силен. Пусть доведаются. И если супруга моя строптивая в самом деле чадо мне теперь подкинуть собирается, на срам миру всему да на смуту... так...

— Не тревожься, государь. Не будет того, чего тебе неместно или ненадобно! — многозначительно произнес боярин, поклонился и вышел.

Поехали княжеские доведчики. В монастыре их уже ждали, словно уведомленные о наряженном следствии.

Дверь в келию старицы Софии оказалась запертой. Мать игуменьи, позванная на допрос, и все сестры согласно показали.

— Мало мы вхожи к старице Софии. Своя челядь у нее и девки свои же. А сказывали, правда, что лежала, болезно-

вала княгиня. И младенец теперь объявился у ней, и будто Георгием крестили его.

Силой взломали двери посланные, вошли к Соломонии, приказав с места никому не трогаться! Через четверть часа вышли бояре оттуда.

Крики и проклятия постриженной неслись за ними вслед. Но ее держали и не пускали из кельи два пристава, приехавшие с Потатой и Раком.

— Ничего нет. Все — одно злосливательство хитрое, государю на досаду. А правда, не в своем уме словно старика наша! — сказал Потата игуменье. — Пошли-ка двух сестер поздоровее. Пусть в постели ее подержат, как связана она лежит... Пока припадок пройдет. Мы ж князю все донесем, что видели.

Сестры пошли к несчастной, а княжие посланцы уехали. В обширном помещении, отведенном постриженной Соломонии, царил беспорядок, словно борьба происходила большая или шарили, искали здесь чего.

Но ребенка какого-нибудь или следов его нигде не видно, как ни шныряют монашенки.

Говор не смолк, но надвое теперь пошел.

Одни клялись: был младенец да людьми Василия, князя великого, увезен и загублен. Другие душу в заклад ставили, что и не было ничего, и быть не могло.

Вспомнил все это теперь Василий, один знавший истину, и вздохнул.

Третий год шел к концу после второго брака — а все праздной ходила Елена, новая княгиня великая.

Чего-чего ни делал Василий. И лекаря восточного звал, травами и разными зельями тот пользовал его и рыбий камень, пить давал... И к ворожеям, к наговорницам, презрев запрет христианский, ездил и ходил темною ночью государь, таясь от людей... Ничего не помогало.

Смотрели княгиню знахари и знахарки много раз — и все говорили:

— Здорова княгиня и плодородна!

— Значит, я виной... За мои грехи старые род мой без потомства останется, пересечься должен? Не хочу я! Не бывать этому!

И странные мысли порою западали в голову полубольному князю, который только и старался, что подобнее взглянуть при красавице — молодой жене.

Нередко с завистью поглядывал он на любимца, постельничего своего, на молодого богатыря Ваньку Овчину,

князя Телепнева-Оболенского. Кроткий, тихий и незлобивый, хотя и храбрый в бою, Иван не одному князю был близок и мил. Отличала его и молодая великая княгиня. При виде боярина вспыхивало побледневшее, прекрасное личико литвинки, снова огнем загорались ее потухшие, усталые, печальные глаза, звенел порою прежде веселый, детски беззаботный смех, который всегда так пленял Василия, еще когда он спознавался с девушкой.

Замечал все это муж. Больно ему было, и ничего не мог сказать. Княгиня держала себя, как и надо быть госпоже с любимым слугой мужниным. Овчина обожал молодую княгиню чисто, по-юношески, даже не скрывая этого. И был с нею так почтителен, как больше требовать нельзя.

И, покачивая седеющей головой, высокий станом, но худалый от болезни, согнувшийся, Василий думал про себя: «Да, пара он ей! Не тебе, старому, чета. Да вот не судил им Бог».

И, по какому-то странному случаю, даже тени ревности не шевелилось в сердце старого, «грозного», как порой прозывали его, великого князя.

Между тем внешние светлые зори сменялись знойными, темными, летними ночами. Шли месяцы, годы. Три их ровно прошло. Все остается бездетной Елена. И стала она ездить по разным ключам чудотворным, воду пить... По местам святым, по монастырям, которые славились чудотворными иконами, мощами святых целителей или живыми молитвенниками-схимниками, известными жизнью строгой, святой и непорочной; всюду бывала. И молила там княгиня за себя и за мужа... Просила даровать ей чадо. Вклады богатые делала и поминки давала... Нищих кормила, оделяла... Все напрасно!..

В этих поездках порой сопровождал ее сам Василий, а за недосугом посылал провожатым кого-нибудь из приближенных, чаще всего — кроткого и преданного Овчину; сестра же его была в приближение у Елены. Искренно расположенная к брату, Елена старалась приласкать и отличить во всем его сестру Аграфену, жену боярина Челяднина.

Однажды государь сказал Елене:

— Что бы ты не съездила к святому Пафнутию? Далеко, правда... Да ведь и матери ж моей, сказывают, святитель в таком деле помог.

— На край света поеду, лишь бы в угоду тебе, государь! — отозвалась Елена.

Сборы были недолгие. Несмотря на конец сентября, по-

года стояла чудная. И вскоре по дороге в боровской Пафнутьев монастырь выступил длинный поезд, центром которого являлась колымага Елены.

Сам Василий, за недосугом, поехать не мог, а послал с ней князя Михаила Глинского, дядю ее, да Ивана Овчину с людьми.

Вся поездка прошла, как миг один, как сон для княгини молодой и для ее телохранителя верного. Вокруг, не считая челяди, все люди близкие, родные, ее дядя, его сестра... Этикет, все разряды и чины — забыты... Осеннее ясное небо над головой. Сжатые нивы желтеют по сторонам... Золотятся рощи березовые, покрытые пожелтелым осенним покровом... Дрожит багряными листьями осина по перелескам... Тянут стаи птиц на юг...

— Туда бы и мне за ними! — вырвалось как-то у княгини, заглядевшейся ввысь. — Они пролетят над Литвою далекой, над родиной моей...

— Да разве так уже плохо тебе с нами здесь, княгинюшка светлая? — отозвался Иван, ехавший поручь колымаги и не сводивший глаз со своей госпожи.

Елена взглянула на него, покраснела отчего-то и невнятно промолвила:

— Нет. Сейчас — хорошо!

* * *

Прибыли наконец в обитель.

Приняли их честь честью. Княгиня отдохнуть пошла. Князь Глинский и Овчина, по зову настоятеля, явились на трапезу.

Тут, конечно, зашла речь о цели приезда великой княгини.

— Пафнутий — святитель, скоропомощник во всем! Он исполнит желание князево! — отозвался убежденным голосом настоятель, отец Илларию.

— Верим, отче!.. Все от Бога. Он все посылает... — подтвердил князь Михаил Львович Глинский. — А, кстати, скажу, что мне на Литве еще, на родине прилучилось одного разу. На полеванье я был... Молодых еще... С хортами выезжаю... Доезжачих два, не то три — разъехались по следам... Я поотстал. Жду пока что. Спешился, на траву прилег да лежу себе. А так, по дороге, что лесом шла, двое плетутся... Крестьяне простые. Муж и жена, видно... Поклон, вестимо, отдали. Он — мужик как мужик. Худой, долговязый... Вид-

но, немало лямку на веку потянул. А баба — красавица пи-саная. Прямо — крулева. Ответил я им на привет и пытаю: кто? да откуда? Назвали они себя. «А идем, — говорят, — из монастыря ближнего. Там, в кляшторе в самом, икона чудотворная... На второй, — говорит мужик, — я жене женат... И добыток немалый имею... Три хутора у меня. А детей нет. Сколько лет копил да трудился, и все придется не то чужим людям покидать, не то родичам, что хуже мне чужих... Вот и молю Бога, не даст ли утешения: дитя не пошлет ли?»

Поглядел я на него, на нее... Она, словно вишня, рдеет. Глаз не видно, до того ресницы густы да тяжелы опущенные. Ну, говорю: дай тебе Бог! А жене твоей — особенно... «Да, — говорит, — что женино, то и мое будет. Слышь, пан: очень ты от сердца мне пожелал. Не сбудется ли слово твое? Возьми, для счастья, хоть на короткий срок работницей жену мою себе на двор... Не корысти ради прошу. И не возьмем мы ничего с тебя... Позволь только, пан».

Подумал, подумал я и пытаю ее: «Пойдешь ли на короткое время со мной? Поживешь ли на дворе моем?» Совсем сгорела от сору, бедная. Глянула быстро на меня, словно стрелой уколола, да и шепчет губами коралловыми: «Воля, — говорит, — мужняя и твоя. Возьмешь — пойду!»

Только мне и нужно было. Вскочил я на коня, взял ее на седло, назвал себя и говорю: «Ну, приятель, раньше чем через месяц — и глаз ко мне не кажи. Не пушу своей работницы». Дал шпоры коню и поскакал. Через месяц, по уговору, явился мужик, взял жену... Справлялся я потом: чудный хлопец, сын у него. Все меня холоп вспоминает, за доброе пожеланье благодарит...

И густым раскатистым смехом заключил свой рассказ вельможный князь.

— Все бывает... Все от Бога! — кивая задумчиво головой, проговорил игумен.

А Овчина сидел, погруженный так глубоко в какие-то размышления, что и не слышал, как кончилась трапеза, и опомнился только, когда ему сказали, что молиться надо.

Настала ночь. Горячо помолившись, Елена сидела у окна отведенной ей кельи, выходявшего прямо в тенистый, чудно возделанный монастырский сад. И дивилась: отчего он так пуст? Отчего ни монахов, ни послушников не видно здесь в такую теплую, дивную, осеннюю ночь? Но потом она вспомнила, что двух-трех часов не пройдет после минувшей долгой, утомительной церковной службы, и снова выйдут из своих келий разбуженные братья, и снова потянутся под

звуки колокола в ту же душную церковь, на новое долгое, утомительное бдение... Но показалось ей или кто-то ходит в саду?..

Нет, не ошиблась она... Сердце подсказало ей: это он. Ему тоже не спится. И скользит он тихо-тихо по аллеям темного монастырского сада, желая хоть на окно поглядеть, за которыми спит она, госпожа и властительница души его.

— Ты, Ваня?— почему-то тихо спрашивает она.

— Княгинюшка светлая... Ты сама... не спишь?..— смешавшись почему-то, еле может выговорить этот могучий, статный витязь, сейчас робеющий, словно ребенок.

— Не сплю... Мои все заснули... Крепко... Не бойся... С дороги — умаялись... Подойди, поговорим...

И он подошел... И долго, до зари румяной толковали они...

Только когда к заутрене в колокол ударили, едва оторвался, отошел Овчина от кельи княгининой и долго все оглядывался на окно юной, тоскующей госпожи своей...

Утром княгиня Елена все святыни обошла монастырские, везде приложилась... Схимник, старец Савватий, благословил ее на чадородие и просфорой одарил...

Еще три чудные ночи провела Елена здесь, коротая их с Овчиною...

.....

Весела и радостна приехала княгиня домой...

Все хорошие приметы да пророчества ей были по пути.

А месяца через два и князь великий Василий Иванович расцвел, словно моложе лет на тридцать стал. Великую тайну, зардевшись, поведала ему княгиня. А Челяднина, ее приближенная, подтвердила...

А через девять месяцев, 25 августа 1530 года, весело зазвонили все колокола московские, оповещая мир о радости великокняжеской, о рождении первенца, нареченного по деду Иваном, четвертым в роду князей московских.

Забыл государь всю немочь, за последнее время одолевшую его, и крாமолу боярскую, которая нет-нет да и подымет голову, словно василиск-змея из-под пяты... И все нелады и прорухи на литовской, на татарской границе... Все забыл, ходит светел, радостен... Богатыми дарами одарил, кого только мог... Мамкой княжичу назначил все ту же Аграфену... Крестины справил — миру на удивленье. Быки целые жареные на площадях для народа стояли, вина и меду бочки были выкачены из погребов... А в княжеском дворце дым коромыслом две недели шел...

Любимые монахи из Иосифовой Волоколамской обители Кассиан Босый и Даниил Переяславский были восприемниками княжича от купели, отцами его духовными назначены и приняли с рук на руки на убрус белый от самого митрополита.

И не только люди, сама земля Русская приняла, казалось, участие в великом событии: в позднюю осеннюю пору грозы пронесли над Русью надо всей... Земля во многих местах колебалась именно в тот день и час, как родился великий княжич Иван Васильевич.

— Грозный будет волостель!— толковали при этом, покачивая головой, старые люди. А молодые веселились и радовались.

И немолчно звенел-разносился малиновый звон над Москвой златоглавою.

Глава III

ГОД 7041-й (1533), 22 СЕНТЯБРЯ — 4 ДЕКАБРЯ

Тихим осенним утром 22 сентября выехал из Москвы государь, великий князь Василий Иванович к Волоку-Ламскому, в гости к Шигоне, да в монастыри заглянуть в попутные, да поохотиться.

Чует Василий, что засиделся в душных покоях кремлевских, теремных, натрудил голову думами государскими, сче-тами да расчетами, заботами хозяйственными и семейными. Николка Люев да Феофил-фрязин, оба лекаря царских, одно говорят:

— Обветриться бы надо, государь...

Кроме челяди охотничьей, ловчих, сокольников, псарей и выжлятников, много бояр ближних и воевод поехало на охоту с царем.

И оба брата царские тут же: Андрей да Юрий Ивановичи, хотя последнему что-то не доверяет старший брат.

Из бояр — Иван Васильевич Шуйский, Дмитрий Феодорович Бельский, князь Михаил Львович Глинский, Годунов и многие другие; блестящей вереницей, кто верхом, кто в колымагах и каптанках, едут в царском поезде.

Из молодых бояр здесь скачут на аргамаках, кроме изменного Овчины, два князя Димитрия — Курлятев и Палецкий; Кубенский князь Иван; Феодор Мстиславский, племянник государя, и другие. Иван Юрьевич Шигоня, с братом Михайлой, тоже в поезде и прихватили трех дяков про

всякий случай: Циплятева Елизара, Ракова и Афанасия Курицына, кроме двух ближних дьяков царских Григория Никитича Путятина и Феодора Мишурина и стряпчего Якова Мансурова. Да всех не перечесть.

Государыня Елена с трехлетним Ваней и годовалым Юрой в крытом возке большом едут. Боярыни ближние с ними: Анастасия Мстиславская, Елена да Аграфена Челяднины, золовка да невестка; Федосья Шигонина, Аграфена Шуйская, сама княгиня Анна Глинская, матушка Елены. И веселы, рады все, что из душевных светлиц своих вырвались: так и стрекочут всю дорогу.

Погостив деньков пять у Троицы, к Волоку тронулись. Государь — все верхом больше. А на левом бедре у него давно уже зыблется опухоль подкожная, холодная пока, не болезненная. И вот до села Озеричского еще не доехали, как беда стряслась. Седлом, что ли, растравило болячку, но появилось в середине у нее пятнышко небольшое, багровое. Болеть — не болит, но разбитым стал чувствовать себя Василий. Миновали Нахабино, Покровское-Фунниково. Царь уж, гляди, и с коня слез, с царицей едет.

В Покровском — Покров Богородицы справляли, задержались дня на три. На Волок на Ламский совсем нездоров приехал Василий. В пятницу еле сидел на пиру у Шигони. В субботу, 4-го, едва и в мыльню сходил помыться, попариться: не легче ли станет? Стол уж в постельных хоромах накрыли больному царю. За два денька отлежался, поправился. Чудное выпало утро во вторник. Не выдержал Василий.

— Федю Нагова позвать мне! Бориса Васильева Дятлова! Ловчим велеть изготовиться. В поле сегодня хочу пуститься!..

Лекари царские, оба, так руками и всплеснули.

— Государь!.. — начал было Люев.

— Ладно, знаю... Лучше мне сейчас! А погода, гляди, какова? Без лекарства поправлюсь, гляди. Вам бы небось не хотелось? На что вы мне оба тогда?.. Ну, не мешайте...

Подали коней, загремели рога, и пустились в поле все, на Колпь, на село, где охота большая.

— Что, государь, али неможется? — спросил у Василия князь Мстиславский, скакавший за дядею-царем, видя, как морщился тот на скаку.

— Что-то оно не того. А терпеть все же можно...

— А не вернуться ли нам на Волок, государь?

— Ну, вот, была нужда! — ответил Василий. — Стоило

из ворот выехать, чтоб от угла да назад повертать. Хорошо полеванье! Ехали ни по што, приехали ни с чем. Таков ли я? — сам знаешь. Что в большом, что в малом — люблю дело до конца довести... Да и хворь-то пустая: нога болит! Давно она у меня, лихо бы ей — знать себя давала. Подурит да и перестанет. Ведь своя, не удельная! — пошутил князь.

И поехали дальше. Любит на кречетов царь поглядеть.

К полудню в Колпь все вернулись. Столы уже накрыты. Почти и есть царь не стал. А все же дал знать брату Андрею, чтобы поспешил и тот сюда. После обеда псовая охота началась.

Трех верст от Колпи не отъехали, с царем что-то неладное случилось.

— Федя... Андрей! — громко стал звать вдруг Василий племянника и брата.

Напуганные, те подскакали вплотную и еле поддерживали Василия, который в беспамятстве уже валился с лошади.

На землю положили попону, сверху покрыли своими кафтанами, уложили бережно Василия.

— Княже, что с тобой?.. — тревожно спросил его Мстиславский, как только сомлевший князь раскрыл глаза.

— Сам не знаю... Что-то сердце замутилось... И в ногу в недужную ударило... Погляди: что с ней?.. Стой... Не трожь... Больно!.. — вдруг крикнул он, едва Мстиславский взялся за сапог, желая разуть князя.

— Как же быть, княже?.. Сам велишь поглядеть...

— Да, правда. Ну, делай, как знаешь. Потерплю...

Но Мстиславский догадался: обнажил свой охотничий нож, запустил конец его осторожно за голенище княжого сапога, провел книзу, распорол кожу — и сапог сам свалился с больной, распухшей и посиневшей ноги.

Всех сразу так и поразил тяжелый запах, пахнувший им в лицо.

Взрезав также мехом подбитый чулок, надетый на Василия, разрезав платье исподнее, Мстиславский с ужасом увидел, что опухоль на бедре, утром еще покрытая воспаленной кожей, теперь прорвалась в середине, где было видно небольшую, словно железом каленым выжженную в теле, круглую язвочку. Скрывая охвативший его ужас, Мстиславский быстро прикрыл кое-как ногу князя и, поднявшись с земли, сказал:

— Оно пустое, княже: прорвало там... А все бы домой тебе скорей поспешить. Да не к Волоку, а на Москву... Зале-

чить надо, худа бы не было... Больные ведь давно ноги твои.

— Домой?.. К Волоку — можно, пожалуй... Только как же?.. Трудно мне... на коня сесть... Как быть?..

— Ну, вот пустое... Сейчас все наладим!..

И правда, пяти минут не прошло, как на древках двух рогатин прикрепили хорошее рядом, которое нашлось в то-роках; на рядом положены были попоны мягкие, князя уложили осторожно на эти широкие, удобные носилки, и весь поезд быстро двинулся в путь, стараясь не потревожить как-нибудь больного государя.

Вершники и доезжачие посменно — четверо враз — носилки несли так бережно, ступали так легко и неважно, что Василий, едва миновала дурнота, даже заснул, убаюканный колыханьем, словно младенец в люльке.

В испуге навстречу носилкам вышла Елена.

— Что было? Что с государем случилось?..

— Пустое, голубица моя! — предупреждая других, заговорил быстро Василий. — Ногу, вишь, ушиб, в яму оступился с конем... Жилу растянул... Через день все пройдет.

Успокоилась Елена. Василия в его опочивальню отнесли. Осмотрели врачи язву вечером, ничего не сказали.

— Утром, при свете поглядим, государь.

Утром долго глядели, рассматривали и Люев, и Феофил.

Лица вытянутые у обоих.

— Плохо, что ли? Правду говорите.

— Плохо — нельзя сказать. Долго затянется.

— Что же делать? Недельки через три в Москву надо ворочаться. Хоть к той поре оздороветь бы.

Качают головами...

— Ну, четыре-пять недель...

Молчат и головами качают...

— А! Домовой бы вас придушил, леший бы унес с глаз моих, и навечно! Онемели вы обое или злить меня сговорились? Так глядите!..

И он протянул руку за посохом, часто гулявшим по спинам не только лекарей-басурманов, но и первых бояр и князей...

— Государь, не гневись... Послушай! — заговорил более смелый Люев. — Мудреный ты вопрос задал. Мы знаем, что болезнь, вот как твоя, и на полгода затянуться может, и в месяц ее выгнать удастся... А если мы скажем, срок назначим и ошибемся, ты же нам верить перестанешь.

Без веры — куда трудней будет лечить тебя... Сам ведаешь...

— Сам понимаю я, что шуты вы гороховые, а не лекаря ученые. Попам вера нужна! А с вас будет и знания... Ну, да шут с вами... И то, обозлить вас, так вы мне такого поднесете, что кишки все вымотает!.. Тыфу! И я дурак, связался с басурманами, да еще с лекарями. Вон у нас: лекарь да аптекарь хитрей цыгана да жида почитаются. Нешто вы правду скажете? Лечите уж, как знаете сами... Не обижу...

— А еще, государь: княгиню-государыню тебе лучше на Москву отправить вперед... Ты заметил: дух нехороший от язвы. И все тяжелее он будет... пока мы не вылечим тебя. Хорошо ли, чтобы государыня... С царевичами?.. Лучше, право, не быть им при тебе...

— Сам понимаю... Сам о том думал...

И, подготовив понемногу Елену, он через две недели отослал ее с детьми на Москву, в сопровождении части своей свиты...

К этому времени язва, раньше сухая, стала выделять больные ткани... Окружность ее росла хотя медленно, но неудержимо.

Больше и спрашивать не стал Василий: опасно ли он болен? Аппетит пропал... Силы тают с каждым днем. А нелюбимый брат Юрий так и вьется у постели.

Не выдержал Василий.

— Ты бы, брате, к Дмитрову, к уделу своему поспешал. Давно, гляди, не был там...

— Да я так думал, брат-государь, болен ты...

— Что ж, ты лечить меня станешь али залечивать? Так вон у меня своих таких двое! — указал на лекарей государь. — Морить — куды горазды!..

— Шутить все изволишь, брате-государь... Ин не стану супротивничать, поеду, коли не хочешь видеть меня. Благо-слови, брат-государь, в путь-дорогу.

— Бог благословит.

Юрий уехал. Вдохнул свободнее Василий.

Сейчас же тайком, чтобы жена не знала даже, послал Мансурова и Путятю Меньшого в Москву.

— Вот ключи... В подвале, в Архангельском соборе, сундук железный... Протопоп Иван знает. А в сундуке — ла-рец... А в ларце — духовные грамоты отца и деда нашего... Привезите... Видно, пора и свою писать, как по старине полагается...

Когда привезли грамоты, долго толковал со своими советниками тайными Василиий. Была написана и его духовная. Подписал ее царь. Пришлось звать свидетелей для подписи. Бельский, Шигоня, Шуйский и Кубенский подписались и крест целовали на том, что до срока никому ни слова не проронят о грамоте.

14 ноября ночью, в тревоге, заглянул к больному другой брат, Андрей, с которым всегда был дружен Василиий.

— Не спишь, государь? Слышу: читают тебе псалмы божественные... Я и заглянул...

— Рад, рад... Не спится теперь по ночам. Днем — все так вот и спал бы. А ночью — душно, тяжело. Грудь совсем заложило... Плохо лечат, проклятые...

— А ты бы других...

— И то. Вон, за гетманом Яном послал. Он казак. А у них тайные есть зелья разные... Пусть попользует! Он много народу на Москве выпользовал. Да что ты такой, словно напуган?

— Чудо творится, брате... Дождь огненный с неба.

— Что ты?... Где? В какой стороне? Как бы лесов да деревень не пожгло... Убытки, гляди, будут какие?!

— Нет, брат-государь, не то чтобы огонь простой... Звезды с неба так и сыплются...

— А! Ну, это не опасно... И много?

— Видимо-невидимо. Да вот, взгляни, пожалуй, государь.

Андрей поднял занавес у окна, оттолкнул тяжелый ставень и указал больному брату рукой на темно-синее ночное небо.

Было новолуние. Звезды, не затемняемые месяцем, ярко сияли, переливаясь мерцающим блеском в прохладном, влажном воздухе. Левей от окна, в южной части неба происходило нечто удивительное. Падали звезды. Не изредка, как это бывает всегда, а блестящим частым огненным дождем...

— В глазах начинало рябить и пестреть, если долго, не отрываясь, глядеть на восхитительное зрелище...

Долго смотрел Василиий, то прищуривая, то снова широко раскрывая глаза.

— Пятница нынче?..

— Так, государь.

— Завтра — Дмитриевская суббота... Понял, понял...

— Что понял, брат-государь?

— Большая звезда скоро с земной вершины скатится... Туда, в бездны... Помилуй мя, Господи, по великой милости Твоей...

— Э, брат-государь, пустое! Оздоровеешь скоро, вот увидишь.

— Ладно. И то хорошо. Прикрой ставень... Полы-то спусти оконные... Зябну я все... Ну, с Богом, ступай спать, Андрейко. Може, и я усну.

И Андрей вышел из опочивальни.

Словно напроорочил облегчение брату Андрей.

Наутро громадный стержень вышел из раны у Василия. Князь ожил, повеселел, стал надеяться на выздоровление. Лекарь-казак, гетман Ян, приехав, мазями своими опухоль согнал с больной ноги. Не лежит она больше такая неподвижная, огромная, как прежде, словно бревно, мешая дышать, не давая сделать ни малейшего движения. Однако части распада остались в ране и вызвали новую беду. Появился антонов огонь... Опухоль, еще не совсем удаленная мазями, медленно начала распадаться. Язва стала широкой, черной, страшной... Настоящая «гагрйна» (гангрена) с омертвелыми краями, покрытыми серым налетом. И воздух в покоях наполнил от нее тяжелым запахом тления!..

— На Москву, на Москву скорее! — молит теперь Василиий.

Ясно: спасенья нет!..

Медленно движется печальный поезд. Василиий в капитанке едет, уложенный на мягкой постели. Повернуться он сам не может. Курлятев и Палецкий едут с государем, помогают ему.

Везде по пути рыдают люди, узнав, кто этот умирающий боярин, которого везут на Москву.

Скорей бы можно добраться туда, да приходится остановки частые и долгие делать. Дороги еще не установились. Как осторожно ни едут кони, а все потряхивает больного. И он мучительно страдает.

Только 21 ноября к Воробьевым горам дотащились. Здесь два дня пришлось переждать. Митрополит Даниил к государю пожаловал помолиться за его здоровье и дать свое благословение... И владыка Вассиан Топорков Коломенский, друг царя... И попы, и бояре: Шуйские, Воронцов Михаил,

Петр Головин, казначей верный царский... Слезы, рыдания раздаются... Лекари прямо всех попросили уйти и не тревожить больного.

Но сам Василий удержал главных бояр.

— Мост на реке строить велите... Тута вот, прямо у спуска с гор с Воробьевых... К завтраму ночью чтобы и готов был... Ночью я в Кремль проеду, чтобы не знал никто... Народу тьма кругом, послы у нас ждут чужеземные... Негоже будет, если днем поплетемся... Дела у нас теперь с чужими государями немалые... Посланцы-то ихние, поганцы, — что воронье, сразу учуют: плох старый государь! Ваня мой — мал... И подумают: самая пора пришла поживиться на Руси... Сейчас своим государям отпишут: «Собирайте ратных людей. Помирает старый государь. Легко можно у малолетки и у вдовицы-государыни из вотчины чего оттягать!..» Знаю я их... Да и свои люди не должны в гнусе таком видеть меня... Так пригоняйте, чтобы нам в глухую ночь, в самую полночь Москву миновать, до Кремля доехать...

Закипела работа на реке. Лед еще не окреп. Рубят его, наскоро сваи, как раз против спуска с горы, вбивают в дно речное, балки кладут, доски стелют... Хотя и не в субботу ночью, но к воскресенью на рассвете мост был готов.

— Так, с Богом, везите меня! — приказал Василий, когда ему доложили о том.

Скользит с горы тяжелая каптанка, влекомая гусем восьмеркой крупных, сытых коней, по два в ряд. Передовые вершники туго держат вожжи. Рынды царские, молодые парни, боярские дети и княжата голоусые, по десять человек с каждой стороны у каптанки идут, поддерживают в опасных местах, на поворотах и косогорах. Двое на передке каптанки уселись на всякий случай. Заартачится первая пара коней — удержать бы их было кому, кроме вершников...

Все шибче и шибче по раскату скользят полозья, как ни сдерживают возницы могучих лошадей. Те уж совсем на задние ноги осели, хвостами снег метут... фыркают, головами мотают. Дивятся, что им ходу не дают... Вот — последний перевал. Там и на мост надо въезжать... Дорога здесь поровнее... Шибче пошли кони, завизжали, заскрипели полозья по цельному, плотному снегу...

Сразу первых четыре могучих коня-санника на мост вбежали, копытами грянули раз, другой... И только эти две пары оказались на мосту, подальше от берега, зашаталось все под ними... Одна свая наклонилась, другая за ней...

Наспех строенный мост так и стал валиться на лед, увлекая царских лошадей за собой... А за лошадьми — и сани царские мчатся туда же, в хаос обломков, на лед, который трещит и ломится под ударами копыт тонущих коней, опутанных гужами и постромками... Вот уж, не больше полуаршина отделяет тяжелый возок от воды...

В это самое мгновение двое рынд, с обеих сторон, вынув свои ножи, сумели обрезать гужи у задней пары коней, а остальная молодежь, напрягая последние силы, прямо на руках успела поднять и остановить тяжелый возок, нависнувший слегка над водою... Василий видел всю опасность, но не растерялся.

Он уж давно готов к смерти. А все-таки вздох облегчения вырвался у него, когда дверца раскрылась и Курлятев, выглянув наружу, сказал:

— Все слава Богу, государь... Только кони утонули... Не все... Четверо вон убежали... А четверо — под воду пошли.

— Вижу, вижу... Спаси вас Бог, детушки, паренечки, за помощь да службу верную... Тебе, Курбский, тебе, Шереметев. Всем вам... Не забуду... А теперь где бы нам перебыть, пока рассудим: что теперь начать?..

— Гляди, государь: монастырек невелик виден... Туда не снести ль тебя?..

— Ин, ладно... А кто мост-то строил такой надежный для государя своего?

— Да уж не гневайся... Наспех... Приказчики городовые: Митька Волынский да татарин с ним, Ассей Хозников... Взыщется с них, государь, строго взыщется...

— Нет, нет, не надо... Оно всегда так: скоро, да не скоро!.. Мороз, где тут мосты мостить... Чай, руки зябли на воде... Столбы вбивать... доски стлать оледенелые... Пожури от меня обоих... А наказывать — не смей. Бог спас, милосердный. Будем же и мы милосерды...

— Слушаю, государь! — отвечает Шигоня, внимая непривычно кротким речам господина...

Царя осторожно, на постели на его, к монастырю недалеко, скромному, так на руках рынды и понесли...

* * *

С самого утра плохо больному Василию. И тряска, и волнение тяжелое унесли остатки сил этого могучего всю свою жизнь человека.

— Как можешь, княже?— осторожно подойдя к ложу, на котором лежит, полузакрыв глаза, великий князь Василий Иванович, спрашивает ближний его боярин, давний друг и тезка, князь Образцов-Сицкий.

Зимний, короткий, но ясный и морозный день совсем уж догорел.

В маленькое, слюдой затянутое оконце кельи подгородного Данилова монастыря, где сейчас лежит Василий, глядит пурпурной полосой потухающий закат.

Неугасимые лампы теплятся у икон... Светец на столе не зажжен еще. В покое, низеньком, тесном и бедно убранном, царит полумрак. Пахнет особенно, по-монастырски: сушеными травами, росным ладаном, лампадным маслом... Но все перебивает тяжелый запах, который несется от лавки, застланной тюшаком (тюфяком).

Сверх тюшака перинка положена, покрыта белым, чистым холстом. На мягких подушках лежит больной Василий Иванович, царь московский, первый принявший этот титул.

Поверх одеяла теплого шубой на лисьих черевах накрыт. А все знобит больного. Мысли то просветлеют, то замутятся, словно забытые находит на него.

Он лежит в одежде. Только исподнее на левой ноге разрезано. Обнаженная больная нога обвита повязками.

Запах тления от язвы, зловещий этот запах, растет все и растет. Теперь, сдается, он проникает даже сквозь деревянные, ветхие стены скитских построек и отравляет кругом чистый, морозный воздух лесной.

Сам больной задыхается от этого тяжелого духа.

Лицо у него осунулось, помертвело, приняло совершенного землистый вид, губы посинели... Десны вздулись, и зубы словно готовы все выпасть из своих гнезд.

— Страшен я? Скажи, Ваня?— обратился он еще днем, задыхаясь от усилий, к Мстиславскому.

— Нет, княже. Известно: болен человек. А болезнь не красит. Домой бы тебе скорей. Дома и зелья добрые найдутся, и все... Дома, княже, знаешь: стены помогают...

— Да... Домой, домой... Только ночью... Как я сказал... Чтобы Ваня, сын, не видал... Испугается отца... Мне больно станет.

— Вестимо, государи!— ответил Мстиславский и вышел распорядиться, чтобы к ночи носильщики были... И гонцов послал к митрополиту, к Елене.

Люев и Феофил заявили шепотом боярину, что очень плохо царю... Гляди, до утра не доживет...

— Так надо звать всех навстречу князю... Сыну хотя даст свое благословение... Разве же можно?

И шлет во все стороны гонцами вершников и детей боярских князь Мстиславский.

А Сицкий, заметив, что Василий смежил глаза и затих совсем, так и насторожился. Неужто умирает? Нет, вот снова из-под тяжелых, медленно поднявшихся век проглянул тоскливый, свинцовый взгляд недужного царя.

И князь Сицкий тихонько окликнул царя:

— Как можется, царь-государь? Не лучше ли тебе?..

— Лучше?— вдруг раскрыв широко полузакрытые до этого глаза, переспросил Василий.— Верно, друже, скоро полегчает мне... Совсем!

— Что ты, государь? С чего взял?.. Тебе ли, при мощи твоей и годах непреклонных, язвы ножной не снести!— стараясь ободрить и успокоить больного, убедительно заговорил воевода.

— Нет... молчи... Слушай, что скажу... Трудно ведь и... говорить-то мне, не то что спорить. Прошли споры мои с вами... с боярами. Всю ведь жизнь... как отец мой еще наказывал, не давал я воли вам. А теперь — буде... Ныне отпускаеши...

— Да что ты, княже! И не думай про...

— Говорю: молчи... слушай лучше... Сейчас видение мне было...

— Господи, прости и помилуй!..— неожиданно вздрогнув, произнес Сицкий и осенил себя широким крестом, чуя, что мороз пробежал у него змеей по спине.— Видение, княже?..

— Да... Удостоил Господь... Вы тут стоите да шепчетесь с лекарями... А я все слышу... Все ваши речи... И вижу, хотя глаза совсем прикрыты у меня,— а вижу, как в дверь кельи, вот как она заперта сейчас, ее не раскрываячи, прошли два инока лучезарных. Только... в скуфейках домашних... И подошли к ложу. И узнал я их, святителей присноблаженных: Алексия да Пегра... И говорит один к другому: «Час, что ли?..» А другой отвечает: «Скоро! Прослушает десятую заутреню — и час тогда пробьет рабу Божьему князю Василию Иоанновичу. И многогрешному... и препрославленному... И вся сия — на детях его... Сказано бо есть: до седьмого колена...» Глядь, и растаяли в воздухе. И нет ничего. А ты тут пристаешь все: как мне можется? Да легче ли? Слышал: одиннадцатой заутрени не услышать уж мне... Готовиться надо... Шли еще гонца, следом за Мстиславским... Пусть

уж и сын встречается... Не хотелось мне пугать младенца... Да пусть уж! Теперь все равно... как мертвый я...

— Княже, родимый... Государь милостивый... Греза то была сонная... Что к сердцу брать? А потом и так скажем: я тоже... Василий Иванович, хошь и негоже мне с государевым именем равняться. Может, мне и сулили святители; и скоро кончина моя, а не твоя. Я же хошь и немного, а постарше тебя...

— Да и поглупее, вот вижу я!— вспыхнул, несмотря на страдания, Василий.— В самом деле, не вздумал ли равняться со мной? Как же: боярин ближний! Да нешто святители придут блаженные о твоей смерти пророчить? Довольно с тебя будет и иной приметы какой, полегче. Да не толкуй зря. Когда можем мы к городу dospеть?

— Да с тобой, княже, часа через полтретья к Боровицким подойдем...

— Ну, так берите меня, несите... Потопрапливайтесь... Много еще перед смертным часом поговорить да наладить надо...

И, снова закрыв глаза, Василий умолк.

А новый гонец — вершник уж сломя голову скакал на лучшем аргамаке в Москву, предупредить великую княгиню Елену и митрополита Даниила.

Час спустя из ворот монастыря показался весь княжеский поезд, среди которого четверо здоровых парней бережно несли широкие, мягкие носилки с великим князем и царем всея Руси, лежащим в полном забытии. Медленно подвигалось печальное шествие в печальных сумерках зимнего дня...

* * *

Протяжно, глухо с другой стороны Кремля в морозном воздухе прозвучало и донеслось до Боровицких ворот девять ударов башенного часового колокола на Фроловских воротах, что ныне Спасские.

В это самое время шествие с больным князем миновало неширокий в этом месте пригородный посад и подошло к Боровицкой башне, ворота которой, несмотря на такой неурочный час, были раскрыты. Подъемный мост тоже опущен.

Всадники с факелами, составлявшие свиту больного князя, идут тихо, без говора, соразмеряя ход коней с шагом носильщиков, несших князя; но обитатели посада, собрав-

шиеся было уже на покой, услышали необычный шум, легкий лязг оружия, мерный топот десятка-другого конских копыт по мерзлому насту зимнего проезжего пути.

Наскоро накинув тулупы, иные отмыкают калитки, выбегают на улицу поглядеть: что случилось? Кое-где выходят на улицу оконца изб и домов, затянутые пузырями в жилищах победнее или слюдою у тех, кто богаче. Жадным, пытливым взором обладатели подобных оконцев прикидывали к этим отдушинам на свет Божий, теперь полужансенным снегом, полуокованным льдом. И, напряженно вглядываясь в ночную тьму, старались разгадать напуганные посадские: что значит этот кровавый, зловещий свет факелов, которые медленно движутся по дороге вместе с тенями многочисленной толпы конных и пеших людей?.. Почему ночью, в такое неподходящее, позднее время кто-то приближается к «городским», кремлевским воротам. Ведь в крепость, какую служит для Москвы Кремль, кроме великого князя, святителя-митрополита да семьи княжой, и не пустят ночью никого. Кто же эти ночные странники?

Строя тысячи самых фантастических предположений, долго не может уснуть встревоженный посадский люд. И никто не решился, конечно, выйти поглядеть и разузнать, в чем дело. Слишком тревожное время переживает Русь. Каждый боится за себя и дрожит за свою шкуру.

У самых ворот Боровицких, где широкое место от стены и дальше было совсем не заселено, пустовало на случай вражеского нападения, — здесь тоже виднеются багровые языки дымных, ветром колеблемых факелов.

Великая княгиня там с сыном, с митрополитом, с ближними ждет больного государя.

У княгини глаза распухли от слез, но она крепится, опирается на руку преданной Аграфены Челядниковой, приближенной своей наперсницы и мамки ее первенца, княжича Ивана.

Самого княжича, укутанного в теплую женскую шубейку, спящего, несмотря на ночной холод, держит на руках мощный красавец, брат Аграфенин, князь Иван Овчина. Тут же и Шигоня, и Михаил Глинский, дядя государыни, и Головины: Иван да Димитрий Владимировичи, казначей большой казны государевой, и многие другие.

Тихо, печально стоят, ждут, пока приблизятся к ним огни и люди княжеского поезда.

Вот круг света от факелов, которые несут за больным, яркое сверканье слилось на грани своей с кругом света, по-

рождаемого факелами, которые держат в руках провожатые Елены. В сторону тихо отъезжают словно подплывающие в полутьме всадники, едущие впереди носилок; вот и самые носилки забелели на свету. А на них вытянутое мощное тело великого князя.

Жив ли еще?..

Этот вопрос молнией проносится в мозгу у всех.

Очень уж он неподвижно лежит.

Обок с носилками, держась рукой за их край, словно оберегая больного от неожиданных раскачиваний и толчков, идет с поникшей головой воевода Сицкий.

И у него глаза красны. От ветра, от слез ли — кто разберет? Благо, не очень светло.

— Жив? — с надеждой и тоской спрашивает тихо-тихо, почти беззвучно Елена у Сицкого.

А сама склонилась над носилками, впивается взором в страшно изменившееся лицо мужа.

Воевода делает ей утвердительный знак и в то же время движением руки советует сдержаться.

Глотая, подавляя рыдания, подступающие к устам, Елена делает усилие, с улыбкой наклоняется над страдальцем и шепчет:

— Здрав буди, княже мой любимый. Что с тобой? Аль в пути недугу дали разойтись очень?

Но тут же она чувствует, что ее всю мутит: тяжелый, невыносимо резкий запах тления ударил ей в лицо. И произвольно подносит она к лицу руку, стараясь защитить себя от этой одуряющей волны неприятного, отталкивающего запаха.

Сейчас же опомнясь, поднимает руку выше и, словно стирая слезы с глаз, опять опускает ее.

— А, ты здесь, голубка! — раскрывая глаза, произнес Василий. — Что, узнала? Не испугалась?.. А Ваня? А Юра? Здоровы?..

— Здесь Ваня... Вот... А Юру побоялась студить, младенчика...

И княгиня при этом указала на спящего первенца, которого Овчина поднес почти к самым носилкам.

Василий зашевелил ослабевшей рукою. Елена поняла движение, подхватила руку мужа, целуя ее на пути, и положила на головку спящему княжичу.

— Да благословит тебя Господь, сын мой первородный, княжители и володети на многие лета.

— Многая лета!.. — словно гулкое, но негромкое эхо, подхватили все, стоящие вокруг.

— Здесь ли отец митрополит?

Митрополит Даниил выступил вперед, ярко озаряемый красным огнем факелов, весь черный, с белым своим клобуком на голове, с пастырским, раздвоенным сверху посохом в руке, с четками на другой.

— Благослови, владыко! — стараясь лежа склонить голову, произнес Василий.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сим животворящим Крестом благословляю тя, чадо, на телесное оздоровление и во искупление всех грехов...

И, приняв крест из рук у стоявшего рядом архиерея, он осенил широким крестным знамением больного.

— Аминь... — опять зарокотало людское эхо...

— Вот, спаси тебя Господь... Сразу словно легче стало... Чую, теперь доживу до утра... Увижу еще раз солнце красное... — пролепетал Василий. — А я было боялся...

Княжич Иван в это самое мгновение проснулся и от холода, проникавшего к нему за спинку, и от людского говора. Ведь у него в опочивальне тихо так ночью. Только и слышно: светильники в лампадах потрескивают да сам он ровно, тихо одышит. А тут — совсем другое...

Оглянулся — испугался... уже заплакать готов. Вдруг увидал отца. Хотя и не часто и не подолгу приходилось занятию государю пестовать первенца, но любили они очень друг друга. И сразу рванулся княжич Иван к отцу...

— Тятя!..

Осторожно приблизил Овчина ребенка к лицу Василия. Пока тот пересохшими губами прикоснулся к волосам своего первенца, ребенок разглядел страшную перемену, происшедшую с князем, сразу отшатнулся от отца, оглянулся, увидал мамку Челяднину и так рванулся к ней, что чуть не выпустил его из рук князь Овчина.

— Мамка... мамушка... боюсь... Страшный тятя какой!.. — и зарыдал ребенок.

Быстро схватила Аграфена Челяднина на руки питомца, нежно прижала к груди, стала пестовать, утешать и шептать:

— Помолчи, милый, желанный мой! Не надо... грех так... Болен тятя... Богу молиться надо... чтобы выздоровел... Вот так! Сложи ручки и скажи: Отче наш...

Ребенок понемногу утих и быстро снова заснул.

Великий князь, в душе которого больно отозвался иск-

ренный возглас неразумного ребенка, весь задрожал было, но осилил себя и снова заговорил:

— Агра-фена... помни... слушай, о чем в мой смертный час прошу и наказываю тебе... Богом клянись... и святым распятием Его... И безгрешной кровью Христовой — береги и холити младенца, наследника моего... На пядь единую не отойти от него... Душу свою и себя загубить, смерти себя предать... но его от всякого лиха хранить и береги... Клянешься ли?

— Клянусь и крест на том целую! — положив руку на крест, протянутый Даниилом, а затем и прикладываясь к святыне, громко поклялась мамка, и так без ума любившая своего питомца.

— Ладно. Верю. А вы, бояре, ближние синклиты, страстиги и други мои... все клянитесь и крест целуйте на царство сыну моему первенцу, великому князю и царю всея Руси, Ивану Васильевичу...

— Клянемся и крест святой целуем на верность и царство великому князю и царю всея Руси, Ивану Васильевичу! — опять зарокотало людское эхо.

— А удел Юрия и прочее по царству как быть — о том воля моя писана... и княгиня великая опекой и обороной сыну моему до его лет пятнадцати... Клянитесь в том же... — с последним усилием произнес Василий.

Повторно зарокотали глухие голоса слова присяги.

— Ладно. Крепко теперь будет. Братьев распрю какую затевать с княгиней и с княжичем али до спору не допускайте. Им — своего довольно... Тебе, князь Михайло Глинский... Тебе, Шигоня... И тебе, Иван Юрьич, как набольшие вы, — с докладом по делам царским к княгине ходить... Пока сам царь в свое государево дело не вступится... Вот и все пока... А теперь в терем... в палаты несите меня...

И, окончательно обессилев, Василий замолк.

Дрогнули носилки... Покрылись обнаженные во время присяги головы... Колыхнулись конные... Двинулись пешие... Теперь уже по обе стороны носилок идут провожатые: справа — Сицкий, Шигоня, Михаил Глинский, Юрьев Михаил. Слева — княгиня сама... Овчина позади нее... Головины тут же...

Аграфена с царевичем новоставленным, так и не проснувшись, в сани крытые села и скорее во дворец поехала...

Гулко в морозном воздухе пронесся один удар с Фроловской далекой башни. Полчаса всего прошло. А как много

за это время совершилось: новый царь, Иван Четвертый, Грозный по прозванию в грядущем, дан Русской земле.

* * *

Десять дней в борьбе со смертью мучится Василий. Настало 3 декабря. С утра у постели больного великого князя, по его желанию, в большой палате собрался весь синклит боярский, думские и приказные и служилые воеводы и митрополит, а с ним духовенство знатное, высшее... И все близкие: братья, дядя, другие родичи царя... Полна палата... Окна, несмотря на мороз сильный, настуже раскрыты из-за духа тяжелого, что от больной ноги идет.

День в приказаниях да в присяге прошел.

Ежечасно омовения и перевязки целебные делают теперь врачи... И ножом резали язву... И огнем прижигали, каленым железом... И острыми кислотами жгли — все напрасно. Поздно! Первые дни, в лесах, без хорошей помощи, все дело сгубили. Кровь уж загорелась. По всему телу пошли темные пятна — признаки тления заживо... Поздно.

Василий это сознает, но спокоен. На вид, по крайней мере. Делает свои распоряжения. Заставил братьев и бояр присягу сыну Ивану повторить... Княжича в покой привели. К себе его царь поднести приказал. Поднявшись с трудом, благословил его на царство крестом Мономашым, для которого взят кусок от Древа Господня.

— Буде на тебе и детях твоих милость Божия из рода в род, святой крест да принесет тебе на врагов одоление... И все кресты, и царства, и державы мои — тебе, сын мой и наследник, отдаю!..

Духовенство готовит посвящение во схиму умирающего государя.

У ложа его братья теперь остались, великая княгиня Елена и бояре ближние.

— Сына старшего благословил ты, государь. Благослови же Юрия! — горячо просит великая княгиня. — Челом тебе бью о том, государы..

Небольшим уделом — Угличем и Полем, двумя городами всего, благословил малютку Василий. Не любит он Юрия.

Рыдает растроганная Елена, сдерживая вопли. Но государь словно и не слышит ничего. Молит и заклинает обоих братьев слабым, рвущимся голосом:

— Братия, храните свято присягу великую... Не зовите

беды на Русь... на самих себя! Вспомните времена Шемяки окаянного... Недавно еще бывало все!.. По правде каждый своим володей и в чужое не вступайся... Такова правда Божия. Ежели и грешил я в том, тяжко Милосердный теперь карает меня. Его Святая воля...

— Полно, брате! Клялись ведь мы! — успокаивают его братья.

— Ин, ладно... Верю вам... А ты бы, князь Михайло Глинский, — передохнув немного, сказал он, обращаясь к брату Елениному, — ты за моего сына, великого князя Ивана, за мою княгиню — родную тебе... и за сына моего, княжича Юрия, кровь бы свою пролил?.. Тело бы свое на раздробленье дал?..

Поникнул молча головой старый Глинский.

— Слушай, жена... Перестань... — обращаясь к жене и боярам, продолжал князь. — Дело буду говорить... Успеешь наплакаться на поминках еще... Бояр береги, слушай советов их, и они тебя оберегут. Сама своего ума не теряй, что на пользу Ване увидишь. А все же советов проси... Город я укрепил... Наполовину дубовым от батюшки принял, белокаменным его сыну сдаю. Сама покуда, — и он потом, — мастеров вы к себе маните, крепите и украшайте город... Да и посады тож... Особливо торговый. Торговыми людьми, как и ратными, земля крепка. Эх, рано смерть идет... Задумано почато дело у меня... Стены там, круг посадов, как и круг города, такие ж поставити... Шигоня, ты знаешь... Митя... — обращаясь к Головину, сказал он, — у тебя столбцы все: сколько на что серебра потребно... Скажешь... А то бы никто на свете Москве не страшен был за четверной каменной стеной, за молитвами угодников Божиих... Да и звоничу мою новую, великую, что в прошлый год я закладывал, довершите... на помин души моей... Колокола там есть знатные... Вон фрязинский в полтыщи пуд... Да в тыщу пуд его же... Недаром пусть наш град стольный, аки третий и непреходящий вовеки, царственный град Рим, ото всех стран, ото всех народов христианских почитается... Вырастет сын — попомните ему эти слова мои... Да, на «берег»... на «берег» царства¹, на Оку, добрых воевод посылать... И сторожу... Да... еще...

Но тут неожиданное забытие овладело больным... Елену с детьми увели... Явились попы и митрополит для свершения

¹ Ока, пограничная со степью кочевой, звалась «берегом» Русского царства.

обряда. Всю ночь они так и не уходят из дворца. Принесли рясу... Возложили на Василия... Творят молебны.

Уже началось моление, когда Василий очнулся... У него Евангелие и схима на груди. Рад государы!.. Умрет иноком.

— Время сколько? — спросил он.

— Четвертый скоро! — отвечал кто-то. — Гляди, к заутреням скоро ударят.

— А... Ныне отпускаеши!.. Одиннадцатой заутрени не услышу я... — залепетал слабеющими устами Василий.

Перекреститься хочет — рука отнялась... Шигоня поднял ему руку, и Василий перекрестился.

Через полчаса его не стало.

Пока плакальщицы и богомолки выли и голосили, чуть княгиню не потревожили, на миг уснувшую, тело Василия омыли и, облачив, уложили на возвышение в соборе. Под заунывный звон колоколов еще до рассвета потянулся народ без конца к соборному храму Пречистыя Богородицы, что в Кремле, проститься с царем.

* * *

Здесь же, на площади, как разноцветные волны, колебались утром 4 декабря ряды полков княжих в разноцветных кафтанах. Белые кафтаны передовому полку — и хоругвь белая... А там — и зеленые, и пурпурные, и лазоревого цвета хоругви и кафтаны, колпаки блестящие... На хоругвях — и иконы чудно вышитые, и орел византийский, приданое Софии Палеолог, матери Василия Ивановича... И драконы огнистые, и всякие страшили... Стройно подходят и равняются полки...

Рынды в собор прошли, словно снегом блестящим облиты, в кафтанах парчовых, белых, с топориками...

На царское место, на помост пурпурный, поставил митрополит младенца Ивана Васильевича. Стоит он, личиком побелел, глаза темные широко раскрыты, словно в испуге. Все на мать да на мамку Аграфену оглядывается... Тут же обе стоят... Кивают ему, улыбаются, чтобы не плакал... А у самих слезы в глазах.

Подходит митрополит... Причт весь соборный и кремлевский главный — тут же... Бояре... христиане православные... Торжественно осеняет митрополит Даниил крестом младенца-царя и произносит громко, отдельно:

— Бог, Держатель мира, благословляет Своей милостью тебя, по воле родителя усопшего твоего, государь, князь ве-

ликий Иван Васильевич, володимирский, московский, новгородский, псковский, тверской, югорский, пермский, болгарский, смоленский и иных земель многих, царь и государь всея Руси! Добр-здоров будь на великом княжении, на столе отца своего.

И он приложил холодный крест к пунцовым, горячим губкам ребенка.

В то же мгновение многоголосый, стройный хор грянул, словно сонм ангелов: «Многая лета...» К детским звонким голосам присоединились гудящие октавы басов... Стекла задрожали, огни замерцали в паникадилах...

Царь-ребенок окончательно растерялся... А тут бесконечной вереницей потянулись мимо разные люди, все такие нарядные, в парче да в рытом бархате... И здравствуют ему на царстве... Челом бьют, руку целуют... И складывают к его ногам и меха, и сосуды кованые, и ларцы, и одежды богатые... Кто что может. Еле успевают прислужники уносить вороха мехов и груды драгоценных вещей. Уж ребенок еле стоит... Великая княгиня тут же... И Аграфена-мамушка... И Овчина, которого он так любит... Стал боярин перед ним сбоку немного, на колени, словно поддерживает царя... А сам попросту посадил его к себе на колено. Теперь легче, удобней Ивану... Только устал ребенок... От массы впечатлений красок и лиц, от огней ярких в глазах рябит, они слипаются.

— Не спи, постой еще, миленький... Недолго уж ... — говорит ему мать.

— Погоди, желанный... Не спи... Вот леденчик!.. — шепчет мамка Аграфена и сует что-то в руку...

Но он уже дремлет на коленях у дяди Вани, склоняясь головкой к широкой груди его...

А из ворот Москвы первопрестольной, Третьим Римом названной, скачут во все стороны царства гонцы и бирючи: присягу отбирать да и клич кликать, что воцарился на Руси великий князь, царь ее, Иван четвертый по ряду, Васильевич отчеством.

Глава IV

ГОД 7044-Й (1536), 9 ЯНВАРЯ

У юного царя Ивана, в Столовой палате, боярский совет собрался: о казанских делах рада идет.

Недобрые вести из Казани пришли. Хан Джан-Али, сын

Кассаев, верный друг и подручник царей московских, убит.

Крымчак Сафа-Гирей, заведомый и давний враг Руси, брат еще раньше сверженного нами хана казанского Магомет-Амина, занял престол. Значит, по весне жди уж если не войны, так разбою с той стороны, с Булака да с Казанки-реки. Плохая речушка, сиротская, а столько от нее русской крови пролито и татарской, что можно бы всю ее полным-полно налить, да еще и мимо прольется немало!

Первые вести о делах казанских из Касимова-городка пришли. Недаром цари московские, князья и хозяева всей Руси, поставили Касимов-городок, словно на страже, на самом «берегу» царства, на Оке-реке, в Мещерской земле.

«Ворон ворону глаз не клюет!» — говорит пословица. Да, только к татарину оно не относится. Самые лютые враги они друг другу.

Улус с улусом, бек с беком враждуют. А ханы и султаны не то своих же подданных, простых татар, братьев и сестер родных, отца и мать режут, если приходится за богатство, за власть спор завести.

«Око за око!» — вот их закон. Кровавая родовая месть так страшит каждого, что, убив одного человека из рода, властитель торопится известить целый род, до последнего зерна, опасаясь отмщения.

Если же пощадит кого, сам потом покается.

Это испытал и хан Еналей, как называли попросту хана Джан-Али на Москве.

Как только вести о казанских делах дошли до родственного Казани Касимова, сейчас же сведала о них и Москва, осенью 1535 года, когда убили Еналея.

Много от Москвы в Касимове тайных и явных слуг, дьяков, приставов... И ратных людей, стрельцов, казаков не мало. Но первую весть подал татарин-касимовец Юнус, один из ближних советников царька касимовского, хана Шах-Али, Нур-Девлетова сына.

«Нельзя, надо поторопиться!.. — подумал Юнус. — Русские деньги — хорошие деньги! А тут их можно без крови много получить!..»

И сам поскакал налегке татарин.

Еще за ним потом вестовщики отправились по знакомой, широкой дороге к Волоку-Ламскому. Да Юнус-бек бывалый старик. Первый поспел.

И прямо знал, куда кинуться: к Ивану Федоровичу, к Овчине-Оболенскому пришел.

— Важное дело есть! — в пояс поклонившись боярину,

объявил Юнус хотя и ломаным, но понятным русским языком.

Много лет с Москвой водясь, денежки русские получая, и говору русскому выучился татарин.

— Говори: какое важное дело?.. — поглаживая бороду, спросил красавец-боярин.

— Четыре пятниц нет, как Джан-Али хану в Казань се-ким башка делали, как баран резали!

— Еналея убили? Врешь, Юнуска! Быть того не может! Как же? А наши стрельцы?.. Пищальники? Они чего глядели?.. Отчего вестей нет?..

— Никакой вести не будит! Харашо дела делали! Сам хан виноват! Магмет-Амина-хана сестру, Арзад-салтанэ, живую оставил... Сумела баба обойти хана!.. Она все и устроила!.. Ночью, патихонька иму горла резали, никто не слышал... И всех твоих казаков захватили... Напоили их харашо... Буза давали... Кумишка давали... Типерь — ани в яме сидят... Выручать их придется...

— Да ты же откуда узнал? Кто помогал хитрой твари? Не сама же она, царевна эта ваша?.. Горшадна самая?

— Ну, конечно, не сам... Баба только за брат свой помстила. Закон у нас такой. А сам баба на ханство ни может садиться... Из Крыма Сафа-Гирей-султан близко Казань сидел, словно одно ждал... Он типерь хан казанский стал. Ему Арзад-салтанэ вести прислал...

— Крымчак Сафа?.. Гм, для нас — это не очень гоже... Ну да пождем: какие еще вести будут. А тебе — за верную службу спасибо, Юнус! Царского жалованья жди себе за правду да за дружбу крепкую...

И, отпустив Юнуса, князь Овчина прошел к правительнице.

Выслушав его, Елена задумалась.

— К добру или к худу оно для князя нашего малого? Скорей к худу; как думаешь, Ваня?

— Нет худа без добра, княгинюшка. Не наша то беда, чужая... Авось ее руками разведем!.. Есть у меня догадка одна... Да еще соберем наших бояр. Что седые бороды скажут?..

— Да, надо побеседовать... Покойник мой говаривал: «На татарина — два татарина высылай, пусть грызутся, а нам — барыш...» И всегда по его слову бывало. Поглядим, что ныне станется?..

— Покойный... Что ни дело, то покойный вспоминается,

словно живых нет! — угрюмо произнес баловень-боярин. — Чай, не хуже покойного дела дельвали!..

— Кто ж говорит, милый! Да молоды еще мы с тобою... А и за сына боюсь... Поневоле старик вспоминается... Он уж всю повадку государскую знавал. О чем теперь нам да боярам приходится думу думать, а он, бывало, утром встает и говорит мне: «Аленушка, помнишь: дело вчерась меня досадило мудренное... А я во сне и надумал, как с ним быть... Да почище совету Шигонину!» И правда: так все рассудит, что и бояре диву даются. Так как же, свет ты мой Ваня, такого хозяина не вспомнить? Не в любви тут дело... Тебя одного любила и люблю... Сам ты знаешь...

После этих слов, порасправив брови, вышел главный боярин — думу на совет созывать велел.

Первая дума была — вестей ждать побольше, повернее.

И правда, вести скоро пришли.

С самой Волги, от Казани казаки подъехали, из стражи хана Джан-Али, те, которым убежать привелось.

Еще татары городские, касимовские пришли...

И вести привезли неплохие. Может, правда, худа без добра не будет... «Лишняя ссора в Казани — лишняя свая на Москве!..» Не мимо говорится это слово.

Не все беки, уздени и другие улусники пристали к царевичу крымскому, севшему на трон.

Половина почти царства, половина Юрта Казанского отделилась. Иным дороги были «поминки» — подарочки богатые московские, которыми щедро награждали великие князья своих сторонников, иные из-за кровной и поместной вражды не хотели мириться с новым ханом, с его новыми приближенными людьми.

— Приезжали к нам, — говорил один седой, чубатый казак с Вольского городища, — приезжали казанские люди, знатные и простые... И «бики», князья ихние... И просто мурзы, люди ратные, не черной породы, а получше которых... Всех — человек шестьдесят прискакивало. Говорят: «Дома еще таких из наших боле, чем четыре сотни, своей поры да времени ждут... Не хотим-де Сафая... Чужак он... Вот имена свои сказываем и рукобיתье Москве даем и князю вашему великому, Ивану Васильеву. У него жив, мы слышали, Шигалей!.. Пусть того царевича прирожденного, казанского, нам на ханство вернет... А Сафая, крымчака — не надобно!»

Про присягу еще говорили, про жалованье господарское, какое им шло от покойного князя Василия Ивановича. И от нашего княжати Ивана Василича, милостью Божией...

Видимо, не врут татары, вправду Шигалея хотят... Вот еще что мне сказать велели мурзы и бики: «Знаем мы: вина — измена на Шигалее супротив Москвы великая. Да пусть государь бы хана нашего пожаловал, вины ему простил, на Москву бы к себе из места ссыльного быть повелел! Тогда все мы и с родичами — за него, за Шигалея, станем, вон из Казани крымчака погоним!..» Вот, бояре, как мурзы да посланцы нам ихние сказывали и перенести вам велели! — закончил свои речи старый казак, умолк и стал степенно гладить седой ус, ожидая, что ему дальше скажут.

Отпустили его. Он поклонился и вон пошел.

Дальнейшие все вести на одно сходились. Посланцы и свои и татарские одинаково подтверждали, что полцарства за Шигалея стоит.

Потолковали старшие бояре: Мстиславские, Глинские, Бельские с Шуйским.

Позвали и царевича казанского крещеного Петра Абрамовича, или Худайкулу Кайбулатовича, как его до крещения звали.

Крестил Петра Василий Иванович, великий князь, да женил на сестре родной, на Евдокии... И не было слуги вернее у Москвы, чем царевич казанский Петр Абрамович... Брат его Шигалей забывал порой милости русские, изменял, делал по-своему или как учили его татары.

А Петр только о благе Москвы и думал. И так верил ему Василий, что, уходя в 1522 году на войну, Петра вместо себя правителем на Москве поставил, власть ему свою сдал над царством.

Подумал теперь Петр, покачал головой и сказал:

— Правду мурзы и беки говорят. Вся их надежда на брата, Шигалея. Я по именам вижу: все такие улусники брата зовут, которых Сафа-Гирей не потерпит, которые с ним хлеба не вкусят, кумысу пить не станут!.. Надо брата звать из Белоозера... Не для него это — для Москвы, для князя великого на пользу. Шигалей в Москве будет — большую опору тогда все в Казани почуют, кто против Сафа-Гирея стоит. А бояться нам Шигалея теперь нечего. Он видел, как Москва сильна! Побойтся вперед лукавым обычаем жити... Вот мой совет.

Подумали бояре и согласились:

— Самая пора новый уголек под казанские стены подложить! С Литвой война ослабела... Саин-Гирей крымский с турским салтаном тягается, с Ислам-Гиреем, братом своим, спор ведет. Не хватит у него силы любимого брата, Сафа-

Гирея, на Казани подпереть! А мы тут Шигалея и натравим на крымчака!.. Пусть грызутся... Двое грызутся — третьему корысть, старое слово сказано.

В декабре Шигалей уже был перевезен из белоозерского заточенья своего в Москву.

Челом ударил малолетнему князю прощенный изменник, Шигалей принят, обласкан был.

Уходя стал просить:

— Государь великий князь! Позволь увидеть очи светлые княгини матушки твоей! И мне, и царице Фатиме, главной кадине, жене моей!

Заморгал глазками ребенок-царь, когда услышал просьбу. Все заранее ему растолковали: как принять толстого этого татарина, как здороваться, где посадить, что сказать.

А про матушку ничего не сказано.

— Матушку повидать? Княгиню великую?.. — переспросил он и запнулся. Знает, что каждое его слово важную силу имеет и нельзя слова зря промолвить.

Седьмой годок пошел великому князю. Рослый, смысленный он. А теперь в тупик стал.

Зато Овчина Иван Феодорович тут как тут. Перешепнулся с кем след и шепчет царю малолетнему:

— Ты бы, государь, пожаловал, сказал царю Шигалею, что матушку нынче ж спросишь... Как ее воля и обычай господарский будет.

— Как матушкина воля и обычай господарский будет!.. — звонким голосом повторил Иван-царь. — А я нынче ж матушку, княгиню великую, поспрошаю, а на чести спасибо! — от себя уж добавил мальчик. — Прости, брат наш, царь Шигалей! Иди с Богом!.. А жалуюм мы тебя на прибыть еще шубой с нашего плеча!..

И отпустил Шигалея на подворье, где тот был помещен со всей его челядью.

Было это 7 декабря. 10-го Елена с боярами совет держала.

— А что же, княгиня-матушка: хоть и не в обычае княгинюшкам у нас бояр да царей принимать, да наш-то царь, гляди, как ни разумен, а больно юн еще, продли Господь ему лет и здоровья!.. Ты у нас всему делу голова, словно матка в улье... Тебе и царя Шигалея принять вместно!.. И его Фатьму-царицу. Особливо если добрые вести для хана из Казани будут! Еще малость подождем: до новых вестей.

Эти вести скоро пришли. И через месяц, 9 января 1536 года, состоялся прием.

С полуночи почти начались сборы, приборы да возня на половине великой княгини.

Кажется, все чисто да хорошо да богато.

Нет, еще чего-то не хватает... Да не забыто ль что из кушанья да из «поминков»... да по обиходу? Ближние боярыни просто с ног сбились. Сами себя подхлестывают:

— Татарская царица в гости припожалует, Фатъма Казанская. У себя, поди, на сальных тахатах валяется... А тут все повысмотрит. Потом на Казани пересмеивать будет, скажет: «Ай да боярыни московские! Княгине великой служить не умеют!»

И с ног просто сбились бедные, чтобы лицом в грязь перед татаркой не ударить!

Рано, еще едва брезжило по зимнему времени, только ранняя обедня отошла, вершники подскакали к крыльцу.

— Царь пресветлый казанский Шигалей к ее царскому здоровью, к великой княгине Елене, на поклон жалует.

Все зашевелилось в новом обширном дворце, недавно еще построенном покойным государем.

Люди высыпали на крыльцо и у крыльца струдились.

Впереди всех, в высоких шапках, в шубах дорогих, с посохами в руках два боярина наибольших: первым князь Василий Васильевич Шуйский, что на двоюродной сестре самого царя Ивана женат, на Настасье, дочери Петра Абрамовича, вторым, конечно, сам Иван Феодорыч Овчина-Телепнев-Оболенский. Два думных дьяка за ними стоят, важные, толстые. Только зорко вокруг поглядывают: нет ли где беспорядка?

Но все хорошо налажено.

Стража стоит в ряд... Народу немного, а все-таки собралась толпа постепенно.

Кто из церкви идет, кто на рынок спешит... И останавливаются. Особливо бабы. А иные нарочно пришли. Услыхали от кого из дворцовых, что нынче казанский царь матушке великой княгине придет челом бить, да потом и женка его... Вот и собрались, стоят чинно поодаль от крыльца, ждут-дожидаются. Только руками похлопывают, с ноги на ногу перескакивают: морозец утренний больно лют!

Вот, окруженные мурзаками и казаками, показались сани большие, широкие, коврами и мехами устланные; в санях важно так сидит, величается нареченный казанский царь.

Дрогнула толпа!.. Вперед все подались: каждому поближе на татарина взглянуть хочется.

С бердышами, с пищальми стражники, расставленные у

самого крыльца, осаживают народ, не дают порядка нарушить.

Остановились сани. С трудом вылезает из них Шигалей. Высокий, грузный, хоть и не стар еще, а медлителен, ленив в каждом движении...

Отвесив поясные поклоны по уставу, Шуйский и Овчина приняли царя:

— Мир тебе, господине, царь казанский Шигалей!.. В час благой добро пожаловать!..

Дьяк один по-татарски передал привет царю от бояр.

— И с вами мир! Да благословит этот день Аллах милосердный!.. — отвечал царь и, поддерживаемый под руки боярами, ступил на крыльцо.

За ним его два ближних советника: почтенные важные татары с подстриженной бородой, с ногтями, выкрашенными в красновато-коричневый оттенок особенной краской, хной по-ихнему.

Чинно все поднялись по ступеням. В сени в первые вступили. Тут хана встретил сам царь-малютка, окруженный боярами. И дьяк царский тут, и пристав посольский, который татарскую речь хорошо знает. И казначей Головин Владимир Васильевич, ближний боярин, тут же. На всякий случай: может быть, пожалуют чем гостя? Так чтобы казначей мог записать и выдачу сделать.

Низко поклонился царственный гость державному юному хозяину. Пальцами пухлой, жирной, не совсем опрятной руки коснулся до полу, потом ко лбу ладонь прижал и к сердцу.

— Салам-аллейкум! (Мир с тобой!)

— Аллейкум-селям! (И с тобою мир!) — учтиво отвечал Иван, кланяясь гостю, затем подошел к нему и оба взяли за руки. Крохотные ручки царя так и потонули в подушкообразных руках Шигалея.

После обмена приветствий царь-ребенок двинулся вперед, указывая дорогу гостю.

Идет и так рад, так горд малютка.

Ради гостя-хана разрядили его на славу, хотя и постоянно рядит своего царечка княгиня Елена, словно куколку.

Терлик на Иване горит-переливается, жемчугами убран по борту, лалами индийскими и шнурами с кистями золотыми. Шапочка невысокая, соболем опушенная, вся камнями самоцветными разубрана, а посередине, где дрожит-горит султанчик из перьев дорогих, у райской птицы снятых, бриллиантами осыпанных, там внизу, на темном фоне меха

огнем пурпурным сверкает редкий рубин. Рубашечка шелку самого лучшего из-под коротких рукавов терлика да на вороте выглядывает.

Из-под длинных пол терлика видны мягкие, разными узорами тисненные сапожки сафьяна турецкого, с медными подковками на каблучках.

И так бойко выстукивает малолетний царь этими подковками, ведя гостя по сеням и переходам в палату разубранную, где ждет их великая княгиня Елена.

У последних дверей приостановились все.

Двери распахнулись, приподнялись тяжелые ковры. Иван первый прошел и занял свое место по левой руке от трона матери, стоящего среди горницы, у задней стены ее. Для «береженья» по бокам князя два боярина с оружием стоят. И рынды тут же. У самого сиденья великой княгини и князя стоят боярыни, разряженные, в киках дорогих, причем жемчужные сетки-поднизи ниспадают до самых бровей, черно-начерно подведенных. И глаза у всех подведены, и щеки густо, явственно нарумянены по обычаю. А толстый слой белил покрывает все лицо и открытую часть шеи у всех: у старых и молодых, у красивых и безобразных.

Сквозь ниспадающие складки полупрозрачной, опущенной фаты грубо намалеванными, не живыми выглядят женские лица.

По стенам, на лавках, по чинам, сообразно знатности рода своего уселись бояре, думцы, дети боярские, дьяки служилые.

Приставы посольские, приказные и другие — тоже здесь, поодаль стоят. Совсем как на приеме большом у великого князя. Полную почесть будущему союзнику и хану казанскому пожелала великая княгиня оказать по совету боярскому. И темные, загорелые лица мужчин представляют удивительно сильный контраст с намалеванными лицами боярынь, стоящих словно ряд раскрашенных буддийских изваяний.

Медленно передвигая толстыми ногами своими, обутыми в мягкие чувики, подошел хан Шигалей и остановился шагах в трех-четырех от царского места. Вот осторожно стал он склоняться на колени, чтобы бить челом Елене, как полагается. Видно, что непривычно и тяжело самовластному хану проделывать это, да ничего не поможет: сила солону ломит.

Поднявшись после земного поклона с помощью двух

приставов, он отер свое потное, побагровелое от усилий лицо и огляделся немного.

Два советника ханских, быстро и ловко проделав земное метание, стояли сзади, отступя шагов на пять и сложив руки на груди. Лица бесстрастные, словно окаменевшие.

Десятки взоров устремлены на хана. Ждут, что он говорить начнет. Дьяк приготовил прибор свой: писать собирается, в большую царскую книгу внесет все, что сказано и сделано будет в этот знаменательный день.

Жарко в палате, хотя и велика она, особенно по сравнению с покоями казанского и касимовского ханских дворцов.

Люстры медные, чеканенные, вроде паникадил церковных, висят с полусводов и сверкают огнями зажженных восковых, в разные цвета окрашенных свечей.

Лампады, словно звездочки, теплятся в переднем углу перед божницей, заставленной темными ликами святых в золотых, серебряных или бархатных окладах. Последние — сплошь залиты, ушиты и жемчугами, и алмазами, и камнями-самоцветами.

«Богата Москва! — думает татарин. — Вон на стену какие тысячи навешаны!.. Сильна Москва! Я, хан, потомок царей Золотой Орды, могучих на свете владык, должен вот женщине, литвинке полоненной в ноги кланяться! Когда у нас каждый правоверный только встанет утром и Аллаха благодарит: «Велик Аллах, что не создал меня женщиной!..» Да, плохие времена пришли...»

И, думая в душе все это, раскрывает хан Шигалей свои толстые, полуотвислые губы и мягким, льстивым голосом начинает говорить давно заученную, покорную речь свою.

Пристав Посольского приказа переводит слова хана, дьяк их записывает.

Почти то же повторяет татарин, что месяц тому назад, стоя вдобавок на коленях, говорил он вот этому семилетнему ребенку, в котором сейчас олицетворена вся мощь великого Московского царства.

Есть что говорит Шигалей:

— Государыня, великая княгиня Елена! Взял меня государь мой, князь Василий Иванович, молодого, пожаловал меня, вскормил, как детинку малого...

— Как щенка! — переводит усердный пристав.

Оба советника, стоявшие за ханом, да и сам он, поняли унижительную неточность перевода и бровью даже не повели.

Первые два стоят совсем как живые изваяния. Хан тягуче, бесстрастным и сладким голосом дальше речь говорит. Все трое думают:

«Потешайтесь, гяуры! Величайте себя, унижайте ислам! Будет и на нашей улице праздник!..»

И дальше говорит Шигалей, претендент на корону казанскую:

— Жалованьем меня своим великим князь пожаловал, как отец сына, и на Казани меня царем посадил, подмогу давал и казной и силой ратною. Но, по грехам моим, в Казани пришла в князьях и людях казанских несогласица. Меня с Казани сослали, и я сызнова к государю моему на Москву пришел, молодой и маломощный; государь меня снова пожаловал, города давал в своей земле. А я грехом своим ему изменил и во всех своих делах перед государем провинился гордостным своим умом и лукавым помыслом! Тогда бог Аллах всемогущий меня выдал, и государь князь Василий Иванович меня за мое преступление наказал! Опалу свою положил, смиряя меня. А теперь вы, государи мои, великий князь да княгиня-государыня, меня, слугу своего...

— Холопа своего!— опять умышленно неточно переводит усердный пристав...

— Слугу своего,— продолжает хан,— пожаловали, проступку мою мне отдали; меня, слугу своего, пощадили и очи свои государские дали мне видеть. А я, слуга ваш, как вам теперь клятву даю, так по этой своей присяге до смерти своей крепко хочу стоять и умереть за ваше государское жалованье, как брат мой Джан-Али умер, чтобы вины все свои загладить!

И, положив руку на свиток Корана, который поднесли хану оба советника, Шигалей громко произнес формулу присяги.

— Присягнул татарин, може, не совет?— шепнул Морозов князю Александру Горбатову-Суздальскому.

— А и совет, недорого возьмет!— отвечал воевода боярину.— Да ничего, тогда тесаклами разотчемся!..

После легкого шелеста и ропота, который пробежал в палате, когда окончил присягу хан, снова воцарилось молчание.

Заговорила княгиня Елена.

Сейчас же юный царь Иван впился глазами в нее, ожидая, что скажет матушка?— хоть и раньше знал, какова будет речь.

А до того, пока сладким, тягучим голосом говорил Шигалей, Иван глядел и думал:

«Батюшки, какой же это царь? Баба совсем! Толстый, губы отвислые... Жирный, жирный такой, словно боров у матушки откормленный... Большой, чай, много лет ему, а и бороды не видать... И усы мочалкой... Далеко не то, что у моих бояр, даже молодых... Да и у меня, когда вырасту, будет большая борода, вон как у Овчины!.. Кудрявая... И на колени я ни перед кем не стану... Тогда все цари придут и передо мной на колени становиться станут... Вон как перед Соломоном-царем... что мне показывал дядька в книжце...»

И важно сидевший мальчик еще надменной откинул кудрявую головку свою. Даже бровки принахмурил, словно видя перед собой покоренную и покорную вереницу подвластных царей.

Но стоило заговорить матери, и личико ребенка все просияло, блестящие, смышленные глазки так и впились в красиво очерченные губы княгини Елены, ловя каждый звук.

— Царь Шигалей!— заговорила Елена, повторяя тоже заученную, заранее составленную речь.— Великий князь Василий Иванович опалу свою на тебя положил, а сын наш и мы пожаловали тебя, юности твоей ради. Милость свою показали и очи свои дали тебе видеть. Так ты теперь прежнее свое забывай и вперед делай так, как обещался. А мы будем великое жалованье и береженье к тебе держать. Мир тебе в дому и в земле нашей!..

Выслушав речь, снова земно поклонился хан княгине и царю-ребенку и занял приготовленное для него место, по правую руку от княгини, на первой лавке, впереди всех бояр и князей.

Хоть и татарин, да царь прирожденный, так ему и честь.

Принесли тут богатые «поминки», которыми княгиня и Иван дарили хана.

На подушке шуба, бархат «бурской», ворсистый, словно плюш теперешний, на соболях вся, с узорами ткань, шелк «червчат да зелен»... Цена тогда семьдесят рублей, а теперь бы и вся тысяча... Кубок серебряный, двойной, золоченый, цена тридцать рублей, то есть пятьсот нынешних... Разные шелка с золотом, с узорами затканными, камки венецицкие, что из Венецианской земли купцы-сурожане, итальянцы иначе, привозят... Тут же и «портище», отрез сукна на шальвары — scarlatu червчатого, мерой в четыре аршина, и постав сукна мужского, червчатого, и сорок соболей, как во-

дится, благо всего двадцать пять рублей они тогда стоили. Да на золоченом блюде двое приставов кучку золотых денег подают: тысячу алтын всего, или тридцать рублей. Сумма по времени великая!

Щедро, богато одарили хана за покорность, за слова его умильные.

Кончилась церемония. Домой на подворье Шигалей собирается. Подарки все уже погружены на подводу, вперед отправлены под крепким караулом.

Прощаются хозяева с гостем.

И говорит Елена:

— А что хотела кадыня твоя набольшая Фатьма-салтанэ очи наши видеть, — и то мы дозволяем. Нынче к обедам пусть жалует...

Поклонился хан, еще раз поблагодарив за все, грузно в сани ввалился, сопровождаемый до них первыми боярами, и тронулись застоявшиеся кони. Не весел едет домой обласканный, одаренный хан.

А кажется: с чего бы?

Оставшиеся в палате бояре, пользуясь тем, что княгиня с Иваном вышли, шутят:

— Пустили мы нынче воробья под застреху казанскую... Он там пожару поразведет не хуже чем в Коростень-городе!

— Воробья?.. Индюка разве, вернее будет молвить. Ишь сытый какой!..

— Гладкой татарин!.. И больно, сказывали, до бабья лют! Его за то из Казани и выгнали. Всех баб, говорят, и девок перепортил... Ни простых, ни знати не щадил. Татарва и вскинулась, и погнала его.

— Поделом: не озорничай, не бабничай... А на войне, толкуют, сам словно баба: за окопы да за спины чужие рад прятаться... Какой он царь!..

— Самый такой как для Москвы у казанцев и надобен! — вмешался в разговор князь Василий Шуйский. — Ну, да буде зубы чесать... Вон княгиня жалует. Значит, царица подъезжать изволит, Фатьма-салтанэ. По местам, бояре!..

И на самом деле, на площади перед дворцом показался поезд царицы казанской, старшей жены Шигалея, Фатимы-салтанэ.

Так же принята была царица, как и хан, супруг ее. Только в сенях сама княгиня гостью встречала.

В палату вошли. Там все по старым местам уселись. Фатиму-салтанэ на особое место, рядом с княгиней усадили,

на возвышении. Тогда в палате и юный царь Иван со своими боярами появился.

Встала царица с места своего, сошла навстречу государю. Низко поклонилась:

— Салам-аллейкум!..

— Табук-селям! — зардевшись, отвечал отрок и трижды облобызался с гостьей, как учили его.

Потом сел на свое место, между княгиней и царицей, по правую руку от последней.

— Какой красавец наш царь! — с искренним восхищением отозвалась Фатима. — На тебя схож, княгиня: и глаза такие... И губы... Как луна на небе — такое чудное дите тебе Аллах послал!..

Княгиня приветливо улыбнулась, закивала царице, поняв речь ее даже раньше, чем толмач перевел. Дрогнуло от гордости сердце матери.

— Благодарение Господу! Наградил он меня в сыне моем не по заслугам! Да спасет мне его Господь навеки!.. И тебе спасибо на добром слове, царица. Хлеба-соли откусать прошу!.. И я, и сын мой!

Перешли все в столовую палату.

Царица, княгиня и царь Иван за особым столом сели. Прочли молитву. Стали блюда подавать... Тут же, в стороне монахов сидит, среди тишины, царящей во время трапезы, читает Житие, какое на этот день приходится.

Кончилась трапеза; царю подали руки омыть. И княгине, и царице татарской тоже.

Здравицы в честь князя великого Ивана, и княгини Елены, и гостыи-царицы пили. Не забыли и мужа ее отсутствующего, Шигалея.

На загладку сама княгиня гостье чашу поднесла, не с вином — с медом сладким, на «мушкате» сыченном. Мед просила выкушать и у себя на память оставить чашу.

И, кроме того, много подарков дорогих увезла в колымаге своей татарская царица, из гостей уезжая домой.

Казначей Головин, дневную запись расхода проглядев, только в затылке почесал.

Заметил это Шуйский и говорит:

— Не тужи, Володимир! Нонешние «поминки» наши Казань будет помнить... С годами, по времени вдесятеро отдаст...

И не ошибся старый, умный боярин.

Усталые, но довольные расходились бояре.

Усталая Елена, уходя на покой, крепко расцеловала сына.

— Умник ты у меня нынче был, Ваня! Настоящий царь!..

И, сдав сына дядькам, ушла.

— Настоящий царь! — шептал, засыпая, Иван. И чудные сны грезились в эту ночь ребенку.

Ликовала и Елена. Русь крепла у всех на глазах. По завещанию князя Василия, каменной стеной, в пять верст длиною, обвели Белый, или Китай-город. На окраинах восточных, откуда кочевые орды нападали, — там новые, крепкие городки, а то и целые города поставлены... Подати да оброки людские не прибавлены, а убавлены. Людей больше стало, а трага меньше пошла. Суд правый наряжать решили бояре, обидчиков-воевод и наместников сократить, чтобы народу легче вздохнулось... Денежная неурядица тоже наладилась. Со всего царства собиралась монета серебряная, резаная, легковесная, порченная. С «копьем» стали серебро в гривенки чеканить: сидит на коне великий князь с копьем в руке. И те новые гривенки полновесные везде пошли и копейными стали называться. Не стало брани и драки по торгам из-за того, что вместо трех полных рублей полтора их только в гривенке. А весом новая копейка тяжелее, выгодней даже прежней... Рад торговый люд лишней прибыли.

А кто, по лихости, резаной, старой деньгой промышлял или поддельные гривны сбывал, тех казнили нещадно, олово расплавленное в горло им вливали, головы рубили, четвертовали по площадям.

«Еще год-другой, — думала Елена, — и заботы сами спадут. В покое заживу... с милым моим... А там сын, Ваня, подрастет... спасибо нам за все скажет...»

И сладко уснула Елена, убаюканная надеждами.

Глава V

ГОД 7046-й (1538), 3 АПРЕЛЯ

Минуло ровно четыре года и четыре месяца со дня кончины великого князя Василия Ивановича и воцарения первенца его, трехлетнего Ивана IV Васильевича.

Конечно, воцарение это и по завету покойного, и по самой силе вещей было только на словах, а царством правит мать ребенка-государя, Елена Глинская, хотя ей самой-то едва ли лет двадцать шесть минуло.

Нести бремя государственных забот помогают молодой

правительнице все те бояре, которых назначил Василий, за исключением одного — Михаила Глинского.

Другой занял его место, окончательно вытеснив из числа дворцовых вельмож родного дядю Елены.

Этот другой — юный и, казалось бы, безобидный на вид князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский.

Быстро пошел он в гору еще в последние годы жизни князя Василия. Когда умер отец Овчины, старый князь Феодор, сын, как бы в утешение и для возвеличения рода, был назначен главным конюшим.

Когда же воцарился трехлетний Иван IV или, вернее, мать сго, правительница Елена, баловень судьбы, ближайший любимец вдовствующей великой княгини вознесся на такую высоту, о которой и не мечтал.

Ни порода, ни заслуга, ни звание или сан высокий, священный, не могли дать на Руси никому того, что давала любовь временной властительницы.

Правда, и князю Овчине, как самой Елене, приходилось считаться с мнением думных бояр, с властным голосом митрополитов, с неизбежно отлитыми формами, в которые уложили так быстро и пышно народившееся самодержавие свое великие собиратели земли Русской, от прадеда Ивана Калиты начиная и кончая отцом малолетнего Ивана, князем Василием Ивановичем. Но, как любящая женщина, Елена стояла за интересы и желания своего баловня — горячее и упорнее, чем за свои собственные. Да и желать теперь ей, обладающей всем, не приходилось почти ничего. Разве чтобы Ваня-друг был нежен и весел да Ванюша-сын, властитель, был здоров да рос хорошо. А дела шли своим чередом.

Бояре ведали их, люди наряженные и выборные... дети боярские, которых в думу еще покойник великий князь посадил вместе с людьми земскими для большого приближения к трону всей земли Русской.

Овчина был скромн; ему не мешали, он другим не мешал. По крайней мере, ему боялись высказать открыто вражду или обиду, зная, что за это дорого можно поплатиться.

Пример, и самый яркий, был перед глазами.

Дядя княгини, благодетель ее, принявший к себе сироту после смерти брата, приютивший ее вместе со снохой своей Анной, матерью Елены, сыграл видную роль в сближении князя покойного с будущей княгиней московской и не проиграл при этом. Также благоприятствовал он сближению

тоскующей племянницы с молодым Овчиной, надеясь окончательно забрать в свои руки все нити правления и, кто знает, если не слить Москву с Литвою, то воссоздать здесь новую династию — не Рюриковичей, а Ольгердовичей, к которым причислял себя Глинский... Ребенка легко удалить... Овчина прост, племянница покладлива и сама по себе, а еще больше по чувству благодарности... И мало-помалу *верховный соправитель*, он, Михаил Глинский, возложит на себя венец и бармы Мономаховы, воцарится в богатой, могучей Москве, в Третьем Риме, христианском, которому предстоит такая блестящая будущность! Особенно если ввести единение церквей, слиться с древним Римом по вере... Открыть широко двери для западных искусств, наук... Здесь, среди обильных дарами природы краев!..

И дух занимало у поседлого воина и дипломата от тех картин, какие реяли перед его мысленным взором.

Но он забыл одно: если не стало в живых строителей царства Русского, если правит землею литвинка именем малютки сына, то все же жив дух усопших Рюриковичей... Сильны в своих раках и ковчегах серебряных и позолоченных святители русские: и Алексей, первый вдохновитель князей московских, выразитель воли народной, заступник от гнета татарского. И Петр Святой, земли охранитель... Словом, за минутным событием, за смертью главы государства, умершего так рано и некстати, Михаил Глинский проглядел *самое государство*, как строение народное, уже доведенное, подобно церкви Иоанна Лествичника, до кровельного пояса. И если один строитель, зачавший эту церковь, великий князь Василий, не успел покрыть кровли, то это должны сделать другие: Иван ли IV, когда возмущает, другой ли кто, кого судьба и народ русский поставит на череду... Но дело довершится. Кровля должна быть выведена до конца.

И пытавшийся разрушить почти достроенное здание Михаил Глинский поплатился опалой, ссылкой, самой жизнью, наконец... Ужаснее всего, что Елена, подписывая приговор близкому своему, дяде, благодетелю, должна была сознаться, что иначе нельзя!

Еще большую муку вынесла эта «княгиня-еретичка», как враги прозывали ее, когда пришлось огорчить и бороться даже с самым другом своим сердечным, с Иваном Федоровичем. И бороться тогда, когда он был чист, прав... более того, велик и благороден! А она совершала дурной, с личной точки зрения, поступок, но необходимый для блага и спасения го-

сударства, которое ревниво берегла Елена для сына. Дело было так. Чуть затихли стоны плакальщиц, зауспокойные напевы и медленный, печальный, похоронный перезвон по усопшему великому князю, как начали сбываться опасения его, высказанные на смертном одре. Отовсюду поднялись затруднения. Литовские послы, ехавшие для подписания мира с Василием, нагнавшим страх на кичливых соседей, радостно ели поминальную кутью на его трапезе. Подобно Михаилу, своему единоплемяннику, они решили: пора пришла и Литве пожить в отъезде от Москвы, как доселе сильный сосед жил в отъезде от Литвы и ляхов, новгородцев и псковичей...

Вместо заключения мира пошли проволочки да затруднения, а под рукой круль литовский, престарелый Сигизмунд, хоть не любил шуму бранного, а все же и в войне готовился, и так, путями разными, лукавыми Москву обойти да обессилить старался, ногайцев, и крымцев, и Казань на Москву подымал.

Началась война с Литвой и шла с переменным счастьем.

Тяжело это было, да сносно. Но с другой стороны худший враг поднялся. Свои на своих восстали. Конечно, хитрые бояре, желая выслужиться, сильных своротить, самим в силу войти, сами смуту между Еленой и дядьями царя-малютки посеяли. И сразу, чуть ли не на девятый день после смерти Василия, был схвачен и заточен первый брат его, Юрий Старицкий. А через два года, после разных размолвок, и второй брат, Андрей, послал по городам грамоту.

Князь так писал:

«Люди русские государевы! Князь великий Иван, племянш мой, молод. Держат государство бояре, а как лихо — вам самим ведомо. Священство — продажное, митрополиты — и те за сребреники ставленные. Тиуны да наместники не у старост, по ряду, что им следует, берут, а сами дерут, мшелоимством живут... В неволю люд продают за ничто! А боярам и любо. Четь — государю они, три чети — себе в мощну. Чего же вам, люди, надеяться? Чего ждать? У кого служить? Идите ко мне. Я же рад вас жаловать».

Послушал народ, замутилась земля. И дошло до того, что встали полки великокняжеские против полков Андреевых у Березни-реки, неподалеку от Едренного Яму, перегону конского. Братья готовились братнюю кровь проливать, чего давно уж не бывало на Руси.

И заслал тут Иван Овчина, который в главном полку воеводой был, к князю Андрею: нельзя ли мириться?

А тот и сам рад.

— Забудем все... Поверну я на мир, вернуся на Москву, если княгиня ваша и великий князь дадут мне опасную грамоту, не станут зла помнить, уделы мои брать или как иначе мстить?..

— Господи!— отвечал Иван, прямой и добрый по душе.— Да может ли иначе быть? Сейчас, с места не сходя, я, начальник, стратиг первый великокняжеский, тебе за них клятву в том даю. Знаешь: не мало слово мое на Москве значит...

— Знаю!— угрюмо отозвался князь...— Хоть и помолчать бы тебе об этом лучше. Ну, да не от людей дело, от Бога. Клянись... И я полки свои распушу...

Поклялся Овчина. Доверился ему Андрей.

Приехал он на Москву в четверг. Приняли его честь честью... А в субботу уж сидел князь в железных наручниках в особой палате, нарочно устроенной для знатных узников, где и Дмитрий Угличский и другие в свое время сидели.

И жену князя, княгиню Евфросинию, и сына Владимира тоже заключили, только в другом месте, порознь от отца и мужа.

Бояре и дружинники, близкие советники князя, схваченные с Андреем: двое Оболенских же, только роду Пенинских князей, Пронский-князь, Палецкий, да и многие еще князья и дети боярские, которые с Андреем вместе на Москву пошли, все пытаны были, на площади кнутами и батожем биты в торговый день, для острастки; а там и по городам дальним глухим, в монастыри да по острогам разосланы...

А новгородских волостелей, горожан именитых так человек тридцать, которые со всей своей челядью к Андрею примкнули против ненавистой обидчицы — Москвы, и деньги на войну давали, тех попросту кнутами отстегали, а там и повесили на шляху, на битой дороге от Москвы, вплоть до самого Новгорода. Что ни двадцать верст, то висел в петле добрый молодец, воронье своим телом кормил!

Андрей только шесть месяцев пожил в тюрьме. И своя скорбь душу томила, и тюремщики постарались, чтобы не зажился князь, опасный враг младенцу-царю...

И вот как только узнал Иван Овчина в роковую субботу, что схвачен князь, которому он с клятвой свободу и полную безопасность обещал, бурей ворвался он в светлицу к Елене.

Не одна сидела правительница. Старушка-мать тут же с внуком тешилась да о чем-то с дочкой толковала. Сейчас же

смекнула она, что не с добром ворвался конюший и друг Еленушкин, боярин Иван Феодорович.

Отвесив поклон, как следует, боярин негодующим, но сдержанным еще голосом заговорил:

— Государыня-княгиня! Поговорить бы тебе надо о делах государских... Так не улучишь ли часок?

Догадалась и Елена, что творится с Овчиной. Знала, чем и огорчен он. Подумав немного, она спокойно ответила:

— Ладно, боярин. Матушка, не прогневайся, возьми государя с собой... Ко мне в опочивальню пройди на малый часок.

— Да, дочка, что помешаю я? Не чужая, мать родная тебе. И в государских делах не выдам, и в твоих дочку не обижу. Может, при мне боярин сказывать станет?

Овчина только глазами сверкнул. Редко видала его Елена в таком гневе. Всегда спокойный, кроткий, ласковый. Но и таким вот, как сейчас, он чуть ли не больше еще нравился влюбленной женщине. Глаза горят, щеки пылают... Волнистые кудри разметались от быстрого ходу... Совсем не узнать любимого.

— Нет, уж прошу тебя, матушка!..

— Как скажешь, доченька. Ты хозяйка у себя...

Кряхтя и ворча, поднялась бодрая старуха.

— Князенька, внучонок, дорогой, пойдем... Гонят нас с тобою... Вишь, дела... государские...— не могла удержаться, чтобы не уколоть, старуха.

— Нет, я тут, с дядей Ваней останусь!— упрямо залепетал мальчуган.— Он меня на коня посадит... Мы с ним посакаем татар бить...

И Иван кинулся к Овчине. Тот едва удержался, чтобы не оттолкнуть своего властелина, своего любимца-баловня, которого ласкал всегда и тешил больше, чем любой отец родной. Только ногою слегка притопнул боярин.

Елена тоже не сказала ничего. С мольбою еще раз поглядела на старуху: мол, уведи скорей!

— Пойдем, пойдем, баловень... Я там велю муштакка твоего, аргамачка малого седлать, по двору тебя повозить. Знала старуха, что сказать. Мигом внучек прижался к ней.

— Веди, веди... Идем, бабуня!..

И они пошли, причем старуха поторопилась поживее захлопнуть за собою тяжелую, сукном обитую, дубовую дверь. И не напрасно.

Не успели они еще переступить за порог, как загремел в горнице гневный голос боярина:

— Ты как же это могла?..

Но дальше он продолжать не успел.

На шею кинулась к нему Елена и впиалась полными, горячими губами в его, от гнева даже подергивавшиеся, губы, побелевшие сейчас.

— Тише, Ваня... — шепнула она ему... — Дай уйти... Сейчас все скажу... Все узнаешь!.. Успокойся.

Добрый, искренно влюбленный в нее, Овчина сразу сдался. И брови разошлись, нахмуренные грозно, и кровь сразу прилила к лицу, от которого раньше хлынула было целиком к сердцу.

— Да ты знаешь ли, о чем я?..

— Ну, как не знать? О князе Андрее да о жене и княжиче его...

— А! Знаешь? — снова повысил тон Овчина. — Так как же ты могла?! Ведь я клятву давал... Ведь я?..

— Постой! — уж холодным, властным тоном заговорила в свою очередь Елена. — Ты сносился с нами раньше, чем за меня да за государя великого князя стал ручаться да клятвы давать?

— Нет, не сносился. Когда ж тут было? Бой не ждет. Не поклянись я — сотни, тысячи христиан православных жизни бы друг друга лишили... Семьи бы обездолились... Земли бы втуне пролегли... Дети-сироты, вдовицы жалкие... И все — свои!.. Знаешь, не трус я... Ни своей, ни вражьей крови жалеть не привык... А тут — жаль в душу зашла... Рука не поднималась на своих! Так плохо ли я сделал, если мирно врага вам смирил, крест на верность целовать заставил и... —

Но он не договорил. Звонким смехом разразилась Елена.

Затем, пользуясь его недоумением, подошла, охватила милую голову, прижала к своей груди и вкрадчиво заговорила:

— Хороший ты мой... Витязь ты мой, желанный да храбрый да жалостливый!.. А который это раз Андрей на верность нам крест целовал? Не помнишь ли, скажи? Не то третий, не то четвертый. Коли ему неустойка, он не то нам — султану турецкому крест целовать станет! А будь его верх, так и нас, и тебя он на кресте на том самом раздернет... А ты со злодеем, с крамольником хочешь по чести?.. Э-эх! Овчина ты мой милый... Не мимо люди словно молвили. Метко у вас, у русских, присловья дают...

— Постой! — уже окончательно сбитый с пути, пытался довести спор до конца Иван Федорыч. — Дела мне нет: кто там да как там? Плуты мне не указ. Я, князь Телепнев, твой боярин ближний, царев слуга первый, клятву дал!.. И должна она свято соблюдаться. А ты со своими приспешниками, потайно от меня, слова не сказавши, такую вещь затеяла!.. На весь свет меня опозорила. «Князь, — скажут, — конюший, вождь полка большого! Как же! Вор и клятвопреступник ведомый!» Русь вся это скажет!.. В чужих землях загудет, словно в вечевой колокол. Из рода в род покоры да стыд ожидают меня... Как же ты того не подумала...

— Думала, милый, думала!.. Оттого и делалось все вопреки от тебя. Все это знают... Кричать можешь, бранить и меня, и думу всю государеву... К суду нас царскому позывай... Как хочешь обеляйся. А и мы правы. Добрый ты, умный... Да на государстве не сживал. Государства для сына малолетнего не охранивал. У тебя — своя правда, боярская, воеводская, особая... У нас, с думой царской, — не с приспешниками моими, — своя правда, государственная, русская, всеземельная, всенародная: сделали мы, как царю малолетнему, как всей земле лучше и поспокойнее. И пусть судят нас, кто понять не может! Вот что, милый. А еще я тебе слово отвечу: мало ты любишь меня... Мало нашего, слышишь, *нашего* царя-младенца бережешь!.. Люби ты его больше, вот как я, литвинка, сына своего, русского государя, люблю, и в мысли бы не запало тебе думать: кто да что там о тебе скажет потом?! Любить я тебя буду так же... и ласкать... Почету еще больше увидишь и узнаешь теперь, когда сильнее наша держава стала... Чужие послы к тебе же за миром и за войной придут, как и доселе хаживали. Чего же еще? Скажи, глупый?.. Да вот, еще скажу слово тебе малое. Сам ты навел меня на то... Говорил ты: жаль тебе стало, что за распрю княжью тысячи христиан православных, братьев по вере и крови, смерть друг дружке дадут! И мне их жаль. Так надо змию голову отсечь. Крамолу с корнем вырвать! Десяток казним — тысячи спасем. Понял ли, милый?

И, нежно прильнув к нему, глядя в глаза, словно ожидая ответа, замерла на груди Ивана Федоровича Елена Глинская, теперь не прежняя робкая женщина, полуребенка, юная жена больного, старого мужа, а пышная, полная мощи духовной и телесной, двадцатилетняя красавица.

Постоял, помолчал Овчина, безучастно принял ласку, потом тихо прошептал:

— Нет... Что-то не то душа говорит!

Тихо высвободился из рук красавицы и вон пошел. — Ничего, стерпится — слюбится! — глядя вслед князю, прошептала Елена и двинулась к другой двери, через которую недавно ушла бабушка Анна со своим царственным внуком.

Елена не солгала. Последние соперники были скоро удалены с пути ее любимца, то есть те, кто дерзал поднимать открыто голос против него и против самой правительницы. После Михаила Глинского пали Бельские, Воронцовы... Чисто стало вокруг трона от мятежных, гордых стародавних бояр; жались к трону тоже роды старые, да такие, кто по-мирней, помягче был... И высился надо всеми один любимый княгини, Иван Овчина.

Радуюсь за себя, гордясь за него, торжествовала литвинка победу, только рано, как оказалось.

Крамола, даже хуже — личная ненависть в тиши готовила смертельный удар.

Чтобы видеть, откуда он будет нанесен, надо заглянуть в тесную монашескую келью старицы Софии, Соломонии в миру, бывшей великой княгини московской, первой жены Василия Ивановича.

В далеком, тихом Суздале, колыбели князей московских, живет Соломония за крепкими стенами Покровского девичьего монастыря, не то в почетном заточении, не то на положении схимницы. Впрочем, ей можно было изредка видаться с приезжающими прежними друзьями, знакомцами и ближними слугами. При ней были свои девки да бабы-прислужницы...

И вот в эту же пору, ранней весной 1538 года сидит на сильно постриженная княгиня-затворница в своей келье.

Постарела, изменилась бывшая красавица-княгиня. Волосы побелели, лицо обрюзгло, тело от сидячей жизни одрябло, ослабело... Восемь лет беспрестанной пытки душевной пронесли над головой затворницы, как разрушительный ураган. Только по-прежнему мрачным огнем горят хотя и полуослепшие от слез, но еще темные и выразительные глаза Соломонии... Все долгие, тяжкие восемь лет бесследно минули для жгучей жажды мести, которую таит в душе своей эта женщина против другой, хитрой, низкой, лишившей ее и мужа, и царства, и всего!..

«Елена!..»

При одном воспоминании об этом имени холодное, немое бешенство наполняет Соломонию, ее треплет, как в лихо-

радке, и горечь ощущается в пересохшей гортани, во рту... «Елена!..»

Сколько казней, сколько мук мысленно заставляет выносить эту литвинку мстительная старуха!

От этих мысленных казней еще больше разгорается старая ненависть.

Долго жила, жила одной своей местью и ненавистью Соломония. Жадно ловила каждую злую весть о делах царства, каждую худую молву о сопернице... Выжидала, искала... Берегла каждый пенязь, получаемый ею с большого села Вышеславского, записанного на нее князем вскоре после пострижения... Копила деньги для какой-то неведомой, заветной цели и наконец дождалась.

Ночь на дворе. По кельям разошлись сестры, матушка игуменья и казначея. Огонца келий, выходящие в густой монастырский сад, еще не раскрыты. Разметавшись на жестких постелях, томясь от духоты в кельях и от неясных собственных томлений, особенно гнетущих весной, спят невесты Христовы, девушки-инокини и послушницы...

Не спит одна Соломония. Лихорадочным румянцем горит ее лицо, необычным огнем сверкают глаза. Сидит на ложе своем, простоволосая и страшная-страшная в том припадке кровожадной радости, какая сейчас обуяла старуху.

На низенькой скамеечке, обитой кожей, которая обычно служит во время молитвы старице Софии, а теперь придвинута к кровати, сидит у ног бывшей княгини средних лет женщина в монашеском одеянии, полная, благообразная на вид, с ласковым, но трусливо бегающим взором маленьких, заплывших маслянистых глаз.

Приподняв голову, впиваясь глазами в старицу, слушает сестра Досифея, что говорит ей Соломония.

— Верно говорю тебе: время пришло... Шуйские — против... Бельские — против же... Молчат только. Вишь, помогает колдунье дьявол, второй полюбовник ее, после Ваньки-то Овчины... Литву свою же родную Еленка дозволила Ваньке чуть не дотла разорить... Волшбой да клятьбой да делами содомскими помогала своему курячему воину, кудряшу глуздоумному... Теперь на Крым, на Казань снаряжаются... Ежели тут им посчастливит — не будет тогда равного Ваньке ее да ей самой!.. Долго ли тогда глупого мальчонка со свету сжить. Овчина — царем, она — царицей станет... Полюбилось ей это дело... Так, слушай... Клялась ты мне... Еще поклянись, на пытке — слова не вымолвишь лишнего...

— Матушка, княгинюшка, да как же еще? В церкви ведь, на мощах на святых!.. Вся твоя раба... Что уж тут... За твое неоставление!..

— Не оставляю... Много ты получила... И в десять раз больше дам. Все твое... Видела, сколько я припасла за восемь лет? Все тебе. С себя последний шугай сниму... сорочку останую... Все тебе. Только сослужи...

— Господи, твоя раба. Только и ты помни: жива буду — мне дашь. Коли умру... запытают, на месте ли убьют — дочке моей все... Одна у меня дочка... Дороже жизни... дороже глаз во лбу!..

— И я тебе клялась... Слово мое давала... Чего ж еще?! А, постой... Зелье-то от времени силу свою не отменит ли?

— Десять лет пролежит, хоть в огне, хоть в воде, дай человеку, и в день человека не станет!..

— Ладно. Так и ты не бойся ничего... Вот столпчики тебе... Видишь, каким боярам первым написаны... И доступ получишь... И ото всех напастей сберегут, ежели что... Видишь ли? Бери, спрячь.

Бережно взяла из рук старицы монахиня три свитка письма, перевязанных шелком и печатью восковой припечатанных. Подойдя вплотную к большой неугасаемой лампаде, горящей перед образом Божьей Матери Всех Скорбящих Радость, Досифея стала разбирать крупно начертанные буквы под разными титулами: имена и прозвища тех, кому надо было на Москве передать послания.

— Пенинские?.. Свои против своих, значит? Оболенских же они!.. Ну, да, видно, свои грызутся — чужая не приставай... Да! Все люди знатные!..

И с этими словами Досифея завернула в платок свертки и спрятала их на груди.

— Береги цидули-то. Хоть и нет там ничего ясного, да будет того, что мною посыланы... И себя, и всех загубишь, коли раньше срока объявится дружба наша. А потом все равно. Из гробу не встанет литвинка, чтобы крамолу казнить... Когда едешь?

— Завтра же, княгинюшка.

— Ин, ладно. Не проговорись где по пути али на самой Москве, что и была в этой стороне. Что со мной виделась... Ну, с Богом!..

С обычным поклоном, исполнивши метание, удалилась Досифея из кельи старицы Софии.

А старуха сейчас же кинулась ниц перед образами и стала молить, ударяясь лбом о каменный помост кельи.

— Господи! — молилась она. — Помогите! Научите... Вразумите... Дай гордыню врага сокрушить. Милосердный, попусти Еленке смерть принять мучительную... Дозволь еретичку известить!..

И горячо, со слезами, до рассвета молилась насильно постриженная старица София, прося у Неба одоления на врага...

Было это в самый день Благовещения, в понедельник, 25 марта.

Быстро и Светлый праздник Христов, Пасха приспела. Ранняя она была.

Радостно гудят колокола над Москвой, стольным городом... Подвешенные на новой колокольне каменной, еще Василием начатой и теперь только отстроенной, медные великаны колокола гулко звенят, словно за весь народ радуются. И поют их медные зевы под ударами тяжких языков хвалу Всевышнему...

Отошла великая всенощная в церквях. Опустили улицы и площади кремлевские, где перед каждым ярко освещенным храмом темно от народу было. Дозорные только на стенах стоят, словно истуканы чернеются, дремлют, опершись о древки секир или на стволы пицалей...

Зато необычные для такого позднего времени шум и оживление царят в ярко освещенных новых каменных палатах дворцовых. Разговляется там царь со своими боярами ближними, с дворней, стражей дворцовой и прочей челядью... Христосует с сотрапезниками, по обычаю.

И Елена тут же.

Уж к концу пришла святая трапеза. Руки царь омыл. Глазки слипаются.

— Мамушка! — негромко говорит он матери. — Спать хочу больно. Устал ведь. Можно ли?

— Можно, сынок, можно... Прощайся, отпускай всех...

И прощается царь.

В это время подошла к Елене мамка царева, слуга ее близкая, сама Аграфена Челяднина.

— Пожалуй, государыня-матушка...

— Что надо, говори.

— Богомолица тут одна... Старица Досифея... Из Вознесенского монастыря...

— Знаю, видывала... Что же ей? Рута пойдет им царская, как водится...

— Не то, государыня... На Афоне была она... И до Ерулима-града святого сподобил дойти Всевышний. Память-

ку оттол тебе принесла. Просфора, при Гробе Господнем свячена... Да яичко красное... Не погребуй... Дозволь челом бить...

— Как можно святыней такой брезговать?.. Пусть подходит. Где она?

— Здесь сейчас... Я и кликну ее.

— Здесь?— задумавшись, переспросила княгиня.— Да как она добилась к тебе? Почему не завтра поутру?..

— На короткое время, на разговенье отпущена царское из монастыря... Только ради просьбы ее, что тебя видеть надобно. Сама ты еще когда поизволишь в монастырь... Ведь дорого, бают, яичко ко Христову дню... А мне о ней Плещеева-боярина женка шепнула. Знаешь, дружны мы с ней.

— Плещеева? Ну, это ничего!.. Проведи Досифею сюды... Я приму от нее дар, пока царь с гостями прощается...

Так, сама ничего не зная, уговорила преданная Аграфена Челяднина Елену принять посланницу Соломонии, взять просфору и яичко красное из рук отравительницы.

Набожно на чистый плат приняла святую дань обруселая уже Елена.

А Досифея сладко приговаривает:

— Сподобил Господь... Вкуси, как Бог велел, натопах завтрава... Еще краше да здоровей, чем есть, государыня, станешь...

— Спасибо, спасибо... Знаю уж...— отвечала Елена.

Одарила монахиню, чем пришлось — и скрылась, исчезла та из виду; так же незаметно, как пришла, смешалась с толпой челяди, которая повалила из дворца за отъезжающими боярами.

Проводивши всех, сдавши дьяку-приставнику на руки ребенка-царя, ушла к себе и Елена.

Под иконы, за занавес киотный положила она дар Досифеи.

На другой день, 31 марта, поздно встала княгиня, сейчас же оделась, боярынь принимать и бояр пришлось, которые на поклон сошлись. И забыла про вчерашнее подношение Досифеи.

Только на второй день Пасхи, утром 1 апреля, подойдя к божнице, развернула платочек, увидела подарки, вспомнила.

«Грех какой... Уж поела я... Завтра не забыть бы разговеться с утра!» — подумала про себя княгиня.

И только во вторник, рано, встав с первой молитвы утренней, бережно отделила Елена кусок просфоры, освящен-

ной, как думала, самим Иерусалимским патриархом... Съела часть с молитвой и святой водой запила, что в сулейке чеканной тут в киоте стояла. И яйцо свяченное очистила, разрезала на части и съела вместо раннего завтрака.

В это самое время вбежал к матери сын старший, ведя за руку братишку.

Юрий, младший сын Василия, не походил на бойкого, живого и пригожего Ивана.

Чрезмерно упитанный, с бледным, отдутловатым лицом, он еле переваливался на своих изогнутых ножках, тупо глядел на все вокруг голубовато-серыми, прозрачными глазами и плохо даже говорил, несмотря на пятилетний возраст. За ними степенно, в сопровождении той же мамки Аграфены, вошла и двоюродная сестра царевичей, Евдокия Шуйская, на год моложе брата Ивана, данная ему в подруги, некрасивая, но тихая и послушная девочка. В руке она держала нарядно разодетую куклу.

— Мама, что ешь? Дай нам!— поздоровавшись с матерью, стал просить Иван.

— Да уж нечего. Видишь, яичко доедаю... Досифеино!..— обращаясь к Аграфене, заметила Елена.— А вот, разве просфоры хочешь...

— Дай, дай... И Юре... И Докушке...

— А вы натопах ли, деточки?

— Нет, матушка-княгинюшка... Молочком уж, известно, теплым поены... и с калачиком!— отозвалась мамка.

— Ну, так нельзя... Другой раз... Вот это пока берите...

И, подойдя к особой укладке, вынула и подала детям по писаному прянику.

Обрадованные, шумно двинулись обратно дети к себе. Здесь принялись разбирать игрушки: литые фигурки да кораблики со снастями, которые подарены были им к празднику, да яйца раскрывные, куда чрез слюдяное оконце глядеть можно и Вознесение Господне увидишь.

Играл солдатами один Ваня. Юрий, опустясь в угол у печки на ковер, сосредоточенно сосал данный ему пряник. Евдокия, как девочка, возилась с куклами, в колыбельку их спать укладывала.

Оставшись одна, Елена позвала свою ближнюю боярыню, что всегда голову княгине чесала, а сама подумала:

«Что за притча? Горечь особливая у меня во рту... Не хворь ли какая приближается? Надо матушкиного лекаря-фрязина спросить...»

Вошла чесальница, стала волосы разбирать, расчесывать да собирать.

Вдруг Елена вскрикнула.

Чесальница задрожала даже вся.

— Что с тобою, государыня? Али дернула ненароком за волосики? Так уж прости, Бога для.

И отвесила земной поклон.

Но, поднимаясь и взглянув робко в лицо Елены, она и сама вскрикнула:

— Государыня-матушка, да что с тобой?..

Елена сидела, откинувшись, бледная, с неестественно расширенными зрачками сверкающих глаз. Губы вздрагивали, словно хотела она что сказать, да не могла.

Наконец, кое-как справясь со спазмом, перехватившим ей дыхание, княгиня еле пролепетала:

— Матушку... Лекаря... За Овчиной скорее...

Чесальница стрелой кинулась. Минуты не прошло, как покой княгини переполнился встревоженным, напуганным людом, все больше женской прислугой дворцовой. Явилась и Анна Глинская, взглянула на дочь и затряслась даже вся.

— Что с ней? Говори скорее... Не мучь...— обратилась она к своему итальянцу-лекарю, осматривавшему поверхностью княгиню.

— Сейчас скажу... Прикажите выйти всем... Надо раздеть больную...

Все вышли по приказу старухи. Аграфена Челяднина, заглянувшая было тоже сюда, кинулась к детям, чуя недоброе и желая охранить их от неведомой беды...

Бурей ворвался в покой Овчина.

— Что случилось? Кто сгубил ее?..— забыв этикет и всякое стеснение, подбегая к постели, где врач уложил и исследовал Елену, вскричал боярин.

— Сгубили, верно!.. А кто — не знаю...— ответил, пожимая плечами, итальянец.— Что ела она сегодня?..

Пока звали постельницу княгини, чтобы допросить, князь Овчина припал к рукам Елены, лежавшей неподвижно, словно в столбняке, и стал целовать эти руки, обливать их слезами и тихо уговаривать:

— Очнись, голубка... Приди в себя... Скажи, что с тобой?.. Хоть глазом укажи... кто злодей?! На части разорву своими руками...

И словно услышала его больная, узнала дорогого сердцу человека... Еле вздрогнули веки... Слезы сверкнули в углах глаз и остановились, застыли там, как и вся застывшая лежала Елена.

— Не иначе как индийский яд тут один!— тихо произ-

нес, ни к кому не обращаясь, итальянец.— В чем только дали?..

Случайно взор его упал на небольшой поддон, покрытый белым платом. Здесь лежала початая просфора, освященная не в Иерусалиме, а в келье Соломонии... И скорлупа от яйца, там же крашенного и ядом пропитанного.

Не говоря ни слова никому, отослав женщину, которая явилась к допросу, врач распорядился делать горячие припарки и класть к ногам больной, всю ее обложить раскаленными кирпичами, обернув их, чтобы тело не жгли.

Сам же кинулся к себе, в лабораторию. Ясно как день стало ему, что в просфоре и в яйце заключался сильнейший яд, «столбняковый», как зовут его. И Елене вряд ли дожить до вечера.

Так и сказал он Овчине, всем боярам, спешно собравшимся на большой государев совет.

Самого восьмилетнего государя, конечно, здесь не было. Порывался он к маме, да уговаривали его: больна-де... Присит повременить!..

Когда Аграфена узнала, что сама же она Досифею, отравительницу к княгине подвела, чуть с ума не сошла мамка! Волосы на себе рвала. В ноги брату, князю Ивану, и всем боярам кинулась.

— Моя вина... Я виновата, окаянная!— заголосила она. И рассказала, как дело было.

Кинулись Досифею искать. Но в монастыре ее и не видели от Светлой заутрени от самой... И словно сквозь землю баба провалилась, хотя Овчина и другие бояре всю Москву вверх дном поставили...

На другой же день, 3 апреля, почти не приходя в сознание, скончалась Елена Глинская, полонянка-литвинка, умевшая полюбить Русь и охранять ее пять тревожных долгих лет, хотя и при помощи боярской. Чутье матери помогало правительнице. А случай избавил от ужасного дела: отравиться не только самой, но отравить и всех детей своих... Сразу внести горе и смуту в юное, недавно устроенное царство Всероссийское.

Когда привели детей прощаться к умирающей матери, впервые за сутки шевельнула она рукой, словно желая благословить малютку. А слезы, тяжелые, редкие, медленно покапались по щекам, принявшим уже фиолетовый оттенок.

Евдокия кинулась к тетке, обхватила ее тонкими ручонками, зарыдала, забилась... Так и унесли малютку...

Юрий тупо глядел на мать, на всех собравшихся вокруг... И не выпускал конца телогреи мамки Челядниной, которая привела детей.

Иван, сильно побледневший, напуганный видом больной матери, поцеловал ей руку, как ему сказали, прижался плечом к Аграфене, которая на коленях у постели Елены целовала умирающей ноги, и так и стоял... Стоял ребенок, и смутно вспоминалась ему иная пора: зимняя ночь... Огни... Черные тени вокруг саней... И на каком-то странном ложе лежит человек... Отец его, князь великий... И тоже — лицо страшное... И что-то силится сказать его глаза... Рука, тяжелая, холодная, вот как мамина сейчас, касается волос...

И вдруг, в непонятном ему самому ужасе, ребенок дико вскрикнул и затрепетал весь, потрясаемый приступом судороги...

Быстро схватила на руки мамка выкормыша и помчалась, в кроватку уложила, черным прикрыла, все лампы зажгла... Крест с мощами, которым отец, умирая, благословлял на царство Ваню, в изголовье кроватки поставила. А сама кинулась к иконам и, до крови ударяясь лбом о покров, громко стала взывать:

— Прости, Господи! Помилуй, Господи!.. Отпусти прегрешения все, вольные и невольные... Спаси, защити и помилуй...

А над телом усопшей княгини черный клир собирался отходную петь...

Только колокола кремлевские не отозвались сейчас же на печаль в доме царском — ликующий пасхальный перезвон, дрожа в весеннем воздухе, словно твердил:

— Нет смерти в мире... Только жизнь вечная под разными видами... И самая смерть ведет к жизни вечной!..

Глава VI

ГОДА 7046-й (1538), 10 АПРЕЛЯ —
7051-й (1543), 9 СЕНТЯБРЯ

Тяжелое время настало для малютки-господаря московского.

Семь дней только минуло, как мать у него так безвременно умерла, а уж «большие бояре», враги Овчины, недруги Глинских и всей дружины прежней великокняжеской, свою власть-силу стали показывать.

Утром, 10 апреля, спал еще Иван, когда почувствовал, что будит его мамка ближняя, Аграфена.

Это очень понравилось ребенку. Хотя и ласков был к мальчику дядька, приставленный с пяти лет, по обычаю, смотреть за царем, но, конечно, ребенок пестунию свою любил несравненно больше.

И теперь, в полусне, почуяв ее руки у себя на голове, заслышав ее голос, он, не раскрывая глаз, притянул мамку за шею, нашел ее ухо и капризным тоном забормотал:

— Грунька, злая... Не буди... Спать хочу! Не встану вот и не встану... Рано, поди...

И, оттолкнув Челяднину, он снова готовился уснуть.

— Ой, проснись, государь! — тревожно, но тихим, сдержанным голосом заговорила Аграфена... — Коли ты нас оставишь — кто же защитит? Я ли тебя грудью своей не питала, не выкормила?!

Иван сразу вскричал:

— Обидет! Тебя? Кто хочет? Кто смеет? Да я голову велю срубить... Я сам...

И он неодетый, на кроватке, встал во весь рост, стиснув зубы, сверкая темными живыми глазами, словно волчонок, у которого берут матку-кормилицу...

— Ой, вели... Ой, покрой, заступись за нас... За Ваню, за брата моего любезного... Сам же жалуешь его, Ванюшка... Как отец он любит тебя... А его в ночи пришли, схватили... В каменный мешок вкинули, что под двором твоим новым... Там хотят голодом уморить...

Хотя мальчик и не понял весь ужас того, что говорила мамка, но суть ясна: обидели лучшего человека после мамы и мамки Аграфены; куда-то увели князя Овчину-Телепнева.

Ребенок задыхался от негодования и злости, вдруг стихийно проснувшейся в груди.

— Кто смел?! Кто посмел?! — только и мог выговорить он.

— Посмели, Ванюшка! Птенчик, государь князь милостивый... Люди смелые, могучие... Да тише ты говори. Прокралась я к тебе... Ведь и меня хотят взять от тебя... сослать, в монастырь заточить, а то и совсем покончить, как с братцем, князем Иваном Феодорычем.

Тут мальчик даже и сказать ничего не смог. Отнять у него Аграфену? Да разве это мыслимо? Или он не царь? Не читал сам все указы, какие от его имени писались, его печатью скреплялись?! Не ему послы и воеводы и бояре глав-

ные руку целуют, на жалованье благодарят?! Не он — царь всея Руси? Юн он еще, правда, но он самодержец. И мама-покойница, и все толковали ему это. Маму смерть взяла. Смерть сильнее государей. А из людей, из русских и чужих даже, кто посмеет не послушать его?..

И, топнув босой ногой, властно выкрикнул ребенок:

— Пусть попробуют!.. Пусть посмеют взять тебя!

— Шуйские ли испугаются?! — зашептала Челяднина. — Да Палецкие, да Вельяминовы, да Бельские... Мало ли их, крамольников!.. И брата, и меня, вишь, винят... Поклеп взводят: будто мы на здоровье матушки твоей усопшей помышляли... Да если бы знали они?.. Да мне все одно, что на себя руку поднять, то и на нее было бы... Еще тяжелей... Спаси, не дай в обиду!..

— Да не плачь ты, матушка. Говорю: не дам!.. Стой, кто там идет?.. Много их! — чутко насторожась, произнес почему-то оробевший ребенок.

Челяднина вся так и задрожала.

— За мной, ох, за мной это они, злодеи... Провели, где я... На тебя последняя надежда... Спаси, не дай... Выручи!..

И, рыдая, припала она, словно к подножью креста, к ногам Ивана.

Правда, вошли бояре: Бельский да Шуйский, победоносный воевода Василий Васильевич, бывший последний «волесть» вольного, вечового Новгорода, пока не «добыл» его себе, не покорил покойный Василий, великий князь. За дверьми — звон оружия слышен... Алебарды поблескивают, пищали дулом о дуло задевают, звенят.

Хотя вошли «большие бояре» без доклада, без обычного сказа за дверь, все же низко поклонились ребенку.

— Челом бьем тебе, государь, великий князь. Каков царь в здоровье своем?

Не отвечая на здраванье, мальчик нахмурился.

— А что же вы, бояре, без зову, без доклада пришли? Не бывало так еще... Что надо? Рано... спать я хочу.

— Спи, государь. А у нас дело неотложное. Вот, ее нам и надобно лишь! — указывая на Аграфену, отвечал Василий Васильевич Шуйский.

— Ее? Зачем? Кто смеет?! Не троньте ее... Моя мамушка, и ничья больше! — начиная дрожать, звонким рвущимся голосом выкрикнул ребенок.

— Да ты не тревожься, государь! — выступая вперед, мягко, вкрадчиво стал уговаривать Иван Шуйский маль-

чика. — Твоя она мамушка, и будет так. Сама же похвалялась, что знает бабу, которая твою усопшую родительницу испортила! Помяни Господи душу княгинюшки... Так, теперь на очи надо их для правды друг дружке поставить... Для твоей же пользы государевой, по царскому твоему велению и по Судебнику...

Мальчик уже знал, что Судебник нечто важное в государстве, чему и властитель порой покоряться должен. Но слезы и растерянный, напуганный вид мамки лишили его всякого соображения.

Обхватив ее руками, он решительно сказал:

— Не дам! Сюда эту бабу ведите... Пусть здесь судят...

— И того нельзя, невозможно никак, господине. Уладыки-митрополита, на его очах суд идет... И дойти там должен до конца... Отпусти мамушку на малый час... Она ведь не ребенок малый, поймет, что волей-неволей, а надо идти... сама поймет... Пуссти ее...

— Нет, не пушу! — крикнул еще громче мальчик.

— Не пускай, не давай!.. — взмолилась, рыдая, Челяднина.

Но одним сильным движением оторвал Шуйский Василий рыдающую женщину от ребенка и отшвырнул ее к двери... Там уж ждали, подхватили, мгновенно увели ее... Ушли и бояре, пропустив к ребенку Анну Глинскую, бабушку его. Стояла она до сих пор за дверьми, в смертельной тревоге, но не смела войти...

Долго старалась привести в себя исступленно рыдающего и вздрагивающего всем телом внука старуха... Так и заснул он опять на своей постельке, обессилив от слез, от судорожных рыданий.

А Челяднину и Ивана Овчину настигла их злая судьба. Первую быстро постригли и заключили в далекий, суровый по уставу, Каргопольский монастырь. Второго же забыли в том каменном мешке, куда посадили боярина, сведя несчастного чуть не с самого трона... И вспомнил о нем только Бог: на десятый день послал за душой Ивана вестника своего... Умер голодной смертью всевластный фаворит Елены... С искованными, изгрызенными до костей руками вынут был труп конюшего, первого боярина московского, из темной глубины каменного мешка...

После описанного здесь пережитого отроком-царем тяжелого мгновенья настало некоторое затишье, хотя срав-

нительно и очень краткое... Да и то тоскливо тянулись теперь дни Ивана Васильевича. Главный боярин, Василий Шуйский, и дядьку прежнего согнал от царя, своего чело- века приставил к ребенку... Чтобы доносил тот: кто и с чем помимо Шуйских к государю заявляется?

Ничего не сказал на это притихший, напуганный мальчик. Молчал, думал больше, глядя в цветные оконницы дворца на проходящий и мимо едущий вольный торговый и ратный люд. Все они, верил Иван, голову за него сложат... Но как добраться туда, на эту площадь людную?... Как сказать?... И ребенок в голове складывал свои жалобы... Речи целые вспоминал, что говорили ему и мать-покойница, и Овчина, и Аграфена, все, словом, кто толковал ему о величии его царском. И что теперь случилось?! На советах дворцовых домашних и в большой думе, где сажали его на место царское во время приемов посольских пышных, он уж привык молчать. Но раньше мама слово скажет... Ваня Телепнев... Все люди, любившие его... И верил Иван каждому их слову... А теперь?... Нет, никому не верит он... А сидит молчит. Не знает, как самому речь начать. Запугали его. Вчера он играл в опочивальне великого князя покойного с братом Юрой и с Евдокией... Свободно, светло там... И Шуйский Иван дочь проведать сюда же пришел. Разлегся на лавке... И его нога на кровати, на отцовой, на царской... А раньше самые важные бояре, входя сюда, и стояли-то голову опустя, вот как в церкви стоят... А Тучков-боярин, из князей Курбских... Скарб мамушкин, княгини Елены, для чего-то перебирали они с Шуйскими... «Надо решить,— говорят,— что куда? В большую ли казну либо в малую?... Или в терему, в похоронки...» Раскидали охабни, душегреи ее, в которых еще так недавно, балуя ребенка, царица сына кутала. И Тучков-боярин швыряет милые вещи концом сапога. «Это,— говорит,— старье... Хлам... нам не надобно!» Кому «нам»? Мамины были вещи, значит, его теперь, царя Ивана, они!..

Думает ребенок о том, что видит, и молчит.

Повадился он в Чудов монастырь, в митрополичьи покои ходить. Сперва к Даниилу, а потом и к заместителю его, к Иоасафу... Тихо там, хорошо, лучше, чем во дворце теперь великокняжеском, стало... Ни Шуйских, ни Тучковых, ни Бельских, никого из обидчиков здесь не видеть.

А если и приходят, так чинно, тихо себя ведут, вот как при матушке, при великой княгине, покойнице...

Как, верно, и при отце Ивана себя вели... Что же, если мал он еще, так и не царь?... Неправда... Он им всем вла- дыка!

Рад малютка, что принимает его ласково Иоасаф. Спросит обычно Ивана после взаимных приветов:

— Что, государь, как наставник твой и духовник, отец протопоп благовещенский, доволен ли тобою? А, Ваня? К Слову Божию прилежен ли? Скажи, чадо.

— Прилежен, святой отче!— отвечает мальчик, бойко глядя доброму владыке в глаза. А глаза у того ясные и окружены морщинками. Но это нравится Ивану.

Что еще особенно нравится здесь ему, это столбцы писанных хартий и стопки книг, которые везде по келье у владыки разложены. Поглядит, поглядит царь да и скажет:

— Благослови, владыко, книжки почитать...

— Бог благословит... Да разберешь ли ты только книги мои? Ну, скажем, Библия... Апостол... А то ведь и эллинская премудрость попадает... Непристойного не поймешь ты, мал еще, государь... А и пристойного, гляди, не поймешь...

— Пойму, отче!— бойко отвечает Иван, не робеющий, не глядящий здесь волком, не молчаливый мальчик, а ребенок, каким надо быть в девять лет...— Все пойму... Особливо скажи: что про царей где есть? Все мне про царей знать хочется...

— Да что же тебе?..

— Да все... Как жили... воевали... людей судили... Как их люди слушали... А они карали за непокорство, за невежество...

— Ого-го! Вон оно куда пошло... Ну, читай... Вот «Книга Царств»... А то — Титуса Ливиуса на нашу речь перетолковано... Читай, поучайся...

И жадно, целыми часами читает мальчик... Про Александра Македонского, про Августа, про Юлия Цезаря... Про судей еврейских и царей, перед которыми трепетали, которых все боялись. Читает Иван, благо правители-бояре и не заботятся: где и что государь?

— А не поздно ли? Шел бы домой... С братом побыл бы, с сестрицей Дунюшкой...

Покорно встает, прощается мальчик. А сам говорит:

— Святой владыка, скучно мне с ними!.. Девчонка сестра... И роду не нашего... Шуйских она... А брат?... Какой-то

он... И не пойму я... Есть бы ему только да рюмить, чуть что... А я бы, кабы воля моя, умер бы, а не заплакал... Иной раз и сам не рад, что плакать приходится...

Гладит его по голове старец и говорит:

— Терпи, Ваня... Всем нам плакать приходится здесь на земли... Сам Господь Бог, Христос Спаситель мира здесь во плоти терпел, не слезы — кровь из глаз лил... Терпи, дитятко... Иди с Богом!.. Бог защитит тебя!..

Благословит и отпустит.

И легче на душе делается у мальчика... Словно просветлеет там...

А во дворец вернется — снова душа замутится, закипит досада, обида в груди. Уж, наверное, кто-нибудь чем-нибудь да затронет все самое дорогое ребенку... В памяти у него столько злобы, обиды и горя, что до веку не забыть... И опять сожмет губы, замолчит, волчонком ходит и глядит девятилетний великий князь московский, Иван Васильевич. Так и прозвали «волчонком» его, кто смел это слово сказать. А Иоасаф по уходе ребенка-царя сидит и думает:

«Чудное дитя государь наш малолетний... Чует детская душа, что невзгода и на него, и на Русь пришла... Да что поделаешь?.. Как оборонять и царя, и землю? Он мал, бояре сильны и грозны... Потерпеть еще надо... Эхе-хе... Да, надо, надо терпеть, пока Бог грехам терпит... Вот хоть бы насчет силы боярской, сдается, скорпии сами себя с хвоста грызть починают... Вишь, как нужно было им Овчину да со всеми его присными убрать, так Шуйские и Бельских наперед поставили... Из тюрем, из неволи их выпускали... Мол, все пополам!.. А как медведя-то свалили, пришла пора шкуру делить, гляди, сами зубы друг на дружку оскалили... Боярам Бельским одоление Господь бы послал. Все же люди, не хищные враны, как эти Шуйские... Василий Шуйский погрознее, да стар и хвор... А Иван — та гадина опасная, хитрая... Ну, да что там?! Что было, то видели; что будет, поглядим еще... На все воля Господня...»

Вздохнул и за книги свои принялся.

Старик ясно видел, в чем горе для Руси.

Из двух союзников, какими явились оба знатнейших рода Бельских и Шуйских, каждый пожелал прочнее в свои руки власть забрать, если не совсем, то хоть до того времени, когда государю пятнадцать лет стукнет и, согласно завещанию родительскому, снимается тогда с него опека боярская, сам володеть всем начнет, как предки правили...

А для укрепления власти один прямой путь: везде и всюду своих насаждать, земель побольше, угодий, денег да почету тем доставить, кто и мечом, и словом в трудную годину подсобит, выручит...

Шуйские своих тянут, Бельские — своих...

Сперва Шуйские одолели. Но году не прошло, как умер Василий, старший, воинственный брат, герой литовского похода: от гнева ярого ударом скончался старик.

Иван ему наследовал, как глава партии. Тут и окрепли Бельские, Патрикеевых к себе, Сицкого прилучили. Тучковы с ними же... И стали везде своих сажать.

Было начало смуты еще в 1538 году при Данииле-митрополите положено. Собрались, сговорились тогда Шуйские... Напали на Бельских с дружиною... Кого по тюрьмам рассадили, кого в деревню выслали... А дьяка Мишурина, ближнего слугу покойного царя Василия, прямо, без приказа государева, нагим раздели и голову прочь! — тут же у тюрем, где Бельский был засажен. Даниила на житие в дальний монастырь выслали; а на его место Иоасафа поставили.

Но мы уже видели, что думал год спустя в 1539 году митрополит Иоасаф, хотя и поставленный Шуйскими, однако не любивший их.

Летом же 1540 года, то есть еще год спустя, когда десятилетний царь пришел в один из больших праздников с митрополитом здороваться, тот ему и сказал, подавая какую-то бумагу:

— Прочти, государь... Что молвишь?

Прочел Иван, заблистали глаза. Уж многое он ясно понимать стал, не по годам даже.

— Бельского на волю пустить? Господи! Да конечно! Все же я обиды такой от него, как от Шуйских, не знал и не видел... Да как Шуйские? Разве позволяют? Вон дядя Иван и меня самого было раз чуть не прибил... Никого близко заступиться не было... Так он...

— Ничего, государь. Теперь на них, на Шуйских, все! Каждому они, — простым и вельможным людям, — всем больно солоно достались. Подписывай с Богом... Найдем, как сделать...

Подписал Иван, отдал и от радости дважды руку пастырю облобызал.

— Праздник для меня нынче истинный...

— Вижу!.. Не заросли плевелами семена добрые в сердце твоём, чадо! Бог помилует тебя за это!

И Бельский неожиданно был освобожден.

Зашипел от злости Шуйский. Но дознался, что тут митрополитова рука, отступился. Даже на совет государев ездить перестал. Дальше вести борьбу духу не хватило. Далеко ему до покойного дяди, Василия Шуйского.

А у царя и рады, что не видно злого гордеца...

Скоро новая беда постигла Шуйского с присными.

Прибежали к нему приспешники из дворцовых, продажные души, да и говорят:

— Плохо дело твое, боярин! Чего только бояре Бельские и Захарьины и Патрикеевы задумали да у царя молодого выпросили! Андрею, князю удельному Старицкому, жене его, тетке твоей, сыну их Владимиру — всем темницу раскрыли. На ихнем дворе старом, в Кремле, на воле жить всем государь повелел... Только не отъезжать никуда да на светлые очи царевы покуда не показываться.

Потемнел Шуйский, а сам криво так улыбается.

— Ничего. Еще поглядим-посмотрим, чья возьмет. У отца моего кобылка была, без меры ела и пила, пока не лопнула. На свою голову литовский волчонок волю забирает да врагов своих лютых на волю пускает. Что дальше... поглядим!..

А дальше — больше пошло.

С митрополитом, с боярами заглянул Иван в одну из мрачнейших тюремных келий особой, крепкой палаты, где много-много лет в тяжелых оковах сидел Димитрий, удельный князь Угличский. Юношей посадили князя. А теперь дряхлый старец угасает в тюрьме...

Таков уж обычай был у московских великих князей в годы возвышения Русского царства: как воцарялся новый князь, так дядьев, братьев, всех ближайших соперников, всех родных, которые могли бы за престол в спор вступить, скорее таких по тюрьмам да в схиму ссылали...

Сжалось сердце у мальчика, когда он увидел дряхлого князя Димитрия, родича своего. Волосами узник оброс... Борода как у лесного отшельника. От воздуха спертого, тяжкого желтый лицом старик, как остов, худ и страшен.

Сказали ему, кто пришел. Совсем отвыкший от мира и от людей, полуодичалый старец поднялся и, гремя цепями, отвесил поклон юному великому князю.

Вздрыгнул от звука этих цепей мальчик. Сам быстро-быстро Бельскому зашептал:

— Снять... снять с него эти цепи скорей. Прошу тебя, князь.

Дал знак боярин, живо расклепали наручники, ножные кандалы сняли.

Старик стоит, не шевельнется. Словно и не ему милость оказана.

— Что мне сделать? Как порадовать его? — шепчет снова царь-мальчик боярину.

— Сам подумай... Его спроси...

— Да, да. Князь Димитрий, чего хочешь? На волю? Или чего? Скажи... Я все сделаю...

— Ты кого... спра...шиваешь? — с трудом, отвыкнув почти от членораздельной речи, зашамкал старик. — Димитрия, князя Угличского? Так нету его... Давно помер... А мне, рабу Божию, ничего не требуется. Смерти жду... Скорее бы пришла... Да вот разве Псалтырь новый... Затрепал я свой... Хотя и так весь знаю, да все лучше бы... А больше ничего... Жизни не вернешь мне... А без нее и свобода мне ни к чему... Я здесь прижился...

И умолк. Снова стоит, словно мощи живые...

Вышли тихо все, как из склепа могильного, из кельи той тюремной...

Послал Иван старцу лучший, любимый Псалтырь свой и другие книги божественные... И от стола посылал блюда. Но сравнительная свобода и радость, после полувека страданий, словно подкосили последние силы старика, и он тихо угас, все время почему-то твердя:

— Не столько радости будет о девяности девяти праведниках, сколько об одном раскаявшемся грешнике.

И так затих.

Но еще это не все. По дальнейшему «печалованию», по просьбам Иоасафа, дозволил царь дяде Андрею с женой и детьми на святой Рождественский вечер во дворец прибыть, за стол его с собой посадил. И здесь великую милость явил.

После трапезы подозвал дядю и говорит:

— По доводу святого отца митрополита, с решения царской думы нашей и нашим хотением, возвращаются тебе, государь дядя наш, князь Андрей Иванович Старицкий, все уделы твои, как дедом Иваном еще было жаловано. Отпускаются вины и измены прошлые, а на-

предки тебе нам верой и правдой служить, как крест целовал.

Сказал, а сам горит, лицом зарделся весь, исподлобья глядит, в лица окружающих всматривается: так ли, хорошо ли, складно ли сказал, все ли упомянул, что митрополит да бояре ему сказывали? И видит: ропот хороший кругом пошел... Старики — головами кивают. Молодые — между собой перешептываются... Значит, все хорошо. От восторга даже слезы невольные выступили на глазах у самолюбивого, чуткого мальчика.

И все-таки хорошо пошло, да недолго, жаль. Году не прошло, а 3 января 1542 года гроза нагрянула, все от того же повета, от двора Шуйского. Извелся князь Иван Шуйский, думу думаячи. Сердце одна мысль только и жжет: растет, крепнет царь Иван. Говор про дела ребенка милосердного в народе пошел. Раньше словно и не знали на Руси об Иване Четвертом, царе-отроке. А теперь, где тот ни появится, толпа собирается... Здравствуют, «многая лета» кричат... Еще два-три года так пойдет, и с волчонком вовеки не справиться... Бельские совсем одолеют, хоть на Литву всему роду Шуйских уходить... Не может быть этого.

Решился тут Иван Шуйский на последнее. Из Владимира, где жил после опалы князь, засновали гонцы. И в Москву скачут к заговорщикам-боярам, к друзьям Шуйских, к недовольным новыми порядками... И в Новгород, в прежнюю вотчину Шуйских, в былой вольный город вечевой вестники поскакали...

Все новгородцы на клич сошлись. В ночь со второго на третье января Шуйские в Москву прибыли, в город проникли. И триста человек с ними дружины, сильной, на все готовой, оружием увешанной...

Сторожа во дворе Бельского кто спал, кто подкуплен был, других сразу захватили: крикнуть, тревогу поднять не дали.

Проснулся, вскочил Бельский, когда уж в соседней горнице шаги раздались.

— Кто там? Ты, Алексеич?— спрашивает.

Думает: дворецкий по делу какому спешному. А уж полночь пробило давно.

— Василич, а не Алексеич!— вбегая со своими приспешниками, крикнул Шуйский.

Опомниться Бельский не успел, к оружию не поспел кинуться, как уж связан был, кое-как одет, в телегу брошен и

вон из Москвы с рассветом вывезен. В заточение далеко увезли его, в крепость на Белоозеро... А потом, чтоб совсем спокойно спать, поехали в мае туда трое холопей Шуйского и удушили князя. На сеновале спрятался он было... Здесь и нашли его, в сено сунули головой, сами навалились сверху, пока не задохнулся несчастный. Князя Петра Щенятева и Сицкого, вдохновителей Бельского, тоже забрали, по городам рассадил.

В испуге вскочил юный царь Иван, крепко спавший давно, когда влетел к нему бледный, окровавленный весь Щенятев. А за ним и новгородские буяны, пьяные, срамные, с криком да гомоном, в шапках, к Ивану в покой ворвались... Не было достаточно стражи во дворце.

— Стойте, холопы... Что вы?! Как вы смее!— крикнул было царь.

— Ишь ты: холопы!.. Как поет! Тоже приказывает! Молод еще. А мы и сами с усами, гляди: нос не оброс!

И с глумлением, с прибаутками потащили вон Щенятева. Часу не прошло, вбежал сам митрополит Иоасаф, очевидно, не зная, что здесь произошло.

— К тебе прибегаю, государь!.. К владыке земному... Агаряне нечестивые в Чудовом обложили меня. Я в Троицкое подворье... Там запрюсь, думаю. Да ведь черно от силы от ихней идумейской, дьявольской!.. И сам антихрист, Шуйский Иван, ведет... Спаси, государь... Стражу клики...

Но стража ни к чему не послужила. Малое число людей Бельский ставил во дворце, опасаясь дать отроку Ивану в руки много ратных людей. Теперь сам поплатился за это.

Вторично с криком и гомоном ворвалась буйная, дикая, полупьяная ватага в покои царя.

Во главе — Шуйский Иван.

— Как посмел ты без приказа моего с Владимира съехать?— перепуганный насмерть, но бодрясь еще, спросил строго юный великий князь и выступил вперед...

Толпа назад подалась. Иоасаф в это время успел через другую дверь вон убежать и кинуться в Троицкое подворье.

Шуйский на слова царя грубо оттолкнул его от себя и крикнул:

— Молчи, литовское отродье... Волчонок молодой... Иоасафа лучше головой нам выдай! Изменник он земле, и сместить его надобно, иного пастыря стаду дать...

Вне себя от обиды, от грубого толчка, мальчик остервенел... С пеной у рта схватил со стола у постели тяжелую книгу с застежками в кожаном переплете и ударил ею обидчика.

Шуйский успел уклониться... Слегка только поцарапало висок ему углом... Еще грубее и более злобно схватил боярин мальчика и швырнул его на кровать. Падая, тот ударился головой о край деревянной стенки... Весь вытянулся, затрепетал, и сильнейший, еще небывалый с мальчиком, припадок судорог тут же начался...

— Ну, ладно, оздоровеешь... — крикнул бездушный крамольник и кинулся со всеми по следам Иоасафа, к Троицкому подворью...

Совсем дикая сцена разыгралась там.

Новгородцы не только ругали, поносили старца, но и удары стали ему наносить...

— Братья! Отчичи! — вне себя крикнул троицкий игумен Алексей. — Какой грех творите, подумайте... Именем святого Сергия молю и заклиная вас: не касайтесь главы священной...

— Главы?! Да мы и не по главе можем! — глумливо заголосили злодеи. Но все-таки сдержались.

В Кирилловом Белоозерском монастыре заключили Шуйские Иоасафа, а на митрополичье место посадили «старателя своего», — новгородского же архиепископа Макария, давнего друга царя Василия.

Главное было сделано: власть вернулась в руки Шуйских. С ними ликовали и Палецкие, и Кубенские. Но душа заговора, князь Иван, не пожал плода от злодеяний своих: через год его не стало. Отравили, говорят...

На первое место стали Иван да Андрей Михайловичи Шуйские да Шуйский-Скопин, князь Феодор Иванович...

Год прошел еще.

С той ужасной ночи и после сильного припадка падучей круто опять изменился великий князь. Замолк, побледнел, осунулся... Не слышно стало смеха частого, который так и звенел раньше в каждой горнице, где Иван с братом играл либо с ребятами голоусыми. Это все были дети бояр и дворян значительных, которые наверху, в царских покоях воспитывались, как сверстники отрока-царя.

Отстал от игр Иван. Читает только по-старому много; еще больше прежнего.

Из «верхних» ребят любимец у него объявился, старше его года на три-четыре, Федор, сын Семена Воронцова.

Испорченный средой дворцовых рынд, заменявших пажей при московском дворе, Воронцов рано дал волю своим похотям и сумел пробудить их в царе.

Конечно, зло скоро было замечено. Но Шуйским казалось, что это даже к лучшему. Надо было охладить народное расположение к нему.

И сначала Воронцова терпели, позволили развращенному мальчугану портить сверстника-государя своего.

Иван позабыл и любимые книги, и прежние забавы, словно совсем отупел; только и делал, что по углам сидел да секретничал с Воронцовым, в сад уходил с ним, в аллеи темные... У себя в опочивальне оставлял, «для охраны», как он говорил, «если опять нездоровье с ним случится». А припадочки стали все чаще повторяться...

Скоро враги Шуйских с присными своими стали подумывать, что можно сделать через Федю. Через отца Воронцова, падкого на подкуп, стали они сына его учить, как надо вооружать Ивана-царя против правителей.

— Знаешь, Ваня, — мягким голосом, с ленивою, томною манерою стал нашептывать как-то вечером Воронцов Ивану, — Шуйские-то всю казну отца твоего себе перетаскали... И сейчас не столько добытку в твою казну идет, сколько к их рукам прилипает. Ты бы отца моего к казне большой приставил... Вот тогда заживем мы с тобой...

— Ну, что ты?! Не видал разве, миленький, как они со мной? Не чинятся ничуть... Словно они государи, а я ихний вотчинник.

— Да сам виноват!.. Пригрозить не умеешь.

— Чем грозить-то?

— Вот на! Да откуда сила у них? — повторяя натверженный отцом урок, заговорил Федор, и по виду, и по речи похожий не на юношу, а на переодетую девочку. — В чем сила, знаешь ли? В имени твоём царевом!.. Напиши на лоскутке бумаги имя свое... Да хоть мне или отцу моему в руки дай... Я любому воеводе прикажу перехватить их да удавить... Нынче же... А то скажи им раньше: «Мол, если не сделаете по-моему, на площадь выйду... На Лобном месте стану, клич кликну: «Народ православный, люди московские!.. Кто заступится за меня, спасет от боярского своеволия?..» И струсят они тут же! Уж помяни мое слово!..

— Хорошо, Федя. Хорошо, миленький!..— пообещал царь-мальчик другу и скрепил поцелуем обещание.

Все исполнил, все повторил при первом же случае Иван, что Федя ему говорил. Дело было в Столовой палате, на обычном совете государевом 9 сентября 1543 года.

Нахмурились Шуйские, зароптали Куренские, Пронские, Басманов Михаил с ними и Федька Головин.

— Что за речи негожие? Откуда их взял ты, государь, не потаи!..

— Ниоткуда не взял!— упрямо хмурясь, ответил государь.— Сам я так надумал, решил... Сам так и сделаю... Пиши, дьяк!..— обратился он к дьяку палатному.

Тот, не зная, что делать — писать или нет?— переводил глаза с Шуйских на Ивана и обратно.

Андрей Шуйский, теперь первый в роду, только бровью повел — и дьяк застыл в своей прежней бесстрастной позе, словно и не слышал слова царского.

— Пиши, говорю, собака!— крикнул, бледнея, отрок.

— Потерпи малость, государь... Все будет написано и сделано. Да обсудить же малость дай... Не простая вещь... Вишь, Воронца Сеньку к большой казне приставить... Волка овечье стадо стеречи... Не изменишь ли волю свою государскую?

Тринадцатилетний, но много в жизни изведавший мальчик почувствовал, что глумятся над ним. Он постарался не выйти из себя, чтобы не потерять преимущества над мучителями.

— Нет, не переменю моей воли государевой...— спокойно по виду ответил Иван. Только какая-то больная струна зазвенела в звуках голоса.

— Что делать, видно, исполнить придется...— мигнув единомышленникам, опять мягко процедил Шуйский.— А еще, отче митрополит, ты попроси: не уважит ли твоей просьбы пастырской строгий наш царь-государь.

— И то, сыне!— медленно, убедительно и плавно заговорил ставленник Шуйских, волей-неволей покорный им, Макарий.— Не отменишь ли? Казна твоя большая хорошо оберегается... И малая тож... За какую провинность людей сменять? Не водится... Ну, скажем, если уж так тебе твой слуга люб, иначе чем возвысь его...

— Царь я или не царь я?..— крикнул мальчик, забывая даже почтение к сану святителя.— Его, вот его!..— указывая на сидевшего словно на горячих углях Семена Ворон-

цова, заговорил быстро царь.— Его к казне... Нынче же. Не то клич кликну... Народ на вас подниму, на мятежников...

— Вот оно что!— бледнея от ярости, заговорил Шуйский.— До того уж дошло... Царь на верных слуг своих, на бояр на первых, народ натравить желает... Ну как по-твоему не сделать теперь?! Его? Его вот... к казне большой?! Ну, а змееныша этого, содомское семя нечестивое, который и тело и душу тебе поганит?— указывая на стоявшего за местом царевым Федора Воронцова, загремел боярин.— Его куды?.. Уж не на мое ли место?.. И сказать народу: за что он тут от царя посажен!.. Что народ скажет? А?.. Иди, садись, голубчик...

Вплотную подойдя к женообразному, оробевшему от неожиданного поворота дел Федору, Андрей Шуйский повлек наперсника-юношу к своему месту, прочь от Ивана...

Окружающие поняли маневр... Вскочили... Кто окружил великого князя Ивана, другие стали тащить прочь из покоев Федора... Засверкали ножи в руках.

— Убить... Убить гадину, что промежду царя и бояр рознь сеет!— первый крикнул Шкурлятев-князь.

С воплем рванулся на помощь другу Иван, но плотной стеной стояли тут бояре: и Пронские, и Палецкий...

Затем, когда уже увели Воронцовых, сына и отца, совсем вон из палаты, и эти бояре вдогонку побежали...

Оборванный, избитый, бледнее смерти, мотался в руках палачей Федя и молил о пощаде. А те все тащат вперед, из горницы в горницу, на дворцовое крыльцо...

Иван кинулся на колени перед митрополитом.

— Святитель! Заступись... Только бы они, злодеи, не убили его... Пусть все будет по-ихнему!.. Беги скорее... Как хотят, стану покоряться им!.. Только бы не убили его, Федю!..

Встал, пошел Макарий, высокий, сухощавый, на ходу слегка раскачиваясь...

К Морозовым, сидящим тут же, в стороне, печальным и молчаливым, к ним ринулся юный князь.

— Вас чтут бояре, чтит народ... Ради Спасителя, молю: застойте за Федю...

Встали Морозовы, пошли на выручку...

В сенях дворцовых видят: сгрудились все. Угрозы звучат... Ножи в руках...

Стал просить Макарий:

— Чада мои, Бога вспомните!.. Не проливайте крови под сенью царевой... Молод, глуп парень... Сослать — и то кара будет ему!

И Морозовы голос подали:

— Опомнитесь, бояре... До народа еще долетит о нас худая молва. Что хорошего? И царь не всегда в молодых годах пребудет. Попомнит услугу вашу.

Потешившие свою душу над обоими Воронцовыми бояре успели остыть на воздухе.

— Ну, ин ладно! — отозвался запевала, Шуйский Андрей. — Взашей их с крыльца... Эй, стража, подбери-ка казначеев княжевых, господарских!..

И когда кубарем слетели со ступеней сброшенные вниз оба Воронцова, их подхватили стражники Шуйского и повели в тюрьму.

Иван видел это в окно. Не успел вернуться в Столовую палату митрополит, как отрок кинулся к нему:

— Спасибо, отче... Видел я: вызволил ты несчастных. Век тебя не забуду... Еще прошу: поди, от меня Шуйских моли: недалеко бы их... В Коломну бы их, чего лучше?.. Пусть там пока что проживают Воронцовы, если уж из Москвы их выбить задумали... Вон шумят бояре на крыльце... Толкуют, видно: как дальше им быть?.. Скорей иди, отче!

Опять вернулся Макарий на крыльцо.

— С чем опять? — окрикнул его Фомка Головин, особенно не любивший Воронцовых и недовольный, что не дали ему прикончить недругов.

Макарий передал просьбу царя.

— В Коломну? Ишь ты!.. А то еще в Тверь, благо Москва она двери! — с издевкой подхватил Фомка. — Поди скажи царьку своему: без Федьки девчонок немало на Москве... Ступай, ступай...

Яростно надвигаясь на Макария, чтобы заставить его уйти, Фома тяжелым, подкованным сапогом наступил на край его мантии, и затрещала, разрываясь, крепкая ткань.

Макарий не сдвинулся.

Так же мягко, плавно и внушительно, как всегда, он произнес:

— Да сбудется реченное Пророком: разделили ризы мои между собой и об одежде моей бросали жребий.

Услыхав такой упрек, сравнение их с мучителями Христа, бояре сдержаться захотели.

— Иди, отче, с миром к царю и скажи: в Коломну — больно близко для изменников и воров ведомых... На Кострому мы их сошлем... — сказал Андрей Шуйский.

Молча выслушал ответ бояр Иван, без звука, низко поклонился святителю и прочь пошел в свою горницу.

Не плакал уж он, не приходил в ярость, как в другие разы... Шел медленно, словно и не видал ничего вокруг... Вот уж у себя в покое он...

Сидящий здесь десятилетний Юрий, которого всегда любил и ласкал государь-брат старшой, тот, несмотря на всю тупость свою, когда увидал страшное, перекошенное злобой, лицо Ивана, не осмелился даже подойти к нему. Притихла и Евдокия Шуйская, двоюродная сестра Ивана, тут же, как мышка, прикорнувшая под надзором няньки, боярыни неважной...

И хотела, да боялась малютка подойти спросить: что с братцем, всегда таким веселым и ласковым с ними, с «малышами», как звал Иван ее и Юру, гордясь своим старшинством.

Молча дошел Иван до окна, в глубокой нише которого два выступа по бокам сделаны, словно скамейки две, и ковриками перекрыты...

Не сел он, а так, стоя, глядел на площадь в раскрытое окно.

Вдруг что-то живое, мягкое завожилось у ног его.

Взглянул он: это любимый котенок Евдокии, которого и сам Иван порой баловал. Теперь котенок подобрался к ногам государя, стал лапкой за кисть сапожка сафьянового поигрывать, мурлычет еле слышно, ласково...

Вдруг с каким-то яростным, глухим, горловым взвизгом, скорей похожим на вой зверя, чем на крик человеческий, поднял ногу Иван и с быстротою молнии ударил медной подковкой по голове бедного зверька... Тот и не мякнул... Раздробился, почти сплюснулся череп... А Иван продолжал топтать ногами трепетавшее мягкое тельце зверька и глухо, хрипло шептал при этом:

— Андрею — так... Фомке — так... И Алешке... И Шкурлятеву... И Кубенским... Так... так... так...

И вдруг, нагнувшись, схватил истоптанное животное и с каким-то необычным, залихватным хохотом швырнул из окна туда, вниз, в шумную народную толпу, снующую перед дворцом...

Нянька в испуге выбежала... Дала знать митрополиту и большим боярам, что с государем неладное творится что-

то... Евдокия сначала окаменела от страха и жалости за своего котенка, но вдруг опомнилась... Кинулась сперва к братцу... Потом к дверям... Словно побежать хотела туда, на площадь, где окровавленное, измятое лежало тельце ее любимицы... Но тут ее переняла возвращавшаяся нянька...

А Иван, заливаясь все тем же больным, истерическим хохотом, повалился на выступ у окна. По телу, по лицу у него стали пробегать частые судороги, предвестники обычного припадка падучей...

Часть II

СВЕТЛАЯ ПОРА

Глава I

ГОД 7051-й (1543), 29 ДЕКАБРЯ

Большое «гостеванье», пир честной идет в новом доме дьяка посольского, богатого новгородского вотчинника Федора Григорьевича Адашева.

Совсем недавно приехал Адашев со всей семьей на Москву, а повезло ему. И службу хорошую доброхоты доставили, и двор такой, хоромы новые вывел он — каких в Новгороде не имел.

Положим, не зря снялся дворянин со старого пепелища, поехал нового счастья в новом краю искать.

Кроме торговых и родственных связей, какими зачастую новгородцы обзаводились среди москвичей, своих менее богатых, но более могущественных соседей, у старика Адашева нашлись два особливых помощника. Два добрых приятеля живут в Москве белокаменной, которая теперь не одной силой и значением государственным, но и красотой своих новых строений стала затмевать древний град Святой Софии, стремясь стать третьим Римом, опорой христианства на северо-востоке Европы.

Один из этих двух — Макарий, бывший архиепископ Новгородский, теперь митрополит Московский и всея Руси.

Другой — коренной новгородец, земляк и старинный благожелатель Адашевых — Сильвестр, отец протопоп Благовещенского собора кремлевского, переведенный сюда еще Иоасафом, но живущий дружно и с Макарием.

Года полтора-два всего, как иерарх верховный Макарий переехал в Москву. И тогда же, в числе нескольких других сторонников своих, уговорил он Адашева переселиться за собой.

— Все же свои люди там будем, не совсем одни заживем в чужой стороне! — полушутя-полусерьезно объявил умный пастырь Макарий, когда узнал о своем назначении на митрополичий престол.

— Оно, слова нет, сам князь Андрей меня ставит... Да

сказано: «Не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие...» Нынче князь Шуйский таков, завтра инаков. А оно — чем выше сести, тем больней упасти! Не так ли, отец протопоп? — обратясь к Сильвестру, бывшему при разговоре, продолжал Макарий, глядя на него открытыми, ясными глазами и медленно перебирая зерна топазовых четок, похрустывавших своими острыми гранями.

— Тебе ли не знать, отче?.. Видали мы, куды из митрополичьих-то покоев угодить можно! И скоренько!..

— То-то ж! А твой сын и ты, Федя, мне же надобны будете... — снова обратился к Адашеву пастырь. — Ты — правая рука мне в делах... А сын — в книжной премудрости помощник... Светлый разум ему Господь дал. Если когда захочет священный сан принять — до большого достигнет. И разумом светел, и духом чист!.. Люблю его, прямо тебе говорю, Федя! — обратился Макарий к Адашеву.

Тот только низко поклонился на добром слове:

— Твои люди, владыко. Как прикажешь. Хошь завтра ж сберуся, опричь хором, с всем двором, и с чадью, и с домоладцами!..

Сказано — сделано.

На Москве сперва Адашев всей семьей у дружка одного встал, благо широко строились тогда люди, которые побогаче. Труд — почти даровой, кабальный по большей части. Лесу — за алтын — на рубль навезут. Круг Москвы такие леса стоят, взглянуть на верхушки дерев — шапка валится.

Двух месяцев не прошло, осень еще не подкатила вплотную, а уж Адашев новоселье справлял.

А теперь вот, год спустя, опять большой пир у него. Третье декабря, Феодора, ангела своего, чествует хозяин.

Все исправил он честь честью. В шестом часу утра стоял уже с двумя челядинцами в сенях митрополичьих со своим именинным пирогом. Тут немало уже набралось и другого люду. Кто — с такой же нуждой, как сам Адашев. Кто — благословенья на свадьбу детей, на постройку новых хором или на иное какое житейское дело у владыки испросить. Всем двери раскрыты.

Отошла ранняя служба. Впустили в палату просителей и поздравителей. Макарий уже был предупрежден: кто, зачем. Служка всех опросил и доложил ему.

Для всех и каждого нашлось ободряющее слово пастырское. За дары иконами всех мирян отдалил владыка. На строение на новое тоже иконами благословил.

С Адашевым особенно долго и ласково толковал Макарий.

Отпуская его с благословением и передавая образок великомученика Феодора, князя черниговского и ярославского, митрополит спросил:

— Так нынче, думаешь, все порешите?..

— Нынче, отец святой. Нынче. Так все толковали...

— Ну, в добрый час. Оно давно пора... Иди с миром!..

Осенил его крестным знаменем и отпустил.

Двор Адашева, как человека пришлого и незнатного, уютился не в самых стенах Кремля, где имели свои хоромы только старые дружинники да бояре знатные или родичи и слуги царевы.

Построился Адашев у Никольских ворот, неподалеку от Земского двора, подле высокой Кремлевской каменной стены, от моста недалеко тоже, что через Неглинку-реку перекинут был, соединяя Китай-город с Заречной частью, с Загнетименьем.

Мост этот — широкий, с крытыми лавками и помещениями по бокам, наполовину деревянный, наполовину каменный — вел в Белый город. Здесь всегда кипела торговля и жизнь. Слово гнезда ласточек, лепилось жилье человека по бокам широкого мостового проезда.

Откупив для себя довольно изрядный клочок земли, Адашев основательно обстроился, обведя высоким, крепким тыном тот поселок, каким явился его новый двор. Тут были и собственные жилые палаты, и женские терема, и даже особая храмина вроде часовни или крестовой палаты больших бояр; здесь утром и вечером, а то и трижды в день собиралась на молитву вся семья с чадами и челядинцами.

Для последних были вытянуты людские избы попроще: летники и зимники; там же, в глубине двора, тянулись стойла, конюшни, амбары, клетки и кладовушки. Словом, все как быть должно, включая и сад, довольно густой и обширный, с прудом и беседками.

Все отдельные жилые срубы, кроме черных, людских изб, соединялись галереями, ходами, переходами и лестницами. Более низкие жались к высоким; пристройки и приделочки были налажены всюду и понемногу еще росли, по мере надобности или увеличения семьи и средств у хозяина.

Здесь в миниатюре повторялось то же, что с палатами царскими, митрополичьими, боярскими... Что со всей Русью творилось в этот период ее нарастания и устройства. Жилось широко, и прилаживался каждый к своему вкусу и но-

рову, не заботясь особенно о соседе или хотя бы о вопросах общественной целесообразности.

Впрочем, и смысл был в таком раскинутом построении. В случае пожара, которые были часты и сильны в те времена, если часть деревянной усадьбы сгорала, другая часть могла уцелеть и дать приют, пока наново хозяева отстроятся.

С прошлого вечера приборка шла в доме: наутро знатных гостей ждут. Правда, не велик боярин Федор Адашев да пришлый он, с ним не так чинятся, с выходцем новгородским. Известно, новгородцы — люди мирские, вольные... Да сам митрополит к Федору Григорьевичу как-то изволил пожаловать. Сын Федора, Алексей — один из любимых юношей-дворян у митрополита. А это много значит для небожных бояр.

И сразу словно своим стал незначительный посольский дьяк у таких родовитых князей и бояр, как Глинские, Челяднины, Годуновы. Даже у самих Мстиславских и Шуйских — Адашеву прием и почет.

Все они нынче обещали «побывать» на часок, именинного пирога откусать, хозяину здравия и долголетия пожелать за чарой вина доброго...

И собрались рано, по обычаю... После полудня.

Все почти тут: боярин Захарьин Роман Юрьевич, отец Анастасии, будущей царицы московской; Челяднин Иван Андреевич, охотничий царский, любимый молочный брат юного царя, хотя и много старше он Ивана Васильевича; князь Михайло Курбский пожаловал, Иван Годунов с ним, отец Бориса, будущего государя самоставленного; Воронцовы тут, Илья да Матвей, дальние родичи сосланных недавно любимцев царских: Федора и отца его... Михайло и Юрий Васильевичи Глинские пожаловали, дядевья царские, давние враги Шуйских. Курлетьевых двое, Бельский Яков, Ховрины-Головины, старинный род, из Сурожа-града выходцы, родня тем Головиным, что Шуйского руку держат, только не заодно они с родичами. Князь Хованский Андрей Федорович здесь, тесть будущий Владимира Андреевича, князя Старицкого, двоюродного братца царского.

Федор Бармин, как один из самых почетных гостей, в переднем углу сидит. Он духовник юного царя.

Не любит хитрый поп нового митрополита, не любит и Глинских, которые среди собравшихся — первые, но сильней всего не любит он Шуйского Андрея.

Обманул верховный боярин Бармина. Архиерейство за постоянную помощь, а там — и клобук митрополичий попу обещал, да все водит, все манит... Решил порвать с перво-советником Федор. А для этого надо с Глинскими подружиться.

Федор Михайлович Мстиславский-князь, прямой Рюрикович, с сыном приехал, с юным Иваном, кравчим и близким человеком у юного царя. Старик — тоже один из первых в думе после Андрея Шуйского. Недаром покойный царь Василий Иванович женил князя Федора на единокровной племяннице своей Анастасии, рожденной от крещеного царевича казанского Петра и от Евдокии, родной тетки царя Ивана малолетнего.

Таким образом, Иван Федорович, рожденный от брака Мстиславского с Анастасией Петровной, хоть лет на семь и старше юного царя, но доводится тому троюродным племянником.

Заглянул на пирушку и родич князя Федора, молодой стольник Иван Дмитрич Мстиславский.

Сабуров-боярин тут, Иван Иванович, Замятня-Кривой прозвищем. С другими приехал и смелый воитель, происходящий от древнего колена Суздальских волостей и князей, отважный воевода, князь Александр Горбатый, Кубенский Иван и немало других еще — богатых и знатных.

Конечно, припожаловали и сослуживцы Адашева по приказу, но, видя, в какое блестящее общество попали, не стали очень засиживаться. Да и столы для почетных гостей поставлены отдельно от общих, где помельче люд сидит.

Этим накрыли столы в сенях, больших и светлых, заменивших в те времена приемную комнату, и в трапезной людской, большой чистой горнице, особенно парадно прибранной и изукрашенной теперь. Полы застлали циновками, и полавочники полстяные набросили на деревянные лавки, что вдоль стены тянутся.

Перед каждым крыльцом везде рогожи большие, по несколько штук разостлано: ноги от снега отирать, чтобы в хоромах не наследить. Рогожами новыми, чистыми переходы и полы везде устланы. А в иных покоях, где знать перед обедом собираться должна, и в самом столовом покое даже циновки узорчатые и дорожки белые положены. Недаром из Сурожа Адашев родом. Знает, как надо дом обрядить по хорошему. И то про итальянцев-сурожан толк идет, что у них порой «хоть и в брюхе шелк, да на брюхе шелк». Умеют товар лицом показать! Стены в покойчиках «собинных»

у Адашева и коврами увешаны, и вещами дорогими, зтейными заставлены.

Шубы да охабни свои гости на крытом крыльце да в обширных сенях снимали, сами в кафтанах за стол пошли. У шуб люди стоят наготове и для береженья, чтобы путаницы не вышло.

Самый пир тоже не зря налажен. Поклонился Адашев боярину Мстиславскому, доброму и ласковому, тот отпустил на весь день своего дворецкого домом править у Адашева. Слуги домашние помогают важному, толстому распорядителю, который ростом и дородством любому вельможе не уступит.

Обещал ему именинник «поминки» хорошие. Да и есть за что. Накануне еще осмотрел Молчан Всячина — так звали дворецкого — поле сражения: запасы и вина приготовил, поварам, тоже нанятым, приказы отдал. А теперь, видя, что дворня Адашева, хотя и большая, все же неопытная и с порядком не справится, отобрал из челяди, которая во множестве за господами приехала, по одному, а то и по два от каждого гостя и к делу приставил. Все как по маслу пошло. Привычны челядинцы к боярским пирам широким, и каждый знает свечаи и обычаи господина своего: что любит, что не любит тот да как ему служить... Все дворецком говорят. Тот слушает и налаживает. А челяди любо: и на пиру подоночки перепадут, и алтын-другой подарит уже хозяин за услугу.

Так все хорошо и чинно пошло, словно бы равный равных у себя принимает, а не случайник-угодник боярский своих покровителей и милостивцев чествует.

Сияет Адашев. Всюду поспевает, повинуюсь указанию толстого Молчана Всячины. Два сына: Алексей да Данилка-подросток — помогают отцу.

Шум и гам на дворе и в избах людских; в поварнях — шумный ад! Двор людьми и колымагами заставлен.

Даже на улице перед широко раскрытыми, обыкновенно крепко притворенными воротами сани и возки стоят. И внутри двора, в саду, где он граничит с задворками, место немного расчищено, верховые кони стоят тех гостей, кто верхом приехал. Сено всем лошадям брошено, овес даден. Иные гости свои запасы привезли, другим — выдали. Стоят, терпеливо дожидаются кони, изредка вздрагивают, ушами поводят, фыркают.

Конюхи и кучера, что сторожат коней, в кучки сбились, толкуют, пьют и закусывают тут же, благо и о них вспом-

нили. Молодые парни галдят: борются, шутки шутят. И стон стоит во дворе и в избах людских, где челядь, приехавшая с гостями, тоже ест, пьет и угощается.

Как поели, стемнело уж, лучины и каганцы тут зажгли, домры и балалайки зазвенели, пляс и песни начались... Не отстают черные люди от бояр и князей, поминают Феодора, ангела хозяйского.

Столованье в палатах хозяйских тоже отошло. Свечи в люстрах и лампадки везде засияли. Немало гостей разъехалось, особенно из тех, кто попроще. А знатные бояре разошлись вволю. И не думают восвояси собираться.

Все как-то «свои» подобрались, словно по уговору, и как дома себя чувствуют. Смех, шутки...

Люди они не старые: кому тридцать-сорок, редко кому пятьдесят. И выпить охочи, как все тогда это делать любили. А погреб у Адашева на редкость! Недаром он и самому митрополиту фряжские вина выписывал! Только пьют-пьют гости, а сами друг на дружку поглядывают, словно ждут чего. Толкуют про дела семейные и государские. Туго что-то жить стало.

Конечно, хвалят отсутствующего первосоветника и чару про его здоровье пили после чары государевой... Нельзя иначе. Здесь за столами много сидит заведомых «ласкателей», «похлебников» князя Андрея Шуйского... Да, верно, и среди челяди, шныряющей за услугой между столов, немало есть «послухов», подкупленных шпионов властолюбивого князя. Известное дело: чуть человек у царя в силу вошел, он везде старается глаза и уши иметь, чтобы знать, что где говорят или делают.

Так же точно Москва и в иных краях поступает: у султана турецкого, у ханов казанских и крымских, везде слуги у Москвы есть. А касимовский, подвластный царек совсем шпионством опутан, шагу ступить не может, чтобы отклика в теремах московских не было.

А уж дома у себя бояре-правители зорко и за друзьями, и за врагами следят.

Правда, слишком незначителен Адашев, чтобы думать о нем первосоветник; слишком все естественно и ловко сложилось сегодня, чтобы он заподозрить что-либо мог, но береженого, говорят, Бог бережет!

И каждое слово счетом и с опаскою роняют бояре, даже злейшие враги Шуйского, хотя и раскраснелись их лица, сверкают глаза и расстегнуты ворота шелковых, богато расшитых косовороток-рубаш.

Не столько теплынь и духота покоя томит застольников, сколько внутренний огонь, жажда неукротимая.

Только странная вещь: чем больше заливают они огонь, чем больше утоляют жажду, осушая кубки и стопы одну за другой, тем сильнее духоту и жажду чувствуют.

Много мест опустело за столами, уставленными вдоль всей обширной горницы.

Кто за добра ума уехал, кто свалился под стол и храпит. Других слуги заботливо вынесли, уложили в сани, в колымагу ли и домой на отдых повезли.

А кучка бояр, из тех, кто выше назван, все сидит, словно чего-то дожидается.

Человек двадцать, двадцать пять их, которые нет-нет да и переглянутся или на остальных гостей посмотрят, на человек пятнадцать-двадцать, тоже «питухов знатных», которые, очевидно, могут пить вино словно воду.

Устав от хлопот, присел и хозяин. А сыновья его с тремя-четырьмя княжатами да боярскими детьми, что помоложе, пошли после стола на конюшни, нового аргамака смотреть, редкой аравийской породы, которого за большие деньги в Астрахани для сына Алексея, любимца, старик Адашев через знакомых купцов приобрел. Потом, налюбовавшись на красавца-скакуна, перешли в покои, где редкие заморские часы «боевые» и «воротные», на цепи висящие, красовались, жбаны и чаши редкой чеканки, болваны, идолы восточные, оружие редкое... Все, что предки Адашева из Сурожа вывезли или он сам потом в Новгороде торговом от проезжих торговых людей накупил...

А старики все сидят, речи веселые толкуют.

— А что же верховный боярин наш, князь Андрей не пожаловал? Пира-беседы не почтил?..— вдруг спросил кто-то.

Адашев повел бровями и ответил поспешно:

— Просил я, как же, просил его честь. Да, конечно: люди мы незначные!.. «Недосуг,— говорит.— Коли справлюсь с делами — загляну. А лучше не жди!» И на том спасибо, конечно! Люди мы маленькие! Уж как духу хватило просить о чести — не знаю!— как-то странно улыбаясь, закончил свою речь хозяин.

— Эка вывез!.. А еще умный ты человек считаешься, Федь!— угрюмо отозвался молчавший почти весь день князь Андрей Федорович Хованский.

Хоть и трезв он был совсем, в рот вина не брал нынче по приказу лекаря, потому как хворь одолела боярина — камчуг на ноги пал, еле ходить дает, пальцы горой раздуло, и

сейчас в меховом чулке одна нога, а не в сапоге,— да не смолчал на слова Адашева задорный князь:

— «Честь»... Просить как посмел?! А как же мы? Как же нас? Али мы хуже Андрюшки Шуйского?..

Все, кто сидел за столом, насторожились. Сидели тут хоть и без чинов, но группами, невольно подбираясь приятель к приятелю.

Настроение у всех групп было разное: кто о чем толковал, как на кого хмель действовал.

Но тут ясно выразились два течения.

Одни, «свои», перечисленные выше гости — словно обновить хотели взглядами нехотати разговарившегося, самолюбивого и раздражительного боярина, особенно взвинченного припадками подагры и невольным воздержанием, когда все так аппетитно пили вокруг.

Из второй половины, «чужаков», как их в уме называли первые, кое-кто просто стал вслушиваться, заслышав смелое слово, а иные, даже вида не подавая, так и навестились, чтобы не пропустить ни звука, особенно когда беседа приняла столь интересный оборот.

Эти последние, все друзья и присные Шуйского Андрея, стали осушать кубки, болтать с соседями, а сами все слушают. Один из них вдруг, словно совсем опьянелый, поникнул головой на скатерть, залитую, заваленную объедами, кусками,— и захрапел.

Адашев все это заметил. Не проглядели и другие.

— Слышь-ка, тезка!— прервал князя Хованского, очевидно собравшегося продолжать свою речь, князь Андрей Дорогобужский, старый, почтенный, поглаживая серебристую, большую бороду.— Брось, милый! Вон и не пил ты, а горше нас вздор мелешь. Хуже мы, не хуже его, а он — первый в царстве, значит, ему и честь такова... Его дело, кого он изволит пожаловать...

— То-то и дело: жалует царь, да не жалует псарь!— уже негромко, сквозь зубы проворчал упрямый, не привыкший сдаваться скоро князь.— Э, видно, домой мне пора!..

И он стал подниматься при помощи слуги, который неподалеку наготове стоял.

— Да, уж видно, пора!..— раздался и еще голоса, больше «чужаков».

Хозяин последних не стал особенно удерживать. Прощанье да поклоны. Проводы до сеней пошли.

— А только вас, гости дорогие,— обращаясь к группе «своих», сказал Адашев,— не пушу я так скоро. Такая мне

радости!.. В кои-то веки всех моих печальников да доброты в моем дому повидать пришлось!.. Уж не пушу! Хошь ворота на запор!

— Ладно; посидим еще!— за всех отозвался Мстиславский.

— Да не здесь... Я вот гостей дорогих провожу. А потом в другую горницу перейдем. Хоть и помене она, да прохладнее там. И топить нынче не сказано... Туды нам и подадут все...

Быстро проводив уезжающих, вернулся хозяин к пирующим. Поодиночке, по просьбе хозяина, поднимались «свои» и в сопровождении Алексея, пришедшего с отцом, направлялись во внутренние покои, в терем. Давая гостям простор, хозяйка и дочка Адашева со всеми девушками и мамками ушли из этой половины. В светлице девиц сидят они теперь, свою беседу ведут.

А два больших покоя убраны изрядно, столами уставлены, только и ждут прихода людей.

Так вышло, что наверх только человек двадцать «своих» попало; остальным Адашев с поклонами заявил:

— Эка жалы! Не вместимся все там! Видно, здесь догостуете! Вот сынок Алеша послужит дорогим гостям. В угощение отлички не будет, не сумлевайтесь!..

— Ну вот! Нешто мы не знаем хозяина ласкового?— раздалось в ответ.

И волей-неволей нежелательные люди остались там, внизу.

Когда Адашев поднялся наверх, там уж шел пир горой, словно затем только и собирались эти первые вельможи московские.

В передней горнице бубен гремел, цимбалы заливались... Девки дворовые, еще раньше позванные хозяином, песни лихие пели...

Гости, сидевшие во второй комнате, хору подтягивали, вино пили... Иные, помоложе, по горнице в плясовую пошли...

В раскрытые двери все видно. И завтра же, если еще не сегодня, Шуйский знать будет, как весело ангела своего Федька Адашев справлял, как кутили бояре, соперники князя в делах правления, а в жизни умеющие только выпить и поплясать где бы то ни было, хоть бы и у такого худородного вотчинника, как пришлец-новгородец.

Час или два так дело шло. Но потом картина изменилась. И кто заглянул бы теперь в покой, заметил, что не пьют гос-

ти Адашева, не хмель да не бабы ласки держат их здесь так долго.

Под звон и гром музыки, под громкое пенье голосащих, подвыпивших девок и баб. какую-то важную вещь обсуждают бояре.

Губы сжаты решительно у всех, брови принахмурены. Голоса негромко, но внушительно и твердо звучат.

— Кажись, никого чужих?— оглядевшись, заговорил Федор Бармин.— Можно и присягу дать?

— Можно... давай!— послышались голоса.

Все сгрудились вокруг попа. Только двое-трое и сам хозяин стояли в дверях, словно любясь на пляски, а в сущности затем, чтобы не дать любопытному или подкупному глазу разглядеть, что здесь происходит. Слуг тоже не было во втором покое. В первом их поставили, без зову входить не велели.

Бармин уже двинулся к божнице в углу и хотел взять большое, окованное серебром Евангелие, как вдруг увидел в полуосвещенном пространстве какую-то фигуру, лежащую на полу, почти наполовину под лавкой.

— Что такое, хозяин?— обратился поп к Адашеву.— Кого ты здесь раней нас поштовал? Вон уж одно мертвое тело лежит...

Адашев быстро подошел.

Наклонясь над лежащим, он разглядел пьяное лицо человека, которого хмель свалил и кинул здесь под лавку.

— Эге! Кабальный это мой недавний,— поднявшись, объявил он,— с полгода как записан. Сам, сказывал, из поповских детей... И здоров пить. Раней, толковал, конюхом на дворе у Шуйского служил. Да за слабость согнали... К вину слаб... Видно, вот... допился.

При имени Шуйских все многозначительно переглянулись. А пьяный мужичонка лежал, словно мертвый, тяжело, неровно дышал, с присвистом каким-то. Рот полуоткрыт, язык виден... Вино несет... Борода, седеющая уж, вся взмокла, взъерошена... Лицо космами волос полуоткрыто. Противный, грязный... Мертвецки пьян.

— Что же? Сказано: веселие есть пити!.. Не нам одним!— подмигивая соседям, заговорил Годунов.— Бог ему простит. Пусть лежит здесь. Не мешает...

— Конечно!— ответил в тон Годунову Бельский.

— Ну, вот!— морщась, отозвался Глинский Михаил.— Холоп смердящий тут будет валяться, где я веселиться хочу... Вон его!.. Вели-ка убрать, хозяин!..

— И то!— переглянувшись с Глинским, поддержал Мстиславский.— Лучше бы воздух очистить.

Адашев дал знак двоим из челяди.

Слуги вошли и стали у дверей.

— Растолкайте-ка Тереньку да помогите ему ноги уволочь. Ишь, для ангела моего переложил да не в своем углу и свалился.

Подошли два дюжих парня, стали толкать спящего, тот лежит и не шелохнется.

Привычным делом, чтобы немного отрезвить товарища, один стал неистово тереть пьяному уши и за ушами, да так, что ушная раковина захрустела. Налилось кровью лицо пьянчужки, а все лежит, не двинется. Не умер, дышит, а не движим.

— Уж не оставить ли его?.. Пусть валяется!— опять спокойным тоном заметил Годунов. Только легкая усмешка прозмеилась по устам.— Ведь и то, не крамолу, не заговор мы вести собрались... Повеселиться, душа нараспашку. Так смерд ежели и увидит што непристойное, болтать не посмеет...

— Просто вынести его!— заметил Адашев, начинавший раздражаться, но под взглядами остальных сохранивший внешнее спокойствие.— Возьмите-ка!

— Стойте!— вмешался Воронцов, значительно переглянувшись с другими.— Попытаем малого: крепко ль спит? Вот ему фряжского вина хорошего. Коли парень выпить не дурак — почует, выглохчет!..

И, взяв большую стопку с крепким ромом, боярин стал лить жидкость в рот пьяному.

Тот не глотал, и питье пролилось, намочив одежду, бороду, волосы.

— Вот бы теперя подпалить гада этого!— желчно сказал тогда Воронцов, отбрасывая опустелую стопку и направляясь неверными шагами к столу за свечой.— Вот потеха будет!..

— Что ты, боярин!— остановил Горбатый.— Да ежели он вправду так пьян, тут на месте и сгорит!.. Утушить не успеешь...

— Туды и дорога доводчику Шуйских!..— сквозь зубы проворчал Воронцов и взял огарок.

— Загорится — вскочит! Тут мы и узнаем правду его. А сгорит, я кабальные гроши хозяину внесу!..

И не удержанный никем Воронцов швырнул огарком в лицо несчастному, который все время так прекрасно играл

свою роль и теперь только собирался убежать ввиду грозившей опасности.

Убежать горюн не успел. Огонь коснулся волос, смоченных алкоголем, вспыхнула борода, волосы, вся одежда на несчастном, и, дико закричав, этот живой факел, ослепленный, обезумевший, стал метаться по комнате, задевая людей, скамьи, столы, ища выхода и грозя распространить пожар по всему дому.

Князь Горбатый, один не потерявший присутствия духа при неожиданном финале дикой шутки, быстро сбросил с себя кафтан, раньше надетый на одно плечо, подбежал к метавшемуся холопу-предателю, окутал ему плечи, голову, грудь своим кафтаном и крикнул:

— Еще одежи скорей!..

Остолбенелые в первую минуту бояре опомнились. Нескольких рук протянулось с кафтанами. Окутали, как мумию, горящего человека, затушили пламя.

Тут два челядинца подхватили несчастного, издававшего жалобные, душу надрывающие стоны, и унесли прочь...

— Теперь никуда не пойдет... Никому ничего не скажет!— прерывая воцарившееся тяжелое молчание, произнес все тот же Воронцов, довольный, что хоть чем-нибудь насолит Шуйскому.

Теперь одни бояре оставались в терему. Девки, бабы, музыканты убежали из соседней горницы, чуть вспыхнуло пламя.

— Горим! Горим!— завопили челядинцы...

Адашев вышел, чтобы унять суматоху, поднятую в доме, уверить, что пожара не случилось.

Когда он вернулся, бояре почти столковались по делу, ради которого сошлись сегодня здесь.

— Ты, Федор, раньше присягал... Слушай уж, как решено!— шепнул ему Бармин.

Говорил старик Мстиславский.

— Все мы видим, каковы любы да милы царю юному Шуйские. Нет их — и весел и радостен он, птенчик малый, солнышко наше красное... А войдет Андрей ли, другой ли кто из ихней шайки, и задрожит весь, в лице переменится свет Иван Василич, государь наш. Сам не кажет своего страху и горести. Ведь и за это терпеть приходилось ему. Не раз мы видели. И царя, и Русь, и нас, первых людей, обижают, теснят да грабят Шуйские. Не бывать тому!

— Вовеки не бывать! — зазвучали, полные сдержанной ярости, заглушенные голоса.

— Так вот, Ваня... И ты, Никита!.. — обращаясь к юноше, сыну своему, Ивану Федоровичу, и к Никите Романовичу Захарьину, молодому стольнику цареву, недавно еще в «робятах верховых» бывшему, продолжал князь Мстиславский. — Вот вы обое часто царя с глазу на глаз видите. Вместе игры играете... И улучите час. Расскажите, что сейчас слышали. А для верности, если усумнится в вас... мол, не Андреем ли вы посланы, скажите: «Царь-государь! Вот Святки близко. Все у тебя перебивают, о ком говорим мы. У каждого, только впопых от Шуйских, одно слово спроси: «У Адашева пировали ль?» А тебе по одному все одинаково ответят: «Врагам царевым на погубу!» Ты, как это слово услышишь, спознаешь: кто да кто за тебя. Можно ль тебе бояться Шуйских? Или пора пришла и на них плетку взять». Поняли?

— Вестимо... Все поняли! — в один голос ответили оба сверстника царя, гордые, что на их долю выпала такая важная задача.

— И мы бы ему поговорили! — вмешался Михаил Глинский. — Не кто другой — дядя родной царю... Верит он мне... И брату Юрию... Да так ловко обставили племянша Шуйские, что в ухо дунуть малому ничего не можно. Все кто-нибудь поблизу да вертится. Скажешь слово, а тебя по пути домой в сених царевых схватят... И жив не будешь до утра!..

— Конечно... Видали виды!.. — отозвался Курлятев.

— Много они крови нашей пролили! — стукнув по столу, пробормотал Челяднин.

— А вы — ребята голоусые, почитай... За вами так следом следить уж не станут... Вы и скажите... И чтобы на гайтане у царя всегда приказ его был подписной готов... Без приказы тоже никто на такое дело не пойдет... Он царь — ему нет суда. А Шуйские — со всяким потягаются. Так чтобы нам оправка была: слово и подпись государева. А мы уж скрепим ее, как надобно... И печати тиснем по череду... Вот, слышите?..

— Слышим! — отвечали оба молодых боярина, может быть обреченные на смерть или неудачу, но радостно взявшиеся за общее, свое, боярское дело.

Род Шуйских слишком быстро стал другие роды забивать. А для бояр и князей, для дружины и рады московской — одного господина, Рюриковича, довольно. Тот — исстари властелин. Не смеют Шуйские из рядов выдви-

гаться. Чего доброго, и на трон влезет еще один из них. Благо, царь молод, припадочен...

И чтобы помешать одному из «своих» стать выше всех, бояре идут на тяжкие жертвы: царскую власть, и без того не в меру окрепшую, еще укрепить готовы, своими детьми, собой рискуют. Но Шуйским тяжелый удар будет нанесен!.. И, разезжаясь далеко за полночь с веселого адашевского пира, каждый из заговорщиков на свой лад рисовал себе личное торжество и унижение гордого, опасного врага.

Почти месяц после этого пира миновал.

Задумываться особенно сильно стал отрок-царь. И раньше чудной он был: то проказит, как шалый, на девичью половину, к мастерицам-рукодельницам бабки Анны проберется, щиплет их, а то и хуже озорничает; то убежит, в угол забьется и не глядит ни на кого. А теперь и понять нельзя, что с ним. Даже складка на лбу у мальчика между бровей легла. И озорство свое бросил. Часами куда-то, словно сквозь стену, глядит... А позовет его кто, вздрогнет, побледнеет даже от непонятного испуга, но сейчас же овладеет собой и улыбается... Особенно Шуйскому Андрею.

Совсем переменялся к нему юный царь. Раньше как ни старался наученный горьким опытом ребенок скрывать свой страх и неприязнь к первосоветнику, а все-таки сквозили они и в глазах, и в звуках голоса, когда приходилось Ивану говорить или выслушивать князя.

Теперь все как рукой сняло. Слушает царь его спокойно, улыбается ласково и сам прямо в глаза страшному боярину глядит, порой — даже по руке того погладит... По той самой руке, на которой, говорят, много крови, изменой пролитой, застыло!

И только порой, словно молния, прежний страх провьется, промелькнет в глазах мальчика. Но сейчас же все исчезнет и царь еще доверчивей, еще ласковей и покорней говорит и слушает боярина. Не надивится Шуйский.

— Умнеть стал наш царь! — говорит он окружающим. — Видит, чувствует, кто нужен да хорош для него, для всего царства-государства Московского!

— И то умнеет! — ответил поспешно Иван Годунов, блестящая своими восточными глазами. — Кто же здесь важнее тебя? Не мы же, выходцы ордынские, не цари касимовские или казанские, какими покойный князь Василий двор запрудил... Не бояре наши, ленивые бражники...

— Эй, мурза, не хвались! — самодовольно усмехаясь, заметил Шуйский. — Слыхали мы, как и ты пировал у Адашки-дьяка... С платочком по горницам выплясывал, девок пощипывал!.. Хе-хе!.. Скоренько вы, татаре, все свечаи-обычаи наши спознаете.

— Был грех, каюсь... Да быть — молодцу не укор!.. Что ж у смерда и не похоровадиться? Не думал я только, что тебе все станет ведомо.

— Видишь, одначе! Помни, мурза: нет ничего тайного... Мне нужно все знать: малое и великое! Кормчий я кораблю али нет? Я царство веду! Так и знать мне все надобно!..

— Вестимо, вестимо! — кланяясь, ответил Годунов. — За таким кормчим спокойно можно спать... и плясать с бабами!.. — усмехаясь, добавил он.

— То-то!.. А Челяднин — бражник, с той поры как зачертил, — и трезвым его не видать... Кабы не заступка царя да отца-богомольца нашего, Макария, давно бы его выбить из Кремля!..

— Конечно! Никчемный человечиска! — поддакнул Годунов. — И как ты оставил его? Послать бы по следам дяньки да маменьки...

— Ничего! — пренебрежительно махнув рукой, проговорил Шуйский. — Што я стану со всяким бражником тягаться... Кажду мразь давить? Есть враги посильней — и тех я не боюсь...

И отошел надменный боярин от Годунова, не то намек, не то угрозу кинув в лицо.

А с этим самым Челядниным Иван Васильевич, юный государь, что-то на охоту ездить зачастил.

Любил раньше отрок-царь Ивана Мстиславского да Захарьиных Никишку.

А тут что-то за последние дни совсем охладел к ним. Даже раз Шуйскому при них на них же самих нажаловался: смеяться посмели они над царем: плохо-де он скачет! Крестьянина какого-то, мужичонку с ног сшиб, чуть не убил! Велика важность! Разве он не владыка смердам своим?

— С глаз моих убери охальников! — крикнул Иван, косясь на прежних любимцев, и даже ногой топнул.

— Уберу, уберу!.. — снисходительно отозвался князь Андрей. — Пока пусть малость послужат тебе. А ты гляди: и вперед смердам спуску не давай. Дави, лови, трави их! Мало, что ли, хамья, мужичья серого? Им острастка надобна.

Так напускал на народ мальчика-государя Шуйский, ухмыляясь в бороду и лелея свои какие-то затаенные планы.

Потом, наедине, призвав Мстиславского Ивана и Никиту Юрьева, сказал им Шуйский:

— Слышали: царь наш убрать вас велел. Моя одна защита теперь за вас. А вы за мальчонкой понаблюдайте. Чуть такое-этакое послышите у царя, что мне во вред, на пользу ли — и поведайте мне. Я и защиту, и награду вам дам за то!..

— Твои слуги! — ответили с поклоном боярские дети.

— Да, еще што скажу вам... — подумав, продолжал Шуйский, — вот, не хорошо оно, правда, что царек наш малый народ давит. Да што и ждать от пашенка хорошего? Так вы еще б и подбивали на всякое озорство паренька... Яблочко от яблоньки недалеко падает. Хошь и болтают там всяку нелепицу, и што не Васильева корню наследник его, да он еще покажет себя. Много голов боярских слетит, много носов волчонок отгрызет, когда в силу войдет... Смирить его надобно. Пусть узнает, как неладно народ дразнить! Пускай изведает, што в нас, в боярах, — одна и оборона ему! Чем меньше его любить станут, тем мы от него целее! Поняли ай нет? Ты, Ваня, — обращаясь к Мстиславскому, сказал первосоветник, — ты не гляди, что племянник ему приходишься. Князья московские и братьевым кровным глотку резали... Так уж ты и смекай слова мои!..

После этого практического урока он отпустил обоих юношей, в которых рассчитывал найти новых двух пособников своим тайным целям.

Но если в этих двух ошибся боярин, десяток других приспешников, из числа окружавшей Ивана челяди, рынд, боярских детей и бояр степенных, — все покорно выполняли программу первосоветника.

И разврат, и жестокость, и насилие над людьми мало-мощными, беззащитными позволял себе юный государь.

До сих пор не знали почти в народе, что он да каков он.

— Царь — отрок. Бояре правят! — толковали все.

А как бояре правят — всем дело знакомое.

И Русь, вся земля, со страхом и надеждой ждала: когда-то царь настоящий в свои года придет, державу в руки возьмет, от бояр люд оборонит, бедный люд земский, угнетенный, задавленный да боярскими поборами разоренный, внешними и внутренними врагами обиженный!

А тут вести пошли недобрые:

— Молод, а уж норовист наш царь. Где встретит хрестьянина, — коли конем не потопчет, так иначе обидит. Тварей бессловесных казнить да мучить охоч: глаза им колет, мясо

из живых рвет да имена им хрестьянские дает, словно бы людей хрещеных изводит.

Вот какие толки пошли в народе, все шире и шире расходясь, словно круги от камня по воде.

Правда, в Иване проснулась какая-то жестокость, непонятная во всяком мальчишке, но не в этом несчастном, видевшем кровь, насилие и измену вокруг; в ребенке, который много раз дрожал за свою жизнь и даже теперь, войдя в более осмысленный возраст, каждую минуту мог ждать, что его схватят, кинут в мешок каменный и задушат или с голоду там уморят, как дядю Андрея Старицкого, как Овчину, как десятки других, до горемычного князя Дмитрия Угличского включительно...

И мальчик уже научился хитрить и лукавить не хуже взрослого, борясь за собственную жизнь, не только за власть.

На охоте, куда выезжал он со своими хортами, с толпой удалых сокольников, доезжачих, выжлятников и прочей молодой и старой челяди, — только там и отдыхал мальчик телом и душой. Не надо было притворно улыбаться никому, гнуть голову, слышать голоса, от которых ярость немая, холодная закипала в груди!

Ветер здесь только свистал в ушах, улюлюкали удалые доезжачие, собаки заливались по следу, заяц пищал, когда приходилось приколоть его. И каждый раз, опуская нож в пушистую грудку бедного зверька, царь мысленно казнил своими руками постоянных обидчиков-бояр и даже, хищно оскалясь, неслышно шептал имена их.

— Молитвы, што ли, читаешь отходные зайцу? — спросил его как-то Челяднин, неотлучный спутник на охоте.

— Отходную, да только по гиенам злым, не по зайчишке серому.

— Ну, где тут гиен взять? Нетути их у нас!

— Не говори: попадаютс! — загадочно проговорил Иван.

И только долго спустя понял Челяднин, в чем дело. Вернется с охоты — свежий, довольный, радостный мальчик. Не узнать его. Ходит — глядеть любо — козырем. К бабке побежит, добычей, которую сам на поле поймал, хвастает. Псарям, сокольничим — всем провожатым — вина дать велит и денег хоть малость на каждого.

Но чуть появятся в покоях Андрей Шуйский, Темкин Юрий, Головин Фомка или другой кто из советников, родни или присных рода Шуйского, и опять словно завянет госу-

дарь-малолеток. И глядит не по-своему, смеется или говорит каким-то чужим, фальшивым голосом.

И вот за последние дни очень уж на охоту царь зачастил.

Но Шуйский спокоен. Среди челяди и псарей есть у него свои люди. Доносят, что кроме них и Челяднина пьяного — никто не видит царя.

Чужих сам царь подпускать не велит, боится убийц подосланных.

«Убийц? Сам ты себя убьешь, парень! — ухмыляясь в бороду, думает князь Андрей. — Душу и тело свое загубишь раньше времени! Не я буду Шуйский!..»

И не мешал он охоте царской.

Не знал, жаль, боярин, что говорилось там между царем и Челяднинным. Порою только третий здесь был и слушал молча да длинные седые усы свои покручивал.

Отдыхают или зверя ждут все трое: царь, Челяднин и старый слуга царский, доезжачий Шарап Петеля, не то что отцу Ивана Васильевича, а еще деду его, великому князю и царю Ивану Третьему, верой и правдой служивший.

Много лет Шарапу. Скоро и все шестьдесят стукнет. А силен и бодр — получше иных молодых охотник. Из лука, из пищали, не целясь, в цель попадает, татарской сноровкой живому барану с маху башку стешет, любого степняка-коня в день укротит... Мало ли что умеет старый охотник!

Удивляется и любит его всей детской душою царь.

А Шарап Петеля и царство небесное отдал бы, чтобы только лишний раз улыбнулся его «царечек-ангелочек», как он Ивана зовет, которого и верхом ездить, и стрелять учил, и на руках часто нашивал...

Как-то, в споре, года два тому назад, своей рукой Шарап одного из псарей-ухарей молодых на месте уложил. Никто не знал за что.

— По пьяному делу! В споре! — только и твердил сам старик, очень набожный и тихий всегда.

И кто был при том, псари и доезжачие, то же самое сказали.

Ради заслуг старых, ради слез царя, не наказали строго убийцу: епитимью наложили. Ненароком убил-де.

Потом лишь Иван узнал: ухарь-новичок посмел при старике одну грязную клевету про царя-мальчика повторить: «незаконным» его назвал.

На расспросы царя Петеля угрюмо ответил:

— На многих на бояр у меня уж и то руки чешутся...

Кабы всем пасти ихние заткнуть!.. А уж своему брату тебя поносить ни в кои веки не позволю!..

Кинулся Иван, поцеловал старика. Ни слова больше не сказал.

Вот почему стоит Шарап и слушает, про что царь с Челдинным толкует.

— Скорей! Скорей бы!— бичуя нагайкой и снег, и ветви соседних елок, твердит отрок.

— Погоди! Случая выждать надо. Там уж, говорят, придумали, что следует.

— Да, да!.. Надо сразу... Всех растоптать!..— радостно, лихорадочно быстро произносит мальчик, серьезно и осторожно обдумывая гибель врагов.

И вдруг лицо его омрачается.

— Да ты погоди. Правда ль, что все те, про кого Федя сказывал, против Шуйских?.. Правда ль, что не одолеют Шуйские нас?.. Ведь тогда мне беда!.. Погиб я!..

И мальчик весь дрожит.

— Вот дождись Рождества. Опроси тех, о ком тебе сказано... Узнаешь!..

— Узнаю... Допрошу... Ну, уж и тогда!..— весь белея от ярости, шепчет царь-отрок.

— Тогда — нам мигни... У меня все готово!— угрюмо и негромко, словно опасаясь, нет ли у леса ушей, произносит старик-доезжачий.

— Да, да!— совсем задыхаясь, также шепотом отзывается Иван.

Вскакивает на лошадь, мчится по полю и, погружая в первое изловленное или недобитое животное нож, оскалив зубы, говорит:

— Он пищит... Слышь, Шарап?! Он пищит еще!..

— Не пискнет у меня!— отвечает догадливый слуга, и мчатся они дальше, пока первая звезда не загорится в небесах...

* * *

Рождество пришло! Большие приемы да службы долгие. Все перебивали во дворце новом, у юного царя, у бабки его...

У тридцати человек, названных ему заранее, спросил Иван, как условлено: о пире адашевском, и все как один отвечали:

— Пировали, цари! Ворогам твоим на пагубу!..

Что было с Иваном в те дни, и сказать нельзя.

На четвертый же или на пятый день Святков опять на охоту царь поскакал. Только вернулся скоро и не привез почти ничего.

И уж все эти дни так ласков да мил был с Шуйскими, да не с одним Андреем, а и с присными его, что диву все дались.

— Ах ты государь ты мой юный! Ишь, ровно кошечка ластится!— заметил наконец первосоветник.— Так-то оно лучше. Знаешь: ласково теля — двух маток сосет!..

— Знаю, знаю. Не совсем уж несмышленок я, вот как брат Юра... Смыслю кой-што!..— смеясь как-то странно, ответил Иван и отошел.

Дочка покойного Василия Шуйского, Настя, лет пяти-шести малютка, тут же резвилась...

Вдруг подбежал к ней мальчик, схватил, поднял на руки и зашептал искренно, нежно:

— А тебя, сиротка, племяннушка, я все-таки всегда буду любить!..

И вдруг стал целовать, совсем как взрослый, когда тот жалеет почему-нибудь малое дитя...

Понравилась выходка Шуйскому.

— Любишь племяннушку?.. Люби, люби... Сиротка! Тебе Бог воздаст!

И даже погладил по волосам царя-отрока.

— И тебе Бог воздаст!— незаметно уклоняясь от противной ласки, с веселой улыбкой, словно эхо, ответил Иван.— За добро, за все, сторицею!..

— Ага, чувствуешь, как я тебе твое наследие сбережи да уготовати хочу?! То-то! Чувствуй!..

Крайне довольный собой, вышел князь от царя, сам думает:

«Кой ляд?! Что меня наши пугают, будто враги сильно подкопались под меня?! Никогда так твердо я на ногах не стоял».

Так настал условленный заранее день, 29 декабря 1543 года.

Родственный съезд был назначен у бабки царевой, у Анны Глинской.

Свои все позваны: Глинские, Бельские, Сабуровы с Курбскими, Годуновы...

И Шуйскому Андрею зов был, хотя ни он старуху, ни она его особенно не любили друг друга. Все-таки нельзя не идти. Не Адашев то — бабка царева. Сам митрополит пожа-

лует хлеба-соли откушать. Да и заведомо там его недруги соберутся. Так лучше самому быть, все слышать и видеть, что сказать или сделать могут бояре-завистники.

— Не люблю я, когда ты к старой этой ведьме литовской ходишь, да еще безо всякой опаски!— перед уходом князя толковала ему жена.

— А што прикажешь, голубушка? Уж не казаков али пищальников в палаты царские брать? И так я сохранен. Никто не посмеет меня пальцем тронуть, не то што. А ем и пью я тамо с опаскою. Не отравят небось!

И пошел.

Посидели за столом сколько полагается, недолго: устает старица быстро... Все по чину и по ряду прошло. Уходить собралась.

Не понравилось только Шуйскому, как нынче у бабки государь расхотелся!

Взял, мальвазии выпил. За чье здравие?— спросили. Поэтому молча стал отрок пить.

— За упокой!— говорит, а сам смеется и на Андрея Шуйского смотрит.

— Какие покойнички у вас? Не слышать что-то!— отозвался князь Андрей.

— Не слышать, так услышим!..— отвечает Иван, а сам не перестает смеяться.

Екнуло что-то сердце у князя. Заспешил он домой, хоть царь и не поднимался еще.

— Что торопишься, Андрей?— вдруг, хмурия брови, спросил в свою очередь царь-ребенок.

Прямо так: Андрей! Не боярин... Не князь.

Вспыхнул Шуйский.

— Дела есть, господине. Твои ж, государские... Не время мне гостевать.

— А ты бы посидел. Я, царь, сижу... Тебе бы и торопиться вперед неместно. Не было того при отце-государе моем.

— Мало чего не бывало! Ты еще и не помнишь, што было-то. А я уж позабывать стал. Сиди себе. Ты молоденок. И посиживай. А я иду!.. Мне твое сиденье не указ: я постарше тебя, государь.

— Стар кобель, да не дядькой же звать!— вдруг с какой-то кривой, злобной усмешкой грубо отрезал отрок.— Сам назвал государем меня. Ну и сиди, холоп, коли я приказываю!..

— Ты?.. Мне... прика...— задыхаясь и не находя воздуха в груди, вдруг громко начал Шуйский.— Ах, ты!.. Да я!..

Но, оглянувшись, он умолк.

В пылу гнева позабыл совсем боярин, что один почти в стае врагов стоит, безоружный, в самых далеких покоях дворца, где даже к окну нельзя подбежать, на помощь кликнуть...

А враги того и ждали. Оттеснив пришедших с Шуйским князей Кубенского да Палецкого, стоят стеной вокруг, как псы, готовые растерзать добычу. Ясное дело: в западню попал! Понизил сразу тон боярин:

— Помилуй, государь: хвор я! Хвори ради отпусти, не посетуй!..

И земно поклонился царю-мальчику, которого так обидел сейчас.

Старуха-бабка, та уж из покоя давно поспешила, ушла. А Иван смотрит и зубы скалит в какой-то не то гримасе, не то усмешке.

— Отпустить?.. Челом бьешь, боярин добрый да ласковый? Ин, пожалею, отпущу...

— То-то... Я уж знал, не посетуешь на старика. За твоими ж делами государскими ночей не сплю... Прости, будь здоров!..

И опять поклон отвесил.

— Пушу, пушу! — криво улыбаясь по-прежнему, продолжает Иван.— Не одного только, с провожатыми. Ишь: хвор ты и стар!.. Покой тебе нужен... Не избилел бы кто путем-дорогой. А она будет не близкая... Отдохнешь!

И залился злым хохотом рано ожесточившийся мальчик.

— Господи Иисусе!— бледнея, окончательно теряясь, забормотал ошеломленный князь.— Я — в опалу?.. И за слово за единое?.. Бояре! Не стойте ж, скажите царю: нельзя так!.. Я, Шуйский Андрей... Враги вы мне, правда! Да здесь надо вражду позабыть. Меня! За слово в ссылку?! В опалу?! Он, дите столь юное? Что ж с вами со всеми будет потом? Забудьте вражду, о себе подумайте!.. Бояре ведь мы... Дума ведь мы! Люди земские, государские... А счета семейные апосля сведем!..

Молчание настало... И не нарушил его ни единый звук.

— Моя здесь воля, а не боярская!— вдруг надменно, весь словно вырастая на глазах у бояр, властным звенящим голосом произнес тогда Иван.

Сделал знак... Ввели троих пищальников из дружины князя Горбатого Александра Борисовича.

— Ведите в тюрьму боярина!— приказал Иван.

Затем, достав из-за пазухи приготовленный указ, передал свиток тому же Горбатову.

— Вот и указ мой, государев... За печатью... Со скрепами... Ведите...

Шуйского повели.

Луч надежды мелькнул у боярина: «Только бы из дворца вывели... А там?! Разве не Андрей Шуйский он? Слово скажет, мигнет — и освободят его...»

Но на первом же переходе, на лестнице, догнали их другие люди, человек пять доезжачих и псарей царских. Их Шуйский заметил, когда еще сюда шел...

— Боярин! — обращаясь к молодому царскому оружничему Челяднину, который с караулом пошел, проговорил Шарап Петеля. — Боярин, погоди! Слово государево.

Все стали. На небольшой, полутемной площадке сгрудилось человек двенадцать — пятнадцать.

— Приказал сейчас государь, — продолжал старик, — нам под караул князя принять. Негоже боярина середь бела дня, почитай, словно татя, по улицам вести. Может, погода и помилует царь боярина, так бесчестить зря не велит. Мы князя Андрея дворовыми переходами до самых, почитай, до тюрем доведем... И не увидит никто... А там — опять караул приставится, какой следует...

— Ин, ладно! Мне все едино! — ответил с усмешкой Челяднин.

Взял пищальников и прочь пошел.

И вместе с затихающими шагами воинов гасла последняя надежда на спасение в сердце гордого князя, внезапно сломленного налетевшей грозой.

— Потрудись, боярин, шубу сыми! Не так значно, не так приметно дело будет! — обратился Петеля к Шуйскому.

Тот не пошевелился, словно и не слышал.

Но уж двое дюжих парней, доезжачих, стоящих тут со своими неразлучными ножами за поясом, сдернули дорожную шубу с княжеских плеч.

Шапка тоже снята горлатная и кафтан узорчатый, дорогой. Неизвестно откуда простой кафтан и шапка появились на нем.

— Не посетуй, руки связать надобно! — с явным глумлением снова заговорил Петеля.

А тут уж крутят боярину руки назад; веревки в коленное тело так и впились, врезались. Стоит, не моргнет Шуйский. Ни слова, ни стоны, ни мольбы, ни проклятия — ничего не поможет. Дело ясное. И стоит старый князь. Как он там

раньше ни жил, а умереть надо по-хорошему. Повели его. Шапка на глаза нахлобучена. Борода только ветром развевается. Мороз жжет. Ничего не чувствует боярин... Долго идут. Вот за ограду царского двора вышли. Здесь, знает князь, большой пустырь начинается. Направо, вдали — Троицкое подворье. А еще дальше, полее, у самых ворот Ризположенских, — тюрьмы. Если туда его живым челядинцы доведут, и то он спасен. Но нет! Чует старик, что на пустыре покончат с ним.

И не ошибся.

Вместо ровного снегового насту, которым зимою перекрыта бревенчатая мостовая, ведущая от дворцовых задворков к монастырю и к тюрьмам, палачи боярина по сугробам повели.

— Кончать, што ли? — слышит напряженным ухом чей-то шепот старик.

Это один из псарей у Шарапа Петели справляется.

— Стой, сам я. Первый!.. За царечка-ангелочка моего... за все его обиды...

И остановились. В сумерках зимнего вечера отчетливо на снегу вырисовывается вся кучка людей со связанным Шуйским посредине. Князь стоит, не дрогнет. Только молитву шепчет. Мысленно с женой, с детьми прощается.

— Замолился! — глухо ворчит старик-доезжачий. — И от тебя немало маливались... Ну, держись!..

И с размаху всадил он нож в грудь боярину, к горлу поближе, не к сердцу, чтобы не сразу убить...

Шуйский отшатнулся назад, дернул связанными руками и упал на рану, когда нож свой вытащил из нее Петеля. Блеснули еще ножи... Заклокотало что-то в груди у князя... Вздрыгнул он, забился и вытянулся сразу весь... Заалел сначала, потом потемнел вокруг снег... Руки палачей покраснели...

— Ну, вот и будет! — сказал старик-доезжачий, видя, что Шуйский мертв. — Ступайте, обмойтесь. Вон хоть у колодца у площадного, что перед церковью... А я к царю пойду.

А у Ивана еще те не разошлись, при ком состоялся арест Шуйского. Тут же посланы были люди: схватить и отвести в тюрьму князя Шуйского-Скопина и Юрия Темкина.

— Да Фому Головина не забыть бы!.. — напомнил царь.

И об этом распорядились. Бельские, Глинские да Мстиславский сразу тут же первые голоса завели. Всех ведут за собой. Да легко царю их слушать. Ведь они его от Шуйских, от ненавистных, избавили. Воронцова, любимчи-

ка, обещают сейчас же из ссылки воротить... И восторгом полна душа Ивана...

— Тебя Шарап Петеля спрашивает!— доложил царю Челяднин.

Еще больше засверкали глазки у мальчика. А лицо побледнело.

— Пусть войдет.

— Как? Сюды, государь?

— Сдается, не тихо я сказал!— вдруг нахмурясь, ответил отрок.

Поклонился Челяднин, вышел.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!— послышался за дверями голос Петели, творящего обычную входную молитву.

— Амины!.. Входи, входи!— крикнул царь-мальчик.

Тот вошел нахмуренный, смущенный присутствием синклита бояр.

— Ну, что?..

— Все, государь... как велел, так исполнено...

— Мертвый он? Совсем мертвый? — сверкая глазами и весь подергиваясь, переспросил Иван.

— Полагать надо, што так.

— А чем? Чем?— подходя вплотную к старику, опять заторопился вопросом мальчик.

— Вот... этим самым... Как сказывал!— совсем уж неохотно проговорил старик, указывая на свой охотничий нож в широких кожаных ножнах.

Тут бояре заметили, что руки старика в крови, лицо и одежда забрызганы кровью.

Сердца похолодели. Все угадали — и хотелось бы всем, чтобы они ошиблись...

Только Бельский да двое Воронцовых сияют.

— Уж не Шуйского ль ты прикончил, старик?— спросил Яков Бельский.

— Кого ж иного?.. Как царь приказал...— потупясь, ответил тот невнятно.

Говор пронесся среди бояр.

Князь Хованский и князь Мстиславский первые заговорили:

— Э-эх... Не так-то оно гоже, государь. Про опалу, про ссылку у нас речь шла... А ты вот как!.. Молод, правда, горяч больно... Не то ведь мы толковали, вспомни!

— Я помню, бояре: кто я, кто вы! За советы спасибо. За помощь — вдвое. А уж как мне с врагом моим быть — на

то моя государева воля. Так я думаю.— И, уж не слушая, что толкуют между собой смущенные бояре, он опять обратился к доезжающему:

— Дай... Вынь-ка нож... Покажи скорей!

Схватив обнаженный нож, царь пальцем провел по влажному от крови лезвию. Палец окрасился... Иван стал вдыхать запах крови.

— Ишь, совсем как и у зверя... Дух тот же!— расширив ноздри, радостно сверкая глазами, заметил он...

«Крови волчонок понюхал! Зубы оскалил. Ой, не к добру!»— подумал про себя князь Михаил Курбский, но ничего не сказал. Промолчали и другие. Только пасмурные разошлись от царя.

Глава II

ГОДА 7052—7054-й (1544—1546)

Немало дней спустя после первой своей удачи, после такой дивной победы над сильнейшим боярином из всей густой, многоголовой толпы князей и вельмож, толпившихся вокруг трона, юный государь как опьянелый был. Даже весь словно переродился. Походка, голос, взгляд — сразу изменились.

— Совсем покойный Василь Иванович осударь! — шепчут старые слуги, помнящие отца Иванова.

А сам Иван только и твердил:

— Господь предал в руки мои врага моего, обидчика и хулителя злейшего... Господь за меня!..

От радостного потрясения, как раньше от ужаса и обид,— даже припадок с мальчиком сделался. Но уж не лежал он беспомощным, как в былые, печальные свои дни. Кроме бабки княгини Анны Глинской, ее врач, итальянец, собственный лекарь Ивана и еще несколько лучших врачей, какие были у Мстиславского, у Морозова, у Курбских,— все они сошлись к кровати больного. Бояре главнейшие столпились в соседней горнице и спрашивали у каждого выходящего:

— Как государю? Да лучше ли?..

Припадок скоро прошел. Разошлись бояре, но тучи осенней мрачней.

С этого дня страстям и желаньям своим полную волю дал необузданный по природе мальчик, вконец исковерканный за пять долгих лет боярского самовластия, настав-

шего после отравления Елены... Правда, и теперь не унялись нисколько гордые, надменные представители первых вельможных родов. Но приходилось им считаться с каждой прихотью юного царя, если еще не с сознательными решениями, не с царственной волей повелителя всея Руси.

Настоящую власть в государстве присвоили себе Глинские, Бельские и Сабуровы со Мстиславским во главе, как с одним из старейших. Но уж если Ивану забрело что в голову, волей-неволей приходилось исполнять. А приходило ему на ум многое по-детски незрелое и жестокое вдобавок. Никто не дивился, что на другой же день после смерти Андрея Шуйского Иван послал гонцов в Кострому: вернуть Федю Воронцова, наперсника своего, с отцом его.

— Чтоб ни спал, ни ел гонец, пока их не увидит. Пусть двадцать, тридцать коней загонит... Но чтоб через десять ден Федя здесь у меня был!

И такое, почти неосуществимое, приказание было выполнено. Но вот решил Иван выместить старые обиды, свои и Федины, какие раньше выносить им довелось от сверстников и товарищей по играм, от «ребят голоурых», от рынд и других, что наверху, в царских хоромаш живут.

Княжич Мишенька Трубецкой да княжич Дорогобужский Иван, первый — из литовских, второй — из северских владетельных князей, в споре детском, давно как-то, своею знатностью похвалялись, в ловкости и удаче превзошли Ивана. Не забыл этого злопамятный мальчик. Теперь велел их в тюрьму отвести. А туда прислал верных людей, доезжачих своих, и погибли оба. Одного задушили подушками. Другого — прирезали.

Немного дней спустя товарищ обоих загубленных, красавец-юноша, Федор Иванович Овчина с «верховыми» ребятами толковал.

Высокий не по летам, сильный малый, был он сын родной того самого Ивана, который правил в годы правления княгини Елены и считался ее возлюбленным.

— Как похожи вы с осударем! — сказал кто-то Федору Овчине. — Совсем братья родные. Одна стать и поstatt. Рядом поставить — не разберешь: кто ты, кто царь Иван... Только что постарше ты малость...

Нахмурился Федя.

— Молчи лучше!.. Любил я его, правда, как брата. И отец мне говаривал: люби государя... А теперь не видел бы его! За что он Мишку и княжича Ивана загубил?.. Палач, не брат он мне!..

Вечером того же дня схвачен был юный Овчина, и не успел никто о нем похлопотать, потому что наутро уже мертвым лежал несчастный. А государь молодой и во дворце не остался.

С гиком и свистом, окруженный ватагой приспешников, целой ордой шалопаев из боярских детей и простых молодчиков, помчался Иван за пять верст от Москвы, в село Островское, где стоял загородный дворец, построенный покойным Василием.

И в бесшабашном веселье четырнадцатилетний царь, успевший уж до срока изведать почти все дурное и запретное в жизни, пылкий и рослый не по годам, в разгуле и шуме старался подавить неведомо почему и откуда выплывающую в душе тоску...

Гудели струны, скоморохи и шуты плясали, визжали... Бабы и девки, согнанные сюда, пьяные, нагие, угождали красавчику-государю, как и чем могли... И сквозь весь нестройный шум, сквозь чад разврата и опьянения как будто слышал отрок чей-то жалобный, знакомый голос, молящий о пощаде, различал чей-то стон.

— Ну, что там?! — вдруг словно окрикнул в душе сам себя Иван. — А они жалели тебя?!

И, расправив нахмуренные, тонкие брови, он беззаветно предался разгульному веселью, кипевшему вокруг...

Бояре все это знали, видели.

Пытались они обуздать молодого царя, да не очень. Не до того им вовсе было. И даже на руку это им. Каждый понимал, почему Андрей Шуйский потачку давал дурным наклонностям ребенка. Руки у бояр тогда свободней, не так связаны. При безупречном царе — и самим придется не очень свободно жить, зазорно станет вести ту, хотя и скрытую, менее видную сейчас, но беспощадную, смертельную борьбу, которую не переставали они поддерживать.

В минуту, когда пришлось сделать усилие и свергнуть нестерпимого для них Андрея Шуйского, помирились, обещая забыть взаимные обиды, даже такие враги, как Челяднины и Кубенские, давние «советники» Шуйских, как Воронцовы и Головины-Ховрины, из рода тех Головиных, которые содействовали ссылке отца и сына Воронцовых... Но момент прошел, Шуйский мертв, и бояре не подумали, как бы прежде всего ослабить царскую власть, пользуясь малолетством царя Ивана. Нет! Опять поднялась старая вражда, перекоры, доносы да местничество. Полугода не прошло — и последствия розни сказались. Раньше других стали

осматриваться Глинские, особенно выигравшие от переворота.

Недаром юный государь первые дни своей власти ознаменовал кровавой местью. Он был только взглядчивым и понятливым учеником у старших. Два брата Кубенских — князья Иван и Михаил — сразу попали под обух. Зимой, в мороз, схвачены были с постелей оба и со всеми чадами и домочадцами увезены в ссылку. Объявлена им была опала царская за многие дела воровские и непотребные. В том числе говорилось о сношениях с родичами и сторонниками Андрея Шуйского, с князем Петром Ивановичем Шуйским и другими. Кубенские сами толковали другое.

— Воронцовы злобу свою тешут — вымещают на нас! Ну, да недолго. Им дружки ихние тоже шею свернут. Литовцы эти, налеты московские, Глинские да Бельские!.. А там и на этих мор придет! Наши не выдадут, не потерпят чужаков у трона!

Кубенские не ошиблись, хотя не знали главной пружины, той руки, которая незримо двигала шашками на клетках московского дворцового поля.

Рука эта скоро обозначится.

Когда весть о ссылке и опале Кубенских разнеслась, Палецкие, Петр Шуйский и князь Горбатый, прихватив Курбского и Мстиславского, кинулись прямо к митрополиту Макарию. Тот как раз хворал: ноги схватило... От бдений долгих, от простуды давней. А все же в келье сидел и работал старец.

— Что же могу я, чада мои? — ответил он на просьбы. — Дело это мирское. Как царь да его ближние бояре решают — так тому и быть.

Но ходатаи не отставали.

Подумал, повздыхал Макарий.

— Ну, ин ладно! — говорит. — Попытаюсь... Правда, такая уж наша доля пастырская: овец, и правых, и заблудших, порой бороться... Идите, чада мои, с миром! Попытаюсь... Бельских да Глинских, конечно, нечего просить. Это Воронцовых рука. А те не смиляются. Немецкая кровь, памятливая!.. Самого царя-отрока попрошу. Авось уважит старику. Не часто я докучаю ему!..

Вняв призыву больного архипастыря, Иван поспешил явиться к митрополиту.

Правда, не часто тревожил Макарий царя, хотя никогда и отказу в прошение не знал. Мальчик охотно и нередко, по-старому, захаживал в митрополичьи кельи, взглядывался,

как тот работал, молился у себя в небольшой моленной, «крестовенькой», как называл ее Макарий.

Все уважение, всю любовь, какую мог питать Иван к кому-нибудь, питал он к митрополиту.

Умный старик быстро вышел из-под опеки Шуйских, вознесших его, правда, на высоту, но поступавших и не побожески, и неразумно. Теперь Макарий старался поставить себя совершенно независимо, как подобало духовному пастырю всея Руси.

Но в то же время, как человек практический, он понимал, что «в мире жить — надо мирское творить!»

Незаметно, твердой рукой старался он если не создавать, так направлять события в той исторической драме, которая разыгрывалась вокруг отрока-царя. Дело с виду, казалось бы, просто: стоило, как делали все, проводить на разные места своих людей, окружить ими царя, потакать его мелким слабостям и даже крупным порокам... А там и совсем забрать в руки государя и власть.

— Так оно было всегда, так и останется до веку. Не упускай же своего, отче владыко!

Так в откровенной беседе советовал митрополиту старый его приятель, протопоп Сильвестр.

— Немолод ты, отче! — ответил Макарий. — Опытom искушен, и умом Бог не обидел, а не дело говоришь.

— Кое же не дело? Скажи, отче митрополит!

— А вот, слушай! Как мыслишь. Злых да скверных мало ли кругом?..

— Ой, много!

— То-то ж. Так скажем: для-ради устройства земли, для покою христианского душою мы покривим, потакнем государю... Он нас возлюбит... Волю нам даст. Надолго ли оно? Иные явятся, совсем душу диаволу предавшие. Да не ради земли или христианского спасения, а ради корысти и прелести земной. Уж они так юношу улестят, на то пустятся, чего мы с тобой, поп, и за райское древо не сотворим. И по маковке нас тогда... Другие придут. И настанет стон, и плач, и скрежет зубовный! Так ли?

— Пожалуй, правда твоя, отче митрополит. Выходит: и так горе, и иначе вдвое.

— Ничего не выходит. Помолчи уж. Твоя речь впереди. Твое слово умное не усохнет, верь!..

— Верю... слушаю, отче!..

— То-то ж! Скор ты больно! Обмирянился... Нашу, высшую, Божию правду забыл, Христом заповеданную.

Сказано есть: «Возлюбите ближнего своего паче себя!..» Великое, плодоносное это слово. Злого человека любовью своей ты смягчишь, ненависть в нем погасишь... Ремства не вызовешь, коли видит он, что ты за тем же куском не тянешься, который он себе облюбывал... А добрый душу отдаст за любовь. Понял?

— Понял... Да все же: с куском-то как? Надо его доставать же?.. Без него нельзя же?..

— А-ах, отец! Совсем ты школьную науку забыл. Пословки старой не помнишь: двое тягнутся — третьему корысть! При нашем куске не то двое, двадцать два спорщика найдутся. Пусть колотятся. А мы подождем. Не уйти куску от нас. Терпенье, терпенье, поп, возьми — и сам целей будешь, и дело лучше сладится. Я уж малолетка-царя вот как узнал. Погоди, все тебе в свой час скажу, как будет дело!..

Заступник за христианство, умный, развитой, широко, не по времени, образованный пастырь, искренно страдая при виде того, как медленно строится царство, как тяжело жить слабым и незащищенным земским людям, Макарий терпеливо выжидал желанной поры. Однажды незадолго до прихода государева, который обещал в тот же день явиться на зов, Макарий призвал юношу, Алексея Адашева.

— Что, сыне, готово твое писание?..

— Готово, святой отец. Благослови прочесть... — с поспешностью, свойственной всем авторам, доставая из шапки листки какой-то рукописи, свернутые в трубочку, отвечал Алексей.

— Нет, погоди, Алеша!.. Дай-ка сюды. Ты мне скажи одно: все по моему сказу писано?

— Все. Как же иначе, святой отец!

— Ин, ладно. Побудь рядом... в келии... Я сам прогляжу. Может, поисправлю что. Уж не посетуй!.. А ты побудь там. Государь, если придет, все жди же! Да вон подвинь поближе лик-то Спаса, что я по тебе писал. С поставцом... Так... Ну, иди с Богом!.. Дождайся да Богу молись!..

Приняв благословение пастыря, Алексей Адашев с сильно бьющимся сердцем перешел в соседнюю келью, полный какого-то непонятного волнения, странного ожидания. Макарий, между тем не любивший тратить ни единого часу понапрасну, послал за одним из самых знающих своих толмачей итальянцем Чекки.

Уж много лет работал Макарий над огромным и сложным трудом: составлял Четьи-Минеи. Для этой работы ему

переводили с латинского и греческого языков всевозможные старые книги и редкие рукописи, которые с затратой трудов и крупных средств добывал отовсюду пастырь, ученый и поэт. Поэтическая находчивость и живость вымысла особенно помогали святителю в его работе по составлению сборника Четьи-Минеи. Источники были неполны, искажены, порой в обрывках... Об одном и том же святом разные авторы говорили различно. Приходилось или выбирать, что больше подходит, или даже создавать, для цельности повествования, события и черты из жизни, которые соответствовать должны были и лицу, взятому в описание, и духу православной веры, какой царил в современном Макарию обществе, особенно в среде духовенства.

Но те же толмачи переводили ему и светские хроники с итальянского, французского и иных языков.

Сегодня Макарий велел читать и переводить себе старинное сочинение: «Gesta Romanorum», книгу, полную вымысла и драматизма, ту самую, из которой много лет спустя англичанин Шекспир позаимствовал немало сюжетов для своих драм.

— Найди-ка, сыне, ту историю, как ходил в пещеру король к ведунье-жене и та показала ему судьбу царства... И как то поразило царя... — обратился Макарий к вошедшему Чекки. — Прочитай мне ее еще разок... И по-нашему перетолкуй... Я послушаю. Да и порисую вот еще... Благо работать сидя можно...

Чекки нашел повесть, послужившую потом зерном для «Макбета», и стал читать и переводить тут же живой, интересный рассказ.

Поправляя изображение Христа, представляющего почти портрет Алексея Адашева, с которого, вопреки обычаю, писал образ Макарий, старец внимательно слушал толковника. Иногда давал ему знак остановиться и о чем-то думал, покачивая своей седой головой, обрамленной ореолом пышных волос, которые сейчас были зачесаны и собраны вместе.

— Государь жалует!.. — доложил пастырю служка. И тотчас почти за дверью раздался звонкий голос Ивана:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

— Амины!.. Входи, входи, царь-государь! — делая движение встать при помощи служки, произнес митрополит. В то же время махнул Чекки рукой, чтобы тот уходил.

Отдав земной поклон вошедшему отроку-царю, итальян-

нец ушел со своим тяжелым, в кожу переплетенным, фолиантом в руках.

Иван поспешил к Макарию.

— Не труди себя, отче... Да еще при недуге! — искренно ласково сказал он, принимая благословение пастырское и целуя руку митрополита.

Тот обнял, сидя, царя и поцеловал его.

— Да уж, хворь — не свой брат. Спасибо, что ждать не заставил, государь. Просить тебя надо, а самому — ни с места. Пришлось тебя уж тревожить, от царских забот отрываться.

Иван вспыхнул.

Просто, без малейшего намека, были сказаны эти слова, но таким горьким упреком прозвучали, при всех их простоте и кротости, что царю легче было бы обиду и брань снести, чем это извинение старца. Вспоминая, какими царскими делами занимался он эти дни, отрок так и горел от стыда, проснувшегося в душе.

— Какая просьба, отче-господине?.. Приказывай!.. Как сын покорный — все сотворю, что велишь.

— Ну, что ты!.. — замахав слегка худощавой своей аскетической рукой, с улыбкой сказал Макарий. — Поцерковному — я еще могу указать тебе. А по мирским делам — ты царь!.. Помазанник Божий!.. Тут я, как и все подвластные тебе, просить лишь горазд!..

— Все равно, отче! Говори, что хочешь? — глубоко польщенный такой речью, отвечал Иван. — Хотя я и догадываюсь: о Кубенских ты, надо быть?

— Как тебе не угадать?.. Орел ты у нас! Прозорливый духом, умом остер! Царь Божией милостью... Вот о них о самых и прошу тебя. Не ради их грешной души. Уж, конечно, коли ссылал ты, так знал за что. А ради милосердия, ради имени светлого твоего молю... Не посмели бояре к тебе, ко мне забежали. Пришлось тревожить тебя...

— Ага, не посмели? Боятся, значит, меня?

— Как не бояться?! Гроза и милость царская, что Божий гром и ведро. Нигде не уйдешь от них, не скроешься!.. Вот после грозы — пусть солнышко проглянет! Помилуй окаянных. Господь, помнишь, Содом хотел пощадить ради одного праведного. А у тех бояр и дети есть, невинные, малые, и жены... Вот ради них...

— Не щадили они меня, отец!.. Ни матушку не пожалели, извели бедную...

— Ну, это кто знает? Нешто по сыску дознано, что Кубенских то дело?..

— Все они заодно. Вон дядевья мне толкуют: всех прибрать к рукам надо... И Воронцовы мне измену Кубенских, как масло на воду, вывели! Что же щадить воров?..

— Дяди? — в раздумье повторил Макарий. — Воронцовы?.. Ну, конечно: они теперь правители... Они, значит, тут всему головой. Прости, царь, что обеспокоил. Их просить буду, коли ты не можешь, не дерзаешь против дядей да Воронцовых... Не посетуй, что утрудил те...

Но Иван не дал кончить старику. Глаза загорелись, лицо снова вспыхнуло, но уж не стыдом, а досадой.

— Не дерзаю? Не могу? Я — все могу!.. Да и сам же ты говоришь: многие за тех просили! А у меня в думе моей — все бояре равны, что дядевья, что Воронцовы. Все передо мной равны!..

— Спору нет! Да и по Писанию... И по-всякому! Совесть царева — единый ему закон да правда святая. А то — не должен он знать лицеприятия, как солнце не знает его: сияет на злые и на благие...

— Ну, вот, видишь! Дай же, я напишу... Тут, у тебя. Пускай ворочаются Кубенские. Только чтобы уж больше не смели воровским делом жить. Пусть тебе, отче, присягу дадут великую... Я тогда и дядевьям скажу: теперь их бояться, мол, нечего! Присяга великая, святая дадена!..

— Так, так! Истинное слово твое. Ну, пиши! Спаси тебя Христос, что стариковского слова послушал, просить себя напрасно не заставил! Оно и то сказать, Кубенские — сумы переметные!.. Промеж бояр мотаются, сами не знают, чего ищут... Так острастка на пользу им. И не сразу вернем опальных. К Пасхе вот... Красное яичко поднесем — слово это твое милостивое... Пока побережем его... — пряча написанное царем в ящик стола, сказал Макарий.

— Вот и хорошо. Не сразу мне придется Федю и дядей озлить... — совсем развеселясь, сказал Иван. Но вдруг снова задумался.

— Вот сказал ты, отче, Кубенские — переметчики. И не такие уж злодеи... А ведь есть такие, что опасней других... Как бы с теми быть? Со злыми да крамольными? Научи, отче!..

— Ну, что ты меня пытаешь, государь! Говорю: плох я в мирских делах. А только помню... Молод еще был, вот вроде тебя же. С отцом в лес мы поехали. К весне дело было... Лошадка в саях... И сосунок-жеребеночек сбоку.

Домой уж нам вертаться, а тут волки настигли, голодные, злые... И пришлось покинуть жеребеночка... Отогнать его от себя! Живо волки налетели, зарезали малого, рвать стали. А там и меж собой грызться почали... Только клочья летят! Мы-то ускакали в тот час. А как вернулись с мужиками, с пищалями, от жеребенка костяк один лежит, да и волков немало обглоданных... Это за добычу друг дружку они... волки-то... Так и в жизни приходится. Малое что-либо злым уступишь и отойдешь. Они тебя не тронут, за малое грызться да губить друг друга станут. Все же потом повольнее будет добрым... И руки чисты у добрых останутся. А чистые руки — великое дело перед Господом.

Иван опять невольно потупился и нервным жестом сжал в кулаки пальцы обеих рук, стараясь убрать их от взоров старика, глядевшего так незлобиво, ясно и ласково.

После небольшого молчания юноша произнес негромко:

— Сдается, отче, уразумел я слова твои!

— И в добрый час! Аминь... Ну, и дело с концом. А теперь не взглянешь ли на работу стариковскую...

И Макарий ближе подвинул простой мольберт, на котором стояла доска кипарисовая с законченною почти иконою — изображением Спасителя.

— Покажь, покажи, владыка! Мне очень по нраву образа твои. Вот словно живые все!.. Да, постой... — вглядываясь в образ, с изумлением воскликнул Иван. — И впрямь, я видел недавно совсем такое лицо. Поплоше малость, постарше... Не такое милостивое да блаженственное... Погоди, сейчас видел, вон в том покое... Твой служитель один там был, кланялся мне, как я проходил. Славный такой...

— Адашев Алеша... Ну, конечно, не ошибся, государь. С него и взято подобие... Хотелось мне для тебя памятку оставить. Умру, чай, скоро... И годы, и недуги... Как сам ты отрок — и Христа-отрока Господь изобразить привел!.. Прими, не побрезгуй!..

— Благодарствуй, отче!.. Постой, постой! И правда, у парня того лик такой... добрый, ясный. Редко даже видеть мне приходилось...

— Золотой парень, государь! Душа чистая, голубиная!.. Учен сколь хорошо!.. Род их — из Сурожа. Того самого Адашева сынок, коли помнишь, у которого, год вот минул...

— Бояре против Шуйского собирались?.. Помню... Помню... А что он делает у тебя?..

— Так, в делах помогает... Языкам чужим зело хорошо обучен... И сам в риторстве не промах. Способен на все...

Одарил Бог!.. Да, вот... Как раз у меня... Не читал я еще... новое сложение его... Не взглянешь ли?.

И Макарий, уже раньше проглядевший работу Алексея, подал теперь ее Ивану.

Юноша развернул, прочел заглавие:

«ЦАРЬ ХРИСТИАНСКИЙ И ЗЕМЛЯ ЕГО».

После этого заголовка, начертанного вычурными, разрисованными буквами, шли строки, выведенные красивым почерком, словно печатанные.

— Как пишет хорошо... Да и, поди, что-нибудь такое, дельное. Семь-ка я пролистаю...

Иван, всегда любивший чтение, стал пробегать глазами строки. Долго читал он не отрываясь. Разные оттенки самых разнообразных ощущений пробегали по выразительному лицу царственного юноши. А старик, не сводя глаз с Ивана, читал в его лице, как в раскрытой книге, все мысли и ощущения душевные.

Только проглядев все до последней строки, положил Иван рукопись на стол, не говоря ни слова, весь находясь под впечатлением прочитанного.

Рукопись, в виде поучения, оставленного умирающим греческим царем юному наследнику своему, давала полную картину идеальных отношений хорошего правителя к любящей его стране, к народу и земле. Это был горячий гимн во славу полубожественной, полуотеческой царской власти, за которую народ платит и обожанием ребенка, и почтением, страхом смертного перед носителем вечной истины и благодати. Тут же указывались средства избежать покушений со стороны врагов, как внешних, так и внутренних. Словом, в царе, описанном Алексеем, Иван видел себя, не такого, каким был он сейчас, а каким представлял себя порою, тем идеальным царем, который может затмить славу Августа, могущество Соломона и милосердие Тита. Цари — и Давид, и Константин, и Феодосий — не так благочестивы и умны, как этот царь.

При чтении то восторгом сжималась грудь Ивана, то слезы умиления сверкали в глазах впечатлительного юноши. А порой — и стыд пурпуром заливал полные щеки, одетые пушком юности.

— Что, али не понравилось? — первый прервал молчание Макарий.

— Говоришь, отче: не понравилось? Что ты? Почему? — не желая сразу обнаружить впечатления, произведенного

на него чтением, отвечал самолюбивый и по привычке чрезмерно скрытный юноша. — Нет, ничего. Изрядно составлено... Ты бы его мне показал, писателя твоего...

— Как пожелаешь, сын мой... Он, поди, и теперь здесь. Кликнуть могу. Прикажешь?

— Ин, позови, пожалуй... Посмотрим твоего тихоню, святошу да разумника. Что-то и не видал я таких круг себя.

— Есть они, государь, да вперед не пузырятся. По углам стоят, дела ждут. А кто побойчей да поклоуастей — и тут как тут!..

— Правда, правда твоя... Ну, зови парня...

Адашев быстро явился на зов, поклонился, как следует, и царю, и митрополиту, и молча стал у дверей.

— Что же ты? Ближе подойди, Алексей. Так ведь звать-то тебя?

— Так, государь! — подходя ближе и глядя своими большими, черными, огненными глазами прямо в глаза Ивану, ответил Адашев, свершив обычный поклон.

— Лет много ли? Двадцать будет?

— Двадцатый пошел, государь!

— Немного старше меня! — с легким оттенком зависти сказал Иван. — А изрядно твоя эпистолия слажена. Сам слагал?

— Сам, государь!.. — помня наказ Макария, слегка потупившись, ответил Адашев.

— Да ты не потупляйся, не девка красная... И дело не зазорное. И я, и отец митрополит — хвалим же. Чего ж тебе? Кверху голову держи. Я трусов не люблю.

— Не трус я, государь! Хоть сейчас вели на бой! На Литву, на агарян ли нечистых — твой холоп и ратник. Увидишь: трус ли я?!

— Ого! Вот, по-иному заговорил, как ты его, государь, за живое задел. Знаю: не трус он у меня. И в делах ратных сведущ...

— Да ты клад, парень... Мы тебе дело найдем, — принимая осанку и вид властителя, сказал юный царь, довольный, что может, помимо бояр, сам взять себе приближенного человека, возвысить его. И уж, конечно, этот будет предан из благодарности.

— Думаю я, — все так же серьезно продолжал отрок, — пора с Казанью кончать. Из-за малолетства моего бояре матушку-репку пели, брюха свои толстые берегли. Я по-

убавлю жиру в них!.. Пусть с Казанским Юртом кончают, да и весь сказ. И Шигалейку туды...

— Воинов мало, государь... — заговорил, очевидно хорошо осведомленный в этих делах, Адашев. — Правда, Литва притихла, да Крым насаждает. Того и жди погрому... Бояре — врозь. Хрестьянам — разор чистый от наместных бояр да тиунов... Грамоты вольные мало где дадены... Дел [пушек] осадных, ни великих, ни малых, — вдосталь нет... Чем Казань воевать?

— Так, так! Все-то ты знаешь! — кивая головой, проговорил Иван. — Так, погоди, что вперед будет?! Мной уж приказ даден: все те порухи исправить. Обещались дядевья Горбатый и Мстиславские и Курбский Андрей — уж, толкуют, за дело взялись!..

— В добрый час! — отозвался Макарий, нарочно давший свободу двум юношам столкнуться между собой.

— Ну, вижу: добрый ты слуга своему. И о том печалуешься, от чего мало корысти тебе было доселе. А что будет — увидим.

Затем, поднявшись и сделав обычный поклон митрополиту, Иван принял от него благословение.

— А ты, Алексей, — сказал он Адашеву, — нынче ж ко мне наверх приходи. Дело я для тебя придумал. Знаешь, отец митрополит, от самой, почитай, смерти отцовской «Царская книга» наша не сведена лежит. Вот искусник этот пусть и засядет за нее. А там поглядим!.. Пока — прости, владыка!..

И царь ушел, допустив на прощанье к руке Адашева.

— Ну, пойдем, Алексей, Богу помолимся со мной, чтобы помог Он нам в начинаниях наших... — сказал Адашеву митрополит, возлагая руку на голову замечтавшегося Бог весть о чем юноши.

И с помощью Алексея и служки перейдя в молельню свою, долго и горячо молился старик о том, чтобы Бог исполнил все, как он задумал.

О чем молился Алексей — кто знает?!

Бояре все не унимались. Распри и раздоры росли и клубились, грозя затопить все царство.

Юный царь, в душе которого различные настроения менялись так же быстро и легко, как очертания тучек в небесах, то карал, то миловал бояр своих, сегодня налагая по чьему-либо доносу опалу на боярина, а завтра,

по просьбе других, сменяя гнев на милость. Сам он, между тем следуя, кстати, и осторожно данному Адашевым совету, только и делал, что ездил по разным монастырям и, колеся из конца в конец своего царства, узнавал Русь.

Адашев, собственно, не посоветовал ему ездить, а красноречиво описал, как Кир Персидский и Александр Македонский в юности исходили по всей земле, которая их наследием потом стала. И знали землю... И говорили со всяким, кто жил в земле у них, его языком.

— И я бы так хотел! — заметил Иван, теперь не стеснявшийся откровенно высказывать перед тихим, вдумчивым Алексеем все свои желания, кроме грязных; о тех он с другими толковал.

— Да, хорошо бы... Да нельзя. И земля еще у нас не улажена... Могут и тебе вред какой сделать... И не пристало... Хоть и отрок, а царь ты... Вон через год и боярская опека с тебя снимется... Разве вот что...

— Что? Говори скорей!

— Государи завсегда по монастырям благочестивым ездили. Этого никто претить тебе не станет. Вот и ты начни. А там — и монахи, и игумены — всякую тебе правду скажут... И про бояр, и про тяглых людей, как тяжело им от насильников... Они бы рады лучше тебе, царю, последнее снести, а лиходеи и отбирают.

— Ну, недолго им!.. Пусть погодят... Скоро я с ними! — сжимая руки, пробормотал Иван.

И сейчас же объявил главным боярам, что желает на богомолье по монастырям поехать накануне своего царского совершеннолетия у Бога помощи и совета просить. Все только похвалить могли Ивана за намеренье. И до пятнадцати лет своих, когда пришла пора, — согласно завещанью отца, — отстранить боярскую опеку и взять правление в свои руки, Иван посетил до двадцати монастырей и обителей в разных концах Московского царства. В декабре 1545 года побывал царь и во Владимире, когда удалось наконец Москве хоть на малое время снова посадить в Казани «своего» хана и приспешника — толстого Шигалея.

Везде и монахи и народ простой с восторгом принимали царя. И всюду — жалобы и слезы доходили до государя на своеволие наместников, окольничих, старост губных, тиунов, вплоть до мелких служилых людей, которые обирали и теснили чернь. И все это залегло в душе и памяти Ивана. Где и чем мог, облегчал он народ, монастырям и селам и пригородам грамоты льготные давал.

Но помнил, как еще недавно его самого теснили и открыто грабили алчные, гордые бояре, потомки старой дружины великокняжеской, куда после прибавились потомки удельных князей, потерявшие власть и значение личное, собравшиеся вокруг крепнувшего трона московских царей. И всеми силами не позволяли эти люди, старались остановить в известных границах быстро растущее самодержавие Москвы, грозящее разбить, задушить последние искры их собственной былой мощи и самостоятельности...

Все понимал на опыте издевавший это молодой царь и решил потерпеть, подождать, пока сможет при помощи «земли» очистить царство от лишнего валежника, сваленного бурями минувших веков.

Осенью 1545 года свершилось царю пятнадцать лет. Теперь он уже не опекаемый мальчик, который просит опекунов: сделать так или иначе. Хотя и по виду, но все им совершается. Указы и доклады ему читаются; как он повелит? Теперь уж никто не смеет именем Ивана столбец подписать, послать бумагу куда на исполнение. Сам молодой государь дела государские ведает... на словах, конечно. Все идет, как машина, заведенная еще дедом, Иваном Третьим. Стара машина, кое-где заржавела, скрепы расшатались, повизгивают... Да и надстроено в ней не мало за последние тридцать — сорок лет... Не совсем даже части ее одна другой соответствуют... Но еще хорошо работают крепко откованные, гладко отлитые колеса и шестерни... И одно новое в ней сейчас колесо работает: это — воля, порой дикая, неукротимая воля, — ребенка-царя. Но она больше пустых или не важных, ребяческих вещей касается, и тонет этот новый голос в шуме и шорохе, который издают все части государственного механизма — до последней мелкой цевки да мужичка-оратая включительно... До той самой цевки, из которой и создана прочная основа земли Русской, царства великого Московского...

Тем самым временем, — именем Ивана, за его подписью, а порой и по собственной воле, — продолжались опалы, ссылки, даже казни. Так, Афанасию Бутурлину за дерзкие речи язык резали... Глинные с Воронцами, как звали Воронцовых, подо всю партию Шуйских подкопались и добились ссылки их главарей. Но по пути и сам Воронцов Федор опалу испытал. Постепенно любимец забыл всякую осторожность и прямо головой себя выдал, когда однажды ворвался к царю да стал чуть не с криком выговаривать:

— Чтой-то ты делаешь, Ваня?! Сколь много раз обещал

слушать меня, а ныне, ни словечушка не молвя, потайным путем, бояр да иных людишек жалуешь многим жалованьем великим! Вон хошь Алешку Адашева, чернорозега взять... И князя Александра Горбатого прямо возвеличил... А они — ведомые враги всему роду нашему... Как же так?!

Исподлобья поглядел Иван на своего наперсника, к которому если еще не охладел физически, то уж стал относиться с презрением, невольно сравнивая его в уме с чистым, неиспорченным Адашевым.

— Постой, постой, Федя!.. Я ничего такого не говаривал тебе... Никого не хочу я слушаться, кроме Господа. Он один царям указчик.

— Ну, брось! Какой ты царь для меня?! Ужли для меня чего не сделаешь?.. Ты уж так, гляди, ладь, чтобы помимо меня никто к тебе не подходил. А я уж оберегу тебя! Я уж знаю... И все за меня стоят! — желая запугать трусливого, как он знал, Ивана, прибавил Воронцов. — Ты гляди, мы не позволим чужой сброд во дворец напускать!..

— Не позвольте?! — протяжно повторил Иван. — Ну, ин ладно. Тогда делать нечего. Ваша власть!

Сказал — и ни слова больше.

Довольный одержанной мнимой победой, Воронцов ушел.

Когда Иван рассказал о сцене с Воронцовым дяде Михаилу Глинскому, тот так и побагровел:

— Ого! В Шуйские, в Андреи вторые — парень норovit... И ты стерпел, племяш?..

Иван, с умыслом сказавший все Глинскому, ответил с напускной кротостью:

— Что ж я? Вы — правители, опекатели мои!.. Вам и беречь меня. И то уж болтают — кровь я лью... Что сам ни сделаешь, потом от вас же покоры: его-де вас не спросил, бояр гласных?..

Результатом этой беседы явилась ссылка Воронцова Федора чуть ли не в один день с его заклятыми врагами Шуйскими и иными.

Было это в октябре 1545 года.

Опять всполошились присные тех опальных бояр. Засыпали Бельских и Глинских подарками, кинулись к ногам митрополита.

Волей-неволей, чтобы не выказать себя врагом сильного еще боярства, пришлось пастырю снова за преступников просить.

— Да за кого просишь, отче? Думал я, доброхот ты

мне, а вдруг за врагов просишь!.. Знаешь ли, те же Кубенские, Палецкие, Шуйские да Тучковы меня с братом Юрием чуть не голодом морили... Как с последних басурманов, в праздники даже великие, затрапезных кафтанцев не сымали, в штанцах подранных водили. Себе батюшкино да матушкино добро хитили. Петли им мало, не то опалы моей!..

Но Макарий все-таки смягчил Ивана. А по угоднику и ласкателю своему, Феде, юноша и сам скоро заскучал, как по грязной, но привычной игрушке.

И к Святкам того же года были прощены все.

Возвратясь вторично на Москву, Воронцовы, пылая местью к врагам, повредившим им у царя, решили принять крепкие меры. Помогать им, сперва на свой страх, а потом и вкупе с Воронцами, принялся Федор Бармин, духовник царя Ивана. Насулили сначала Шуйские отцу протопопу полон короб всего — и ничего не дали. Поп, как уже известно, скоро против первых покровителей пошел, пристал к Глинским с Бельскими. И правда, сперва потянули было попа эти вельможи. Но Макарию не понравилась такая близость между духовником Ивана и первосоветника-ми его.

«По единому сто прутьев изломишь, а в связке погодишь!» — подумал Макарий и незаметно, полегоньку да потихоньку, не сам, а посредством десятков и сотен людей, с которыми приходил в столкновение и влиять на которых умел превосходно, стал Макарий подтачивать влияние Федора Бармина, расшатывать его положение.

Гордый, стремительный и не очень дальновидный, Бармин сам помогал больше всех своему ослаблению. Малейшая неудача или замедление в осуществлении планов личных раздражали протопопу, и он надоедал покровителям, злился, грозил... кидался к вождям противной партии, заискивал, унижал себя, роняя и свое достоинство и шансы на успехи, которых только и жаждал. Благо родины, успех веры Христовой не особенно заботили его.

«Протопопицу в монастырь. Сам надену клобук, спервоначалу черниций, а опосля и митрополичий!» — вот в чем заключались заветные мечтания Бармина.

«Нет, видно, от бояр-собак пути не ждаты!» — решил наконец поп и стал пытаться влиять на царя, упирая на то, что усердно работал при свержении князя Андрея.

Но и царя только раздражали резкие нападки Бармина. А грубые, неумелые намеки и периоды льстивых за-

искиваний раскрыли скоро глаза не по годам проницательному и подозрительному юноше на истинный характер и филиппик, и лести протопопа.

Видя, что и тут дело не выгорает, Бармин совершенно озлобился.

— Эка!.. Погодите же! Всем вам насолю...

Рыбак рыбака увидал издалека.

Работая в одном направлении, Воронцовы и Бармин столкнулись скоро, уразумели друг друга и решили действовать сообща «всем врагам своим и царским на пагубу свирепую»...

Только в то самое время, как протопоп действовал потихоньку и осторожно, вливая яд клеветы и крамолы в умы своей паствы, Воронцовы шли иным путем. Прикинувшись, что обида и раскаяние заставили их отшатнуться и от первых бояр, Глинских и Бельских, и от самого царя, который-де игрушка в руках у родни, Воронцовы кинулись к Шуйским, Кубенским и ко всей старой партии. Конечно, и наполовину не поверили те своим новым союзникам, но в борьбе нельзя пренебрегать даже сомнительными средствами и не совсем надежными. Закипела работа... Новгород был всегдашняя опора старинных вотчинников и волостелей своих, Шуйских, вечно умевших мирволить новгородцам и защищать старые вольности города от Москвы-насилъницы. Новгород и на этот раз сыграл роль опорного пункта для заговорщиков.

Ждали только случая, чтобы устроить порядком царя и восстановить против Бельских с Глинскими, а то и захватить Ивана, а там поглядеть можно, как царем-племянником воспользоваться? Шемякина смута не за горами была. Все еще ее помнили.

Конечно, не оставались в неведение первые бояре обо всем, что затевалось, но помалкивали, надеясь обратить происки врагов на гибель их же собственную. Так подошла весна 1546 года.

Плохие вести пришли: хан крымский на Москву походом идет. Уж за Рязанью сторожа порубежные видели значки агарянские, бунчуки ордынские. Это за брата, хана казанского, мстил Гирей, за поход удачный, который прошлой весной русские на Казань совершили. Иван пожелал выступить сам в поход. Робкий и запуганный боярами в своем дворце, он в мечтаниях совершал тысячи героических подвигов, подобно Дмитрию Донскому и другим царственным героям-предкам...

— Двум смертям не бывать — одной не миновать! — уговаривал себя отрок, когда невольный страх перед какой-то неизвестной опасностью охватывал его юную, измученную до срока душу.

Умереть в каменном мешке, задавленным или зарезанным толпой крамольных бояр — это казалось Ивану ужасным. Он и содрогался, и в ярость приходил при одной мысли, что такой конец грозил уж ему не раз, да еще и теперь может грозить.

Но умереть в бою, с оружием в руке, получая и нанося раны? Ведь это должно быть даже приятно! Нашептывал ему голос Рюриковой воинственной крови, которой не чужд был государь.

У Коломны отряды, пришедшие из-под Москвы с царем, стали станом. И новгородские, и псковские дружинники скоро подоспели сюда же. Пришло тысячи две ратных людей и казаков из Касимова с царьком ихним, Шах-ханом во главе.

К этому времени казанцы, временно принявшие было Шигалея на престол, выгнали уже толстого, ленивого государя, который все к голосам из Москвы прислушивался, своих гяурам продавал, вместо дела царского девушек да жен мурзинских и простых татарок с пути сводил. Иную добром, а иную и силой из семьи в гарем свой уволокивал... И согнали казанцы хана.

Пришлось здесь, в Коломне, всем стоять, дожидаться остальных ратных полков, которые из всех концов царства, под предводительством местных дворян и бояр, к сборному пункту потянулись.

Май настал. Все зеленело, цвело...

Остановясь с близкими своими людьми в большом пригородном монастыре, царь мало дома сидел. С утра раннего, окруженный боярскими детьми и дворянами своими, скакал он по окрестным полям, заглядывал и в села... Отдыхал там порой, собирая веселые бабьи и девичьи хороводы, потешаясь чем придется.

Особенно царь любил езду... Немало и давить народу на скаку довелось ему с его озорной, многочисленной челядью. За отсутствием настоящих врагов, Иван воображал, что поражает басурман, когда с гиком и воем налетал на село, грозой проносился по зеленеющим нивам и только что не сжигал жалкие избы напуганных крестьян... Потом стоянку делали... И веселье, нездоровое, разгульное, кипело волной... Но если боярам, дьякам и подьячим

в особый укор такие дебоши народом не ставились, так уж самому царю и подавно.

— Веселится сокол наш ясный! — твердили мужички-серячки. — Молод-зелен еще... Ничаво... Все обойдется. Вон, бают: и ласков он порой к нашему брату — хрестьянам православным!.. Што же: пушай его!..

Бояре, глядя на дикие забавы, поглаживали бороды и самодовольно твердили:

— Ишь, побойчал как!.. Хоробрый будет волостель. Землю обережет. Не станет на печи от врага прятаться...

Младший брат, Юрий, тот оставался в Москве, во дворце, и целыми днями там или ел, или спал, в окно глядел, птицу кормил-прикармливал, которая к знакомому окну всегда стаями слеталась.

В одно утро Воронцов, все время и так ходивший туча тучей, пошел к Ивану в особенно мрачном настроении.

— Что с тобой, Федя?.. Ай с левой ноги ноне встал? — после первых приветствий спросил царь.

— С левой? Погоди, скоро никакой не останется... Не с чево и вставать буде.

— Ой, что так страшно? Аль татар трусишь?..

— Какие татаре? Свои горше лютого татарина ушибут. Тогда вспомняешь, кто твой слуга верный, а кто юда-предатель.

Загорелись глаза у Ивана, даже задрожал он, пуще всего не любивший намеков и боявшийся неизвестности.

«Что бы ни было страшное, да легче его знать, чем пустяковой беды ожидать!» — говаривал он.

— Эй, Федя! — крикнул царь на Воронцова. — Гляди, не очень зли меня. Я пынче тоже не больно радощен встал. Говори, коли дело есть, не виляй хвостом по-лиси!

— Что не сказать? То и дело, что мятеж в стану. Бояре твои первые: Бельские-подбельские да Глинские-спатьзавалинские то учинили, что ратники бунт завели... потайный пока... А там и въявь все объявится... Увидишь скоро. А тебе никто и не скажет... Позволяют чуть не одному скакать. На пагубу, видно, чтобы потом власть в руки свои вплотную забрать!

— Мятеж? Бунт? Ратники?.. Да ты спятил! Когда? Кто? Не Шуйские ль то сызнова?

Иван и допустить не мог в уме, чтобы простые ратные люди какое-либо зло от себя сами замыслили на него, на царя, Богом данного. Воронцов на миг задумался: предать

или не предать давних врагов своих, недавних союзников Шуйских?

И решение быстро созрело.

— Шуйские?.. — повторил он, словно неохотно. — Може, они, да и не одни!.. Я не обыщик. Мое дело тебя остеречи да оберечи. А там — каты твои пушай с докащиками сыск ведут да воровских людей имают!.. Только совет мой тебе: не езжай никуды без доброй сторожи... А лучше и вовсе дома посиди... Покамест...

Иван только презрительно посмотрел на Воронцова. Потом, помолчав, промолвил:

— Ин, ладно! Спасибо за вести. А как быть мне — рассудим мы сами о том умишком своим...

В то же утро на любимом коне своем, арабчике, которого принял в дар от Адашева, щедро одарив взамен нового слугу своего, выехал, по обыкновению, за город Иван с большой блестящей свитой. А поодаль скакала дружина дворянская, человек двадцать — тридцать. Рядом с Иваном двоюродный брат его, князь Владимир Андреевич Старицкий, и родич, племянник царя по женской линии, князь Мстиславский Иван. На большом, тяжелом коне плетется за всеми грузный хан касимовский, безбородый и малоподвижный. При нем Даир, царевич астраханский. И Курбский Андрей, воин молодой, и князь Горбатый, воевода, тут же едут. Воронцовы оба брата поодаль немного — Федор и Василий. Кубенский Семен, родственник казненного всего год тому назад князя Ивана, троюродного брата царского, едет задумчивый, взволнованный чем-то. Мстя за невинно казненного страдальца, он теперь подал руку Воронцовым и Шуйским, но прямая честная душа Рюриковича возмущается окольными, темными путями, которыми пришлось ему идти.

Морозов Михаил, Сицкие, Захарьины, воевода Михаил Воротынский, Хованский-князь, Иван Челяднин, Палецкий, Бельский молодой — все тут.

Алексей Адашев, новый постельничий царский, едет и о чем-то толкует с князем Дорогобужским, своим товарищем по должности, тоже спальником царским. С говором и смехом ехала вся кавалькада. Атласные кафтаны, опушки меховые, соболиные, разводы и жгуты из золотых да серебряных нитей тканые, камни, самоцветы дорогие, украшавшие всадников, — все это так и сверкало-переливалось в ярких солнечных лучах.

Оружие дорогое, с насечкою, тоже сияло да позвякива-

ло. Оперенные стрелы в саадаках на быстром ходу так и взлетали за спиной у дворян-проводящих...

Проехав с полчаса, миновав и оставив далеко позади городскую черту, весь поезд направился прямо к стану московских войск: Передового полка и полка Правой руки, которые раскинули шатры свои верстах в шести от города, в тени густых деревьев большой, многолетней рощи.

— Глядите, что за люди такие идут прямо на нас? — вглядываясь в даль, спросил вдруг князь Мстиславский.

Царь насторожился и тоже пристально стал вглядываться в том направлении, куда указывал княжич Иван.

В полуверсте от них из рощи на опушку один за другим высыпали ратные люди, по виду пищальники. Все в темных полукафтанных, в шапках новгородских, — они, конечно, принадлежали к дружине, высланной из Новгорода тамошним наместником, князем Турунтаем-Пронским, ведавшим и Псковом заодно. Раньше Репнин-Оболенский с Андреем Шуйским правили бурливыми сынами святой Софии, но Шуйский возвысился сперва на степень правителя московского, а потом зарезан был на пустыре, как овца. Репнин тоже не удержался на своем месте. Турунтай, назначенный Бельскими, не был честнее. Он лишь изменил тактику, которой раньше держались оба соправителя.

Льстя всему миру, всем обывателям вообще, давая городу новые льготы, и своей волей, и у царя выпрошенные, наместники вообще не упускали ни одного случая, где можно было прижать, потеснить, пограбить отдельных людей: торговых, тяглых или гостей заморских, а таких особенно много собиралось в Новгороде, старом торговом перепутье. Еще солоней Пскову приходилось.

Но псковичи — те молчали, терпели покуда. А более смелые, буйные новгородцы, и в спальне царицей не раз под главенством Шуйских куролесившие, — эти легко поддались на «поджигу» Воронцовых, Кубенских и тех же Шуйских. Решили теперь они воспользоваться случаем: отрока-царя припугнуть, а то и в полон забрать, держать, пока своего не добьются...

Чтобы избежать обычных, вечных ссор между войсками, новгородцев подальше от москвичей поставили, верстах в трех, зато к городу поближе. И только мимо шатров, осененных хоругвями с ликом Заступницы Новгородской, можно было пробраться к вежам московским.

Видно, шепнул кто пищальникам, когда и как поедет Иван. Покинув шатры, ратники забрались по ту сторону

дороги, в рощу. И теперь, как из мешка, сыпались на опушку; стоят и на пути, по которому царю вперед ехать надобно. Сначала, казалось, немного их вышло из лесу. Но за полверсты видно, что между деревьев еще кафтаны и цветные верхи шапок виднеются... И постепенно увеличивается живой человеческий затор на пути.

Побледнел Иван от ярости, узнав новгородскую дружину, вольницу, ему с малых лет страшную и нелюбимую... И старый страх прополз холодной змейкой по спине.

Далеко еще они, пешие... Кругом — обороны много у Ивана... А все же невольная дрожь пробегает по телу...

Овладев собой, говорит Горбатову:

— Ну-ка, Сашка, пошли кого, пусть погонят с пути это воронье... Новгородцы, никак?... Их даже кони, того и гляди, испугаются.

Мигот от группы дворян, ехавших сзади, отделилось человека три и поскакали к кучкам пищальников, но те, опершись на свое оружие, стоят спокойно, ждут приближения поезда.

— Эй, вы! Што за люди?! Прочь с пути, смерды поганые... Царь едет!.. А не то!..

И дворяне внушительно свистнули по воздуху своими нагайками турецкими, со свинчаткой на конце.

— Су! Грозно, да не грозно. И не таких медведей мы подымали на рогашины... Што ж, што царь? Его-то нам и надобно. Челом ему бить хотим, на обидах на поместных, на служилых да на дворянских... Скачите, скажите царю... Неча ему пужаться нас. Не татаре мы: его подвластные, хрестьянский люд.

— Прочь! И слушать ничего их не хочу!.. — с пеной у рта от дерзости холопов вскрикнул Иван, когда подсказали дворяне и передали, что толкуют пищальники. — Пусть в шалаши свои попрячутся, нам дорогу дают. Для жалобщиков приказы есть у нас... Прочь их погнать... Сейчас же.

— Приказы?... Знаем мы энти приказы! Вон они у нас, здесь сидят! — показывая на загивки, уже гораздо резче загалдели пищальники, выслушав ответ Ивана.

Ответ этот сообщили им царские посланные, окруженные толпой проводящих дворян, по знаку Горбатого выехавших вперед царского поезда.

— Что?! Вы орать? Царского слова не слушать?... Прочь, холопы!.. — загремел голос старшего из дворян-

охранников.— Ну-ка, братцы, покрестим дураков, чтобы знали, как молиться, как лоб крестить!

И со свистом опустилась тяжелая нагайка на плечи ближайшего из толпы.

Там словно ждали только этого знака...

Плотной стеной, отвечая бранью на каждую брань, толчком на толчок, стали надвигаться на конных пищальники. Одни хватают за уздцы горячившихся коней, стараются стащить с седла всадника. Другие — колют лошадей: те, вздымаясь на дыбы, чуть не сбрасывают всадников. А куча новгородцев, озлобленных, дюжих, подвыпивших хорошо, очевидно для храбрости, все растет. Полетели комки грязи, камни в дворян. Сообразив опасность, конные круто, все разом повернули, проскакали немного назад, выстроились, опять повернули и стоят теперь живой стеной между поездом царя и толпой бунтовщиков, готовые ринуться в лихую атаку. Но раньше вынули по стреле, зарядили самострелы и ждут, что будет.

Князь Горбатый, видя, что творится, поскакал к дворянам-стражникам, чтобы распорядиться боем.

Иван, еще пуще теряясь, страшно озлобленный, огляделся вокруг.

Прежде всего ему кинулось в глаза, как разделилась его собственная свита. Владимир Андреевич, Сицкие, Захарьины, Курбский молодой, Мстиславский, Адашев, Морозов, Воротынский, Челяднин и Бельские — все заступили царя, огородили его, словно прикрывая собой от опасности, как пчелы матку порою оберегают телами своими.

Петр Шуйский, Хованский и Кубенский с Палецким, словно ненароком, отстали малость, поодаль, на отлете держатся. Воронцовы-братья — ни в тех, ни в сех: посредине, так сказать! И сюда, и туда одинаково быстро и незаметно примкнуть могут, смотря по ходу события.

Все это заметил наблюдательный, вдумчивый царь.

Вперед глянул — там уж стрела зазвенела... Пищаль грохнула... Ослопы мелькают, сверкают лезвия сабельные... Побойте прямо затевается. Вот упало двое...

Назад посмотрел Иван и обмер. Из рощи, мимо которой ехали раньше, — там, отрезая отступление, появились новые толпы этих угрюмых, возбужденных холопов-пищальников. Много их! С той и другой стороны до тысячи шапок наберется... А иные и в полной броне, с колпаками железными на голове... Словно на врага вышли! Направо от дороги луг зеленеет, пригорками и холмами кончаясь

вдали. Что там? Может, новая засада?.. И круги разноцветные поплыли в глазах у царя.

«Словно зайца изловили, затравили! — подумал он. — Дурень, что я Федьку, подлеца, не послушал... Все же, видно, не врал он, хошь сам, может, и беду навел!..» — вдруг почему-то с прозорливостью, присущей порою эпилептикам, решил Иван.

В то же мгновение он почувствовал, что с обеих сторон что-то хватает под уздцы его коня.

— Прочь! — с выкатившимися от ужаса глазами вскрикнул царь, с быстротою молнии выхватил пистолет из-за пояса и взвел курок.

Миг — и грянул выстрел: но в небо, так как Адашев подтолкнул руку Ивана.

Это он, Алексей, да Никита Захарьин схватили царскую лошадь и говорят:

— Не бойся, государи! Здесь, за лугом, вон за теми холмами, проселок вьется... Те пешие, мы на конях. Мы сейчас там были... На проселке. Чисто вокруг. Нет никого!.. Скачем туда, целиной, наперерез, скорейча, государь, пока заднее мужичье не подвалило!

И, сразу поворотив коня Ивана, помчались они первыми, без памяти, через луг, а за ними весь поезд царский.

Почти бесчувственным домчали Ивана в стан московский, где посредине раскинут высокий, златоверхий царский шатер с хоругвью дедовской при нем, а на хоругви изображен святой Георгий Победоносец.

До этого дня почти все ночи проводил Иван в Коломенском монастыре, где некогда был настоятелем один из монахов-иосифлян, друг покойного царя Василия, — Вассиан Топорков, непримиримый враг всех бояр.

За особое доброхотство к великому князю бояре лишили его епископского сана, подняли на Вассиана коломенскую чернь, едва не побившую камнями архипастыря. И кончилось тем, что сослали Топоркова на дальний Север, в бедный, хотя и чтимый очень, Белоозерский монастырь.

Коломенские монахи порассказали Ивану о верном слуге и мученике за преданность царю. Но больше не пришлось Ивану ночевать под монастырским кровом. Едва ввели его в шатер, как начался обычный припадок у потрясенного юноши. Кое-как, в отсутствие врачей, справились окружающие с больным и разошлись. У ложа остался один Адашев, как постельничий. Да в соседнем отделении шатра,

разделенного на две половины, расположился на отдых **Вязь** Владимир, тоже оберегая сон двоюродного царственного брата.

Вечер сходил на землю.

Тысячи звуков висели и реяли над суетливым станом московской рати. Ржали кони в коновязях, блял и мычал скот, приведенный для продовольствия ратников... От реки в больших мехах и в ушатах, на скрипучих телегах воду везли для варки ужина... Вился и разносился в прохладном воздухе терпкий дымок от очагов походных, от костров. Летел к небу клубами этот дым, весь озаренный и пронизанный косыми, красноватыми лучами заходящего солнца, придающего нежные оттенки багрянца дымным струйкам и клубам. Движение, говор и гомон в стане. Вечерние караулы разводятся, к ужину собираются люди... Проезжают посланцы порой... Завтра праздник, и перед аналоем, на открытом воздухе священник служит всенощную... Благоговейно осеняют загрубелые руки ратников широким знаменем креста их запотелые, загорелые лбы... Аромат ладана сливается с ароматами зеленых лугов и лесов, доносимых сюда ветерком... И какая-то незримая, неуловимая тишина словно готовится поглотить, заглушить все стихающие звуки шумного лагеря, заканчивающего свою дневную, полубоевую жизнь.

Легкий порыв ветерка пробрался в открытые полы царского шатра, скользнул по лицу спящего, шевельнул прядью слегка выющихся темно-русых волос, и Иван сразу проснулся.

Во сне позабыв о случившемся, он раскрыл глаза, не чувствуя той истомы и разбитости во всем теле, какие обыкновенно испытывал после своих припадков. Свежим, бодрым пробудился царь и с отрадой впивал всюю полубогаженною грудью свежий майский вечерний воздух и аромат, глядел на красноватые лучи, пронизавшие сумрак шатра, на всю, знакомую ему, картину военного стана,ходящего ко сну. Приподнявшись, ловил царь чутким ухом эту гамму из тысячи звуков, рассеянных в воздухе и образовавших стройное, хотя и слабо уловимое согласное созвучье.

Вдруг глаза его встретились с глазами Адашева, тревожно глядящими на проснувшегося царя.

Сразу все вспомнил Иван — и передернуло, перекосилось от злости лицо, пена опять выступила в углах губ. Быстро повернувшись к стене, чтобы скрыть краску, зали-

вающую ему лицо, краску стыда и смущения, Иван погрузился в глубокое, мучительно напряженное раздумье.

«Видели!.. Все видели, как струсил я, бежать кинулся! И от кого же? От холопей, от смердов своих же, от толстолюбых новгородчан!.. А не уйди я — убили бы! Прямо надо говорить. Спасибо еще Адашке и Захарыну. Выручили... Но, уж видит Бог и святой Георгий, сведу когда-нибудь я счеты с проклятыми новгородцами... Не они сами, внуки их за все про все мне поплатятся! Навеки отучу их фордыбачиться, иначе — жив не буду... Аминь!.. А теперь надоть бы узнать путем: кто подстроил их? Кого бы только мне на обыск пустить? Из бояр — никого нельзя!.. Они покрывают один другого. Злейшего врага — враг не выдаст, чтобы против царя больше шапок стояло!.. У-у!.. И с вами, голубчики, по времени поуправлюсь я! Моя земля — и я буду владеть ею... Адашку нешто напустить?.. Верен парень, не лукав, да молод... Живо подлые с толку, с пути парня собьют!..»

И, лежа в молчании, царь мучился, изыскивая, как бы ему зачинщиков, настоящих вдохновителей сегодняшнего бунта раскопать... Кто бы помог ему расплатиться за муки страха, испытанные там, на дороге, под лесом? За все муки стыда, переживаемые здесь вот, теперь?!

И вдруг чуть не в голос вскрикнул царь:

— Захаров, Васька!.. Благо — здесь, со мной он!..

И сейчас же вскочил, живо сел на постели.

— Что прикажешь, царь-осударь? — отдал поклон Адашев.

Владимир Старицкий, услышав голос Ивана, тоже появился на этой половине шатра.

— Что? Каково тебе, государь?

— Ничего... Спаси тебя Бог, брате. Лучше сейчас. А вскорости — и вовсе хорошо, легко станет, коли Бог допоможет. Захарова-дьяка, Ваську ко мне! — приказал он Адашеву.

Адашев, выйдя, поспешил разыскать этого дьяка из Судного дворцового приказа, человека темного родом, но приближенного к юному царю за бесстрашное исполнение долга. Доказал это Захаров год тому назад розыском по делу казненного тогда же князя Ивана Ивановича Кубенского, думного боярина, Рюриковича родом, доводившегося, со стороны матери, троюродным братом Ивану; еще при Василии занял он важный пост крайнего царева.

Ивану донесли, что боярин, правда, после пиру весело-

го упившись изрядно, толкуя о казнях, свершенных недавно, резко порицал юного царя и так заключил «неистовые» речи свои:

— Вот уж будь я в верховных боярах, не попустил бы злодеяний таких! Показал бы, что Рюрикович прирожденный есмь! Не на овчину-де львиная шкура надета у меня.

Царь понял жгучий намек о своем рождении, скрытый в последней фразе, и решил жестоко отомстить боярину.

Долго думал тогда, как и нынче же, Иван: кому бы дело поручить.

Вспоминать, прикидывать стал и остановился на старом пособнике матери покойной, на дьяке Василии. Из простых людей был Захаров, но великая княгиня за ум и сметку его отличала, и по смерти Елены не опускаться, а подниматься продолжал старый служака.

— Слушай, дьяк! — сказал ему царь. — Прослышан я, что боярин мой значный, родич любезный, воровским делом живет... То Кубенский сам боярин, крайчий наш и самотяг, бражник бесовский. Мало того что во хмелю наше царское величество поносит, но и жалобы многие до нас дотекли на мздоимство и лихоимство боярское... Сказывают, погреба его не купленным, нашим царским вином да медами полны... Не желаем терпеть того, дьяк. Особливо — глумления боярского. Сможешь ли, никого не убоясь и не устрашась, розыск сотворить, послухов найти, как следует боярина изобличишь ли?

— Коли сам он столь виноват, чего ж бояться али страшиться мне, светлый царь-государь? Его вина, его и страх. А я — слуга царский!..

И правда: как сказал, так и сделал дьяк.

Послухи нашлись неложные, старые вины несомненные сыскались за гордым, знатным боярином, который, несмотря на знатность и богатство, подобно остальным вельможам, и в лихоимстве грешен был, и, любя выпить, не особенно с царскими погребами чинился... Уличен был. Казнили его.

Правда, взывал боярин к близким и присным:

— За что гибну? Хуже я, что ли, вас? Грешней ли? И то подумайте! Вызволяйте своего!

Но все попытки оказались напрасны.

Иван сам следил за судом и розыском. И все скоро поняли, что не грехи личные, не лихоимство, а слова неосторожные сгубили боярина...

И сейчас царь решил, что дьяк, не струсивший тогда, не сробеет и теперь, душой перед царем не покривит.

— Встань, слушай! — приказал он Василию Захарову, когда тот, введенный в шатер, как водится, поклон земной отвесил.

— Что было нынче со мной? Слыхал ли? Знаешь, чай, уже?..

— Слыхивал, знаю, царь-осударь!..

— Розыск учинить надо... Суд нарядить!.. Быть того не может, чтобы сами они от себя, как ни буйны собаки новгородские... Знают, ведь московский стан мой рядом. За каждый мой волос их бы запытали, затерзали потом!.. Живьем бы сожгли их мои ратники! Значит, заручка у мятежных была. На сильную руку на чью-то надеялись... Да не на одну!..

— Так полагать надо, царь-осударь!..

— Вот и допытайся... Никого не щадя, ничего не страшась. Дядей родных, бабу свою старую — всех тебе на сыск отдаю...

— А рази думно тебе, царь-осударь? — осторожно осведомился прозорливый дьяк.

— Ничего мне не думно. Кабы думно — я бы сам наказал, своей властью... Да не хочется правого за виноватого схватить... Чтобы виноватые не ликовали да не тешились надо мной!..

— А все же, осударь, чай, в мыслях имеешь что? Али в приметах каких? — продолжал допытываться осторожный старик, чтобы получить хоть малейшую путеводную нить в этом лабиринте боярских происков и козней.

— В приметах?.. В мыслях?.. Мало ль што имею я. Да тебе скажу — и с толку собою. Пойдешь по моим следам — свои потеряешь.

— Не было того, кажись, царь-осударь! Чту я тебя, сам знаешь как! А разума своего не чучаюсь... У тебя царский ум, высокий... У меня — подьячий, низкий. Да он-то нам тут и надобен.

— Правда, правда... Ну, слушай!..

И царь рассказал дьяку про наветы Воронцовых, про их поведение утром, во время нападения новгородцев, и про остальных бояр, все, что заметить успел в эту тяжелую минуту.

Невольно высказались тут симпатии, антипатии царя, его затаенные желания и подозрения чуткие.

А старой лисе-дьяку только того и надобно было.

«Западает воронцовская звезда! Восходит зорька Адашева!» — подумал про себя дьяк и сам заговорил вслух:

— Выразумел я слова твои, царь-надежа... А только труда не мало будет подлинных-то злодеев сыскать. Это истинная правда, что с подспорьем великих дело начато... Откуды лишь?.. Да небось! Душу положу, а все, как масло на воду, выведу!

— Действуй! А вот тебе и подпис мой! Кого хошь — на допросы зови, в колодки сажай... Полная тебе воля! И, снабженный приказом царским, дьяк принялся за дело.

Отпустив дьяка, Иван остаток дня провел с Адашевым и Владимиром Андреевичем.

Иван с князем Владимиром слушали, что им начитанный Адашев из разных книг пересказывал.

— Да ты стой! — остановил его Иван. — Буде тебе все про важное да про ратное да об землях чужих... И сам я немало читывал... И не до того мне нынче. Веселое что прибереи. Развей хворь, кручину-тоску мою... Видишь: не дужится мне еще...

— Изволь, осударь! — вспыхнув невольно лицом, ответил Адашев. — Хоть и не мастак я... Да пришлось как-то... Читывал я итальянскую книжицу невелику. Мних один, доминиканец складывал... Как его?.. Да, Банделли звали... Забавные у него гистории, хошь и не совсем чинные да пристойные...

— Их-то нам и подавай!.. Уж коли мних писал — знает, забавно. Мастаки они на всяку таку всячину. Валий!..

И, заливаясь не раз румянцем стыда, покорный воле царя, Адашев стал пересказывать новеллы соблазнительного характера из хроники некоего доминиканца Банделли, предшественника Боккаччо, не уступавшего последнему в живых красках и в забавном остроумии. Оба слушателя наслаждались и хохотали от души, причем царя занимал столько же рассказ, сколько и навольное смущение, застенчивость рассказчика, чистого душой, патриархально воспитанного в семье, Алексея Адашева.

— Ишь ты, — заметил Иван, — соромишься ты, словно девица красная. Соромишься делов таких обычных. Да ты ведь женат, Алеша?

— Женат, осударь!..

— Поглядеть бы, как ты с женой первую песенку зардевшись пел?!

И Иван цинично захохотал от воображаемой забавной картины.

Адашев только ниже опустил голову с потупленными глазами.

— А што, красива твоя женка? Стройна, полна? Как звать-то ее?

— Настасьей, осударь... Мне мила... А там, как сказать — красива ай нет — не знаю...

— Ладно. Кроешься... Боишься, чтобы не отбили... Ладно, на Москву воротимся, сам приду — погляжу. Да скажи: на кой ляд так рано оженили тебя, молодца? То-то ты мне такой плохой товарищ в веселых забавах моих!.. К жене все домой тянет? А? Право, рано сгубили парня.

— Воля была родительская, осударь... И опять: протопоп Сильвестр, отец честной, батюшке моему порадил: «Скорей парня женить, — сказал, — раньше добра видать... Деток выведет. Будет для кого стараться: дом приумножить, а не расточить... Хошь и не царское наследие у вас, чтоб надо готовить преемника, а все же гнездо... И не избалуется парень, здоровей будет! Господь так и устроил, что мужеску полу без женска не быть. Следует лишь соблазну блудиться!»

Внушительно, твердо повторил почему-то Адашев эти речи пастыря, словно желая врезать их в ум и в душу царя.

Тот задумался на мгновенье.

— Протопоп наш, благовещенский, — Сильвестр? Вы его откуда знаете?

— Из наших он краев, новгородский...

— Да, да, правда... И я замечал: хороший он поп... На иных не похож... Хоть бы Феодора взять Бармина, батьку духовного моего.

— Да, Сильвестр — редкого ума старец и жизни святой! — живо вмешался Владимир, который знал, как много помогли его освобождению именно Сильвестр с митрополитом Макарием. — Давно он ведом нам, государи! Истинный пастырь духовный!..

Царь еще больше задумался.

— Гм... надо будет пощупать попика... Може, и мне он по душе придется, ежели вам так угодил. А я не одних скорморохов да чревоугодников, застольников моих, жаловать умею... И людей бы добрых, изрядных хотелось круг себя видеть... Да чтой-то мало их! — произнес негромко этот царь, в пятнадцать лет успевший узнать всю грязь жизни,

извериться в окружающих, и замолк. Вдруг тишина, наставшая в шатре, прервана была резким криком:

— Да придет царствие Твое!..

Это крикнул сидящий на жерди попугай Ивана, посланный царю Константинопольским патриархом, умевший читать «Отче наш». Иван улыбнулся.

— Придет, придет! Да не сразу, видно... — И, поглажив по шейке любимца, продолжал беседу с Адашевым и с братом. Но скоро опять дремать стал и отпустил их...

Немного дней провел еще под Коломной Иван, пока пришло известие, что крымцы бою испугались, назад поворотили, а ретивый дьяк Захаров и розыск весь кокчил... Как по писаному дело пошло!

Выплыли замыслы злодейские наружу; поджигательство Шуйских явное. Помощь тайная со стороны Кубенских и Воронцовых, которые помогли осуществлению дела.

Иван в ярость пришел, выслушав доклад.

— Федя Воронцов?.. Тот же, что юдиным целованием целовал меня? Сам о крамоле упреждал, сам же и заводил ее? С врагами моими смертельными против меня, с Шуйскими стакнулся?! Ладно же! А Кубенским, им мало, видно?! Не унимаются? Весь род их изведу, а смирю строптивых, покажу им, каков я овчина есть под шкурой львиною.

И оба брата Воронцовых, Федор и Василий, и Кубенский Петр казнены были. А их многочисленные сообщники, смотря по степени вины, или, вернее, ненависти к ним Ивана — кто сослан был, кто батогами и кнутами казнен, кто просто опале подвергнут, с глаз царских удален в поместья свои дальние.

Было замешано в деле несколько лиц из белого и черного духовенства. Их, властью митрополита, тоже кара постигла. Кого заточили в монастыри дальние, бедные. Иных — расстригли, предали светской власти на расправу.

Федор Бармин, нашедший сильных покровителей и у царя, и у Макария, был отпущен в «легком подозрении», но оставался еще духовником царским, пообещав митрополиту покорствовать во всем и в дела мирские не мешаться отнюдь.

Воротясь на Москву, Иван не забыл своего обещания — побывал у Алексея Адашева.

Тот жил уже не в Китай-городе, у отца, а, как царский

постельничий, устроился в самом Кремле по правую руку Ризположенских, теперь Троицких ворот, по левую сторону которых темнели тюремные срубы с потайными подземными тюрьмами, мешками каменными...

Ворота же сами представляли из себя две высоких башни, первая «Собакина» по прозванию, по одну, другая по ту сторону Неглинки-реки. Обе башни были соединены крытым мостом, с бойницами поверх покрытия. Таким образом, внизу ехать, а вверх ходить можно было. Сбоку каменной кладки для береговых жителей, селившихся за стенами, были еще деревянные мостки через воду перекинуты.

Двор Алексея Адашева, граничащий с владениями Семена Никитича Годунова, не так велик и посадист был, как двор старика, Федора Григорьевича, но все же изряден. А жилые покои просторней даже и лучше убраны, чем у отца. Нежданно в гости сюда царь пожаловал. Жена Алексея, Настасья, урожденная Сатина, и подруги — гости, бывшие у ней и гулявшие по саду, — притворились сильно напуганными, когда Иван, в сопровождении самого Адашева, появился перед ними.

Не знал, конечно, царь, что, пока седлали коня ему, после того, как он объявил: «Алеша, а нынче я к тебе нагряну...» — что в этот самый миг помчался вестник к Адашевой с упреждением.

А Настя, добрая и ласковая на вид, красавица, с серыми навывкате глазами и полной грудью, была не глупа и мужу покорна. Начеку жила, и все уж давно у ней было налажено, с подругами уговорено.

Пока дворцовым двором и проулками нелюдными добрался Иван до Адашевых — там все было готово.

Приняли честь честью царя.

Сама хозяйка меду первую чару поднесла и расцеловалась с гостем. И все ее подруги — больше девушки, так как недавно повенчанная Настя еще сохраняла связи с подругами, — все должны были угощать да целоваться с юным царем, благо, и он очень охоч на это, и они не прочь светлого государя-красавчика потешить.

Все как на подбор красавицы здесь собрались. А больше всех приглянулась царю веселая, бойкая да разбитная боярышня Анастасия Романовна Захарына. Хотя не княжеского, боярского только роду девушка, но славной, почетной семьи, особенно тем отмеченной, что за многие годы ни к единой крамоле Захарыны не причастны, ни к

какой из партий боярских и княжеских не примыкали. Не так давно умер отец девушки, боярин Роман Юрьевич, всю свою жизнь честно служивший отцу Ивана и ему самому. И свое невольное уважение к имени Захарьиных при встрече перенес на Анастасию царь, хотя вообще ни боярским, ни княжеским дочерям спуска при случае не давал.

К тому же Анастасия глядела так ясно и доверчиво своими темными, прекрасными, детски чистыми глазами, так искренно радовалась вниманию, оказанному ей со стороны царя, так звонко и заразительно хохотала всякой шутке, всякой резвой выходке, что в юноше чувственное волнение, вызванное видом миловидной и веселой девушки, совсем потонуло среди тысячи иных, тонких и приятных душе, ощущений: жалости, восторга, детского веселья, какого никогда почти и не знал печально взрославший Иван. Таким беззаботным весельем он сейчас же заразился от простой, милой боярышни.

Зазвонили к вечерне. Притихла веселая компания. Перекрестились все. Расходиться настала пора. Но первое свидание было не последним.

Вернулся во дворец Иван и долгое время ходил радостный, тихий какой-то, еще более юный на вид. А то много старше своих пятнадцати лет казался царь, особенно в минуты гнева. Раньше дня не проходило, чтобы не гневался на кого-нибудь. А тут без шуму несколько дней прошло, и не затевал своих обычных дебашей Иван.

Пособники в безобразиях, не любившие смирения в Иване, задумались:

— Что за перемена в царе?..

Скоро все обозначилось.

У Адашева сперва, а там и у Захарьиных, куда царь зачастил, будто бы в благодарность Никите за коломенскую передрагу и спасение, — везде Иван старался сейчас же с Анастасией увидаться и как можно дольше побыть наедине с девушкой.

Захарьины опасались сперва. Знали, каков охотник царь в чужих лесах на куниц-девиц. Но скоро успокоились, когда пересказала им сестра, как ведет себя он и что толкует ей.

Но все-таки опечалились.

— Не будет проку из этого! Нешто первые бояре допустят до благого конца... Особенно Глинские, Бельские! Живьем сглотнут.

— Вестимо, не допустят! — подтвердил и старик-дядя,

боярин Михаил Юрьевич, после смерти отца их, Романа, занявший место главы семейства. — А впрочем, — поглаживая бороду, процедил он сквозь зубы, — глядя еще по...

И не dokonчил, за хлопоты принялся. К митрополиту заглянул, к Адашеву удосужился, хотя тот и много боярина моложе, да очень его царь за последние дни возлюбил!

События быстро одно за другим пошли, словно с горы покатались.

Поздняя осень стояла, когда в один из светлых теплых дней Иван, заглянув к Захарьиным, по обыкновению, ушел с Анастасией в сад, в беседку, увитую хмелем, жгуты которого и поредели и пожелтели теперь.

После первых фраз Иван, зорко глядя в лицо девушке, вдруг произнес:

— Настенька, а ведь я нынче прощаться приехал...

— Что ты, государь? Что ты, Ванечка?.. Да почему? Далеко ль, надолго ль едешь? Уж не в поход ли? Скажи скорее...

Спрашивает девушка, а у самой голос дрожит, слезы градом из глаз так и посыпались. Скатываются на грудь высокую, что дышит тяжело и порывисто.

— В поход?! Эко што вывезла! Вот и видать: разум-то короткий, девичий. Кто же не знает, что по осени в поход не собираются, спустя лето по малину в сад не хаживают. Весной да зимою походы все. А осеннее дело — иное... Свадьбы! Придет Покров — веселье со дворов! Венцом парней и девок кроет, покрывает... Вот оно што!

— Не пойму я речи твоей, Ваня... Какой венец? Чья свадьба?

— Моя, вестимо. Не век же мне голубей гонять, чужих, белых лебедушек подлавливать. Свою пора завести.

— Ты, Ваня... Ты, государь, женишься?..

— Надо! Года такие пришли... В животе и в смерти Бог волен. Нельзя мне сиротой землю оставлять. Умру — моим пусть детям престол будет, не дядьевым сынкам. С них и ихнего довольно!

— Умрешь? Женишься... Да не мучь... толком говори...

— И то толкую ясно. Жениться задумал. Если бояре, вороги, изведут раньше времени, чтоб хоть семья мое осталось... Что ж молчишь? Не спросишь на ком? Али знать не охотишься?

Но Анастасия, ухватясь за край скамьи одной рукой, чтобы не свалиться от налетевшей слабости, сидела, не говоря ни слова.

— На цесарской сестре женюсь. Уж и посольство вернулось... И персону ее мне прислали... Пригожа на диво. И вено богатое дает цесарь!.. Да что с тобой? — спросил он, видя, что девушка как-то мягко, мешком, валится со скамьи на землю.

Подхватив ее, он опять усадил обомлевшую красавицу, ворот ей распахнул, в чувство привел.

А сам глядит все, вглядывается.

— Вижу, вижу: неложно любишь меня!.. Да ведь и не расстанемся мы... Пошутил я...

Девушка, сразу оживясь и порозовев, подняла свой кроткий взор на красавца-царя.

— Не понимаешь?.. Я женюсь... Тебя за кого-нибудь из похлебников моих замуж выдадим... Так лишь, для прилику... И будешь ты, моя лапушка, век со мной! Согласна ль?..

— Государь, что спрашиваешь? Видишь, на все твоя царская воля! Только не жилища я на свете. Ты счастлив будь с государыней-царицей твоей богоданной... А я... Я в монастырь уйду... За вас Бога молить, за счастье и долголетие ваше!..

И каждое слово, каждый звук ее голоса звучали такой правдой и тоскою, что слезы выступили на глазах впечатлительного юноши.

В неукротимом порыве схватил он девушку в свои могучие объятия и тоже искренно, горячо зашептал, откинув всякое притворство, всякое выпытыванье.

— Не плачь, лапушка! Отри слезы, кралюшка. Ласточка ты моя сизокрыленькая, щебетушечка веселая. Повеселей, защебечи по-старому!.. Ни на ком, окромя тебя, не женюсь. Ни с кем не повенчаюсь. Ты моя нареченная. Царица богоданная!.. По гроб жизни. Вижу, верю, что не царя во мне — меня самого любишь. И мне ты мила же!

Но девушка хотя и ожила, слыша речи такие заманчивые, от которых голова кружилась и дух захватывало, все же грустной осталась.

— Да что, ты все не веришь мне? Шутил я раньше, а сейчас правду говорю... Хошь крест целовать!..

— Верю, милый, верю, желанный... Верю, Ванечек, красавчик мой ласковый... Да не о том я думаю теперь! Ты не обманываешь. Да другие не позволят. Вся родня твоя вельможная, горделивая!

— Это кто же? Глинные да Бельские? Не послушаю я их!.. Уж была речь. Кроме них, все рады, что я близ

тебя таким тихим стал, свои прежние повадки позабыл. И сам отец митрополит хвалит тебя же. А до Бельских мне и дела нет. Хотя и дядевья, да не свои они, — литовцы. Им бы славы да корысти все. А у меня и так всего довольно. Я царь всея Руси! И могу по моему хотенью невесту брать. С митрополитом уж говорено. Все по чину сотворим, чтобы зависти да обиды боярской не было. И сбор девок-невест по царству. И смотрины. А выберу я тебя! Так и знай!..

И слушая его, грезил наяву девушка, опаляемая жаркими поцелуями Ивана.

Глава III

ГОДА 7055—7056-й (1547—1548)

Все вышло по слову юного царя, причем он совершенно не замечал, что важнейшие его решения внушаются ему осторожно со стороны митрополичьих покоев.

Еще в конце 1546 года, о Рождественском посту, заявился к митрополиту Иван со своим словом государевым о женитьбе, как уже не раз и раньше здесь было толковано.

На другой же день митрополит Макарий отслужил торжественный молебен перед древней чудотворной иконой Владимирской Божией Матери, в Успенском соборе, заложенном еще в 1326 году руками святого митрополита Петра, одного из устроителей Московского царства. Полтора века спустя, в 1471 году, другой святитель, Филипп, воссоздал из камня весь храм, собрав много казны на святое дело. Сам святитель был погребен в обновленном храме раньше, чем великий итальянец-зодчий Аристотель Муроль отстроил эту прекрасную усыпальницу первосвятителей московских и всея Руси.

Создание исторического храма, как в первый, так и во второй раз, сопровождалось рядом чудес и знамений. Как бы отметить желал рок, что с построением стен храма связана судьба царства. «В декабре того года, — пишет летописец, — егда покори великий князь новгородских крамольников и, повернув на Москву, повел свозить камень на церковное строительство, явися на небеси звезда велика, а луч от нея долог вельми, толст, светел, светлей самой звезды. А конец луча того аки хвост великия птицы распростерся. А по Крещении друга звезда явися хвостата над

летним Западом; хвост же ее тонок, а не добре долог, а первые звезды луча — будет темнее».

Значит, две кометы сияли по вечерам с неба, озаряя вновь заложенный храм, пророча славу.

Здесь-то собрались по зову Макария все бояре, даже опальные. Из собора к себе митрополит со всеми зваными прошел и объявил, зачем собрал их.

От митрополита во дворец великокняжеский пошли. В столовой палате Иван их принял, и впервые здесь царь, этот прозванный «ритор в премудрости словенской», всенародно свое первое слово сказал.

— Отче, господине! — произнес Иван, обращаясь к митрополиту. — Милостию Божиею и Пречистой Его Матери, молитвами и милостью великих чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Сергия и всех русских чудотворцев, положил я на них упование, а у тебя, отца своего, благословясь, помыслил жениться!

Сперва мыслил я подружью взять в иностранных государствах, у какого-либо круля альбо цесаря. Но после ту мысль отложил.

Не хочу жены искать в чужих царствах-государствах, как после отца-матери своих мал я остался, возрос без призору родительского! Вот приведу себе жену из чужой земли, и в норове не сходны станем с нею, то промеж нас дурное житье пойдет.

Посему и поволит я в своем царстве жены поискати и пояти ю по твоему, отче-господине, пастырскому благословию.

Говор пошел по рядам боярским, словно вдали по дну, по каменистому, поток пробежал.

Не все знали, что царь жениться твердо порешил, да еще у себя, на Руси, то есть, вернее, на Москве невесту взять.

Кто не подозревал о заранее сделанном выборе царя, надеялся: авось их рода девицу залюбит Иван или как-нибудь провести можно будет родственницу на престол московский. Кто слышал о близости юного государя к Анастасии Захарьиной, все-таки надежды не терял, что иная, более красивая или знатная девушка завладеет Иваном во время смотрин.

И все зашевелились, здравствовали царя на слове, на решении его, хотя и задело первых бояр, почему раньше с ними юноша не посоветовался...

Со слезами на глазах заговорил первым, как и подобало, Макарий.

— Царь-государы! Чадо мое духовное! Порадовал ныне ты молитвенника и слугу своего! Юн еси, а разумом обилен, яко кладезь водою кристальною, жаждущим в отраду и упоение!

Затем, как бы прочитав недовольство в душах у первосоветников и желая смягчить его, продолжал:

— Особливо всем радостно, что сам ты до благого почину дошел, только у Бога, наставителя царей единого, совету прося. Слезы умиления текут по ланитам моим, и увлажнены очи синклитов твоих, честных князей, бояр, думцев и дружинников! Видим ноне: царя истинного, самодержца и государя достойного посылает рок для всея Руси!..

За митрополитом поднялись с почетных мест казанские все, астраханские и касимовские цари бывшие, царевичи, нашедшие убежище на Москве и сидевшие по обе стороны престола царского. Недаром третьим Римом Москву зовут.

Потом бояре поздравили царя.

Когда все стихло в обширной палате, поднялся снова Иван и, все так же волнуясь, как и во время первой речи, напряженным, звенящим голосом, торопливо немного, но решительно и отчетливо проговорил:

— Благодарствую на добром слове тебя, отче-господине! Вас, братья-цари и царевичи!.. Вас, князья и бояре, слуги мои верные, помощники не корыстные! А теперя и еще слово скажу. Отче-господине! По твоему, отца моего митрополита, благословию и с вашего боярского совета поизволил я допрежь своей женитьбы поискать прародительских чинов, как прародители наши, великие князья, цари и государи и сродник наш, великий князь Володимир Всеволодович Мономах, на *царство*, на великокняжеский стол сажались. Волю и я также сей господарский чин исполнити, на великое княжение, на *царский престол всея Руси воссесть*.

Особенно сильно выделив последние слова, умолк Иван, опустил на место и стал вглядываться: какое впечатление произвела на всех его речь?

Впечатление было сильное.

Среди общего гула рабских приветствий, в море льстивых, улыбавшихся радостно лиц, среди преувеличенных ликований прорывались для чуткого слуха нотки озлобленного удивления и разочарования.

Иван, очевидно кем-то подученный, смелой рукой брал-

ся за кормило правления, опираясь на завещание отца, назначившего для совершеннолетия сына пятнадцатилетний возраст.

Юный царь, успевший уже проявить если не разум, то твердую волю свою, — не остановился на полпути и принимал тут же, заветный для московских государей, титул, царя. Этим он равнял себя с первыми государями современной Европы и дома для себя создавал особенно влиятельное и величественное положение главы христиан восточных: недаром из Византии царский титул и орлы были получены дедом юного Ивана.

Трудно было боярам бороться с мальчиком, великим князем московским. Каково же будет теперь тягаться с царем всея Руси, той Руси, которая, конечно, с восторгом примет весть о возвеличении государя своего, о своем величии новом. Только намечали его отец и дед Ивана, и смело осуществить решил великие планы их наследник, юный царь Иван.

Поняли смысл сегодняшнего дня и русские, и азиаты, бывшие здесь; поняли и все послы чужеземные, позванные на торжество, при посредстве толмачей осведомленные обо всем, что говорилось и творилось в палате...

Не умел пылкий Иван в дальний ящик дела откладывать. Не посмотрел он, что дяди его, Глинские, сычами глядят... Что подручные и похлебные их князья и бояре по углам шушукуются.

Колеса по Руси, по монастырям, как то желали часто и предки его, царь узнал Русь, уверовал в нее и с молодым задором не пугался ничего.

А Небо — в лице прозорливого, осторожного и благожелательного политика, дипломата Макария — покровительствовало юному государю, еще бессознательно, но упорно стремящемуся к созданию неограниченной монархической власти на Руси.

Чрез месяц ровно, 16 января 1547 года, в том же Успенском соборе дышать было трудно от толпы. Залитый огнями храм выглядел особенно парадно.

Совершалась великая литургия, и венчан был на царство Иоанн Васильевич Четвертый всея Руси, великий князь володимерский, московский, новгородский, псковских, вятских, пермских, болгарских и иных земель повелитель.

Отпели Херувимскую — и совершилось помазание освященным елеем. На Иоанна, облаченного в парчовые ризы

царские, в бармы богатые, возложена была цепь золотая, знак царского достоинства, и шапка Мономаха, символ власти над землей. Подано яблоко — держава, осыпанная дорогими камнями. Меч острый, знак правосудия, держали пред царем, как пред высшим вершителем правды всенародной.

Прозвучали, словно напевы ангелов, стройные голоса клира, запевшие «Достойно есть»...

Под гремящие звуки шел обряд увенчания.

Смолкли голоса. В торжественной тишине отговорен причастный стих. Государь принял причастие по чину священства, как духовный пастырь народа. Вторично совершено миропомазание.

И вскоре затем, при звоне всех московских колоколов торжественно последовал во дворец новый царь всея Руси, юный Иоанн IV.

Осыпал милостями в этот радостный день всех приближенных своих Иоанн. Принял дары от послов чужеземных, от подданных своих — и сам щедро всех одарил.

А придя к себе после долгой, утомительной трапезы венчальной, всю ночь не уснул. И молился, и плакал, и чувствовал, что он очень счастлив. И обещал в душе Иоанн, теперь уж не по чину обычному, а добровольно: беречь, хранить державу, землю Русскую и весь народ православный, врученный Богом юной его руке!.. И не чуял, что умрет — проклятый, ненавидимый народом своим.

А через полмесяца свершилось и другое торжество: свадьба царя.

Для этого еще перед Рождеством прошлого года разослана была по городам, по всей земле Русской особая грамота к областным князьям, боярам, детям боярским и дворянам.

«Когда к вам эта наша грамота придет, — стояло в листе после обычного заголовка, — и у которых из вас будут дочери-девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей-девок ни под каким видом не таили бы. Кто же из вас дочь-девку утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни. Грамоту пересылайте между собою, не задерживая ни часу».

Конечно, при тогдашней трудности сообщений, за полтора месяца — со дня написания указа до дня свадьбы царя — не много девушек на смотрины собралось, помимо

московских, владимирских, ярославских и других ближних невест.

Хлопот все-таки, и забот, и горя, и происков по всей земле целое море разлилось.

Иные, вперед зная, что девка не попадет в царевы терема, не желая напрасно убыточиться на дорогой наряд да на проезд невестин в далекую Москву, откупались у наместников, чтобы те браковали на месте дочек.

Другие, наоборот, все отдавали и еще сулили большее вперед, если наместник их дочку на смотрины царские пошлет: вдруг она царицей станет, весь род свой возвеличит.

В Москве опять девушек отбирали. Женки умелые, бабки-повитухи глядели их и врачи царские...

Из небольшого числа отобрано было и совсем немного, причем дипломатия и знание придворных отношений играли больше роли, чем врачебные и иные познания.

Всего двенадцать невест попали, наконец, в терема царские на ожиданье.

Спят все во дворце... Перезвон на башнях только и нарушает порой тишину морозной ночи. Сторожа на башнях да на стенах перекликаются.

— Москва!..

— Сузда-а-а-ль!.. — слышатся условные окрики.

— Слуша-ай!..

— Не дрема-а-ай!..

И тают звуки в ночной дали. Снова тишина. Тишина и покой в теремах, опустелых пока, во царицыных. Только в двух опочивальнях, устроенных наскоро из светлиц, спят, раскидавшись на пуховых постелях, раскрасневшись от жары, царящей в низеньких, душных, слишком натопленных покоях, сладко и крепко, сдается, спят все двенадцать избранниц. Среди них и Анастасия Романовна Захарьина.

Разметались молодые девичьи тела на белоснежных покровках постелей, и при трепетном свете лампад, горящих в переднем углу перед образами, кажутся они живыми изваяниями из теплого, розоватого или белоснежного мрамора, до того правильны их очертания, так хороши их лица.

Случайно, должно быть, но одеяла со всех или на пол свалились, или сбиты к ногам. И мамушка-старуха, в каждой комнате тоже на ковре прикорнувшая, никак проснуться не удосужится, боярышень прикрыть...

Лежат те, сбив на себе тонкие сорочки в комок, спят, как юные Евы в первый день творения.

Тут же, неподалеку, — матери, тетки, родственницы старые почивают, которые привезли во дворец девушек. Но в других покоях улеглись они, чтобы храпом своим не нарушать тонкий сон девичий...

Заглянула было в опочивальни какая-то заботливая мать, но, увидав, как спят девушки, не только не оправила их, а еще поторопилась восвояси, шепча невнятно:

— Ахти мне, Господи!.. И позабыла я, что нынче это!

Скорей назад нырнула в свои пуховики да в подушки мягкие, нагретые...

И вот около полуночи тихо повернулась дверь на петлях... Вошло двое в опочивальни девушек... Старик один... почтенный... седой... Другой — сам юный царь. Медленно идут между кроватями...

Иван почему-то весь дрожит легкой, незаметной дрожью... Внимательно вглядывается в эти живые изваяния... Со всех сторон обходит ряды спящих... Порой — не удержится... К лицу нагнется, глядит, дыханье затая...

И странное дело: спящие девушки, хоть и не слышат, не чувствуют, что творится сейчас в опочивальне, но тоже почти неуловимо их ровное дыхание, словно затаили его в груди красавицы окаменелые... Слово у них дух перехватило... И так рдеют лица у всех, будто во сне что-то конфузное им грезится... Что-нибудь вроде этого потайного осмотра и выбора будущей жены царю-властелину...

Вот оба спутника и второй покой медленно, тихо обошли... Глаза у Ивана уж совсем сверкают. Раньше краской лицо заливало ему. А теперь — бледен, точно мертвец, ходит как вампир, жертву выбирает... Да ноздри крупного, с горбинкою носа порывисто, часто вздрагивают...

Кончен осмотр...

— Идем, государи! — шепчет старик, почему-то даже за руку взявший царя.

— Идем... Постой... Там, в том покое... Вторая от стены кто? Я позабыл...

— Вторая?.. Постой, погляжу, государи! — ища в кармане записку, говорит старик.

— Нет, постой... Пойдем еще раз взглянем... Чтой-то больно по сердцу она мне прищлась... Приглянулась.

— Ой, идем лучше... Негоже, государь... Прокинутся, гляди...

— Прокинутся? Они? Теперь? — с легкой усмешкой

прошептал Иван.— Да крикни я, прикажи им сейчас прокинуться — не послушают, крепко спать будут. Должен же я свою будущую, богоданную повидать. Навек жена, не на день!

И упрямый отрок перешел опять в первую опочивальню.

Пока старик по столбику у лампы глядел, кто такая вторая у стены, юноша быстро скользнул к ложу Анастасии Захарьиной, склонился над спящей девушкой и с долгим, жгучим, безумным поцелуем припал к полуоткрытым ее пунцовым губам.

И, странное дело, не просыпаясь, не шевельнув телом, Анастасия только руки свои, полные, мягкие, теплые, сомкнула на шее красавца-царя и ответила, все во сне, на поцелуй дружка таким же долгим, жгучим поцелуем.

А старик, вздев очки, разбирал в это время:

— Вторая от стены... э... э... Мария Хованская...

— Идем! — вдруг раздался повелительный шепот царя.

И, не дожидаясь спутника, он кинулся быстро вон из заветной девичьей опочивальни.

На пышных, явных смотринах — ей же, Анастасии Захарьиной, ширинку царь вручил, когда третьи, последние смотры были...

С нею же и обвенчал митрополит Макарий Ивана 3 февраля 1547 года.

Все было хорошо... но недолго.

Правда, еще перед свадьбой Иван устроил шумный мальчишник, причем в бане мовником Алексей Адашев вместе с первейшими княжатами состоял — с Мстиславским, Трубецким, Никитой Захарьиным и другими...

И тут-то, против воли, Адашев, всегда избегавший слишком веселых потех царя-отрока, впервые увидел, до чего человек забыться может, дав волю страстям и пороку.

Но тогда же подумал, чистый душой и телом, будущий руководитель Ивана:

«Женится — переменится. Он ли виноват, что злые приставники не блюли чистоту души отрока-царя, порою еще на дурное подбивали мальчика; до срока пробуждали то, что спать бы вовсе в человеке должно».

И Адашев старался не слышать, не глядеть на оргию, кипящую кругом.

Месяц, не больше, после свадьбы хорошо все шло. Не отходил царь от жены молодой. Делами даже мало заниматься стал, хотя раньше сам во все вникать старался.

Но вдруг худые новости или, вернее, старые грехи расцвели...

Быстро пресытился первой женской любовью и страстью женой, словно утомясь законными, здоровыми ласками, Иван снова стал возвращаться к забавам буйной юности. Одновременно и за царское дело принялся, но кровью, да петлей, да заточением пахло от его решений.

Призадумались лучшие люди: митрополит, Адашев, Сильвестр... все Захарьины, сразу в большое возвышение пришедшие... и многие другие.

Возликовали зато иные, темные силы, раньше, словно черви, копошившиеся вокруг царя.

Веселые люди, скоморохи, — вопреки обычаям дедовским, — снова стали гостями дворцовыми и в самом Кремле, и в пригородных потешных дворцах царевых.

Крамола, пригнувшая было голову, осмелела. Посредством женского тела и вина или худшего чего явилась надежда уловить в свои сети царя, со стези чистой, прямой на кривую направить. И тогда, известно, в мутной воде только и ловится рыбка...

Но очистители московского государственного потока тоже не дремали.

Ранней весной, в первых числах апреля, сидел в сумерках в своей просторной келье Макарий. Последние лучи заката, угасая за дальним западным бором, пурпуром окаймляли гряду воздушных облаков, словно задремавших высоко в лазоревом, ясном небе.

Ясный сумрак царил в келье, где старец сидит у окна, глядя ввысь, в светлое вечернее небо.

На небольшом, особом столе видны краски водяные, кисти, стекла какие-то небольшие, на которых изображены различные библейские сцены, но так легко, прозрачно все нарисовано, что сквозь слои красок видно дерево простого стола, на котором лежат стеклышки.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — послышался за дверью обычный возглас.

— Амины! — ответил Макарий, давая этим право войти в келью.

На пороге показался Сильвестр, протопоп Благовещенского собора.

Почти одних лет он с Макарием, но разнятся они по виду. Тот был брюнетом в годы юности. Смелый, открытый взор — словно всю жизнь привык внушать повинование. Губы, сухие, аскетические, крепко сжаты. Высокий,

белый лоб, увеличенный еще от начавшего лысеть черепа, перерезан двумя-тремя морщинами и обличает мыслителя, человека с широким умом.

Сильвестр лицом попроще, попонятней. Чистый славянский тип, уцелевший после монгольского ига на Руси — только в семьях священников, именно вот таких, как семья Сильвестра, где от прадеда к правнуку — все левиты. Этот славянский тип обнаруживает себя и мягкостью очертаний лица, и окраской сероватых, еще не помутнелых от старости глаз... Мелкая сеть морщин, след обычных житейских забот и расчетов, легла вокруг глаз Сильвестра. Умеренная полнота и округлость фигуры среднего роста тоже составляет противоположность с высокой, крепко сбитой, хотя и костлявой фигурой Макария.

— А и в час заглянул ты ко мне, отец протопоп! — сказал святитель после первого обмена приветствий, преподав благословение своему гостю. — Я уж думал спосылать по тебя... Что, думаю, долго не видать приятеля?..

— Недосужно было, отец митрополит... То с паствой, то по-домашнему... Весна... К лету готовиться надо, сам ведаешь...

— Знаю, знаю, хлопотун ты великий... Марфа ты у меня евангельская... — мягко улыбаясь, пошутил Макарий. — А ты бы поменьше... Вспомни: «Воззрите на птицы небесныя...»

— Как они мерзнут зимою, которые в теплы края не снарядились?.. Видел, видел, господине! — на шутку шуткой отвечал Сильвестр. — Не сеют, не жнут да што и клюют. Сказать негоже.

— Ну, уж што тут... В житейском тебя не обговоришь. Поведай лучше: так зашел али вести какие?..

— Да такие вести, что беда и горе вместе!.. Чай, и ты их слыхал раньше мово, отче митрополите... Все про царя про нашего...

— Слыхал... Слыхал!.. — поглаживая бороду, отвечал Макарий.

— Так что ж это будет? Долго ль это оно будет? Вот, помнишь, отец, мы с тобой думали: образумится юный, не закоснелый царь, боярами обруганный, запуганный. Отшатнется от них и от житья ихнего. Добре державу свою поведет... О земле вспоманет... По завету Божиему Русь заживет. А теперь?

— Что же теперь? Царь благочестия не рушит. И мона-

стыри жалует. Давно ли Псковский монастырь щедро таково одарил, когда гостевал там по осени?

— Да, это што говорить! А вон псковичи-горожане стонут да охают. Разорил их наместник, ставленник литовский, дружок Глинских с Бельскими, Турунтай-Пронский, князь Егорий Иванович! Сколько цидул да жалоб на Москву шло. И суды жалобщики ездили ж, убыточились. А царь их и на светлые очи свои не допустил. Даром что, во Пскове будучи, всего наобещал.

— Что ж, на то его царева воля.

— Божья воля должна быть, а не человеческая...

— Будет... все будет, отец протопоп. Эка, горяч ты больно, словно молодятинка. Старики уж мы с тобой, батько. Пождать-погодить надо уметь...

— Э-эх, и то сколько лет годили! Всего Василия пере-годили. Ивана Третьего памятуем. Другого Ивана, Четвертого, Бог послал, а все не легче...

— Будет легче, погоди, батька. Знаешь, зря слова я не скажу. Еще какие вести?

— Да Федька-протопоп сызнава хвостом завилял. Почитай, и в дому не живет. То сам по людям, то к нему они. Что-то вновь затевается...

— Знаю, что затевается... Все ведаю! А Федор и тут уже готов! Ну, на этот раз не пройдет ему... Пусть хорошенько последят за батькой: что, как и куды?..

— Да уж я и то наладился.

— Доброе дело. А я зато скажу тебе, о чем хлопочет протопоп.

— Ой, скажи, отче. Больно охота дознаться.

— Еще бы не охота. Дело-то не шуточное... Новая смута боярская... Не спится им, не дремлет, мирно не живется. Головы на плечах чешутся, хотят, чтобы кат их причесал, мастер заплечный!

— Новая крамола?

— Склоки боярские. Вот как промеж тебя же с Барминым. Только там потасовка вгорячую идет!.. По-прежнему, правда, не смеют они враждовать, челядь собирать да хватать друг дружку. Теперь малость царя опасаются. Все видели, как искромсанный князь Андрей Шуйский на снегу валялся... Как рот кровью заливало Бутурлину бедному, когда за единое слово несуразное язык отхватали боярину... Из-под полы теперь шпыняют бояре друг дружку.

— Знаю. Довольно понагляделся я...

— Ну, так и дальше слушай. Знаешь, чего боярин За-

харьин домогается с того самого часу, как на племяннице его оженился царь?

— Вестимо чего: на место Бельских да Глинских самому встать охота. Да дело-то не выгорело...

— Кстати слово молвил. Теперь, гляди, *выгорит!* Выжечь литовцев собираются...

— Как выжечь?..

— Так... Как мурашей да пчел выкуривают. Не впервой оно на Москве.

— Ага, во што! Энто как при дедах еще бывало: кто на кого сердит, пусть того красный петух спалит. Так?

— Вот, вот. Начнут Москву палить. Народ булгачит: «Такие, мол, и такие бояре вас попалили!..» А народ темный, глупый...

— Дурак народ, што и говорить!

— То-то ж. Таким случаем и сами зачинщики в стороне, и с недругами посчитаются.

— Шуйские с Бельскими да Глинскими?..

— Там уж кому с кем придется.

— Так, так. То-то и ко мне людишки приходили. На духу каялись. Да невдомек мне было: какому греху прощенья просят. Вперед оно, словно бы...

— Вот, видишь.

— Да погоди, отче, а не будет оно и ныне, как в Коломне случилось? На свою же на шею неугомонные Шуйские как бы огню не накликают?..

— Не, ныне иное дело! Там наши земляки, новгородцы, впутались. Больно лют на них царь... Помнит, как они еще Иоасафа из спальни у него тащили... да бояр любимых. А тута и сам он дядьев-то, Глинских длинноусых, не больно привечать стал. Вон, Михайлу во Ржев, на кормление, от себя подале усылает. Конешно, зла он им не сотворит. А насолили они ему покорами за женитьбу... И коли народ встанет на Глинских, с народом государь не спорщик. Ему самому народ только одна и опора от бояр...

— Э-эх, кабы понял он!..

— Поймет... Начинает помаленьку... А мы поможем. Вон, Адашев сказывал...

— И мне Алексей говорил. Сын ведь духовный... Да что-то плохо верится... Доброе-то слово в душе у царя, что семя, при пути брошенное: и птица его клюет... И колымагами, колесами тележными давит... Проку мало. Спервоначалу шибко за доброе ухватится. И дрожит весь, и чуть не

плачет... А там?.. Опять блуд да сором да крови пролитие... Подумать горько.

— Говорю, не кручинься. Вон из Казанского Юрта вести добрые. Сафа-Гирею конец подходит. По ем малолетний царенок, Утямишь, двухлеток остается... Мы и снарядим царя на войну. Авось там отрок опамятуется, если здесь не успеем на путь направить его...

— Да чем, отче? Чем? Буен вельми, горд и продерзостен отрок...

— А ты квасы ставил, батько?..

— Что за спрос? Случалось, отче-господине... Не без того в дому.

— А который лучше: что молчком киснет ай тот, что уторы рвет?..

— Так то квас, дело глупое... Людское сотворение...

— А то — душа, дело мудрое, сотворение Божеское. Побродит, поколи бродится... Да ежли уши и очи есть, увидит, услышит, на путь прямой выйдет, светильника не угасит в безвременье...

— Аминь, отче-господине! Твоими бы устами...

— Да грешные души уловлять?... Стараюсь, батько... И по вере моей, по заслуге да отпустятся мне прегрешения мои мнози...

Перебирая хрустящие четки, Макарий беззвучно зашептал молитву...

Когда Макарий кончил, замолкнувший на время, сидящий в раздумье, Сильвестр снова заговорил:

— А как полагаешь, отче митрополите: не можно бы как ни есть то злое дело упредить?.. Не попустить огня и смятения на Москве?..

— Хе-хе, батько!.. Да подумай: реку ковшом вычерпашь ли? Так и злобу людскую... Нынче упредишь... Изловят поджигальщиков... Перехватают бояр, которы шлют холопов на разбойное дело. А завтра другие будут... И так до веку веков... А вот запрудить реку да на свои колеса воду пустить, чтобы хлеб молола, это можно...

— И то бы добро... Да как оно выйдет?..

— Не спеши. И это узнаешь во времени... Теперь рано еще... Думаю я тут над одной вещью... Тебе показать хочу. Пойди сюды, батько...

Макарий подвел Сильвестра к столу, где лежали картины, нарисованные прозрачными красками на стекле.

— Ох, как лепо!.. — восторгался Сильвестр. — И как ты?.. Где это ты?..

— А так... Случаю Бог человека послал... Видал ты, когда в стекла разные узоры да фигуры вплавлены? Венецианская работа... Как солнце лучом кинет в такое оконце, а пятна разные или фигуры — те так на полу, на стенах и обозначутся.

— Случалось... Видывал... В Немецкой слободе.

— Вот и у меня оттудова толмачом один... Фрязин он говорит, италийский... А я мекаю, просто жидовин. Да по мне все едино. Всякое дыхание да хвалит Господа... Занятный парень. Он бает: скоморошествовал в юности, а там и отстал. За ремесло принялся... Да старого, веселого дела не забыл. Чудной человек. На разные голоса один говорит. И не познать: с неба ль голосит, из-под полу ли кто говорит глухо да протяжно. Словно из могилы. А на Русь давно ему любилось. Да, знаешь, не пускают чужие государи к нам знатцев никаких. Чтобы дольше неразумными мы пожили. Все же таки Петрусь мой... Петрусом Динарой его звать... Два раза он у самой русской границы был. От пруссов и от Нейстрии подбирался. Его ловили, раз даже батогами упарили. Не унялся мой Динара... Деньги, баяли ему, тут дюже легко наживать, на Москве. А у них — потуже. И проскочил-таки. Через Антиохию... С богомольцами... Вон куды! И показал он мне такую вещь... что...

— Какую?..

— Зело занятную... Говорит, та самая, что в поганских храмах ею мистерии египетски и чудеса лживые творили.

— Да ну?! Занятно...

— Да как ошью! Вот не видал ты?.. А увидишь. Гляди, стемнело, на воле и в келейке моей. Как раз, что надобно. Вот я и покажу тебе. У меня готово... налажено...

Высокий старик пошел к углу, где стоял небольшой черный ящик, складной, с кожаным мехом, вроде гармоники. Труба, недлинная и довольно широкая, торчала с одной стороны. Это был фонарь довольно примитивного устройства, еще мало известный на Западе и совсем невиданный на Руси.

Зажег Макарий масляный небольшой светильник, стоящий в задней части ящика... Вставил стекло с картинкой — и на темной сейчас, келейной стене ясно обрисовался карающий Бог Саваоф, окруженный огнями и молниями.

Вдруг, с переменной стекла, картина изменилась. Сильвестр увидел Адама и Еву, которых ангел пламенным мечом изгонял из рая...

Даже вскрикнул от удивления старик.

— Вот чудо!.. Какая хитрая вещь. И все можно из нее увидеть?

— Все, что заготовишь на стекле... Так вот, как видел ты. И чем ровнее стена, тем лучше.

— Господи... Что мне на мысль пришло. Вот кабы образки пострашнее... Да так, в потемочках государю нашему показать?.. Напугать, почище чем пожарами боярскими, можно и на стезю праведную наставить...

Все время к этому только и клонивший речь, но осторожный до конца Макарий посмотрел на Сильвестра с удивленным видом и наконец сказал:

— Ну и умен же ты, батько! Мне бы никогда такого не придумать... Правда твоя: можно попытаться. Устрашение безвинное чада во исправление его — не грех, но заслуга перед Господом. Только как ты свое измышление мудрое произведешь? Одному неспособно. Вот разве Петруса моего, который на разные голоса?..

— Вот, вот! И он нам будет надобен! — горячо отозвался протопоп, совершенно искренно убежденный, что он сам придумал план, давно созданный богатой фантазией Макария. — Он, Петрусь твой, отче, тоже царя попужает. Как начнет словно из-под земли рыкать. А я ошо Алеше, Адашеву мигну... Верный парень. И Никитке Захарыну сказать можно. Не выдадут. А то ежели самой царице сказать, что задумали мы есьмы царя от блуда, от гнева и от всех грехов содомских отворотить, она и сама нам первая пособница станет. Тоже ведь у меня на духу она кается. Знаю, сколько потайно слез проливает от остуды царской скорой. Только любит мужа очень, и не корит, и весела в его очах...

— И лучше так... Дольше не опротивеет... А там, може, и в сам деле с твоей выдумкой, батько? Може, Бог даст? Действуй, батько. А я и стеклышки, которые надобно, тебе изготовлю... Так и быть.

— Пострашнее...

— Конешно...

— Его самого... Царя-отрока... И всех тех, знаешь... Казненных... замученных... и загубленных от него.

— Ну, вестимо... А уж грех на тебе...

Оба старика принялись обсуждать в подробностях план огромной лжи, предпринятой «во спасение тысячи ближних» с самим Иваном, господином их, во главе...

И до конца мудрый Макарий оставил Сильвестра в уве-

ренности, что поп самолично создал блестящий план нравственного устрашения для исправления царя-юноши, во благо и спасение царства.

А тот, вокруг которого кипело и бурлило все это море страстей, происков и чистых вожделений,— сам Иван ни о чем не догадывался, только жить торопился без оглядки вовсю. За три-четыре года, со дня гибели Андрея Шуйского Иван окончательно успел стряхнуть с души робость и страх, внушенный ему в детстве своевольными опекунами, первыми князьями и боярами.

Тем более что, читая и перечитывая царственную книгу с записью деяний своих предков,— чем занялся юноша для своего поучения,— Иван часто наталкивался там на те же самые мысли и факты, какие ему приходили часто в голову совершенно самостоятельно. И, как оказывалось, думал он правильно. У него, очевидно, был врожденный инстинкт власти.

— Царь я и по-царскому мыслю...— говорил себе Иван,— а они, гады, «овчиной» меня дразнят... Ну, дам я им знать... Попомнят... Мое время — впереди!

И Иван решил выжидать, как ни страшно было такое решение в пылком, неоглячивом, болезненно впечатлительном государе. Тяжелый опыт детства, очевидно, не прошел бесследно.

Но вдруг Иван почувствовал, что почва словно колебаться начинает у него под ногами.

Первый почин этому положили Глинские, дяди его.

Подобно Воронцову, желавшему посеять тревогу в душе царя, явился теперь старший из братьев покойной княгини Елены, князь Михайло Васильевич.

— Здоров буди, племяш! Позволь нам, государь, с ма-тушкой, княгиней-старицей, с бабкой твоею, во Ржев ехати, что ты, государь, жаловать мне, слуге твоему, на кормление изволил. От греха подале.

— Когда? Зачем? Надолго ль собрался? — спросил Иван.

— Как вешние воды пройдут... Поживем тамо, покудова поживется... А зачем? Знаешь, племяш-государь, двум медведям тесно в берлоге. А ты себе нового завел, да еще с молодыми медвежатами! — пощипывая усы, угрюмо отвечал литовский магнат, намекая на дядю молодой царицы и братьев ее.

— Поезжай! — желая прервать неприятный разговор,

сказал только Иван и отпустил дядю, довольный даже в душе таким оборотом дел.

Бабу-старуху, положим, он любил, и никогда ни в чем не мешала ему эта тихая, простая старуха, которая одна пригревала и баловала внука-сиротку в печальную пору боярского самовластия, когда даже иностранцы убегали из щедрой для них столицы.

Единственной слабостью старухи была любовь к врачеванию себя и окружающих, вообще свойственная полькам и литвинкам искони.

У старухи много лет проживал худенький, старенький итальянец-врач, очень ученый и знающий человек, знакомый не только с Аристотелем и Галеном, но и с Авиценной и другими замечательными физиологами-исследователями арабской школы врачей, стоящих на почве опыта, изучавших живой и мертвый организм человека не с помощью логики и силлогизмов, а со скальпелем и лупой в руке.

Иван, по свойственному ребенку любопытству, заглядывал и в лабораторию этого врача. Забавляло сперва, а потом и серьезно занимало мальчика, как, производя опыты вивисекции, водрузив на нос огромные круглые, очень сильно увеличивающие очки вроде лупы, врач препарировал на дощечках мышей, кроликов, зайцев и других мелких зверьков.

Затем, когда юноша начал сам если не управлять, то расправляться с ослушниками, итальянец-анатом, при помощи старухи Глинской, выпросил у царя право пользоваться телами казненных для своих изысканий и опытов.

Литвинка, хотя и сильно обруселая, княгиня Анна не видела ничего дурного в таком деле.

Строго правоверный Иван сначала был смущен просьбой. Но отказать не мог и только поставил условием, чтобы обо всем хранилась полная тайна.

Ведь если бы узнали не только простые люди, но и невежественные, полные предрассудков, бояре о том, что чье-либо тело не погребено по обрядам, а отдано на «поругание ведуну-знахарю»... не особенно приятную минуту пришлось бы пережить тогда и бабушке и царственному внуку!..

И никто не знал, что такая минута близка.

Десяти дней не прошло после разговора обоих старцев, бескорыстно, хотя и не одинаково умело пытавших-ся направить в более спокойное русло бурливую московскую

государственную жизнь, когда Адашев, дежуривший при Иване в качестве спальника, ранним утром доложил царю о приходе дяди царицы Анастасии, боярина Григория Юрьевича Захарьина.

— Конечно, впускай... Да только с чего в таку рань он припожаловал?.. Не крымцы ль опять? Не его бы тогда забота. Горбатый дело ратное ведаёт...

— Не ведаю, царь-государь! — отозвался Алексей, хотя все ему было известно, даже более, чем кому иному во дворце Ивана.

Не успел Иван сказать «аминь» на входную молитву нового родича и сановника, как в опочивальню вошел взволнованный, даже напуганный с виду, Захарьин и совершил уставный поклон, ожидая вопроса царя.

— Зачем спозаранку пожаловал? Говори скорее, дядя! — торопливо, заражаясь настроением вошедшего, произнес царь.

— Бе-еды! Чистые беды, осударь!.. Неймется, не терпится твоим крамольникам. Москву со всех четырех концов запалить хотят.

— Москву?.. Крымцы?.. Да нешто допустят их? Руки коротки.

— Какое там крымцы?! Свои нехристи-басурманы, царь-надежа. Почище всяких крымцев будут.

— Что еще за сказки ты рассказываешь, боярин? Или, как дядя мой, каркать пришел, на неустройство государственное жаловаться? Куда-нибудь прочь заносишься? Так видели, что Воронцовым было за шашни? Знайте, никому не спущу... Никого не помилую, ни чужих, ни своих!

— Да што ты, осударь?! — невольно бледнея, но не выдавая себя, зачастил Захарьин. — Рази можно нам обижаться на тебя, на света нашего?.. А только говорю: горе близится. Беда подымается... От близких от твоих, от самых от близких людей. Таких, что и сказать боязно...

— Вижу, куда гнешь! Глинные вам поперек пути стали. Эки не сыти горла у вас, бояре. А намнися — он на ваш род, теперь — вы на их жалитесь да сваритесь друг с дружкой... Не хватает вам чего? Не знаю! Все собрать, что в сундуки да в мощну вашу от земли идет, так я столько у себя в казнах и не видывал... И все вам мало!

— Твоя воля, осударь! Толкуй, што хошь. А только великое слово твое государево на Глинских у меня...

— Да говори уж! Не тяни, что нищего за суму, калику перехожего. Что за слово такое великое?

— Попасть всю Москву хотят. Сказывал ведь...

— Да пошто? На какую надобность? Али не ндравится им посадка московская? Новые строи завести хотят дядевья? На литовскую статью?

— Не то, осударь. На нас, на родню царицыну зуб у них, что ласков ты к нам, осударь. Кормы даешь, города жалуеть... Местами не обидел. И хотят молву пустить, народ смутить. Мол, «как настали Захарьины в царевом приближении — и пожары пошли, знаменье небесное!..». Што Господу неугодно мы, Захарьины, в приближении царском.

— Хитро, да не очень. Кто ж им поверует? А и вступится чернь — нешто я послушаю кого?

— Мир — велик человек, осударь! Мир и деды твои слушали, постарее тебя были. И ты слушаешь. А нам — крышка!

Нахмурился только Иван, ничего не ответил на это.

— Да откуда вы вестей собрали, довелись? — спросил он, помолчав.

— Во царевом кабаке во твоём, осударь, смерда одного поимано... Пустошные речи пьяный баял, похвалялся во хмелю. «Я, грит, сейчас, грит, один всю Москву спалю... И пальчиком, грит, не тронут меня, добра-молодца, а ишло зелена вина поднесут...» Ну, обыщик тут, шпынь один был, как водится... По кабакам везде они ради воровского дела разбойного посылаются. Обыщик изымал его, голубчика. Кабальным объявился парень, Бельских слуга, из домовой чади ихней. И все дело открыл... Вот как поведал я тебе. Не я один знаю. В сенях со мною пришли и бояре все, что при обыске были; как до них весть дошла... Ванька Челядин там... Твой прямой слуга... Ежели Петьке Шуйскому да Федьке Скопину с Иванцем Федоровым, с боярином, да с князем Темкиным не уверуешь...

— А, вся Шуйская свора там!..

— Зачем Шуйская, осударь? Не из Шуйских я... И духовник же твой, отец протопоп, Федор, не из ихней семьи. Его спроси. Ему то ведомо. На духу один вот, тоже из челядинцев литовских, покался. Так, ради дела осударева, он тебе разрешится, скажет...

Иван задумался. Дело выходило серьезнее, чем предположил он вначале.

— А боярин твой, Федька Нагой, такожды изымал другого похвальбовщика-поджигателя. Да на деле уже на самом... Утром в кабаке похвалялся слуга сатаны, смерд подлый, а ввечеру — и запольхало в том конце. И при огне

изымали подлого: на дело рук своих любовался! Тута опознали, скрутили голубчика... Спроси, все внизу дожидаются. Еще благо, ветру не было: не упустили огня, не то бы...

Царь все молчал.

— Так помилуй, защити, надежа-царь! — вдруг рухнув к ногам Ивана, запросил Захарьин, видя колебания юноши...

Вдруг за дверью раздался голос обоих дядьев царских, обоих Глинских, творивших входную молитву.

— Аминь! — встрепенувшись, отвечал Иван.

Глинские, Михаил да Юрий, вошли, тоже бледные, взволнованные не меньше Захарьина, только искренней, чем этот боярин.

— Кстати!.. О вас и речи!.. — сказал царь, почему-то даже улыбнувшись чуть-чуть заметно.

— Знаем, знаем!.. Успели уж... Упредили! Затем и поспешали мы!.. — заговорил Михаил. — Все уж нам поведано... Поклёп да хула какая на нас, на твоих родичей ближних, на слуг некорыстных, стародавших, государь!.. Мало им, что теснить стала исконных князей боярщина долгобородая, земщина серая... Совсем карачуна нам дать задумали!.. Слышь, государь! Кабальных наших, двоих-троих, которые на воровском деле поиманы, батогами биты, таких людишек подлых, последних трое душ, боярами закуплено... И показывать супротив нас научено... А мы ни при чем. Верь, государь! Хоть образ снять со стены...

— И мы же все на образ побожимся! — возразил, не утерпев, Захарьин.

— Помолчи, жди, пока я слово скажу! — оборвал Иван, видя, что положение запутывается.

— Так ты говоришь, дядя: кабальные твои же, казенные, на тебя лжи плетут?.. И на тебя, Юрий?.. Ладно. Мы велим путем, с пристрастием, допытаться у холопов. Алеша! — обратился он к Адашеву, стоявшему вдали. — Захарова на обыск наряди... Получше б доведася!..

— Слушаю, осударь.

— И всех бы бояр и князей, что вон, бает Юрьевич, в сенях дожидаются, опросил бы дьяк потолковее...

— Слушаю, осударь.

— Ну, вот... Пока — будет!.. Ступайте с Богом, потерпите, не грызитесь больно... Уж так-то мне грызня ваша боярская прикро стоит, што и не глядел и не слушал бы!..

Захарьин отдал земной поклон царю — племяннику по жене и вышел, только у самой двери спиной повернувшись.

Глинский Михаил заговорил снова:

— Царь-государь... Пути-дороги стали... Подозволь завтра нам с бабкой твоей во Ржев, как уж я тебе докладывался недавношка... Как ты соизволить пожелал... Жду я больших бед... Так старушке там поспокойнее будет...

Весь насторожился Иван и внимательно поглядел в лицо дяде.

Что это значит? Сам ли Глинский что затеял правду? Москву спалить хочет, народ поднять на царя, на Захарьиных с Шуйскими и заблаговременно укрывается в более безопасный уголок? Или просто страх в старике проснулся перед заговором других бояр, подстроивших все дело с пожарами, с похвальбой пьяниц-воров кабальных, бежавших с двора Глинских?..

И то, и другое возможно. Всего навидался царь... Где же правда?

И чуть не выкрикнул в тоске, бледнея, Иван свой внутренний вопрос:

«Где правда истинная?!»

Но удержался юноша. Только, передохнув, овладев внутренним волнением, сказал:

— Што ж, как поволели мы, так тому и быть. Слова свою назад не берем. Ты поезжай с бабкой. А ты, — обратился он к другому дяде, Юрию, — оставайся. Будешь мне надобен.

И, оставив второго брата в виде как бы заложника за первого, он отпустил их обоих.

— Ну, Алеша, што ты скажешь? — обратился Иван к Адашеву, который успел отдать все приказания, вернулся и стоял на своем месте, скромный и внимательный, как всегда.

— Что, государь? Смею ли я? Мое ли это маленькое, рабское дело — бояр твоих государевых судить? Тебе лучше знать... Твои они слуги и разум у тебя не наш, холопский...

— Ну уж, не размазывай... Говори напрямки, коли спрашивают. Не пытаю я тебя! Знаю, не охоч ты заскакивать, других хулить, себя выставять... Раскусил я давно тебя, оттого и приближаю, на черное твоё рождение не глядячи. Так, говори! Ум — хорошо, два — лучше, бают. Говори, слышь. Не ужимайся. Без опаски все выкладывай, как на духу. Я приказываю...

— Да и того не надо, государь... Перед тобой, царем, без приказу, по закону Господню, как на духу должен я... во-

истину. Помазанник ведь Божий ты, аки кесари древние, византийские. И древнему Риму преемник!

— Да, да!.. — горделиво подтвердил Иван. — Наш род, волостелей московских, православных, — поди, самый древний из всех будет, кто на престолах христианских сидит. Да не о том теперь речь... Дело-то говори... Как по-твоему?..

— А по-моему, государь, по крайнему глупому разумению: кому плохо, тот и не прав!.. Как и в притче сказано: «У нищего последнее отыметсЯ и дастся богатому, для приумножения богатств его». А нищему, конечно, обидно... Он готов на всяки злобы, только б свое вернуть... — явно намекая на литовскую слабеющую партию, сказал Адашев.

— Правда, правда твоя! — вслушиваясь, повторил Иван.

— А еще скажу! Как мыслишь, государь, бывает ли дыму без огня?

— Не бывает, говорят.

— Вот и я мерекаю: и там, и здесь дымком припахивает... Бояре сварятся... А посадским твоим московским, государевым, без крыш быть, это уж как Бог свят...

— Ха-ха! — усмехнулся Иван. — Это как дядевья мои, Глинские, порой по-своему балакали: «паны-де дерутся, у хлопов чубы трещат»?.. А! Пушай их. Лесу много, сызнова еще краше отстроятся... А на хороший пожар и поглядеть занятно. Страх люблю... Читал я про Нерониуса-царя... Он свой столичный град Рим нарочно запалил, на пригорке сидел, стих слagal об эллиновском великом погоренье, о трояновском вспоминаючи. Вот, чай, красиво было! Недавно нашу Москву белокаменную третьим Римом, Иерусалимом вторым прославили!.. Пусть дерево повыгорит. Люди посадские за ум возьмутся, тоже камнем почнут строиться. Тогда уж совсем всесветный наш град престольный станет. А за Кремль я не печалюсь. Тут бояре своих хором палить не станут, пожалеют. На моем дворе царском, почитай, и дерева мало. Храмы все, почитай, каменные. Пушай посадки пялят, друг дружку грызут. Я, вона, в деяниях дедовских читал. Да и ты же знаешь, деды мои, государи, нарочито порою бояр да князей стравливали... Пусть грызутся, яко скорпии! Ха-ха-ха!..

Весело, звонко засмеялся Иван.

Молчит стоит, потупился Алексей. Не разберешь: что на душе у него творится?

— Что же молчишь, Алеша? Аль не так, по-твоему?

— Так-то оно так. И мне бояре не братья. Чужой я

им. А ты мне, помимо что царь-владыка, как отец родной, благодетель. И сказать не знаю как уж!.. Авось когда на делах скажу, как чту я тебя. Только вот сам ты молвить изволил: земщине плохо придется. Деткам твоим, простому люду тяглому, посадским да торговым гостям. Неустройство пойдет. У черни бока затрещат. А чернь — люди темные. Не бояр, тебя винить станут: «Царь-де нас позабыл, и Бог нас не жалует...» Знаешь, как дело пойдет? Вон прошлой осенью и то недород великий по царству был. Люди покряхтывают. Кормы дороги... Скот за зиму по селам дох с бескормицы... И круг Москвы, и дале! Нова беда тут еще вешняя... Вода вон теперя высока стоит. Потопит, гляди, побережье все... И московское, и иное, дальнее. Все заботы тебе, государь. А тут бояре иную смуту — огонь, наговор пустят. Хорошо ли?.. Сам знаешь, государь!

— Земщины опасайся? Земщины нам, государям, бояться нечего. Знает она, что первые мы ее заступники. Искони бе... и до моих часов. Сам видел: к земле я, не от земли отбиваюсь!.. Только мой час еще не пришел. Не все я пью да веселюсь; бывает порою, и твоих росказней про дела светлые царские часто слушаю. Думаешь, невдомек мне, куда ты гнешь? Кабы сердце мое не лежало к словам твоим красным, вон бы тебя давно погнал. Хоть и мягко стелешь, да жестко лежать приходится непутевым повадкам и помыслам моим... Совесть есть во мне. Так ты потерпи... Не сразу, Алеша. Человек я... юный... То ты вспомни еще — ты не князь, не боярин. И много вас стало таких при очах наших, которых от сохи я беру, людьми делаю. Как думаешь: зря это? Царство тоже не само собою правится. Руки, головы надобны, помочники какие ни есть. И без бояр нам не обойтись покудова. Слышишь: *покудова!* Так молчи, знай помалкивай!..

И отпустил Иван молодого наперсника, пораженного речами юноши, которого все считали вздорным, распушенным блазнем-баловнем.

Когда услышал Сильвестр от Адашева о речах таких царских, призадумался и сказал только:

— Одначе! Труднее нам будет управиться с отроком, чем мы и думали...

И снова кинулся за советом к Макарию.

Числа 2 апреля было, что бояре перед царем предрекались, а 12-го уж и пожары сильные в Белом городе загорелись-вспыхнули. Чуть не весь порядок, тысяча домов по старинному счету, в одном месте в Занеглименье

как выкосило; по старой пословице — «злые воры обшарят, одни стены оставят». 20-го новое попущение Божие... Опять пожар лютый.

А в народе говор пошел:

— Господь за грехи карает. И сам царь молодой Богу неуютно живет. Скоморохи да бражники, не синклиты и стратиги — гости царю первые...

Дальше, как предвидел Адашев, разлив сильный речной после многоснежной зимы все низины затопил: Царицын луг за Москвой-рекой, и по сю сторону, по Варварке по самой, до Печерского угла, где монастыри стоят и торговые места... Словно остров, детинец высокий, Кремль белокаменный всплыл. Не мало людей и скота потопило... Трупы, гниль легла поверх земли... И в посадах, и в селах ближних. Убирать некому! Вода спала, жары пошли, хворь моровая началась.

Иван от поветрия, по совету дохтуров-лекарей своих, в пригородный дворец, верстах в пяти от Москвы, что в селе Островском, переселился. Там весело зажил. Не слышать здесь ни мору, ни голоду. Веселье, пиры хмельные, хороводы разудалые. А кругом цепью стража стоит. Хворых людей ни пройти, ни проехать не пускают.

Глинский Юрий тут же. От отрока не отстает: на веселых пирушках — первый. Мастера пить литовские паны!

А опалы да кары строгие не унимаются. Совсем царь с пути сбит. Кто в разгульную минуту сумеет шепнуть слово злое про недруга своего Ивану, тот добьется цели, так дело и выйдет! Нынче — одних карает царь... Завтра — недругов этой партии гневом опалит. А через несколько дней одумается, всех помилует...

Тут-то, в селе Островском, в начале июня, 3-го числа, юного государя нашли посланцы псковские, земские жалобщики, человек всего семьдесят. Невмоготу стало Пскову от обиды боярской, от произволу наместничьего. Посадили им Глинский на шею дружка своего князя Турунта, роду Пронских.

И прямой Турунтай! Кричит-гремит, казнями страшит безвинно. Тогда и смирит, когда сцапает, ухватит что-нибудь. Что увидит, домой волочет.

Давно ли вздохнуть торопились свободно псковичи, когда по ихнему прошению убрала княгиня Елена из Пскова дьяка Колтыря Ракова. Дьяк тот новые тяготы и налоги на людей налагал и не столько на Москву, в казну государеву их посылал, сколько в мощну свою складывал. А тут —

Шуйского ставленники явились, разорили их. На смену последним — Турунтай явился.

И пошли псковские люди лучшие правды искать, царю жалобиться.

Допустили их на очи царские. В саду, под тенью, царь сидел-пировал... Стали они челом бить до земли, все семейство человек, как один.

Выступил по знаку цареву самый почетный из них. Высокий, мощный старик, вотчинник первый во Пскове и торговый человек богатый.

— Смилуйся, царь! — говорит. — Конец нам приходит!.. Свирип наместник наш господин. Аки лев рыкающий, иский, да пожрет!.. А люди его яко звери хищные до нас, до хрестьян православных, до рабов твоих верных, осударь! Помилуй!.. Поклепцы на добрых людей клепят, праведники правят! Разбежались, почитай, все псковские добрые люди по иным городам. Честные игумны из монастырей своих и те в Новгород побежали. Легше им тамо живется!.. Подумай, осударь!.. Князь Андрей Шуйский великий злодей был, а Турунтай и того пуще... Злы дела его и на волостях, и на пригородах! Дела подымает старые, забытые. Пошлины тянет неправедные... На людех по сту рублей и боле!.. Помысли, осударь!.. Во Пскове майстровые люди все дела задарма ему делают. Нудит на то наместник-господин. А с богатых, знатных людей, силом же «поминки» берет великие... И хоботьем, и серебром, и куньями... Грамота твоя государева вольная, что Пскову дадена, как зеркало граду была. Да недолго. Бояре выборных наших не слушают, по ямам морят, чуть слово пикнешь... Жалились мы тебе — все зря... Не попусти, осударь!.. Вотчинников в разор разоряет. Чему рупь цена, в грош ценит, землю задарма отымает себе и похлебникам своим!.. Крестьян ямской гоньбой заморил. Каждый смерд последний, коли он с наместничьего двора, в избу любую идет, пьет-ест, куражится, орет: «Ямских подавай! По делу господаря-наместника ехать нужда приспела!..» Смилуйся, защити, осударь!.. Не наша земля одна, весь край обнищал!.. Застой, надежда-царь, за рабов за своих.

И, со слезами высказав свои обиды, повалились снова в ноги жалобщики.

Угрюм, не весел сидел царь. После обеда, к вечеру дело было, когда допустил он послов до себя! В компании поправлялся Иван.

После вчерашней ночи веселой и голова болит, и на душе что-то неладно, совесть скребет... Неподкупная она...

Вон Адашев, ясный, свежий, спокойный, с добрым лицом своим красивым, словно живой укор перед глазами Ивана стоит.

Даже злоба взяла царя... На ком-нибудь надо ее сорвать, выместить.

А тут еще раньше постарался Юрий Глинский, нашептал племяннику, что князю надо было... Про измену псковскую, про дела их старые, нехорошие против Москвы.

— И теперь,— шепнул Глинский,— неспроста послы эти посланы... С Новгородом Псков стакнулся... Идут там крамолы великие. От Москвы отпасть хотят. К Литве перекинуться!..

Поверил Иван, тем более что жалобщики неосторожно сами царю про ненавистный Новгород, про вольницу его напомнили. А тут еще и Коломна в памяти жива.

Не в добрый час попали послы!.. Плохо молились, видно, святым угодникам, когда в путь снаряжались.

С недоброй улыбкой заговорил Иван.

Знал Адашев улыбку эту, и даже сердце у него упало, когда мелькнула она на губах царя, как зловещая молния, предвестница большой грозы.

— Плохо вам, баете? Гм...

— Уж так плохо — и-и! Бяды! Слов нетути!..

— А игумны, отцы святыя, в Новгород сбежали? Лучше, значит, тамо?

— Много легче, осударь милосливый!.. Новгородцы не простаки, как мы. В обиду себя и наместнику самому не дадут, не то что... Шуйские одни, бояре, чего у них стоят!.. Завсегда они Новгороду первые заступники... Вот и...

— Знаю, помню... — кулаки сжимая, стискивая крепко зубы, бормочет Иван. — Так вам завидно?..

— Не то што завидки берут, а маета от наместника, волокита великая, разор крайний!.. Смертушка пришла... Вон, и духовенство, отцы наши монахи и священники... И соседи-новгородцы порадили: «Чего, мол, дома сидеть, терпеть? Под лежащий камень и вода не течет. Дите не плачет, мать не понимает... Ступайте, добейте царю челом, пожалобитесь. Послушает вас царь...»

— Как же... Как не послушать?! Коли правду вы баете?.. Только правду ли?..

— Хошь побожиться!.. Вот, вели на образ святой!..

И закрестились благоговейно все жалобщики широким истовым двуперстным крестом.

— Гм.. Дело, дело... Значит, как перед Господом?.. — каким-то не своим голосом допрашивает Иван, из себя теперь вышедший, так как сами псковичи выдали свои сношения с новгородцами.

И сознает в душе Иван, что не владеет собой, что какое-нибудь дурное, неправильное решение примет, да, на горе, уж и сдержаться сам не может...

— Как перед Господом?.. Хотя на суд Божий? — спрашивает. И только старается не встретиться взором с глазами Адашева.

Заметил недавно Иван, что взоры любимца на него как-то странно влияют, словно он воли своей лишается и то делает, что даже не советует, а только в душе чего желает, о чем думает Алексей... Словно чаруют царя эти взоры Адашева.

И вот, упрямо потупив глаза, продолжает допытывать ся Иван правды от псковичей.

А простоватые псковичи и рады, что разговорчив, милостив царь. Авось — добро будет...

— На суд Божий?.. Хошь на пытку готовы, осударь.

— То-то ж!.. Ведь одна сторона ваша здесь... Истцы вы только... Нетути ответчика... И застоять за него некому... Молчи, дядя!.. — приказал он Юрию Глинскому, видя, что тот готов заговорить. — Молчи, когда тебя не спрашивают... Не к тебе, ко мне пришли... Смерды, рабы мои... Моя и воля... Ну, люди добрые, заступники мирские, изготовляйтесь на суд Божий... Огнем судить вас буду, по-старому, по Судебнику, по обычаю дедовскому. Вытерпите — ваша взяла. Смещу наместника, другого, поласковой, дам, чтобы и вам, и соседям вашим, новгородцам, моим смердам покорным, угодил... Чтобы земля о правде не печаловалась... Эй, вы! Кто там... Раздеть их. На землю клади. Попытаем старичков!..

Мигом были раздеты донага несчастные... на землю повалены... И началась безобразная, дикая потеха. Отуманенный злобой и вином, Иван сам принялся и приспешникам велел горячим вином обливать псковичей, бороды палить им свечой... Волосы, вспыхивая, трещали... В воздухе, кроме винных паров, запахло словно паленой шерстью... горелым мясом...

А Иван все переспрашивает:

— Так на своем стоите: правда ваша? Слова ваши истинные? Не поклепы все одни, а верная жалоба?

— Истинно, осударь!..— отвечали псковичи, терпеливо снося испытание.— Все правда чистая... И пусть по правде нашей Господь нас помилует...

Готов уж был прекратить пытку Иван. Да искоса на Адашева глянул, так, мельком...

Стоит тот бледный, слезы застыли на очах, только что по щекам не катятся. Совсем скорбный ангел, о грешной душе тоскующий...

И новый прилив тоски, смешанный с какой-то бессознательной яростью, объял душу больного царя. С новой силой злоба вспыхнула, словно желая всякое раскаяние в душе подавить...

Жжет псковичей Иван и допрашивает:

— Правду ли говорили?.. Обидели вас?

— Правду, осударь! — неизменно твердят посланцы.

Все больше и больше распаляется сердце Ивана... Часа два уже длится испытание. Еще немного — и погибнут несчастные... Пена на устах Ивана... В глазах — огоньки. Верно, припадок близко. Мало ли что в болезни прикажет царь?!

Вдруг всадник прискакал... В мыле конь... Сам едва на коне держится...

Так и свалился наземь к ногам царя, дышит тяжело...

— Што такое? Мятеж, што ли, на Москве?.. От кого ты?..

— От отца митрополита... На Москву, царь, торопись. В сей же час сряжайся... Отец митрополит неотложно наказывал...

— Да што такое?.. Выкладывай, смерд, живее, не то ножом прыти прибавлю...

— Ох, осударь! Чудо большое... Чудо недоброе... Вот часу нет, со звонницы с великой с Ивановской...

— Ну, ну?..— торопил едва дышащего гонца царь.

— Колокол главный... Благовестник отпал... Быть великим бедам, святой отче митрополит сказывал. На Москву поспешай...

Как один человек, все здесь бывшие ахнули... Как один человек, креститься стали, покаянные псалмы шептать...

И царь со всеми...

Опомнился спустя мгновенье...

— Коня подавайте! — кричит.

Подали коня ему и всем приближенным... Поскакали все с места на Москву, не глядя, что ночь надвигается.

Подняла оставшаяся челядь брошенных наземь, измученных псковичей...

Отлежались где-то в избе несчастные, чудом спасенные, и молча ко дворам, восвояси побрели.

На знали они, что за Адашева надо было им Бога молить.

Чуть заметил тот болезненное ожесточение Ивана, успел слова два написать, верного человека в Москву погнал, к Макарию прямо, чтоб без души скакал!

И, кстати, упавший колокол не только псковичей спас, но также имя Ивана избавил от большого покаяния, от гибели беззащитных, безвинных слуг его верных. Не дремали охранители земли Русской. Самое зло на добро старались повернуть друзья народа угнетенного.

Как-никак, а зловещие приметы даром не прошли! Грянул гром ровно через восемнадцать дней после падения «благовестника».

Не послушал Иван ни митрополита, ни близких своих, не укротил нрава. Во дворце Кремлевском ту же жизнь повел, что и раньше, в селе Островском.

И те, кто знал, что готовится несчастье, что его отстранить еще можно, те все молчали о кознях бояр.

— Может, страхом царя дойдем, если не словом! Не наш грех, так наша корысть будет. Боярское злодейство используем!

Так решили на общем совете Сильвестр с Макарием и с Адашевым, причем протопоп неизменно был оставлен в приятном убеждении, что все от него исходит.

На первый ветреный день было назначено у бояр поджоги произвести, чтобы шире пламя разнесло.

Такой день именно выпал во вторник, 22 июня 1547 года. С полуночи еще ветер так забушевал, что крыши срывались с домов... Людей опрокидывало, лошадей сбивало с ног...

И при этой-то буре, на рассвете на самом, загорелась, вспыхнула, как свеча, церковь деревянная, ветхий храм во имя Воздвиженья Честного Креста, что на Арбате. Восточный ветер здесь от Кремля доносился. Раздул он пламя в одно мгновенье! Огненная река потекла, яркая, широкая, испепеляла жилища, храмы, сады, людей, вплоть до Семчинского сельца, где огненный поток с потоком Москвы-реки встретился и здесь остановиться был вынужден.

На рассвете загорелось, а часа через два весь огромный

этот клин городской представлял из себя один сплошной костер, одно страшное пожарище. К обедням стихать стал огонь за недостатком пищи.

Встревоженный царь со всеми боярами уж и барки велел снарядить, чтобы по Москве-реке, выйдя через ворота Тайницкие, поплыть в безопасное место куда-нибудь. Но остановился выезд, когда стих огонь на западной стороне города.

Со стен кремлевских хорошо видно было, как кой-где дома и церкви догорают, как островками уцелевшие чудом сады зеленеют или пустыри, травой одетые... Грустное зрелище.

Сжалось сердце у Ивана. В сотый раз он в душе обет себе дал: исправиться, не давать воли бесу злобы и ярости, который в груди у него сидит.

Но рок, видно, знал, как непрочны такие обещания у царя, и присудил ему более тяжкое испытание. Ураган неожиданно-негаданно с запада на восток повернул. Новые участки загорелись... Новая огненная река потекла навстречу догорающему первому пожарищу. И хлынуло пламя на гордый, высокий, недоступный для людей, но не для рока, Кремль.

С быстротою урагана покатила огненная река.

Успел все-таки Иван спешно сесть на суда с женою молодой, с братом слабоумным, Юрием, которого недавно только женил на княжне Иулиании Хованской... Сели и бояре все, дума ближняя, воеводы, какие на Москве были... Поплыли к Воробьевым горам, в Летний потешный дворец царский. Обширен он, всем места хватит!

А тут, едва отвалили суда, верх вспыхнул на Успенском соборе... Через Неглинку пламя на крыши царского двора перекинуло... Казенный двор запылал, Благовещенский собор загорелся. Сгорела дотла палата Оружейная с оружием древним дорогим, постельная палата с маленькой казной, двор митрополичий. По каменным церквам сгорели иконостасы деревянные и все пожитки прихожан, все людское добро, которое, по старому обычаю, прятали в каменных, надежных от огня, храмах обитатели деревянных теремов и палат. Сгорели Чудов и Вознесенский монастыри, древние обители в Кремле. В Вознесенском монастыре десять стариц-монахинь сгорело. В церковь вошли — не хотят выходить. А церковь дотла спалило. Один образ чудотворный успел отец протопоп спасти! В Успенском соборе уцелел, правда, весь древний иконостас и сосуды дорогие церковные, но

укрывшийся там Макарий едва не задохнулся от дыму и пламени, проникавшего в стены храма. И вышел митрополит, как щит благоговейно держа в руках чудотворный образ Владимирской Божией Матери, писанный еще митрополитом Петром. Отец протопоп успенский шел за святейшем, нес церковные правила.

Укрылись они на городской стене, в тайнике, где во время нашествия врагов сокровища все церковные прятались.

Но и сюда дым набился. Стал терять сознание Макарий. В Кремль, где пламя бушует, выходу нет... И стали по веревке — со стены прямо — к реке Москве старца спускать... Да оборвался канат — перетерся, должно быть, на остром каменном выступе. И с большой высоты упал владыка. Сильно расшибся. Люди, внизу стоявшие, еле его в чувство привели. Отвезли старика в Новоспасский монастырь, подальше от напасти.

А напасть великая пришла!

В Китай-городе все лавки с товарами, богатые торговые ряды погорели... Все дворы смело, начиная с затейливых палат бояр Романовых. За Китай-городом большой посад по Неглинной, Занеглименье выпалило, с землей сровняло, и Рождественку теперешнюю до Николы в Драчах, до монастыря, снесло... По Мясницкой, где скот били, мясом торговали, вплоть до пригона конского, до святого Флора горело. Пылала Покровка до церкви святого Василия...

На двадцать верст кругом гудело и колыхалось страшное море огня, а в этом море, в пламенных, губительных волнах его метались застигнутые врасплах люди, носились, как безумные... До двух тысяч человек. Да так и сгорели дотла...

Ураган ревел... Пламя разливалось, шипело, свистало, пожирая все на своем пути, и в общем грозном хаосе не было слышно безумных, диких воплей и криков этих несчастных, заживо сгоревших за чужие грехи, за злобу чужую...

Печальная ночь настала за этим страшным днем, напоминающим день последнего Суда Божьего. Тяжко было бедному люду... Не легче и царю Ивану в опочивальне его.

После сильнейшего припадка обычной болезни — причем особенно сильно трепетало и билось могучее, юное тело царя — он заснул на часок, но скоро проснулся.

Зарево пожара доносилось и сюда, за много верст, и чу-

дилось потрясенному Ивану, что он слышит треск горящего дерева, слышит безумный вой и хохот заживо сгорающих бедняков, тут же сходящих с ума...

Эта картина так и реяла перед взором царя...

— Страшно... Страшно, Алексей!— вдруг зашептал он неразлучному своему спутнику, Адашеву, спавшему тут же.

— Да, государь. Это не то, что пожар града Рима,— грустно, с невольной, хотя и мягкой укоризной промолвил тот.

— Молчи! Каюсь! Мой грех!.. Молчи уж лучше...

И, не сомкнув глаз до утра, то рыдая и трепеща, то в молитве припадая перед божницей, проводил эту горестную ночь царь Иван.

Наутро, когда пришли вести о падении митрополита со стены и о чудесном спасении его, сейчас же собрался Иван с Адашевым к Макарию, в Новоспасский монастырь. Бояре все — следом за царем, желая повидать святителя, испросить благословения, совета его.

Телом страдающий, пастырь духом оказался несокрушим. Он же ободрял и утешал их всех, здоровых, но расстерянных и подавленных духом.

Только и такое испытание всенародное не смирило бояр. Стали опять разбирать: кто тут виновен, кто прав?

И снова всплыли обвинения, дней двадцать тому назад высказанные против Глинских. Шуйский, Скопин и Григорий Захарьин с другими заявили:

— От Глинских пожара пошла! Не мы одни — вся Москва то же толкует! Государь, вели обыск навести!..

Глинский Юрий сидит уж, молчит, бледный, запуганный...

— Да что еще бают! — возвысил голос Петр Шуйский. — Что дядевья твои, государь, месте с бабкой-старухой и с жидом-лекарем и с людьми ближними волхвовали! Вынимали у казненных людей сердца человеческие, в воду клали да той водою, езда по Москве, кропили... Оттого Москва и выгорела. Безумная речь, што и говорить. А надо сыскать поклепщиков! Пусть свою правду докажут. Не то, гляди, народ больно плох, ненадежен стал с перепугу да с разорения пожарного. Колодники из тюрем выпущены... Злодеи, воры, разбойники всякие. Они и добрых людей на мятеж подбодбют. Надо народу правду узнать.

Слушает суеверный, как и все в его время, Иван, и холодный пот выступает на лбу крупными каплями.

Уж не правду ли толкуют бояре, хотя и враги они Глинским?

Первая правда то, что проведали люди про работу лекаря бабкиного, как он режет трупы и на мертвых преступниках живых людей лечить учится... А если не лечить, а губить? Кто знает? Хотя и не жидовин дохтур, как облаяли Згорджетти, все же схизматик, католицкой он веры...

Вторая правда: сам Иван у него сердца в банках видал; в спирту, не в воде... А видал.

Толкует лекарь, все для ученья ему.

Зачем для ученья сердце мертвое?..

Так если две правды враги Глинских сказали, может, и в третьем не лгут? Завидно дядьям, что власть поотнялась у них, вот и жгут Москву?..

И мучительно задумался Иван.

Молчит Макарий. Понимает, что хотя бы и сознал вину Глинских царь, на поругание их не выдаст... Да и не надо бы.

Но за Глинских вступиться — плохой расчет. Их дело потеряно. И всех своих друзей, старых и новых, Шуйских и Захарьиных от себя старец своей заступкой оттолкнет...

И на царя покамест плохая надежда. Вот если удастся последний ход, тогда...

И молчит Макарий, ждет, когда обратится к нему за советом царь.

— Отче-господине! Как быть?!— дрожащим голосом заговорил наконец царь. — Видишь муку мою... Как пред Истинным, открыто пред тобою сердце... Сознаю все окаянство свое... Но вине дядьев не верится. Как быть? Научи, отче-господине! Такой час приспел, что на тебя да на Бога вся надежда моя!

— Тебе не верится, и мне ж не верится, государь! — слабым голосом, но внятно начал Макарий.

Все бояре только переглянулись с угрюмым удивлением и с нескрываемой враждебностью перевели взоры на Макария. Только один царь с бледной улыбкой да Глинский с благодарностью глядят. А святитель Макарий продолжает все так же спокойно и медленно:

— Коли мы оба не верим, значит, и нет того. Отчего ж и обыска не нарядить? Сыскать надо наветчиков. Они своего не докажут. Тут, народне, — и казнить их. Толки и стихнут, все уляжется, успокоится.

Полная перемена в лицах произошла.

Как мертвый сидит Глинский. И он не ошибся. Это прозвучал ему смертный приговор.

Просияли бояре, про себя Макария нахваляют:

«Что за ум светлый! Что за башка! Ловко!..»

Бояре знают, что знают!.. Они и в себе, и в черни, ими же возбужденной, ими же подстроенной, твердо уверены... Крышка Глинским.

На том и порешили: через три дня-де, в воскресный день праздничный, на площади кремлевской на Ивановской, клич кликнуть обыск нарядить. Там, на народе, окажется правда: кто Москву спалил?

Вернулся на Воробьевы горы царский поезд.

С Макарием Сильвестр остался. Долго об чем-то беседуют...

— Цело ли? — спросил Макарий.

— Все цело! Только пождать еще надо... Не отгремела гроза... И Адашев там приготовит, что следует.

— Не отгремела, правда твоя. Счастлив конюший боярин, Глинский Михайло, что нет его... А Юрий — не жилец он на свете...

— Сам знает, что не жилец... Рад бы убежать, да некуда. Теперь, поди, бояре его пуще, чем царя, сторожат: не уехал бы!

Покачал только головой в грустном раздумье Макарий...

Не ошиблись ни на йоту оба старца.

Настало воскресенье, 27 июня.

На обширной кремлевской площади черным-черно от народной толпы. Площадь эта, от стоящей здесь церкви Иоанна Лествичника, или Ивана Святого, звалась Ивановской. Теперь это — церковь и колокольня Ивана Великого, Годуновым впоследствии пристроенная.

Во время Ивана IV не было еще колокольни. Колокола большие, в огромной звоннице каменной, шатровидной, почти наружу висят, подвешены скрепами толстыми к балкам огромным.

Всего четыре дня после небывалого такого пожара прошло, а уж жизнь в свою колею вступила. Курятся еще остатки сгоревших палат и храмов Божиих, вьется сизый дымок от пепла и головешек, что грудями всюду навалены... Воздух едкой гарью пропитан, дышать тяжело... Земля остыть не успела, раскаленная... А людская муравейник копошится, гудет, жужжит на все голоса... И черные люди, и крестьяне тут окрестные, приезжие с припасом, который так нужен в погорелом городе... И ратники и дьяки, иначе,

дельцы площадные, которые здесь именно кабалы строчат, кому надобно... Все тут, до разбежавшихся колодников включительно. Большинство оборванные, закоптелые, обожженные даже... И все — обозленные, с душой, напряженной всеми минувшими ужасами... Напряжены все до того, что и на геройство и на самое грозное дело, на лютное, на свирепое, эту толпу полуголодную одним словом, одним восклицанием подвинуть можно!

Гудет, зловеще рокочет толпа.

Ждут все: нынче бояре о пожаре московском обыск чинить будут.

Появились и бояре наконец, стали на месте на расчищенном, которое раньше метальщики обмели.

Юрий Глинский тут же. Бледный, словно на казнь его вывели. Не хотел он ехать. Да заставили силой почти его.

— Как же, — сказали ему, — о роде твоём обыск, а тебя не будет? Погляди сам, чтобы все по чести шло!

Пришлось сесть на коня. Едет, а у самого ни кровинки в лице!

За ним, как и за другими боярами, челядь его.

Всю как есть взял он с собой.

Да что в ней проку?

Тонет эта кучка вооруженных людей в ревом море народном, взволнованном, которое, пожалуй, не менее страшно и губительно бывает порой, чем беспощадное море пламени.

И на людей-то Юрию поглядеть страшно, и вокруг смотреть тяжело. Сколько потерь! Сколько горя! Какой огонь был! Уцелела вон церковь Вознесения, но камень у нее от жару — где глазурью покрыт, где в песок перегорел... Осела церковь, рухнет того и гляди!

И этот вид пожарища, гул разъяренной толпы, страшно все как-то влияет на душу Глинского. Он знает, что его ждет. Тут-то бояре с ним свои счета и сведут... Чернь за то отомстит, что глух он был к жалобам, когда обиженные челядью его люди простые прибегали к боярину, к дяде царскому...

Настал день расплаты! Так уж скорее... Скорее бы конец! И он близок!

Бирючи уж клич кликали... Бояре обыск начали.

Все рвутся вперед... Еле-еле стражники напор сдерживают, не дают толпе смять, раздавить всех бояр. А бояре, в богатых, чистых нарядах, недвижно-спокойно стоят, слов-

но островок, вокруг которого плещут, вздымаются и ревут волны прибоя всенародного!

— Кто Москву поджигал? — спрашивают у толпы.

— Глинские поджигали... Бабка царева — ведунья, еретица... И с сыночками... И с челядью... — вот что упорно, все грознее и грознее ревут народные волны.

— Смерть им! Подавай их сюды!.. На расправу их нам, выродков литовских!..

Так закричали коноводы, подкупни боярские...

Так заревела за ними толпа, трепеща всей своей напряженной, озлобленной душой!

Инстинкт самосохранения внезапно проснулся в Юрии Глинском. Незаметно, под охраной своих, он укрылся в стоящем рядом Успенском соборе, который чудом каким-то уцелел и высится на опустошенной площади, черный, закоптелый.

Но толпе нужно чем-нибудь разрешить свое напряжение: или подвигом, или кровью.

— Кровью! — решают бояре. Дают приказ близкой челяди.

— В церковь убежал Глинский-злодей, — кричит чей-то голос из толпы боярских слуг.

И вслед за Юрием кидаются натравленные убийцы. Труп Глинского вытаскивают из храма... Сотни рук мелькают... Тысячи проклятий вылетают из пересохших губ...

Через миг обезображенное, кровью залитое тело «поджигателя» выволокли из Кремля через Фроловские ворота и кинули у Лобного места, где по приказу князей и бояр до сих пор только преступников из черни четвертовали и напоказ ставили.

В это же самое время другие толпы людей накинлись на челядь Глинского, на всех этих, чужих по языку и по лицу, людей литовских, усатых, бритобородых!.. Всех постигла та же участь, что и боярина ихнего.

Подвернулись люди северской стороны, где тоже бороду бреют, усы носят. Дети боярские, к роду Глинских не причастные, тоже, за одно сходство с литвинами, поплатились жизнью.

Раз почуяв запах крови, толпа озверела окончательно. Да и бояре не так скоро решили отступиться от своего.

— Уж пугать царя — так всюю! — говорит кто-то.

И вот в народе раздаются голоса подстрекателей:

— Братцы! С Юрашем покончили... А как же с другим братцем? С конюшим? С Михаилом свет Васильевичем?..

И со старушкой-ведьмой? С Анной-еретичкой?.. Их тоже надобно!..

— Надо бы! Да где они? Чай, схоронились?..

— Не далеко искать. У царя, на Воробьевых, слышь...

— Только? Вали на Воробьевы...

И повалили эти звери-люди. Одни — сухим путем. Другие — по воде поплыли.

Не успел прибежать к Ивану вестник с сообщением о трагической гибели дяди Юрия, новые гонцы пришли:

— Государь! Народ сюды кинулся. У тебя хотят бабку вынимать и боярина Михаила Васильича. Налгали им, что прячешь ты сродников тут.

Задрожал Иван от страха и от ярости.

Положим, полон двор стрельцов. И каждую минуту еще подмога прибывает... Да как знать?..

Не успели воеводы Воротынский и Бельский все устроить для обороны, как подваливать стал народ.

Правда, не очень много его. Жилья, деревень немало по дороге. Кто в кабаки заглянул, кто одумался по пути... Иные пограбить польстились, благо в такие дни никому закон не писан... Но докатились до Воробьевского дворца самые буйные, опасные волны народные, самые бесшабашные головы, сплошь вольница городская да низовая, голь кабацкая перекатная.

Увидали стену живую из ратного люда — стрельцов да копейщиков — и встали. А сами все бурлят, орут:

— Ведунью старую подавайте! Мишку Глинского боярина! Не покрывайте поджигателей!..

Доносятся эти крики и до царя, который только молится у себя в покое.

— Успокойся, государь! — твердил ему Адашев. — Все уладится. А на случай чего — ходы здесь есть до реки и под рекой потайные... Не возьмут тебя... Я все уж здесь разузнал. Покоен буди.. Уйдем, коли што...

И Иван немного успокоился.

Пришел Воротынский с Бельским.

— Что скажешь делать, государь? Сторожа поставлена. Пока народу немного сбежалось. А что вот ночь скажет? Что к утру будет? Неведомо!

— Пытались вы уговорить злодеев? Объявить, что нет здесь ни бабки, ни дяди Михайлы?

— Пытались. Не верят...

— Так подите, скажите моим словом царским, что нет их... Что я суд снаряжу...

— А если не послушают? Не поверят? Не разойдутся?..

— Моему слову не поверят? — вдруг воспламеняясь, вскочил Иван. — Моего приказу царского не послушают? Первых тогда в ряду хватайте, тут же казните!.. Поглядим, что скажут, окаянные!..

Воротынский и Бельский вышли.

— Слушайте, народ православный! В последний раз говорю вам!.. Именем государевым... Вот и знак, гривна его государская... Нет здесь ни бабки царевой, ни дяди царского Михаила. Во Ржеве они!.. А царь обещает суд нарядить и не покроет злодеев ваших, хошь бы и родню свою. Таково его было слово царское, великое!

Загудела толпа, притихшая было во время речи воеводы. Но гул уж не такой зловеющий, как раньше.

Верит еще народ царю своему...

Расходиться стали те, кто разум в голове и совесть в душе сберег. А кучка озверелых, охмелевших от вина и крови колодников и черни бестолковой не унимается.

— Ишь ты, во Ржеве? Не по яблочку ль поехали?.. Тут они... Подай поджигателей!

Так закричали все, кто оставался.

Но крика этого уж им повторить не пришлось.

По знаку воеводы, кинулись стрельцы, перехватили бунтов. Кого оглушили, кого тут же прикончили, если сопротивлялся. А остальным через час какой-нибудь, здесь же, перед дворцом, головы сняли...

И в ужасе прочь бросились бежать оставшиеся из любопытства и стоявшие поодаль кучки народа.

Глухая, «воробьиная», как говорится в народе, ночь настала.

Сухой ураган, бушевавший дня четыре, сменился было затишьем. А теперь полил дождь, гроза разразилась, заливая потоками влаги дымящееся московское пожарище.

Дрогли бесприютные бедняки, которым не хватило мест по уцелевшим церквам, монастырям и жилищам. Хозяева последних принимали столько гостей, сколько стены вместить могли.

Рыдает, дрожит, словно в ознобе лихорадочном, на ложе своем Иван в полутемной опочивальне Воробьевского дворца.

Обширная горница выходит окнами в большой тенистый сад, сбегаящий по откосу до самой Москвы-реки.

Открыты окна, чтобы хоть немного освежить душный воздух нежилого покоя. Ветви столетних деревьев из черной ночной темноты заглядывают в окно слабо освещенного покоя, словно узнать хотят: какая душа томится и страждет здесь? Вдаль уходящая гроза дает о себе знать порою синей вспышкой молнии, слабым рокотом отдаленного грома. И тогда тяжелые капли дождя, дробно так тарахтящего по листам, чаще и звучнее бьют по зеленым куполам старых деревьев-великанов, по скатам дворцовых крыш, по влажной земле.

Кроме двух окон, прорезанных в садовой стене, две двери ведут в опочивальню. Вернее, одна ведет сюда. А другая, с небольшой лесенкой, наглухо запертая, ведет из опочивальни на необитаемую совсем половину дворца.

Та половина стоит выше по горе, чем эта. Вот почему и дверь не вровень с полом прорезана. Вдоль четвертой, глухой на вид, стены, осененная шатром стоит кровать, ложе царское. Полночь скоро. Лечь бы надо. Но страшится непривычного ложа Иван, словно могилы. И не знает он, что стоит за этим постельным шатром наклониться, поднять половицу, хитро прилаженную, и откроется ход подо всем дворцом и под садом, вплоть до реки... А выход из тайника на волю тоже закрыт хорошо: дерном дверь обложена, кустами прикрыта.

Полночь близко.

Чу, часики домовые, которые и здесь стояли, и в ход были пущены с прибытием царя, выбивать мерно начали: раз... два... три... и, наконец, двенадцать. Полночь настала.

Еще сильнее жуть овладела Иваном.

Адашев, правда, рядом спит... Не кликнуть ли его? Нет, что за вздор! Совестно даже... Не мальчик уж он. Семнадцать лет ему. Он царь! Он муж! К Насте пройти?.. Тоже — зря. Она совсем расхворалась от всех передрыг недавних и ужасов, Христос с ней! Пусть поживает, голубка милая. Никогда, никогда больше не огорчит он жену, не изменит ей!.. Бог свидетель...

Отчего это так мало света в покое? Разве еще свечи зажечь?.. От лампы и самому можно, не будя никого. Вон какой забавный один трисвечник стоит: яблоко в середине, а в яблоке часы тикают... Словно сверчок большой, на всю комнату трещат: тик-так... тик-так...

Хорошо, что трещат... Все веселее... Не совсем тишина могильная...

Над Москвой далекой думы царя летают. Что-то там теперь?

И опять твердит Иван:

— Прости, Господи! Зарекаюсь искушать терпение Твое...

Молится, а недавние страшные сцены так и мелькают в глазах...

Море огня... Потоки крови... Дядин труп обезображенный... Скорченные, обезглавленные трупы казненных бунтарей перед дворцом... И сейчас там они лежат.

Хоть бы окно закрыть. Да не смеет царь с лавки двинуться... Дышать не смеет полной грудью, как будто боится чей-то сон потревожить... Нарушится заколдованный сон, и пробудится нечто такое, отчего мертвым на месте можно упасть...

Оттого и сидит, не шелохнется Иван, рассвета, луча только первого ждет. Если бы не буря, не тьма облаков, скорее бы июньская ночь пролетела... А тут мрак кругом... Жутко.

Вдруг словно лист затрясся Иван. Шорох за дверью.

— Кто там?! — еле вырвался хриплый оклик из горла, перехваченного сильнейшей судорогой.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — раздался за дверью не чужой, но мало знакомый голос.

Отлегло у царя от сердца.

Не духи там, не демоны, не убийцы подосланные. Те бы молчком, без молитвы вошли. И голос хороший, старческий чей-то, хотя еще не дряблый.

— Амины! — торопливо произнес Иван, желая скорей узнать, кто там? Кого в полночь, без предвещения обычного допустили в опочивальню к нему?

Раскрылась дверь, и появился в покое Сильвестр, протоп, духовник царицы...

Обрадовался даже царь.

«Вот, Бог живую душу послал, да еще такую хорошую!..»

— Входи, входи, отче! Милости прошу!.. Рад я тебе. Только што так поздно? Не приключилось ли сызнова чего? На Москве? Или ты от отца митрополита нашего?

— От себя я, государь. А поздно, потому дело такое, великое! Не всем очам видеть достойно.

Снова мороз побежал по спине у Ивана.

Станный вид у Сильвестра. Сурово и скорбно лицо

его. Видно, что тяжело налегает рука на пастырский посох. Одежда вся мокрая. Сейчас пришел со двора. Правда, значит: дело великое, если в такую ночь из Москвы сюда прибыл...

— Рад тебе все едино. Зачем пожаловал? Сказывай, отче! Все сделать готов.

— Бог меня посылает к тебе, сыне! Чадо мое духовное! — значительно, смело говорит поп. Никогда он с ним так не говорил, хоть и много раз приходилось им сталкиваться и в храмах Божиих, и у царицы. Совсем пророком выглядит библейским этот величавый, седовласый, могучий старик.

— Говори, отче!.. — повторяет смиренно Иван.

— Не я — Господь Бог глаголить устами моими возжелал и даст тебе в том дивные знаменья.

— Знаменья?.. — лепечет подавленный царь.

— Да, сыне, знаменья!.. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения!» — сказано бо есть. «И тебе, лукавец и прелюбодей, дастся знамение по воле Господней»

Царь онемел.

Впервые до слуха его коснулось такое слово. Но тут же он смиренно поник головой и повторил только:

— Лукавец и прелюбодей! И горше того, отче! Каюсь со смирением, по чистой совести, и пусть по той правде простит меня Господь!..

— Погоди! Слушай сперва! Потом и твоя речь придет... Слушай, что было со мною... Не нынче... Еще шесть дён назад.

— Говори... говори, отче... — весь трепеща, прижимаясь, как ребенок, к рясе священника, произнес Иван, предчувствуя, что услышит нечто необычайное.

— Спал я в покое своем... Вдруг голос воззвал меня. Прокинулся, гляжу — нет никого... Лампада сияет... И лик Спаса — кроткий и благодатный — один глядит на меня. И вижу, словно слезы блестят на очах у кроткого. Глянул еще раз — нет ничего. Ну, думаю: почудилось! Да на окно перевел глаза. Чуть не крикнул! Весь Кремль, вижу, в огне пылает... И собор мой тоже...

— Господи, Господи... — зашептали бледные губы Ивана, а рука невольно сотворила крестное знамение.

— Дальше слушай... Кликнуть кого хочу... Протопоп-цу-мать разбудить — голосу нет. Подбегаю к окну — все исчезло разом. Тихо. Светает на воле. Спокоен Кремль, цел собор стоит. Думаю: попритчилось. Молился мало перед

сном. Сотворил молитву, лег. Снова глас зовет... Снова в огне все вижу кругом. До трех раз так было...

— Что ж не пришел, не сказал тогда мне, отче? — зашептал Иван.

— Гордыня! Неверие обуяло... Думаю, что я за святой, чтобы знамения мне Бог подавал... Забыл, что и в безднах адовых светит величие Божие!.. Дальше слушай... Спыхватился я, вспомнил виденье мое вешнее, когда беда огненная над Москвой стряслась. Да поздно, так себе думаю... И снова нынче в ночи посетил меня... к тебе послал Господь... Слушай,— вдруг загремел Сильвестр,— слушай и трепещи, грешник юный! Овца заблудшая... Вот уж секира при корне древа сухого... Усечено оно будет и ввергнуто в огонь вечный!.. Покайся, нечестивец! Покинь утех агарянские, игры содомские, оставь крови пролитие! Воззрись на землю... На весь люд христианский, Богом врученный тебе! Мало ли посещал тебя Господь? И потоп, и мор на землю приходил... Ты все не одумался! Покайся, чадо!.. Не дерзай паки насилием всяким народ угнетать... Не давай православных синклитам твоим в обиду! Не на то вручен тебе венец прародительский!.. Очисти душу свою от всякия скверны!.. К людям стань милостив... К церкви — прилежен... Не то горе тебе!.. Взвешены грехи все твои на весах гнева Господня!.. Спеши одуматься, чадо!.. Гляди, вон пажити, тобой и приспешниками твоими опустошенные... Села разметанные... Град престольный, грехов твоих ради спаленный, аки в последний час светопреставления... Гляди, вон жены, дети, старцы, в огне обгорелые... Мученики безвинные, агнцы Божии...

— Вижу, вижу!..— стонал Иван, в уме которого ярко возникала каждая картина, поминаемая старцем, словно бы наяву он видел все.— Каюсь! Грешен! Прости, Господи!.. Отпусти мне грехи мои, вольные и невольные.

— Стой, молчи! Гляди... Еще не все!— властно продолжал старик.— Гляди!— и он посохом указал на стену опочивальни.

В это самое мгновение откуда-то пронесся по комнате сильный порыв холодного сквозного ветра и погасил почти все лампы, сиявшие в углу пред образами. В то же время сверху откуда-то, как будто из двери, ведущей в запертые покои, мелькнул луч света сдабого, скользнул по Сильвестру, по Ивану и озарил часть стены, покрытой дубовой панелью, гладкой, полированной.

Иван глянул по направлению руки Сильвестра — и

волосы поднялись дыбом, зашевелились у него на голове. Он застыл от ужаса...

Там явственно в светлом большом кругу стали скользить знакомые тени. Не раз совесть вызывала их перед взором отрока. Но никогда с такой яркостью не видал он всех убитых, замученных, казненных и задущенных по его повелению, по прихоти его... Вот — Шуйский Андрей, залитый кровью, с поникшей головой. Лицо плохо видно. Но наряд, волосы, посадка — все его... Это он, он самый!.. Вот юные сверстники Ивана — Дорогобужский, Кубенский, Воронцовы-братья... Овчина Федя... Закрыв глаза Иван, а они все идут, идут без конца. Но теперь он видит, как с укором кивают они головами... Он слышит, как шепчут их мертвые уста:

— Душегуб! Убийца...

А голос Сильвестра снова гремит:

— Не закрывай очей на духовную скверну свою... Гляди!..

Раскрывает невольно опять глаза Иван, глядит... И видит самого себя, объятого адским пламенем... окруженного духами тьмы, которые ликуют добыче!.. И мучат, вонзают в него трезубцы свои...

Рыдание вырвалось из груди царя!

Вопль огласил весь покой, вырвался в раскрытое окно и замер в ветвях темных деревьев вековых...

— Помилуй! Прости! Защити, Господи!.. Каюсь во гресех моих тяжких... Ты, что разбойника простил и спас на кресте, Спасе многомилостивый, помилуй мя, окаянного... Помилуй мя!

И, бия себя в грудь, распростерся в молитве Иван.

— Гляди! Снова раздается голос...

Поднялся и видит Иван отца своего, хотя и не помнит он лица его, но такой вот отчеканенный лик покойного Василия висел у него на шее, на гривне золотой. И грозит ему отец... А из-под земли словно лязг цепей раздается, тяжелых железных цепей... Или врата адовы до срока разверзаются... И вдруг глухой замогильный голос раздается в ночной тишине.

— Покайся, сыне! Близок час!..— вещает этот замогильный голос.

Отец грозит и глядит сурово. И сейчас же сверху, словно с неба, отклик послышался резко, повелительно:

— Покайся, чадо! Близок час...

Вскрикнул дико Иван, повалился без чувств...

— Не было бы худа, отче! — быстро входя в опочивальню, зашептал Адашев, стоявший за дверьми, все слышавший и видевший, что происходило с Иваном.

Сильвестр только рукой отмахнулся.

Адашев нагнулся к Ивану и стал прислушиваться. Юноша лежал в глубоком обмороке.

— Сомлел он, отче!.. Положим его.

И Алексей, добрый и жалостливый по душе, стал поднимать с помощью старика Ивана, уложил его в постель, за которой уж никого сейчас не было. Чревоушитель, приведенный сюда в свое время, ушел, как и пришел, согласно заранее полученным указаниям.

Курлятев, третий пособник, которого научили управляться с фонарем, так же тихо прикрыл верхнюю дверь опочивальни, как раскрыл ее, и по пустым pokojам прошел в отведенные для свиты флигеля...

Иван все лежал, не шевелясь, почти без дыхания, бледный, с темными кругами, успевшими окаймить глаза.

— Отче, право, боюсь я...

— Ничего, говорю... И врачевание так делают: поневоле согнившую гайгину (гангрену) стружут и режут железом, и дикое мясо, на ранах растущее, обрезают до живого тела. Пусть телу тяжело, зато душа от язв и от струпов прокаженных очищается!..

И Сильвестр, спокойный, суровый, стал ждать, когда очнется Иван.

Вот он вздохнул... пошевелился. Сознание вернулось к нему. Он вспомнил, задрожал, огляделся...

Светло в покое и от огней, зажженных догадливым Адашевым, и от первых лучей зари, блеснувшей на краю небес, с которых унеслись грозные тучи.

— Отче... Алеша! Жив я еще?.. Попустил Господь! Дал покаяться! — заговорил быстро Иван. — Я покаюсь... Я покаюсь... Исправлюсь... Только вы... вы оба не покидайте меня! — жалобно, тихо молил напуганный царь.

А крупные, жаркие слезы так и катились по бледным, за одну ночь исхудалым щекам...

Ясный рассвет вставал над землею вдали.

С рук сошла боярам смута народная на Ивановской площади. Никого не преследовал царь.

Напуганный Михаил Глинский с другом своим, бывшим

псковским наместником, князем Турунтаем-Пронским, на Литву было побежал.

Но недремлющий враг, князь Петр Шуйский, обоих изловил и представил царю.

Посидели немного под стражей беглецы, покаялись, что со страху, ожидая участи Юрия Глинского, решили родине изменить — и простил их совершенно переродившийся Иван. Лишь далеко, на Каму, воеводой послали конюшего и дядю царского, бывшего первого боярина Михаила Глинского.

Только не пришлось и врагам, соперникам Глинских и Бельских, воспользоваться плодами победы. Не они, два неизвестных, простых человека, неизвестно как и почему, стали у кормила правления: протопоп Сильвестр и постельничий Алексей Адашев. Вверился слепо государь, всю свою власть сдал им обоим, простым земским людям.

И вздохнула свободнее Русь.

Царь сам тоже не без дела сидел. Не терпела того кипучая натура Ивана. Временное оцепенение, угнетение — отголоски пожара и бунта, — все прошло, и после здорового отдыха, после покойной жизни — вспыхнула былая энергия.

Осенью же 1547 года стали большой поход на Казань снаряжать.

В декабре царь во Владимир, как водится, прибыл. В январе 1548 года туда пушек, пищалей осадных навезли, начали полки все стягиваться: и русские, и татары касимовские, и казаки порубежные.

Двинулись вперед. В феврале только до Нижнего Новгорода добрались, потому как распутица страшная была. Ни морозов, ни снегу Бог не давал.

Дожди так и лили во всю зиму зимскую...

Когда стали из Нижнего на остров Роботку переправляться, оттепель еще пуще ударила.

Волга, едва было застывшая, полыньями покрылась. Вода выступила из продушин и весь лед сверху залила. Пушек, пищалей больших, стенобойных много погибло, под лед ушло... Немало и людей в продушинах утонуло, потому под водой не видно, куда идешь...

Три дня стоял на острове царь. Холодов ждал, дороги исправной. Так и не дождался.

Послал он тогда на казанцев воеводу своего главного, князя Бельского.

— Ты сойдись с Шигалеем в устье Цивильска, князь! —

сказал Иван. — А я домой поверну... Не сподобил, видно, меня Бог, за грехи мои за все, на неверных ополчиться!..

И расплакался даже горько полубольной, ослабленный недавними страхами царь Иван.

Удачен был поход Бельского, много добра добыл и пленных татар привел он в Москву, и щедро наградил воеводу царь; а все не весел сидел Иван, на всех пирах своих, пышных и торжественных, правда, но уж не таких бесшабашных, как прежде. Очистился дворец, как очищена была душа юноши. Ни скоморохов, ни шутов безобразных не видно. Только Семушка Клыч, бахарь один любимый, оставлен, причитальщик и сказочник, нечто вроде старых баянов. Почти ежедневно на сон грядущий сказанья, былины и сказки Семушка царю рассказывает. А в общем дворец на обитель священную стал похож. Посты строго соблюдаются. Службы ежедневно во дворце церковные. К «празднику», в престольные дни, по монастырям кремлевским и по соборам ходит к литургии царь. Молодая царица тоже там бывает, являясь незримо для толпы переходами крытыми. Ни ее, ни патриарха не должен часто видеть народ. Вместо похлебников, ласкателей развратных, ребят голоусых, царских наложников, на государевом верху калеки да нищие, богомольцы завелись. Заботится о них Иван.

В прощенные дни на Масленой и в Страстную неделю тайные ночные выходы царские совершаются: милостыню царь раздает собственноручно, колодников, заточенных посылает и жалует...

Строго исполняя религиозные обряды, которыми, бывало, пренебрегал довольно часто, юный государь и в это дело внес присущую ему напряженную деятельность, нервную страстность. Он увлекся церковным пением... Привлекал в свою «стайку» церковную, певческую лучших певчих; искать повелел голоса «изрядные» по всем царству и до слез заслушивался согласных церковных напевов, стараясь, чтобы его певчие были лучше даже митрополичьих «стаек». Даже сам напевы для канонов сочинял.

Но и этого всего было мало, конечно, для юноши, только и мечтавшего что о славе, о величии царском.

И особенно настойчиво старался он выписывать иноземных мастеров, литейщиков, зодчих... Лил пушки, ковал оружие... Строил храмы новые... И порой, придя поглядеть на новое «дело» осадное, вылитое искусником-пушкарем, по имени Первой-Кузьмин, изучившим дело от фрязина, царь

не только любовался пушкой, но ласкал, гладил, словно живое существо, трехсот-четырёхсотпудовые стволы и сам «крестил», давал им имена.

— Вот этот — на татар пойдет на упрямых. Он перепрямит их и пусть наречется «Онагр», сиречь осел дивий, што и бритых ослов превзошел. А эту, ростом подлиннее, пошлем ливонские стены бить — и буде прозвана «Ерихонка».

Укрощенные бояре во всем безропотно помогают царю, подчиняясь особенно влиянию Макария, твердящего вельможам:

— Бог чудо явил! Просветил душу отрока. Бросьте свару! Не повертайте царя на старое!

Сильвестр, сменивший Бармина в качестве государева духовника, неустанно влиял на Ивана, призывая себе на помощь имя Божие, заветы Христа и Писания Церкви, все, что говорит о чистоте души, о добродетелях человеческих.

Федор Бармин видел смерть Глинского, видел, как старики на части растерзали в самом храме, у митрополичьего места, где несчастный искал спасения от разъяренной черни. И на другой же день протопоп захворал от потрясения, пережитого в эти минуты. Душа и тело честолюбивого священника надломились. Но он был пришиблен окончательно, когда Макарий призвал его и объявил о назначении Сильвестра духовником царским.

Шатаясь, вышел протопоп от Макария.

Через несколько дней после того, 6 января 1548 года Бармин принял пострижение в Чудовом монастыре, но не с целью проложить себе дорогу в митрополичьи палаты, как раньше мечтал.

Каясь со слезами на глазах перед духовником своим, Бармин твердил:

— Грешен я!.. В крови неповинной грешен. Глинский Юрий и присные его по моему навету погублены... Грешен, окаянный, без меры!.. Только и надежды, что схиму приму, умолю Бога... А то ни ночь, ни день покою нет... Вижу всю гибель безвинных, по моему слову их постигшую... В келью затворюсь, стану грехи отмаливать.

Так и сделал Бармин.

Сильвестр, ставший на его место, ревниво хранил душу царя.

Адашев, хотя и без всяких отличек, без величания, но фактически стал верховным правителем и оберегал царя

ство, как умел. А ему от природы присуща была способность к правлению.

Производ, лихоимство боярское прежнее, волокита судебная — все это было стеснено городовыми, монастырскими и сельскими вольными грамотами, дававшими народу возможность вводить у себя нечто вроде теперешнего самоуправления, посредством выборных, губных и земских старост, сотских, десятских и проч.

Казна царская, которую теперь уж не грабили так открыто, дерзко и безнаказанно, богателя. Скапливались средства и на внутренний обиход, и на предстоящие большие походы, о которых толковал, которые жарко обсуждал Иван с Адашевым, Курлятевым и с лучшими воеводами своими.

Народ тоже успокаиваться стал. Опустелые от голода, мора и произвола наместников деревни и села опять заселялись понемногу.

Вольнолюбивы селяне московские. Плохо им на одном месте — они на другое идут, лучших господ, нового счастья ищут.

Придут осенние сроки переходов, и потянутся «переходчики» с одного тягла на другое, а то на «черную» землю государеву садятся. Все-таки легче. Не стоняют, по крайности, там с пашни, не дав осенью и семян собрать, как делают злые вотчинники-помещики.

Правда, из тяглого общины, которая сидит на земле монастырской или государевой, свободного выхода нет. Откупаться надо. Так ведь бежать можно. Пути никому не заказаны.

И вся эта «бродячая Русь» оседала прочней и, словно ил плодотворный в реке, отстаиваться начала.

Потому, конечно, и реже недороды, меньше голодовок стало. И мор не так часто жаловал...

Легче вздохнула земля Русская.

Народ сытей — и торг живой. Богатеть быстро стала и сама Москва, сразу, как птица Феникс, в два месяца возрожденная из пепла.

Много разного люду в Москве, а больше всего торговго.

Да и кто не торгует в ней?

И мелкий служилый человек: стрелец, пушкарь, подьячий, посадский... И дворяне в торговые люди записывались, «гостями» объявляли себя.

Недаром Москва выросла и стоит на великом между-

земельном шляху, на пути из варяг в греки и дальше, на Восток, богатый и миррой, и золотом, и шелковыми тканями, и тайнами древних волхвов.

Пахотные интересы земледельческих по натуре славянских племен, из которых сложилось государство, — здесь, в узловом историческом поселке, на Москве, счастливо связались с торговыми интересами, и создалось царство Московское, а потом и всяя Руси!..

Понимал это Макарий, внушил Адашеву... Тот передал Ивану, осветив сознательным огнем инстинкты «собирателя земли», переданные царю его предками.

Но семнадцать лет розни между царем и землей, во время безначалия, во дни правленья боярского, положили на царствовании Ивана свою резкую, недобрую печать.

Царь — не знал земли хорошо, земля — царя не знала, или, вернее, знала с дурной стороны.

А это не нравилось людям, принявшим власть. Не желали они этого, находили вредным для царя, опасным для себя, особенно ввиду предстоящих тяжелых войн с татарами, с Ливонией, с Литвой, срок перемирия с которой скоро истек.

«Что скажут люди: «Пришли поп с сурожанином, новгородцем, царя заповолили, нашу кровь льют, наши гроши изводят!...» Сами крестьяне не подумают, бояре их научат, прижаты нами».

Так думал Сильвестр, так полагал и Адашев, когда Макарий навел их на известные мысли. И решили они поставить царя лицом к лицу со всею Русской землей.

Решили, столковались, Ивана уговорили при помощи того же владыки-митрополита, хоть тот и крылся в тени, — и все сделали по мысли Макария, как внушил он незаметно.

Глава IV

ГОД 7058-й (1550)

Раннее летнее утро, воскресенье.

В теплом воздухе так и висит звон колокольный над возрожденным Кремлем белокаменным.

Жаркий солнечный луч золотой горит на свежепозолоченных крестах да на маковках высоких соборов и церквей, уцелевших от последнего пожара или заново в два года с лишком отстроенных.

Площади кремлевские полны народом.

Берега Москвы-реки и Неглинки, что широкой дугой огибают весь детинец, тоже усеяны толпами людей. Сверху если взглянуть, от народа черно верст на десять вокруг Кремля.

Пешие, конные, в колымагах, в каптанках-возках, по воде в лодках, на паромах, — все новые и новые волны народа текут сюда со всех концов, со всех посадов, из всех деревень и сел окрестных, из ближних и дальних городов.

Подъезжают и подходят запоздалые. А уж раньше десятки, сотни тысяч народу сошлись в Москву к этому дню и съехались отовсюду. Кто у дружков да на подворьях монастырских или у дворников торговых, на постоянных дворах, места себе не нашел, те станом стоят в родах пригородных окрестных и на зеленеющих пустырях городских, раскинутых без счета между отдельными посадами и «концами», участками городскими.

Много здесь тех людей, что по указу государеву поспешили на Москву, на Земский великий собор, еще на Руси доселе не виданный. Из всех городов, из посадов больших выборные от сословий сюда собрались.

Но большинство по своей воле пришло, чтобы хоть издали поглядеть и от других скорей услыхать, что молодой царь, Иван Васильевич, будет говорить земле, чего ждет от нее, что сам ей сулит и обещает?..

Весело, радостно перекликаются своими медными грудями все московские колокола... Но даже их переливчатый, громкий перезвон заглушаем бывает порой говором, гомоном и гулом всенародным, плеском вселенской волны.

Особенно тесны сплошные ряды человеческих тел в Китай-городе, перед Фроловскими, позднее Спасскими воротами, по правую руку от которых стоит небольшая церковка на Рву, «на крови казненных» названная, так как через дорогу, наискосок от церкви, красуется невысокий, подковообразный помост — Лобное место.

Здесь ручьями лилась кровь при деде, при отце Ивана. Потоками хлестала в его детские и отроческие годы... Реками хлынет, закипит потом, в зрелый возраст, когда прикуют к имени — царь Иван Васильевич — прозвище Грозный царь...

Но теперь, вот уж третий год, и не видно здесь забавного для черни зрелища... Не обагрывает пурпурная струя крови белый снег зимний, не прибывает она летом пыль летучую...

Не хрустят кости на дыбе, не свищут ремни батогах и плетей-тройчаток с проволокой медной на концах... Только торговый гомон и клик всегда носится... Ржание коней долетает от недалекого рынка конного, где тысячи голов из крымских и ногайских степей стоняются для продажи, для тавренья, служащего знаком, что за коня государева пошлаина плачена...

Велика Лобная площадь. Не красуется еще на ней дивный, сказочно-причудливый храм Василия Блаженного, созданный только после славного взятия Казани.

Пол-Кремля можно уставить на площади — и еще места останется. А сейчас — тесно на ней... Стоит «материком» толпа... Вся ни взад, ни вперед, ни в сторону не может ни колыхнуться, ни шелохнуться... Гром с неба ударь, татары напади сейчас — не побежит никто прочь, потому как некуда!

Только чудо можно бы заставить это могучее плотное тело, в какое сипелись тысячи людей, раздаться, сжаться, отступить хоть на пядь, образовать просвет в народных рядах...

И чудо совершилось.

От самого дворца царского до Лобного места на мостовой, поверх толстых бревен, из которых эта мостовая настлана, доски толстые, байдашные, барочные доски набиты. Образуют эти доски дорожку, по которой царь пойти должен.

Вдоль всей дорожки, в два ряда, почти плечо к плечу, стража поставлена в лучших уборах и нарядах воинских, с пищалями, с алебардами и секирами длинными.

Но народ стражи не побоялся, сбил ее с мест, прижал один ряд к другому и знать ничего не хочет.

Смирно стоит стража, уж и не обороняется от натиска, как не может бороться с порывом ветра паутина осенняя, легкая, что бабьим летом в ясный день по воздуху носится.

Но вдруг в Кремле, за стеной, крики послышались, растут, громом катятся, покрывают весь гул толпы несметной, на Лобной площади стоящей. Через стены Кремля восторженный крик переплелся, перекинулся... Здесь его сотня тысяч грудей подхватила, небо дрогнуло, колокола, устыдившись, замолчали...

А кругом, далеко кругом, так и рокошет, и гремит без конца:

— Да живет наш царь Иван Васильевич! Слава ему!..

И чудо совершилось.

Перед головным отрядом царского поезда, выходявшего из Фроловских ворот, расступились скипевшиеся массы тел людских.

Стража вдоль дошатого пути, свободно вздохнув, по-прежнему в два ряда стала... И по настилке прошел весь поезд до самого Лобного места.

Но не даром обошлось это чудо толпе.

Вопли, крики в ней послышались, особенно из задних рядов. Все больше женские голоса, детские вопли. Конечно, бабы всегда любопытством отличаются. И нельзя бы им, а они — тут как тут! И с детьми, если не на кого малышей дома оставить. И немало жен, детей, стариков слабых, даже сильных мужиков здесь в этот миг было подавлено.

Больше тысячи человек на площади и в переулках бездыханными подняли, когда понемногу толпы разошлись. Но это потом было.

А теперь юный царь стоит на возвышении, окруженный блестящей дружиной своей, ближними князьями, боярами и опальниками прощенными, всеми маститыми, степенными думцами, священством, дьяками, писцами — сынами поповскими и дворянами, боярскими детьми... Митрополит-владыко, поэт-художник Макарий, рядом с царем, в облачении святительском, почти не уступающем в блеске царской ризе парчовой и бармам тяжелым, камнями, образами золотокранными украшенном.

Только в шапках у них и разница.

Клобук белый на Макарии.

Сияющий царский венец прадедовский на Иване.

А очи у обоих — у старика и юноши — сейчас одинаково святым огнем горят... Огнем светлой радости, огнем восторга душевного.

Сильвестр, духовник царя, Адашев, друг его, — в первых рядах стоят, глаз с царя не сводят.

И царь часто оглядывается на них, пока бирючи кричат, приставы хлопочут: народ к молчанью, к порядку призывают.

И второе чудо совершилось. Тихо стало на площади.

Так тихо, что слышно каждое слово, слетающее с губ царя... Слышен и гул далеких масс народных, куда не дошло еще слово государево:

— Тихо стоять и молчать! Слушать речи царские!..

Говорит Иван... Не совсем внятно сперва... Волнуется очень... Правда, много лет он в уме каждое слово такой

всенародной речи обдумывал... И теперь много раз, составляя ее, записывал, переписывал вновь, как «Отче наш» учил... А волнуется... Русь перед ним стоит и слушает... Чутко внимлет Земля слову царскому.

Попы, с крестами стоящие, совершили молебен.

Поклонился царь митрополиту.

— Отче-господине, внимли чаду своему духовному. Молю тебя, святой владыко! Будь мне помощник и любви поборник. Знаю аз, что ты добрых дел и любви желатель! И ты знаешь сам и ведаешь, что я после отца своего остался четырех лет, осьми годов после матери. Родственники мои небрегли о мне, а сильные бояре и вельможи обо мне не радели, самовластные были. Сами себе саны и почести похищали моим именем, во многих корыстях, хищениях и обидах упражнялись. *Аз же яко глух и не слышах, и не имый во устах своих облачения, по молодости своей и по беспомощности!* А они властвовали!

Ближние ряды толпы, сначала с любопытством только слушавшие, стали уже волноваться, проникаясь огнем речи царской.

Иван продолжал:

— Думал я прежде мстить вам опалами и казнями. Теперь, егда смягчил, просветил Всесильный душу мою, егда сломил Царь Царей земную, тщетную гордыню мою, хочу, по завету Христову, простить и сим врагам моим, о чем и повещаю в сей миг всенародно, торжественно...

Но и самым прощением моим вины ваши всенародне сугубо обличаются!..

Не могли ранее, теперь, на двадцатом году возраста моего царского, видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправд бояр, наместников, ставленников моих, умыслил аз, грешный, по долгу своему государскому, всех в согласие и любовь привести, к совету отца владыки, бояр, князей верных и с помощью угодников святых московских и иных...

— По совету твоему, отче-господине, постановили мы собрать свое государство, наследие отцовское: ото всех городов всякого чина и звания людей для оповещения и совета всенародного, земского...

Остановился тут царь. Поклонился снова митрополиту. На все четыре стороны отдал народу поклон и снова заговорил, теперь уже громким, звучным, уверенным голосом, далеко разносившимся над несметной толпой.

— Люди Божии и нашему царскому величеству Госпо-

дом Богом дарованные! Молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Теперь нам былых всех ваших обид, разорений и налогов лихвенных исправить не можно. Случились они, все обиды ваши, по причине долгого несовершеннолетия моего, пустоты ребяческой и беспомощности. Один был среди стаи сильных разорителей государских!.. И потерпели вы по причине неправд, содеянных от бояр моих и властей, моим именем буйствовавших... по причине безрассудства неправедного, лихоимства и сребролюбия...

Напряжение народное дошло до высшей степени. Свершилось нечто небывалое не только на Руси — в целом мире, от сотворения его!

Те речи скорбные, которые по углам в опочивальнях, по хатам, на полатах знатные и простые люди шептали, те слова, за которые в застенках брали, языки резали или здесь, на Лобном месте, четвертовали, и вдруг эти же самые речи и слова с этого самого Лобного места произносятся вслух, всенародно, торжественно... самим царем. Не выдержала душа народная наплыва чувств, смятенных, бурных, где скорбь и восторг дивно перемешались и подымали к небу... уносили с грешной, печальной земли, юдоли плача и произвола насильников...

Не вынесла душа всенародная!

Рыдания, сдержанные, могучие, как рыдания моря в грозу, всколыхнули тысячи грудей народных... Словно земля вся, самые недра ее рыдать захотели и глухо вздымались, порывисто — и рыдания те сдерживали в бездонной своей глубине...

А царь, потрясенный, с лицом, влажным от слез, продолжал:

— Люди Божие и мои дети любезные! Молю вас! Оставьте, по Завету, простите друг другу вражды и тягости всяки, кроме разве очень великих покровов. Очень больших дел и убыточных. В этих делах и в новых всех — я сам буду вам, сколь оно возможно, судья и оборона. Буду неправды разорять всякие и похищенное насильниками, кто бы ни были, отбивать и возвращать. Да поможет нам Бог, по той правде, какую нынче мы сказали вам!

Снова поклонился и при рыданиях, криках и реве народном вернулся со всеми своими во дворец.

А там, назначая Адашева окольным боярином своим, несмотря на худородство этого любимца, Иван строго, внушительно произнес, чтобы все окружающие слышали и запомнили:

— Алексие! Взял я тебя из низших и самых незначущих людей!.. Слышал я о твоих добрых делах, в них осведомился — и теперь тебя милостию царской своей разыскал выше меры твоей, не тебя ради, но ради спасения и для помощи души моей, во гресех тонувшей.

Хотя твоего желания и нет на это, но аз тебя пожелал. И не одного тебя, но и других таких же, кто б печаль мою облегчил, жажду правды истинной, жгучую жажду мою утолил и на людей, врученных мне Богом, призрел бы без прельстительства лукава.

Тебе поручаю днесь: принимать челобитные от бедных, от избитых и разбирать их со тщанием. Не бойся сильных и славных, каковые не по заслугам своим, но похитили почести и губят насилем своим бедных и сирых и немощных. Не смотри и на ложные слезы бедного, когда на богатых клеветает, корысти ради, и ложными слезами оправдать себя ищет. Но все рассматривай внимательно и переноси к нам истину одну, боясь не гнева земных владык, но единого суда Божия неумытного!..

А в помощь свою избери судей правдивых от бояр и вельмож, кого сам пожелаешь.

Таким образом, Адашев явился посредником между народом и верховным владыкой земли.

Он же был и решитель всей внешней тогдашней московской политики, принимал и отправлял послов, конечно, тоже с помощью митрополита, хотя и не гласною. Впрочем, литовские послы прямо бывали на советах и совещаниях у Макария. Макарий же писал грамоты к ливонским бискупам и орденским командорам.

Другая речь Ивана прозвучала в том же 1550 году на соборе церковном, «Стоглавом», и вот ее слова:

— Отче митрополите и все святые отцы! Нельзя ни описать, ни языком человеческим выразить всего того, что совершил я злого по грехам юности моей. Допрежде всего явно смирял меня Господь Бог! Отнял у меня безвременно отца моего, а у вас пастыря и заступника. Бояре и вельможи, изъявляя вид, что мне доброхотствуют, а на самом деле доискиваясь самовластия, в помрачении ума своего дерзнули поднять руку на род царский, схватили и умертвили братьев родных отца моего, чтобы владеть мной, малолетним и беспомощным. Мало того, извели они же и мать мою, последнюю опору младенчества моего. По смерти матери моей бояре самовластно завладели царством. По моим грехам, сиротству и молодости, по злобе

боярской много людей сгибло в междоусобной брани, а я возрастал в небрежении, без наставлений... Навык и сам злокозненным обычаем боярским. И с того времени до сих пор сколько я согрешил перед Богом и сколько казней наслал на нас и на царство все Господь, то Он, Единый, знает!.. Мы не раз покушались отомстить боярам, врагам своим, но все безуспешно! И не понимал я, что Господь и от них наказывал меня великими казнями... А не сами бояре, волей своей!.. И не покаялся аз, но сам еще угнетал бедных христиан всяческим насилием и буйством.

Господь карал меня за грехи то потопом, то голодом, то мором, то *видениями грозными*... И все я не калялся!.. Наконец, Бог послал великие пожары. И вошел страх в душу мою и трепет в кости мои!.. Смирился дух мой... Умилился я и познал свои согрешения... Выпросил прощение у духовенства, у земли у всей... Дал прощение князьям и боярам. Теперь вас прошу докончить устройство царства и земли... Дать порядок душам православным, пастве Христовой!..

Вот чем отмечен был 1550 год от Рождества Христова, двенадцатый год царствования Иоанна IV.

Глава V

ГОД 7060-й (1552), 20 АПРЕЛЯ—2 ОКТЯБРЯ

Веселый, светлый весенний день сверкает лучами надо всей Москвой, над Кремлем, над двором государевым и над окрестными посадками.

Темные стены старинных церквей блестят под лучами, словно улыбкой озарены. Купола на солнце жаром горят. Но в новом дворце белокаменном государевом и в теремах государыни княгини — тоска и тревога царят, омрачая веселее, светлое настроение души.

Дурные вести от Казани пришли. Татары, агаряне неверные, совсем уж было присмирели, по-соседски, по-хорошему с Москвою жить стали, а теперь — опять замутились. Шах-Али, царя, Москвою татарам данного, из юрта выжили, другого себе ищут, из Ногайской орды зовут.

Этот новый татарский хан, сын царя астраханского Кассая — Эдигер, человек, Москве знакомый. Одно время он у молодого царя Ивана при дворе проживал, к русским порядкам приглядывался. Даже года два тому назад Казань воевать с русскими полками ходил. Может быть, дума про

трон казанский и тогда уж зрела у него? На лакомый этот кусок редкий из татарских князьков не зарился.

Совсем-то Казань в руках у Москвы была, да ужом-змеей выскользнула. А тут и Эдигер скользким угрем мимо русских сторожевых отрядов и станиц за Каму переправился, в Казань вошел, затворился, решил с Москвою воевать, старой вольности добыть царству Казанскому...

Да, совсем уж Казань было Москве в руки шла... И случай все испортил.

Шах-Али посидел там недолго на троне. Безвольный, но хитрый, сладострастный и бесстыдный, он был ненавидим своими подданными, князьями, узбеками, муллами... Словом, всеми... И держался на троне только при помощи сильного отряда стрельцов, данных ему от Москвы. Как раз такой это был царь казанский, какого могли только желать русские. Все он делал по воле Москвы. Смута росла и крепла в царстве. Лучшие, сильнейшие люди в ту же соседнюю Москву бежали. Здесь их принимали ласково, городами дарили и держали про запас, чтобы и на Шах-Али было кого выпустить, если тот зазнается... А с уходом лучших, сильнейших беков и узденей, все больше и больше слабел, грозный когда-то, юрт агарянский, Казань нечестивая. От деда и отца принял один завет Иван и с помощью старых советников умел выполнять этот завет отцовский и дедовский: смуту сеять в Казани, пока не пробьет час, чтобы совсем порушить царство, присоединить к шапке Мономаха и зубчатую корону казанскую... А время это словно бы и пришло.

Почти без бою можно было взять Казань на веки вечные, да случай помешал.

Дело так было попервоначалу сложилось, что лучше и желать нельзя...

Всю эту зиму князья казанские в Москву наезжали, на ставленого царя, на Шах-Али жалобились...

Седой важный старик, с зеленой чалмой на бритой голове, Нур-Али, коджа и князь казанский, Костров и Алемердин-мурза и много других с боярами и дьяками царскими долго толковали.

— Плохо нам жить стало от царя Шах-Али! — толкуют все они. — Уж и что он ни творит у нас в юрте — сказать нельзя! Нас убивает, грабит добро наше... Жен, дочерей в свой гарем силой берет... Сколько мурз и беков побито — не счесть... Все ради ихнего добра. Хозяина — убьет, дом — разорит! Пусть лучше государь, великий князь

уберет его... Нам какого ни на есть наместника даст... Все лучше будет. А если сам не захочет Шах-Али уйти, пусть только государь прикажет своим стрельцам на Москву вернуться. Наш хан без них часу в Казани не пробудет, бегом вон побежит. А мы станем с Москвой по правде жить... Вон у государя больше трехсот человек наших уланов, и мурзы, и князья есть... Пускай одного наместником нам посадит... И будем дружить с Москвой... И ясак дадим, и все порядки заведем, как государь велит... Только бы зверя-хана Шах-Али убрал!..

— Ведь вот недавно что только сделал этот изверг! — говорит старик Нур-Али и сам дрожит весь, седая борода трясется, на мутных глазах слезы выкатились.

Догадались бояре, про что поминает старик. Давно у них вести из Казани были о последнем злодействе Шах-Али, но, не моргнув глазом, дьяк Клобуков, который принимал гостей, спрашивает:

— А что случилось? Скажи, почтенный князь!

— Слушай... Скажу... скажу... Так этот проклятый хан закон нарушил, так нарушил, что не простит душе его милосердный Аллах... Гости он позвал... Понимаешь, гостей на пир позвал... Гость — святое дело! Что у вас, московов, то и у нас! Гость — милость Аллаха... А Шах-Али всех тех позвал, у кого близкого роду нет, а добра много... Или кто когда-нибудь про него, про хана, слово дурное сказал. А как не сказать? И про Бога милосердного, про Аллу, люди недовольное слово порой говорят... Так и про злого хана ругань идет... И созвал Шах-Али... Много... Почти восемьдесят князей, и беки, и мурзы, и уланы знатные... И под конец пира, когда упились те, всех зарезать, как баранов, велел!.. Всех... И мой там сын погиб!.. Кровью весь дворец был залит... На двор кровь пролилась, словно кровавый дождь прошел... А зверь глядел и кричал: «Так всем моим изменникам будет!..» И потом все добро убитых себе забрал!.. Не можем мы его больше терпеть. Если нет нашей силы — лучше вам, урусам, юрт сдадим, но его не желаем!.. Вот, Аллах свидетель! — клятвенно поднял худалую, дрожащую руку старик.

И все, тут же бывшие князья, тоже подхватили клятву:

— Аллах свидетель!..

И верят на Москве и не верят. Может быть, и правда, так уж все люди казанские затравлены, так измучены смутами, которые Москва же в Казани посеяла, что готовы

даже на подчинение своей соседке, лишь бы мирно пожить?..

А на всякий случай Иван все-таки дал знать в Казань, Шах-Али, что против него затевается... Если и прогонят его казанцы, все-таки он другом Москвы останется, вечным пугалом для юрта мусульманского, потому что все права на трон казанский имеет этот толстый, развратный, жестокий татарин... И в то же время знает он, что без Москвы — прав этих ему не осуществить никогда!..

Сам Алексей Адашев с князем Дмитрием Палецким и с большой приличной свитой поехали к царю. А тут же, вторым, негласным посольством, чтобы левая рука не знала подвигов правой, к земле Казанской, к ее бекам и мурзам, снарядилось и второе посольство ото всех живущих на Москве князей татарских. Послы оповестили казанцев, о чем говорили князья царю Ивану, и стали склонять народ поскорей Шах-Али свергнуть...

Все этот тотчас же стало известно толстому, ленивому на вид, но лукавому царю Шах-Али. Задумался он.

А Алексей Адашев мягко так советует:

— Сам видишь, светлый хан: плохи наши дела! Не удержаться тебе. Лукавы твои подданные. Сами к Москве просятся... Право, не удержаться тебе! Так уйди подбодру-поздорову. И нам помощи: все караулы и башни, ворота, входы и выходы в городе нам сдай. И скажи: «Ото всего, мол, отступаю! Русским вас крамольникам отдаю!..» И поезжай, по-старому, в свой Касимов-городок, там царствуй. А государь великий князь тебя много пожалует за то: и городами, и казной своей богатой!

Задумался Шах-Али. Быстро в голове у лукавого татарина разные мысли проносятся.

«Сдам, — думает, — им Казань, так мне сюда и возврату нет, и на Москве всю цену потерю. А так, если в борьбе царство им достанется, мое дело сторона. Да и я еще на что-нибудь пригожусь гяурам...»

И, пощипывая несколько редких волосков, заменяющих бороду на его оплывшем, женообразном лице, Шах-Али тягуче, медленно заговорил, плохо составляя русские обороты:

— Э-эх, Алеш! Харош ты башка, а понимать плоха мне можишь. Нилзя свой вера гяурам давать, хоть и кунак я с вам... Не можно мне мосельменский юрт рушить... Сами придете — бироте, харашо... А я ни магу!

— Что ж, значит, воевать будешь? И с нами, и со своими князьями да беками мятежными?

— И-и, нет! Храни мне Алла!.. Чиво война. Нечим мне война делать... Зарезить мне будут! Нилзя мне тут жить. В ваш Новый городок, на Свягу уйду! А тут пускай как хочут... А, толки, сам я мосельменский юрт не магу гяурам... Пусть сам, как хочут себе...

Уехали послы назад на Москву передать все Ивану, что от хана слышали. А в Казани остались только по-прежнему стрельцы московские, пищальники, в виде обороны хану, под начальством Ивана Черемисинова, сына боярского.

Немного спустя, 6 марта, царь Шах-Али привел в исполнение свой план.

Всегда в эту пору на охоту и на рыбную ловлю хан выезжал, в сопровождении блестящей свиты.

И теперь всех своих друзей и заведомых недругов пригласил лукавый азиат. Человек около ста знати татарской собралось из тех, кто в Казани проживал.

Стрельцы московские, охрана царя казанского от его же народа, так человек пятьсот, с пищальми, в полном боевом наряде, как всегда, за царем едут.

Мурзы и князья толпами, кучками, в пестром беспорядке, по дороге растянулись, рассыпались.

Вот и на место пришли. Целым станом над озером стали. Пора к делу приступить. Но что за чудо?..

Стрельцы стали какие-то движения делать, словно все место, где стан расположился, кольцом окружить хотят. Иные из беков да князей постарше, подгадливей, сразу вскочили на коня и прочь поскакали. Но остальные уж принялись за пиршество, которым всегда сопровождалась эта поездка. И не заметили, как были окружены, переловлены, повязаны. Появился и Шах-Али перед ними, трепещущими, бледными.

— Что же? Зарезать нас хочешь, как других? Режь скорей, кровопийца!— крикнул кто-то голосом, полным ненависти и отчаяния.

— Резать? Зачем резать? Вы все такие верные слуги мне! Правда, вы за чужим царем, за ногойцем посылали, убить, отравить меня собирались... жену мою на это подбивали. Предавали меня князю московскому... Просили, чтобы убрал он меня от вас. Вот я и еду в Москву. Только и вас с собой беру. Не поцарюете вы в Казани без меня!.. Предатели.

И, плюнув ближайшему, Ислам-беку, прямо в бороду,

он от сдержанной ярости пнул связанного князя концом своего остроносого сапога.

— Предатель ты!..— сквозь зубы прохрипел поруганный старик.

— Предатели!— как эхо отозвались Кебяк-князь и Аликей-Чурин-мурза, родичи Ислама, люди знатные, известные на Москве и потому не потерявшиеся даже в такую тяжелую минуту.

Эти князья сообразили, что если еще живы они, значит, Москва посоветовала и внушила хану поудержаться, крови напрасно не лить.

И они не ошиблись.

Поневоле сдержав свою холодную, непримиримую ярость, всех их Шах-Али с собою в Свяжск-городок привел.

В Свяжске пленники, все восемьдесят четыре человека, сейчас же были на волю отпущены.

Оно и понятно! Ведь эти же самые беки и посылали в Москву, призывая ее себе на помощь. И государю московскому беречь друзей, а не казнить их надо.

Самые лучшие, дружеские отношения быстро установились между русскими воеводами, стоявшими на Свяге, и новыми подданными великого князя, мурзами и беками, приведенными Шах-Али. Все они искренно желали ввести в городе власть Москвы. Только трое, которых недавно жестоко оскорбил ренегат Шах-Али, только Ислам-бек, Кебяк-князь и Аликей-Чурин-мурза не мирились с тем, что хан предал Юрт Казанский.

Шах-Али, чувявший вражду трех беков, предупреждал русских бояр. Но остальные князья вступились за собратьев.

— Не надо их ковать! Не надо на Москву посылать! Мы все за князей тех порука. Без крови Казань сдадим, ваших воевод посадим. Сами народу скажем, что надо Москве присягать, дань давать, полки для нее собирать!..

И немедленно завязали князья переговоры с казанцами, советуя им без боя сдаться на милость московского государя.

И воины, и простой народ казанский, видя, что лучшие люди перешли к Москве и заверяют их словом и делом, что так надо, согласились впустить в город и в крепость русский отряд, признать воевод русских и наместника в Казани, князя Семена Ивановича Микулинского.

У Волги встретили свияжских воевод послы казанские с князем Шамсеем и с царевичем Хан-Кильдеем во главе.

И друг Москвы, Бурнаш, и Чапкун — оба князя тут же.

Появилась наконец Сююн-бека, царица казанская, жена Шах-Али. Русские должны в юрт вступить, а она в Свияжск, к мужу отправляется. Неохота ехать. Знает Шах-Али об ее сношениях с его врагами. Да поневоле везут царицу к мужу.

А боярин Иван Черемисинов, тот уж, охраняемый двумя-тремя беками, и в самую Казань пробрался, там присягу от жителей по мечетям принимает: на служение государю великому князю московскому, Ивану Васильевичу.

Кудай-Кула, улан знатный, улусник большой, и муллы с ним казанские, и простой народ — все навстречу боярам спешат. Покорность изъявляют, милостей и казны выпрашивают...

И на радостях такой минуты никто не заметил, как отделились ото всех три князя, жестоко ханом обиженные: Ислам, Кебяк и Аликей-Чурин-мурза.

Мчатся, пригнувшись к самой луке своих высоких точных седел, а сами назад оглядываются — не замечено ли их бегство? Нет ли погони?

Но дорога пуста за всадниками. Только веселые крики и гомон от места встречи московов с казанцами до ушей беглецов ветром доносятся.

Вот и ворота Мурзалеевы. Кто их сторожит? Московские люди или своя еще стража стоит? Остановят, пожалуй, если стрельцы тут пропуск спросят...

Нет, слышен издали князьям говор родной, гортанный. Вон лук за спиной у стражника, стоящего на башне, вон убор головной, татарский, виднеется...

И, не умеряя ходу, вихрем влетели три князя под своды ворот, с криком:

— Аллах милосердный! Спасайся, кто может! Запирайте ворота! Гяуры идут всех вырезать в Казани!

Высыпавшие из башни сторожа поверили своим князьям, сейчас же стали запираť тяжелые ворота, поднимать мосты надо рвом, причем петли заскрипели, задребезжали ржавые блоки и цепи.

И дальше, от ворот к воротам, рассыпавшись в разные стороны, понеслись заговорщики, уверяя татар, что гяуры все им лгали. Им бы только в крепость войти, городом овладеть! А государь московский приказал всех мусульман вырезать, добро, и землю, и дома ихние своим слугам раздать... И только для отвода глаз казанцам мир и милость царская обещана...

Словно рой взбудораженных пчел, загудел, зашевелился

целый город. Кто только мог, все брались за оружие. Ворота крепостные запирались накрепко. Кроме Ивана Черемисинова со свитой, мало кто из русских и высочить успел...

И князья с ним ушли, кто посмирнее, мурзы татарские, которым уж война и разгром этот вечный надоело.

Навстречу торжественному шествию русских воинов дурные вести дошли...

Город потерял снова. Мятеж в Казани. Говорят, будто сам Шах-Али проболтался о плане русских: вырезать всех татар.

Ни увещания, ни угрозы не помогли! Казань, все царство татарское, уже без бою в руки попавшее Москве, снова ускользнуло от нее!

То, что можно было даром взять, теперь приходится кровью добывать.

Через месяц новые вести из Казани: новый царь восседает в Юрте Казанском... Эдигер, Эддин-Гирей, царевич астраханский... А он умеет драться. Иван видел его в делах.

И вот весной, когда природа просыпалась, людям веселье и мир несла, в Москве собирались нанести последний удар стротивому царству Казанскому, которое, словно бельмо на глазу, сотню лет торчало на крутом берегу Казанки-реки, у самой Волги, этого исконного торгового русского пути и на юг, и на Восток далекий.

Вот отчего грусть, словно тень, омрачает все лица во дворце великого князя и царя Ивана Боголюбивого, как его теперь народ и попы зовут за преданность церковным службам и молитве.

Кого грусть, а кого и забота одолевает во дворце.

Война предстоит тяжелая, дело нешуточное! Да и в неурочное время задумал ее вести царь. Весною начинать желает, когда пахать и сеять самая пора, а не в поход собираться.

Простым людям — сеять и пахать, а боярам, людям богатым и знатым — за челядью приглядывать, на круглый год запасы запасать.

Всегда, бывало, к осени или к поздней зиме подгонялись войны, когда у себя дома и делать нечего.

Правда, не совсем удачны бывали такие походы, особенно на Казань, куда не только надо много народу сбить, но приходится еще и запасов, снаряду, пушек наготовить, чтобы сильную осаду сразу повести.

Ну да, авось и вышло бы, сладилось бы дело без дальних снаряжений. Как отцы воевали, так и теперь можно.

Так нет! Словно учит кто царя молодого. Все он вины и промахи боярские повызнал прошлые, часто про них боярам и воеводам говорит, новых порядков требует. Когда сказали Ивану про новую измену казанскую, он словно бы даже доволен остался.

— Ну, ладно же! Теперь я с ними иначе поверну. Силы у них большой не осталось. Дела ихние мы знаем. Конец Юрту Казанскому! Не добром, так силом их возьмем.

Сказал, а потом задумался.

Так около месяца прошло.

Князья, мурзы татарские, какие только в руках у русских находились, все на замке сидят. И не могут они в свой город никаких вестей ни про что передать. А на Москве, видимо, к большому походу снаряжаются.

Апрельский, весенний, ясный день горит над Кремлем.

В столовой палате у царя Ивана Васильевича совет большой созван, суд да рада идет.

В большой горнице широкие лавки по стенам мягко устланы. Среди восседающих здесь московских бояр выделяются своим восточным нарядом и головными уборами на бритых головах два мусульманина: Юнус, царевич крымский, и астраханский царевич Тохтамыш. Они с младшим братом, Абдуллой, братья по отцу того самого Эддин-Гирея, против которого поход замышляется на Казань.

От разных матерей все три брата-царевича, и каждый питает надежду, если прогонят Эдигера, самому сесть на стол казанский, овладеть богатым юртом. Эту надежду еще поддерживают в каждом из них бояре московские, приставленные столько же для почету к азиатам-царевичам, сколько и для надзора за ними и для внушения тех именно мыслей, какие нужны Москве.

По виду полный почет, уважение и ласка окружают царевичей. На пирах и на советах великокняжеских место их ближе к царскому месту, сейчас за родным братом, за Юрием, за двоюродным, за Владимиром Андреевичем, да за дядей царевым, Глинским. Даже родичи царя по жене, Захарьины, с левой руки сидят, а царевичи неверные по правой усаживаются, да порой еще по-своему и с ногами на лавку заберутся, калачом ноги свернут и сидят. Недавно они на Русь припожаловали. Обычаев русских не усвоили себе.

Все в сборе были давно, когда Иван появился. Высокий,

стройный, пополнил он очень с той поры, как женился... как прежние свои буйные дела позабыл.

Только и есть, что с особой ревностью по церквам ходит, молится, или на охоту выезжает.

Сел Иван на свое место. Адашев стоит за плечом у царя. Вдруг за дверьми, ведущими в царские покои, голос младшего брата Юрия послышался с обычной входной молитвой:

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас!

— Амины! Входи, входи, Юра! Входи, брате-государе,— отозвался Иван и ласково поздоровался с вошедшим Юрием.

Болезненно-толстый, с одутловатым, бледным лицом, на котором слабо блестящие водянисто-голубые глаза, Юрий производил впечатление человека мягкого, но крайне недалекого, если не прямо придурковатого.

Усердно выполняя все, что от него требовал брат и близкие люди, он сам никогда и ни в чем не проявлял своей собственной воли.

Иван, по обычаю, оказывал Юрию все внешние признаки уважения, как своему единственному брату. Звал на пиры, на советы. Но на пирах Юрий только ел да пил жадно и громко хохотал на выходки шутов и скоморохов, вертевшихся тут же, между столами. Порой щипнет или ударит кого-нибудь из них, а сам хохочет, заливаясь, слыша, как тот воет от боли.

На советах Юрий сидел молча, громко, тяжело дышал, а то и просто сопел, попав сюда после сытной трапезы. Иногда засыпал, похрапывая, до той минуты, пока его не будили, объявляя, что время идти в свои покои. Чаще же всего, получив обычное оповещение, что «государь великий и братец на совет его просит, милостью своей жалует», Юрий, по научению ближнего боярина, отвечал:

— Благодарю на милости брата, государя моего великого. Недужен я нынче. Не способно мне на совет идти...

И оставался он у себя, проводя время в забавах со своими многочисленными шутами, дураками, карлами и учеными животными либо сидя с женой.

Сейчас Юрий явился на скучное дело, на совет царский не по своей воле.

Конечно, все заранее сюда пришедшие знали, о чем будет речь. Недаром свояк, шурин царский, боярин Данила Романович, брат царицы, в Свяжский новый городок с

большим отрядом послан, со служилыми людьми, со снаряженным разным воинским...

Войны с Казанью ждали и хотели на Москве. Сильный это враг, что говорить! Да «по зубам калач», как называют. Повозиться придется, но в победе нет сомнений.

Одно неприятно: упорно толкуют, что юный царь сам в поход собирается. Мало ему царской славы и выгоды, у воевод своих, у старейших бояр хочет славу и добычу отнять... А это многим не по сердцу. И вот на брата царева повлиять постарались, зная, как любит больного Юрия царь Иван.

Пришел Юрий, сел на свое место и слушает. Ему уж втолковали, что и когда делать надо.

С молитвой приступая к делу, царь первый заговорил:

— На Господа Бога, Вседержителя неба и земли, полагаем все надежды свои. Брат-осударь, Юрий, и Володимер, любезный брат мой, и вы, гости дорогие наши, царевичи, и все бояре, воеводы и советники наши! Слушайте, что скажу вам! По совету отца нашего и молитвенника, митрополита Макария всея Руси, и по вашему слову давно решено было: воевать Казанский супротивный Юрт, царство агарянское. Сколько терпели мы от них — Бог ведает. На него полагаюсь и на Пречистую Матерь Его, на Богородицу, и на великих чудотворцев московских. Господь-человеколюбец ведает то, что тайна для людей. И ничего я теперь иного не помышляю, ни славы воинской, ни прибытков излишних казне моей государской, но только требую покою христианского. А может ли быть тот покой, пока стоит царство Казанское? Никогда!..

— Никогда!.. Верно!.. — сразу отозвались голоса воевод и бояр помоложе, захваченных за живое первыми словами царя.

Только те, что постарше, — Никита, Ростовский-князь, Шуйские, Хованские, Бельские да Кубенские, кто из ихних тут был, промолчали, ждут, что-то дальше будет.

Конечно, перенесли наушники царю, что о нем бояре толкуют потихоньку, вот он громко им ответ на это дает. Есть теперь учителя у царя, помимо бояр и князей старинных. Вон Алешка Адашев за спиной, словно мамлюк стоит. Поп Сильвестр. Да и сам митрополит Макарий. Хоть и к сторонке он жмет, старый хитрец, а многие смекают, кто и попом Сильвестром, и наперсником Алешкой вертит. К чему только добираются они? Бог весть! Очевидно, к ослаблению боярскому, к умалению дружины и к прослав-

лению князя московского. Гнут, чтобы действительно только двое было хозяев: великий князь да патриарх, святитель всея Руси...

Смекают это старые бояре и воеводы и слушают молча, чутко ждут, что дальше будет.

А юный Иван, словно конь горячий, почуявший удар шпоры, после сочувственного говора своих молодых сподвижников, начал еще решительней, еще горячее:

— Прямые враги и злодеи Христа распятого — злые казанцы! Ни о чем не помышляют ином, только бы мучить православных рабов Церкви Христовой. Ругаются над святым именем Божиим... Церкви оскверняют, иереев муками лютыми жизни лишают. И на всей окраине московской, которая к Казани глядит, нет ни часу покойного от набегов этих агарян, измаильтян нечестивых! Договоров не знают и знать не хотят. Правды не ведают, слова клятвенного не держат... Так мсти же Ты им, Владыко. А я по пророку реку: не нам, не нам, но имени Твоему славу и одоление дай и ныне, и во веки веков! Амины!..

— Амины!.. — набожно отозвались все советники.

— Кто не знает кривды казанской? — продолжал царь. — Нужно ль их обиды и лжи пересказывать?..

— На что, государь? Сами все знаем! — отозвался Владимир Андреевич, нетерпеливо постукивая рукой по столу. — Ты, великий государь, как решил, говори!

— Ничего не решал я пока. Вместе решать будем. Посланы мною отряды на Свягу-реку. И вести по посадам и городам дадены, чтобы тут же к весне народ служилый собирался. Да без вашего присуждения делу не зачаться. Как скажете — быть ли войне с Казанью али не быть — так и станет!..

— Быть!.. Быть!.. Конечно!.. Война!.. Война!.. — кто громко, кто степенно, но решительно, сразу отозвались все на вопрос царя.

— Так и быти по сему!.. Пиши, дьяк! По воле Божией, с соизволения митрополичьего, по моему решению и по общему думскому приговору: война с Казанью порешена и объявлена.

Дьяк Клобуков, любимец царя и Адашева, застрочил по хартии гусиным скрипучим пером.

А царь дальше продолжал:

— А как война решена, я сам пойду с войском, с крестомною хоругвию всего православного воинства, с моим царским стягом и полком. Что на это скажете, дума моя

верная, князя и бояре, и все вы? Так ладно ли будет?— спрашивает Иван, но по тону вопроса слышно, что не ждет он возражений и не примет их.

Молодые и не думают спорить с таким решением царя. Старики воздерживаются от прямого ответа, не решаясь сказать ни да ни нет.

Настало небольшое молчание. В теплой, душной комнате, где собралось так много людей, воцарилась мертвая тишина, и только в окна палаты вместе с лучами ясного весеннего солнца врывались звуки неумолчного, веселого пасхального перезвона. Светлая неделя еще не отошла, и по всей Москве колокола с утра до вечера так и заливались, раскачиваемые усердием посадских людей и пришельцев деревенских. Гудели колокола и на главной кремлевской колокольне, на шатровидной звоннице Ивана Лествичника, на месте которой теперь возвышается Иван Великий.

— Что же молчите все? Или сказать даже нечего? Я совета прошу. В этом нельзя отказывать и постороннему кому, не то что государю своему...— очевидно начиная раздражаться, нервным, повышенным голосом заговорил Иван.

Как ни старались умирять юного царя его настоящие руководители — Макарий, Сильвестр и Адашев, но порою, против ожиданий, всплывало все дурное, заложенное от природы в Иване и навеянное ему во время боярского, бесправного правления.

Желая нарушить неловкость положения, тихо, но внятно заговорил князь Иван Михайлович Шуйский, боярин митрополитий, которого Макарий прислал от себя на военный совет. Самому владыке, как пастырю духовному, — не подобало толковать о пролитии крови, хотя бы и агарянской, магометанской крови неверных татар.

— Государь, великий князь! Не за себя скажу, а за господина моего, владыку, святителя всея Руси, за митрополита Московского. Просил ты у него пастырского благословения, и преподал он тебе его, государь, и будет молить Господа, чтобы послал Руси одоление над врагами. А с кем Господь — люди могут ли на того? Дерзай, государь, борони веру Христову, по заветам дедов и отцов твоих. Недавно же носишь ты имя заступника христиан и всей земли восточные... аки прежние владыки Рима да Византии.

— Конечно... конечно...— опять зашумели молодые. А старики все молчат. Наконец заговорил престарелый

почтенный боярин Вельяминов, «земский заступник» по прозванию.

Ему тоже не улыбалось отсутствие молодого царя из Москвы, хотя по причинам совсем иного свойства, чем те, какие были у других старейших бояр, честолюбцев-стяжателей.

— Я, государь,— ты знаешь, не воин, славы бранной не ищу... К земле прирос. У себя в вотчинах сижу. Только позову твоему на светлые очи твои и кажуся. О земле Русской я скажу. Так мне сдается: не след тебе землю сиротить. Словно заря над Русью засияла; твое царенье праведное с люда московского, с пахарей, и с гостей торговых, и со всех тяглых людей — словно вериги сняло. А уйдешь ты на войну, далек от нас станешь, снова лихие людишки земле кривить станут... Обиды, прижимки, лихоимство пойдут.

— Что-о-о?...— нахмурясь, протянул царь.— Так ты мыслишь, Ондрей Петрович; только пока на Москве я, на глазах у всех, потопь и правда в Русской земле стоит? Ну, не думаю. Народ знает, не на тот я свет уехал... В Казань будут ко мне вести доходить. И тут я землю не без головы оставлю...

Отцы и деды мои же из Москвы выезживали, местников своих здесь постанавливали... Кто ж мне помешает? А за глазами у меня пусть кто попытается душой покривить! Хуже еще кару понесет, чем если при мне бы что натворил..

И нешуточной угрозой загорелись глаза Ивана, которыми он обвел все собрание.

Очевидно, пылкая голова царя слишком сильно захвачена мыслью о предстоящем ратном подвиге. Его успели окончательно убедить в необходимости и прелести военных побед... И, предчувствуя все-таки возражения со стороны некоторых старинных недругов рода царского, великокняжеского, как называл Иван в душе самовластных первых вельмож-бояр, юноша волновался заранее, готовясь дать решительный отпор...

Видели, поняли это старые бояре. Вот почему они, обыкновенно такие речистые, теперь молчат, усы покусывают седые да бороды себе разглаживают широкие, серебряные, окладистые.

— Что же? Так и не скажет никто ничего? Не подаст нам своего совета?...— звенящим от волнения голосом переспросил царь.

— Знать бы прежде нам желалось, государь!— заговорил князь Никита Ростовский, пошептавшись со своими

соседями, все такими же первыми вельможами.— Плохо сведущи стали мы ноне... Многое помимо нас деется... Какая сила-возможность у нас воевать с Казанью? Запасу всего запасено ли? Да вот из той стороны, со Свияги реки, вести дурные доходят... Не одна Казань, а и вся сторона горная против нас идет-де... Из Крыма вести худые доносятся... Из Царьграда угрозой грозят... Как же царю Москву оставить? Ладно ли? Гляди, сотней тысяч ратников с Казанью не убраться, с одною. А поход во скорях, как слышно... Где столько люду собрать? Чем кормить, питать их? Где казны взять? Да и лето для пахарей и для нас пропадет, ежели с весны от сохи люди оторвутся... Так ли, боярин?— обратился Ростовский к Вельяминову.— Гляди, голодом без хлеба насидимся...

— Так, так, княже...— отозвался Вельяминов,— я и то же сказать хотел!

— Скоро сказка сказывается, дело вершится мешкотно, бояре... Начало похода теперь, весною, точно. А самое дело дай, Господи, и к осени начать. А то я видал уж: начнем апосля Петровок собираться, а под Казань к самой Масленой, к распутице придем... как в прошлом году. Мало тогда я слез пролил, мало горя принял, неудачу нашу видя? Нет, как говорю, так и будет. Не то что сто, полтораста тысяч воинов воздвигнется... Совсем сотрем главу змиеву! Что Крым, что Царьград, коли Бог за нас?! И пропитаться всем хватит! Свою казну, коли недостача будет, открою... Вон, я уж Володимиру Васильевичу сказывал... Хватит ли казны у нас, моей, родовой, не земской? Скажи, боярин?..

— На две войны хватит!— ответил с поклоном царю Головин, казначей Ивана, больше десяти лет умевший удержаться на своем опасном посту, пожилой, благообразный боярин, ученый не по времени, знакомый с латынью и с немецкой грамотой.

— Ну вот!.. Зачем тебе свое добро изводить, государь!— раздались протестующие голоса.

— Ничего! Мне — земля отдаст... новое мое царство Казанское... С него прибитки новые пойдут... Дающего рука — не оскудеет...

— Так чего же?.. Что же тут?! И мы своего не пожалеем!— слышались взволнованные отдельные голоса.

Старики все-таки молчали.

— А что горная сторона на нас — то пустое. Придет воинство наше светлое, поганцы-кочевники, лошадятники за нами, словно псы, пойдут. Видал я ихнюю отвагу.

— Сказывают,— опять заговорил Ростовский,— очень плохи порядки в тех полках, что на Свияге стоят... А мы и свежих людей туды посылать собираемся... И ждать войнам долго придется. А тамо и без того — болезнь на людях, хворь тяжкая. Больше народу сберется, пуще хворь разливаться учнет... цинга эта самая...

— На все воля Божия! Ведомо и мне обо всем, что на Свияге деется... Шурин мой там, сами знают... Данилушка. Он все отписывает мне... какие там беззакония творятся! Так ведь то — без меня... А я приеду — ничего не дозволю... Я — не боярин, сам хозяин земли! Свой глаз — алмаз... Сумею с воинами, с буями, поуправиться... Знают, чай, они: «Всяка душа владыкам предвладующим да повинуется! Никакая же бо владычества, еже не от Бога учинена есть!..» — произнес Иван.— Без меня и воины стали буи... И воеводы спорятся, о местах враждуют... А при мне не будет того. Куды кого захочу, и пошлю... Что еще не скажете ль?

— Братец... осударь,— заговорил Юрий, заметив знаки, которые делал ему тесть, князь Дмитрий Палецкий,— не уезжай лучше! Меня ты здесь, на Москве, оставишь, а я опасаюсь! Человек я нездоровый. Что случится... враги ли придут, смута ли земская? Как помочь, чем борониться?.. Я и не сумею!..

— Ну, брате-государе, не толкуй попусту! Не одного тебя оставляю... И полки тут будут, и люди ратные... Молод ты...

«Глуп»,— хотел прибавить Иван, но удержался ради бояр...

— Так, для совету, придам тебе людей верных... Вон тесть твой, князь Димитрий... Он свое дело знает. И Ростовский-князь с ним...— словно на выбор указал Иван на главных противников своим планам, облекая их новым доверием, новой почестью, и таким образом обезоруживая вельмож.— А там,— продолжал царь,— и еще добрых советников к ним придадим!

Лица стариков прояснились. Они уж явно сочувственно стали относиться к затее молодого царя.

— Что же, я готов тебе служить, государь!— отозвался Ростовский-князь.— Поезжай с Господом... Изведай еще удачи, добывая славы бранной!..

Словно бор дремучий под ветром затрепетал, зашептались, заговорили старики:

— Поезжай, царь!.. А лучше бы ты с нами остался,

надежа! Без хозяина — земля сирота! Оставайся лучше, царь! Молод ты. Побереги себя! — заменяя молчаливый протест искренней просьбой, заговорили первые, старейшие бояре.

— И не просите! Божья воля на то, чтобы я ехал! Царь — надежда для людей своих, знаю! А моя, царская надежда — Сам Господь Милосердый! Он пошлет мне одоление на супротивные! И не сиротой земля остается... Все я с нею же буду!.. И думой моей, и властью царской! Да и еду не в чужую землю, а в нашу же, соседскую... Хоть сейчас она не совсем русская, так ею станет! Мне и святитель Алексей являлся в видении сонном и то же поведал... — вдруг вдохновенно произнес Иван.

Всем еще больше стала ясна и понятна та уверенность, с какою говорил царь о походе, та решимость, какою дышало каждое слово, каждое движение юноши...

Смолкли на миг голоса, а потом рокотом пронеслось:

— Поезжай, княже-государе! Да будет воля твоя и Господня!

— Да будет тако! — громко, радостно подхватил Иван. — Пиши, дьяк!.. А теперя рассудить надо: как полки делить? Кому с какой рукой идти?.. Брате! — обратился он к Владимиру Андреевичу, князю Старицкому. — У тебя мои записи были. Покажь-ка их...

И в нетерпении Иван даже с места поднялся навстречу двоюродному брату, который подал ему принесенные с собой пергаментные столбчики-свертки.

Все было приподнялось тоже с мест. Но Иван нетерпеливо махнул рукой, и они опять уселись, зная, что порой непоседа-государь любит говорить стоя, особенно если волнуется.

По его знаку несколько боярских детей, из живущих при думе царской, чтобы с делами знакомиться, быстро придвинули к Ивану стоящий здесь же, в палате, большой глобус, дар германского императора.

Весь медный, на невысокой подставке, он был искусно выгравирован глубокой резьбой. Земли и моря, известные тогда, были изображены подробно и отчетливо. Слабее всего представлено было царство Московское. Но здесь нашелся искусник у митрополита Макария, который и пополнил, согласно местным сведениям, планам и картам, весь северный край Европы и восток ее, до Рифея, нанеся резцом русские города, поветы и поселки, а также и становья народов, смежных с Русью.

Твердой рукой, как бы выполняя заученный урок, стал водить Иван по глобусу, от города к городу и говорил, не глядя даже в список:

— На свое дело земское, великое, перво-наперво, на судах, на Свягу мы сильную подсобную рать пошлем. Ты, княже Александр, и ты, князь Петр Иванович, еще с другими боярами войско то поведете передовое! — обратился Иван к князьям Горбатову и Шуйскому. — Станете тамо зорко наше беречь, нас с достальными воеводами нашими и боярами, с головным войском дожидаясь, а пока горных, кочевых людей под нашу высокую руку приведете...

Оба боярина отвесили низкий поклон.

— Твои слуги, государь!..

— В нашем Царском полку — бояре наши ближние: князь Володимир Воротынский да Ваня Шереметев... В Сторожевом полку — боярину и воеводе, князю Василию Серебряному быть с московскими людьми да Семену Шереметеву... Далее слушайте! Московские люди из городов и посадов, все служилые со чадью со своею — к Мурому, сюды вот стекутся. Уж им знать дадено, вещуны посланы! Сеунчи поскакали. Новугороду Великому и иным дальним городам — всем людям ратным отселева собираться: Правой руки полку, с князьями Петром Щенятей да Андреем Курбским — прямо на Каширу да на Коломну, на «берег» земли Русской... Большому полку — идти с Мстиславским, с князем Иван Феодоровичем, и Воротынский при ем... Наряд большой, пушки стенобойные, запас свой царский и припасы все воинские — мы по воде, следом за князью Лександрой да за Петром Ивановичем пустим. А с тем нарядом главным и со всеми припасами и казною воинскою — тебе идти, боярин Михайло Яковлевич!.. Никому иному. Уж потрудися для земли! — обращаясь к маститому воеводе Морозову, сказал ласково Иван.

— Тебе ль просить, государь?! За честь и за память — спаси ты Господь, Христос милостивый, на многая лета! — с поклоном касаясь рукой земли, ответил довольный почетным и выгодным назначением боярин.

— Ну, и ладно! И клюшники мои — с моею, собинной казною и всеми припасами — с тобой же идут. Тебе их препоручаю... Все вы водой поплывете! А мы, как Бог часу дает, полем туды же пойдем... На случай, если кто из Крыму али с ногайской стороны припожалует... встречу дать бы!

— Да уж чуть зажурчала вода по оврагам — жди татарина, гостя незваного! Это — дело неминуемое! — отозвался

князь-боярин, родич царя, Михайло Васильевич Глинский, словно желая напомнить о себе. — А еще сказать, полем идти — надежнее. На воде — не привычны наши воины воевать. То ли дело в степи. Тут никто русскому не страшен.

— Знаю, знаю, что в степи безопаснее! — слегка хмурясь, проговорил Иван. — И ежели иду по такому пути, так не от страха, а земли своей ради! Чтобы земля спокойнее была! Да чтобы путь наш еще поспокойнее был, для опаски для всякой надо на Каму детей боярских с ратниками да со стрельцами и казаков береговых пустить... Вот по сему пути... Гляди, дядя Михайло! Тебе туды ехать приходится. Место бойкое. Никому, кроме тебя, и препоручить нельзя.

— Ничего, живет! И не по таким бойким местам хаживали — целы остались! Спасибо, государь, за память!.. — смягченный тонкой лестью Ивана, поклонился Глинский.

— Да с Вятки я тебе на подмогу воеводу Паука Заболоцкого на Каму дошлю. Придет он с устюжскими волостями да с селянами вяцкими... Они край знают, зело погодятся тебе! Да еще там Григорий Сукин у нас... Он под тобой же станет, сойдет с Вятчины... А ты, князь Михайло, гляди: как добудешься до места, по всем перевозам, по Каме да по Вятке, местных, городских детей боярских, служилых людей, стрельцов и казаков и вятчей поставь, чтобы на подмогу Казани — кочевников из степи не пущали...

— Вестимо, государь, не впервой!

— Ну, то-то ж! И на Свияге-реке, княже Лександра, — снова обращаясь к Горбатому, сказал Иван, — то же учини... От мира отрежь агарян нечестивых!..

— Исполню, государь, и безо всякой отмены!

— Знаю. Далею теперя. Левою руки полку воеводы два Димитрия-князя — Микулинский да Плещеев остаются. А там и мы подоспеем... И с нами Бог!..

— С нами Бог!.. — отозвались все, окончательно захваченные уверенным, горячим словом молодого царя.

В это время придверник подошел к Адашеву и что-то ему шепнул.

Адашев, вслед за царем давно подошедший к окну, где установили глобус, в свою очередь почтительно наклонился к Ивану и передал ему доклад придверника.

— А!.. От владыки, отца митрополита, отец наш духовный, батько Сильвестр... Путь идет...

И царь сделал несколько шагов навстречу посланнику Макария, своему духовнику и наставнику.

Как только вошедший протопоп Сильвестр выпрямился после обычного поклона царю, Иван подошел к нему под благословение, усадил духовника и тогда только спросил:

— Что принес нам, отче, от владыки-митрополита?

— По желанию твоему, государь, сыне мой духовный, всему люду ратному, московскому, что на Свияге-реке, паче чем в болестях, во гресех погряз, шлет владыко-перво-свяtitель, милостию Божию, послание свое архипастырское... Мыслит, очистят воины души ихние от скверны и Господь очистит от хвори телеса им грешные... Вот, вручаю тебе милость и слово архипастыря нашего.

И бережно, почтительно передал протопоп царю послание к войскам русским на Свияге, страдавшим от жестокой цинги и утопавшим в распутстве...

— Бог посылает тебя, отче! Слово святое — не иначе как в час добрый да у места! Только мы и поминали на-строение наше свияжское... Вот послушайте, князья и бояре, дума моя царская, что пишет владыко-митрополит нашему войску на Свиягу. Читай, дьяк!..

Передав сверток Клобукову, царь оперся локтем на подоконник окна, у которого теперь опустился на скамью и стал слушать со всеми вместе.

Монотонным, бесстрастным голосом начал читать Клобуков послание Макария.

Иван, знавший заранее содержание свитка, не зря приказал читать его при тех воеводах, которые отправлялись сейчас на подмогу свияжскому войску.

Переглянувшись с Адашевым, Иван не удержался, чтобы не сделать знака, мол: «Пусть слушают! Кошку-то бьют, а невестку приучивают: чище бы дело делала!»

Адашев, уловив мысль царя, ответил едва заметной мимолетной усмешкой.

А Клобуков читал:

— «Благословение преосвященного Макария, митрополита всея Руси, в новый Свияжский град. Духом Святым осененного, смиренного господина и сына нашего, благочестивого и христоролюбивого царя и великого князя Ивана Васильевича, государя и самодержца всея Руси — князьям его, и боярам, и воеводам, и детям боярским, и всем воинским людям, и всему христоименному народу!..

И подвигом крепким и упованием неуклонным ко Всемогущему Богу юного царя нашего, Ивана Боголюбивого, и по

благословению нашего смирения, молением всего святительского и священного чина и всего православного христианства — благоволит Бог созданы быть граду новому Свияжскому и в нем святым Божиим церквам...» — однообразно, безучастным голосом читает дьяк.

Иван рассеянно слушает. Он заранее знает, что дальше. И, глядя в окно, которое юноша даже распахнул, так как в горнице стало слишком душно, он всею молодой, широкой грудью вдыхает весенний свежий воздух, думает о предстоящем походе... Все так хорошо уладили и расписали ему его теперешние советники. Вон какие строптивые, седые бороды сидят в думе, а не нашли, что возразить! И война кажется ему такой блестящей, легкой, заманчивой... Вот как он читал про походы Александра в Азию...

Правда, два похода под Казань неудачны были. Да сами виноваты. Уходить восвояси приходилось, врага не повидав! А и то агаряне сколько трусили!

Так ныне не то еще их ждет!.. Поражение грозит окончательное... Клобуков между тем продолжает читать, как бы отвечая на думы царя:

— «И дарова Господь Бог благочестивому царю нашему и всему его христолюбивому воинству светлую, без крови победу на вся сопротивные: Казанское царство покорися и на всю волю влася государю благочестивому царю нашему...»

«Да, в руках было, да сплыло! — думает царь. — Не умели добычу удержать бояре старые, жадные, перекорливые!.. Теперь сам промысли о Казани. Не верну, коли в руки ее не схвачу!..»

— «И казанский царь и царица в руке его предавшись, — продолжает звучать голос дьяка, будя жгучие, дразнящие душу Ивана воспоминания, — и крепкая их опора, крымские князи и уланы (улусники) и мурзы пленены быша. И благочестивый государь завоеванный град Казань и со всеми улусы вручил своему царю Шах-Али. А горная Черемиса вся покоришася и приложися ко новому Свияжскому городу. И тьмочисленное множество христиан, мужей и жен, юнош и девиц, и младенцев из поганных рук, из плену возвращахуся восвояси. Крымский же царь, и ногайские князи, и многие орды, и литовские короли, и немецкие с мировыми грамотами и с честными дарами свои посланники к нашему государю присылаху!.. И вси концы земли устрашались. И от многих стран цари и царицы, и казанские князи и мурзы, и сеиты, и уланы, и вси чиновные люди, сами, своею

волею, служить к нашему благочестивому царю придоша!..»

Читает дьяк этот урок родной, современной им истории сидящим здесь бородатым и седым ученикам, умеющим только глядеть — и не видеть, слышать — и не разуместь! А юный кормчий огромного, но неулаженного корабля не слушает речей митрополита, передаваемых бесстрастным голосом дьяка. Иван весь в будущем... Недаром предсказание было, что Москва третьим Римом станет... вечным, нетленным Римом, где установится навеки престол Божий, алтарь веры христианской... Вот он, Иван, разгромит Казань. А там — Астрахань и Крым на череду. А там и Царьград недалече. Вешали же предки Ивана свой щит на воротах этого города. Византия не слабей тогда была, чем турки ныне, а у Ивана воинов поболее, чем у Святослава. Кто знает? Вон друзья его — Макарий, Сильвестр и Адашев Алеша — говорят: «Живи хорошо, слушай нас, великим царем будешь!..»

Хоть и не любит он подчиняться, но ради будущего величия отчего не потерпеть, отчего искуса не перенести?

Он все испытает, всему сам научится, славы царской и ратной добудет, и тогда...

О, тогда и сам митрополит его должен будет послушать!..

А Клобуков, кончив перечислять светлые картины, дарованные Богом, пока войско было чисто и набожно, перешел к иным картинам, к тому, что сейчас в войсках на Свияге творится.

«О, чада! — взывал пастырь. — Откуда посрамится мудрования разума вашего? Забыли вы подвиги бранные ради страстей земных! Оле, произволение злое! Сотворил ны Бог по образу своему и подобию. Но, помрачившись, по плоти ходите, а не по духу! Закону Божию не повинуетесь. Женам угодие творяще, бритву накладующе на браны свои! Забыли страх Божий и совесть свою попрали, иже православным не подобает того творити, понеже сие — дело латинские ереси и чуждо христианского обычая. Блудлюбие то есть и поругание образу Божию. И сие безумием своим и законы преступая, бессрамно и бесстыдно блуд содевающе с малыми юношами, содомское, злое, скаредное и богомерзкое дело...»

Слушают и краснеют многие из сидящих. Не столько от негодования, сколько чувствуя, что удар и в них попал по дороге.

«Наипаче ж не промолчу безумия их! — все усиливает

обвинения свои пастырь. — Еже не престают Бога оскорблять, оскорбляя и растлевая своих же собратьев, пленников, из рук агарян освобожденных, не щадя ни отроков, и благообразных жен, ни добрых девиц!..

Аще ли кто из вас забыл страх Божий и заповедь царскую и не учнут каяться, отныне и впредь учнут бороды брить или обсекать, или усы подстригати, или скверные в содомские грехи со отроки падати или учнут с женами и девицами в прелюбодейство и в блуд впадати, и потом обличены будут, тем всем быти от благочестивого государя в великой опале, а от нашего смирения и ото всех священных соборов — отлучены быти. И сего ради писах, ища пользы вашим единокровным бессмертным душам по Господней заповеди!.. И вы бы, все благочестивое воинство царя Ивана Боголюбивого отныне и впредь потщалися вся сия исполнити, елика ваша сила-возможность».

Затем в более мягком, примирительном тоне кончал свои обличения пастырь...

Вот и «Аминь»... И дочитывает говорком дьяк:

«Дано на Москве, лето 7060... месяц... число»...

А царь Иван перенесся думой к тем дням и годам, когда он сам грешил, как все эти ратники там, на Свяге! Но он одумался, исправился... Он!.. Царь!.. А им, рабам, и сходить не след с пути истинного! Темные души ихние и при полном благочестии едва ли спасены будут... Но он их охранит... Не одними посланиями, нет, а мерами более крутыми...

— Слышали, бояре, слова владыки нашего, отца Макария? А я еще говорю: грозна будет опала моя на ослушников, на содомлян и блудников окаянных! Слушай, князь! — обратился царь к Горбатову: — И ты, Петр Иванович! Прибудете на Свягу — зорко блюдите! Не станут пастырского слова слушать, — смерд ли, боярин ли, — в тот же миг, без долгих речей — на виселицу... Для острастки... Двух-трех покараем — тысячи спасем! — добавил Иван, заметя, как словно облако нашло на всех после его резкого слова, после приказа вешать всех!..

— Исполню, государь! — отозвался Горбатый.

— Все будет по-твоему! — поддержал Шуйский.

— Ну а сверх того — мы здесь, как со владыкой советовано, образа подыдем, мощи святителей... В соборной церкви Успенья Пресвятой Богоматери, Заступницы нашей молебны отслужим с водосвятием... И ту воду, вместе с посланием преосвященного, протопоп Тимофей архан-

гельский к войскам повезет. Милость Божия отвратит мор и беду!

— Весна близко... Кормы переменятся — тоже на пользу станет! — проговорил князь Ростовский.

— И то... А мы еще из нашего двора лекаря пошлем с вами, воеводы. Есть у меня один из гданских немчинов. Он по этой цинге, сказывают, горазд лечить. Пусть зелья с собой берет какого надо. Прикажи, Володимир Васильич!

— Слушаю, государь! — отозвался казначей Головин.

— Теперя, бояре и воеводы, главное мы порешили. А все остальное сами думайте да стоваривайтесь, как быть. На чем сладитесь — я мешать не стану... Ступайте пока со Христом... Мир вам!

Поклонившись всем, а к Сильвестру снова подойдя под благословение, Иван вышел из покоя в сопровождении рынд и Адашева.

Долго еще не расходились, словно пчелы, шумя и волнуясь, бояре. Толковали о предстоящем походе, обсуждали сроки и подробности разные. А царь, отпустив Адашева, прошел в светлицу к жене Анастасии.

Держа годовалую царевну Марью на руках, сидит она, чутко слушает, не пошлышатся ли быстрые, знакомые шаги в соседней горнице. Не идет ли супруг-государь, которого так любит тихая, кроткая царица!

Окруженная боярынями и ближними прислужницами, которые всячески старались разговорить озабоченную госпожу, Анастасия почти не слышит, что поют и говорят ей.

Недавно, перед появлением в совете, заходил к царице отец протопоп Сильвестр — укрепить и подготовить молодую женщину к предстоящей разлуке с горячо любимым мужем. Такая подготовка была тем нужнее, что не совсем окрепла царица после родов, а теперь опять была тяжела.

Всею душою подлюбила и чтить начала Сильвестра Анастасия с той поры, как протопоп сумел царя от греха отвратить, утешить, вернуть на путь добродетели. Суровый, властный тон наставника не коробил даже ушей щекотливого Ивана. Протопоп личным примером, бескорыстием и чистотой жизни подкреплял свои поучения. А помимо того словно счастье слетело на Ивана, на царство его, на Москву с появлением на горизонте Сильвестра и Адашева. Случайно или нет — но одни добрые вести только и стали отовсюду доходить до ушей царя. Даже неудачи, как последняя с Казанью, были представлены юноше-государю в таком

свете, что он быстро утешился и в нем окрепла надежда на блестящее вознаграждение в уроне.

Особенно ярко сказалось умелое хозяйничанье Адашева в приросте казны государевой. Наживался тот сам, нет ли — дело темное. Но одно очевидно: никому не позволял он хитить доходов земли, как то раньше бывало. Он не запускать податей ни за съемщиками земель царских, ни за городами, ни за торговыми людьми, порою налагая на них и твердо требуя еще новые пошлины. Кряхтели богатые люди, гости торговые, но платили. Слишком выгодна была для иностранцев торговля в Московии богатой всеми дарами природы, но бедной художествами и мастерством.

Так успешна была в этом направлении деятельность Адашева, что казначей Головин по совести мог сказать царю: «На две войны денег хватит!..»

И Адашева уважала за его полезную службу Анастасия, но как-то робела, стеснялась его. Тем более что порой ее смущали невольно смелые, жгучие взоры спальника царского, по должности своей причастного к самым интимным, затаенным сторонам жизни Ивана и жены его.

С Сильвестром — иное дело. Старик он, отец духовный царя, священнослужитель... И грубость протопопа Анастасия предпочитала мягкой, упоительной, опасной вкрадчивости и почтительно-смелому, братски ласковому обращению с ней Адашева.

Сейчас протопоп подготовил царицу к близкой разлуке с мужем, убедив встревоженную, напуганную царицу, что это необходимо и для земли, и для самого государя. Дело де предстоит нетрудное, но славное.

И тогда, вернувшись с венцом победителя, юный государь сможет укрепить род свой, как надо, успеет ввести новые порядки, которые будут на благо трону и людям земским. А ведь в этих людях только и кроется сила царева, потому что вельможи, дружинники бывшие, князья Рюриковичи и иные, раньше считавшие себя равными великим князьям московским, теперь едва мирятся с новыми порядками, с царским самодержавием...

Целое поучение государственное прочел старик царице. Мало она его слова поняла, кроме самого главного: Ване, любимому царю-государю, и детям ихним — дочке Маше и будущим всем — необходимо, чтобы теперь царь на войну шел. Сам Бог даже хочет того.

И скрепя сердце решила покориться Анастасия. Вот почему, едва ушел Сильвестр, неподвижно села и сидит ца-

рица, прижав к себе играющую на коленях у матери царевну-малютку, и слушает, не звучат ли знакомые, милые шаги в соседней горнице.

Вот донесся шум от переходов. По каменной лестнице, ведущей из столовой палаты в терем царицы, слышно: идут... Это он...

— Ступайте, милые! — отпустила Анастасия всех своих приближенных. — Машуту мне оставь; мамушка! — обронила она женщине, хотевшей взять царевну Марию, которая родилась вскоре по смерти первой дочери, Аннушки.

Все с поклоном ушли.

Царица, прижав малютку к груди, вся трепеща, стоит, глаз не сводит с двери. Вот распахнулась она, тяжелая, обитая сукном... Быстро вошел Иван.

Впившись взором в лицо мужа, царица хотела было спросить:

«Как решено? Сам едешь на войну?..»

Но удержалась по обычной скромности, не позволяющей жене допрашивать мужа о деле великом, да и от страха какого-то, смешанного с надеждой.

«Быть может, уговорили царя? Не сам поедет, воевод своих лучших пошлет...» — подумалось ей.

Вот почему, приняв поцелуй от мужа и ответив ему горячим, долгим поцелуем, ничего не спросила Анастасия, ждала: что сам скажет царь?

— Поджидала меня, видно? — заговорил он ласково. — Всех, гляди, выслала... Мышонка белого одного и оставила при себе!..

И, взяв от жены малютку-дочь, он нежно улыбнулся, светлой улыбкой ответила малютка, глядела на отца, словно чуяла, что видит его в последний раз, что умрет до его возвращения...

— Гляди, братца ей теперь даруй, да без промашки! И то стыд, что не первенец престолу наследник у нас, а дочь! — лаская хрупкое тельце, пошутил Иван. — Гляди же, не огорчай меня, Настя! Да не соромься, рукавом не закрывайся, словно девица красная!.. Дело законное, дело Божие! Вся земля теперь ждать станет да Бога молить... Гляди же! — С шутиливой угрозой погрозил он пальцем жене. — Что делала без меня?

Царица рассказала, как провела в хлопотах и в заботах по дому все утро, как потом оделяла своих странниц и убогих, как с дочкой хлопотала, как сидела с ближними боя-

рами, царя поджидала. Словом, описала всю несложную жизнь, какую тогда вели и знатные, и простые, и богатые, и бедные московские и вообще все русские женщины.

Иван слушал вполуха, занятый своими мыслями.

— Да, вот еще от крестных отцов нашей Машеньки, от старцев блаженных Андриана и Геннадия Сирорайского посланцем монашек приходил, памятку принес: просфору да срачицу освященную... на охрану дитяти, на здоровье. Я уж и одела сорочечку ей... И послала им на ответ, что собрала под рукой.

— Ладно, хорошо, милая...

Вдруг, встрепенувшись, он снова поцеловал жену, для чего одной рукой привлек ее к своей широкой груди и почти усадил на одно колено, так как на другом сидела и хозяйничала дочка, трепля жемчужные кисти кафтана царского.

Анастасия, словно потрясенная лаской, прижалась головой к плечу мужа и вдруг тихо заплакала.

— Что ты, что ты, милая? Пожди, побереги слезы-то. Уезжать буду — напричитаешься, наплачешься еще!

— Уезжаешь? Так это решено?! Так ли, милый?..

— Да, уж сказал «так», не перетакивать статьи! Не сейчас еще. Ты не полошись больно. Месяца полтора-два побудем ошшо вместе, повеселимся... А тамо сдам тебя на охрану Пречистой Деве, Матери Господа нашего Иисуса Христа и всех святых угодников... И под защиту святителя, отца митрополита... А сам измаильтян неверных поборать поеду... Да будет, не плачь! Слушай! Трудно много придется принять... а бояться нечего. Стеснили мы так агарян, что и податься им некуда. Особенно новым Свяжским городком... Теперя живьем их руками переловим! Не больно храбры татаровья, коли Русь выходит на их. Да и будет нас раз в пяток более, чем их. Шутка, а не война! А хоть бы и привел Бог пострадать за веру Христову, ты радуйся: венец приму я и чин ангельский! И ты без меня тут не печалься! Чаше в церкви Божии ходи, молись за мое спасение, сирых, бедных одеяй. Ежели на кого и опалился я гневом моим царским, ты милости добудь тому человеку... Любить тебя станут! Узников освобождай, опальных... За твою кротость и меня Господь Благой помилует... Вот, перестала плакать — и умница... и лад...

Но вдруг Иван прервал поток своих речей, которые любил рассыпать при всяком удобном случае.

Правда, царица перестала всхлипывать, но вся стала какая-то грузная и, мягко скользнув, чуть не свалилась

с колен мужа прямо на сукно, покрывающее пол. Едва Иван успел поддержать ее своими сильными руками, для чего пришлось почти сбросить на кресло с колен малютку Машу.

Та, напуганная резким движением отца, громко заплакала.

— Господи, сомлела!— догадался царь, увидя мертвенно-бледное лицо жены, и стал громко звать:— Эй, кто там?! Сюды скорее!..

Раньше всех вбежал Адашев, проводивший царя до самых дверей покоя и сидевший начетку в соседней горнице. За ним набежали няньки, мамки, ближние боярыни и ключницы царицыны.

Анастасия стала приходить в себя.

Оглядевшись мутными глазами, вспомнив, в чем дело, царица залилась слезами и еле проговорила:

— Царь-осударь!.. Не уезжай, не покидай меня!.. Знаешь сам: не праздна я... Как без тебя буду?.. Повремени хотя!

— Ну, ну, успокойся!..— сказал Иван.— И царство земное царям за подвиги их укрепляется, и царство небесное, вечное, открыто лишь тем, кто за истинную веру христианскую стоит. И в Писании сказано: «Ни око не виде, ни ухо не слыша, ни на сердце человеку не взыде, яже уготовал Бог любящим Его и святыя заповеди хранящим!» Чего же нам страшиться?.. Чего слезы льешь? Грех, жено!

При людях и царица ввела в берега бурный поток своей скорби и, по принятому обычаю, нараспев заголосила:

— Царь-осударь! Благочестив ты и многодоблестен! Заповеди хранишь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Хочешь душу свою положить за православную веру, за верных христиан... Но мне-то каково?— прерывая горючими рыданиями размеренную речь, воскликнула Анастасия.— Как стерплю отшествие супруга-осударя своего? Чем грусть-тоску утолю? Кто мне будет добрые вести давать о милостях Божиих, что почивют на благочестивом осударе? Кто порукой, что Руси самодержец с его воинством одолеет врага и на свое царство вернется?.. Боже Милосердый, Боже Всемогущий!— упав перед киотом, стала молить царица.— Услышь слезы и рыдания рабы своей... Дай ми услышати и осударя здрава, славного, по милости Твоей, увидети!.. Не помяни, Владыко, многих грехов наших! Помогни нам и Ты, Царица Небесная, Пречистая Богородица!.. И Ты муки ведала... Взглянься на муку мою великую! Да подаст

Господь царю над супостатом победу и здрава мне его вороти!..

Утопая в слезах, ниц припала царица пред киотом в углу.

Иван, сам глубоко растроганный, кинув еще несколько слов жене, вышел, чтобы при бабах не выдать своей грусти и слез, непристойной слабости, не подобающей царю.

Адашев, выждав, когда царь скрылся за дверью, подошел к царице.

— Государыня, слушай, что скажу!— твердо проговорил он, осторожно касаясь ее плеча.— Вот, святой крест порукой! Жив и цел вернется к тебе государь, или и меня ты в живых не увидишь! И не один я, тысячи за него жизнь отдадут! Не тоскуй, государыня... весела будь! Царевича-наследника нам подари. А мы тебе царя вернем.

Ободренная, укрепленная против воли твердым, уверенным тоном речей Адашева, Анастасия подняла голову и хотела было что-то сказать, как-нибудь поблагодарить постельничего, но тот, отвесив земной поклон царице, поторопился и ушел вслед за царем.

Как говорил Иван, так и вышло, словно по писаному. Через два месяца без малого, 16 июня, сел государь-полководец на коня и со всеми воеводами, с Шах-Али, вызванным из Касимова, выступил в поход, через село Коломенское на Остров-сельцо, где первая ночевка назначена. Неспроста поторопился царь. Вести смутные стали доходить, что хан крымский доведася, будто все силы русские уж под Казанью, и выступил в поход, большое войско на московскую окраину, на «берег» государства повел.

Только стали в селе Острове, на ночь Ивану шатер раскинули, а гонец от «берегового» воеводы, от Айдары Волжина Ивашко Стрелец, станишник путивльский, уж тут как тут:

— Крымцы и хан со своим царевичем Донец Северный перешли.

Усмехнулся Иван, говорит Шах-Али:

— Вот, брате-государе, советовал ты нам до осени не трогаться. Казань-де в лесах и озерах, в топях и блатых ржавых, непроходимых лежит... Только ее зимой и брать. И говорил еще: надо иных врагов летом ждать, на Русь приходящих. А мы раней срядились, глядишь: раней и с недругом сразились. Не он нас, мы его стоим да ждем к бою прямому: кому Господь счастье пошлет? Я так и хану крым-

скому сказать велю. Вот и умный ты советчик, Шах-Али, а не по-твоему, по-моему лучше...

Засопел толстый, трусливый, но хитрый татарин.

— Э-эх, царь-осударь! И у вас, и у нас говорится: на старуху проруха бывает. А ваша, русских государей, перед татарами правда, всем ведома, как солнце в тучах светит! Аллах тебе на помощь, осударь, а меня за плохой совет не осуди. Я тебе еще пригожуся!

— Знаю, брате-государе! Затем тебя и в поход звал с собой...

И немедленно послал разведчиков царь навстречу крымцам, полки отрядил... А царя Шах-Али — с нарядом, с пушками и запасами военными — по Волге поскорей к Свияге послал, где тот должен был привлечь горных князьков на русскую сторону, от Казани их переманить.

Не думал сначала Иван Владимира Андреевича, брата двоюродного, на войну брать, хотел в Москве его на свое место оставить. Но тут порешил, что вместе они дальше на Коломну пойдут. А против крымцев наспех двинулись полки, всего пятнадцать тысяч человек, с князьями Петром Щенятевым и Андреем Курбским во главе.

Пока царь у Коломны поле будущей битвы с крымчаками осматривал, войска ободрял, враги Тулу обложили. Подбежал ихний передовой отряд, тысяч семь человек, увидели татары, что туляки беззащитны, и следом за ними появился сам хан Девлет-Гирей, стал город ядрами калеными жечь, к сдаче вынуждать. Узнав, что он обманут, что Иван за Коломной, а не под стенами Казани, хан хотел вовсе вернуться с похода домой. Да свои князья его пристыдили:

— Вот, пошли ни по што, вернулись ни с чем! Нападем хоть на дальний город гяуров, на Тулу. В стороне она стоит, за лесами, за полями... Не успеет к ней великий князь на выручку, хоть чем-нибудь да поживимся.

Но и тут неудача ждала татар.

Еще раньше Курбского со Щенятевым на выручку тулякам 23 июня подоспели князь Михайло Репнин с Прони-реки и воевода Федор Салтыков с Михайлова городища. Они отбросили татар при помощи тульского воеводы, князя Григория Темкина, который ободрился при виде своих и смелую вылазку из города произвел.

Тяжкий урон потерпел Девлет-Гирей и пустился наутек. А на другой день, 24 июня, подоспели Курбский и Щенятев и у Шиворони довершили поражение татар.

В этой битве Курбский был впервые ранен и в милость

большую к юному царю попал за это... Много военной добычи, и верблюдов, и пленных досталось русским.

Дальше все без особой помехи пошло.

Огромное войско, до сих пор двигавшееся стройно, как на смотру, было под Коломной разделено на два отряда.

С царем через Владимир и Муром должны московские ратники, бояре, жильцы посадские и лучшие дети боярские идти, а также, главным образом, стройные полки новгородские. Других воевод еще раньше государь через Рязань и Мещеру на Алатырь послал. Там сборный пункт. И те полки самого царя от неожиданных нападений со стороны степей оборонять должны.

2 июля, когда уж двинуться государю вперед надо было, друг донесли ему:

— Новгородцы замутились. В поход выступать не хотят.

Поблудил царь от взрыва давно забытой ярости, даже повело его, словно бересту на огне. Потом пятнами лицо пошло.

— Сызнова эти новгородцы проклятые... Мало они мне горя чинили? Рубить, стрелять велю мятежников! — вскричал ошеломленный Иван, чувствуя, что все планы, так хорошо задуманные и начавшие сбываться, могут рухнуть по милости этих вечных врагов и злодеев его, этой вольницы новгородской...

Царь готов был сейчас же привести в исполнение свой первый порыв, к чему бы то ни привело.

Но Адашев, бывший постоянно при царе, мягко заметил:

— А с кем же, государь, под Казань пойдешь? Все войска далеко ушли. Назад их ворочать, весь порядок надо переиначивать, значит, и все дело порушить.

Зубами заскрипел Иван, а молчит, понял, что правду сказал Адашев. Вздохнул, словно стон издал всей грудью, и наконец спросил:

— Что же делать?

— Жадны новгородцы. Спроси их: в чем ихние жалобы? Отчего не идут? Да пообещай льготы да награды... Обмякнут, гляди!

— Правда твоя. Надо попытаться. Не время теперь силу-власть свою показывать, сам вижу... Чего им, собакам? — обратился царь к боярину, доложившему о мятеже новгородцев.

— Да они только толкуют: служба-де не под силу! Сколько походом шли, обносились, издержались... Здеся сколько в Коломне стояли, харчились, расходовались.

Казань повоевать два бы раза успели, мол, и домой вернуться, кабы прямо на нее шли. В боях с крымчаками и то пришлось-де им крови сколько своей пролить... А дележ-де неравный. Царским войскам и воеводам супротив вольных дружин чуть не вдвое! И опять идти на траты да на изъян они не согласны-де! Да мало ль чего болтают!..

И боярин запнулся.

— Все говори!

— Да бают: не для земли тяготу приходится принимать, а для славы царевой, для величания Москвы и князя московского великого же... Так им не надобно...

— У! гады ядовитые... Раздавил бы их!

— Государь!

— Ладно, ладно, Алеша!.. Не ворчи! Сказал: потерплю... авось когда-либо еще сочтемся... А теперь... теперь, как думаешь? А, Алеша? Что им, собакам? Какую кость кидать?

— Да что, государь... Думается, как на Москве толковали мы, так и сделай... Переписать всех вели, кто за тобой пойдет, да пообещай на свой кошт их взять, как только под Казань дойдем Божиею милостью...

— Слышал, боярин? Ступай и объяви им так, этим лизоблюдам, земли своей предателям и погубителям, иудам окаянным!.. — срывая в проклятиях сердце, приказал Иван.

Средство повлиало. Все почти бунтующие снова сошлись в ряды и последовали за царем, как только узнали, что им пообещано.

И сколько потом ни косилось на них остальное войско, называя «дармоедами, прихлебателями», новгородцы шлеяга своего не потратили больше на этой войне, все шло им из царской казны, из Ивановой.

Не медля ни минуты, двинулся царский отряд в поход. Не малое расстояние приходилось пробираться сухим путем, по неизвестной местности, где порой нельзя было и припасов купить для людей, а приходилось охотой и рыбной ловлей жить. Но в двадцать два дня — делано верст было до двадцати пяти ежедневно — совершили русские свой путь...

Медленно и неотразимо надвигалась грозная туча на Казань с московской стороны... И все окрестные, горные и кочевые, племена зашатались, словно спелые колосья под грозой... То и дело являлись князьки, и сеиды, и мурзы городецкие, темниковские, черемисские и мордовские: с победой над крымцами царя Ивана поздравляли, верность свою обещали и помощь против Казани. Дав-

но известно: татарину кто больше дал, тот его и брал! Ему «теньга брат родной, а пожива матушка»!..

Все горные племена отошли от Казани, к свияжским воеводам с повинной явились...

Наконец и царь до Свияги дошел. За две версты вышли воеводы встречать Ивана.

В сверкающем вооружении, окруженный блестящей свитой, Иван увидел впервые тот город, который сам заложить приказал на гибель Казани, как оно теперь и выходило! На высоком холме, на самой вершине его и по скатам виднелись новые срубы жилищ и церквей среди густой еще, хотя и осенней зелени. У реки, внизу, на далекое пространство — шатры белеют, стан раскинут русский. Вот он, рубеж между Европой и Азией. Так, должно быть, некогда и любимый полководец Ивана, Александр Македонский, стоял на одной из вершин Рифея и собирался покорить весь мир, вслед за Азией, на которую ополчил свои непобедимые фаланги. Сладкое, глубокое волнение наполнило грудь царя... Забыты все тягости пути, все опасности и тревоги, минувшие и предстоящие впереди. Царь счастлив! Он совершенно счастлив! Он уверен, что его ждет победа и слава. Да как же иначе? Вон со всех сторон только и слышно что о чудесных знамениях... Даже в самом бурливом Новгороде чудо объявилось. Пономарь церкви во имя Зачатия святой Анны до заутрени в храме свет видел нездешний. Святитель какой-то предстал и звонить ему велел. Смущенный служака отвечал: «Как могу звонить без приказа протопопова?» Но дивный гость отвечал: «Звони скорей, не бойся! Мне некогда! После службы торопиться мне надо под град Казань... на помощь царю и государю вашему, Ивану Боголюбивому всея Руси...» Сказал и исчез...

Значит, сами силы небесные идут на помощь замыслам царя. Чего же тут бояться?

И молча стоит, глядит Иван на Свияжский городок, глядит в ту сторону, где берег казанский синееется...

— Государь! — осторожно заговорил окольничий боярин Федор Григорьевич, отец Адашева. — Как пожалуешь? Ночлег тебе в городке изготовлен, в доме у протопопа соборного... Лучший двор, какой нашелся... Уже вечер близко.

— Мы в походе! — живо отозвался царь. — Шатер нам пускай размечут. Царь при войске живет. Какая воинам доля, так и вождю подобает!.. — невольно повторил Иван слова великого македонца, сказанные им, когда ему од-

ному подали пить на виду умирающих от жажды солдат...

Одобрительный говор прошел между воеводами и князьями, блестящим кольцом окружающими державного вождя. Быстро и в войске весть разнеслась:

— С нами в шатрах царь стоять пожелал!

И позабыли свою усталость измученные люди; словно дети, утешенные новой игрушкой — любовью, вниманием к ним верховного вождя...

13 августа, в субботу, пропировав в шатрах накануне весь день с воеводами, вошел торжественно Иван в свой новый Свияжск-городок. Колокольным звоном, хоругвями и иконами, крестным ходом духовенство и горожане встретили царя.

А там, через неделю и за Волгу войска перевалили, за последний рубеж, отделяющий русскую рать от Казани.

Еще неделя прошла. Вызовами и переговорами обменялись казанский и русский цари... Обычай исполнили.

Русские стали места вокруг города занимать, окопы копать, валы насыпать... И немало еще недель затем прошло. Незаметно глубокая осень надвинулась, холодная, дождливая, какая всегда бывает в этих болотистых, дремучих лесах...

Крепко обложила Москва Казань-город. Да и татары упрямы: бьются, не сдаются.

А выхода им все-таки нет никуда! Где пробиться, если всех-то воинов тысяч тридцать в городе, в крепости казанской, а кругом полтораста тысяч облегло... И с большими пушками, с осадными орудиями... А царь, изменник казанский, Шах-Али, когда убежал из юрта, последние пушки татарские попортил, как Адашеву и пообещал. И обороняться татарам почти нечем. А осада без конца тянется...

Куда ни глянь — палатки, шатры русские белеют; ряды туров, корзин плетеных, земель набитых, видны. Словно змеи темные, извиваются они длинными изгибами. А за турами — неутомимые черти, гяуры со своими пищалями, да бердышами, да со всяким оружием...

Еще 23 августа полки разместились так, как Иван с воеводами установил. На Царевом лугу, против города, от Волги-реки — царь со своим Царским полком и с хоругвью священной, со знаменем царским, осененным тем самым чудотворным крестом, который был еще у Димитрия-князя на Дону.

Широко сначала стояли русские войска. Но понемногу все уже стягивалось кольцо...

Полтора́ста тысяч сошлось воинов, не считая челяди при служилых людях, не считая обозных и ремесленных людей. А с этими и все три сотни тысяч наберется. Целый полотняный и дощатый город, больше самой Казани, в ночь одну вырос у самой Волги, где раскинули свои лавки и склады приехавшие за войском купцы и торговцы провиантом.

Каждый десяток ратников должен был выставить по одной туре, наполненной землей, да все без исключения воины обязаны вытесать и принести на место по бревну для осады, для завалов и стен, для бесконечного тына, который второй стеной обежал все крепостные твердыни казанские, преграждая всякий доступ к осажденным.

В глухую ловушку попали казанцы...

А за тыном, словно кроты в земле, роются русские, все ближе к стенам подбираются... Ни ведро, ни дождь не остановят их работы.

Да не много и видели светлых дней русские с тех пор, как под Казанью стоят.

Шаманы и дервиши мусульманские, которых много за село в осажденном городе, каждое утро стали на заре взбираться на городские стены и, на виду у русских, вертелись, заклинания громко выкрикивали, творили какие-то обряды таинственные. Словно накликаемые этим чародейством, тучи вставали с Волги-реки, потоки дождевые с неба падали, заливая низкие места под городом, где раскинулись станом полки московские. Ров вокруг города переполнен водой... Даже в тех шатрах, которые расставлены осаждающими на более высоких местах, и там все мокнут до нитки под ливнями холодными, осенними.

Плохо в шатрах, особенно в бурные, ветреные дни. Холодная, дождливая осень царит, какая редко и бывала в этих местах. Бури начались... В одну ночь ветер был так силен, что опрокинуло даже большой, тяжелый шатер царский, и, вскочив в испуге, Иван остаток ночи провел в походной церкви, тоже в шатре устроенной, пока приводили в порядок его ставку.

Плохо в шатрах! А и того хуже в окопах, которыми окружили весь город русские, чтобы отрезать татар от целого мира.

Извилистой линией со всех сторон приближаются к самой стене траншеи осаждающих глубокие рвы, от дождей

наполовину залитые водою, прикрытые большими корзинами с землей, турами, от пуль и стрел татарских.

В траншеях, не сменяясь порой по целым неделям, сидят ратники, не дают татарам частые вылазки устраивать, как те было начали сперва.

И три церкви здесь же, в шатрах больших, установлены. Не оставляет царь и на войне богомольных обычаев, являя пример войскам. У Кабана-озера, с ногайской стороны, Шах-Али с Передовым полком и с Большим полком стоит. Юрий Шемякин, князь Юрий Пронский, князь Федор Ярославский и Федор Троекуров, со своими стрельцами в «ертоуле», авангардом выдвинуты. Против Кайбацких ворот стали, по Казанке-реке.

Левой руки полк — левым крылом по Булаку протянулся, влево от царя. Казаки даже чрез Булак, под самые стены крепости вражьей перекинулись, здесь, в посадах, крепкие места и строения заняли.

А посады опустелые стоят. Как прослышали татары про нашествие русских, кто куда убежали, дома и добро покинули. Больше всего в «город», в крепости укрылись.

Сторожевой полк с князем Серебряным и Шереметевым Семеном подальше полка левой руки, за Булаком, до другой реки, до Казанки, раскинулся, где башня Мурзалеева стоит при слиянье этих двух речек.

Шенятев с Курбским полк Правой руки ведут за Казанкой, с другой стороны города, между Горной стороной и дорогой Галицкой... Елабугины, Збойлевы и Щелские ворота им стеречь надо.

Князь Ромодановский с «запасом» с пушками у деревни Бежболды укрепился. И Правой руке и Сторожевому полку он всегда может помощь подать в случае опасности. Здесь, в этой стороне, дворец хана казанского. Сюда врагов гнать будут, если Бог даст одоление. Так здесь и встречу надо хорошую приготовить татарам!

В грязи, в воде целыми днями сидят люди, оберегая только пищали и порох от воды. Одежда вся промокла, пар идет от нее. Поесть некогда... К котлам уйти артельным нельзя из окопов. Вспомнят товарищи, принесут им горячего — хорошо! Нет — по целым неделям сухими сухарями, воблой да луком питаться приходится или репой печеной, благо лес под рукой — с трудом, но можно костры разжигать из мокрых сучьев.

И несмотря на то, работа продвигается. Рокот новые

рвы землекопы; воины попеременно в лес ходят, сучья рубят, плетут большие корзины для туров.

Вот человек двадцать, тяжело дыша, в намокшей одежде, от которой пар идет, тянут к окопам несколько больших бревен в самодельной тележке.

Устали, изнемогли ратники, купеческие дети, торговые люди московские. Бросили постромки, тоже самодельные, из лыка крученные... Кто присел, кто прилег на влажную траву луговую, отдохнуть хотят. Тяжело дышат усталые груди, все кости ноют. И желудок, далеко не полный, знать о себе дает.

— Э-э-эх! Домой бы теперь!— после первого молчания, словно угадав общее настроение, проговорил один.

— Да, славно бы!

— Щец бы горячих сейчас! Э-э! — смачно крикнул пожилой, полный десятник.

— Да бабу хорошую!— подхватил молодой парень недавно и повенчанный перед походом.

— Ишь, губа у тя не дура! Татарина не хочешь ли черномазого? Или ногайца?..

— Сам кушай... Да еще козла тебе на закуску... Ирод!

— Ну, не перекорайтесь, черти!— прикрикнул десятник.

— Так чево ж он? Я и в скулы, вить...

— В скулы? Храбер! А даве, как татаре со стены скакали, вылазку делали, где был?

— Я?— смутился парень.— Я в стан бегал за хлебом...

— Ишь ты! Как оно приспело: в ту самую пору, когда татарове успели из города, а ты про хлеб вспомнил.

— Ловок! Бабник, козодой поганый... Блудлив, как кошка, а труслив, что заяц...

— Эй! Молчи... Не то я те!..— обозлясь, так и вскипел парень и даже, забыв про усталь, привстал, словно готовясь приставить в исполнение угрозу.

— Буде, говорю!— прикрикнул десятник.— За дело. Навалялись, языки начесали, гляди! За дело!..

— За дело!..— с ворчаньем поднимаясь, заговорили ратники.— Сам бы потянул... Приказывать да понукать легкое дело. Ишь, воевода какой выискался!

— Не воевода, а по государскому наказу приставлен за вами глядеть, за лентяями!..

— По государскому! Собака тебя оставила царева, а ты и величаешься...

— А хорошо, братцы, государю-батюшке! Вон мы тут пропадаем, а он у Волгушки себе в шатрах пирует и день

и ночь... Сказывают, весело там царь с боярами живет.

— И полонянок, сказывают, и татарчат молодых туда немало нагнали!— опять свое стал поминать молодой новожен.— Потешают себя царь с воеводами!

— Ну, толкуй еще!.. Нешто можно при царе православном да погань такая!.. Татарчата!

— А что же? Люди сказывают, много там чего творится! Сызмальства осударь с пареньками потеху любил... Так не другой он ныне стал, все тот же.

— Ан и другой! Я лучше знаю...— вмешался молчавший до тех пор пожилой ратник.— У меня дядя не простого, духовного звания. Сказывает: совсем образумился царь молодой. Все больше Богу молится, службы правит церковные... Бывает, водят к нему баб... Да редко! А бояре-воеводы его, те, конечное дело, не все по царскому примеру живут. Оттого и соблазны... Да и врут много!..

— Врут?.. Ну, не! Сам ты врешь, а я не согласен... Сам я в Свяцком городке был, как грамоту митрополичью всем людям читали. А там явственно прописано было: за что Бог нас покарал, хворь наслал гнилую, тяжелую. «Блуд и непотребство и многое стяжание», так и сказано...

— Так то — воеводы... А сам царь...

— Што царь? Заладил одно! Царь да царь! А знаешь ли, каков поп, таков и...

Но говоривший не окончил.

— Царь едет, черти! Вставайте!.. Царь едет!..— вдруг крикнул ратник, который лежал на бревнах, где было посуше, и глядел по сторонам.

Ратники вскочили, смотрят: из ближней рощи, где намокшие, потемнелые деревья стоят с повисшими, полуоубаженными ветвями, показались вершники царские, стрельцы с пищалями, дворяне охранные с бердышами. За ними на красивых, сильных конях несколько воевод, все больше пожилые, а впереди Иван, в полном боевом вооружении, на широкозадом могучем коне.

Завидя кучку ратников, стоящих на коленях вдали, с обнаженными головами, Иван поскакал к ним.

— Встаньте, люди ратные. Богу кланяйтесь... Вы — Божьи ратники. Откуда вы? Что за бревна? Куда их тянете?

Десятник, ободренный ласковым голосом царя, ответил, вертя шапку в руках:

— Да вот, осударь... не погневись... из окопу мы из ближнего... От головы, от Василия Шпыняева посланы по бревна... Чай, ведом тебе голова тот, осударь...

— Не помню что-то! — улыбаясь, сказал Иван. — По бревна? И вы сами их на себе волочете? Тяжело, чай?..

— И-и, как тяжело! Умаялись... Не ближний свет, сам видишь, осударь... Притомились... Вот и стали передохнуть, значитца... Помилуй, не казни, осударь... Не стало никакой силы-возможности без передышки, значитца.

— Ну, вестимо, как не вздохнуть?! Отдыхайте... Ишь ты, упарились как! Ровно от коней — от людей пар столбом! Да разве нет коней у вас, чтобы самим такую махину не тащить? Да еще на тележке, на смешной такой.

Иван стал внимательно осматривать тележку, особенно колеса ее из цельных обрубков, кое-как обтесанных в виде неправильного круга.

— Коней?! И-и, што ты, осударь! Мы — пешие. Наше дело простое... Все на себе да своими руками робим, своим горбом тянем... А што трудно — твоя правда, осударь. С непривычки, гляди. Дома все другим делом, торговлишкой займались... А тут вот... — начал было впадать в жалобливый тон десятник, но спохватился и замолк...

Иван огляделся, медленно повторяя:

— Торговлишкой займались?.. Што ж, дело хорошее. Конечно, трудно вам с непривычки. Так то помните: ни для меня, ни для кого стараетесь, муку принимаете, а для Господа Самого Распятого, за святую веру христианскую... Татар повоюем — Господь возрадуется. Полон наш русский у них отберем. Чай, и у вас есть кто близкий в полону у казанцев?

— У нас, осударь, — вступил в разговор молодой ратник, — есть родич один... И не ратник он был. Как напали на Коширу единова казанцы, тамо его и забрали... По торговому делу на Кошире жил...

— Вот видите! Так уж потерпите Бога для... И то сказать еще надо: Казань возьмем, заставы снимем, Волга свободным, вольным путем русским потечет. Как по-вашему, по-купеческому: к худу это аль к добру для вас?.. А?..

— К добру, осударь! — сразу ответили все ратники, хорошо понимающие свою торговую пользу.

— То-то ж! Так для себя постарайтесь, Божьи воины. А покудова... Эй, Петя! — крикнул Иван одному из своих стрельцов, сидевшему на здоровой рыжей лошади. — Слезай, Петруша!.. Дай им коня, бревна довести. Подожди

тута с ними, а там и догонишь меня... Ну, Бог на помочь, люди Божии!..

И, провожаемый громкими, восторженными приветствиями ошастливленных, ободренных, словно воскресших ратников, царь тронул поводья коня, дальше поехал осматривать, как осадные работы кипят, продвигаются под Казанью... Спрашивал о вылазках дневных и ночных, которыми татары беспокоили русских; ободрял, утешал больных и раненых... И везде восторженные клики неслись вслед царю:

— Жив и здрав буди на многая лета, осударь наш милостивец! Батюшка, светлый наш царь!..

Так за днями дни, недели за неделями тянутся.

С того дня, как первые осадные, стрелецкие головы Иван Черемисин, Григорий Жолобов, Федор Дурасов и дьяк Ржевский со своими сотнями первые туры подкатили вечером от Булака к стене городской, немало стычек и боев разыгралось вокруг осажденного города.

Особенно жестоки были первые вылазки. Не хотели допустить татары врагов с турами к стенам городским. Против князя Михайлы Воротынского и Ивана Федоровича Мстиславского, которые вели первый приступ, сразу, из всех четырех ворот: Царских, Арских, Тюменских и Аталыковых — высыпали воины казанские.

Жестокая сеча началась. Чтобы помешать появлению новых сил из города, русские открыли пальбу по крепости из всех орудий, стоявших против ворот. Татары отвечали тем же, хотя и мало было у них пушек и пищалей. Стрелы тучей летели... Крики, вопли сражающихся, сливаясь с гулом орудийных выстрелов, оглушали всех вокруг. Кони метались в испуге... В остервенении враги, бросив оружие, бились врукопашную, давили, грызли друг друга и сваливались с откосов крепостных прямо в ров, переполненный мутной, грязной водой... Так прошла вся ночь... Но к утру русские одолели. Татары кинулись назад. Ворота закрылись. И лихорадочно принялись свежие, вновь подошедшие московские ратники за установку туров, за рытье рвов и траншей... А казаки-смельчаки, первые пошедшие на приступ посадов под стеной, заняли большую каменную баню Даирову, под самой стеной крепостною, и расположились там безопасно и удобно, словно дома у себя.

Тянется осада недели и месяцы... Глубокая осень царит... Ливни, слякоть... Шесть недель уж прошло... Тоска стала одолевать русских. Тоска одолевает и царя. Сначала, пока еще опасности грозили при осаде, волновался Иван, но не тосковал, не чувствовал как-то всех лишений, которые даже ему пришлось испытывать среди этой лагерной суровой жизни.

А татары сильно оборонялись сперва.

Оказалось, что в крепости городской за стенами у них только половина войска — тридцать тысяч отборных людей. Другая половина была сокрыта в лесах, которые темной стеной обогли Казань со всех сторон.

И вот, бывало, видят русские: на стене городской взойдется, зареет зеленым пятном мусульманское знамя... Бьет его ветром, треплется оно... Вдруг появляются из лесов, все больше с Арской стороны, отряды татарские, нападают в тыл христиан. А в то же время из ворот высыпает казанцы, двойной удар обрушивая на осаждающих.

Ни попить, ни поесть не могли спокойно войска, которые с этой стороны находились: Большой да Передовой полки.

И так недели три шло.

Наконец, после долгих совещаний, решено было покончить с таким порядком вещей.

Тридцать тысяч всадников и пятнадцать тысяч пехотинцев-стрельцов, под начальством князя Александра Горбатого-Суздальского, разбившись на три колонны, засели в ловушку, скрылись в засаде.

В первый же раз, когда татары повторили свою хитрость, напали на русских с двух сторон, русские рати, встретившие натиск татар, выехавших из лесу, сделали вид, что смутились и побежали в лагерь обратно. Татары кинулись за ними с гиком, с победными криками... Вот уж все отряды ихние вышли из-под прикрытий, из лесу... Вот лавой мчатся на беззащитный лагерь... Из города долетают крики радости.

Может быть, настал час победы и отмщения гяурам, настал час освобождения от проклятой осады... Но... что это такое? Из лесу, где все было тихо, резко прозвучала военная труба... сигнал атаки... И с трех сторон, отрезая обратный путь, лишая малейшей надежды на спасение, черной тучей, вздымая вихри по пути, несутся три полка русской конницы... А еще с двух сторон, замыкая совсем полукруг, появились пешие тяжелые отряды, чтобы не проскользнули татарские всадники между городом и русскими шанцами, чтобы никто не ушел от гибели!

— Гибель!.. Гибель!.. Яман!.. Алла!... Алла!.. — завопили со стен городских.

Окруженные враги тоже кричат... Но дико, вызывающе:

— Смерть гяурам! Смерть нечестивым!..

И, видя невозможность спастись, отчаянно кидаются в битву, чтоб подороже продать свою жизнь...

Каждый татарин, словно кабан, затравленный стаей ярых псов, умирая, старался только поразить кого-нибудь из ближайших к нему русских... Звон от скрещенного оружия, редкие пищальные выстрелы... Ржание коней... Кровь хлещет ручьями...

Сплотясь отдельными кучками, татары смело отстаивают если не жизнь, так месть свою. Однако перевес у русских слишком велик.

И так же стихийно, как мчались раньше за врагом, повернули к лесу татары, пробиваясь сквозь густые ряды ратников. Но в лесу их тоже ждут русские. Ловят, режут, снимают с деревьев, куда многие взобрались, надеясь укрыться от врага... А тех, кто просит пощады, вяжут крепко и сводят в одно большое стадо...

Много в этом стаде собралось народу, больше тысячи человек. Окровавленные, израненные, в изорванной одежде, измученные, многие полумертвые, они все дышат хрипло, тяжело, словно запаленные кони, и ждут, что с ними будет.

С победными кликами погнали русские воины все это стадо прямо в свой стан.

Ликуя душой, выслушал Иван донесение о победе.

— Спасибо, княже! — обняв и поцеловав Горбатого-Суздальского, сказал царь, тут же снял с себя дорогую цепь с золотой гривной и возложил на воеводу.

Велел наградить и всех бывших с князем воевод, сотников и воинов простых.

— А теперь — еще задача есть для тебя. Ступай к Арскому городку, по горячим следам, где в засеке укрепились было эти окайнные... Добей остатки татарские, сотри главу змьеву!

Через три дня, передохнув немного, в сопровождении князя Тверского, Семена Микулинского, Горбатый выступил в поход, а через неделю вернулся из Арска с огромной добычей, с провиантом, разгромив войско татарское, там засевшее...

Между тем пленников, взятых в последнем бою под самой Казанью, Иван велел на другой день привести к город-

ской стене и привязать их к частоколу, укрывающему русские полки.

Из тысячи всего пятьсот человек еще на ногах держались. Их и привязали к тыну. И приказал Иван:

— Молите ваших, чтобы сдались мне. Не то вам смерть сейчас будет! А сдадут мне город и царя казанского — всех пощажу, ни волоса единого, крохи малой вашей не трону, Бог порукой!

Не сразу покорились, молчали сначала пленные... Но под страхом мук, под угрозой смерти, почуяв на теле острие казацких пик, стали звать своих.

Высыпали на стены казанцы...

Зачернели, запестрели верхи башен и просветы между тарасами от татарок, которые приходят на стены, мужьям есть приносят, землю копать помогают...

А пленные, покоряясь насилию, повторяют, что им приказано:

— Сдавайтесь, братья! Ворота откройте городские, хана выдайте... Гяуры обещают за то, что ни крохи не возьмут из добра вашего... капли крови не прольют мусульманской... А иначе — муки и смерть ожидают всех нас, да и вас потом! Одумайтесь, братья!

Рокот пробежал по стенам городским... Вопли ненависти, крики проклятий донеслись до пленных и до русского стана.

— Предатели!.. Отщепенцы проклятые!.. Собаки переkreщенные!.. Пусть вам язык отсохнет за ваши слова... Пусть гниют души и тела ваши!.. Скорее Волга назад потечет, чем мы гяурам сдадимся, царя и веру предадим на поругание... Недолюдки поганые вы вместе с гяурами московскими!.. Да подыхайте вы лучше от наших рук, чем от необрезанных урусов поганых.

И туча стрел, град пуль полетели со стен и в своих привязанных татар, и в войско московское.

Русские обозлились, тут же добились жалких израненных пленников...

— Нет, видно, добром не кончить дела! — решили Иван и его воеводы, когда узнали от очевидцев обо всем событии.

— Давно бы на приступ последний пора кинуться! — заметил Курбский.

— Рано, Андрюша, рано! — ласково отозвался царь. — Мы еще попытаем измором их взять. Воду главную у них мы отняли: к Булаку и к Казанке-реке никакого им подступу нет, окайным. Перебежчики новые, недавние, Камай-

мурза и другие мне сказывали: последняя у казанцев вода — ключ потаенный от Казанки-реки проведен. Попытаем эту последнюю воду взять у неверных. Что тогда скажут? Без бою не сдадутся ль? А то и так много крови христианской пролито. За эту за кровь не вам, бояре, мне ответ придется Богу отдать.

И долго в тот вечер царь толковал с инженером своим искусным, с англичанином Бутлером о подкопе, при Адашеве да Владимире Старицком, который и спал в одном шатре с царем.

Начальник всех розмыслов, дьяк Иван Выродков здесь же был, приказы царя выслушал, распорядился потом, чтобы англичанину бочки с порохом, с зельем боевым, были выданы, сколько надобно.

Пригодилась тут баня Даирова. Дознались ученики Бутлера, что именно здесь, близко под землей, ход проложен, который снабжает водой осажденных. Сам англичанин в других местах рылся, а сюда подручных послал.

Пытались они издали, наперерез к потаенному ключу этому подойти, подкопаться... Да каменная гряда скал мешала, которая здесь пролегла.

Тогда стали прямо от бани подкоп вести. Земля там влажная, мягкая оказалась, как всегда близ воды это бывает.

Осторожно повели глубокую галерею подземную, дней десять рыли, наконец, на одиннадцатый день, донесли Шереметеву и Серебряному, что над головами русских землекопов голоса слышны, словно кто ходит там, — все больше женские голоса...

Сами воеводы в тайник сошли, где ползком, где в три погибели согнувшись, добрались до места.

Вода сквозь песчаный грунт просачивается... Голоса слышны, правда... Шаги глухие... Ошибки быть не может!

И пошли к царю с докладом.

В субботу это было. Сейчас же одиннадцать бочек пороху подкатили под тайники.

А в воскресенье подожгли мину, и страшный грохот потряс воздух... Облако черного дыма поднялось в воздух. Целый угол стены с башней высокой взлетело к небу, и оттуда обломки камней, бревна, части тел человеческих, — все это рухнуло на головы казанцев, пораженных ужасом. В довершение беды в город ворвались отряды русских, стоявшие уже наготове, и прошлись, как пожар, широкой

полосой по всему этому концу, пока не опомнились татары, не подоспели с других концов войны, сеиды самого Эддин-Гирея, и оттеснили они обратно нападающих за городской вал, за широкий ров.

А затем всю ночь лихорадочно работали при свете колеблющихся огней казанцы, стараясь возвести временный оплот вместо разрушенной старой стены городской.

Лишение воды быстро сказалось в осажденном городе. Последние запасы влаги иссякли. Дождевую воду собирали и продавали на вес золота. Но ее не хватало. Тайные запасы воды в ханском дворце тоже были не особенно богаты. А простой народ, те, кто из посадов и окрестных сел бежал в Казань при нашествии русских, эти все прямо гибли от жажды. Иные перебежали к осаждающим. Другие кинулись рыть землю во всех направлениях. Но в колодцах и в небольших источниках, вытекающих из земли, пропитанной кровью, отбросами и трупными остатками, как во всех восточных городах, везде вода была мутная, вонючая, ядовитая, порождающая гибель и чуму среди несчастных, вынужденных утолять свою жажду такой водою... Ужасными, разбухшими, почернелыми трупами был усеян весь город. И убирать даже некому эти тела.

Ожесточение казанцев стало сменяться тупым отчаянием. Только хан и его близкие не теряли надежды. А среди черни казанской рождались все новые и новые слухи, один другого тревожнее...

Немало поработали при этом и перебежчики, которые появились в осажденном городе, побывав раньше в московском стане, где получали щедрые подачки и посулы на большее, если «приведут к покорности юрт» так, чтобы без крови могли русские овладеть Казанью.

Сентябрь к концу идет.

Тихий день осенний, сиявший над измученным городом, тихо догорел, сменяясь тихой, влажной ночью.

Как нарочно, ливни, что ни день проносившиеся здесь в начале осени, теперь прекратились...

Темная спустилась сентябрьская ночь. Страшно на улицах Казани, в ее тесных кривых переулках, на широких площадях. Тени какие-то бродят, шатаются, тихо стенают от жажды и от голода...

Трупным, тяжелым запахом пропитан весь воздух. При малейшем дуновении ветра запах этот доносится и до осаждающих, вызывая тошноту.

Но казанцы уж притерпелись ко всему. Одержимые

голодной бессонницей, крепко затянув животы кушаками, бродят во тьме фаталисты-мусульмане, покорно ожидая смерти.

Вдруг, прорезая тишину, прозвучал чей-то дикий вопль: не то вой зверя, которому нанесли смертельный удар, не то полусдавленное рыдание безумца...

Из ночной темноты, откуда донесся вопль, скоро стала приближаться к толпе тихо толковавших татар какая-то неясно чернеющая и бегущая человеческая тень, издавая дикие стоны.

— Шайтан!.. Шайтан!.. — можно было различить наконец среди завываний, издаваемых беглецом.

Толпа, стоящая среди площади, вздрогнула, заволновалась... С земли поднялись еще силуэты...

— Что случилось? Что такое?.. Не враги ли снова в город ворвались?

— Нет. Это сумасшедший Керим! — успокоил кто-то.

Все знали Керима, который постоянно отличался странностями, слыл блаженным, а теперь от лишений и жажды совершенно обезумел.

Кто-то наконец остановил крикуна, который бежал с выпученными глазами, трясаясь всем телом, как избитая, продрогшая собака.

— Что с тобой, Керим? Чего ты испугался? — спросил у бедняка голос из толпы.

— Ай, шайтан... Шайтан... Пустите! Из юрта бегу! Не стоять Казани. Пустите меня... Гяуры сейчас войдут.

— Где? Что? Почему? — раздались тревожные оклики. — С чего ты взял, Керимка? Будет дурить... И без тебя тяжело!..

— Еще хуже будет!.. Сейчас мне сам шайтан ихний московский сказал, что еще хуже нам будет!..

— Да не путай! В чем дело? Говори!.. — пристали к напуганному человеку такие же напуганные, измученные, но еще не обезумевшие окончательно люди.

— Ай, ай!.. Сейчас скажу... Зашел я только что в землянку свою, что под стеной... Холодно мне стало, есть захотелось... Ничего я весь день не пил, не ел...

— Да ведь и землянка твоя не тепла... И там — пусто! Ни хлеба, ни глотка воды не найдется...

— Ай, нет!.. Шайтан там!.. Вхожу и думаю: хоть от пуля от гяурских у меня здесь спокойно под земляной крышей... А вижу, светло в моей землянке... Печь так и пылает... И столько в ней хлеба! Румяный, свежий хлеб... А на столе

кувшин высокий с чистой, ключевой водой. А на соломе, где я сплю... Нет! Там вдруг вижу я ложе богатое, мехами устланное... А на ложе белый старик-гяур сидит... с большой бородой... Вот как я в Свияжске, в мечети ихней на стене видал... И говорит он мне...

Тут голос безумца совсем оборвался от волнения.

— Что говорит? Ну, поскорей!.. — слышались нетерпеливые оклики.

— Говорит: «Не противьтесь царю Ивану... Он погубит вас всех! Час близок. Судьба велит: покоритесь, чтобы не погибли все!» И вдруг темно стало в моей землянке, и все пропало: и хлеб, и вода... и огонь в печи!.. — с глубокой грустью dokonчил Керим.

Снова потянулись длинные, бесконечные дни тяжелой осады, увеличивая муки татар, но не принося решительной победы войскам Ивана. Газават, священная война — дело великое! Пока жив хан, пока живы еще люди, способные держать оружие в руках, борьба не прекратится. Никакие ужасы не принуждают к сдаче, которой так ждет и желает царь Иван.

— Нечего делать! — решил тогда он со своими воеводами. — Надо кровавую чашу до дна пить, пострадать за Крест Святой, за веру православную. Пусть великие подкопы дороют, стены расколют, орех нам раздавят... До зерна мы и сами доберемся.

Лихорадочней еще закопошились землекопы, которые у Арских ворот, где за короткое время башня осадная выросла, давно в земле роются, подкоп большой под стену казанскую ведут. Каждый шаг вперед учитывает да соразмеряет Бутлер, инженер-англичанин, крот подземный. И решил он, наконец, что пора остановиться. Под самой стеной и под башнями находятся теперь с ним его помощники.

Огромную пустоту, устроенную здесь глубоко под землей, быстро наполнять стали бочками с порохом. Одинокий фонарь, который лежит подальше от них, еле освещает стены подземной пещеры, где земля осыпается и глядит сквозь свежие, редкие подпорки, кое-как поддерживающие потолок и стены. Пещера не для жилья вырыта, не каземат для воинов. Лишь бы не засыпало людей, пока порох сюда сносят.

Также небрежно укреплен и узкий, темный подземный ход в эту пещеру. Но пол досками устлан, чтобы легче было бочки с зельем боевым катить. Тесно составлены бочонки. Целых полсотни их... Днища выбиты у всех. Порох

наполовину высыпан на землю. А чтобы он не отсырел, вся земля здесь сперва мхом, а потом досками и рогожами густо устлана.

Это все было 29 сентября закончено.

30 сентября, до зари, построились полки: Большой да Передовой, хоть и не целиком. Отборные люди в бой изготовились, из тех, кто меньше устал, дальше от стен находясь в последние дни. Воеводы Шереметев и Серебряный на Аталыковы ворота лично вести войска собираются. Два брата Воротынских, Мстиславский, Бельский и Горбатый с Шуйскими — эти князья-воеводы тоже стали во главе полков, которые угрожают воротам Царевым и Арским.

От Волги Шереметев и Серебряный должны ложный приступ повести, а здесь главное нападение готовится. Только ждут, когда придет время.

И оно настало. Порозовели края облаков, из зарослей на реке поднялись стаи пернатых перелетных гостей, которые в заводях волжских да у Казанки-реки ночевали по пути на юг...

К Бутлеру примчался верховой. Инженер стоял у подножья небольшого холма, в котором зияло отверстие мины, первой из трех, законченных мудрым чужеземцем.

Шепнул ему верховой слово заветное, приказ от царя мину рвать... Нагнулся Бутлер, зажег фитиль, пробежали искры и огоньки по следу пороховому, по запалу, дальше, туда, в черную, непроглядную глубину подкопа. Минуты идут, медленно тянется время в ожидании. А вдруг не взорвет? Засыпало дорожку запальную... Помешало что-нибудь огню дойти до запасов пороховых. По расчету пора и взрыву быть... Томительно тянутся минуты... Секунды вечностью кажутся. Русские ведь шутить не любят. Особенно их молодой и ласковый на вид, но неукротимый и бешеный порою царь. Заподозрит в измене «чужака» — и петля ему готова!

Дыхание перехватило у инженера... Губы невольно шепчут слова молитвы, забытые чуть ли не с детства... И вдруг — земля словно дрогнула легонько под ногами...

Мгновенье, другое — и громовый раскат вырвался из недр разверзшейся земли... Там, далеко, почитай у самой стены казанской — камни, дым, бревна на воздух полетели, затемняя прозрачно-перламутровую синеву осеннего утреннего неба. Взорваны были все земляные окопы и валы, которыми укрепились казанцы против осадной башни у Арских ворот. Стена самая уцелела еще. Ее не коснулся подкоп. Тем не менее, зная, как ужасны последствия та-

кого взрыва, помня первый подкоп под тайник водяной, все уцелевшие здесь на стенах татары после первых мгновений оцепенения кинулись в разные стороны, позабыв, что открывают врагу широкий вход в город...

А враг не дремлет! Спокойно, словно на смотру царском, на Красной площади, подходят полки к самым стенам Казани. Землекопы и воины служилые, кому назначено, катят готовые туры и ставят новые ряды их уж вплотную ко рву и даже за рвом городским...

Вот полки, отряд за отрядом, вошли в Арские ворота и в соседние с ними Большие, Аталыковы... Но тут еще одно препятствие: второй ров, по ту сторону стены. А через этот ров мосты перекинута, по которым защитники на стены городские попадают... Оглядевшись немного, только что хотели воеводы повести дальше полки, через мосты эти самые, и вступить в город, как там изо всех улиц появились ряды татарских воинов... Спихнулись неверные. Обратный бегут, пролом защитить хотят, врага назад отбросить. Но это трудно. Где московский конь вступил, там татарскому чувяку места нет! Бой завязался, сеча жестокая... Режутся, бьются враги... А между домами той части города, которая против пролома, против Арских ворот стоит, — там уже воздвигаются новые завалы... Старики, женщины, дети землю копают. Бревна накладывают... Жестоко нападают татары, стараясь отстоять свои дома и семьи от врага. Тесно стало в переулках, негде русским строя своего развернуть... Приходится один на один с казанцами биться. Да этим легче. Дома и стены помогают. На русских из каждого окна, из-за каждой стены пули летят, кипяток льется, камни валяются и дробят шлемы и черепа нападающим...

Отступили москвы... Ободрились казанцы... До ворот прогнали полки русские... Из ворот гонят...

Вдруг князь Воротынский, напрасно старавшийся ободрить войско, оглянулся и увидел, что сам Иван, заинтересованный исходом боя, оказался невдалеке, на одном из соседних холмов, окруженный боярами и воеводами ближними.

— Дети, стойте! Не поддавайтесь неверным! — загредел голос воеводы, сразу словно перерожденного. — Стой!.. Гляди!.. Сам царь на нас смотрит... Царь там стоит! Государь на нашу верность глядеть пришел... Назад! На бой!.. Бей неверных!.. Колоти обрезанных!.. Не поддавайся, братцы!.. Царь подмогу пришлет!.. Он нас не выдаст!..

Так, кидаясь от одной толпы бегущих воинов к другой, убеждал воевода...

И, увидев, что царь действительно стоит и смотрит вдаль, воспрянули духом ратники... Бегущие остановились, стали снова строиться в ряды на рву, за стенами крепости, куда их успели оттеснить казанцы, и словно бешеные пошли вторично на приступ. Не ожидали ничего подобного татары, совершившие последнее усилие, чтобы выгнать врага, и дрогнули, побежали они опять, а русские за ними.

Секут, давят конем, кто на коне... Руками душат, если так близко схватятся, что нельзя ни мечом, ни кинжалом работать... Завалы новые опрокинуты! Вот в широкие улицы русские ворвались... На площадь большую вышли... Здесь прямо станом стоят люди сельские, купцы с верблюдами, с товарами — все, кто в городе заперся...

Видя, что воины татарские разбежались, что сопротивление нет, отряды русские за грабеж принялись: режут беззащитных, старых, женщин, детей... Отымают, что на глаза попадается. А увидят лучшее, бросают прежнее и новое берут. Целый городской угол, большой участок на холме весь в распоряжении победителей! Главные силы хана собраны во дворце его. Оттуда не выходят, дожидаясь, что донесут им с места взрыва?

У ближних к пролomu Аталыковых и Крымских ворот защитникам города дела по горло: там Шереметев, да Серебряный, да Микулинский стену и ворота громят, не дают возможности татарам сойти с поста, прийти на помощь бедствующим собратьям в тот край, где пролом... Почти полгорода заняли уж русские. Воротынский, опьяненный такой удачей, говорит брату:

— Скажи к царю... Расскажи, что Бог послал! Наша Казань! Пусть достальное войско на подмогу шлет. Нынче же к вечеру его во дворец введем, на трон агарянский посадим!

Умирая от усталости, в пыли, в крови доскакал меньшей Воротынский до места, откуда Иван наблюдал за боем, то и дело посылая узнавать о ходе сражения.

— Бог на помочи!.. Что скажешь, князь?.. — быстро спросил Иван, едва подскакал к нему Воротынский.

— Победа, государь! Да славится имя Господне! И тебе бессмертная слава во веки веков!..

— Видел... знаю... Спасибо, княже!.. Всем спасибо! Дай обнять тебя! Ну, говори: засели крепко в башне? Стены заняли? Можно будет завтра и главный приступ повести?

— Зачем завтра? Сейчас веди полки все на бой. Наша...

твоя Казань! Погибнут неверные, рассеются, аки прах от дуновения ветра...

— Да что ты?.. Говори, в чем дело?.. — произнес Иван. А глаза у самого так огнем и загорелись, вспыхнуло краскою бледное до сих пор лицо.

Воротынский живо описал, как далеко ворвались оба полка в самое сердце города... Теперь двинуть остальное русское войско прямо во дворец — и взять можно хана живьем со всеми его сеидами.

Воодушевление и вера Воротынского в полную победу окончательно заразили царя. Он весь дрожал, не сводя взоров с осажденного города. Из-за уцелевших домов предместий высились стены, валы надо рвом, зияющие широким проломом у Арских ворот. А дальше все было затянато дымом и пылью, которая взметнулась в воздух в момент взрыва и еще не улеглась, не успела осесть...

И вдруг, повернувшись порывисто к Морозову, царь сказал:

— Скорей гонцов по полкам... На приступ трубить!.. Все на бой! Раздавим врага нечестивого, коли Бог того хочет!

Ну тут из рядов выехал Адашев, с почтительным видом приблизился к Ивану и, склонясь на седле, негромко заговорил:

— Государы! Не прикажешь ли обождать еще? Не велишь ли первого приказу твоего держаться? Пусть наши воины, что в город вошли, к стене да к башне Арской ворются. Сам же ты решил на совете: рвы надо засыпать, широкий путь приготовить, все другие подкопы взорвать, вконец обездолить врага, а тогда уже с татарами последним смертным боем перевестаться... Сам же ты решил, государы! Прости, что я, слуга твой, смею напомнить тебе... Твою же волю напоминаю...

— Я решил — я и перерешить могу. Что ты учишь меня? Что ты смыслишь? Не все расчет, но и отвагу Бог любит, особливо в ратном деле... Да и некогда мне толковать с тобою. Вон солнце как высоко! Успеть бы двинуть полки... все свершить до вечера!..

— Не поспеем, государы!.. Осенний короток день... Если сейчас велишь подкопы рвать, пока соберемся, пока ударим — и ночь настанет. И все пропадет... Успеют за ночь оправиться неверные... Помысли, государы!..

— Прочь!.. Оставь! — уж с явным раздражением проговорил Иван. — Зазнался, холоп... Много воли взял! Я ли

не сказал: подкопы рвать, полки собирать! На приступ пусть трубы трубят... Слышали!

Морозов и остальные вожди, понимая, что Адашев прав, не торопились исполнить приказ царя.

Он огляделся, и уже нескрываемая ярость сверкнула в его глазах, сразу помутневших, налившихся кровью.

— А-а... — хриплым каким-то, не своим голосом заговорил Иван, — ты им всем то же внушаешь: не слушать приказу царского... Да я тебя...

И рука Ивана судорожно скользнула к рукоятке богатого ножа, украшенного камнями, висящего в ножнах с боку у царя. Звякнули колечки кольчуги одно о другое от судорожного движения. Напружились жилы на лбу у царя, переполняясь кровью.

В это самое мгновение Адашев, сидевший в седле с поникшей головой, вдруг весь выпрямился и, уловив взор Ивана, стал глядеть ему прямо в глаза своими черными пронизательными глазами, из которых словно свет заструился и в которых читался какой-то немой, невнятный, но неотразимый, властный приказ!

И сразу опустилась рука Ивана. Лицо подернулось легкой судорогой и стало снова бледным.

Царь, помолчав мгновенье, уже спокойнее, ровным, слегка усталым голосом проговорил:

— Ну, ладно уж... подумаешь! Так, по-вашему, бояре, лучше не отваживаться зря? Утра погодить?.. Ин, будь по-вашему...

— Ты сам так решил, государь... — отозвался Морозов, видя, что дурная минута миновала.

Адашев ничего не сказал и даже отъехал опять назад, смешавшись с рядами свиты, окружающей царя.

— Слыхал, Воротынский?.. Киньте город... Делай, как приказано: на башне, на стене отбитой укрепляйтесь... Мосты жгите, чтобы казанцы не напали на вас ночью... А мы тут рвы засыпать станем, дорогу изготовим и завтра в город все войдем.

Поклонился Воротынский, повернул коня, скоро из виду исчез. И царь поворотил коня, не то разозленный, не то смущенный чем-то, молча к ставке своей поскакал.

Молча неслись все за ним.

Легко сказать было: «Киньте город, верните людей!» И трудно оказалось выполнить. Опьяненные резней, увлеченные легкой добычей, люди не слушали ничего. Не видя грозящей опасности, забыв, что, того и гляди, вернутся

ордою татары, русские ратники рассыпались далеко кругом. Дали полную волю всем страстям и желаньям...

— На бой!.. На дворец ханский грянем!— кричали ратники.— Там настоящая пожива будет. Нешто можно от победы от своей и вспять ворочаться?.. Изменяют воеводы наши, видно. Не слушай, братцы, вали вперед!..

И мелкими отрядами все шире да шире разливались они по этому концу Казани.

Но тут есаулы и сотники, побуждаемые начальством, стали действовать решительней. Нагайки замелькали. Прикладами пицалей стали назад поворачивать непослушных... Кстати, показались с разных сторон и небольшие татарские отряды конных, начали нападать на тех, кто отстал от главного отряда русского, в сторону отбился. Много таких отсталых пало под ударами татар и в плен было захвачено.

С великим трудом, кое-как, к вечеру собрались все ратники у Арской башни, едут и пешие идут, доверху добычей нагруженные. Новая беда тут приспела: половина ратников в лагерь ушла, сносят туда награбленное добро... прячут добычу.

Но и остальных людей хватило, чтобы занять башню у ворот и крепко там на ночь устроиться.

Стены по обе стороны башни треснули, полуразрушились, и русские их подожгли, так же как и мосты, ведущие в город. Широкая первая стена была построена из двух рядов толстых бревен, между которыми щебень и земля набита. Загорелись эти бревна, горят мосты... Рушатся обгорелые деревянные части — обшивка стены... Осыпается с грохотом камень и земля, которых ничто не сдерживает больше... И всю-то ночь, как гигантский костер, пылали эти мосты и стены, мешая татарам, уже пришедшим в себя, напасть на московов, занявших самую важную точку — Арскую башню крепостную.

Все-таки за ночь татары напротив пролома успели новую, временную стену возвести.

Весь следующий день, в субботу 1 октября, осаждающие довершали свою разрушительную работу в этом месте. Пушками повалили остатки старого сруба деревянного, там, где не успел огонь докончить своей работы, и разбили большую часть новой стены, той, что казанцы за ночь вывели.

Ров широкий и глубокий, больше двадцати аршин ширины и девять глубины, заполнился почти весь в этом месте — лесом, балками, землею закидали его русские. А рабо-

ту их прикрывали те, кто сидел в Арской да в осадной башне. Не позволяли они врагам ударить по работающим!..

К вечеру стихло все в русском лагере и вокруг Казани. Пушки перестали рокотать, пищали не грохают. Во всех полках молебны служат, исповедуются люди ратные, прищажаются перед последним решительным боем.

Никто не знает, жив завтра будет ли?..

Во дворце хана мертвая тишина и смущение: донеслось уж сюда известие о завтрашнем приступе.

Сначала слухи только были. А тут и посланный явился от царя Ивана.

Мурза Камай пришел, говорит:

— Прислан я от московского великого князя ради спасения жизни вашей, чтобы избежать пролития лишней крови. Отвернул Аллах лицо свое от Юрта Казанского. Сами видите: их, гяуров, счастье... Они на стенах, они на башне. Они завтра в город войдут... все сто тысяч воинов! Гибель Казани приспела... Покоритесь! Трех изменников, которые мятеж учинили, царю выдайте и нового хана своего, Эддин-Гирея... Простит тогда государь, все на старое повернется, миром война кончится...

Задумались все князья, сеиды и вожди казанские, которые, во главе с Эмир Кулла-Шерифом, муллою, на совет сошлись... Переглядываются, перешептываются...

Наконец заговорил мулла:

— На все воля Аллаха милосердного! Ты послан, ты свое сказал. Священна глава посланных... Не тронем мы тебя. Вернешься к гяурам. Но стыд и позор тебе, мусульманину, что ты врагам Аллы покорен стал, что нам, собратьям, такое позорное дело предлагаешь! Не покоримся мы, не станем челом бить! На стенах Русь... На башне Русь! Пускай... Мы другую стену поставим, грудью станем за юрт, за веру, за хана нашего... Все умрем за него, за царство Казанское, за волю свою или отсидимся. Зима ударит — уйдут москвы. Не выдержат жизни в лесах наших... Ступай, пес, так и скажи, неверный раб, неверному господину своему.

От стыда и досады покусывая концы своей, крашенной в медный цвет, бороды, поклонился Камай, вышел, к царю Ивану поскакал, доложил об исходе посольства.

Черемисы-разведчики, которые в одно время с Камаем от русских подосланы были и по Казани шныряли, тот же ответ ото всех татар слышали:

— Умрем, да не сдадимся Москве!

— Да будет воля Господня!— сказал Иван, выслушав

мурзу и горцев.— Видит Бог: я не желал пролития крови. Да падет она на главы им же!

И со всеми воеводами стал он обсуждать: какие последние меры надо принять, чтобы обеспечить удачный приступ?

С вечера во все концы, по всем дорогам потянулись сильные отряды, чтобы перенимать тех, кто пробьется сквозь главную цепь нападающих и уйти вздумает.

Царь Шах-Али с мурзами, воеводы Мстиславский, Оболенский, Мещерский, Ромодановский и другие, помладше, на это дело назначены. Почти третья часть войска с ними разошлась во все пути. Тысяч семьдесят для приступа назначено. Остальные, больше тридцати тысяч воинов, при царе останутся, его оберегать на всякий случай и в виде последних резервов служить должны, если бы судьба изменила и Бог прогневился бы — удачу не послал русскому воинству...

План штурма давно уже был обсужден, выработан и место каждому из воевод назначено. На шесть отрядов разбиты все полки, а в каждом отряде тысяч по двенадцать человек.

В первую очередь с трех сторон должны стрельцы с своими головами, казаки с атаманами и новгородцы пойти. Царевы боярские дети из разных полков тут же. Ополчение земское с воеводами младшего разряда идет сейчас же за этими первыми штурмующими, тоже тройной колонной, составляя подмогу.

Воеводы старшие со своими служилыми людьми и ратью бывалой еще грознее подкрепляют передовых. С царем отборное войско остается: лучшие люди, бояре дворские, новгородская рать отборная, казаки, мурзы и сеиды касимовские и другие, давно при царе служащие, люди испытанные, верные. У каждого из бояр и князей свой собственный отряд имеется, большой или малый. Из них-то и составила тридцатитысячная царская охрана. Рассылая воевод на места, Иван снова строго-настрого наказывал:

— Знака все ждите! Первого земли разрыва на Арской стороне! Раней ни шагу не делать самовольно! И все должны друг другу помогать в нужде, а не думать едино о себе: успеть бы пограбить али неудачу избыть, убечи подалее!

Разошлись воеводы по своим местам. Князь Михайло Иванович Воротынский с окольными Алешей Басмановым своих людей готовят, против Арских ворот хлопочут, где к рассвету обещано им новый широкий пролом сделать при

помощи подкопа. Вторая мина у Аталыковых ворот, близ Казанки-реки, стену порушить с противоположной стороны города. Здесь, как в менее опасном месте, начальство поручено казначею князя-воеводе Воротынского, Фоме Петрову, человеку незнатному, но в ратном деле сведущему и отважному.

У Кайбацких ворот князь Димитрий Иванович Хилков стоит. Ему подмога под начальством боярина, князя Пронского, чуть подальше станом раскинулась. Передовой отряд ертоула должен князь Федор Шемякин на Збойлевы ворота вести, а князь Юрий Шемякин его сзади поддержит, по-братски, когда потребует. На Елабугины ворота, что на самую Казанку-реку глядят, первый приступ ведет князь Андрей Михайлович Курбский, имея в подмогу князя Щенятева с сильным отрядом. Место тут очень опасное, против дворца ханского. Но Иван успел узнать и оценить храбрость молодого Курбского, почти ровесника своего, и поручил князю главенство, несмотря на то что Щенятев и родом, и годами старше.

Мурзалеевы ворота достались Семену Васильевичу Шереметеву, за которым в запасе князь Серебряный поставлен. Храбрый, доблестный воевода Дмитрий Плещеев с помощью князя Микулинского должен справляться с татарами у Тюменских ворот, которые тоже прямо во дворец ведут...

Разошлись воеводы, которым подальше от царя места достались. Надо готовить людей к бою, отдохнуть хорошенько перед штурмом и собраться с силами, чтобы покорить сарацин государю православному... А Иван и спать не лег, долго еще беседовал с теми воеводами, которые с его стороны войска поведут.

Потом призвал второго духовника своего, Андрея, тоже протопопа благовещенского, которого с собой в поход взял, и со слезами во всех грехах перед ним исповедался.

— Во имя Отца и Сына и Духа Святаго отпускаются тебе, чадо, все грехи твои вольные и невольные!— осеняя широким крестом коленопреклоненного Ивана, произнес старичок-исповедник, благословив чадо духовное, и ушел в походную церковь, где уж все священство лагерное собралось, чтобы всенощное бдение править, а там и заутреню...

— Вели, Алеша, юмшан мой нести, доспехи все боевые!— обратился Иван к Адашеву, ожидавшему приказаний царя, который уж совершенно помирился с любимцем своим,

признав, что вчерашнее вмешательство Адашева было кстати.

Адашев помог вооружиться царю, каждую пряжку, каждое колечко оглядел на кольчуге: цело ли да исправно ли? Шлем стальной, вороненый, хитрым золотым узором изукрашенный, сверху короной царской из литого золота осененный, наготове лежит. Над забралом, в иконе небольшой, изображающей Георгия Победоносца, часть нетленных святых мощей заделана, чтобы ни пули, ни стрелы не коснулись венчанной главы миропомазанника.

Нагнулся Адашев, хочет шпоры Ивану прикрепить. И вдруг почувствовал, что рука, к которой царь опирался ему на плечо, сильно дрогнула.

— Что с тобою, государь? Али крепко затянул?

— Нет... Стой... Молчи! Молчите все! — почти прикрикнул Иван на окружающих, которые негромко толковали между собою о том, что завтра Бог даст.

Все словно окаменели, заражаясь внутренним, непонятым волнением, от которого внезапно вспыхнуло лицо царя, озаренное багровым огнем светильников, зажженных в шатре.

— Слышите? Слышите ль, спрашиваю вас, звоны над Казанью знакомые?.. Точь-в-точь как большой благовестник-колокол в Симоновом монастыре, бывало, звонит...

И, порывисто подойдя к выходу, царь распахнул полы шатра, высунул голову наружу и стал прислушиваться.

Всех тоже так и качнуло за царем. Сгрудились за Иваном толпою, дыхание затаили, слушают: нет, не слышно им ничего!

— Слышите ль? Пытаю... Што ж молчите?!

— Слышим... Да не ясно... Словно бы далеко очень... — нерешительно раздаются голоса.

— Вот, вот!.. Я слышу, государь! — быстро, громко вырывается у Адашева. — И то: наши колокола, монастырские... К добру такой знак, государь. Радуйся! Сам Бог тебе знать дает, что скоро на месте кумирен бесовских воздвигнешь ты храмы Божие...

— Вот! Вот... Так я сразу и подумал, Алеша. Один ты умеешь понять меня... Верю, Господи! — подымая руки и глаза к небу, произнес в молитвенном порыве Иван. — Верю и обет свой даю: первое дело мое будет, как город возьмем, церковь поставить во имя Заступницы всех христиан, Пречистой Матери Христа, Бога нашего!..

— А еще, государь, слышал ли ты, знаешь ли, что бы-

ло? — снова заговорил Адашев, видя, как воспрянул духом его питомец, в котором до сих пор жажда победы боролась с боязнью поражения.

Скрывал эту борьбу ото всех Иван, но от Адашева она не укрылась. А стоило проявить сомнение царю — и все бы кругом заразилось тем же опасным чувством.

— Что ж было-то? Толкуй скорее. Немного нам можно и калякать тут. В церковь, поди, пора... Говори же, ну...

— Это недолго и сказать, государь. Ивана Головина челядинец, Тишка по имени, уражен был стрелю татарской. И лежит в жару. Была, видно, стрелка чем ни на есть да помазана... И видит Тишка во сне все поле, то самое, с которого подняли, принесли его... И будто тамо все битва идет... А по-над полем — апостолы святые: Петр и Павел, и святитель Николай Чудотворец так и витают, осеняя полки наши, русские. И взмолились татарове: «Отче Николай! Помоги нам! Погибаем!..» Тогда святитель и говорит апостолам: «Воистину глаголю вам: граду сему вскорости свет православия узрети доведется». Благословили блаженные град Казань, а сами по воздуху растаяли... Все про Тишкино видение слышали...

— А я и не слыхал доселе!.. Попик тут один еще мне сказывал, что святого Даниила видел во сне... И свет будто бы сиял чудесный над Казанью. Ну да что гадать! Буди воля Божия! В церковь пора...

И со всеми царь отправился в свою походную церковь во имя архистратига Михаила Архангела, для которой среди стана был раскинут особливый, большой шатер.

...Горячо молится царь, ниц распростерт перед святыней, так что кольчуга и наколеники его след оставляют, глубокий след на песке, заменяющем пол в этом шатре-храме... Долго царь молится. А служба торжественно, стройно идет своим чередом.

Зарокотала октава могучего на вид протодиакона, начавшего чтение святого Евангелия, какое приходится на этот день. Огни свечей дрожат и сильнее мерцают, сдается, от густых звуков голоса чтеца. Слишком могуч этот голос и тесно ему в колыхающихся стенах шатра. Пронизав их, вырвавшись в раскрытую часть палатки, далеко-далеко несется звук этого чтения, навевая неясный, священный трепет, вызывая невольные слезы умиления на глазах даже у самых грубых, распутных из воинов, широкой стеною стоящих за шатром, и у надменных воевод, наполняющих самую церковь...

Быстро время идет. Вот уже засветлела узкая полоска неба там, далеко, на краю, на востоке.

Облака, задремавшие на западе, стали слегка вырисовываться на фоне более темного неба.

Близок рассвет... К шести часам утра и солнце появится. Скоро это... Почему же не слышно взрыва?

Ведь царь приказал на самом рассвете первый подкоп взорвать, подать этим сигнал к началу приступа.

Закончил молитву Иван. Стоит, весь напряженный, трепещущий, лицо пылает... Прислушивается чутко и так ушел душою из церкви к тому, что за ее стенами делается, что даже не слышит громового голоса, читающего слова Евангелия, слова, возвещающие мир, любовь и согласие на земле между всеми людьми, как между детьми Единого Отца Небесного...

— И будет едино стадо и Един Пастырь!— возвещает благую весть мощный, красивый, захватывающий голос чтеца-протодиакона...

И вдруг раздался иной голос, словно пронесся удар громовой... Задрожала земля даже здесь, далеко от места взрыва, заколыхалось пламя на оплывших, тяжелых восковых светильниках...

Это взорвало подкоп, устроенный под наблюдением Адашева, под стенами Казани. Человек при помощи пороха заставил землю раскрыть недра свои, метнуть на воздух все, что создано было потом и кровью, трудами и разумом других людей. И в громовом раскате, в реве воздушной стихии, потревоженной злобою людскою, словно прозвучал мощный призыв сатаны:

— На бой! На кровопролитие спешите скорее, люди, рабы и слуги мои!..

Как бы повинувшись этому призыву, Иван воскликнул:

— Наконец-то!..

И кинулся вон из шатра церковного.

При свете воскресающего дня можно было видеть, какой ужас творится в Казани на месте взрыва, у Аталыковых ворот.

— Трубить поход!— словно из металлической груди, резко и звонко приказал царь, а сам постоял, поглядел и порывисто вернулся в церковь, чтобы дослушать весь обряд, всю службу выставить церковную, как подобает. И только возобновились молебны и напевы — второй удар раздался, еще сильнее прежнего.

Это взлетели на воздух стены и башни по соседству от Арских ворот, которые были уж заняты русскими.

При этом взрыве не одни татары пострадали.

Бревна, камни, поднятые на огромную высоту, разлетелись так широко, что часть их рухнула на головы ближайших русских отрядов, стоящих уж наготове, чтобы сейчас же ринуться в пролом, как только минет первая опасность от обломков.

Вместе с деревом и камнем долетали в русский стан куски человеческих тел, еще трепетавшие от пережитой муки, падали целые трупы мужчин и женщин-татарок, которые на стенах помогали своим мужьям... Зазвучали трубы, загремели бубны боевые... На татар, испуганных, ошеломленных изменой их родной матери-земли, двинулись люди-враги, поражая и кроша не только ратников, но и безоружных, беззащитных татар и татарок, стариков, детей... Бой начался...

— С нами Бог!— прорезая дикий шум битвы, звучит победный клич русской рати.

И взбираются на стену ратники, рвутся в пролом, пробиваются в ворота раскрытые...

— Алла инш-Алла!.. Магомет пророк его!.. Умрем за юрт, за землю родную!..— в иступлении голосах казанцы, хотя и сознающие свою гибель, но остервенелые до конца.— Бей гяуров!.. Слава нам! Смерть врагу!

И туча стрел темнит воздух... Кипятком обливают женщины тех, что по стене взбираются... Бревна и камни летят на головы нападающих, дробя черепа и груди.

А царь Иван снова упал перед иконами ниц, молит о победе Господа... Слезы текут по щекам, рыдания рвутся из груди... И рыдают попы и люди ратные кругом!..

Долго тянется служба церковная...

Не переставая, длится бой вокруг Казани. Опомнились после первого ужаса казанцы, стали сильнее отпор давать нападающим. И у них все тоже не плохо к борьбе приготовлено. Против ворвавшихся в пролом русских отрядов свежие силы посланы из тех мест, где нет нападения, но где, на всякий случай, воины были собраны. Теперь и послали их в самые опасные места...

Но нападает пятьдесят тысяч, а защищается только двадцать тысяч...

Часть казанского войска с ханом стоит вне боя пока,

тоже на крайний случай запасена. От Арских ворот хан со своими избранными полками отступил за временное укрепление. И все-таки стали татары вытеснять нападающих, не дают им ходу вперед. Гаснет воодушевление ратников, усталость овладевает ими. Ведь уж сколько времени бьются они, а толку мало. Подмога нужна — и нет ее!

А царь Иван все молится...

— Государь!— говорит Адашев.— Вестники пришли. Тебя зовут воеводы... Пусть войска лицо твое светлое увидят, бодрее в бой пойдут. А то много отсталых есть. И вести бой, почитай, некому!..

Но царь словно и не слышит! Только старается на любимца не глядеть и продолжает молитву.

— Государь, слушай, что говорю!— не отстаёт Адашев.— Пора на бой! Скажут, устранился царь... Неладно, государь!..

— Оставь, Алеша! Дай службу достоять... Грех, не мешай!— громко наконец ответил Иван, видя, что отмолчаться нельзя.

Немного погодя снова гонцы. Воеводы царя ждут. Войны изнемогают. Большую подмогу везде послать надобно... Вздохнул Иван.

— Что делать, бояре! Ступайте к полкам!— обратился он к воеводам, которые его царскую рать вели.

— Половину со мной оставьте. Половина пусть на приступ идет!

Перекрестился в последний раз, вышел, вскочил на коня. Лицо бледное, истомленное; от слез, от бессонницы воспалились глаза. Трудно глядеть ими.

Прищурился, осенил себя крестом и поскакал туда, где сеча кипит вокруг Казани и в стенах ее. Не видно еще ничего. Далеко церковь стоит от города осажденного. А дым орудий и утренний туман, еще не развеянный совсем, заволакивают дымкой горизонт.

— Что там творится? Какие вести?— спрашивает у окружающих царь.

— Да вон, никак, гонец скачет... Скажет тотчас...

— Государь!— задыхаясь, объявляет гонец князя Воротынского и Микулинского.— Все слава Богу!.. Наши уж и на стенах, и в городе... Много было отсталых по пути, в кусты забирались, под самой стеной взяли и легли, словно бы побиты они или ранены... А как увидели, что передовые самые люди, которые похрабрее были, врага погнало от стен, и они, притворщики эти самые, ожили, на подмогу

встали!.. Теперь, царь, увидят тебя, пуще воспрянут духом воины!

Мчится вперед Иван. А навстречу второй гонец от дальнего конца города, от Казанки-реки, где Курбский Андрей с братом Иваном бьется...

— Княжев брат, Иван,— доносит гонец,— первый на стену взобрался... Сеча была жестокая! Смогу горячую, воду кипящую лили на нас неверные!.. От стрел темно стало от ихних!.. Пищальми, пушками палили. Ничего не помогло! Врукопашную мы как двинулись, и следочка их не осталось!.. Все тыл дали! Теперь на ханский двор они сбежались, на горе... А двор тот крепок! Мечети и хоромы каменные и меж ними оплот высокий нагорожен из бревен, земли и с камнем пополам!

И со всех сторон все одно доходит... Русские верх одержали в первом бою. Но устали все. Подмога нужна.

— Послана подмога!.. Теперь на Бога уповать будем!— говорит Иван.

Вот въехал он со свитой на высокий холм против Арских ворот и велел здесь царский стяг установить.

Заметило войско царскую хоругвь. Крики по рядам пронеслись:

— Царь... Царь-батюшка!.. Сам государь глядит!..

И с новой силой двинулись в битву отряды, недавно еще изнемогавшие от непомерного напряжения сил. Раненые, шедшие было в стан, назад возвращаются, становятся в ряды... Даже из лагерей ближних, из стана царского, стали сбегаться обозные, конюхи и торговый люд, как только вести туда дошли, насколько удачно совершилось нападение на твердыню татарскую.

— Что хан? Что Эддигер? Не убит ли? В полон ли не взят?— допытывался Иван у каждого нового гонца.

Но все отвечали, что сеча пока кипит вокруг самых стен и укреплений. А хан в середине города русских дожидается, на Купецком рву, на Таджикском по-ихнему...

— Что же воеводы медлят?.. Сказать Воротынскому, Мстиславскому, Шереметевым братьям — туды бы кинулись! Все бы другое бросили! Царя татарского возьмут — Казань возьмут. Без матки улыю не стоять! Теперь одна эта забота.

А воеводы тем временем уж сами добрались до хана. Мюриды, беки, все лучшие воины с ним. Как звери бьются! Улочки в азиатском городе тесные... Каждая улица — ущелье малое. Легко оборонять его, но брать трудно. Только

одна беда: слишком велик перевес у русских... И все-таки не поддаются казанцы. Вот в одном месте казаки и татары так сшиблись копьями, что несколько минут оба строя ни взад, ни вперед не могут двинуться. Мертвые, пробитые железом люди стоят стеной, сидят в седлах своих коней, служа защитой для задних рядов, которые из-за спин мертвых товарищей врага кинжалами колют, саблями сечь стараются, пиками пронизывают...

Но от этого еще больше сплотилась двойная лавина людей-врагов, истребляющих друг друга, словно звери...

И тут москвичи нашлись. Низки сакли у татар. Крыши все большие, плоские...

— Лезь по крышам! — крикнул кто-то. — Вались на них!

В ту минуту зачернели плоские кровли тысячами ратников. Взберутся да сверху копьями и шашками поражают татар. Те отступают дальше. Соскакивают тогда ратники, затем опять на крыши... И так постепенно заставили татар с ханом на широкую площадь выбраться... А тут уж со всех сторон заливать стали русские врага. И с воплями кинулись татары назад, к мечетям, ко двору ханскому... Седой мулла, с развевающейся по ветру бородой, напрасно корит и проклятьями грозит беглецам, — все мчатся под прикрытие дворцовых зданий, к главной мечети... Только тут остановились, передохнули и ждут врагов.

Но немного воинов русских появилось здесь перед татарами.

Новгородцы, видя, что город почти взят, первые смекнули: не пора ли за добычу приниматься?..

И кинулись в наиболее зажиточные с виду дворы и дома, какие попадались им во время наступления на татар.

Челядь обозная, добровольцы все, которые из лагеря не столько на подмогу прибежали, как с целью поживиться чем-нибудь, быстро последовали примеру ратников.

С удивлением увидел Иван, как из разных ворот стали появляться воины и другие люди, толпами и поодиночке, нагруженные различным добром. Кто ближе стоял, в лагерь свой сходил, сложил добычу и снова за тем же в город кинулся. Только отборные люди со своими воеводами не выходят из строя, сражаются с татарами, которые живыми не сдаются!..

Вожди татарские быстро догадались, какую помощь им судьба посылает, как жадность врагов и беспорядок, возникший в полках, могут быть спасительны для взятого

города... Быстро разосланы были люди... Отдельные мелкие отряды татар собираются к мечети... Незаметно построились они в обширных дворах дворца ханского, и вдруг словно лавина обрушились на ослабевающие отряды русские, уже изнемогающие от боя, длящегося целых три часа!..

Не выдержал русский отряд, стоящий против хана, дрогнул, быстро стал отступать, надеясь соединиться с другим полком и навестать свое.

Татары, окрыленные успехом, бешено наступают, позабыв об обороне... Простые люди, обыватели казанские, не воины, раньше притихшие, смерти ожидавшие, поднимают оружие, которым усеяны улицы, и нападают на отдельные кучки грабителей, особенно на те, что состоят из обозной челяди.

Как раз в это время подскакал к Ивану гонец от Воротынского.

— Государь, подмогу шли! — говорит. — Новгородцы и иные людишки корыстные, слабые бой кинули, за грабеж принялись. А татарам и на руку. Стали сильно наседать. Гляди, из городу выпрут. Больно ратники изустали: без передышки рубятся... Шагу даром казанцы не дают. Сами гибнут, наших губят!..

— Скорей, бояре, Алеша... Посылайте голов, шлите людей... сами скачите... Остановите грабеж! Пока хан не взят, пылинки не трогать... Все дело сгибнуть может! Потом — все ихнее же будет. А теперь воевать, а не грабить пора... Убивайте, казните собак на месте! — кричит вне себя Иван, ногою коня по бедрам бьет.

Вертится конь, ржет, словно спрашивает, что с всадником сделалось?

А Иван весь трясется.

— Господи! — шепчет. — Не дай погибнуть делу великому! Не отдай меня на поругание вечное... Сгибнет дело казанское — и я погиб. Век мне у бояр на помочах быть, смех да покоры терпеть... Не доведи, Господи! Лучше не дай дожить, Господи!.. Столько крови пролито, столько добра сгублено... Царство мое пошатнется, вся держава русская! Отведи, Господи... Молю Тебя! Великие обеты даю...

Но не успел он докончить молитвы, как что-то ужасное случилось... Из Кайбацких ворот, которые немного в стороне от Арских и Царевых находятся, русские побежали!.. Видит Иван: толпы целые бегут с дикими воплями:

— Секут, секут!.. Татары наших секут...

И, бросая по пути награбленное все добро, заражая

страхом других, бегут прямо к стану, к Волге, эти толпы, по большей части челядинцы и обозные...

Побледнел Иван... Не прежнее душевное отчаяние, а какой-то безотчетный, дикий страх сдавил ему сердце: страх за собственную жизнь. Будто и нет вокруг него пятнадцати тысяч отборных ратников, одетых в сталь, смелых, искусных, преданных, — все наготове стоят и скорей сами умрут, но его выручат!

«Мало ль что бывает? Пуля пищальная, стрела татарская — далеко берет!..»

И, еле лепеча дрожащими губами, царь произнес:

— Назад... К Волге... В стан повернем... Скорее! Пропала битва... Одолели, проклятые...

— В стан? Что ты, государь?! — раздались негодующие голоса стариков-воевод, окружающих царя. — Злыдни побежали, а ты невесть что думаешь! Вестей нет худых поамест... А если и плохо нашим — в Казань, на подмогу, а не в стан торопиться нам надобно...

— В Казань?.. На гибель?! Вижу, изменники: заманили вы меня! Хотите от царя поизбавиться... Вам самим жизнь не дорога, знаю... Знаю и то, как любите вы меня... В стан, говорю!

— В Казань надо, государь... Ведите полки, воеводы! — властно вмешался Адашев, хотя ни род, ни сан не давали ему на то никаких прав. Но в решительные минуты правит не знатнейший, а сильнейший.

Таким оказался Адашев. Схватив за руку Ивана, который уже стиснул было рукоять своего оружия, Адашев двинулся с холма, увлекая и царя с конем за собой.

Последние московские полки, оплот русской рати, разлившись тремя потоками, вступили в Казань через трое ворот с кликами:

— Мужайтесь, братцы!.. Бей татар!.. Сам царь на них идет.

И стоило появиться новым отрядам, только весть прошла, что царь тут, в стенах городских, ожили ратники в русских полках. А бешеный напор удалцов казанских, как о скалу прибой, разбился под натиском свежих отрядов царского полка...

Снова отброшены татары за пределы царского дворца, там последний бой идет!

А у Арских ворот, где развевается большая хоругвь царская, Иван, бледный, потрясенный, прильнул к древку ее и, не сводя глаз с чудотворного креста Дмитрия Донского,

которым осенена святыня, громко молится, перемежая слова рыданиями и воплями:

— Помилуй, Господи!.. Защити, не предай в руки неверным меня и царство мое!.. Не отдай на поругание агарянам и своим изменникам! Дай, дай... дай победу, Всемиловитый Творец!.. Всю жизнь отдам на служение Твое!.. Не отымай только дыхания у меня теперь, не лиши трона, наследствия отцов и дедов!.. Грешил я, Господи! Но по неведению!.. Помилуй... помилуй, помилуй, Господи!..

Молится громко, отчаянно Иван, рыдает безумно!.. И вдруг умолк... Пена проступила на губах... Лицо сероватое стало... С коня на землю валится...

Знают бояре и Адашев, что это значит... С двух сторон прижались двое человек своими конями к царскому коню... Держат Ивана, крепко держат за руки, чтобы в содроганиях он не свалился с седла. А все остальные тоже стоят стеной, закрыли от воинов то, что с больным царем сейчас творится...

Четвертый час пополудни. Вся Казань у русских в руках. Защитники стен и крепостных башен, уцелевшие в первых стычках с русскими, кидаются со стен вниз, бегут к реке Казанке, в соседние леса, во все концы!.. Но тут сторожат их заранее посланные отряды и секут мечами или на аркан берут и тащат за собой.

Теперь только в самой ограде дворцовой не бойня, не избиение бегущих и безоружных, а настоящий бой идет. Но и тут судьба татар решена. Их десять тысяч против семидесяти. Пал духовный владыка царства, душа обороны казанской Эмир Кулла-Шериф, уронил ятаган, которым разил гяуров. Пал он с проклятьем на пересохших губах, с ненавистью в потухшем старческом взоре, закрывая ладонью широкую рану, нанесенную гяурской рукой прямо в грудь старику.

Видя, что их вождь смертельно ранен, татары вынесли его из самой сечи, из свалки боевой, положили в стороне, поодаль, на ступени соседней мечети, сами снова в бой ринулись...

Вот уж отступают остатки дружины Шерифа под натиском свежих отрядов врага. Мимо умирающего старика пробегают московские ратники, гонясь за казанцами.

Тогда Эмир в последнем содрогании приподнял от земли тяжелеющую голову, полной горстью собственной крови, которая лилась у него из раны, плеснул вслед врагам и прохрипел:

— Чумой пожирающей падет кровь наша на вас, ненавистные!.. Пожжет утробы ваши... жен, детей ваших, волки... шакалы несытые!.. Язвой и чу...

Но не мог уж закончить проклятия и, вытянувшись, замолк, окостенел навсегда...

А русские все преследуют татар. Особенно яростно нападают они на тот угол дворца, где в одном из внутренних дворов, окруженный батырами-героями татарскими, силачами и смельчаками первыми, Эддин-Гирей старается пробиться вниз, к реке, в надежде ускакать, вырваться из губительного железного кольца, которым охвачены остатки войск хана.

Напрасная надежда!

Заметили русские хана, и все гуще, гуще становятся их ряды, все новые отряды прибывают, свежие люди то и дело становятся на место усталых и раненых.

Сплотившись плечом к плечу, окружив хана, секут и поражают казанские князья и белые янычары-стражники хана, убивают они каждого, кто подойдет на длину ятагана. Рукопашный бой только идет. Тесно в небольшом дворе, стрелять невозможно. Своих больше поранишь, чем врагов!.. И эти две живых, ожесточенных стены, кажется, вечно будут так убивать и давить друг друга, заливая кровью плиты, устилающие двор.

А кровь по плитам стекает в дождевые канавки, которыми окружена вся площадка, и отсюда, по наклону высокого, с усеченной вершиной, холма, на котором стоит весь дворец, устремляется она вниз и горячими, парными, пурпурными ручьями, журча, катится во все концы: к речке Казанке, в сторону сонного Булака и в другую сторону, до самых Тюменских ворот...

Сбылось древнее пророчество: «Когда дождь кровавый прольется и кровь ручьями побежит, падет царство Казанское!..»

Преследуя отступающих татар, русские увидели, как те быстро миновали одну из обширных дворцовых площадей и стали строиться на более дальней.

А здесь, прижатые к стенам, заплаканные, испуганные, оказались толпы женщин, разодетых в лучшие наряды, с дорогими уборами на голове, с ожерельями на груди... Все — молодые, прекрасные... Ко многим мальчуганы, девочки жмутся, тоже напуганные шумом битвы, бледные, рыдающие... И много, больше пяти тысяч таких молодых, красивых, беззащитных женщин и несколько ты-

сяч детей, — все семьи первых вельмож казанских, — здесь на произвол судьбы оставлены. Это была последняя ставка потерявшего голову врага. Защитники хана предвидели, что ратники московские, да и сами воеводы соблазнятся женской прелестью, что тронет их рыдание детей... Остановится на время губительная лавина, и успеет Эддин-Гирей в это время бежать через нижние, Елабугины ворота за Казань-реку. Тем более что у Курбского, отряд которого захватил эти ворота, и тысячи человек не осталось...

Но надежда обманула казанцев. С жалким остатком воинов Курбский успел остановить бегство хана и его «бесмертных» мюридов и янычар... А главные отряды, только на миг задержавшиеся полюбоваться на невиданное зрелище, снова по пятам нагнали хана с отрядом его и стали опять сечь и рубить беспощадно!

В то же время добрался до хана израненный смельчак и передал, что пал главный мулла, что все до единого перебиты люди, окружавшие Кулла-Шерифа...

— Покинул нас Алла! — только и сказал Эдигер.

По трупам, по головам живых татар, словно по мосту, успел взобраться хан и воины его на стену, где самого Эддина в полуразрушенной башне укрыли татары от стрел и от ударов врага.

И видят воеводы: из окна этой башни белое что-то развевается, словно пощады просит враг, сдаваться желает! Воротынский велел трубить отбой, голов послал с приказом:

— Остановите ратников! Сдается хан! Сдаются мюриды!

Сечу едва остановить удалось! Выступил от русских один перебежчик-мурза и спрашивает:

— Сдаетесь? Хана отдаете в руки воеводам?

— Хана отдаем! — отвечает один из князей татарских. — Но сами — не сдаемся! Мы только Эддин-Гирея сберечь хотим. Мусульмане в Казань его на царство звали, а не для того чтобы ему молодым смерть принять. Зачем губить семя царское? Берите хана. С ним — имилдеша два, два брата его молочных, и князь Зейнал-Аиш, родич ханский. Пока юрт стоял, пока не владели вы священным местом, мечетями, двором царским и тронном повелителей казанских, потоле и надежда жила у нас, готовы мы были умереть с ханом! Теперь — берите его. А нас в чистое поле выпускайте. Там в последнем бою переведаемся!

— Пусть так будет! — согласился Воротынский.

И вот между раздавшимися рядами своих и чужих воинов, бледный, шатаясь от перенесенных волнений, от

горя и стыда, до крови закусив губы острыми белыми зубами, идет Эддин-Гирей, садится на коня... За ним — двое юношей, молочных братьев, любимцев и наперсников хана, и старик, князь Зейнал-Аишь... Им подают коней, их окружают русские всадники и скачут, несутся все на другой конец города, где у Арских ворот царь Иван с хоругвью великой стоит. Затем ратники московские, выполняя слово, отступают, дают дорогу небольшому отряду татар, чтобы могли те в поле выбраться...

Но татары не верят благородству врага. Не идут по этой дороге, а прямо скачут вниз, со стены, к реке.

Тут как раз брод знакомый через Казанку...

По ту сторону — лес... Может быть, хоть этим семи-восьми тысячам человек удастся уцелеть?..

Нет, напрасно! Русские не дремлют!..

Отряды, что на Галицкой дороге стоят, увидели бегущих, ударили в погоню — и общая участь постигла этих храбрых.

А на другом конце города, у хоругви священной московской другое происходит.

Против обыкновения, быстро прошел припадок болезни у царя. Раскрыл он мутные глаза и видит: сидит на седле... Адашев с одной стороны, Морозов с другой его поддерживают. Но не так уж крепко, как во время судорог, а осторожно, с почтением.

— Что со мной, Алеша? Что случилось? Разбиты мы? — вдруг тревожно спросил царь, вспомнив последнее, что он видел перед беспамятством...

— Победа, государь!.. Вот сейчас прискакал от Ворынского посланный... Хана к тебе плененного ведут... Курбский Андрей последнюю шайку татар добивает. А с тобою, от усталости, от ночи бессонной слабость приключилась просто, государь, великий князь всея Руси и царь казанский, — громко, первый назвал юного царя новым титулом Адашев.

— Слабость?.. Хан?.. Пленник?.. Я — царь казанский... Алеша, правда ли?..

Но тут и все окружающие поняли, что надо делать, и громко пронеслось в просторе начинающих темнеть лугов:

— Да живет государь, великий князь всея Руси, царь казанский!..

Снова бурные рыдания, но не мучительные, а восторженные, вырвались из груди Ивана, радостные слезы хлынули из глаз... И он, припав, как недавно перед тем, к древку хо-

ругви, в восторге, весь сияющий, ликующий, не находя слов, лепетал пересохшими губами все одно и то же:

— Господи... Царица... Милосердная... Господи Спасе... Господи, слава Тебе, Вседержителю, слава Тебе!..

И быстро-быстро, оторвав правую руку от древка, стал осенять себя крестным знамением...

Все начали креститься и творить благодарственную молитву вслед за царем.

Ближе всего от Мурзалеевых ворот можно было проехать во дворец. Улицу здесь кое-как поочистили от трупов, которыми было все покрыто кругом. Пока возились с этим, духовенство, бывшее при войсках Ивана, в торжественном шествии, с иконами, с крестами, явилось на поле битвы. Отслужили молебен Богу... Тут же сам царь назначил место для будущей церкви. Здесь, где он смертный ужас пережил и восторг неопишуемый, здесь должен храм стоять.

Затем царь в город вступил. И от самых ворот до дворца двойной стеною стояли пленники русские, получившие свободу только тогда, когда полки Ивана ворвались в город. На коленях, с воплями встречали они Ивана, восклицая:

— Избавитель ты наш! Царь наш пресветлый! Жизни своей не щадил — нас из неволи бусурманской, от мук адовых выручил!..

И бросали лучшие одежды свои под ноги царскому коню...

Солнце еще не село, а Иван вошел во дворец властителей казанских, занял место на троне стародавних, непримиримых врагов Москвы — ханов татарских, и принял поздравления на новом царстве, славной победой добытом!.. Те же бояре, воеводы, которые грубо смели перечить ему так недавно, теперь кланялись до земли, желали многая лета... Не выдержал Иван, заметил одному:

— Што ж, поживем!.. Поцарствуем. Ныне боронил меня Бог от вас... Его святая воля!

Переглянулись бояре, но ни звука не проронил никто в ответ.

А царь, словно спохватившись, что не у места счеты сводить задумал, благодарить всех стал за победу, ему предоставленную.

Волей-неволей пришлось и Шах-Али, недавнему царю казанскому, мусульманину, гордость и веру забыть, поздравлять царя-гяура с победой над исламом.

Вошел он, низко поклонился и произнес своим бабьим бесстрастным голосом:

— Здрав буди, государь, победив супостаты! Красуйся невредим на своей вотчине, на Казани, веки!

И только пятна багровые на желтовато-бледном, обрюзгом лице говорят, что творится в душе у татарина лукавого...

Встал, отдал поклон государь и ответил:

— Царь-господине! Тебе, брату нашему, ведомо: много раз посылал я к казанцам, в покое бы жили с Москвой. Жестокость и злое лукавство казанское самому тебе хорошо, брате, ведомо! На себе его испытал! Много лет они лгали нам, обиды чинили. И Бог Милосердый теперь рассудил Казань с Москвою в честном бою. Отомстил Он Казани за пленных христиан, за пролитую кровь христианскую. Его святая воля.

Умный и сердечный ответ царя понравился сверженному хану казанскому, понравился всем окружающим.

— Ишь, повеселел татарин! — заметил кто-то, указывая глазами на Шах-Али, важно занявшего свое место справа от царя.

Принял поздравления Иван, принял вождей горных, которые поспешили новому владыке покорность изъявить, и вернулся в стан. Темнеть стало. Да и запах тления в Казани силен. Носится он надо всем городом от трупов татар, что умирали во время осады и не были схоронены.

А в ставке царской доложили Ивану: гость к нему давно жданный припожаловал, гонец из Москвы. От царицы вести добрые. Хорошо себя чувствует царица. И другой гость приятный объявился тут же: второй царевич астраханский, Абдаллах-Бек-Булат-бен с юношей-сыном своим, Саин-беком. Красивый, могучий юноша, чуть помоложе Ивана. А лицо такое простое, открытое, словно детское. Сразу видно: ни горя, ни коварства в жизни не знал молодой богатырь. Пока отец его с царем «карашеванье», обычные обряды при встрече творил, Саин поодаль держится, глаз не сводит с Ивана.

Вот старик и говорит:

— Позволь, великий царь, сынка моего показать тебе. Не оставь малого...

— Показывай, показывай царевича! — ласково говорит Иван.

Он знает, что недаром бояре два года старались богатого и влиятельного царевича в Москву зазвать. После Казани —

Астрахань на очереди стоит. А для этого надо Москве и там такими же людьми заручиться, как был у нее Шах-Али, царь казанский... И Бек-Булат явился, наконец, да еще с собой сына привел.

Ласковым знаком подозвал Саина Иван.

А тот, забыв весь этикет, позабыв свой сан, прямо к ногам московского государя и нового царя казанского так и кинулся. И громко заговорил:

— Привет тебе, великий воин! Привет тебе, победитель казанский! Ехал я, знал, что к государю могучему еду... Приехал — и вижу, что героя видеть Аллах привел! Знаю я Эддина-царя, дядю своего. Знаю храбрость тех, кого победил ты! И полно мое сердце. Дивлюсь я храбрости и мощи ихнего победителя! Да процветет имя твое и род твой, как имя и род Искандера Великого!..

Впервые в жизни привелось слышать Ивану такую искреннюю, горячую и наивную лесть. Восточная, витиеватая речь музыкой прозвучала для юноши-царя. Сравнение с Александром Македонским заставило всю кровь кинуться в щеки и в голову. Как от вина опьянел Иван. С необычной живостью поднял он своими руками Саина с земли, крепко обнял, поцеловал, как только брата целуют.

— Еще раз приветствую тебя, брат мой и друг! Отныне — братом и другом считайся у нас, наравне с отцом твоим почтенным! — живо ответил Иван гостю, сумевшему в первую же минуту найти путь к сердцу честолюбивого молодого царя. Пытливо поглядел Адашев на Саина. Но прямой, открытый, полудетский взор азиата, неподдельный восторг Саина исключали возможность малейшей опасности со стороны этого «скоропостижного» фаворита царского. И Адашев скоро стал снова наблюдать, успокоенный, чтобы все кругом чинно, по заведенному искони порядку шло...

Дня через два, когда убраны были, с грехом пополам, десятки тысяч трупов, устилавших землю в самом городе, во всех посадах, и на лугах, и в окрестных лесах, был совершен крестный ход по уцелевшим стенам городским. Царь своими руками положил первый камень будущего соборного храма во имя Благовещенья Богородицы. Затем князь Горбатый поставлен был наместником казанским. Курбского Андрея, жестоко израненного в сече, царь приказал особенно беречь и лечить, а сам стал поговаривать о возвращении на Москву. Братья царицы, сообразив, что теперь за славным царем, за шурином ихним, им тоже хорошо жить будет на Москве, подбивали Ивана поспешать

к молодой жене, которая готовится стать матерью. Адашев тоже торопил почему-то отъездом, хотя благоразумие подсказывало, что следует еще здесь побыть самому царю, поглядеть: какие порядки в завоеванном, новом краю будут заводиться...

Многие старые бояре так и советовали. Но Иван, подстрекаемый шуревьями и другими приближенными, стоящими заодно с захарьинской семьей, только и твердил:

— Все образуется! В Казани — воевод оставлю... В Свияге — мои же люди верные. Авось вместе поуправятся с татарами да с мордвой... А мне домой теперя надобно! Может, поспею ко дню великому, своими очами увижу, что Бог пошлет? Сына ли, наследника, дочку ль сызнава?

Изо всей добычи богатой ничего царь себе не отобрал, кроме пушек, знамен и одного пленника: Эддин-Гирея, который скорее гостем у царя числился, чем побежденным врагом. Пушки все, весь запас боевой — оставлены наместникам Казани. Ясное дело, что еще много хлопот будет с луговыми и горными кочевниками, хотя сейчас все ихние князья толпою съезжаются, изъявляют покорность свою победителям... Да ведь татаре хитры. Перед силою — гнутся, а где можно, и зубы покажут... Вот и надобно для них камень за пазухой оставить... Иван приказал, чтобы с ним по Волге, в судах отборное войско пустили, для охраны его и брата Владимира. Но в назначенный час и трети ратников не оказалось на берегу.

— Где ж те полки, которым я велел на судах ехать?..

— Приказа твоего невозможно было исполнить, государь! — отозвался Адашев. — Теперя по реке спокойно проехать можно... Прибрежные кочевники не тронут нас. Крымцев бояться нечего... Астраханцы, на зиму глядячи, не поплывут за нами... А войска больше и сажать некуда! Галии все и другие суда — под добычу пошли... которая из Казани взята... Не бросать же добра! Не мало ушкуев с полоном освобожденным, христианским вверх уплыло... по твоему же приказу! Рать наша главная, воеводы все пешим путем, берегом самым, нагорной стороной на Васильгород пойдут. Та же тебе оборона. И не без умысла туды их послано!.. Сам потом смекнешь. А мы ден через пять и в Нижнем причалим. Чего опасаться тебе, государь? Тут не поле битвы!

Словно ударом бича коснулись эти слова до слуха Ивана. Ясно видел он, что, несмотря на все внешнее раболепство, никто из близких, окружающих его, не забыл минуты мало-

душия, овладевшего Иваном у Арских ворот, и с плохо скрытым презрением глядят и старые воеводы, и молодые приближенные на него, на господина и повелителя. Сознывая в душе, что они правы, царь молча сносил это презрение, давая клятву в душе: оправдать себя как-нибудь и, во всяком случае, отомстить молчаливым обидчикам!.. И теперь, хотя не улыбалась ему поездка осенью, на тесных стругах, с небольшой ратью по Волге, он все ж слова не сказал... Сели все на суда, отдали причалы, гребцы ударили веслами — и тронулась в обратный путь флотилия, с которою возвращался на Москву юный Иван, победитель грозного царства Казанского!..

Глава VI

ГОД 7060-й (1552), 11 ОКТЯБРЯ — 10 НОЯБРЯ

Победным, торжественным шествием явилось возвращение Ивана от Казани к Москве. Началось оно под вечер того самого дня, когда Иван отчалил от стоянки своей под Казанью, от берега Волги-реки.

Медлительно, скучно и тяжело тянулись сначала часы за часами, пока флотилия царская на веслах подымалась против течения среди темного простора разбушевавшейся могучей реки. Темные, свинцовые тучи осенние кроют небо. Темные, намокшие, наполовину оголенные леса и полуувядшая трава не красят попутных берегов. Ветер сверху налетает могучими порывами, еще больше замедля ход тяжелых, неуклюжих ушкуев и стругов, причем нельзя даже воспользоваться парусами, чтобы ускорить тяжелый переезд.

Беляки гуляют по Волге, особенно вздутой от осенних ливней, и каждая высокая, мутная волна, увенчанная белым пенистым гребнем, с размаху налетая на нос царского ушкуя, ударяя в бока судна, заставляет последнее нырять, подпрыгивать и трепетать так, что голова кружится у спутников царя и самого Ивана. Не привыкли москвичи к водяному пути, да еще в непогодные дни осенние. Мелкий, холодный дождик, сеющий порою, довершает неудобства пути. Под наметом, который раскинут для царя посреди ушкуя, лежит Иван, переживая какое-то смутное, неприятное состояние. После шести недель непрерывного нервного и физического напряжения это первая минута полного покоя для

души и тела измученного юного царя. Но сладость такой желанной минуты отравлена неприятным колыханием утлой скорлупы, на которую с недоверием пришлось сесть Ивану, плеском весел, скрипом мачт суденышка, таким протяжным, таким печальным и похоронным воем и свистом ветра в снастях... Физическое недомогание, вызванное качкой, овладевает Иваном.

Мутит его; тоскует, ноет груди!.. Тело, только в эту минуту отдыха получившее право напомнить о трудах и лишениях, перенесенных им за время осады, теперь все как разбитое, мучительно болит и дает о себе знать каждым нервом, каждым суставом. И ко всем этим физически неприятным ощущениям присоединилось внутреннее недовольство собой, окружающими, целым миром!.. Вспоминается только то дурное, постыдное или обидное для души и гордости Ивана, что он пережил со дня выезда из Москвы, куда возвращается теперь. Воспоминания теснятся в уме, давят, жмут грудь какой-то смутной, тяжелою тоской, еще более неприятной, чем телесное недомогание, вызванное беспрерывным, досадливым колыханием суденышка.

В пылу борьбы, под громом пушек, за все время осады почти и не думалось ни о чем. Одна мысль сидела в голове — Казань бы взять!.. Словно сон, промчались эти шесть недель забот, трудов, опасностей. Кровь лилась, своя и чужая... Люди стонали...

Царь видел ужасные раны, когда, посещая становья ратников, наблюдал, как свои же товарищи, и попы, и лекари, и старики-ведуны из обозов перевязывали и лечили ратников, принесенных из боя с тяжелыми увечьями... Он слышал ряд ужасных взрывов, сразу губивших сотни жизней... Видел груды тел, убитых и павших от голода, от жажды людей, когда трупы, устилающие улицы Казани, были вынесены за стену городскую и здесь зарывались в огромных общих могилах...

Видел все это Иван, но тогда у него и сомненья, и мысли в голове не являлось: хорошо ли, дурно ль это?

Нет! Так надо! — и конец. Без этого Казани не взять. А не взять ее — нельзя! Ум, совесть и вера, честолюбие и самолюбие — все-все в душе Ивана твердило ему:

«Казань надо взять!..»

Но вот свершилось, цель достигнута, Казань в его власти, царь казанский — его раб и племянник...

Расширилось сразу далеко царство Московское, Русское. Много выгод и славы сулит присоединение новой, богатой

земли к исконным землям рода Мономахова... Отчего же скрытное недовольство грызет душу Ивана, победителя, как все величают его?

Отчего одну только единую минутку, одно короткое мгновение был он счастлив, а именно тогда, когда очнулся от беспамятства и услышал от Адашева:

— Победа, государь, великий князь московский, царь казанский и всея Руси!

Отчего?..

И вот Адашев... Этот самый Адашев, который вместе с попом Сильвестром, сдается, возродили его к новой жизни, счастье ему принесли, сделали не рабом страстей и похотей, а настоящим царем... почему не любит он этих людей так, как бы они стоили, а словно боится их?.. Даже ненавидит втайне... Всегда с ним Адашев, как ангел-хранитель, оберегая не только от внешних бед, но и от того демона, который в самом Иване сидит.

Сознает это юный царь. Знает, что уважать, любить всей душой следует такого чистого душой и телом, сильного умом помощника... Но, против воли, вечное присутствие Адашева, его постоянное превосходство — так же влияет на душу Ивана, как это постоянное колыхание судна на тело его.

Какое-то сонливое состояние овладевает душой. Не хочется ни думать, ни двигаться самому. Пусть другие сделают... Ведь лучше еще будет. А в то же время какое-то раздражение, возмущение, тоска загорается в глубине души и растет, и жжет, и давит все сильнее... И чем больше сознает Иван, что он не прав, возмущаясь против своего любимца и тайного опекуна, тем острее растет неприязненное, злое чувство к последнему. Но не к чему придаться, совесть не позволяет возмутиться против той воли, которая управляет им, царем московским.

Каждый раз, когда необдуманно пытается он это сделать, еще стыднее становится Ивану потом, еще больнее от посрамления, которое мягко, незаметно, но тем чувствительней наносят ему Адашев и лучшие советники, примкнувшие к спальнику царскому...

После таких мгновений еще неукротимей подымается какой-то голос в душе юноши, твердящей ему:

«Раб... Раб холопский, а не князь ты московский и всея Руси... Раб!.. За службу верную, за помощь ихнюю волю отняли они у тебя!..»

И нередко в припадке болезненной, бессильной ярости,

закусив край подушки, трепещет бледный Иван, изнемогая от наплыва собственных чувств.

Сейчас вот, лежа в богатом намете, такую же минуту переживает царь-победитель.

Взята Казань!.. Славное дело свершено. Не даром, не напрасно столько крови пролито... А сам Иван что делал для этого? Куклой был! Шел, куда вели... Делал, что дума его царская указывала... Так ли дед, так ли отец его царства добывал?.. О, нет! Он знает: не так оно было! Недаром из полновластных, равных князю московскому дружинников и удельных князей, — все Рюриковичи и Гедиминычи, — эти гордые, могучие люди становились слугами и боярами государя московского. Кто сильнее всех — тот и прав, тот — и царь милостию Божиею... А Иван?.. Он только милостью отца своего, по ласке боярской — царь и государь. Так уж земля сложилась, что нужен кто-нибудь на троне московском, как ставят вежу на юру, чтобы знали в бурю люди, куда путь держат.

И всю жизнь куклу разыгрывать?! На помочах ходить?

— Не бывать тому! — воскликнул громко Иван, сжимая кулаки.

Окружающие, видя, что царю не по себе от бурного переезда, оставили его в покое, надеясь, что он заснет и подкрепится сном. Услышав его голос, Адашев, бывший на чеку, заглянул под намет и спросил:

— Не прикажешь ли чего, государь?..

Но Иван, не желая ни видеть, ни слышать никого, закрыл глаза...

— Нет... слышалось, — опуская полу шатра, обратился Адашев к Никите Захарьину, с которым перед тем толковал. — Спросонья государь выкликнул что-то. Гляди, приступ казанский ему во сне видится. Сморило его от качки. И добро, что спит...

Проснулся Иван около вечера от громкого звону колокольного, от кликов народных, которые, далеко по воле разлетаясь, доносились от Свияжска-городка, куда подплывала флотилия с царским ушкуем впереди.

Иван вскочил, слуга стоит уже наготове, с полотенцем, другой воду в кувшине и таз серебряный держит. Адашев тут же, словно будить хотел Ивана, если бы царь сам не проснулся.

Умылся, освежился холодной водой Иван, при помощи Адашева надел свой блестящий доспех, в котором всю

осаду красовался, и вышел из-под намета на открытую палубу судна, где все уж остальные провожатые царя стояли блестящей, нарядной толпой. Качки не ощущалось больше. Ходко суда по тихой Свияге бегут. Видит Иван: берег высокий свияжский усыпан народом, и русскими, и чувашами, и черемисами, и мордвой — всеми племенами, которые только кочуют здесь, на неоглядном просторе заливных лугов и степей, либо ютятся по долам и ущельям нагорной волжской стороны...

Черно от людей кругом. Кочевники встречают победителя, владыку могучего царства, пред которым пала даже грозная Казань, родственная им по вере, но бывшая суровая владычица всех этих улусов, беков и князьков... Русские обитатели нового Свияжска-городка с восторгом и кликами, со звоном колокольным, с пищальными и мортирными залпами встречают героя-царя... Не без умыслу были посланы, за день пред тем, чрез Свиягу все освобожденные из плена казанского христиане. Они много порассказали о чудесах храбрости всего войска и самого царя под Казанью. Они сообщали, как царь обласкал их, когда раскрылись их темницы — мрачные ямы, в которых татары держали пленников... Как он кормил и поил освобожденных у себя в стане...

И теперь не одни полки по чувству долга, — весь город, буквально все окрестные жители сошлись и сбежались, чтобы слиться в одном восторженном, громовом клике.

— Жив и здрав буди многие лета, государь-батюшка, царь всея Руси и казанский!..

Музыкой звучал в ушах Ивана этот громовый, нестройный, то замирающий, то вновь нарастающий клич, этот звон колоколов, сухой треск пищалей и редкие удары пушек с берега, с валов небольшой крепости свияжской.

В это самое время солнце, с утра укрывавшееся за тучами, выглянуло в просвете между ними, ярко озаряя толпы народа на берегу, пестреющие в своих разнообразных нарядах: восточных, русских и казанских... Сосновый бор, темнеющий за прибрежной луговиной, позеленел и словно помолодел под лучами солнца... Реченька, по которой скользят суда, золотом живым засверкала-загорелась под косыми лучами осеннего солнца, светящего не ярко, по-летнему, но так ласково-ласково!..

Переночевал здесь Иван, немного вознагражденный восторженной встречей за все горькие минуты, пережитые им, и двинулся дальше, к Нижнему.

Везде, в течение восьми дней, какие ушли на эту дорогу, повторялось одно и то же. Из прибрежных поселков выпал народ любоваться на проезжающий, разукрашенный коврами и шальями, струг царя, провожал флотилию восторженными кликами. Где ни становились на ночевку суда — повторялось то же, что и в Свияжске. Везде освобожденные христиане, посылаемые вперед, успели зажечь народный восторг до крайних пределов. В Нижнем, в больших еще размерах, произошло то же, что творилось везде по пути.

Здесь Иван покинул судно, чтобы дальше ехать на лошадях. Отсюда же распушены были по домам остальные полки, какие еще шли за царем по берегу и плыли на стругах. Обрадовался Иван, почуяв сушу под ногами, хотел сейчас же и в путь дальше двинуться, но пришлось в Нижнем три дня промешкать. Водяная поездка, нервная и телесная усталость не прошли бесследно: разнемогся Иван. Но как только силы укрепились трехдневным полным отдыхом в постели, царь не вытерпел, сел в колымагу, к Москве велел поспешать.

— Что-то там? Кого Бог даст? Авось поспеем!..

Но дорога тяжелая, осенняя, грязная... Реки разлились от дождей, мосты не везде исправны... Колымага царская грузна. Ночью ехать и вовсе нельзя! Да еще в редком из попутных городов царь церковной службы не отстоит... На десятый день только, 29 октября через Балахну добрался Иван до Владимира. Всю дорогу у него в колымаге сидел боярин князь Федор Андреевич Булгаков, который от имени царицы в Нижнем встречал царя... И без конца расспрашивал посланца Иван: как может быть, да как выглядит голубка его, да что все время делала?..

А во Владимире новый посол от Анастасии к царю прискакал: гречин — выходец знатный, боярин Василий Юрьевич Траханиот.

С подставками, на переменных конях мчался он и, въехав вечером во Владимир, узнал, что царь под городом, в древнем монастыре заночевал.

Не поехал туда хитрый грек. До рассвета пробыл в городе, а там нарядился в лучшее, что имел с собой, и поскакал в монастырь.

Там только что ворота раскрыли, царский поезд выпустать собираются.

— К царю я, с вестями от царицы! — объявил боярин и, ни слова не говоря больше никому, чтобы не опередили

его с великой радостной вестью, стал ждать, когда его Иван позовет.

— Да что за вести? Не послал ли Бог чего? — допытывались у боярина все окружающие.

— Нет, где еще!.. Так, оповестить царя о себе царица поизволила...

Сейчас же приказал Иван вести к нему посланца.

— Что скажешь, боярин? Добрые ль вести несешь?

А боярин упал ниц перед царем и громко так выговаривает:

— Бог милости великие послал тебе, кир государь и царь всея Руси: сына тебе Господь послал и наследника, великого княжича московского, володимирского, новгородского, смоленского, полоцкого, черниговского и иных...

Молчит Иван. То краснеет, то бледнеет, слова от радости не выговорит. А бояре кругом не выдержали, словно пчелы зажужжали между собою:

— Слава Те, слава Тебе, Господи!

Наконец и царь пришел в себя. Только слезы крупные, радостные слезы по щекам бегут.

— Правда ли, боярин? Правда, правда, конечно... А как называли: Димитрием? Мы толковали с Настюшкой...

— Димитрием и молили, государь! Владыка митрополит Макарий сам молитву давал.

— А здоровенький мальчуган? На кого походит? На меня ль, на княгинюшку ли?

— На тебя, государь... Ровно влитой! И очи, и складом, и ладом — весь в тебя! Сам видел, государь... Вот так на руках держать сподобился... Здоровый, крупный такой княжич, дай ему Господи!.. Тыфу, тыфу, тыфу!..

— Тыфу, тыфу, тыфу! — невольно повторил и царь тот же обычный прием.

— Ну, а царица как? Голубка-то моя, свет Настасьюшка? Все здорово ль да ладно ль себя чувствует? Как живет?

— Хвала Пречистой и Спасу Милостивому: все в добром здравии... Гляди, навстречу тебе, кир государь, пойдет, как и град свой стольный пожалеешь, даст Бог милости...

— Што ты, што ты?! — даже замахал руками Иван. — Разве ж можно так скорешенько? Ну, да не пустят ее... Найдутся люди поумнее тебя при царице... Ну, спасибо, боярин! Век не забуду службы твоей усердной да вести радостной... Твой должник великий!

И царь обнял, расцеловал очастливленного боярина. А затем обратился к иконам, стоящим в углу и, пав на землю, стал благодарить Господа за счастье, посланное ему как отцу и царю... Поднялся затем, обернулся к боярам своим, толпящимся в келье царя, и радостным голосом произнес:

— Поздравляю и вас, бояре, слуги мои верные, с великой радостью: с наследником царства, Богом нам дарованным! Придет время — служите ему так же верно, как моему отцу, деду служили, как мне служите!

— Послужим, государь!.. Да живет на многая лета царевич и великий княжич Димитрий всея Руси!.. Поздравляем тебя, царь-государь, с Господней милостью, с несказанной радостью...

И долго еще не покидал монастыря поезд царский. Поздравленья царь принимал от всех... и молебны служились благодарственные... Теперь уж не так стал торопиться Иван на Москву. Побывал и в Суздале, в старинном храме во имя Покрова Богородицы, и в Юрьевце молился у Живоначальной Троицы... Особенно долго пробыл Иван в Сергиевой лавре, где во все время осады казанской горячо молились монахи у гроба святого Сергия, прося победы царю. И сам Иван теперь долго, со слезами молился у мощей святителя, принося благодарность за помощь, оказанную в этой тяжелой борьбе. Отошла служба, затем и трапеза монастырская. Иван с обитателем лавры, с Иоасафом, бывшим сверженным митрополитом Московским, в келью ушел, в особую.

— Что скажешь, сыне? — спросил Иоасаф, когда они остались одни. — Рад ли? Видно, недужен ты, сыне, што лик у тебя не больно ясен, зрак не больно радостен...

— Не знаю, отче... И не болен я, а и здоровья не слышу в себе. Главное дело: душа што-то тоскует... Вот и собирался потолковать с тобой...

— Говори... все говори! Акромя Бога и меня — никто не услышит слов твоих, государь. Доходят и до меня слухи в обитель эту мирную... Да справедливо молвится: не всякому слуху верь... Али имеешь зло на кого в душе? Скажи. Зло — великий груз! Да еще если не по справедливости! А ежели прав ты, Бог да поможет тебе: избудешься обидчиков... Не маленек уж ты, царь-государь! Не таков, помнишь ли, как в те поры был, когда мои вороги Шуйские, с новгородцами хмельными, меня из опочивальни твоей царской тащили!

И задрожали, заходили четки в руках этого старца, смиренного на вид монаха, при одной мысли о старой, давно испытанной обиде... Заволновался и царь.

— Угадал, отче! Хотя и не так явно, но хотят править мною и ныне, как с ребенком управлялись. Мягкое ярмо, да все ж ярмо возлагают на выю господина своего, помазанника Божия... И так это ловко, что поделатъ ничего нельзя! Все для добра-де моего... Все мне да царству-де на благо, а выходит...

И, скрипнув зубами, Иван не договорил, умолк...

— Аль уж так спеленали советчики?..

— Да уж нельзя лучше! Шагу не ступишь без них! Жену не смеи иной раз обнять-приласкать, ежели то не позволенный день да не по правилу уставному. Что я, чернец, али поп, али старик какой столетний, што ли?.. Вон под Казанью за все шесть недель разок разрешил себе... потешиться с бабами и о грешной плоти вспомнить... Так и Адашев, и Захарьины и-и что напели! И грех, и стыд... И Сильвестру-де отпишут, и владыке Макарию... И, правда, во скорях цидула от него... Писание, так вопче... «Блюдитеся-де да хранитесь от всякия скверны, от блуда и сквернословия и похотей разных, и...» А сам, чай, как был молод?.. Э, да што и толковать!.. А штобы уж в чем важном, што царства касаемо!..

И царь, видя, что понимают его, что ему сочувствуют, обрадовался всей своей юной душой и готов был уж распространиться дальше на эту тему.

Но за дверь в это время раздался голос шурина царского, боярина Захарьина:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй ны!..

— Вот, тут как тут! — с досадой произнес Иван.

— А ты о досаде своей с игумном Вассианом Топорком потолковал бы... Он еще отца твоего советчик. Он, може, научит тебя, как быть... — быстро прошептал Иоасаф, раньше чем ответил на голос обычным словом, разрешающим вход в келью пришедшему.

— И то... и то!.. — радостно подхватил Иван и склонился принять благословение старика.

А Иоасаф, благословляя Ивана, обратился к двери и громко произнес наконец:

— Амины! Гряди, чадо мое. Благословен грядый во имя Господне!

Князь Юрий явился встречать державного брата в село Тайнинское, под Москвой, где у Ивана последняя ночевка была. На другой день состоялось торжественное вступление победителя-царя и его сподвижников в Москву, и то, что здесь произошло, превысило всякие ожидания Ивана.

От самых лугов пригородных на Яузе и вплоть до посадов, даже до стен кремлевских, вдоль всего пути, где шел Иван со свитой своей, на протяжении десятка верст толпились сотни тысяч народу, ликующего, разодетого во все новое, во все дорогое и лучшее, что десятками лет хранилось по дедовским укладкам и скрыням, в клетях и каморах. Не одни москвичи тут были или люди, случайно попавшие в стольный град московский в эту счастливую пору. Нарочно издалека собрались люди русские приветствовать юного победителя грозных доселе казанских татар.

С громовыми ликующими кликами встречено было вступление царя из Тайнинского. Не смолкали крики все время, пока въезжал он в Москву и приближался к Сретенскому монастырю, где ждал его в блестящем пасхальном облачении митрополит, окруженный сонмом высшего духовенства московского. Оглушительный вопль и рев толпы раздался, когда остановился Иван пред древней, глубоко чтимой иконой Богоматери, писанной самим евангелистом Лукой, и, перекрестившись, поцеловав образ и приложившись к мощам нетленным, принял благословение митрополита.

— Многая лета царю благочестивому, Ивану Боголюбивому, государю нашему! Жив буди, победитель варварский, избавитель христианский!.. Слава тебе, царь-батюшка!— эти крики потрясали не только воздух, но, казалось, заставляли содрогаться и новые, крепкие стены Кремля, вырываясь из сотни тысяч грудей...

И, как по волшебству, все стихло, когда глашатаи замахали своими посохами, ударили в бубны, объявляя, что царь промолвить желает свое слово великое к митрополиту-владыке. Стихли клики и пальбы. Не гудят большие и малые колокола кремлевские. Громко, отчетливо заговорил Иван, желая, чтоб как можно на большем пространстве были слышны слова его речи, приготовленной и затверженной задолго до этой минуты.

— Отец ты наш, Макарий, митрополит всея Руси, и архиепископы, и епископы, и весь православный собор священства русского! Бил я вам челом: молили бы Господа и всех святых Его о нашем здравии и об устройстве земском,

и об освобождении от нашествия врагов видимых и невидимых. Советовался я с вами о неправде казанской, что города они русские грабят, христиан в полон берут, церкви Божие и монастыри святые разоряют... Много раз и деды, и отец мой ходили за то войною на агарян нечестивых, и сам я тою же стезею шел, да не посылал Бог удачи. Видно, за грехи мои прежние.

Теперь зато — иное Бог дал! Не успели мы на татар казанских, на юрт нечестивый наступить, а на подмогу своим единоверцам безбожным крымский хан, Девлет-Гирей-царь свою орду на Русь повел. Но молитвою вашею и заступничеством Бога сил и всех святых Его, купно с Пречистою Богородицей, вспять воротился Девлет-Гирей-царь, никем иным гоним, но токмо гневом Божиим! И нас не дождался!..

А которые люди его с нашими людьми переведались, — тут Господь нам свое милосердие явил: наши воеводы разбили крымских многих людей и многих живых к нам привели. И тогда, на всемогущество Бога и чудотворцев великих уповая, пошли мы на свирепых кровопролитцев, казанских людей, вооружаясь вместе с князем Владимиром Андреичем и со всем своим воинством... И, Бог дал, дошли здорово.

Произволением Божиим, вашими святыми молитвами, предстательством отец наших, а также попечением, мужеством и храбростью князя Владимира Андреича, всех наших бояр, воевод и всего христианского воинства тщанием и страданием за веру святую, за братьев православных излил Господь милосердный щедроты благодати Своей на ны, на рабы свои неблагодарные, дарова нам помощь на сопротивные и победу светлую. Царствующее место, многолюдный град Казань предан в руки наши и в изгнание вера Магомета, водружен Крест Животворящий в запустенной мерзости казанской, и все живущие в ней басурмане судом Божиим в единый день изгibli! Все же земские люди арские и луговые изо всех казанских пределов нам добили челом и обещались нам дань до века давати. И там, с Божиею благодарностью, на сохранение граду и землям оставили воевод своих и людей ратных многих.

А сами с таким великим Божиим дарованием сюда, ко образу Пречистые Богоматери и к мощам великих чудотворцев, и к твоей святыне, и к отеческому своему месту — Москве престольной здорово пришли! И аз тебе, отцу своему, и всему собору, вместе со князем Владимиром Андреичем и со всем своим воинством, на ваших трудах и молитвах — челом бьем!

И тут же до земли отдал поклон святыне и святителю юный царь-победитель. Князь Владимир за ним склонился тоже. И полки, которые приготовлены были в Тайнинском, а теперь блестящей стеной стояли за царем, простерлись ниц пред иконами, звеня, громыхая оружием и военными доспехами, сталкиваясь шишаками, задевая друг за друга наплечниками и налокотниками блестящих лат и панцирей своих.

А из народной груди, как из глубины морской, вылетели снова и вдаль понеслись гремящие клики восторга, радости, привета царю...

Но вот тяжело, медленно поднялись с земли ряды воинов, отдавших поклон, выпрямился царь и князь Старицкий и все провожатые их, бояре и воеводы.

Смолк народ, ожидая, что ответит царю владыка-митрополит Московский, любимый всеми Макарий.

Негромко, но внятно заговорил бодрый старик-святитель, выпрямив свой высокий, сухощавый стан, который казался еще выше, еще величественней от широких, блестящих облачений:

— Во имя Отца и Сына и Духа Святого! О, Богом венчанный царь и благочестивый государь, великий князь Иван Васильевич всея Руси! Мы, твои богомольцы, молим Господа и Ему хвалу воздаем. Дивень Бог во славах творяй чудеса! Ты, царю, царски-добре подвизался против супостатов своих, нечестивых царей и клятвопреступных татар казанских, и показал еси великие подвиги и труды, и чистоту, и любовь нелицемерную, и мужество, и целомудрие! Не колебался пострадать до крови. Паче реку: предал еси душу и тело свое за святую, чистую веру христианскую, за церковь православную, за порученное тебе стадо, коего ты — единый пастырь. И помог Господь трудам и отваге твоей, как даровал он победу прародителю твоему, благочестивому князю Володимиру, и достохвальному князю Димитрию на Дону, и святому Александру Невскому, латынян победившему!

И незабытлив, скор на воздаяние Христос. Победу великую даровал тебе на агарян нечестивых, еще же дарова тебе перворожденного сына от царицы твоей великой княгини Анастасии — царевича Димитрия Ивановича!.. Мы же, богомольцы твои, глаголем: «Велик Бог и чудеса Его!..» Радуйся, царь-победитель, и веселися на многая лета и со своею царицею, великою княгинею Анастасиею, и с царевичем Димитрием, и с братом Владимиром Андреевичем в Богом спасае-

мом царствующем граде Москве, и на всех твоих царствах, и на Казанском — из рода в род, на многая лета. И тебе, царю, благочестивому государю, за все твои труды, за одоление оплота мусульманского, всему миру страшилища, мы со священным собором этим и со всеми православными христианами челом бьем!..

Поддерживаемый двумя священниками, опустился на колени первосвятитель московский, седой старик Макарий и медленно склонился вместе со всем тысячеголовым клиром окружающим — челом до земли — на раскинутую здесь нарочно на дороге дорогую шелковую ткань...

И как ветром склоняет спелые колосья на необозримых родных полях, так в одну минуту, с шелестом, с ропотом, с кликами восторга и благодарности склонились в земном поклоне сперва первые ряды людей, а там и дальше, дальше... без конца!.. И уж подыматься стали передние ряды, а позади, на расстоянии нескольких верст вокруг, опускалось с одного конца море народное, сотни тысяч голов прилегали к земле, пока другие сотни тысяч, словно прибой всплеснувший, отрывались от сырой земли и вздымались кверху постепенно, с гулом невнятным, с рокотом, с шелестом... Совсем как море!

Тут же, на глазах у народа, сменил Иван свои доспехи боевые на блестящее облачение царское, повесил на шею крест большой, великокняжеский со святыми мощами, вместо плеча надел шапку Мономаха, украшенную венцом золотым, и в бармах, со скипетром в руке, во всей славе земной, двинулся впереди священного клира к древним кремлевским храмам, чтобы принести благодарность Богу за все милости, дарованные царю и всей земле Русской.

И целых три дня потом — 8, 9 и 10 ноября — в большой палате Грановитой шел веселый пир у великого князя и царя всея Руси и казанского, у Ивана Васильевича Боголюбивого.

Богатый, веселый был пир! Многих и замертво унесли из-за беседы застольной... И щедро одарил всех государь на радости двойной — покорения Казани и рождения сына, наследника престолу.

От митрополита до последнего воина из полка царского никто не был позабыт. Шубы соболя, кубки и ковши золотые и серебряные, парча, и бархат, и меха, кони из царских аргамачьих конюшен, оружие дорогое и наряды богатые — все раздавалось не жалея... И деньгами наградил царь, и землями, и вотчинами сподвижников своих и священную

братию — попов, монахов... А простому народу по всей земле, в городах и посадах больших, тоже столы были расставлены, угощение отпущено.

И по смете казначеев царских сорок восемь тысяч рублей тогдашних ушло на расходы, кроме стоимости вотчин и поместий и того, что на кормление народа затрачено, так как припасы доставлялись бесплатно монастырями и волостями земскими для народных пиров. А теперь такая сумма серебряных монет составила бы ценность в девятьсот тысяч рублей.

Неизгладимыми чертами врезалось в сердце народное, благодарное и восторженное, имя царя Ивана Васильевича, покорителя Казани... И что потом ни творилось тем, кто носил это имя, народ молчал, терпел и прощал за дарованную ему минуту светлую, веселую, счастливую... за такую минуту, каких вообще немного бывало у русского народа.

И близка казалась царю Ивану мечта о Москве — Третьем Риме, нетленном и твердом оплоте христианства для всех стран Востока и Запада.



НАСЛЕДИЕ ГРОЗНОГО

ДИМИТРИЙ-СИРОТА

ГОРОСКОП

Глубокая осень стоит. Октябрь на дворе. Печальная пора для всех. А печальнее всего теперь — во дворце царей московских, в палатах и жилых горницах царя Ивана Грозного, как его прозвали потомки. Мучителя, тирана, как звали современники на Руси и за пределами ее.

Печально тянутся дни и в термах дворцовых, на половине молодой царицы, Марии Федоровны, из семьи Нагих, — хотя именно теперь и есть причина веселиться и ликовать ей самой и всему роду ее.

Больше двух лет тому назад обвенчался Иван с молодой царицей. И не давал им Бог детей, не благословил этого брака.

Тоска овладела царицей. Плохие вести стали доходить к ней.

По старым обычаям, царь может свободно расторгнуть брак, если нет у царицы потомства. А Иван даже и переговоры завел с Елизаветой, королевой Англии, просит у нее в супружество племянницу, тоже Марию, Гастингс родом.

Посол Ивана, дворянин Федор Писемский, еще в августе 1582 года отправился ради этого сватовства и иных дел в Англию. В ноябре он представился в Виндзоре Елизавете, а в середине декабря, на втором приеме, повел речь и о сватовстве.

Но, на счастье русской Марии, ее далекая тезка заболела, в оспе слегла, по словам самой Елизаветы, и послу не смогли показать принцессы.

Да еще вопрос ему задали:

— А правду ли говорили наши купцы, только что прибывшие из Архангельска, что у вашей царицы Марии — сын родился?

Знал, не знал ли об этом Писемский, — но он решительно отрицал такое событие, причем пояснил:

— Государь Иван Васильевич по многим государствам посылал, чтобы невесту приискать. Да не случилось. И взял за себя государь в своем государстве простую боярскую дочь, не по себе. А ежели случится доброму делу быть, так государь наш, свою царицу оставя, сговорит за королевскую племянницу.

Но только месяца четыре спустя показали ему издали в саду Марию Гастингс.

Между тем купцы-англичане сказали правду.

В печальное осеннее утро, когда только занимался мутный день, когда потоки размывали колеи на остывшей земле, а порывистый ветер колыхал и трепал деревья дворцовых садов, — 19 октября, на рассвете, — родился у царицы давно желанный и жданный ребенок, мальчик. По имени святого, память которого празднуется в тот день, Уаром назвали царевича и дали потом, на молитве, второе, родовое царское имя: Димитрия, удельного князя Углицкого.

Сам царь-отец заботами угнетен, враги зарубежные его стеснили. Едва с Баторием помирился на очень тяжелых и унижительных условиях, а тут шведы надели...

Сына старшего, женатого царевича Ивана, — совсем недавно убил он своею рукой в припадке безумного гнева, какие еще находят порой на больного царя.

Дома — тоже непокойно, внутри царства башкиры, черемисы бунтуют, ближние бояре не оставляют «крамолы», кукут заговоры... Турки грозят, татары напасть готовятся... Царевич Федор наследник такой неудачный, что Иван даже переговоры завел, нельзя ли принца Эрнста Габсбурга посадить на трон московский.

Телом ослабел Иван... Болезнь, давно пожирающая его внутри, теперь готова наружу прорваться.

Духом совсем упал он, утомился. Руки опустились.

А тут сына судьба послала царю, как бы в утешение, — крепкого, здорового!

Правда, не на него, больше на мать похож малютка. Но такой плотный, крупный. Крикун неугомонный. И звонкий голос ребенка готов, кажется, вспугнуть черную, огромную птицу тоски и заботы, отчаянья и страха, которая опустилась на кровлю царского дворца, осенила свинцовыми крыльями сады и дворы кремлевские... всю землю Русскую, от края до края...

Почти разучился смеяться царь Иван за последние годы. Даже любимые шуты, уродцы и карлики не тешат его.

Только детский лепет и смех быстро растущего креп-

ша-царевича, его ясная улыбка, от которой двумя огоньками загораются темные, бойкие глазки, — только они и могут еще порою вызвать улыбку на хмуром лице царя.

Берет он мальчика, пылливо вглядывается в смуглое личико, словно хочет что-то прочесть там, узнать о чем-то затаенном.

О чем? Кто знает!..

Роберт Якоби, доктор, присланный царю Ивану королевой Елизаветой, оказался не только врачом, но и астрологом. В самую ночь перед появлением на свет Димитрия он улучил час, когда порывы ветра очистили немного небо, записал положение звезд и планет и на основании этих наблюдений составил гороскоп новорожденного царевича.

Когда Якоби явился для обычного утреннего осмотра к царю, первым вопросом Ивана было:

— А что, звездочет, готово ли твоё начертание звездное для царевича моего?

— Царевича?.. — смущенный, даже как будто опечаленный, ответил доктор. — Неудача, как назло, приключилась, государь. Сам знаешь, какая непогода и сейчас бушует. А ночью — руки своей не увидел бы никто в темноте, не то что светил небесных. Не вышло ничего, государь.

Слушает нахмурясь Иван.

За сорок лет своего правления, принимая всяких послов иноземных, а больше всего — немецких и английских, подумался он чужой речи, почти все понимает, только сам не умеет говорить.

Не успел Богдан Бельский, служащий переводчиком, заговорить, как Иван, хмурясь, возразил:

— Ничего не вышло, говорит? Лжет! Скажи: уж мне доложено... знаю я от Ягана, которого он для помощи брал... Там больно нерадостные знамения обозначились. Что поделаешь, воля Божия. Скажи: меня уж трудно чем поранить. Все тело, душа вся в язвах... Места живого нету... Так пусть говорит. Доброе не знать — тяжелее, чем дурное услышать. Знать все хочу! Скажи.

— Ну, коли так, — я повинуюсь! — с поклоном произнес осторожный прорицатель, добыл из кармана небольшой сверток, развернул его перед царем и стал говорить, водя по чертежу бородкой гусиного пера, взятого с чернильницы, стоящей тут же: — Вот Арес, иначе Марс называемый. Кровавая планета — выше всех поднялась. Много крови вокруг ребенка вижу... И сам он целые моря крови прольет... Красное блистание Ареса превосходило всех. Кровавое дитя ро-

дилось, как думать я могу. Тут Геракл и Венус в треугольном сочетании с первой звездой. Войнами прославится дитя больше всего и от любви много приключений узнает, но печальный конец их ждет. Вот Сатурн сторожит на одной линии с этими двумя — и тем всякую добрую надежду отымает. Два раза перекрещивается линия Хроноса с Альдебараном и Альфой Овна. Будет дважды на троне сидеть царевич, дважды достигнет высоты, дважды родится... Дважды умрет...

Иван сначала слушал предсказателя с легкой улыбкой недоверия, но при последних словах слегка вздрогнул и насторожился.

Суеверный, как все люди его времени, Иван часто замечал, как люди надувают других, пользуясь такою слабостью, и это делало его очень недоверчивым.

Что бы ни делали и ни говорили ему, он прежде всего старался понять: с какой целью говорится это? Чего ожидают от него, какими расчетами вызваны известные действия?

В настоящем случае, как понимал царь, Якоби хотел блеснуть своими познаниями, побольше почета, внимания и денег надеялся заслужить.

Неожиданно пришлось говорить не то, что ласкает слух покровителя. Средство угождения, каким является счастливый гороскоп,— могло обратиться в источник разлада с ним, с Иваном.

И все-таки пришлось сказать то, что шептали звезды.

Но почему именно такие странные вещи предсказывает «немчин»? Не мог же он читать в душе Ивана...

А между тем, только зная планы царя, можно было заговорить о двойной смерти... о двойной жизни ребенка...

Именно двойственную жизнь задумал Иван создать для Димитрия. И никому еще не говорил об этом. Пора не настала. Откуда же проведал иноземец?

Или в самом деле далекие, тихо мерцающие светила, звезды небесные — связаны таинственной нитью с жизненными путями, с судьбой жалких созданий, живущих на этой темной земле?

Задумался об этом царь и уже почти не слушает прорицателя.

Да тому немного и договорить осталось. Обычные для всех царственных гороскопов предсказания сообщает Якоби:

— Принцессу очень могущественную в супруги получит

царевич. Много союзов важных заключит. И завоюет большое царство. А под конец жизни — сам против себя войною пойдет... Вот эта линия — снова прямо к Аресу возвращающаяся. И очень юным от меча падет царевич.

— На свое царство — войною? Падет от меча? — снова вслушиваясь в речь Якоби, переспросил Иоанн. — Постарался, начертил, вещун долговолосый... Спасибо молвить бы, да не за что! Все ли? Может, еще что нашел? Дальше чем порадуешь?

— В пустоте обрывается последняя линия. Некуда перекинуть ее... Не оставит потомства дитя по себе...

— Пресечется род, значит? Э-эх, стоило бы твой бусурманский корень вывести за карканье, козел длиннородый... Да сам я выложить правду дочиста приказал... не твоя вина, что и светила небесные против нас и рода нашего ополчаются... А и то сказать: от слова — не сбудется. Ты черти свои чертежи, лай что хочешь. А мы себя и наследье наше — предаем воле Божией. Вражье лепко, — что говорить, — да Божье крепко!

И, вставая, Иван осенил себя сугубым крестным знамением.

Якоби, видя, что прием окончен, с низкими поклонами удалился.

У ЦАРИЦЫ

Несколько месяцев прошло с этого утра.

Крепнет малютка и веселит отца.

То было совсем почти не заглядывал Иван к царице, а теперь и на дню раза по два заходит, навещает опочивальню, отведенную для царевича, всегда окруженного целым штатом женской прислуги.

Здесь и матушка-боярыня Василиса Волохова, пожилая, дородная, чванная такая.

Ребенка держит на руках кормилица, Арина, Жданова по отцу, жена боярина Тучкова, — некрасивая, но молодая, здоровая, кровь с молоком, женщина тихая, добрая. Скучает только: своего сына пришлось на чужие руки сдать ради чести царевича выкормить.

Берет на руки малютку царь и все всматривается в смуглое, живое, круглое личико. Уж не ищет ли на нем признаков, отметок роковых, говорящих о том же, о чем сказали звезды? Или иное что хочет узнать государь?

А ребенок тянется ручками к отцовской бороде, к поределым, но длинным еще усам, тербит их, смеется, лепечет что-то...

И прежней, забытой, ласковой улыбкой озаряется угрюмое лицо Ивана. Так осенью сквозь тяжкие тучи прорывается порою закатный солнечный луч и озаряет рдеющим отблеском темные, влажные от непогоды кресты на печальном кладбище...

Приласкав ребенка, прошел с царицей Иван в ее повалушу.

Жарко, душно здесь.

Молода, красива собой царица, но уж чересчур ленива. Полнота ли тому причиной или от природы она такова, — а не любит передвигаться, шагу лишнего не ступит без особой нужды.

Впрочем, это общий недостаток знатных женщин ее времени. За полноту, за дородность ценят мужья их больше всего. А чем меньше двигаться, чем чаще и больше есть, тем тело скорее нагуливается.

Уселся Иван, выслал прислужниц, жене сесть поближе приказал.

— Что, Марьюшка, словно невесела ты нынче? — спрашивает он ее. — Гляди, так потончаешь... Ха-ха...

— А с чево и веселой быть, государь? Кажись, только и мысли и думы моей: тебе бы угодить, свет батюшка. Вот и Господь молитвы услышал мои грешные: какого царевича нам послал, на многие лета ему, нам на утешение! А ты, государь мой, все о том мыслишь: избыться бы меня... Вон, слышно, все за бусурманку сероглазую сватаешься. Меня и вон погонишь! Бедная я, горемычная... Куды с младенчиком денуся, где приклоню голову, сирота бесталанная, вдовица убогая?..

— От мужа от живого? Полно, буде. Уж запричитала, захныкала. Не стану и ходить к тебе, коли ты так... Молчи! Вот и ладно... Оботри слезы-то. Улыбнися лучше. Знаешь меня: не сношу я реву бабьего. Тошно мне от плачу, от писку вашего! Не думаю я гнать тебя. Толкуем мы с Лизаветой с королевой. Да на то — особливые причины есть. Не твоего тут разума дело. Государское строительство вершится. Сказать — много можно. Пускай думает, что уж так я к ней душой тянуся. А она на ответ многое сделает, что мне надобно. Поняла? Что глядишь! Ничего не поняла. Э... да все равно. В думу тебя не посажу. И здесь, в повалуше, хорошо живешь. А вот об ином деле потолковать с тобою надо, ко-

торое ближе к тебе, чем та принцесса. О сыне сказать хочу...

— Слушаю, государь, ох слушаю... Да только ты, гляди, чего страшного не скажи. Я и обомру начисто. Уж коли у тебя брови хмурятся... да вот так подмаргивать ты зачнешь, наперед знаю: либо гневаешься, либо что особенное сказать хочешь. Сон я ноне плохой ви...

— Ну, буде! Сны еще станешь мне тут... на бобах не разложишь ли? Говорю: дело важное. Знаешь ты небось, как недруги, свои предатели-крамольники злобою пышут... Только и думают извести бы им меня, государя, и весь род наш...

— Ох ведаю, государь, ведаю... Сама я собиралась сказать тебе: боярыня Пра...

— Стой! Слушай, что скажу... да помалкивай хоть малость. Ну и язык у тебя, Марья! Толстый такой, а как ворочается. В нем у тебя вся прыть и сидит, как я вижу... Цыц! Слушай... Чай, знаешь, какое прорицание звездное начертил Робертус-лекарь Димитрию нашему?

— Тьфу, тьфу, тьфу! Чур меня, чур! Наше место свято! На его бы голову, бусурмана окаянного! Беду накликает, нечистая сила! И тебя, государь, с пути сбивает!

— Ну, еще чего придумаешь! Ты слушай! Слыхала, поди, был уж у меня первенец, Митя тоже... от покойницы, от Настасьи... Помяни, Господи, душу рабы Твоея!

— О-ох, знаю... И то мне уж боязно, что имя-то такое неудачное моему сыночку дадено... Тот Димитрий чуть и годочку не пожил... помер...

— Помер?.. — вдруг, бледнея и сжимая зубы, как будто от ощущения внезапной боли, проговорил Иван. — Не помер! Загубили... отравили... со свету сжили, окаянные... В те поры — брата, Володимира, в цари на мое место ладили. Так не хотели и корня моего оставить... Окаянные!

— Господи! Неужто ж на младенчика, на душу ангельскую, рука у людей поднялася!

— Поднялася! Почитай, у меня да у Насти на очах все и свершили... Чувал я уж беду. С покойницей мы сговаривались: как приедем на Москву — укроем подале царевича. Чтоб никто не прознал, — себе иное дитя, чужого возьмем... А как окрепнет наш — привезу его да покажу недругам: вот, мол, ваш государь будущий... Чужого если бы извести им удалось — так не жалко! Ха-ха-ха! Все было надумано... Да упредили вороги, в пути младенца извели. Ваню удалось

поднять мне, так напустили на меня же порчу... своей рукой его...

Он не договорил, закрыл лицо и долго оставался так без движения.

Сидела и царица не шевелясь, напуганная, бледная.

ЛУЧИ ЗАКАТА

Когда наконец царь, тяжело дыша, открыл лицо, усыпанное крупными каплями пота, и стал отирать его, Марья спросила робко:

— А как же... Федя? Вот, не причинилось же ему ничего... Живет царевич, дал Бог милости...

— Этот-то? Что он им! И живет — как не живет. Кто захочет, тот и будет царем при Феде... Разве это мой отрод?! Так, Божие наказание... за все окаянства за мои... Молчи, говорю... Не поминай мне лучше. Слушай ты, — смиловался Господь. Дал нам дитя здоровое, смышленное. Видна уж вся складка у малого. Скоро весна придет. От солнца, от воздуха вольного он и краше расцветет, поди, чем ныне...

— Ох расцветет мой цветик, даст Господь, расцветет мой аленький... Ангелы Бо...

— Ну вот... и надумал я... — Иван сразу понизил голос. — Не дадут наши вороги и этому жить, как Мите первому не дали... Я молчу уж, а вижу все... Куют ковы бояре неугомонные... Пуще всего — Шуйские... да Сицкие, да Шереметевы, да все присные с ими! И удумал я теперь так наладить, как в давние годы надумано было. Возьмем где-либо схожего младенчика... За своего выставим. А родного, Митю, — укроем до времени, пока вырастет. Изведут если вороги наши чужого, так не жаль. А там, сам буду жив, — выведу царевича, посмеюсь над лиходеями. А помру без времени — и того лучше, ежели укроем мы до поры сыночка... Разумеешь, Марьюшка?

— Разумею, как не разуметь, государи! Дура я, да уж не такая, чтобы про дите свое ничего не понять. Разумом не смогу — сердце матери вещун. Оно скажет. Отнять у меня сына надумал, государь... убрать его, куды — неведомо?! Самому бы вольнее было на Машке на Гастинковой ожениться! Так ежели при царевиче, — и отец митрополит с отцами святыми, и бояре, гляди, скажут: «Негоже жену, ни в чем не повинную, вон гнать!» А не станет царевича — на что и я нужна! Уразумела, государь.

Стоит, даже словно выше ростом стала царица, последний поясной поклон отдала, выпрямилась — и застыла так: горящих глаз не сводит с мужа.

С досадой поднялся и царь, сердито посохом стукнул. Так и впилась сталь острия в половицы...

Тот самый посох в руках Ивана, которым он Ивану-царевичу нанес смертельную рану около года тому назад.

— Слушай! — начал было Иван.

Но, взглянув в лицо Марье, он прочел в нем такую решимость, такое ограниченное, но неодолимое упорство, какое можно встретить только в душе у женщины, живущей больше инстинктом, чем сознанием, — убить можно такую женщину, но не переубедить.

Опустытели кровь и убийства самому Ивану.

С досадой махнул он рукой и вышел, ни слова больше не сказав царице.

А Марья Федоровна, с необычной живостью и быстротой, направилась к Димитрию, взяла его у кормилицы, стала целовать, прижимать к груди и шепотом запричитала:

— Не отдам я тебя, ненаглядного моего, никуда, никому на свете... Ото всякого зла и напасти оберегу... Миленький, солнышко ты мое, дитяtko мое роженное! Ото всех бед укрою... Жизнь на то положу...

Подойдя к иконам, упала на колени и, подымая ребенка к лику Богоматери, зашептала:

— Охрани Ты его и меня, Пречистая Матерь Бога Нашего, за всех перед Богом Заступница!

Но не удалось царице осуществить своего решения, не помогли ей ни молитвы, ни обеты, которые она твердила перед ликами святых день и ночь.

Попытался было Иван с другой стороны повлиять на царицу. Брату ее, Михайле, самому рассудительному из всей родни Нагих, он открыл свои замыслы, просил потолковать с упрямою сестрою.

— Не бывать тому! — ответила царица Марья. И повторила все то же, что говорила мужу.

— Дура ты, хоть и царицей стала, — отрезал ей раздраженный Нагой. — Ты о том бы хотя помыслила...

— Хоть дура, да умнее тебя! Обо всем я помыслила...

— Досказать дай! Твое царское величество о том бы подумало: сын, хоть и другой, — останется при тебе. Никто знать не будет, что не Митя это твой... И отец митрополит, и иные, кого поминаешь ты, — не скажут же, что бездетна ты, коли царское дитя при тебе! Ну, уразумела?..

— А-ах, чем порадовал! А ты не знаешь, каков у нас государь? Не слышал? Глазами не видал своими? Я уж додумалась... Он не то станет ждать: не изведут ли бояре младенчика,— сам повелит своему лекарю, бусурманину какому-либо... Живо уберут чужое дите. Вот я и ни при чем... И вон меня...

— Господи, хитра как ты стала! Да коли бы так, он и теперь может...

— Что? Младенца убить? Своего — пожалеет. И греха великого побоится. Буде с него, что одного сына забил... Как поминает его, трясется весь, ровно Иуда, пес старый... А чужого не пожалеет. Свой пусть где-нибудь растет! И от меня руки его будут развязаны... Выходит, ты — глупей меня, дуры, братец родимый... Каково дело-то!

Пришлось и Нагому зубы сжать, чтобы не разразиться бранью, и уйти без всяких результатов.

— Не хочет? Ну и Бог с ней... Материнское сердце, оно и то сказать,— добродушно заметил Иван, выслушав доклад Нагого.— Пусть по ее будет!

Не понравилось это добродушие, такая уступчивость Нагому, который успел понять Ивана; он знал, что новый, более сильный ход придумал царь для выполнения своей воли. И захотелось вызнать Нагому: в чем этот ход.

— Твое дело, государь,— вкрадчиво заговорил он,— а моя такая дума: коли решил супруг и государь,— как же она смеет поперек что молвить?! Приказать бы изволил... Мне скажи... Я вырву у ей...

— Это чтобы крику не то что на всю Москву — на полземли слышно было? Нет, прискучили мне все крики да причитанья. Покоя я хочу, Михайлушка... Стар стал... ослаб, сам видишь. Баба, жена богоданная,— и та меня не слушает... А прежде бывало... Э, Бог с ней! Так, видно, надо... Иди с Богом, Михайлушка. За послугу спасибо. Не забуду и я тебя... Ступай себе.

Так еще несколько недель прошло.

Опасение за царевича, желание укрыть его стали теперь почти единственными чувствами и стремлениями царя.

— Эх, Малюты нет у меня; вот уж сердечный был раб! Вернее пса, кремня надежнее. Он бы живо уладил все! Так думал нередко Иван.

Большие десяти лет тому назад, в 1572 году, при осаде эстонской крепости Витгенштейн был убит этот самый лютий из опричников царских. Теперь его заменил более знатный родом человек, князь Богдан Бельский.

К нему и решил обратиться Иван. Бельский же и отец крестный Димитрия.

Князь Бельский с дьяком Андреем Щелкаловым явились для обычного доклада царю.

Обсудив все дела, Иван, сделав надлежащие распоряжения, не отпустил их, как бывало обычно.

— Пождите оба,— пригласил он их,— хочу еще одно дело обсудить теперь...

— Хорошо надумал, государь,— первым отозвался Богдан, выслушав планы его,— и самому мне думалось... Да не одних Шуйских. Иные тоже есть... Вот хоть Годуновых, к примеру, взять...

— Что? Кого ж бы это? Не Федорыча ль? Он в роду умнее всех.

— Хотя бы Федорыча, государь. Самому тебе ведомо: царевич наш, свет Федор Иванович, не то — верит своему пестуну,— глядит его очами, ест из его рук! Скорее Слову Божию не поверит, в святом писании усумнится, чем в шурине в своем любезном. Может, тебе, государь, оно и по сердцу... А мне сдается все да кажется...

— Крестное знамение сотвори, Богдана. Вот оно и казаться не будет. Ничего пускай не кажется. Первое дело,— зелен и Федорыч твой, и весь род его... Наполовину и доселе татаре они. Еще, поди, кумысом да кониной от их пахнет. Так мне ли, урожденному деду и отчину всех земель и царств моих,— страшиться мурзы полукрещеного? Чай, все помнят, каков их род, сами они откудова. Верю, он бы, может, и душою рад... Да не было того и не бывает вечно, чтобы на Руси татарское семя земель владеть стало... К себе приближаем мы восточных царей и царевичей... Мало того, дед, отец мой и я сам, из Москвы куда выходя,— сдавали царство им на время. Татарский клин в московскую стройку не затешется. А свой, познатнее,— сядет, да, гляди, уж и слезать с престола не захочет потом... Сажал я и сам князя Черкасского и друга своего Семена Бекбулатовича — в цари ставил... и прочь выставил, как пора пришла... Нет, Годунова мне и роду моему бояться нечего... И то я знаю: ни единого слова, ни малого шагу он без воли моей, без приказа не ступал и не ступит. Как луны лик от солнца, так и эти вельможи азиатские — от нас, от нашего величия свет и силу берут. От нас все и теряют. Не бойся Годунова, как я его не боюсь!

— В час добрый... Тебе с горы виднее, государь, чем нам, малым людишкам, холопам твоим. Как же теперь быть?

С чего начинать, государь, в деле в твоём? Поведай.

— А вот что надобно... Мальчонку сыскать подходящего... Не трудно, поди. Году Мите нету. В эту пору они, ребята, все один с другим похожи. Моя Марья и не почует ничего!

— Достать можно, государь... И царица не всполошится. А вот с мамкой как? Мамки не обманешь... Да без нее и дела не сладишь, государь...

— Стой! Что на ум мне пришло... Кормилицы Оринки... Тучковой пашенка и взять можно... Совсем пойдет дело...

— Так ли, государь? Чай, будет знать Орина: на какой конец берут ее дитя? В том роде, как бы отвод громовой... Пожалеет ли? Потерпит ли сердце материнское?

— А зачем ей знать про то, чего и мы сами не знаем? Может, так, одне думы у нас черные... А Господь — ведро пошлет... Простит нам грехи... Это — первое. А второе... Ей ты так сказать можешь... Я уж ломал котелок-то свой... Надумал... Скажешь ты Орине: «Думается государю, — мне, значит, — что не соблюла верности царица, как Бог приказал. Того ради не желает, чтобы Димитрий царицын, как плод греха, — свою часть в царстве имел. Лучше хочет твоего сына, дитя честное, — родным назвать, дать ему долю в наследье своем...» Гляди, поверит баба. Оне свою натуру женскую лучше нас ведают. Так все и сладится... Мол, желает государь все без шуму, чтобы толков про него не было. Понял, Богдаша?

— Все понял, государь... Дивиться лишь надо: откуда што берется у тебя, батюшка ты наш?!

— Э-эх, брось. Не до похвал теперь... Ну, с тобой речь поведу, Андрей, — обратился Иван к Щелкалову. — Ты слышал? Твоя забота какая будет, не скажешь ли?

— Найти, куда бы укрыть царевича, да чтобы можно было глаз за ним иметь... Да заботу всякую: всего бы у него вдосталь хватало во всяк час. Не иначе что об этом думал приказывать мне, государь.

— Сказал, что печатью пропечатал, Андрюшенька, — совсем довольный похвалил Иван. — Так видите, ладьте поскорее, как порешено тут. В час добрый...

Оба вышли от царя.

— Слышь, Андрей Иванович, — обратился в раздумье Бельский к Щелкалову, — что за новина такая приспела? Двоих сыновей вырастил... При себе! Все было ладно... А ныне!

— А ныне — зима на дворе... Годы к концу подходят. Вот и вспоминает человек поговорочку: дальше положишь,

ближе возьмешь. Не боится государь Годуновых... Шуйские ему с присными спать не дают... А мне так...

— Да, да... И я от Годуна беды скорее чаю, чем от двора Шуйского... Но — царевич-то при чем? Больно все не по-обычному... Словно из книги читаешь сказание.

— Ну, зачем из книги? Мало ль и на наших очах такого бывало? Взять хотя бы родич твой, князь Иван Бельский... Как стали его изводить с чадами и домочадцами, он и послал сынка самого меньшого, княжича... Гавриилом, сдается, звали, не помнишь ли?

— Да, да... Гавриилом, — как будто смутясь, ответил Бельский.

— Так! Послал его в Старицу с холопом верным. Там и вырос княжич, да имя другое и прозвище взял, простым делом занялся, сапожным ремеслом... А как овдовел — иноком объявился в Вологде. Целую киновию завел — Духову-то обитель... Совсем подвижником стал... Галактион ноне слывет... Да мало ли таких делов мы видели?

— Правда твоя... Может, и на благо Господь государя на дело на это навел... Будем исполнять волю царскую!

Отдали поклон и разошлись по своим делам оба ближайших пособника Ивановых. Осторожно стали они готовиться к выполнению задуманного царем плана.

Но Ивану не удалось при жизни увидеть свершение этого дела.

Быстро стала развиваться смертельная болезнь, водянка стала душить царя. Сердце так плохо работало, что не помогали самые сильные снадобья, которыми лечили царя Ивана его доктора-иноземцы. И 18 марта 1584 года, на 53 году жизни, скончался царь Иван Васильевич, государь обширных земель и многих народов, — в конце концов сокрывшись навсегда в узком, глухом склепе, где занял места не больше, чем самый жалкий бедняк во всем подлунном мире...

Не успели еще забыть Иоанна, как предчувствия Бельского сбылись: закипел мятеж по всей Москве... Против него направила удар рука Годунова, Шуйских и других бояр, их сторонников. Нагих — тоже звала к ответу чернь за мнимое покушение на жизнь юного царя, Федора, на место которого они будто бы решили возвести малютку Димитрия и править его именем.

В Углич, в удельный город, немедленно под стражей увезли царевича Димитрия с матерью-царицей и со всей его родней.

Семь лет прошло после смерти царя Ивана. Умирая, он назвал Верховную Думу, пятерых бояр, которым вручил управление царством и опеку над болезненным, почти слабым от природы сыном Федором, которому было в это время 27 лет.

Второму царевичу, годовалому Димитрию, обычный удел — Углич с областями — был назначен, как все давно знали.

Первым из пяти являлся самый знатный, Гедиминович родом, воевода, князь Иван Мстиславский, осторожный, не злой, но безвольный вельможа. За ним стоял красивый, умный и прямой нравом Никита Романович, Захарьиных роду, родной дядя царский по его матери. Иван Петрович Шуйский, потомок Рюрика, хотя и не главной ветви, прославил себя военными подвигами. Эти трое составляли показную сторону нового органа власти, Верховной Думы.

Князь Богдан Бельский, любимец покойного царя, Борис Годунов, шурин молодого царя, особенно хорошо знакомый со всем внутренним ходом государственной машины, — дополняли картину, внося в нее деловитость и являясь главной рабочей силой.

Но присутствие Бельского слишком живо напоминало об усопшем грозном господине, которому князь Богдан служил чересчур усердно.

Годунову, хотя он и притворялся лучшим другом князя, — не хотелось делить работы и власти ни с кем. Шуйским давно был ненавистен князь... Они нажали на скрытые пружины...

Вспыхнул народный мятеж. Десятки тысяч москвичей, простых людей и ратников, кинулись в Кремль. Мятежники требовали смерти «изменника Бельского», обвиняя его, как и Нагих накануне, в желании извести Федора и самому воцариться...

Едва успокоили толпу, объявив, что царь налагает опалу на князя.

Первосоветника царского послали воеводой в Нижний Новгород, где он долго тосковал, благодаря Бога, что еще дешево отделался... После этого убрали пушки, стоявшие на площадях столицы, скрылись со всех улиц патрули...

А власть в царстве мало-помалу начал забирать в свои руки один Годунов, для чего попытался привлечь на свою сторону обоих влиятельных, хотя и безродных людей, —

двух братьев, дьяков думных, Андрея и Василия Щелкаловых. Даже в «названные сыновья» пошел к старшему брату, Андрею.

Ближайшие к царю Ивану люди, они отличались умом и глубокими познаниями во всей русской государственной жизни, которой заправляли немало лет.

Сначала в сторону Романовых тянулись Щелкаловы. Но те оказались скромнее, не так честолюбивы, как Годунов. И последний сумел перетянуть к себе обоих братьев. Так казалось по виду.

Венчался на царство Федор, сначала даже желавший отказаться от трона, — и явился государем только по названию. Невенчанным царем на Руси стал Борис Годунов, при помощи сестры овладевший окончательно волей Федора. Вопреки убеждению царя Ивана, потомок мурзы татарского правил Московским царством как хотел. Умно, удачно правил, по общему показанию.

И так семь лет прошло.

На богомолье в отпуск приехал дьяк Андрей Щелкалов, отпросясь у царя, вернее у Годунова, в самую тихую пору, в июле и до конца августа, когда снова закипает обычная работа в московских двенадцати приказах, включая сюда Разрядную палату, Земский, Казанский дворец, Таможенную избу и Челобитный разряд.

Стар уж очень дьяк Андрей.

Большой выпуклый лоб изрезан морщинами. Какие-то шишки выдаются и на облыселем черепе, обрамленном реденькими волосами. Полное лицо малообразительно. На нем только краснеют под нависающими усами еще не совсем поблеклые, полные, красиво очерченные губы да двумя живыми огоньками поблескивают довольно большие, навывкате, глаза; отсутствие бровей и мясистый, сильно рдеющий нос придают странное выражение всему лицу: смесь чего-то бабьего с признаками сильной мысли и упорного желания.

Но при первом взгляде на этого воротилу-приказного, вершителя многих думных, государственных дел, можно без ошибки сказать, что он не рожден быть ни аскетом, ни мучеником за самое правое дело.

Иначе, конечно, не смог бы он много лет оставаться правой рукой царя Ивана, не усидел бы на своем месте при Годунове, который правит теперь, прикрываясь именем Федора Иоанновича.

Побывав в Кирилло-Белозерской обители, посетив еще

по пути несколько монастырей, где были приятели у набожного старика, Щелкалов накануне Успеньева дня поспел и в старицкий Успенский монастырь, с настоятелем которого был связан даже дальним родством.

Сейчас сидят они оба — хозяин и гость — в настоятельской келье и беседуют.

Игумен, отец Варлаам, хотя не носит такого земного, чувственного облика, как гость его, но и на старого аскета не похож.

Высокого роста, благообразный, со склонностью к дородству, — Варлаам, благодаря сидячей монастырской жизни, выглядит много степеннее: не такой юркий, насто-роженный. Нет в нем холопских добродетелей, какие давала служба у Ивана-царя, но нет зато и широты, зоркости взгляда и мысли.

Здравый, ясный ум и невозмутимое добродушие созерцателя освещают внутренним огнем его серые глаза.

Вечерняя служба отошла. Свободен теперь Варлаам. Может в беседе душу отвести с приятным редким гостем.

— Слышишь, чадо, — обратился он прежде всего к своему келейнику, послушнику лет семнадцати, простоватому, бесцветному на вид, — покличь питомца нашего, Митю. Хочу показать сиротинку боярину. Не будет ли милости какой малому? А ты, чадо, просился ноне к родне на часок... Так благословляю тебя... Иди. Погости тамо. Хочешь, так и заночуй. Знаемы мне твои сродники: люди простые да богомольные... Худа тебе не будет. А к празднику наутро и придешь с ими... Ступай со Христом!

Послушник ушел.

— Ну, теперь свободно толкуй, брате: что нового в мире творится? Как Русскую землю Господь милует? Были слушки у нас, да разные... Одна надежда: ты очи откроешь. А не ты, так кто больше? Сказывай, брате!

— Эх, много говорить, мало слушать, отец честной! Того не слышно, что при покойном государе творилось. Реками кровь не течет... Да пролилась зато ныне одна струйка малая... и может от нее больше потопа быть, чем от всего Бела-озера.

— Слыхал, знаю... Осмелился-таки... поднял руку! Ужли такую силу забрал? Мнит, что уж скоро и до конца добежит, трона коснется рукою нечистою, татарскою?

— Мыслит... Да вот, слушай...

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй

нас! — раздался за дверьми детский, звучный, как-то бодро звучащий голос.

— А, вот и сиротка Митя наш... Пусть войдет, послушает. Как мыслишь, брате?

— Пускай, пускай... Ему-то боле всех дела знать надобно. Пригодится, гляди, когда ни есть... Зови, погляжу я... давно не видал...

— Аминь, — громко сказал Варлаам, — входи, Митя. Звал я тебя.

Степенно вошел в келью мальчик лет восьми-деяти по внешнему виду.

Он был высок ростом, но широкоплеч и крепко сложен для своих лет.

Средних размеров, квадратно очерченный лоб выступал над глазами, которые так и горели из глубоких орбит и поражали каждого своим выражением, каким-то тяжелым, сверкающим взглядом, который замечается у эпилептиков или людей, вдохновленных, охваченных какой-нибудь великой идеей.

Довольно широкий рот с тонкими, хорошо очерченными губами казался меньше оттого, что мальчик был довольно полон и боковые мускулы вокруг рта как-то выдались наружу, вздулись немного, как будто они постоянно находились в сильном напряжении. От этого и губы имели слегка капризный вид, а раздувающиеся ноздри нервного, широкого носа говорили об упрямстве мальчика, об его порывистой натуре.

Темные, почти черные, густые волосы падали назад, открывая довольно большие, мясистые, правильно вылепленные уши. Верхняя часть ушной раковины глядела вперед, выдавая музыкальность ребенка. Лицом он был смугл. Редкие, широкие, но крепкие, блестящие зубы при улыбке скрашивали немного дикое выражение лица.

Хотя и правильно сложенный, он выделялся одной особенностью, когда стоял прямо перед кем-нибудь: одна рука была у него много короче другой, хотя обе были развиты очень сильно. Да на лице, под правым глазом, у самого носа, на смуглой коже лица выдавалась розоватая круглая бородавка.

Но и без этой отметины лицо мальчика трудно было забыть каждому, кто видел его хотя бы однажды...

Когда мальчик отбил обычные поклоны, Варлаам при-влек его ближе к себе и, держа за руку, сказал:

— Добей хорошенько челом боярину Андрею Ивановичу,

ближнему думному дяку царскому. Толковал я боярину, как ты, при своих молодых летах, — в грамоте, в письме да в чтении научен. Как Бога чтить, Матерь Его Пречистую и всех святых Божиих, как любишь горячо молитвы творить, что порой, дитя малое, — и про еду, и про сон забываешь... Как послушен и добронравен был и у стариков, где жил раней, и у меня, с той поры как Бог велел мне приютить тебя, сироту... Все я сказал... Да уж не стыдись, не рдей, словно свечка зажженная. И про то не скрыл, что порою себя сдерживать не можешь, неоглядчив в споре да в игре приключаешься... Горяч больно, не по доле по твоей, сиротской, — взглядывая с какой-то загадочной улыбкой на Щелкалова, укорительно произнес Варлаам, грозя мягкой рукой мальчику. — Ты бы свой норов помнил. От худого отвыкал по малости. Тогда и вовсе парень славный станешь. Гляди, иноком посвятишься... Годы пройдут, на мое место, на игуменское попадешь... Из сирот бездомных... Бог — все может, помни, Митя...

Мальчик зарделся больше прежнего, как будто старик нечаянно проник в самые сокровенные его мысли. В то время не было другого исхода для честолюбия у самого умного и чистого сердцем сына народа, как монастырь и клобук игумена.

— Я... я не стану более, отче святой... Игры брошу... не стану обижать никого... Ну их. Они сами виноваты. А меня во грех вводят. Неотесы, непонятливые... А я с ними и водиться-то не буду. Позовут играть, а я не пойду, на молитву стану... И скуки не будет... и без греха.

— Так, так... Рассудил каково? И живо! Кабы всю жизнь ты так... Ну, что Бог даст... Слушай, Митя: ежели впрямь свое сердце горячее смирит, гордыню обуздает... Так не то игумном, в монастырьке, в обители какой невеликой... Слышал, поди, отцы владыки, митрополиты всея Руси — из нашей же братии, из иноков смиренных бывают, кого изыщет Господь... Только много труда и муки надо ранее принять, чтобы благодать земную пролил Он на помазанника Своего... Терпение, послушание... Слова никогда не молвить лишнего. Для себя жить перестать, об людях, о братьях своих думать и молиться... Несчастных — жалеть... Сильным — претить зло делать, слабых чтобы не обижали. На таком пути, раней чем митры святительской, и терний мученических достать можно... Как Бог пошлет... А и от владычного трона вселенского та узкая тропочка вовсе мимо, близенько идет...

На мальчика так повлияла картина, неожиданно развернутая перед ним умным иноком, что он совсем онемел, застыл в напряженном созерцании, будто уж видел перед собою все будущее; но не венец мученика, — а золотые палаты митрополитов Московских и их сверкающее алмазами и жемчугом одеяние.

— Гляди, боярин, сиротка-то наш: ровно галчонок, даже рот приоткрыл, как кус увидал покрупнее... Закрой рот-то, чадо! — с ласковой насмешкой коснулся Варлаам розовеющих губ мальчика.

Тот совсем смутился, тихо отошел к окну.

— Ну, Бог с тобой. Показал я тебя боярину. А теперь как думаешь? На волю пойдешь али послушаешь, что боярин про Москву да про иные дела толковать станет?

— Послушаю, отче... Благослови уж...

— Ладно. Только... гляди! — тон Варлаама сразу изменился. Он заговорил торжественно, властно, как пастырь, господин над детьми своими: — Гляди, может, то услышишь, чего другим знать не надобно. Что и мне, и боярину добром горе может принести, коли пронесешь единое лишнее слово... Так помни: слышал и умерло. Ты уж понимать можешь, девятый годок тебе... Слышал, Митя?

— Слышал... Господь меня побей...

— Стой. Али забыл: не призывай имени Господня всуе, не клянися без нужды. Сказал слово, — чтобы оно тебе тверже стали было! Сказал «нет», — чтобы уж иначе не случилось... Это тоже помни, если неохота тебе рабом остаться, ежели господином людей и душ быть тебе манится. Ну, сиди, слушай... Да после и забудь, что слышать тут привелось. Говори, боярин. Знаю мальчика: умрет с ним...

Щелкалову даже не требовалось этого подтверждения со стороны монаха. Он все время не сводил глаз с мальчика и убедился, что с ним можно говорить как с равным. Только опыта не хватает, а от природы — богато одарен «сирота»...

И, погладив седую редковатую бороденку, Щелкалов заговорил:

— Так, так... По-старому все идет, катится, словно воз с горы. Никто не тянет, да и помехи ему нет прежней. Вот и ладно оно кажется. Государь наш благоверный, видать, и сам в митрополиты али в патриархи возжелал, как теперь на Руси учреждается, все по воле нашего преславного правителя... Раненько подымается государь, чуть не до све-

ту. Тут — молитва. Отец духовный со крестом приходит. Икону выносят, какого святого чтут в сей день... Водой святою совершают кропление царя и покоев его. Там к царице идет царь со здраваньем и вместе к заутрене шествуют. Часу в шестом утра — служба кончается. Бояре ждут государя, ближние, кто на поклон явиться может, в покои царские. Тут до девяти время проходит. В девять сызнова к обедне, до одиннадцати. Там трапеза большая, после отдыха, от полудня до часу. Сон после трапезы до трех часов. В баню потом либо куда на реку, поглядеть боев кулачных, медвежьей травли изволят государь. Отдых потом до службы до вечерней. По вечерне — с царицей сидит государь сызнова, в покоях в своих. Песни поют сенные девушки, шуты тут, карлицы забавляют государя, тешат пресветлого. А там — и на опочив пора...

— Так без отмены безо всякой изо дня в день? Когда же царь дела свои делает?

— И, чего захотел! А правитель у нас на что же? Его светлая мочь, ближний боярин, великий конюший, наместник царства Казанского и Астраханского... Он все ведает.

Знаешь сам: шести дней по смерти Грозного царя не минуло, сумел он к Шуйским подбиться, дружка нашего, князя Богдана Бельского далече сослать... А там — и Шуйским черед пришел... Всех, почитай, с Москвы сослали. Ивана Петровича в пути изловили, не чаявши, да на Белозеро, стратига, воеводу преславного... А Андрея Иваныча в Каргополь... Да там скоренько и отошли обое. Сказывают, удавить их повелел потихоньку боярин-правитель... Без суда, Бога не бояся, людей не стыдяся... И весь род ихний, Татевых князей, Урусовых, Быкасовых, Колычевых — кого куда послали, по городам, от Астрахани до Вологды. Простых людей казнили много...

Да на что уж князя милого, Ивана Мстиславского, кого и Грозный царь всю жизнь свою щадил, иным не в пример, — и того зачернил перед царем Годунов, сослал, насильно постриг в обители Белозерской, Кирилловской... Головиных, Воротынских — всех развеял... Один стоит у трона, когда послы к царю являются. Бояре и князья — поодаль сидят. Царь — тот безгласен на троне, все яблоко державное да скипетр разглядывает да улыбается. Борис привет принимает и ответ на него послам дает. Да чего... знаешь сам: митрополита — старца Дионисия, столь ученого и праведного мужа, за его заступку перед царем, что о Шуйских жалобился, правителя обличить смел, — и святителя Годунов с

престола согнал; его вместе с тезкой твоим, с Варламом Крутицким, — по монастырям заточил! Как смели заодно с ним не петь! И дружка своего, Иова Ростовского, потаковщика ведомого, не то в митрополиты — теперь и в патриархи усадил... Задалил патриархию Константинопольскую, — добился чести. Может не то владыкой-митрополитом — патриархом всея Руси по-своему править... А сам и жен не щадит... Княжну Мстиславскую заточил безвинно в обители, малютку Евдокию, дочку Марии Владимировны Старицкой, — умертвил, а мать постричь велел... Да и не перечесть всего... Только шито да крыто свои дела делает... По-воровски, не по-царски, как покойный... Вот и не знают многие, славят правителя за его благочестие, за доброту фарисейскую...

— Господи, Господи! — с сокрушением вздохнул Варлаам. — Слыхали мы тут много. Да все не верилось. А уж коли ты говоришь...

— Зря слова не молвлю, знаешь меня. И на очах у меня все творится. От кого-кого, от нас с братом концов не схоронить... Иные тоже знают многое, да молчат. Нет в царстве сильнее человека, чем правитель. Он с родом своим может в месяц единый сто тысяч ратников на поле выставить... Казной — мало чем царя беднее... Половину доходов земли именем царским себе пожаловал... И задумал он тут свое дело последнее, самое богопротивное!

— Сказывай, сказывай... Охота знать, как оно там было? И верно ли все, что тут молва доносила в обитель нашу тихую?

Варлаам даже ближе подвинулся к гостю, и глаза его загорелись огнем любопытства.

Митя-сирота все ловил своим молодым острым слухом, хотя и не двигался с места, как будто застыл, окаменел там.

— Всем давно явно обозначилось, чего желает Бориса душа ненасытная. Мало ему власти царской, отродью татарскому, коего все в рындах давно ли видели, в самом рабском унижении! Теперь и бармы, и шапку Мономахову норовит похитить, как власть над землей в руки взял.

Нужды нет, что писать, читать плохо смыслит, лукавством все взял! Очистил путь перед собою. Между троном и Борисом — один царь стоял, хилый, слабоумный, да отрок во Угличе... Потому, по всякому правилу, Димитрий — наследник трона, коли не дал Бог государю сыновей доселе... Вот и надо было последнюю былинку затоптать... Чиста чтобы дорога стала... А в Угличе государыня вдовая уж и

совсем притихла. Раней от сыновнего имени пыталась было образумить Бориса. Писала как бы от царевича: уймись-де, кровопийца! А тут, как взял Борис власть непомерную, совсем напугалась государыня, вдовица сирая. Притихла. Видит, на пасынка плоха надежда: обошел его правитель! Недаром все с волхвами да со звездочетами якшается... Только уж теперь он на Углич походом пошел. Будь не такое дело его высокое, что рядом с царем стоит, — сам, поди, не побрезговал бы, руки в крови неповинной смочил бы. Да не под стать. Пришлось своих на совет звать: как от «углицкой помехи» — как сам называет — им, Годуновым, поизбавиться? Тогда, мол, и в царстве покой настанет. А умрет Федор — смуты не станет никакой... И порешили они на совете своем дьявольском то, что и совершилось потом... Изю всех — один нашелся Годунов не разбойник: Григорий Васильич, дворецкий царский. Стал другим на встречу говорить: «Что-де, мол, удумали? Царское семя губить! Извести младенца невинного!» А ему Борис на ответ: «Вот, слышал, поди: строит из снега младенец изображения наши... Твое и других, а меня — выше всех... И сабелькой рубит руки, ноги тем «боярам снеговым», а мне — все по шее норовит... И приговаривает: «Подрасту, так и будет всем Годуновым, когда на царство сяду... А Бориске — первее всех!» Или того хочешь? Выбирай! А уж если не помощник ты роду, то прочь иди. Да не мешай хотя!» Так и отошел от них Григорий Васильевич... А Борис еще прибавил: «Недели нет, как похвалялся царевич: «Еду сам на Москву, челом стану бить брату-государю, на Годунова пожалуюсь. Погляжу: меня задавить не прикажет ли, как Шуйских князей?!» Коротко сказать, так все поджег, что терпеть нельзя. И стали искать: кто бы на злое дело пошел?

— Нашли, злодеи?

— Как не найти! И служить правителю охота, и наград посулил немало за дело дьявольское... Да слушай, что дале было... Есть дворянчика два: Загрязский Володька да Ченчугов Никешка. Воистину благодетелем им явился правитель, когда плохо приключилось молодчикам. Любит людей закупать Борис. Вот и призвал он их, поведал, чего ждет. Какой услуги просит... И много наград сулил. Да побоялись греха обое. Не пошли на злое дело. Взял с них клятву Борис, что молчать станут про тайну страшную, — и с глаз прогнал... Уж выручил тут из заботы дядька царский, Андрей, окольничий, Лупп прозванием, Клепниных роду. Задал, закупил дьяка нашего московского Михайлу Битяговского,

который с сыном Данилкой послан был на Углич — хозяйство вести царицы и царевича, казну отпускать, службу служить всякую... Жаден на золото оказался Михайло. А сынок на посулы пошел, что будет ему много прибыли и чести от дела. Мамку-боярыню Волохову да сына ее беспутного, бражника, зерщика, круговую голову Оську, прихватили... Да еще одного, Микитку Качалова... И пытались они раней дите царское, сироту, — ядом изводить. Да была и от князя Богдана, с Нижнего, и с Москвы царице-матери весть дадена. Оне две, с мамкой, с Ориной, ровно орлицы над орлятами, — над дитей висели. Сами не отведавши, куска ему не давали, глотка не пропускали...

И дворя вся, челядь, за царицу и царевича душу готова была положить. Угличане — утром-вечером Бога молили: дал бы доли скорее царевичу, на царство сести... Пришлось злодеям нагло, середь бела дня свое дьявольское дело по-решить...

— Хватило духу у окаянных...

— Хватило... И улещал, и грозил правитель, скорее бы по приказу делали... А сам — поверишь ли? Стороной повестил матушку-царицу: стереглась бы тех извергов, словно бы по умыслу Шуйских они на царевича подкуплены. Его такая дума была: повершат рабы дело зверское — родня царевича будет знать, кого винить, не утерпит, чтобы не расправиться с извергами. Тогда не станет никого, кто бы на него, на Бориса, слово обличения сказал.

— О-ох! — легким вздохом донеслось невольное восклицанье, которое вырвалось из груди мальчика, теперь уже стоящего почти за плечами Варлаама.

КОГО УБИЛИ?

Словно не слыша восклица детского ужаса, Щелкалов продолжал, как будто читая по свитку знакомую запись:

— В пятнадцатый день мая это было... Горестный час! К полдню близко. Люди по хатам разошлись... И в терему у царицы, в верху его, столы накрыли. С поварни вот-вот-еду понесут.

Разморило, сказывают, государыню вдовую... Истомилась от зноя, сидя и вздремнула в горенке в своей... А всему делу заводчица, Волохова, и намани дите обреченное: «Ишь-де, не скоро еще столы! Парнишки каково весело во дворе зыкают, игру завели... Ты бы шел, родимый!» Кор-

милка, Тучкова, и не пускать,— так она облаяла: все-де в покоех в пору такую дите держать не след. Добра-де дитяти не желаешь... И лекарь-де, Волошин, бает: «На вольной прохладе пусть дите резвится!» — «Какая, мол, прохлада: солнце палит, все попрятались!» И-и, свару завели обе боярыни... Тут, на крыльце на нижнем стоят и спорятся, как оно и допрежь много раз бывало. Знала Василиса проклятая, что делала... А царевич — шасть во двор, к паренькам норовил пройти, которы там в свайку бавились, в кольцо попадали.

Только глядь — ему навстречу, отколь ни взялся,— Оська Волохов, который у матери в светелке целое утро сидел, время стерег... Поклон отдал царевичу... И тянет ему орехов горсточку: «Не пожелаешь ли, мол, орешки свежие». А дите охоче было на них. Берет, спасибо молвит... Убрусец свой в одну руку взял, орехи щелкать хочет, к парнишкам пройти... Те видят издали дите. А Оська и пытается: «Никак, царевич, ожерелко у тебя новое?»

— Так, так, и нам так сказывали... Царевич-то что же? — перебил Варлаам.

— Известно, дите! Оська Волохов — свой человек, почитай, родной... Всегда тута... Он ему и шейку протянул тоненькую... головку поднял и бает: «Нет, все то же... старое, Осенька...» А Осенька, ровно змий ядовитый, ножом блеснул — и по шейке по ангельской... Да, видно, рука дрогнула, что на младенца поднял нож, Каин окаянный... Мало кольнул... Ронил нож, сам закрыл голову руками — прочь побежал, как Иуда, за которым бесы гонятся... А они тут, за плетнем, и ждали: Данилко Битяговский да братан его, Качалов... Сродники они. И напустились: «Ты что это? Всех губишь! Не дорезал... Гляди, на крыльцо он побежал, кровь роняет... Добивай ступай, не то!»... Сами ножи вынули. А Оська раванулся и из глаз пропал.

— Господи...

— Грех великий... Дите-то уязвленное ко крыльцу бежит, а племянник Орины, Бажанка Неждан, Тучковых, его опередил, кричит: «Царевича режут! Оська царевича сгубил!» Oriна навстречу дитю... скатилась, сказывают, себя не помня... Сам понимаешь, больше матери жалела малого... Он бежит, ручонками машет... Кровь льется по кафтанчику... Рубашонка намоча в крови, в горле клокотит... От страху — слова сказать не может, сердечный... Добежал — и на землю пал тут, перед мамою перед своею... Она, дура, чтобы людей позвать поразумнее, доктора кликнуть, который в своей избе

спал, пообедавши, только и сумела — упала на дитя, телом прикрыла его, орет: «Не стало царевича... Сгубили дитя мое роженное!» Вопит, как без ума! Да пусто кругом... Какая челядь в сенях была,— напужались все, врознь кинулись... А тут, как из-под земли,— те двое, с ножами в рукаве... «Что орешь! Молчи... Кого зарезали? Какое дитя твоё? Может, и пустое все... Может, оздоровеет? Дай взглянуть!» Швырнули ее прочь, мало ребра не изломали... Да подошли, огляделись: пусто кругом... И полоснули дите, словно агнца невинного... Дорезали... Сами — к Орине: «Правда твоя, не встанет!» Данилко говорит: «Побегу отцу скажу, како дело... Не уберегли вы дите... Сам он себя, видно, в падучей заколол... А вы на людей клеплете!» А это их так Борис на Москве учил, когда к себе позвал да поручил дело адское... Сказали — и убежали оба... Недалеко ушли!

Только они к воротам, а на их беду — сторож, Максимка-кузнец, двором шел — злое дело видел, на колоколенку забрался, в набат ударил... Церковь тут рядом близехонько, Спаса, дворовая... Царица на гомон с крыльца бежит... увидела, что Oriна на руках дитя держит, все кровью залитое... И трепыхается оно, словно голубь подстреленный... А мамка, Волохова, словно не в себе, на крыльцо присела, воеет... сама с места не сдвинется. Тут ей Oriна все и поведала... И кузнец-сторож, который завидел, что пономарь спасовский бежит,— с колокольни слез... А тут и в других церквях набат подхватили... В полсотни колоколов звон пошел... Дядя сам Михайло Нагой скачет: «Что, пожар, что ли, во дворце?» И Григорий Иваныч... Почернело кругом от людю всякого... Данилко-то Битяговский с Качаловым уж и бежать не смогли, в избу съезжую юркнули, отмолчаться вздумали... А Оська сгоряча верст двенадцать пробежал... И назад поворотил... Думает: отстоят его Битяговские именем Борисовым, как было обещано... Тут и сам главный делу заводчик, Михайло Битяговский, пожаловал... Как увидела его царица и народ весь, на месте и убили... Особливо как задумал он было всем глаза отвести, клялся да божился, что поклеп идет со стороны Нагих... Сами не поберегли царевича, бояться, что царь к ответу позовет за нераденье,— и сваливают на других свой же грех... Озверели люди... Что в руках было, крюки, топоры, с чем бежали, полагая, что пожар во дворце,— с тем на злодея и кинулись,— в дробь издробили... Царица кричит: «Злодеи-то где же? Кто резал, где изверги! Данилко, Никитка да Оська треклятый?!» Нашли и тех двух в избе... Двери прочь... Им дорога туда же, за старым душе-

губом... А Оську ажно в доме Битяговского сыскали. Схоронился там... Женка Михайлова укрыть его задумала... Привели обоих к царице... Прямо навверх, где в церковке в дворовой лежал царевич, теплый еще... И как привели Оську — из раны из запекшейся кровь наново полилась... Бог суд дал злодею... Тут и доби́ли его... И еще из своры Битяговского восемь душ погибло... Только к ночи еле вошел в себя народ, как ко всенощной ударили... В субботу грех случился... А от Михайлы Нагого да от земских старост угличских — гонца погони́ли... Лист ему дали, все, как дело было, царю отписали...

— Ну и что же?

— Вестимо — что? И обычно все цидулки из Углича прямо в руки Борису принашивались. А тут вестей добрых ожидали, так еще за стеной за городскою московскою переняли гонца... Проводили к Годунову. Прочел он доношение, а там так и стоит: «От Годунова люди подосланные извели царевича...» Видел бы ты, как переко́сило лицо Борисово... Взял столбчик, глядит в него... губы дергаются, руки ходуном ходят, раздрал край бумаги-то... Да тут же по ней приказал иное написать доношение для царя. А в нем и писано, что «сам-де в припадке черной немочи ножом поколол себя царевич и скончался в одночасье... А Нагие-де, чтобы от себя провинность отвести, — Битяговских под обух подвели, на них наклепали, народ подняли». Так все и прочитано было царю. Горько плакал добрый государь. И поручил правителю дознаться: чья правда. А Борис на сыск послал...

— Того же Клешнина, Андрея, да Шуйского, Василия, да дьяка продажного, Вылузгина... — знаю!

— Ну, так знать можешь, как они до правды доходили! Старый лукавец, Шуйский, змий, в пяту жалящий, поди, и сам бы рад был убрать последнего от корня Иоаннова. Да духу не хватало. А тут — Борис постарался... Так и он ему пособил. Плакал, Бога призывал... О грехе поминал... «Грех-де на мертвых клепать! Вам-де, Нагим, родичам царским, ничего не станется; а коли вы станете Годунова облыгать, — и вам голов не сносить! Мол, владыко-митрополит повыше вас стоял, а куда слетел? И другие князья и бояре первые... Грех уж совершен. Так не колите очей никому! Мол, надо писать: все вышло от воли Божией... Сам покололся, ножом за черту метал, припадок пришел, царевич-де и накололся на ножик на свой. А там дело предадут забвению!»

К царице с этим он и сунуться, вестимо, не посмел. Так ее и не спрашивали, Михайло Нагой тоже уперся. Говорит: «Все едино пропадать. Так не стану кривде потакать! Хоть запытайте, окаянные!» Так и записал, что подосланы от врагов были убийцы: Битяговский с товарищами, — и зарезали племянника-царевича. Один он не уступил. Другие все от первых слов своих отреклись, по Шуйскому уговору показывать стали и руку прикладывали, кто умел... А митрополит Крутицкий Геласий тут же с Шуйским и Клешниным в храм Преображения прошли, где убиенный младенец пятый день лежал, судей праведных дожидался... У Луппа у единого душа заговорила, как сказывают. Недвижный стоял он, ко гробу не смея подойти, глаз не поднял на жертву невинную. А Шуйский таково-то пристально стал смотреть... Да где признать! Пять дней в пору жаркую лежало дите... Кровью облитый сперва. А там, хоть и обмыли, — все не узнать в нем было того царевича, которого Шуйский года четыре назад тому видел. Все же уверовал, толкует, что подлинно царевич перед ним зарезанный... Горло-то вот как перехвачено! Куды бы самому дитяти, хоть и в припадке, такое над собою сотворить? Да судьям праведным горя мало. Записали тех, кто по-ихнему дело показывал, других обошли, тело отпели да поскорее земле предали, мол, вконец бы не испортилось... А дума другая: вдруг сам царь наедет? Либо повелит брата на Москву везти! А Шуйский в ту пору и то проговорился: «Как, говорит, по смерти *поиначилося* личико царевича. Видно, крови вовсе не стало в нем... Смуглый был, а тут — беловатый лежит...» Вошло ему, значит, на ум... Да спохватился, умолк... А царица вдовая таково-то плачет, причитает... Жаль ей, вестимо... А про Орину и говорить не надо. Только сына родного так провожать можно, как она убитого. Двадцатого числа приехали, в четверток, бояре, в пятницу — и уехали. А там, на Москве, собор собрали целый: дело рассудить великое. Ну, долго не думали, Иов, владыко, Борисом ставленный, все уладил... «Нагие-де виноваты!» Прозвонил; бояре в подголоски ударили... Нагих присудили по местам разослать... Угличан бедных — в корень чуть не извели... Пол-Сибири ими населить надумали; гляди, тысяч тридцать людей было! Меней половины остались... Жгли, пытали, топили, вешали... А царицу-вдову, дважды осиротелую, постригли насильно... На Выксе в дальней пустыни заточили вдову Иоанна-царя!

— Да как... как они смели... как могли это... Как смел он?! — вдруг рвущимся голосом, весь дрожа, заговорил

мальчик, который давно уже едва стоял на ногах от горя, от жалости...

И, протянув руки вперед, словно отгоняя кого-то, мальчик упал, забился в припадке «черной немочи», обычной детской болезни в эти времена.

— Ишь, кровь сказала! За старуху как встал,— негромко проговорил Варлаам Щелкалову, подымая с его помощью Митю и относя в соседний небольшой покой, где стояло жесткое, узкое ложе келейника.

На него положили ребенка и покрыли черной мантией игумена. Полагали тогда, что этим облегчается припадок. Затем снова перешли оба в келью, сели на свои места. Долго никто не начинал разговора.

— Вот так-то оно и содеялось все!— наконец проговорил гость.

— Злое дело... И верю: пошлет Господь возмездие власти похитителю,— эхом откликнулся инок. Поведя глазами на Митю, лежащего рядом, в покое, он добавил:— Этот отмстит... Видел сам, брате: каков малый? Рожденный господин...

— Видел уж, видел... Сберечь бы нам его. Толкуют, что Шуйский... может, для острастки Годунова, а шепнул ему о думах своих насчет того: «Подлинно ли царевича сгубили слуги подосланные?» Мол, в энтот, в мертвеньком,— отличку нашел он от того, который родился у Марии... А Борис ему и ответил: «Тот ли, другой ли, а Димитрия схо-ронили...» Из могилы, гляди, не встанет! Он не Лазарь, и Христа ноне нет!

— Гляди, не встал бы! Каин окаянный... Вот поглядеть бы на него, коли донесут ему в ту пору, что «встал»!

— Доживем — увидим. А пока — остерегаться надобно... Отселева пора убрать хлопчика. В Рязань я его свезу... Там Игнатий — грек, митрополит, дружок наш, старый, верный... Оттуда и на Москву направим. Пусть все увидит, узнает своими глазами, не из речей людских... Повидает своего «приятеля», гляди, полюбит его! Хе-хе! А там — и дальше дело поведем... За грань его... Пускай к военному делу приучается... А там... Ну да там уж Бог что даст, то и будет... Только я исполню волю государя покойного, на чем крест целовал с Богданом-князем вместе: вырастим чадо — и к трону подведем. Сумеет взять и воссесть — значит, такова власть Господня!

— Аминь! А скажи ты мне... как вы подмену-то сделали? Что и не заметил, почитай, никто. Когда это?

— Давно уж. Как стало видимо, куда гнет Борис, тут мы с князем Бельским и приступили к Орине. Она давно была подговорена... Мол, твой сын пускай поцарствует. Федор, мол, некрепок... А сын царицы — не от государя-супруга. И приказывал он своего Димитрия до трона не допускать! Баба и сдалась... Потайно родного сына мы ей привезли; тут захворал царевич... Изменился от недуга... Его в ночи нам отдал доктор — Волошин, паренька Орины взял, положил... Дети малые, еле лепечут... Что им понять? Так и осталось. Тот — там... Этого — увезли, на посаде на вашем старикам в приемыши сдали... Мол, сироту, роду честного... Поберегите... Казны малость прибавили... А как подрос, да ты его взял,— сам дальше знаешь!

— Так, так... Доселе — все хорошо было! Пускай же и далее хранит десница Божия отпрыска царственного!

И Варлаам с теплой верой осенил благословением мальчика, который лежал рядом и от тяжкого забытья болезни перешел к укрепляющему тело спокойному детскому сну...

ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ

Ярко сияют светила и звезды небесные в беспредельной глубине, своим или отраженным светом озаряя мрак мировых пространств.

Вечно одиноки и далеки они друг от друга. Но пути их постоянно пересекаются между собою, и самые далекие звезды, разделенные миллионами миллионов верст,— влияют на другие светила, испытывают их влияние; только силой этого взаимного влияния и могут они вечно длить свой быстрый, размеренный путь в темных безднах вечности.

Так и в жизни людской.

Размеренно, мощным ходом движется общая человеческая жизнь. Как бы тесно ни сошлись, ни слились люди в шумной толпе,— они одиноки... Как далеко ни отстоит одна душа человеческая от всех других,— она влияет на них и сама испытывает их влияние, тайное, могучее воздействие на себя, на каждое движение свое...

Давно еще — при зарождении сознания — наметилась в уме людей эта мысль, запечатлелся тайный мировой закон.

И выразили люди свое неясное сознание двумя заветами: учением «о свободе воли» и учением о «всесильном Роке»,

покорность которому неизбежна для всего живущего, даже для мертвой, бездушной природы.

Вера и Рок рано овладели душою Дмитрия-сироты и руководили каждым движением, каждым помыслом ребенка, юноши... и после, до самого конца!

Для этого, конечно, были свои причины. Ничем не выделялся он из той среды, в которой проходили его дни.

Никому не ведомый сирота, без казны, без явных друзей или сильных защитников и покровителей — мальчик видел, что путь его идет не так, как у всех других сверстников, нищих, одиноких сирот, каких немало всегда на Руси и по мирским углам, и во дворах монастырских.

Были мальчишки не глупее его, более проворные, красивее гораздо... Легче жилось им, чем остальным, неудачливым детям, пасынкам Судьбы.

Но никто из них не испытывал таких странных приключений, как Митя, в свои девять — двенадцать лет.

Из тихого, далекого угла, из скромной обители, — частью пешком, частью с попутными подводами доставил мальчика в Рязань инок старицкий, которому по делам семейным пришлось побывать в этой стороне.

Потолковал инок с монахом на митрополичьем дворе, сдал ему отрока и ушел. Сирота получил тут угол со всеми другими детьми, которых еще несколько воспитывалось в рязанском монастыре. Пел Митя, как и раньше, на клиросе, сидел часами в просторной, светлой горнице, переписывая священные книги своим четким, красивым почерком, скорописью или вязью выводил буквы владычных посланий... Чаще других давали ему переписывать толстые тетради с изложением исторических событий Московского царства от становления до последних дней царения Ивана Васильевича.

Инок брат Корнилий, которому под начало отдан был Митя, заведовал штатом писцов и переписчиков, взрослых и мальчиков, проживающих во дворе у митрополита Игнатия, человека большой учености, как греческой, его родной, так и славянской.

И так вышло просто, незаметно, что бойкий, хорошо выполняющий свое дело Митя был «замечен» владыкой и призван к нему.

Строго, важно глядел Игнатий. Но особое какое-то внимание и забота, как показалось чуткому сироте, — сквозили в словах и во взглядах князя церкви.

— Ты откуда сам родом? — протяжным, гортанным, явно нерусским говором спросил Игнатий. — Сколько лет тебе? Издалека ли тебя к нам привезли? Давно ли грамоту узнал? Хорошо ли тебе здесь?

Быстро, один за другим следовали эти вопросы, которыми засыпал ребенка владыка, несмотря на показную важность и величавость не отрешившийся от обычной греческой живости и словоохотливости.

Не смутился нисколько мальчик.

По-монастырски, смиренно сложил он руки, но глаза глядят прямо, смело.

И внятно, словно сам впервые отдавая себе отчет, говорит Митя:

— Откуда родом, и сам не знаю. Говорят, нашли меня старики, у которых жил я до времени. По шестому году к отцу Варлааму привели меня. Теперя, по осени вот, тринадцатый пойдет... На Уара на мученика родился я... От отца Варлаама сюда и приведен. Грамоту, почитай, лет шести узнавать стал... в обители в Старицкой. А жить мне у твоей владычной милости дюже хорошо... Челом быю за все милости!

И мальчик, по наставлению, преподанному ему раньше братом Корнилием, отдал земной поклон владыке. Выпрямился, ждет: что дальше будет?

Не сводит с него испытующих глаз Игнатий. Строго строго сдвинул брови и говорит:

— Откуда ты знаешь, что на Уара рожден? Кто сказывал? Почему Дмитрием крестили, а не святым по дню рождения? А? Путаешь что-то... Ты прямо мне, как на духу. Знаешь, кто я? Пастырь твой духовный... Глава! Могу вязать и разрешать здесь, в этой жизни, и в будущей. Так бойся мне что-либо облыжно сказать. Почему все сие? Может, слышал, знаешь: какого ты роду-племени? А? Никого тут нет, видишь? Все прямо говори!

— Так я и сказываю все, что мне ведомо, святой владыко. Когда рожден, про то старики часто сказывали. Словно бы грамотка на мне была. С грамоткой найден я. И что крестили меня Дмитрием. Мол, «в другое не окрестил бы кто». Так было писано. А самое грамотку затеряли старики... Думалось им, был мой род не из простых. Опала пришла, так они меня и отдали добрым людям, чтобы сберечь от опалы... Мол, часто бывало так и раней... А знать о себе больше ничего не знаю. И не слышал ничего... Как перед тобой, святой владыко, так и перед Богом! Страху

во мне нет, злого не умыслил ничего. И лукавства во мне нету.

— Вижу, вижу, чадо... Прямо в очи глядишь с умом, но без дерзости. Так и впредь жизни. Ни перед кем очей не опускай, если душа чиста. Пусть уж другие... Ну, теперь иди с Господом. Трудись, учись... Может, Бог тебе долю пошлет,— как будто повторяя слова доброго Варлаама, сказал этот строгий на вид владыка, благословил Митю, руку ему для поцелуя протянул, сам другую на голову мальчику возложил.

— Расти, крепни! Да благословит тебя Всевышний,— каким-то иным, дружелюбным голосом произнес Игнатий и отпустил Митю.

Долго потом звучал в ушах мальчика этот ласковый, бархатистый звук голоса, все слышалось горячее благословение:

— Расти, крепни...

Больше года с этого дня прошло.

Игнатий пышно выезжал, если случалось покидать свой двор. Как у светских владык, были у него свои верховые слуги, вершники. Сильный, ловкий, смелый сирота попал в число этих провожатых и мог потешить свое чувство, любовь к быстрой езде, к скачке, к хорошим лошадям.

Увидав Митю на коне, владыко ласково, одобрительно кивнул ему головой, велел ехать у дверцы колымаги и потом сказал:

— Хоть ты и в иноки готовишься, а уметь не мешает и светские дела. Были времена и у вас на Руси, и на Востоке у нас, когда иноки не только Слово Божие — меч брали в руку, главу покрывали шишаком стальным и боронили от неверных крест и веру Христову... Ничего, ничего! Коли любишь — и узнавай мирское дело незазорное. Молод ты еще. Лучше, коли смолоду больше силу свою изведает, чем под старость потом будет она тревожить тебя, подвигу мешать...

Если приходилось в грязь, в распутицу человека верхом послать куда-либо, уж за это обязательно брался Митя. Молодых лошадей, приводимых на двор владыке, — он тоже любил объезжать и успевал в этом легко, если не по уменью, так благодаря своей отчаянной отваге.

Когда он подходил к коню и глядел ему своим ястребиным, упорным взором в глаза, — казалось, он умел одним этим покорять, успокаивать необъезженное еще животное, гипнотизировал его.

Общим любимцем был во дворе у владыки Митя.

И не удивился никто, когда в конце 1595 года Игнатий, отправляясь в Москву, взял в числе провожатых и переписчика своего, сироту.

Много друзей нашлось у Игнатия среди греческих изгнанников, проживающих в Москве по нежеланию видеть родину, подавленную игом османов.

Уезжая в Рязань, Игнатий не взял с собой Митю, а устроил ему место у вельможного выходца из Солуни, кир Димитрия.

Тут мальчик, уже начинающий превращаться в юношу, справлял четырнадцатую годовщину своего рождения.

Неспокойно, невесело прошли на Руси и на Москве тысяча пятьсот девяносто пятый и шестой года. Пожар случился сильный в стольном городе.

Часты были пожары в старой деревянной Москве, а в этот раз так выгорела она, что от Китай-города следов не осталось.

Хлопотать стал Борис-правитель, наново, камнем пустое место обстроили.

Сильный мор проник в царство, и от него Псков вымер почти до последнего человека, так что пришлось из других мест туда людей переводить, отдавая им пустые дома и выморочные дворы посадские и торговые...

Крымцы, забыв неудачу, испытанную всего три года тому назад, — снова двинулись на Москву. Но у рубежа успели их перенять и отправить русские рати под начальством окольничего Михайлы Безнина, воеводы калужского.

Случилось и другого рода горе, незначительное на вид. И хотя люди не пострадали при этом случае, но он взволновал почти всех верующих русских даже более, чем отбитое нападение татарское.

Старинный Печерский монастырь близ Нижнего славился в народе как место подвигов святого Дионисия Суздальского, Макария Унженского и Евфимия.

И вековая гора, царящая над обителью, размытая подпочвенными водами, загрохотала, заколебалась... Медленно поползла по скату береговому вниз, к Волге, и засыпала на пути своем всю чтимую обитель, сровняла ее с землею.

— Великая поруха будет в царстве! — в один голос говорили по всему царству и в самой Москве, где очень мало было просвещенных людей и большинство духовенства оста-

валось совсем малограмотным, как и полвека назад, когда решительно начал бороться с этим грозный царь Иоанн Васильевич.

И другая, потаенная, но самая тревожная весть разнеслась шепотом, негромко по Москве, но скоро разлилась, покатилась и дальше по городам, как все плохие вести: царь Федор очень недомогать стал. И без того слабый, он совсем захирел в последнее время. Обмороки чаще и чаще повторяются. Даже молиться так долго и усердно, как прежде, не может этот инок и подвижник в царском венце, в бармах Мономаха.

Бояре, воеводы, старейшие служилые люди насторожились, стали подумывать: кто примет власть по смерти этого последнего из рода Рюрика?

Партии и раньше были при дворе. А теперь их больше стало и яснее они определились.

При дворе старались, чтобы за рубеж страны не проникла весть — на радость враждебным ляхам, литовцам и татарам со шведами.

Но сами бояре враждовали между собою и готовили подкопы, рыли ямы, хуже отъявленных, заклятых врагов.

Вести, слухи и намерения сильных людей особенно были подробно и хорошо известны при патриаршем дворе, в Чудовской обители, постоянном пребывании московских первосвященителей.

В ней как раз к этому времени очутился и Димитрий.

Как-то само собой это случилось.

Из старицкого Успенского монастыря приехал в Москву один из иноков к патриарху с каким-то челобитьем от игумена Варлаама. Конечно, по поручению последнего, он разыскал юношу, позвал его к себе, в Чудово, где сам жил у инока, старца Паисия.

Последний уже знал, очевидно, о сироте и принял его очень дружелюбно.

Между прочим старицкий инок от имени Варлаама задал Мите вопрос:

— А что, чадо: хотел бы знать отец игумен, совсем ты раздумал о пострижении? В мирское житье ушел, обителей чуждаешься...

— Нет, отец. Воля была владыки Игнатия меня приставить в услужение к господину моему... А я не оставил по-

мысла постоянного. Кроме как у Бога, нет мне надежды и пристанища. Сирота ведь я в мире!

— Верно, сыне! Так и думай, так и уповай... Ежели не прочь, так вот тебе и случай. По прошению отца Варлаама и моему — брат Паисий может тебя в патриаршую обитель преславную принять. Про мастерство твое скорописное он наслышан... Дело дадут тебе знакомое... а уж где лучше Богу послужить, как на очах патриарших... Может, и заметит кир владыко, благословит тебя и усердие твое... Удостоишься и пострижения, как только года твои придут... Желает ли? — инок ласково взглянул на юношу.

Низко поклонился Митя:

— Молю о том, отцы преподобные!

— Вот и ладно. Я потолкую с братом Косьмой, который писцову палату патриаршую ведает. А ты загляни по времени, чадо! — ласково сказал сироте Паисий.

Недели не прошло, как сирота явился к кир Димитрию, прощаться стал с господином, который тоже к нему был добр и внимателен, как к редкому из челядинцев. Предупрежденный управителем, грек не расспрашивал юношу ни о чем, протянул ему руку для поцелуя и сказал на ломаном русском языке:

— Заль, заль... Кареси... Тупай Богом! Бок прости... Цаслива!

И полтиной одарил уходящего слугу.

...Быстро миновал 1597 год. Особых бед не было, но и радости не слышно было.

ПО РУСИ

Если за гранями царства Русь получила новое значение при умном, изворотливом правителе Годунове, то у себя все его начинания оказывались неудачны, хотя на первый взгляд вызваны они были истинным желанием помочь народу, были подсказаны государственной мудростью, которую даже враги признавали в многолетнем правителе царства.

Особенно много толков, жалоб и молчаливого недовольства, а порою и явных проявлений негодования вызвала в народе отмена Юрьева дня.

В день этого святого все «черные» люди, безземельные крестьяне, работающие на чужой, помещичьей земле, могли

менять своих господ, если были недовольны теми, у кого застал их «вольный день».

Правда, такая смена редко вела к лучшему. Часто меняли «кукушку на ястреба»... Но все же призрак воли был дорог темной душе бездомного пахаря, поработанного невежеством и нуждой, но свободного хотя бы по букве закона.

Правда, люди бессердечные, зная, что кабальная запись действительна только до Юрьева дня, на один год,— старались за это время выжать все, что можно, из пахаря-оброкника. Десятки и сотни тысяч крестьян с семьями, не имея угла и гнезда своего, кочевали ежегодно из имения в имение вечными батраками-бродягами.

Но более благоразумные хозяева, собрав подходящих работников-пахарей, старались привязать их к себе и к своему хозяйству на более долгие времена и переписывали записи из года в год. Люди богатые, многоземельные помещики даже пускали в ход всякие посулы и льготы, чтобы притянуть побольше рабочих рук на свои пустующие угодья.

Случалось, что переманивали людей друг у друга, ссорились из-за этого... До стычек между целыми отрядами «дворцовой челяди» доходило порою.

Но в общем выработались средние условия, при которых и господа, помещики разной величины, и хлеборобы жили сносно. Каждый надеялся, что время выработает новые, еще более удобные для всех условия и рамки взаимных отношений.

Но в это большое, народное дело внес свое личное решение Годунов.

После ужасного события в Угличе, когда он не побоялся выжечь пол-Москвы, он решился допустить нашествие татар на эту столицу,— только бы отвлечь Федора от проклятого Углича, от останков зарезанного ребенка, лишь бы заставить народ забыть, хоть на время, этот кошмар... Как раз тогда, в 1592 году, именем Федора был издан указ, которым вводилась вечная кабала на Руси.

Было уничтожено право ежегодного перехода крестьян на другие земли...

Отменен был Юрьев день, и пахарь прикрепился к тому полю, где застал его новый закон.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — вырвалось из народной груди скорбно-насмешливым криком... И перешел этот крик навеки в потомство.

На 270 лет,— как показала история,— приковал Борис к земле несколько миллионов людей, только бы угодить сильным помещикам, властным князьям и боярам, больше всего страдавшим от частых переходов крестьян от господина к господину.

Но оказалось, никому не угодил Борис.

Мелкие владельцы, правда, почувствовали себя спокойнее. Прочнее все строить смогли теперь, ровнее хозяйство у них пошло. Но крупные «господари» негодовали, что нет возможности по-старому на пустые земли скликать людей, от соседей их сманивать, издалека подзывать...

Эти и другие, более мрачные, толки идут о Годунове. Но долготелная привычка — повиноваться ему — сильна во всех, и дальше толков дело пока не идет.

Гуляют и более темные слухи в народе и об Угличе, о царевиче, от злодея убиенном, о том, что сам назвал татар окольными путями правитель, дав им знать через мнимых предателей, будто свободны пути к Москве и некому защищать столицу царства...

Но за такие рассказы целый город Алексин, где впервые зародились они,— весь город был «на поток» отдан судьями и палачами; и не менее Углича обезлюдел городок, веселый, многолюдный до этого.

На Москве особенно шпыни и доносчики шныряют, каждое слово ловят...

Сболтнет кто не без дурного умысла, по оплошности, против правителя слово скажет, весть повторит недобрую,— и хватают ночью неосторожного, из теплой хаты тащат в приказ, к допросам, на пытку ставят... А там, глядишь,— и сгинул человек.

Свои и то не смеют дознаться: жив ли, умер ли? Сослан куда далеко или в воду брошен, замученный, запятанный...

Все это слышит и знает Митя.

Много, много еще слышит он, что шепчут даже здесь кругом, на дворе патриарха Иова, друга Годунова, им поставленного и в митрополиты, и в патриархи Московские.

Толкуют, что Федору пора умирать, по расчетам Годунова, именно теперь.

Скоро 50 лет минет самому Борису. Десятки лет он медленно, осторожно подбирался к престолу... Столько гре-

ха явно и тайно принял на душу, что страшно подумать!

Будь его пора, его правление не после царя Ивана, который кровь, как воду, лил — еще страшнее показались бы дела Бориса. А теперь, умея надевать личину благочестия и смирения, удачно справляясь с внешними врагами, лаская всех, подкупая их царской казной, — он кажется агнцем белым перед багровой, окровавленной тенью Грозного царя...

Все это слышит Митя.

И чувство негодования, какое давно шевелится в груди юноши против лукавого вельможи, — начинает становиться все острее, переходит в чувство какой-то личной ненависти, глубокой, беспощадной вражды, на какую только способна чистая, горячая душа пятнадцатилетнего отрока.

Настал веселый праздник — Святки.

Широко, шумно справляют дни Рождества по всей Руси. А на Москве — особенно торжественно празднуют их.

Заливаются все московские колокола, которых до пяти тысяч насчитывается, если взять и посады с пригородами. Загудят они все — так не то что на улице — в домах плохо слышат люди друг друга: так потрясают воздух медные груди колокольные, потревоженные ударами тяжких, сильно раскачиваемых языков.

Пусты кельи, и сени, и переходы в Чудовом монастыре. Даже в черных избах дворовых, на поварнях, всюду — темно и безлюдно.

Только сторожа сидят и дремлют у ворот, у калиток, кой-где по внутренним дворам и дворикам. Очнется иной ото сна и заколотит громко в свое избитое по краям, засаленное от прикосновения многих рук ручное било.

— Таки-таки-таки-так! — застучит, выбивая сухую отчетливую дробь, деревянная колотушка... Собака залает, словно давая ей ответ. Другие ответят ей, все дальше и дальше подавая звонкие голоса замирающим лаем.

И стихнет все снова.

По церквам разошлись теперь люди. Иные у себя, дома, в монастырском храме, поневоле либо по охоте отстаивают долгую праздничную службу.

Люди свободные, не иноки, не служилые, а проживающие только при обители, при дворе патриаршем, — по дру-

гим храмам пошли молиться. Интересно им поглядеть и соборное служение, и древний чин в церкви Василия Блаженного... И в иных местах незнакомых — святыню поглядеть, помолиться другим иконам и мощам, не тем, которые всегда тут, под рукою в Чудовом находятся.

Димитрий не пошел в церковь. Сам Паисий благословил его пропустить службу, когда юноша попросил благословения: навестить в келье больного приятеля, инока Григория, уже второй год диаконствующего в обители.

— Благослови Господь на благое дело доброе. Недужного навестить, помочь брату в болезни — все равно что службу отстоять. Еще и боле зачтется ангелом твоим хранителем, дитятко! Иди, иди... Да только, слышь, поостерегайся. Брат Меркурий был у Григория. Сказывали: не может еще сказать, что за хворь у бедняги. Кабы что не вредное и для тебя вышло. Передается иная хворь. Поостерегайся. Близко не садись, не касайся недужного. Разве уж помощь какую нужно оказать...

— Слушаю, отче! Поостерегуся. А думается: как ни остерегайся, коли воля Божия, — не минует доли своей никто... А суждено здоровым быть, так и не допустит Он до другого...

— Ну, уж ты у меня вѣдомый «ритор», «вир элоквентус», как говорят латыняне. Ты там, кажись, у солунца-то, и полатыни стал мороковать? Ладно, все ладно... Что человек ни познает, все на пользу душе его... Кроме зла познания, как сам разумеешь. Зло познать — рая полишиться... Только теперь уж, как земного нету, — душевного лишает нас Господь за наши прегрешения... Охо-хо-хо-хо! Иди с Богом... А как я вернусь, скажи мне: что брат Григорий? Душевный он и не глуп. Чудной малость... А тоже, в книжной премудрости силен... Люблю я толковать с ним. И все-то он слышал, знает обо всем, что где по углам на Москве таится... Занятный инок! Иди...

В тесной, небольшой келье на простом иноческом ложе лежит больной.

Это — человек лет тридцати, с простым, русского типа лицом, каких встретишь часто в средней полосе России: сероглазый, скуластый слегка, с реденькой бородой и темно-волосый.

Инок — хорошего роста, плотный, очевидно не ведущий аскетической жизни в богатом и шумном монастыре, где

живет сам патриарх, где много князей и бояр числится среди иноков, вольно и невольно надевших рясу и мантию, принявших обет смирения и нищеты только на словах. Юрием, Богдановым сыном, Отрепьевым звали в миру монаха-диакона. Теперь он взял имя Григория. Но по старой памяти часто Юшкой его зовут.

Связь и родня есть у него даже при дворе. Дядя его, Смирной, Иванов сын, Отрепьев служит в приказах, подьячим числится. Он и устроил племянника при дворе патриаршем.

Тихо, осторожно вошел в келью к больному Димитрий.

Инок спал. Его довольно полное, сейчас как будто припухлое лицо было бледно. Черные круги окаймляли закрытые глаза. Пересохшие губы были полуоткрыты. Дышал спящий тихо и ровно. Когда юноша заглянул сюда днем, — иннок метался в жару, бредил порою и выглядел очень плохо.

Сейчас, заметя перемену к лучшему, Димитрий молча перекрестился и, подняв глаза в угол, где перед иконою горела небольшая лампадка, стал беззвучно молиться, нервным, порывистым жестом осеняя усердно крестом.

Кончив молитву, сирота сел у небольшого, узкого окна, похожего на бойничный пролет, через которое в келью проникали лучи полного месяца.

До половины это окно обледело и снегом было занесено. Заглядевшись на причудливые узоры, выведенные морозом на стеклах, юноша как будто задремал.

Мысли его унеслись куда-то далеко. И не в прошлое. Там — мало отрадного и блестящего, мало того, что особенно любит Димитрий: силы, раздолья, красоты и радостей. Неясно, сам не давая себе отчета, но именно этого желает, это любит, к этому стремится всегда юноша.

Иногда ему даже снится или наяву грезится — он и не разберет: не монах, а воин вышел из него... И в стальном шишаке, в золоченой кольчуге несется он на коне против неверных турок. Поражает их, как поражали сарацин галльских витязи, о которых он читал... Как поражал любимый его царь, Александр Македонский, несметные полки Дария-царя...

Наверное, и Александр, и даже Дарий — вовсе не такие были, каков московский государь, — бледный, с одутловатым, невыразительным лицом и женски-мягким, невырази-

тельным взглядом мутных глаз... Да еще эта робкая, словно виноватая улыбка, которая никогда не покидает лица Федора... Совсем блаженный, юродивый, Христа ради, а не царь...

Не похож на повелителя и Годунов, хоть с виду и важен, осанист. Был долго, потерся около Грозного царя, вот теперь и хочет под него поддаться... Да плохо ему удастся. Словно он сам не верит: так ли все это, что он делает? Невольно и окружающие начинают сомневаться и думать: прав Борис или не прав?

Ясно Димитрий, конечно, не представляет себе всего этого. Но что-то такое носится в его уме. Сам он не знает почему, но мысли его постоянно возвращаются к Борису, к царству... к вопросам, казалось бы, таким далеким и чуждым, бесполезным для бедного послушника, для сироты-писца.

Но время такое на Руси, что о царстве и делах правления, о государственных путях многие думают с напряжением не меньшим, чем в другие времена толковали и думали о вопросах религии, о том: ходить ли вокруг алтаря посолона либо против солнца? кадить прежде образам или владыке? — и тому подобное.

Какое-то загадочное предчувствие прокрадывается в душу его: что ему придется вмешаться в общую кашу, если не теперь, так позднее. Вот станет он иноком заправским... Прославится подвигами святости... взойдет на митрополичье место... А там, гляди, и на патриарший престол. Иов, «смиранный богомолец», — как он сам величает себя, — тоже не больно знатного рода и великого ученья либо ума человек. Однако дошел! Почему же ему, Димитрию, не достигнуть того же?!

А тогда он не станет гнутья, подобно теперешнему пастырю всех христиан славянских, — перед сильными и дающими выгоду людьми. Себя не пожалеет тогда Димитрий, а много добра народу родному принесет... Он слышал в течение многих лет, чего просит народ, он видел в разных углах: чего не хватает, что ждут, кого любят, чего боятся простые бедные люди, страдники Русской земли...

Он, конечно, не царь... Он будет только духовным пастырем. Но станет говорить царям, заставит их тоже прислушаться к робкой мольбе народной, к его затаенным, горьким слезам, к вековечному стону, который встречает в ответ одни пытки да кнут порою...

Какой-то шум, долетевший от постели, заставил сильно вздрогнуть мечтателя, позабывшего даже, где он сейчас сидит.

Больной, проснувшись, приподнялся на локте, а правой рукой стал шарить на простом деревянном столе, который стоял в головах, недалеко от кровати.

Там, задев за солонку, он скинул ее на пол и крикнул слабым, недовольным голосом:

— Эка, лукавый...

— Проснулся, брат Юша? — подымаясь быстро со скамьи у окна и направляясь к постели, спросил сирота.

— Фу-ты, нечистая! Прости Господи... Темненько тут... И не разглядел я тебя... Снова пришел? Сторожишь? Ну, сторожи... Спаси ты Христос, братан... Вот, ковш нашарить не могу... С квасом стоял ковшик тут у меня... Есть? Благодарствуй... Ничего, не держи... я и сам посижу, напыюсь... Ф-фу... Легче стало... Отпустило теперь. А было, думал, плохо дело... Капут башка моя пречестная, зело преподобная... Ф-фу! Ишшо хлебну... Словно на свет сызнова нарождаюсь я теперь...

— И впрямь лучше тебе! И так разом? Что такое, брат Юшенька? Напущено, что ли, было?

— Напущено?! От кого? Царь я алибо казначей чудовский, что корысть от меня какая и надо порчу напускать! Сам на себя напустил. Как на Украине жывал, в Киеве славном, на Днепре... Да и дальше... Камыши тамо, болота... От них — зело ядовитая лихоманка прилучается, как лекаря там мне сказывали. А я больно рыбку ловить люблю... Бреднем и на червя... с наживкой... Вот и накачал себе... Который год выгнать не могу, лихоманка бы взяла эту лихоманку мою!

От раздражения больной даже закашлялся.

— Молчал бы ты лучше, брат Юшенька... Ишь, после хвори, словно раздуло тебя... Может, уснул бы? Я посижу, посторожу... Нужно чего — скажи, подам, принесу... Либо светец зажгу... Хочешь, почитаю тебе чего... Гисторию либо божественного писания...

— Ну, начитался, наслушался. Из горла назад прет! Уж лучше я полежу, подремлю, правда... А ты посиди, коли охота. Все не один... Больно не люблю я один оставаться. И не убил вот еще никого, и церковного добра не хитил, — а неохота одному оставаться... Вот-вот станет перед тобой...

не то «он», лукавый... не то — думы твои же, затаенные, нечистые, черные-черные, лукавого чернее...

— Ну, зачем же? Можно и об чем ином... Зачем черные думы в себе носить...

— Зачем? А затем, что тебе наполовину того нет, сколько я на свете прожил, чего не вытерпел, другим чего не подковыривал, коли случай был... Вон читал я во временнике об одном малом... Царь-то Иван и спать не спал покойно, коли не читал ему кто вслух книги разные... И громко, чтобы сквозь сон да слышал он живой голос человеческий... Сладко, видать, спалось царю, легко на душе было: а ни сучка ни задоринки. Сплошь один клубок нечисти адовой!

— Должно, что и так... Прости Господи, упокой душу грешную раба твоего, царя Иоанна.

— Ловко. А за Каина да за Иуду Искарюота ты ныне не молил еще Господа? Либо за Годунова, за нашего правителя доброго, благочестивого? Оно бы уж заодно...

— Что же, за всех молиться надо... И за мучителей наших, и за проклинающих нас... Сказано же...

— Сказано, да не доказано... Коли бы так было, сама бы каждая овца несла волку сенца: «Съешь, мол, меня да пасть утри!» А есть такие бараны, что не идут, упираются, сами с волками бодаются... Как кому, а мне — такие любви... Пить дай...

— Вот, возьми, да не тормозишься так... Не спорю я с тобою. А у тебя одно: как заговорил, так и заспорил, хотя бы и не с кем... Экой ты какой... Еще меня учил, что надо меньше яриться, про себя все больше думать... А сам...

— Сам с усам, лихо, нос не оброс. Где — и молчи, а где и попищи... У себя я в келье; с тобою, почитай, что с самим собою... Э-эх, жаль, силы мало... Песню бы завел новую. Лежал я вот, жаром меня палило... А песня такая раздольная, прохладная из души потекла... вот ровно бы Волга-река разлилась! Про нее и песню стал складывать... Хочешь, так тебе ее... полуголосом... «Ка-ак...» Нет, силы мало... Ишь, ровно петушок молодой, заверещал гласом-то! Потом уж, как оздоровею совсем... А что у нас слышать? Умер царь?

— Что ты? Господь с тобою! Да нешто... Да с чего?

— С хвори со своей с тяжелой... А то — и с Годунова, с его любви да ласки родственной... Который день я лежу? Постой... Шестой уж... Да! Да молчал больше... От жару,

слышь, сказывали, только и бормотал, нес окоlesiцу... А теперь — хочу время наверстать... Говорю, кажись, толком... Не сбавил еще шурина добрый боярин, Борис Федорыч? Треклятый... Не забуду ему, как по его приказу, лет с десяток назад, — выпороли меня его разбойники, челядь буйная... Дороги ему скоро не уступил, с дарами ехал... У-ух, Ирод! Что же он, дает еще дышать государю милому? Святому молитвеннику московскому? Али уж капут? Говори...

— Жив еще государь. Лучше ему, слышал я нынче наверху, у владыки в покоях.

— Лучше? Ну, значит, скоро хуже буде... Это уж так... Не зря в Москву вся родня годинувская собрана... Полки в Кремле и кругом стоят такие, которые ему в защиту... Посулы сыпать стал, так и возом не увезешь... За день до хвори до моей... слышал я... от келейника от владычного... Приятели мы... Толковал Борис с самим... с патриархом... И бает: «Всем повестить надо, не дам церкви в обиду; монастыри — приукрашать надо, а не земли от них отнимать, крестьян отписывать! Божье брать нежоже!» Видишь, куды гнет! По примеру по Иванову — надоумил он же царя: поубавить бы дармоедам земель для рабочих... А как на дыбы поднялись обитатели, он и подыгрываться стал. Может, для того и отбирать начал, чтобы после дать да повеличаться: какой-де я, мол, доброхот вам! И хитрый, Годун этот... Не дай Бог тебе с ним столкнуться... Бояр всех — кого запугал, кого задарил, кого — посулами обошел. Помяни мое слово: скоро его дума старая сбудется: царем у нас сядет сам Борис свет Федорович! Годунов, мурза татарский родом, Ирод по прозванию, который детей кровь неповинную проливать приказывал... Увидишь...

Димитрий хотел было сказать, возразить что-то... Но на-помянутое об углицком злодействе, об умерщвлении Годуновым малютки Евдокии Ливонской, которое было известно многим, — остановило Митю.

В самом деле, не случайно же, не без затаенных целей приказал Годунов совершить целый ряд убийств и казней... Все говорят, все это знают... Люди почтенные, надежные... Любит сирота веселого Юшку-диакона. Но уважать не может этого скорее гусяря самовольного, чем инока честного... Но все толкуют заодно.

— Что? Не поешь «аллилуйя»? Не творишь молитвы, не тянешь акафисты! Уж это, чтобы про Бориску кто слово доброе зря молвил, — кажись, не бывает этого... А все же

придется ему крест целовать... Чует моя душенька... Да нет... я сбегу лучше, а не стану... Ироду... кровопийце... детоеду окаянному... Тьфу!

Больной даже плюнул от раздражения и гадливости.

Эти чувства многие разделяли с иноком в то время.

Сирота сидел, смотрел на ярко озаренное луной узкое окно и почти уже не слышал, как продолжал браниться и толковать о деяниях Годунова ненавидящий его инок.

Много таких же рассказов слышал сирота во время странствий по Руси и здесь, на Москве. И больше всего казалось юноше слышать общий припев:

— А все же, опричь правителя, некому и землей править...

Да так ли это?

— Слушай, ты лучше меня, брат Юша, знаешь Москву, бояр и воевод всех. Неужто нет ни одного, чтобы мог с ним потягаться? Земле помог бы... Стыда чтобы не было, если душегуб, грешник такой, венца похититель, — государем станет...

— Бояры? Воеводы, князья? Ха-ха-ха! Чего захотел, приезжий ты, сейчас видимо! Есть дельцы у нас: дьяки думные да приказные, старые: Щелкалов Василий... Андрей и поумнее был, да стар больно, отошел... Гляди, и сам в обитель сядет... Ступин есть, тоже роду невысокого... Иные там... Лядающий их знает, как их тамо... Все — чернота, умом да горбом выперлись, без роду без племени. Нешто можно таким на царстве быть. Они и так служат. А бояры, князья?! Что выше, то хуже! Мстиславский — тряпка, бабий подол, не боярин... Фур-р-рть, фыр-р-рть... Сюды-туды, никуды. Вот и весь он... Шуйские — сумы переметные. Им бы урвать кусок да к себе в вотчины свезти. Царского корня, да мелко плавают... Духу в их мало... Придет пора, что некому будет, тогда и они вперед выйдут... А пока где свалкой пахнет, их не вызовешь... Могильники они: любят хоронить, приходиться да остатки собирать... Там — Бельский? Его сторожит Годунов. Сослан был... Теперь — снова призван... А там — опять в дыру, за приставы... Терпит поруганье князь, — значит, и не будет из него ничего. Такому не носить шапки Мономаховой... Есть тут хорошая фигура. Пристали бы ему уборы царские... Да тих, осторожен больно, мало резвости.

— Ты про кого? Про Романова?

— Во-во, про Никиту Федорыча... И любят его все... Вон

шведы, мастера-портные, коли похвалить стан кого надо, и то толкуют: «Второй Федор Никитыч у нас...» Видишь... А это — дело немалое... Да стеснил их тоже Годун. Ровно коршун, над всем родом вьется. Стоит им пикнуть, голос подать, руку к бармам протянуть, — отхватит и с плечиком, уж ты верь моему слову... Знаю я всю здешнюю братию: и святых, и грешных, и Годуновых крошечных! Недарма он на Малютиной на доченьке женат... Много она ему делов понаделала, много пива наварила, много душ на тот свет убрать помогла, ведьма лютая. Чаровница она. От ее от наговоров и снадобий так головою стал скорбен государь... При покойном царе был он не больно боек, да все же пояснее глядел... А ныне... Эх! Она же, сказывают, с бабкой царицыной стакнулась... Как время пришло царице Ирине, — они на всякий случай девчонку у нищенки украли малую, двух-трехдневную. А царице Ирине — сына вовсе Бог послал... Они сына-то унесли... куда-то отдали... Задушить приказали... А царю с царицею — нищенкину дочку подкинули... Мол, не дал Господь наследника!

— Да неужто? Грех какой...

— Грех! Кому грех, а Годуну — смех... А ныне, слышал, жив, остался царевич-то Иринин... Не поднялась рука у конюха, которому «убрать» дите приказано было... И сдал он его чете одной. Та чета далеко съехала... А царевич у них растет... поры дожидается, возрасту своего... Отпоеет он тогда обидчику людскому, хищнику царскому! За всех воздаст... Только каково глотать Иуде, сладко будет? Доживу ли, увижу ли?

При мысли, что когда-нибудь может совершиться возмездие и поруганная справедливость, злодеем задавленная правда, узнает наконец миг торжества, — при одной мысли этой инок залился довольным, тихим смехом...

Тут от усталости и волнения диакон сразу почувствовал, что глаза его тяжелеют. Он закрыл их — и мгновенно заснул.

А сирота долго еще сидел и думал обо всем, что слышал сейчас от пронырливого, всеведущего инока... Думал о, может быть, и не существующем царевиче, о сыне Ирины... Шептал:

— Вот хорошо бы было... Вырос бы... Пришел бы, сказал, кто он! И покарал злодея... Радость принес бы всем несчастным, обиженным! Как хорошо быть на месте этого несбыточного, но желанного царевича! Вот если бы он это, Митя?

Тут светлые круги и точки стали носиться перед глазами юноши...

Так долго грезил он о том, о чем грезили многие, молодые и старые, в эту тяжелую пору, наставшую для Руси.

* * *

Когда Димитрий вернулся к Паисию с известием о больном, старец весь был погружен в какую-то работу.

Своим старинным, твердым, сжатым почерком выводил он на листке строку за строкою. И горели оживлением глаза инока, как будто он вел живую, горячую беседу с другом, подобно сироте с Григорием, а не выводил ровные черные строки на гладкой, холодной поверхности чистого листка.

Выслушав юношу, инок благословил его на сон грядущий, а сам еще долго сидел и писал. Потом свернул свою работу и спрятал на самое дно ящика, в котором хранились у старца разные книги, отпечатанные недавно и рукописные, как водилось по старине.

Сирота знал, что пишет старец: он собирал все летописи о былых годах...

Но они остановились на смерти Иоанна. И сам старец начал вести дальше правдивый рассказ — от воцарения Федора... Все время вел записи... Собирал подлинные документы, записывал слухи и вести, стараясь осторожно отсеять мякину лжи и прикрас от ценного зерна истины.

Иногда удавалось юноше и заглядывать в эти записи. Случайно, а может быть, и умышленно — старец позабывал на час-другой свои листки и уходил куда-нибудь, оставляя в келье сироту...

Тот жадно принимал к листкам... И находил в них сплошные ужасы, мало светлых точек, громкий клич о возмездии, смелое обвинение того же Годунова... А за последние разы — нашел нечто новое.

Прочел — и почему-то волосы зашевелились на голове у юноши.

Вот что было записано: «А как стало плохо государю Федору, стали бояре рядить и судить: кому царствовать? Одна царица остается наследница. А того и не бывало, чтобы женский пол на престоле сидел. Ольга была, так княгиня... И до возраста сына. Тоже Елена Глинская. И повели сове-

ты: кому из князей и бояр крови царской али иных на царстве сидеть по общему выбору? И никак не решили бояре.

Оставили на время, когда Бог пришлет по душу царскую, тогда и подумать.

А тут, неведомо отколе, и слух слыть стал, будто не царевича извели злодеи на Угличе, а иного, подставленного, с царевичем схожего. Да верного пока тот слух ничего не оказал. Однако бояре все, кто прослышал, — всполошились. Особливо главный самый один».

Тут запись обрывалась.

Раза два или три прочел эту запись юноша. И лишь услышав шаги Паисия, он отошел в угол, принялся за свое дело...

А старец, сев на место, заметил, что рукопись была тронута, осторожно кинул взор на сироту, усмехнулся ласково про себя и снова взял в руки перо, чтобы продолжать работу.

Заскользило, закрипело перо старцево по шероховатой поверхности синееющего на свету плотного бумажного листа.

Близился вечер.

БОРИС-ЦАРЬ

Прислал Господь по душу царственную.

В первом часу утра седьмого января 1598 года гулко, протяжно ударили в Успенский колокол — большой, возвещающий всегда о случаях смерти в царской семье.

Умер тихо, незаметно, как уснул, этот добрый, безвольный государь, которому посчастливилось так процарствовать, что даже доброта его не принесла народу несчастья или непоправимого зла, не считая того, какое успел сотворить Годунов, в виде крепки кабальной да ряда личных преступлений, вызванных его неукротимым стремлением к царскому трону.

На другой же день, с неподдельными горькими слезами, проводила Москва в могилу кроткого царя.

А между тем огласили и завещание его. Вот оно в двух словах: «Вручаю державу и все царства свои царице Ирине; как она повелит с ним, так да и будет. А душу свою приказываю — великому святителю, патриарху Иову, Федору Ни-

китичу Романову — Юрьевых да шурина, Борису Федоровичу Годунову...»

Так написано было.

Но перед самой смертью пожелал наедине поговорить с женою умирающий царь. И не посмели отказать в этом. Даже Годунов не втерся третьим в это предсмертное собеседование сестры с ее мужем-царем...

Слукавил, как настоящий праведник, в первый раз тут Федор: уговорил жену отказаться после его смерти от царской власти, избрать достойного в цари.

Остерегал ее, не посадила бы брата: и царству, и Годунову не ждал он от того добра. Перед смертью — словно провидеть начал этот далекий от мира и злобы его, кроткий сердцем, бедный умом человек...

Умер Федор. Схоронили его.

Ирина свято исполнила словесное завещание, вопреки писаному, которое заготовил Годунов и заставил подписать Федора в свое время.

Не слушая настоящий брата, Ирина переехала немедленно в Новодевичий монастырь, — и через день не стало царицы Ирины: была инока честная Александра...

Борис из себя выходил, но был неотлучно при сестре, опасаясь, чтобы кто-нибудь не овладел ее волей, как он это сам делал не раз... И тогда она, согласно писаному завещанию, может посадить на трон другого, не его... Подумать не мог об этом даже Годунов...

И сидели они там, как два обреченных преступника, связанные одной тяжелой цепью...

Жадно ловил все вести, долетающие в Чудово, сирота.

Он, заодно с целой Москвой, понимал, что дело как раз на переломе стоит. Качается стрелка державных весов: на одной чашке сидит правитель, Годунов, давно уже добиравшийся до краев роковой чаши...

А за другую — ухватились уже чьи-то руки... Но еще не видно чьи. Не поднялась еще голова над уровнем чаши... Только и другая, годуновская, не опускается, висит, колеблется на воздухе... Качается державный маятник... И кто опустится первым, кто перетянет, тот и займет древний, золотой трон московских державцев, наденет бармы, осенит себя шапкою Владимира Мономаха.

Совсем окрепший после болезни — инок-дьякон Григорий днями дома не сидит, бродит по московским монастырям и дворам знакомым боярским, собирает вести и слухи,

несет их домой. Здесь Димитрию передает, с Паисием делится...

Сидят они вечером втроем в келье у старца.

Григорий, не остывший от дневного волнения, стоит и говорит, порывисто поясняя жестами торопливую, даже слегка удушливую речь:

— Не бывало такого?! Сестра она, правда, да царица же, помазанница Господня... А он — что сегодня... Увещал ее: «Не для себя, мол, хочу царства! Не почета, не радости ради, вериги на себя налагаю, подвига ищущ... А должен земли ради власть в руки взять... Не знаешь, мол, ты... А уж враги проведали... Татары сызнова надвигаются. Литва и ляхи снаряжаются... Бояре не о земле думают, местами считаются, перекоряются одни с другими... Потому царя, хозяина нету на земле... Пропадает земля... Народ, царство христианское... И на тебе, мол, грех...» А она ему: «Господь до греха не доведет, как и доныне берег меня! Какова Его воля, Он явит... Кому укажет по голосу всенародному, тому и вручу наследие ангела моего, государя усопшего. Клялась я так ему, так и будет... А тебя прямо он указал: на трон не сажать бы!» Как сказала, он и затрясся весь: «А, с врагами ты с моими, с Шуйскими, с Бельскими, с Нагими, поди! Им царство отдать собираешься...» Тогда царица уж и заплакала, ужасом объятая, руки тянет к нему и молит: «Нагих не поминай! Покарает Господь... И покойный говорил: покарает тебя Господь...» — «Как, ты с царем и про такие дела говорила? Меня порочила... Ах ты змея подколотная, не сестра мне... Прочь!» Да посохом ее... в грудь прямо... Пала государыня, только «ох» негромко молвила... Старицы, что под дверьми стояли, — хотят на помощь кинуться, а не смеют. Ноги у них подкосились. Увидит он, кто речи их слышал страшные, — так со свету сживет... Но, видно, самому не по себе стало, выбежал из кельи царицной... К себе прошел. Тут старицы царице на помощь и споспели...

Слушают, молчат оба: старик и юноша. Тяжелое это молчание... Конечно, во многих местах по Москве разносились эти же вещи, шли такие же толки, как и в келье старца Паисия. Тысячи людей все лучше и лучше узнавали комедианта высшей марки, лицемера-правителя.

Но пока еще докатится волна до глубины царства, разольется по всему простору его, — Годунов работает не утомимо, быстро соображает ходы противников, делает свои выпады, неотразимые, прямо ведущие к цели...

Месяц и десять дней минуло со смерти Федора, а уже успели гонцы развезти грамоты с приглашением на всенародный земский собор, для избрания нового царя, взамен Ирины, ушедшей в келью. И собрались «избранники всей земли» — попы, служилые, посадские и торговые люди...

Чернь слепо привыкла идти за «вявшими людьми». А те — давно задарены, посулами закуплены от Годунова или запуганы клеветами его... Новопоставленный первосвященник, патриарх Московский Иов, не отстал от тех, которые предавали на смерть Праведника, лишь бы угодить правителю и претору...

Все было пущено в ход. Толпы народные стояли на коленях, плакали, звали на царство Бориса, который теперь заявлял, что недостойн взять «наследье Федора»...

Этой смертельной иронии только и не хватало.

Наконец крестным ходом с чудотворными иконами двинулись выборщики во главе с Иовом в Новодевичий монастырь, где Борис сторожил Ирину.

Народ, согнанный приставами со всех концов и сам поспешивший поглядеть на редкое зрелище, ударил в землю челом... Рыдания слышались вокруг...

И уговорили не только Бориса, но также вдовую царицу, которая неожиданно для всех проявила столько твердости и силы воли.

— Берите брата на царство, если Господь того желает и вы просите сами! Да заступит *мое место* на престоле!

И, стоящий давно наготове, на самых верхних ступенях, — радостно, грузно опустился Борис на заветное место, на царский престол...

Лицемеря до последней минуты, Борис с наружным сокрушением громко заявил:

— Не дерзал я возносить взора до высоты престола. Но вижу: нельзя противиться мне больше. Буди же святая воля Твоя, Господи! Настави меня на путь правый и *не вниди в суд с рабом Твоим!* Повинуюсь Тебе, исполняя *желание народа!*

Мало кто обратил внимание на это скрытое, но всенародное покаяние нового царя. Душа ему подсказала, что Бог *станет судить*, — так и свершилось...

Но пока — торжествовал Борис, царь теперь и по имени, как раньше был — по власти... Ликовал народ, призванный

на бесконечные пиры новым щедрым царем, Годуновым, основателем второй династии царей на троне полнокровного государства, занятом больше 700 лет потомками Рюрика.

Торжественно, оглушительно гудели тысячи московских колоколов, как в день великого праздника...

Был со всеми в толпе народа и Димитрий-сирота...

— Да как же это? Почему так? И Господь допустил? — шептал он про себя...

И широко раскрыл он глаза свои, в которых так и застыл немой вопрос...

А Романовы, Бельские, Шуйские, Нагие и простые, не закупленные Борисом люди, дьяк Василий Щелкалов и другие, как бы в ответ на этот не слышимый для них вопрос, — думали:

«Видно, не пришла еще пора... Пусть повеличается... Выше взмост — ниже упасть придется кречету залетному, который в орлиное гнездо не по праву засел! Дурным обычаем укрепился там. Орленка царственного заклевать решился...»

* * *

— Так тяжело тебе, говоришь, на Москве стало жить, чадо мое? И безо всякой причины особой? Верю, верю... Молод ты еще... Знаешь многое, что и мы, люди старые... Да, терпеливо ждать, пока пробьет час воли Божией, придет возмездия пора... Не можешь ты этого с горячим юным сердцем... Вижу, понимаю. Не держу тебя, сыне.

Да благословит Господь все пути твои... В Киев собираешься? Дело. И сам я подумывал на время отпустить тебя в те края... Кое-что кой-кому передать бы надобно... Вот теперь и подошла самая пора... Бог, видно, старый хозяин, лучше нас, грешных, все дело ведет.

Мы — черви слепые в руце Божией... Поезжай. Лошадку возьми... Грамотку я тебе выправлю подорожную... Да слышь ты... вот еще... Стар уж я... Увижу ли тебя, чадо мое, приведет ли Бог? Кто знает... А по душе ты мне пришелся. Хочу благословить тебя... Да с уговором... Вот тут, видишь, — две ладанки... Побольше и поменьше... На гайтане на крепком, на груди храни их. Береги пуще глазу. Ты уж парень рослый... Шестнадцатый год пошел, слава те Господи... У царских детей — и лет совершение в эти годы... А ты умом и от княжеских детей не ушел, а то и перешел иных...

Помни же. Носи ладанки. Не гляди их, не трогай. Только тогда открой, когда я весть пришло, или сам скажу, или писать буду, хотя бы и не прямо, без моего имени... Только напомним — вот, день тут надписываю: «Вторник, февраля дня 28, року 1598...» И на грамотке на моей — будет только это число и год стоять. Дадут тебе такую грамотку — открывай мои ладанки. Там уж знать будешь, что делать с ними надобно. Так обещаешь ли? Клятву дай!

— Клянусь! Слово даю, коему не изменял и не изменю, отче святой: так и сделаю!

Часть II

ЦАРЬ ИЗ МОГИЛЫ

ЗА ГРАНЯМИ

Давно уж это так повелось, что немало беглецов московских за гранью, в Польше да на Литве живет. Особенно — в этом последнем княжестве. Много тут православных своих помощников и крестьян. Мало чем и отличается местная жизнь от московской, особенно — окраинной.

На Литве жил и умер знаменитый воевода Иоанна Грозного, князь Андрей Курбский. И в мире, и на войне, пером и мечом хорошо умел князь сводить счеты с великим «хозяином Московского царства», которому изменил, спасая собственную жизнь, но оставляя на жертву целое гнездо: жену с детьми...

И до, и после Курбского — немало знатного и простого люда московского спасалось за этими гранями от опалы и гнева, от суда или бессудных казней московских владык, царей милостию Божиею, но немилостивых чаще всего и по рассудку, и по собственной склонности.

Сейчас живет там родовитый боярин Михайло Головин, близкий родич казнохранителя Иоаннова, который и по смерти его служил царю Федору по вере и правде. Но смели Головины пойти об руку с другими вельможами, стараясь обуздать властолюбие Годунова, — и поплатились опалой. Еле головы целыми унесли. А Михайло, повторяя, что «береженого — Бог бережет!» — все-таки за рубеж кинулся, собрав все, что мог из своего, большого раньше, богатства.

Вокруг него, как цыплята под крылом наседки, — собрались и другие, менее значительные русские выходцы, которые или бежали навсегда с родины, или по делам на долгое время появились в пределах Польши и Литвы.

В постоянных сношениях находятся эти добровольные изгнанники со своей покинутой родины. Послов ли посылает Речь Посполитая, либо сам литовский князь от себя, купцы ли собираются к Смоленску ехать товары менять, торг вести, — потому что дальше не пускают «литовских

соглядатаев», как окрестили их братья на берегах Москвы-реки, — с каждой оказией идут и возвращаются цидулочки, безымянные по большей части, а порою — и цифирью, загадочным шифром начертанные...

Как раз в пору, когда направился к Киеву сирота со своим приятелем Юшкой, или Григорием-дьяконом, — неведомо откуда пронеслась странная весть среди московских выходцев, а от них — проникла и в польские, в литовские круги простых и знатных людей...

Заговорили вдруг, пока еще неопределенно, без подробных указаний и объяснений, что царевич в Угличе, на которого послал убийц Годунов, — не погиб. Близкие люди предвидели замыслы Годунова, успели заранее скрыть настоящего царевича, сына Ивана Васильевича, а пал от ножа безымянный ребенок, подставленный вместо Димитрия Углицкого.

Схоронили в могилу убитого. А живого — спрятали добрые люди подальше от глаз и рук Годунова.

Теперь — мальчик подрос, надежды большие подает, и собираются его покровители всему миру открыть тайну, хранимую больше семи лет...

Многих сильно исполнила эта весть. Как-то очень скоро и на Украину проникла она, как будто кто-нибудь нарочно с нею побывал в главных, людных городах и поселках тамошних.

А может быть, иначе даже это вышло. Может быть, в разных местах земли сам по себе народился волнующий слух. Никто не любил Бориса. Все видели, что под прикрытием царских одежд Федора прокрался он к трону, ухватившись за мертвеца, — успел взойти и на престол, когда еще не успели снять с него полуостывший труп последнего Рюриковича. Оставить трон пустым — нельзя было. Думы боярской — как предлагали московскому люду в первый день смерти Федора — признать не захотели, опасаясь многовластия, засилья наглых бояр больше, чем захвата власти одним умным заговорщиком дворцовым.

И Борис воцарился. Не было времени найти иного. Он не дал опомниться никому... Предупредил всякие попытки.

И Борис сидел на троне. Но он был ненавидим равными и старейшими по крови. Боялись его все. Куда направлял правитель, а после — царь свой тяжелый, сверкающий умом и волей взор, — там хотел он видеть полное повиновение, как бы тяжело ни казалось окружающим исполнять волю умного тирана, даже во благо себе, на пользу общую... Даже

сильные чувствовали, что новый царь хочет и может стереть всякую личность в окружающих, уравнивать всех: умных и глупых, добрых и злых, дать им корм и кров, как стаду, и быть надо всеми одним всевластным господином, тем более неугодным никому, что не по праву крови, не волею судьбы, а своей личной энергией достиг Борис высоты величия и власти на земле.

Этого больше всего не прощали ему окружающие, завистливые, ленивые, ограниченные бояре, которые по себе судили и Годунова и говорили, что только одними преступлениями и кознями удалось ему то, к чему стремились многие из них... Ум правителя, его труды и навык государственный сводили на нет.

При таких предзнаменованиях воцарился Борис.

Память о Димитрии Углицком за семь лет не могла изгладиться в народе. Почти все желали чуда, желали, чтобы этот царевич был жив... Чего горячо желаем, то иногда и мерещится... А что мерещится, чувствуется, — то и сбывается порою, хотя очень редко...

Поэтому возможно, что к концу первого же года царствования Годунова сам собою в разных местах мог народиться злоеший для царя слух о воскресшем из мертвых Димитрии-царевиче...

Но, во всяком случае, очень и очень многие люди, только охраняя свою безопасность, старались тайно сеять такие вести...

Сидя за рубежом, обеспеченный и от приставов, и от доносчиков годуновских Михаил Головин первый стал разглашать опасный слух... Его подхватили, — а там и пошло...

В игру сейчас же вмешалось католическое высшее духовенство, как будет видно дальше.

Но пока — затрепетали тысячи грудей, услышав радостную, хотя и невероятную, чудесную весть:

— Царевич Димитрий жив! Объявится скоро и на Москву пойдет, у душегубца Годунова трон и царство отбирать...

Около месяца спустя после ухода из Москвы двух друзей: диакона патриаршего монастыря и неведомого сироты-переписчика, юного послушника той же обители, — Иову донесли об исчезновении двух человек, состоявших в его свите.

— Писец просился-де, послушник, в Старицу, к родне. А Гришка-диакон и раней, бывало, гуливал... А тут, сказывают, с первым за дружку пошел... Как дружки они...

Этим докладом подневольные люди хотели снять с себя

ответственность на всякий случай... А сами они знали, что оба приятеля уже далеко, в Киеве самом, если не дальше.

Сначала Иов не обратил внимания на доклад. Бродячие иноки были заурядным явлением тогдашней жизни. Пришли к нему случайно, неведомо как, побыли, послужили, а там — и ушли в иное место, когда поманила их мечта...

Только позже, когда до Иова докатился опасный слух о царевиче, — он насторожился и тоже, как человек «подневольный», оберегая себя и друга-царя, поспешил с сообщением к Борису, которого милость и сила возвеличили безличного старика, бывшего владыку Ростовского, в достоинство первого из князей российской церкви.

Был конец 1599 года.

Когда Иов вошел к Борису, тот сидел мрачный, с горящими глазами и, едва ответив на обычный привет, показал столбец, измятый, скомканный в сильных, судорожно стиснутых пальцах:

— Слышал, отче! Чем промышлять вороги наши стали? Лежебоки все эти, козней строители лукавые, недруги земли и царства погубители! Романовы с Нагими, Бельские с Трубецкими да с Шереметевыми... Шуйские, главные всему заводчики, с Сабуровыми да с Куракиными... Вся эта орда несытая, московские захребетники, дворовые приживальщики! Другие — лямку тяни, а им — пеночки сымать! Что удумали! Как царство замутить хотят... Слухи воровские пускают... Слышал, чаю, о них?

— Нет, государь, о чем сказывать изволишь, невдомек мне, — слукавил осторожный старик.

Этим он показал, что слухи еще очень слабы, если не дошли до него, до патриарха Московского. Да и с себя снимал ответственность за то, что вовремя не сообщил об уходе двух своих слуг.

Почему-то вдруг подумалось теперь Иову, что между слухами и этим бегством есть какая-то несомненная, хотя бы и отдаленная, связь.

— Ладно, добро... Пусть сеют ветер... На голову свою! Бурею крыши с ихних же палат высоких, а то... и головы с плеч снесет... Милостив я был доселе... Прощал, дарил, не зря сказал при венчанье, что последнюю рубаху снять готов, только бы люди в моем царстве нужды да зла не знали... Они мешать желают в этом... Так я мозги ихние, тупые, лукавые, с придорожною грязью смешаю! Царя Ивана припомню для них. Да гляди, не так слепо стану разить. По выбо-

ру... Да пытаться велю, похитрее Малюты... Положу над водою — и жаждой заморю. Детей ихних...

Тут вдруг Борис остановился, вспомнил о своих детях и огромным усилием воли укротил порыв.

— Пусть же берегутся нам вредить и губить царство! Землею всею, Богом избран я. На Бога идут. Он их и покарает... С чем ты, святой отче, припожаловал? С добром али с худом? Что-то лицо у тебя великопостное, хоша и не та пора сейчас?

— Так, повидать тебя пожелалось, а тут заодно вести, говоришь ты, пришли. Какие, государь, сын мой возлюбленный?

— Про Димитрия, про царенка Углицкого... Неведомой женки седьмой, женищи незаконной беззаконное дите. И жив бы он был, — не царевич, не трону наследник. Мало ль их таких, у государей, бывает? Всех и на трон сажать? Места не станет... А умер, допустил Господь, сам себе конец положил, — и буде. О чем толковать? Нет, вишь! Оживить мертвеца надумали, из могилы поднять хотят. Не умер-де. Другого-де убили злодеи подосланные. А кому подсылать надо было, а?

— Вестимо, некому было, государь, чадо мое. Ясное дело: не нужен и не страшен был ни для кого мальчонка, седьмой жены сын.

— Ну вот, дело говоришь, отче! А они... У-у, треклятые... «Жив Димитрий...» Слышал?

— Да что ты! Да неужто! Творец Небесный. Вот она злоба диавола! О-ох...

— Да, диаволы, верно, отче-владыко святой... Диаволы! Мертвецом пугать задумали. Поиспужаю я их... живыми палачами... Ну да ладно... Так про что ты, владыко?

— Да дело и пустое вовсе! Был диакон у меня на подворье, лядящий человечина. Грамотей только бойкий. А иные сказывали — и чернокнижьем не брезговал. Да я не верю. Нет того дела, милостию Божией, у нас на Москве. И раньше, бывало, загуливал он. Пропадал на время.

— Ну, ну, что же? Не тяни, отче.

— А ныне — и вовсе сгинул.

— Молодой, старый? — словно соображая что-то новое, важное, спросил быстро Борис.

— Так, средних лет. Тридцать два либо тридцать три ему... за тридцать, скажем. Не более. А в Старицу к родне отпросился он, сказывают. Я там расспросы завел: сказывают, не было их там и не приходили вовсе они.

— Они?! Кто еще там «они»?

— Да с ним, с диаконом, с Гришкой с Отрепьевым, паренек еще увязался. Писцом у меня сидел. Больно четко да скоро писать был мастак. Вот и он за тем, за Гришкой, увязался. Обоих нет... Поискать бы не велишь ли... про всяк случай...

— Он, за тем! Парнишко, говоришь? А велик ли?

— Годов семнадцать, поди, или больше годком... На возраст парнишко. Смышленный такой...

— Звать как? Собою каков?

— Димитрием звать, Сиротою... Крепкой такой... лицо широкое, прият... Да что с тобой, государь? Григорь Васильич, дохтура зови... Что с государем?

Григорий Годунов, бывший тут же, сам уже кинулся за дверь, испугавшись того, что стало с царем.

Вскочив с кресла, Борис взмахнул руками, ухватился за ворот рубахи и разорвал его, как будто воздуху не стало в покое. Лицо его приняло багрово-синеватый оттенок, глаза выкатились из орбит, побелелые сразу, пересохшие губы ловили воздух, судорожно раскрываясь и сжимаясь. Глухой удушливый хрип послышался из груди, которая поднялась высоко и не могла никак опуститься, заработать с обычной силой и ритмом.

Несколько мгновений продолжалось это, затем грудь стала порывисто дышать, лицо потеряло свой ужасный мертвенный оттенок, глаза снова вошли в орбиты.

Когда Григорий Годунов вошел обратно со Щелкаловым, не ожидая доктора, за которым послали людей, — царь махнул им рукой.

— Не зови никого... не надо... Бывает со мной. Удушье мое обычное... Пустое.

Хриплый, усталый голос Бориса звучал так странно. Он избегал встретиться взглядом с окружающими, как будто поднялись в нем воспоминания о каком-то постыдном, никому не ведомом, полузабытом деле, совершенном в прошлом и не искупленном еще.

— Добро, владыко святой... Мы тут подумаем. Звать как... тово... парнишку? Ты сказывал, кажись? Да не слышал я... Кровь в голову вступила. Прозванье его какое? Знать нам надобно.

— Звать? А вот неведомек, верно ли сам я памятую? Так, был... самый невидный паренек. Твердо и не вспомню... Мишка ли? Митька ли? Митька и есть. А прозвание? Да Сирота! Так прозвание одно и было ему — Сирота.

— Безымянный! Димитрий? Добро. И на том спаси ты Бог, отче-владыко, что впору нам сказал... о Сироте... о Мишке ли... Митке ли?— снова овладевая собой, обычным властным, слегка укорливым тоном заговорил Борис.— Час добрый... Со Христом!

Проводив патриарха, Борис обратился к дьяку Щелкалову:

— Ты тут дожидался? Добро. Слушай: вести знаешь? Конечно, к тебе первому дошли. Отец святой нас порадовал... Спусти лето — по малину послал... А все же на грани на все, на Украину, на Крымскую череду, а особенно на Литву, на проезды и проходы к ляхам, в их сторону объезда послать большие... Ни туды, ни оттуда никого бы без обыску не пускали, хотя бы и с нашими листами подорожными. Приметы обоих тех, беглых из Чудова, узнать хорошо да списать вели. Может, еще тут они у нас... Изловить — и ко мне. А ежели там — и там их найдем: рука у меня длинная... О Григорье об этом, об Отрепьеве, написать можно будет в розыске... А про того — молчок! Поймать надо... Безымянного! Его — пуще всего! А называть не надо. Чтобы толков лишних не было... Хитро: Димитрий Сирота. Понимай как хочешь... Ловко! Ну да пусть не веселятся дружки-бояре... Я их подстегну почище, чем они меня собираются. Я их! О-ох, Господи, прости мне грехи мои тяжкие! Бог не допустит до зла земли своей христианской... Иди, Вася. Да чтобы тихо все... Без говору без лишнего. А то еще и у нас, и за гранью помыслит кто, что я тени, призрака глупого испугался... Затеи хитрой, вражеской боюсь. Я! Ха-ха-ха... Ступай, делай. Ты, Вася, бывалый умный мужик. Сам смекнешь, как все надобно.

— Уж будь покоен, свет государь. При тебе делу привык, как лучше. Спокоен будь. Челом бью, государь. Спаси ты Богородица и вси святые ангелы, с царицей и с царевичем и с царевной, красотой нашею. В другое челом бью!

Пятясь, вышел из покоя Щелкалов.

— Дети, дети мои!— прошептал скорбно Борис и, ни слова не сказав Григорию, вышел и направился на половину сына Федора, чтобы взглянуть на детей.

Борис знал, что, что бы ни случилось, как бы тяжело ни было на его старой, источенной грехами душе,— один взгляд на детей вселял отраду, исцелял все душевные язвы, приносил ему желанное забвенье.

— Хе-хе-хе! Почуял занозу в лапе! Кольнуло в грудь железом. Взревел! Теперя сам ползет на рогатину... Рвать и метать учнет кругом... Сам первый и надорвался! Слушок единый прослышал — и уж не свой стал. А что будет, как дело въявь объявится? — заметил Шуйский, когда дьяк Щелкалов улучил время и передал ему, что произошло у царя во время посещения Иова.

— И то уж собирается. Бельским бы шепнуть, стереглись бы... И Романовым, Федору с роднею. На них опалился больше всего. Тебя не тронет он, боярин... Опасается, что люди все московские торговые за тебя. Да и с патриархом с отцом дружен тоже живешь... А уж других перебирать почнет! Я уж знаю... Гляди, почнем на днях и указы опальные писать, в ссылку готовить...

— Ништо, пускай! А мы его еще подстрожим маленько. Вот я сейчас туды и метнуся. Ровно бы не знаю ничего. На кого он сам думает, еще его науськая. Все одно, беды не избывать. Чем он лютее, тем ему конец скорее, татарве проклятой... Еще нет ли вестей каких?

— Да так, ничего. Разве вот...— дьяк совсем понизил голос, словно опасаясь, чтобы стены покоя Шуйского не услышали чего.— Брат Паисий в Киев, к иноку одному печерскому, писаньице шлет братское... Может, и от тебя что будет передать?

— Нет. Покуда ничего. Бельских спросить надо. Им ближе дело... Да Романовых... с подружением своим, со всеми чады и домочадцами. Челом бью...

— Ладно, спросим уж. Здоров будь пока, боярин, свет Василь Васильевич.

Так закипела Москва при вести о первом отблеске тени Димитрия Углицкого, которая и сама реяла еще где-то за пределами телесного взора людей, в области их надежд, мечтаний и дум...

Как пишут современники-летописцы, еще до появления в Украине первых вестей о воскресшем Углицком царевиче, до обнаружения хотя бы следов его на Руси или за гранями, Борис, не говоря, что вызывает такую ярость, стал преследовать несколько боярских родов и вообще «страшен являшися», по выражению одного из самых добросовестных и снисходительных историков Бориса, Авраама Палицына.

Было это как раз в 1600-м и в следующих годах.

Тень тени Димитрия смяла все планы хитрого государ-

ственного мудреца; как карточный замок, сдунула все плоды многолетних трудов и тайных преступлений.

В самой Польше и на Литве, где суждено было разыгаться первому акту исторической трагедии, толком не знали ничего. Только год спустя послал Жигимонт пана Пильгржимовского к Борису с дружеским упреждением о волнующих вестях...

Только два года еще спустя, в 1604 году, Борис устами своих пограничных, черниговских воевод князей Михаила Кашина, Оболенских и Татеева в первый раз громко заявил, что он знает о существовании самозванца, знает даже, кто этот дерзкий, а именно — «чудовский расстрига-диакон, Гришка Богданов Отрепьев, Юшко по-мирскому».

Но лживое слово Борисом было сказано, имя названо, — когда молчать дольше оказалось невозможным. Большое войско стояло наготове перед русской гранью и собиралось судом Божиим, кровавым поединком выяснить, кто прав, кто виноват из двоих: похититель власти, Борис, или неведомый юноша. Самозванец, Лжедмитрий, как его называли при московском дворе, «царевич Углицкий», — как звали вождя его рати и весь народ русский.

Между тем, даже до начала 1600 года, тот, чьим именем смутили покой мудрого царя Бориса, мир двух соседних народов — сарматского и московского, — юноша Дмитрий Сирота слышал разные вести о воскресшем Иоанныче, волновался ими наравне со всеми... Даже предчувствовал что-то великое, страшное своей юной, чуткой душой. Но наверное не знал ничего.

Те, кто незримо охраняли дитя от колыбели, еще медлили, выжидали таких дней, когда последний удар явится страшным, неотразимым, смертельным. Они знали Бориса, знали свой народ...

1600 год застал Сироту в Печерском Киевском монастыре.

И здесь, как и раньше, хотелось ему вскрыть ладанки, полученные в Москве от старца-учителя, узнать, какая тайна скрывается за этой сероватой холщовой оболочкой, таковой плотной, прочной.

Но юноша вспоминал свою клятву, говорил себе, что нельзя быть благодарным, надо верить человеку, который был всегда добр, оказал столько услуг бедному, безымянному мальчику.

«Но здесь, в этих свертках, наверное, и кроется тайна моего имени, моего рождения...» — думал юноша. Рука уже

тянулась разорвать, разрезать крепкую ткань... Взглянуть, увидеть, понять...

И тут же падала обратно.

Неукротимый во всех своих желаниях, Сирота умел обуздать себя в настоящем случае.

— Наверное, для моей же пользы приказал мне ждать честной отец... Он не похож на остальных — не объедал, не опивал монастырских... Святой души старец. Послушаю его. Клятвы не сломаю, чтобы Бог не покарал меня...

Обе ладанки оставались нетронутыми больше года.

Живой, понятливый, Дмитрий успел за это время ознакомиться с украинской речью, схожей во многом с общим русским говором и в то же время совсем своеобразной, певучей, мягкой такой. Молодая, богатая память помогла юноше сделать большие успехи за очень короткое время. А затем еще скорее овладел он и польским языком. На людных улицах, на шумных площадях веселого торгового города прислушивался Сирота и к немецкой речи, какую можно было здесь слышать чаще, чем на Москве.

Тысячи сильных ощущений наполнили душу юноши, на время как бы отвлекая его от одной неустанной мысли, от желания узнать: кто он сам? Есть ли кто-нибудь в мире у него близкий, или на самом деле он — круглый, бездомный сирота?

Приютился юноша у того же монаха Гервасия, к которому направил его из Москвы наставник-инок.

Особняком, беленькой веселой мазанкой с камышовой крышей стояла келья инок, тоже ведающего монастырские книги и рукописи, составляющего хроники, как его московский приятель.

Здесь — свободнее все говорится про Москву и больше можно узнать, чем живя там, на месте. Правда, и ложных слухов немало кругом носится. Да кто знает московских людей и дела ихние, — сразу поймет, что правда, а что прибавлено в каждом слухе, в каждой вести, идущей из-за рубежа московского.

Мирно, в молитве, в работе, в прогулках текло время Дмитрия. Он еще был слишком юн, чтобы изведать и другие стороны жизни — кутить или вздыхать по темным очам, по вишневым губкам киевских красавиц, «дивчат и молодцов», как они здесь называются.

Южная зима настала... Крещение близко.

Вдруг неожиданный, дорогой гость появился в келье Герва-

сия, поздоровался с ним по чину, поклоны отбил и после обратился к остолбенелому Сироте:

— Что же стоишь, чадо, ровно Лотова жена посолонелая? Али не признал?! Челом бью!

Гость, инок Чудовской обители, отдал поклон Сироте. Тот прямо на шею к нему кинулся.

— Отец Авраамий! Вот не ждал! Как тебя Господь занес? Да как выехал с Москвы? Надолго ль к нам? Что отец Паисий? Наши все? Господи, вот радости Бог послал!

И даже слезы радости выступили из глаз, покатались по рдеющим щекам Сироты.

— Все слава те Господи. Челом тебе бьют, шлют благословение свое, навеки нерушимое, сиротке бедному...

И старик благоговейно осенил голову юноши своею дрожавшей рукою. Очевидно, он был очень взволнован, как будто не знал, с чего ему начать, как приступить к делу, ради которого явился сюда с далекой Москвы, да еще зимою.

Передохнув немного, инок продолжал:

— Приставы с Москвы на Смоленск выехали. Послов тамо будут встречать больших: Сапеху Катцеля со товарищи. Едут в нашу сторону для мирного договора на вечные времена... Вот я с ими, с приставами, и увязался, выпросился у игумена... И по монастырским делам, к смоленскому отцу игумену... И для своих нужд... В Смоленске приставы-то долго еще поджидать послов будут... Я сюды и пробрался с обратными, с попутчиками, по ямам по проезжим... Близко, благо, тута... Тебя повидать... и братьев иных в обители... Недалеко, толкую...

— Совсем рукой подать, коли Долгоруких взять, — кланясь инокам, подхватил диакон Гришка, вошедший на эти слова, — с приездом али с прилетом! Как челом бить, не скажешь ли, брат Авраамий?

— Здорово, брат Григорий... Вот ты тут! Тебя и не хватало... Все балагур мирской, по-старому?

— Нет. Тута моложе стал. Видишь: браду отпустил, наусие, обмирщился, чернечий кафтан скинул, казацкий жупан вздел. Ладно ли? Что скажешь?

— А мое ли то дело? Чем плохим чернецом, лучше добрым мирянином быть, так я думаю. А там, Богу знать...

С приходом Отрепьева Авраамий стал иной, словно сжался весь, каждое слово взвешивает.

— Так, так, умное слово. И сам я так думаю. А что на Москве нового слыхал? Как царенька, милостью Божией да пицалью стрелецкою? Слышно, лютует теперь,

не хуже покойничка Грозного царя, Ивана Васильевича?

— Ох, Гришка, ох, худой твой умишко! Висеть тебе на дубовой на перекладине! Уж больно ты востер, как вижу. И был таков, да и стал не хуже...

— Не охай, брате мой, друже. Коли висеть мне к судье задом, так и тебе — со мною рядом. Так мы всюду: заодно и вместе. Выкладывай лучше свои вести!

— Да ты что? И впрямь в скоморохи записался, круговая твоя голова?

— Нету. Собираюсь к пану воеводе Острожскому в челядинцы. Все бы готово, да он сам не идет, меня к себе не ведет... За малым дело стало. Вправду, не томи, говори, что творится в Белокаменной? Хоша и горем полна, да все родная сторона, своя мать, а не мачеха... Как там у вас?

— Слушай, дай слово молвить... Я скажу все... Не жалко. Тут шпыней, чай, нет Борисовых, от которых житья не стало никому, от самого владыки и до смерда последнего... Беды у нас, ох какие беды! А как прошел слушок один...

— Какой такой? Про царевича? М-да, энто Борису не мед! Что еще будет! Донцы тут есть по обителям... По обещаю, с молитвой пришли. Толкуют: только бы им, казакам, себе получить того царевича! Все как один станут... Имя какое, что твоя хоругвь Пречистыя, которая Димитрию Донскому на татар помогла. А этот, из мертвых воскресший Димитрий, поди, с одним татаринном — легко управится... Да еще туда отцы ксендзы всполошились... Бывает, что и с ними сводит меня Господь... Говорят, что за истинного царевича и Литва и Речь вся Посполитая заступится. Больно уж наш московский государь скороспелый надоскучил им всем. Сердит, да не милостив! Дале что?

— Да ты, почитай, половину сказал. А от другой — немного и осталось... И прежде чисто было круг царя Федора. А круг Бориса — еще чище стало. Мало и бояр-князей осталось на Москве. Кто в ссылке, кто в петле, иные под лед спущены, на вечное успокоение... Ни тебе Сицких, ни Быкасовых либо Шереметевых... И Романовых, и Мстиславских... Бельского Богдана было вернул, а ноне опять упрятал... Ровно в склепе, тихо во дворце царском... Из чужих — одни Шуйские уцелели покамест, да и то не все...

— Шуйские? Первые вороги его... Особливо Васенька, кот-мышелов, ласковый, тихенькой, коготочки востреньки, лапочки бархатеньки... Он жив, не сослан? Не «выбыл», как покойный царь по убиенных писать приказывал? Иван Васильевич государь?

— Жив? Заручка у него сильна. Московские люди все... Новгород, его буйная дедина и отчина... А тут еще сестра царицы Марьи, Катерина Григорьевна, — замужем, как ведаешь, за Димитрием Васильевичем Шуйским, за родным братом князя Василия. Она их дюже и выручает...

— Угу... Одно я в толк взять не могу: коли всем так нелюб Борис, чем он держится? Народ — одна сила на Москве... Не сотня наемников иноземных. Свои ратники не пойдут против народа... Что же бояре дремлют? Взять да и...

— А ежели взять пока нечего? Убрать одно — другое надо на место ставить; пусто место чтобы не было. Не подobaет того в царстве. Боярам волю дать, каждый себя выставит. Особливо — Шуйские, Мстиславский и Романовы. Все один другого опасаются; а царя — пуще всех. Вот друг дружку и сшибают, руки вяжут один другому... А чего иного еще не приготовлено...

— Угу! Не приготовлено... разумею... А слышь, Митя, гляжу я на тебя... Чай, Евангелия не так ты слушаешь чтение, как наши речи житейские, про дела царские? Что, ежели бы бояре шутку шутили? И годами и видом ты подошел... Парень хоть куда... Тебя бы в эти Димитрии постановили... Имя и то одинаковое. Перекрещивать не надо.

От неожиданности Сирота как сидел, так и застыл, откинувшись немного назад, будто призрак встал перед ним, пугающий, грозный.

Бледный, с расширенными глазами, он стал красив и странен, как никогда.

А гость, заметив волнение юноши, ворчливо заговорил:

— Слышь, ты, челядинец Осторожный, Острожский ли, не ведаю, как сказать... За такие шутки на Москве — оба вы на первой осине качались бы! И он, безвинный, с тобою. Да и здесь за негожие речи не похвалят. Убери язык в подполлицу, коли во рту ему тесно...

— Ну буде, не бранись! И то зря сболтнул. Вон Митя испужался от слова от глупого. Что ж бы это, коли бы... Молчу, молчу... Дале что?

— А дале — устал я... Отдохнуть бы где, брат Гервасий, у тебя можно ли? Здесь?

— Добро... А ты что же все молчал, Митенька? И не спросил ни о чем.

— Да я слушал... А скажи, отче, проводить тебя можно ли будет, как на Смоленск повернешь?

— Что, али по Москве соскучился? Не знаю, подумую... Тут надо мне вам с Григорием еще слово сказать...

Слышь, о вас, об уходе вашем и до царя вести дошли... Как уж, не ведаю. И сам приказывал он: ловить вас обоих... Наговорено на вас, будто чернокнижием займаться вы надумали. Для того и за рубеж ушли... Так дело ли теперь нос в капкан совать?

— Ого! И до нас милость царская докатилась! Какие мы птицы стали важные, слышь, Митя... Ну, уж ты один Москву проводить собирайся. Я тебе не подорожник! Слышал? Что молчишь, правда, нынче? Али обещанье Богу дал? Молчальником стал?

— Нет, Гриша... Ладно, я потолкую с тобой, отче, подумаем. А охота была отца Паисия повидать! Как живет святой старец?

— Бог милует. Видел я его перед самым выездом перед моим. Он и сказал: помни, брат Авраамий, спроси Митеньку, записан ли у него, который я ему сказывал... Пожди, припомню я... Кажись так: «авторник, февраля». Да, стой! Память у меня девичья... Вот тут есть написано. Рукою старцевой. Поминанье, какое он заказал тебе править по усопшим. «Вторник, февраля, 28 дня, 1598 року». Вот бери, попомнятуй... Помолися, сыне!

Дрожащей рукой, молча принял Сирота листок и быстро спрятал его на груди.

Брат Гервасий и Гришка-диакон, толковавшие о чем-то, мало обратили внимания на то, что произошло.

Авраамий скрылся в соседней каморке, где улегся, кряхтя и отдуваясь.

И Сирота, отдав поклон, быстро вышел из кельи, оставя в небольшом недоумении друга и инока печерского.

СИРОТА-ЦАРЕВИЧ

Холодный воздух, охвативший юношу за дверьми кельи, оказал ему большую услугу. Он смог овладеть тем вихрем ощущений и мыслей, от которых сейчас там, в келье, огненные круги и пламенные языки завертелись у него в глазах.

Так вот оно наконец... Тайна раскроется. Кто же он? Кто? Чьего роду-племени?

Кинулся было Димитрий в один, два уголка, где можно было бы на свободе открыть ладанки. Зашел в одиноко стоящую баню, сейчас совершенно пустую.

Никто не заметил, как он туда пробрался. Но окна низенькие в ней. Завесить их изнутри — покажется кому-ни-

будь странным, что в праздник окна закрыты в этом помещении. Да и заглядывали сюда порой люди за водой.

Вздумал было в церковном алтаре, опустелом после службы, укрыться... Но туда сторож может войти.

Кинулся в глубь монастырского сада, забрался в заросли, полусасыпанные снегом, хотел уже достать свой вклад.

И молнией озарила его мысль: широкий след остался на снегу, когда он бежал сюда. В праздники много народу в саду бывает. Увидят следы, Бог знает что подумают и накроют его...

Дрожа от волнения и от холода, вылез Димитрий и пошел, озираясь, словно Каин, гонимый всевидящим оком мстителя.

И внезапно новая мысль озарила его:

«В школу! Там уже совсем пусто...» А он возьмет Евангелие старинное, большое, бумаги, перьев. Будто по обещанию, переписывает Слово Божие. Если кто набежит — ничего не увидит. И посмотрит там он свои ладанки. Бумаги лежат внутри. Он уж нащупал давно. А в меньшей — еще что-то твердое, будто кусок железа. Иконка, верно, благословенна. От матери, от отца. Кто они? Кто?

С этим вопросом он забрался в просторный, светлый покой, опустелый, как и все это крыло обители, отведенное под школу.

Целая горка книг заслонила Сироту от взоров каждого, кто мог бы неожиданно войти сюда. На столе лежали листы бумаги и раскрытое Евангелие.

Выведя дрожащею рукою несколько строк на всякий случай, Димитрий огляделся еще, прислушался. Кругом царил глубокая тишина. Только за окнами ярко светило зимнее солнце и слышался праздничный говор и шум...

Складным ножом быстро и ловко вскрыл Димитрий обшивку меньшей ладанки, а губы его все шептали:

— Кто же, кто они? Моя мать... мой отец?

Сунув за пазуху оболочку ладанки, Димитрий развернул толстый кусок пергамента, лежащий внутри.

Что-то блестящее, круглое покатилося со звоном по столу, выпав из свертка.

Димитрий быстрым движением перехватил предмет, не допустив его упасть на пол, и увидел у себя в руках золотую гривну средней величины.

На ней четко выделялся знакомый Димитрию профиль царя Иоанна Васильевича. Кругом — шел титул царский и полное имя государя.

— Что это? Казна мне, что ли? Дар от родителей? Видно, жалованная была им гривна от царя. Большой был, значит, человек отец мой. Дальше погляжу.

Он совсем развернул пергамент.

В нем лежала завернутая в хлопки и тонкую тафту еще какая-то вещь.

Сняв оболочку, Димитрий увидел довольно большой тельный крест, литой из золота, тяжелый, осыпанный крупными изумрудами и рубинами. Несколько больших жемчужин заменяли сияние над изображением Распятого, тонко вырезанного из золота же.

«Да это царская святыня», — подумал Димитрий. Быстро расстегнул ворот и надел на шею цепочку, на которой висел крест.

Теперь Димитрий стал разглядывать старинную пожелтевшую хартию, в которой лежали оба дара, словно из гроба кем-то посланные ему.

Станный чертеж с изображениями звезд и планет был представлен на пергаменте. Надписи поясняли чертеж.

Внизу было написано красивым почерком что-то по-немецки. А еще ниже помещен был перевод, старинным почерком, с завитушками: «Гороскопиум, сиречь звездочетное начертание жизни, предстоящей княжичу Углицкому, царевичу Димитрию Московскому и всея Руси. 19 дня месяца октемвриа, 7090 году».

Дальше шло изъяснение предсказания Якоби, как он давал его царю Ивану.

По мере того как Димитрий читал и начал все понимать, когда поверил тому, что не сразу понял, — неодолимый страх овладел душой юноши.

Он готов был бросить все, что хранил так долго и свято... Хотел кинуться, убежать... чтобы не нашли его никогда... Чтобы он сам не нашел путей ни сюда, ни на Москву, которую вдруг так живо увидел перед собою, словно бы раздвинулась стена этой комнаты и за нею стоял далекий, огромный, пугающий его город, столица его отца, царя Ивана... Его столица, царевича Димитрия! Конечно, это он — Димитрий Углицкий... Что будет? Что теперь будет с ним... и с Русью?

Вдруг ужас схлынул. Неукротимая радость залила душу юноши. Он вскокил, потряс руками, словно хотел обнять кого-то. Слезы брызнули из глаз, лились неудержимо, быстро... струей... Едва мог удержаться Димитрий, чтобы не зарыдать громко-громко и радостно.

Но вот новая мысль, как ледяной водой, обдала его с ног до головы.

Да есть ли основание думать, что этот царевич, убитый, как все знают, в Угличе, и он, Димитрий Сирота,— одно и то же лицо? Как могли спасти его? Об этом никто не говорил ничего верного... Да и не узнает никто. Стоит указать, как и кто спасал царевича, так царь Борис живо вознаградит за усердие этих людей...

Почему же он, Сирота, и есть спасенный? Не сказано тут этого... Вещи? Бумаги? Они, может, так, для какого иного дела ему переданы... Еще есть ладанка. В нее надо заглянуть. А пока этот гороскоп снова сложить и спрятать в его прежнюю оболочку, на старое место, на крест... На этот царский, драгоценный клейнод!

Достав холщовый мешочек, Димитрий там нащупал еще какую-то бумажку.

Быстро достал, раскрыл сложенный пополам узенький клочок бумаги и прочел на нем знакомым почерком начертанные несколько слов, всего две строки: «Челом бью князю Углицкому, царевичу московскому и всея Руси».

Подписи не было. Но Димитрий знает руку Паисия...

Снова огни и звезды закружились в глазах.

Так это, значит, он — спасенный Димитрий!

Но как же его спасли?

Спрятав первую, кое-как сложенную ладанку на груди, Димитрий лихорадочно вскрыл второй, больший сверток.

Здесь он нашел полный список завещания царя Иоанна Васильевича, список с дознания об углицком злодеянии, где все места, противоречивые и явно нелепые, все, что говорило о пристрастном допросе,— было подчеркнуто и пояснено; тут же лежали показания тех, кто говорил не по желанию Шуйского и Клешнина, и все были подписаны. Третий документ представлял как бы рассказ о завещании Иоанна «некоторым своим боярам и служилым людям», без означения их имени, осторожности ради...

Завещание это касалось царевича Димитрия, которого следует скрыть от возможных покушений со стороны врагов... Дальше шел рассказ о выполнении царского завета, о том, как был подменен царевич, куда отослали ребенка, сдав на руки чете старых, благочестивых однодворцев в Старице.

Имена снова были опущены. Но Димитрий знал эти дорогие имена... Конечно, их не следует называть. Если старики умерли, а Борис проведает, так кости ихние выроет, всю

родню изведет... Хорошо, что нет имен. И он, Димитрий, пока не сядет на свой трон, до поры полного своего торжества, поклялся не называть ни одного имени, чтобы не повредить кому-нибудь из тех, кто берег его, заботился о нем столько лет, неутомимо, осторожно и так успешно. Эти же люди, конечно, и дальше позаботятся о нем, доведут его до трона. Он теперь уверился в этом.

Больше в рукописи ничего не было. Но дальнейшее знал и сам Димитрий.

Бережно сложил бумаги и спрятал их на груди, как было.

Огляделся, прислушался — кругом прежняя тишина.

Но сейчас она наполнилась для юноши какими-то головами, звуками, звоном оружия, ржанием коней, как он видел не раз, при появлении царя или правителя перед рядами московских ратей... Он видел торжественные выходы... Слышал какую-то дивную музыку...

Звучали хоры, звенели арфы... Грозные полки сшибались на просторе земных полей... Высокие дворцы с золочеными кровлями темнели над зубчатыми стенами...

Бесчисленные толпы народа радостно встречали кого-то и падали ниц...

Устремив глаза за окно, где солнце стало уже опускаться к горизонту огромным, багряным шаром,— сидел Димитрий и видел сны наяву...

— Что с тобою? Где ты был, Митя? Я уж которое время ищу тебя...— встретив товарища, стал спрашивать было Гриша-диакон. И остановился.

Лицо Димитрия было какое-то измученное, черные круги обозначились под глазами. Но оно все сияло и светилось, как у праведника!

— Да что с тобой? Скажи на милость!

— Ничего, Гриша... Я уснул... долго спал... Снилось мне, что я умер... вознесся в небеса, к Богу... Дивно было мне там... И так не хотелось возвращаться сюда, на землю... где муки и горе... и страх...

ИСПОВЕДЬ

Странное чувство овладело Димитрием.

Его неудержимо потянуло в Москву, в его Москву, в его столицу! Он знал этот большой, крепкий Кремль с его двор-

цами, эти посадки, торговые концы, шумливые и грязные, зеленеющее Замоскворечье и Занеглинье... Все знал, всюду выходил... И все же он совсем не знал их.

Только теперь он увидит «свой», настоящий город, столицу могучего, богатого царства, одного из обширнейших на земле!

Авраамий не стал отговаривать Дмитрия, очевидно догадываясь, что это делается не зря. Что же касается опасности попасть в руки врагов, — вероятности для этого было слишком мало. За два года Дмитрий выровнялся, изменился, особенно пополнил и казался много старше своих 18 лет.

Наконец дело так устроилось, при помощи брата Гервасия и других, что Дмитрий очутился в свите литовского канцлера, посла Льва Сапеги, в коротком казакине, в шапке набекрень, — бравым конюхом, а не смиренным, бледным послушником, каким его знали и помнили на Москве...

И он побывал там... Видел гробницы своих предков, целовал их, обливал слезами... Видел старых друзей: Паисия, Игнатия, — издали, не выдавая себя, не тревожа их напрасным страхом.

Но не долго он оставался в Москве. В августе 1601 года выехал обратно посол. А Дмитрий, теперь — Игнаций Лешко, умчался на Литву, как провожатый одного из членов посольства, которого отправлял с сообщениями на родину Сапега.

Побывал в Польше Дмитрий и у боярина Михайлы Головина, не открывая еще своей тайны.

Изредка, через разные руки, получал он наставления, писанные знакомой рукой: что делать, кого повидать, как говорить, если о чем спросят.

Прочитав и запомнив грамотку, Дмитрий сжигал ее сейчас же.

И точно поступал согласно указаниям далеких, даже неведомых ему друзей.

У Головина нашла его одна такая грамотка, где говорилось, что надо скорей оставить эти места. Тут уже нащупали кое-что клевреты Бориса, которых за деньги царь имел повсюду...

Ему советовали побродить по дворам знатных польских панов, указывали имена таких беспокойных, честолюбивых панов, которые не откажутся от самого опасного предприятия, лишь бы оно сулило побольше выгод и почестей.

Там Дмитрий должен прислушаться: что толкуют о

появлении царевича? И если представится удобный случай, — он уже сам может воспользоваться им. Дан был совет опасаться католических ксендзов.

Сообщали Дмитрию, что в текущем 1601 году прибыли в Москву нунций папы, легат Дидак Миранда и Фра-Коста. Просят они проезда в землю персидскую. Но, как удалось узнать, очень занял папу Климента, нового первосвященника римского, слух о воскресении царевича Дмитрия. Он и поручил своим послам разведать повернее: в чем дело? Где этот царевич? Нельзя ли использовать чудесное обстоятельство, прийти на помощь новому царю и заручиться за это влиянием на Москве?

Много писали Дмитрию. Много он и сам узнавал...

Особенно когда попал ко двору князя Адама Вишневецкого. Здесь кипели вести и слухи. Пань открыто говорили:

— Не явись этот Дмитрий, его надо было бы создать, как Бога для людей... Вот — бич наконец на выскочку, на Годунова!

То же говорили и при дворах других литовских и польских вельмож, где удалось побывать Дмитрию то в виде слуги, то под рясою нищенствующего, бродячего монаха, бредущего за сбором из Киевской Печерской обители...

У Адама Вишневецкого слугою решил пожить подольше Дмитрий, пока придут вести из Москвы, что можно начинать, что настал час столкнуть с престола наглого захватчика.

А эту весть можно было ожидать со дня на день.

Как будто судьба сама, не только люди — вооружилась на преступного Годунова.

Когда Дмитрий был с Сапегою в Москве, уже и тогда голод охватил целую область Московскую.

Ужасы рассказывали про озверевших от голода людей. Матери пожирали своих младенцев. На рынках продавали пироги, начиненные человеческим мясом. Заманивали в дома людей, убивали и поедали их... Люди питались навозом, солому жевали и гибли тысячами... И трупы находили могила в желудках своих же собратьев людей...

Множество трупов коченело зимою кругом Москвы, по течению реки, в соседних, окрестных селах и городах...

Весною трупы стали разлагаться...

Лисицы, волки набегали из лесов на даровой, обильный корм, забегали даже в города.

Зараза, мор — пришли на помощь голоду, который длился и второй, и третий год...

Борис выходил из себя. Старался смягчить бедствие, раздавал огромные суммы денег, отыскивал и привозил запасы старого хлеба, сберегаемого много лет в скирдах...

Но это не приобрело ему любви и благодарности ни от кого.

— Не свое дает небось... Царскую казну захватил — и сыплет... Да и то — не полной рукой. Горсточку кинет каждому, думает — и дело сделал! — говорили те, кто получил что-нибудь от щедрого царя: человеку никогда не бывает довольно того, что посылает ему судьба...

А те, которым почему-нибудь Борис не мог или не успел помочь, роптали еще с большим основанием, кричали о несправедливости, о злых намерениях царя: убавить народа, чтобы легче было справляться с остальными...

Много всего говорилось... И мало — в пользу Борису. Все — в осуждение и в укор новосозданному, свежеепеченному царю.

Очень не любит славянский народ «новичков» нигде и ни в чем; а уж на древнем троне своем — и подавно...

Всякие беды, по словам народа, послал на Русь Господь — за тайные грехи Бориса, за Углич — особенно. Так стали толковать открыто в народе, хотя гоудуновские сыщики и тащили неосторожных в застенки.

Димитрию сообщали обо всем.

И казалось ему, что пора...

Скоро и неведомые друзья тоже прислали ему только одно слово: «С Богом, начинай!»

Это было при дворе Адама Вишневецкого, в конце 1602 года.

Брагино, или — Бражня по-польски, называлось поместье.

Как назло, захворал здесь Димитрий.

Должно быть, от постоянного внутреннего напряжения упорная, сильная лихорадка овладела им, жар лишил порою сознания, и юноша бредил, бормоча странные, малопонятные окружающим речи... Может быть, и просто та же жестокая болотная лихорадка, которою страдал дьякон Григорий, — привязалась и к Димитрию, всюду побывавшему за последние годы, — и в плавнях днепровских, и в болотах на Волыни.

Когда жар спадал и сознание прояснялось, — ужас охватывал Димитрия: а вдруг он умрет, не изведав до конца того великого жребия, который выпал на его долю здесь, на земле?

— Нет, не может быть! Не должно так случиться, — сам себе возражал он. — Не для того Господь хранил и вел меня много лет, чтобы я кончил дни свои в этой казарме для панской челяди, на жестком ложе, где пришлось, в мешке с соломой, заменяющем матрас, прятать царские клейноды! Я оправлюсь... Должен скоро оправиться, чтобы принимать за дело! Мне уже двадцать лет... я зрелый муж, не юноша, не ребенок... Пора за дело!

И это могучее желание как будто на самом деле осилило недуг.

Димитрий почувствовал, что ему становится лучше...

Но тут же новая мысль блеснула ему в тиши ночной, когда он лежал с широко раскрытыми глазами и думал, думал без конца: как это начнется? Чем это кончится? Где и когда?

— Пожалуй, мне могут не поверить, хоть и сами желают видеть меня... Вон готовы «создать» Димитрия, если бы не явился он... А все же могут усомниться! Лучше, если сразу поверят...

И он надумал.

Дня три или четыре все больше стонал и жаловался больной, когда кто-нибудь появлялся у его постели... Голос его звучал все слабее и слабее.

Наконец он подозвал одного из пахолков-сослуживцев и попросил:

— Стас, сердце, не позовешь ли мне попа... Либо инок здешнего из монастыря? Помираю... Надо душу освятить, причаститься, исповедаться, как велит наша вера...

Желание умирающего было исполнено. Явился настоятель Брагинского монастыря, где пришлось слечь Димитрию, и приготовился слушать исповедь отходящего конюха Адама Вишневецкого.

— Во имя Отца и Сына... Можешь ли говорить, чадо мое? А то я дам немую исповедь и причащу тебя... Бог облегчение посылает со своим святым причащением... Веруешь ли, чадо мое?

— Верую... Сам исповедь принести желаю, — еле слышно заговорил Димитрий. — Великая тайна давит меня, ровно жернов, навалилась на грудь. Может, от нее и вся моя хворь, святой отец...

— Тайна? Великая? Говори все, чадо... Я слушаю тебя...

И любопытный инок ближе подвинулся к Димитрию, оглядевшись только: нет ли кого тут поблизости.

Но они были одни.

И слабым, рвущимся голосом повел Димитрий свой рассказ... Сначала передавал по тем сообщениям, какие были в присланной ему рукописи... Потом — и дальше, что сам он помнил и пережил с шести-семи лет...

По мере того как разворачивалась нить рассказа, инок-исповедник менялся и в лице, и в позе своей.

Нижняя губа тряслась теперь от волнения, любопытства и страха... Он сидел не по-прежнему, развалился, а подтянулся, подобрал полы рясы, поджал на поясе руки и слушал, склонив на правое плечо голову, приоткрыв рот с отвислыми, полными губами.

Когда Димитрий кончил и слегка застонал, словно от боли, — инок вскочил, отвесил низкий поклон и забормотал было:

— Милостивый государь, твое царское ве...

Но вдруг сдержался, опомнился...

— Постой... Ну, помираешь ты... Лгать не станешь... А все же, какие у тебя есть еще доказательства? Может, морочили тебя самого, а ты теперь людей и Бога обмануть собираешься, помимо своей души и воли? Есть ли что?

— Есть... для того и звал тебя, отче... Приими завещание мое... Вот тут, под изголовьем в сенике — два свертка... Взял? Гляди: бумаги все тут, о коих говорил... И крест царский... Цены ему нет... Не украл я его... Мой он... И гривна золотая. Краденое — сбыл бы с рук... Вот и приметы все: видишь, на лице родинка бородавчатая... Синеверхая вся... А вот... под сосцом — и знак царский... Видишь: пятно красное, словно орел двоголавый... Вот все тут со мною... А есть и люди, у вас тут, на Литве, скажу, ежели спросят, укажу их... Они, поди, видели меня и на Москве, и в Угличе. Под присягой покажут, кто я таков: моего ли отца сын али обманщик злой, самозванец, как на Москве враги мои толкуют... Вот...

И, словно ослабев, Димитрий умолк, закрыл глаза. А сам из-под ресниц выглядывает: что скажет инок?

— Ну, видно, правда... Челом тебе бью, царевич Димитрий Иоаннович! Дай тебе Господи на царство на твое сесть невредимо... Меня помяни тогда... Ты уж не посетуй... Я должен теперь все князю Адаму довести... Дело не малое... Тут — головою пахнет...

— Не надо, отче святой... Жил я в рабстве, так и помру! Благодарение Богу, что увел Он меня от ножа злодейского... Я не стану брани подымать, идти войною на родную землю... Так и помру, как жил, питаюсь от трудов своих...

— Ну, это уж как хочешь... Хотя и вовсе не питайся. Твоя царская воля. А я повестить должен...

И вышел прочь исповедник.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Прошел час, другой... Игумен не вернулся. Никто другой не являлся к Димитрию.

Ночь настала... Ночь прошла...

Много передумал за это время Димитрий.

Порой чудилось ему, что крадутся люди с ножами, хотят напасть, вонзить сталь в грудь ему, покончить с царевичем и со всеми последствиями, какие могут явиться, если Димитрий останется жив.

То он как будто видел, что послали кругом вестников... И собираются толпы простых и знатных людей. Они придут, ударят в землю челом и воскликнут:

— Здрав буди царь Димитрий Иоаннович Московский и всея Руси на многая лета!

А иногда ему казалось, что где-то собрались судьи и решают: убить его или заточить навеки, ослепив сперва, как это было с Василием Темным...

И Димитрий уже подымался, чтобы одеться, вывести потихоньку коня и ускакать во тьме ночной далеко-далеко отсюда...

И, переходя от надежды к отчаянию, не сомкнул всю ночь очей Димитрий, потрясваемый к тому же сильным ознобом, снова овладевшим телом юноши.

К утру только слегка забылся Димитрий. И увидел он причудливый сон.

Видит он себя ребенком, там, в Старице. По свежему майскому лугу гоняется дитя за мотыльками. И очутился на берегу озера.

Как в зеркале, отразилось его изображение в спокойной, чистой воде, — только не в светлой, белой одежде, а в чем-то, словно залитом пурпурной влагой.

— Кровавый мальчик! — говорит чей-то голос.

Отражение ребенка в воде исчезает. Он стоит перед темной пещерой. И сразу вырос, возмужал. На нем богатое снаряжение витязя, все с золотой насечкой, осыпанное самоцветами. И тяжелое копье в руке, меч — в другой...

А из пещеры с шипением, со свистом выбрасываются

на длинных шеях головы громадных змей... Огнем пышет от них...

Он ударяет мечом, колет копьем... Головы скрываются. Крутая лестница мимо пещеры ведет на вершину высокой горы... Лес темнеет по сторонам... Начинает подниматься Димитрий. Чудища выходят на дорогу, извиваются, бьют крыльями, грозят когтями, жалят, скалят зубы и отступают перед витязем... Ратники в черных доспехах с тусклым взглядом мертвецов выходят и нападают на него... Сталь звенит о сталь... Уже трудно стало витязю.

Вдруг он догадался, берет меч за острие, рукоять крестообразную показывает страшным ратникам, — и те распадаются пылью...

Выше идет витязь... Вот и вершина горы. Лес исчез. Даль необъятная видна, веселая, ясная, как с высоты днепровского берега, там, в Киеве...

Но сразу темнеет ясное небо... Черная, большая птица с железным клювом и когтями летит на витязя, окутанная тучами...

Ударил в птицу мечом витязь... Разломился меч... с жалобным звоном пало на землю в куски разлетевшееся лезвие... Копьем ударил — расщепилось копье... За шею гибкую, змеиную схватил витязь птицу... Душит, а она снялась и полетела с ним... Все выше, выше... Уж и горы не видно...

Руки отнял Димитрий от шеи зловещей птицы... А сам не падает на землю, выше, выше летит... И только видит, внизу — на ложе царском — лежит нагой кто-то, сложив руки на груди, смежив глаза... Это — тело его, Димитрия... И жаль ему того, который там... И чужд ему тот, внизу оставленный...

А сам он выше летит... Себя уж не чувствует... Вдруг — выстрел, как раскат грома, разбудил его.

С удивлением огляделся Димитрий.

Дверь избы, где он лежал, была широко раскрыта. За ней стояло несколько человек челяди, его сослуживцев. Игумен стоял у постели.

— Ты спишь, чадо? Лежи, лежи... Лучше, что ли, тебе дал Господь? Приказал господин твой, князь Адам, перенести тебя в другую горницу, почище. Больно неприглядно тут... Несите, детки...

Люди вошли, не понимая: отчего такая честь простому конюху? — и понесли ложе с Димитрием, поставили его в одном из запасных покоев флигеля, предназначенного для приезжих гостей. Светло и чисто было здесь. Когда Димит-

рия переложили на удобную постель и челядь вышла, иннок передал юноше все, что взял у него день тому назад.

— Вот твои клейноды, сын мой. Береги их... Что будет с тобой — увидим... Ты сам скоро услышишь. А покуда — поправляйся! Христос с тобою...

Благословил и ушел.

Еще несколько дней пролежал почти одиноким Димитрий. Заглянул доктор князя, лысый, старый итальянец, дал что-то принять, пощупал пульс, посмотрел язык, подавил бока больному и побормотал:

— Малярия грависсима... Теперь — хорошо... Теперь — пройдет...

И сам ушел.

Уж когда совсем стал поправляться Димитрий и сидел на постели, бледный, исхудалый, — появился тут и сам князь Адам, веселый, беспутный кутила, игрок и мот, известный по всей Речи Посполитой, но добрый, простой малый.

— День добрый, вас пане, — обратился он радушно и вежливо к своему недавнему слуге, — как чувствуете себя, ксенже Деметриус? Так нужно звать вас, как вы говорите?

Димитрий удивился немного.

— Благодарю вельможного пана за ласку и внимание, — по-польски заговорил Димитрий. — Меня действительно так зовут — Димитрий, князь Углицкий... И я извиняюсь, что вводил в заблуждение вельможного князя, приняв роль слуги... Прошу принять мою благодарность за хлопоты и внимание, оказанное мне теперь...

— Служу вельможному князю! Рад буду, если и дальше чем буду пригоден. Я уж дал знать брату моему, князю Константину... От него был гонец... Если пожелаете, оправься конечно, — поедем к нему... Это недалеко...

— Служу пану вельможному, князю Адаму... Хотя завтра готов. Теперь мне лучше.

— Хвала пану Иисусу и Пречистой Матери Божьей Ченстоховской! А не позволит князь позвать сюда ксендза Игнатия? Нам обоим было бы интересно выслушать от вас все то, что открыли вы на исповеди вашему игумену...

— Прошу вельможного князя... Я готов...

Скоро появился духовник князя Адама, ксендз Игнатий Ронцевич, высокий, тонкий, гибкий, как рапира, патер с бесстрастным лицом и глазами ищетки.

Им обоим повторил Димитрий свой рассказ.

У патера в руках была какая-то книжка, вроде записной.

Во время рассказа он часто заглядывал туда, словно проверяя что-то.

Когда Димитрий умолк, ксендз мягко заметил:

— У вас, пан, чудесная память... Так слово в слово почти передавал рассказ и отец Кондратий, игумен брагинский... Так само...

Князь Адам, очевидно, остался доволен.

— Теперь мы дадим вам покой, вельможный княже... А там... если будете в силах... У нас все готово...

С поклоном оба оставили Димитрия.

* * *

С небольшою свитой, словно бы безо всякой особенной цели, выехал князь Адам к своему прославленному брату Константину. Тут же и Димитрий, одетый шляхтичем средней руки.

Вообще, все так делается, чтобы и прилично было, и шуму поменьше. Если что неприятное выйдет, нетрудно и отречься: мол, все ложь и наветы — не возили никакого царевича никуда...

Недоверчиво принял Димитрия Константин. Не так он покладист, как брат его. Но тут случай помог. Нашелся углицкий выходец, Петровский некий. Услыхал он, что воскреснувшего царевича привезли, пришел взглянуть — и в ноги ему кинулся:

— Государь, солнышко ты мое! Привел Бог увидеть! Сразу признал я тебя, свет ты мой!

Конечно, это был самообман. Почти 16 лет прошло, и трудно было сказать: тот ли это юноша, которого видел ребенок угличанин?

Но ему поверили... Явились скоро и другие свидетели, поважнее. Головин подтвердил истину слов Димитрия...

Оставшись с братом и двумя ксендзами, князь Константин обратился к своему духовнику:

— Как вам кажется, святой отец: лжет или нет молодой?

— Может быть, он сам обманут... Но нет обмана в его речах... Верит глубоко юноша, что он — Димитрий, царевич спасенный... Все возможно. Царство Московское такое, где все тайной покрыто... Там и раздолье всяким подменам...

— И обманам...

— Пожалуй! Но... подумать бы стоило, если бы знать даже, что это ловкий обман... Таковую бомбу бросить под мос-

ковские башни... Чего это стоит! А вдруг — удача улыбнется юноше... И мы — первые поможем ему достичь этой удачи! Какие услуги должен оказать и вере католической святой, и Речи Посполитой, и тем людям, которые возвеличили его? Подумайте, князь Константин...

— Хорошо, я подумаю... Брату Адаму тоже самое пан ксендз Игнатий толковал... Я подумаю. А пока — дальше вези его, пан брат. Вербуй ему друзей и союзников. Поглядим, как шляхта вся отзовется на речи этого сладкого говоруна.

— Добре, пане брате... Повезу...

Дальше поехали князь Адам и Димитрий.

У Юрия Мнишка, воеводы сендомирского, больше удачи нашел Димитрий. Гостил тут и воевода острожский, Михаил Ратомский. Еще немало панов съехалось.

Старшая дочь Мнишка, Урсула, была княгиней Вишневецкой, женою Константина.

Младшая, Марина, еще ждала женихов. И немало их съезжалось в замок радушного хлебосола, пана Юрия. Здесь все близко к сердцу приняли рассказы и надежды Димитрия. А больше всех — старик-воевода.

Дали знать в Вильно, легату папскому, который немедленно приехал ради такого важного случая.

Гонцы скакали во все концы... Приезжали и уезжали паны... Судили, рядили: есть ли надежда поднять дело и довести до конца?

Все решили, что успех почти обеспечен.

Вести одна другой чернее доходили сюда из Москвы, со всей Руси...

Тогда Мнишки — старик-воевода и сын его, Ян, староста Саноцкий с Павлом, кузеном, воеводой Лукомским, — выпытывать начали осторожно: что бы Димитрий дал людям, которые быстро помогут ему достичь московского трона?

— Полцарства отдам! — ответил сразу Димитрий.

— Ну, это много. Пожалуй, и на меньшем сговориться можно... Вот первое: царица нужна царю московскому. Ду мал ли об этом царевич Димитрий?

Вспыхнул Димитрий. Воспитанный иноками, он всеми силами подавлял в себе врожденное влечение к красивым девушкам.

Вопрос, поставленный так прямо, причинил даже некоторую боль чуткому юноше. Но дело шло о короне, о царстве Московском. Надо отбросить всякие предрассудки.

— Конечно, жениться я не прочь... На ком только?

— Мало ли невест на Литве и в Великой Польше? Не первый раз московские государи берут подруг себе в нашей земле... София Витовтовна, прабабка вашего высочества, ваша родная бабушка, Елена Глинская — наши родичи, с нами были одной веры... Но, конечно, в старое, грубое время должны были менять ее... Вы же поживете с нами, узнаете истинную католическую религию, мать всех других... Сдается, и сами не захотите оставаться в вашей схизме, вельможный царевич...

Дух перехватило у Дмитрия. Вот куда они ведут! Изменить вере?! Но он не спорит, слушает внимательно.

Долгая подневольная жизнь инока, потом — слуги научили его выдержке, терпению с людьми.

— Я погляжу, подумаю... Готов ознакомиться с верой вашей, как уже знаю язык. Что дальше?

— Если Бог даст, вы остановите выбор на одной из девиц, какие будут предложены вам, — за нею придется записать на вечные времена Новгородскую землю и Псков, старинное наследие Литвы... А за тестем будущим — Смоленск с его землей, то, что недавно еще было нашим... Согласны ли?

— Согласен. Дальше!

— В этих областях — свобода вере нашей полная... А также и на Москве — должны, по примеру всех просвещенных великих западных potentatov, — дать свободу католическим ксендзам и монахам всех орденов. И кроме того, если сами озарите душу свою светом истинной веры, должны обзавестись в течение года или двух ввести католическое исповедание по всей земле... Верьте, не трудно будет это совершить. Народ ваш темен...

— Хорошо, я подумаю... Наверное, соглашусь, — сказал Дмитрий, сделав усилие над собой и видя, что пять пар зорких глаз впииваются в него.

А про себя, в душе, дал клятву: никогда не исполнить этого, если бы даже теперь пришлось дать для виду обещание...

ПРИЕМ У СИГИЗМУНДА

Много дней держали Дмитрия в Самборе, как в почетном плену.

Скоро и невеста была ему найдена.

Панна Марина сразу пошла в атаку на неопытного Дмитрия.

Он потерял голову от ее взглядов, рукопожатий, от ее постоянной близости...

Несколько свиданий в тишине немого, тенистого парка довершили быструю интригу...

Марина привела Дмитрия к отцу и сказала:

— Царевич делает мне честь: просит моей руки. Что скажете, батюшка, и вы, и вся родня наша?

— Спросить недолго. А я — благословлю от души... Не сейчас, конечно... Немного погодя, когда у царевича Дмитрий вырастет царская корона на голове... Не так ли?

Дело было быстро решено, и торг завершился.

Не довольствуясь словом, Дмитрия заставили присягнуть при легате папском, при многих знатных панах.

Он внятно произнес свою клятву...

Но, хорошо усвоив уроки иезуитов, которые несколько недель уже заботились просветить его душу, — Дмитрий буквально произнес, а потом написал по-польски следующее:

«Клянусь и обещаюсь, — если Бог допустит, когда я сяду на трон царей московских, предков моих, — дать за нашу царскую печатью на вечные времена грамоту супруге, царице нашей, Марине Мнишек, в полное владение областей Новгородскую и Псковскую со всеми землями, принадлежащими к ним. А тестю нашему — Смоленск, тоже со всеми землями, и миллион злотых деньгами немедленно по вступлении в Москву. И в тех областях вольно ей, супруге нашей, царице Марине, исповедовать свою правую католическую веру и пускать ксендзов, храмы и часовни ставить и в Смоленской земле, а также по всей остальной земле Московской и во всех царствах, какие под нашей рукой. И если через год не введем католической веры в царстве нашем — вольна царица Марина от нас уйти и развод получить, алибо если пожелает, то еще один год потерпит. Два года всего. И в том клянусь и крест целую. Деметриус, царь».

Ликует Мнишеки.

Даже не сразу внимание обратили, что не так говорил и писал Дмитрий присягу, как было написано в ее проекте.

Там стояло: «Клянусь и обещаюсь, когда допустит Бог и сяду я на трон...»

А Дмитрий, словно по ошибке, говорил и написал: «Клянусь и обещаюсь, *если* допустит Бог, когда я сяду»... и т. д.

— Что это значит, яснейший царевич? Как будто иной смысл носит присяга, слово ваше царское? — задал ему даже вопрос отец Марины.

— В чем, вельможный пане? — с невинным видом задал, с своей стороны, вопрос Димитрий.

Полууспокоенный этим ясным, невинным лицом, Мнишек, словно мимоходом, заметил:

— Так тут что-то... Стилистика... Ошиблись вы просто, яснейший царевич... Ну да не беда!

Ликовал Димитрий! Теперь — он свободен от клятвы. *Не может допустить русский Бог* до того, чтобы православную веру народ заменил католической!

И его душа чиста перед небом. Клятва дана так, что он может ее по-своему понимать и выполнить.

Получив такую запись, Мнишек и Вишневецкие в начале 1603 года в Краков, к королю повезли Димитрия. А раньше собрали там же всех русских дворян и простых людей, которые за это время приходили поклониться Димитрию и твердо повторяли, что узнают Иоаннова сына в этом порывистом, отважном юноше...

Отсюда же, из Самбора, были посланы Димитрием первые точные вести на Украину, к мятежным казакам.

Шляхтич Феликс, или по-польски — Сченсный, Свирский, литвин, — поехал посланцем на Дон, на Украину...

— Поезжай, Сченсный, вези счастье мое! — сказал ему Димитрий на прощанье.

И другие подсылыщики, запрятав грамоты Димитрия в подошвы лаптей, в дорожные посохи, в рваную одежду нищих, под видом которых они проникали в Московскую землю и дальше, до Украины, — все эти люди сеяли теперь полными горстями вести о Димитрии, семя возмущения против царя Бориса...

Немало дней в Кракове пришлось прождать Димитрию, пока паны и главные сановники католической церкви, с легатом Ранкони в качестве застрельщика, уговорили Жигимонта III принять царевича Димитрия Углицкого на частной аудиенции.

— У нас мир с Москвой, мир с Борисом, — отговаривался Жигимонт, — а я стану принимать явного врага царствующего там государя! Идет ли это? Достоин ли меня самого и всей Речи Посполитой?

— Благо народа — высший закон для государей! — ответил уклончиво, поговоркой, умный легат. — А польза для народа вашего несомненная получится из этого свидания.

Будет оно неофициальное, как и все сношения вельмож наших с этим отважным юношей... За него — все: и реликвии, клейноды царские, которыми он владеет, приметы, наружность, которую признают живущие здесь москвичи и жители Углича... Он получает часто вести из Москвы, очень важные вести. Значит, и там у него сильные друзья... А держава Борисова слабеет день ото дня. Казаки идут на подмогу этому Димитрию. Свои его встретят, чуть он явится, с колокольным звоном. Мы имеем верные сведения о том... Только военные рати Бориса немного будут помехой. Но и то, надо думать, ненадолго. Словом, это — будущий царь московский... Надолго, нет ли, сказать сейчас нельзя. Но он им будет! Здесь и там все этого желают... И он годится в цари... Лучшего — создать нельзя было... Молод, решителен... Умен и — гибок, когда надо... Теперь он гнется в пользу Речи Посполитой. Но если Речь Посполитая ему не поможет... За что же он станет платить или давать что-либо? Он захочет взять... А Стефан Баторий, в его годы, был именно таким, каков сейчас наш гость из Московии, Димитрий, князь Углицкий. Я это говорю вам, ваше крулевское величество.

Первые сановники короны поддержали нунция.

И назначен был день приема.

Просто совершилось все, как просто делалось остальное дело, как тихо ковался трон здесь, в Польше, для Димитрия.

— Вы будьте свободнее с королем, — учил Димитрия легат, у которого перед аудиенцией обедал Димитрий. — Он важен на вид, осторожен, как надо быть мудрому государю, но он очень добрый человек... У него мягкое сердце... Я вам расскажу его историю...

И иезуит дал целый урок царевичу, незаметно для него самого...

Карета, в которой привезли во дворец нунция и Димитрия, остановилась у маленького подъезда; замеченные только дежурными и часовыми, проследовали оба гостя на собственную половину короля.

Пройдя ряд красиво, богато убранных покоев, Димитрий с нунцием очутились в кабинете короля.

Жигимонт с мало свойственной его важному лицу ласковой улыбкой стоя встретил гостей. Один только королевский секретарь, Александро Чили, был при этом свидании.

Монсеньор представил Димитрия.

Король дружелюбно протянул ему руку, которую впечатлительный юноша прижал к своим губам.

Стараясь отнять руку, король с отеческим поцелуем коснулся лба своего гостя.

Все сели.

Димитрий начал теперь перед Жигимонтом говорить, чуть ли не сотый раз, свою чудесную повесть спасения и дальнейших событий жизни.

Необычайный слушатель внушил особенное воодушевление рассказчику.

Ничего не изменяя, Димитрий вложил столько огня, убедительности и силы в свою печальную повесть, что король неподдельно был растроган.

Димитрий окончил. Настало небольшое молчание.

Секретарь осторожно дал знать царевичу, что теперь надо на время удалиться, оставить наедине Жигимонта и монсеньора Ранкони.

Едва вышел царевич, Жигимонт заговорил:

— Он убедил меня... Он не лжет. Но...

— Еще есть «но», ваше величество? Какое, не могу ли узнать...

— Вы нам говорили, что он втайне принимает католичество, оставаясь по виду схизматиком до той поры, пока можно будет открыть правду московскому народу?

— Вот его запись. Папа шлет ему свое папское благословение...

— Вот-вот... Значит, и другие католические владыки будут помогать этому Димитрию, не я один? И, если победит Борис,— я не останусь лицом к лицу с разозленным, опасным, бешеным медведем? Верно, монсеньор?

— Никогда. Разве надо гласно идти в эту авантюру? Нисколько. Можно дать денег, помочь советом, не мешать вербовке солдат... А там по времени... Ну, вы уж сами решите тогда...

— Да, да, вы правы... Так будет хорошо. Да здравствует Димитрий, пусть будет забыт Борис... Пане Чили, зовите гостя.

Волнуясь как перед казнью, появился Димитрий.

— Не имеете ли еще чего-либо нам сказать? — обратился к нему Жигимонт.

— Немного, ваше королевское величество,— бледный, сжимая свои похолодевшие пальцы, заговорил Димитрий.— Вы сами знали неволю... Родной дядя заточил в темницу отца и матушку вашу, Катерину Ягеллонку... Вы родились в тьме тюрьмы, и Господь поставил вас в сиянии и блеске на

высоту трона... Вам ли не знать, что значит изгнание, нужда, лишение законных прав царства и рода!

Слезы вдруг невольно задрожали в голосе, брызнули из глаз у Димитрия.

— Я ничего больше не скажу. Буду просить только: помогите мне, как вам Господь помог! Гонимый, жду от вас спасения и помощи...

Димитрий умолк, отирая слезы, склонив смиренно голову.

С веселой, ласковой улыбкой приподнял свою шляпу Жигимонт и заговорил:

— Да поможет вам Бог, московский князь Димитрий! А мы, выслушав вас, рассмотрев ваши свидетельства, без сомнения видим в вас сына Иоаннова! В доказательство искреннего благоволения нашего назначаем вам сорок тысяч золотых на содержание и другие расходы. Сверх того, как истинный друг Речи Посполитой,— вы вольны сноситься с нашими панами, пользоваться их услугами и вспоможением. Садитесь, и поговорим еще с вами о делах поподробнее...

ПОБЕДА

С этой минуты удача как будто окончательно подрядилась служить Димитрию.

Взяв королевскую субсидию, он кинулся на Украину. Меньше чем через год под его знаменами собралось до полутора тысяч всадников, казаков, литовских витязей и польских шляхтичей да человек пятьсот пехотинцев, не считая значительного обоза, нескольких легких пушек и мортир.

Борис, судя по его действиям, от страха потерял всякое соображение.

Он посылал воевод с отрядами, приказывая им «брать на поток», ровнять с землею свои же города, как было с полуразоренным Угличем, жители которого смели-де в свое время спасти, укрыть Димитрия.

Смоленскую область также выжгли и разорили воины Борисовы, когда этот древний город перешел во власть нового претендента на трон московский...

Борис сам писал и заставил духовенство писать различные грамоты, чтобы убедить Русь и целую Европу в самозванстве Димитрия.

Грамоты эти противоречили одна другой и не достигали

цели,— наоборот, подрывали последнее доверие к московскому царю Борису...

Нового государя открыто ждали на Москве.

И скоро дождались... Лавиной шел со своими войсками Димитрий от границ царства в самое сердце его и остановился только на короткое время в Туле.

В один год совершил он почти бескровное покорение обширного Московского царства, которое только однажды удалось покорить хану Батыю и больше никому!

С августа 1604-го по май 1605 года совершалось это победное шествие Димитрия, омраченное лишь поражением при Добрыничах, 10 января 1605 года. 13 апреля, в три часа пополудни, не стало на свете царя Бориса.

По общемуговору, видя, что все погбило,— Годунов сам осудил себя и собственной рукой привел в исполнение суровый приговор: принял яд.

Похищенную им корону и царство он завещал сыну — Федору Борисовичу, юноше 16 лет.

Но это роковое наследие принесло только гибель юноше.

В конце мая на Лобной площади большими толпами стал собираться московский торговый и служилый люд.

Бояре и приказные из Кремля тоже постепенно собрались, узнав о стечении народном.

На Лобном месте стояло два посланца от Димитрия. Запыленные, усталые, они были окружены толпой жителей пригородной Красной слободы, куда, собственно, приехали прежде всего.

Там объявили посланцы, что истинный царь, Димитрий Иоаннович, уже подошел к Москве и шлет грамоту своим людям.

Обычно Годуновы перехватывали всех посланцев Димитрия и тут же казнили их, не давая возможности обратиться к народу.

Теперь вышло иначе.

Грозные посланцы, окруженные толпами защитников, были вне власти годуновских клеветов.

И с высоты Лобного места прозвучала грамота Димитрия. Димитрий писал:

«Посылали мы не раз в царственный град Москву гонцов своих с нашими грамотами, милость и прощенье обещали, если придут к нам верные подданные наши, весь люд московский, челом добьют и заключат в узы семью похитителя Годунова, неправо завладевшего царством, наследием нашим от покойного брата царя Федора и отца, Иоанна Ва-

сильевича. Но не было ответа,— видно, потому, что перенимали Годуновы посланцев наших. Ныне в последний раз шлем слово наше царское и ждем изъявления покорности добровольной от нашего престольного города, чтобы не пришлось кровью залить непокорное упорство рабов».

Таков был смысл обширной, витиевато составленной грамоты.

Но не надо было Димитрию ни грозить, ни обещать льгот. Вся Москва, как один человек, готова была его встретить.

Тут же, при чтении его письма, это ярко обозначилось. На паперти церкви Василия Блаженного собралась кучка бояр. Кроме одного из Годуновых — тут были Василий Шуйский и еще несколько из главных бояр.

Народ окружил посланцев и закричал:

— Ведите нас в Тулу! Хотим видеть царя Димитрия! Дадим ему присягу!

Боярин Годунов уговорил священника церкви Василия Блаженного, и тот решился на смелую попытку: остановить расхажившую толпу.

— Чада мои,— громко обратился он к толпе,— внимайте, что сказать хочу!

— Што, што? Слушай, ребята! Отец протопоп слово молвить собирается... Про царя Димитрия, слышы! И он знает, что Димитрий — подлинный царь, не отродье годуновское...

— Слушать... Тише... Не орать!

Кое-как толпа немного затихла.

— Не про то, дети мои, сказать вам хочу... Одно лишь напомним: присягу несли все бояре, и вы с ними, что будете верой-правдой служить юному царю Федору Борисовичу... Все вы крест целовали... Вспомните! А ныне что задумали? Раней хотя бы дознались путем: кто вас к себе зовет? Царь ли истинный либо смутитель лютый, прельститель, к пагубе ведущий души христианские? О вас стражду, вам добра хочу... Поспросайте, поведаетесь... Вот и тут бояре стоят... Хоть их спросите!

— Кого?! Годуновых? Отродье змеинное! Вон один тут... Бей его... Веди его, робя, к Димитрею... Царь сам с им расправится!

Несколько человек уже двинулось было вперед, чтобы схватить боярина Годунова и кинуть его в толпу.

Но бледный, растерянный боярин успел скрыться в храме и, выйдя задними дверьми на площадь, вскочил на коня и усакал...

— Вот боярин Шуйский тута, робя! — крикнул кто-то. —

Ен и в Углич ездил... Пусть поведает: кого там хоронил? Кого сгубил Ирод Годунов? Царевича Димитрия али иного, подставленного на место царевича? Говори, боярин! Не бойся. Годуновы тебе не причинят зла! Не дадим в обиду! Правду валяй! Как спасли царевича от рук Каиновых, от злодеев годуновских? Тебе лучше других-то знать!

Князь Василий Васильевич как будто и ждал этого вопля народного.

— Уж коли народ пытается меня, всю правду скажу! — ответил он, отвесив низкий поклон на все три стороны. — Только здесь плохо слышно... На Лобное перейду... Тамо способнее...

Торжественно повели лукавого старика и почти внесли на Лобное место. Часть людей стала внизу, охраняя боярина от натиска остальной толпы.

— Пусть Господь простит мне мои прежние вины вольные и невольные! — смиренно начал старый лукавец. — Сами ведаете: при покойном царе Борисе — и думать не мог никто по воле своей, не то — слово прямое молвить! И я виновен в грехе тяжком. Утаил истину страшную... Челом бью перед всем крещеным миром! Простите, братие, вводил вас и целый мир в обман! Первое — убито было дитя во Угличе, не само ножом покололся! Вот, крест святой с мощами на мне! Его подъямлю, на нем присягаюся, целую Животворящий Крест на том, что убиен был младенец некими людьми, — по общему говору, из Москвы подосланными... На покойного царя, на Бориса Федоровича, все говорили заодно. Сами разумеете, люди добрые: мог ли я это тому же Борису в очи вымолвить? И облыжно показал перед собором и царем Федором, что сам покололся младенец. Простите окаянного!

— Бог простит! Покаялся — и ладно! А убит-то кто? Царевич али иной, как сказывали?

— И про то скажу... В другое крест целую, что видел я убиенного младенца... Сугубо приглядывался — и не познал в нем того царевича, который у покойного царя Ивана от царицы Марии Нагих родился! По правде моей — пусть Бог меня судит. И на ней крест сызнава целую!

Взрыв криков пролетел над всей площадью, вырвавшись из тысячи грудей:

— Другой убит в Угличе... Жив остался царевич... Спасен был царевич! Сам теперь Димитрий к нам идет! В Тулу... К царю Димитрию! Все иди...

И закипела площадь, пока один крик не покрыл

всех голосов, сливая в себе все возгласы и звуки:

— Жив буди на многие лета царь Димитрий Иванович! Ж-и-и-в буди!

Двадцать шестого мая явились в Тулу, на поклон Димитрию, все бояре московские, духовенство и дума царская с Василием Шуйским во главе...

А царь по имени, Федор Борисович, с сестрой и матерью были отданы под стражу в ожидании дальнейших событий.

В конце июня состоялся торжественный въезд в Москву нового царя, Димитрия Иоанновича.

А накануне удушена была вдова Бориса Годунова и трехнедельный повелитель московский, юный царь Федор Годунов. Только царевна Ирина осталась в живых и после была насильно пострижена.

Пяти-шести дней не прошло, как по Москве новая весть прокатилась:

— Шуйский, трижды ломавший присягу и клятву, народу приносивший покаяние, Борису изменивший, сына его предавший, — теперь против нового царя, против сына Иоаннова козни завел... Стал слухи непригожие распускать, что не истинный это сын царя Иоанна... Прознал про заговор царь Димитрий — и судить приказал хитрого боярина. Собрал судей из духовного звания, и бояр, и простых людей позначнее. Как те сами решат.

Слухи были вполне верны.

Не успели похоронить труп несчастного Федора и матери его, как только Шуйский увидел, что Годуновы стерты с лица земли, уничтожены именем Димитрия, — он попытался вырыть яму и для самого Димитрия, начал при помощи своих друзей сеять новые вести, баламутить Москву, надеясь, что и вовсе не допустят нового царя въехать в столицу...

Но игра не удалась. И бояре, на поддержку которых надеялся вечный смутьян, слишком устали от безвластия, и народ слишком уверовал в Димитрия.

Уж в Тулу поскакали гонцы, передали новому царю о всех кознях Шуйского. И едва въехал Димитрий в свой дворец, как ему были представлены письменные доказательства заговора, затеянного князем Василием.

— Пусть земля рассудит нас с Шуйским! — сказал Димитрий.

Так и было сделано, 30 июня состоялся этот суд.

Зрелище было совершенно необычное не только для кремлевских палат, в которых веками тянулась твердо уста-

новленная, непоколебимая жизнь царей московских, невзирая ни на какие внешние события...

Нет, во всей истории царствующих династий не бывало случая, чтобы победитель-государь явился как бы на суд, стал тягаться с своим подданным, уличающим его в неправом обладании троном.

ДВЕ КАЗНИ

Изменника Шуйского, по обычаям и законам того времени, следовало только обличить в преступлении, представить виновному свидетелей и письменные доказательства, на основании которых он признан предателем, бунтовщиком, — и те же несколько бояр обязаны были вынести ему смертный приговор, который царю оставалось лишь утвердить.

Но Димитрий, знакомый с западными приемами суда и желая, должно быть, выказать не только свое настоящее могущество, но и глубокую внутреннюю правоту, поступил иначе.

Сначала оглашены были перед собранными представителями земли доказательства, выяснившие до конца вину Василия Шуйского, его клеветы на Димитрия, сношения с боярами и простыми людьми для организации ополчений, которые должны были помешать новому царю вступить в Москву или, в случае неудачи, ворваться во дворец и там убить его.

И Василий Шуйский молчанием своим подтвердил, что все обвинения справедливы. Теперь оставалось лишь обратиться к сидящим тут духовным лицам, боярам, выборным от московских жителей и от других городов, которые оказались налицо. Стоило лишь спросить их:

— Чего достоин изменник?

— Смерти! — конечно, был бы общий ответ.

Но вместо такого вопроса выступил Федор Басманов и заговорил:

— Не кончено еще дело, отцы владыки, князья, бояре и вы, люд православный, землею избранный и созданный сюда его царским величеством для решения дела столь важного! Изменяли князья и бояре царям своим, кару несли за то. Но там — дело явное было. Ни соблазну, ни сомнений не крылось ни в чьей душе. Господин и царь наш, государь Димитрий Иванович клятву дал: понапрасну не проли-

вать родной крови, ежели доведет его Господь до престола прародительского. И за вины тяжкие казни не хотел бы, коли есть малая надежда, что загладить может вину свою злодей. А в деле, которое судим теперь, и другое мыслимо. Может, сам не знал боярин-князь, что творил. Может, веровал облыжным, злодейским словам своим. Царя, Богом данного, отпрыск прямой Иоанна поносил, величал «расстригой», Гришкой Отрепьевым называл... Правда, и в грамоте патриаршей много лжи писано было про такого же диакона, Григория Расстригу. И рознились они от бранных грамот, разосланных Борисом Годуновым... Не в одно пели враги царя нашего пресветлого еще и тогда, как вся сила и власть была у них в руках... Но, думать желаемо, что с пути сбился князь-боярин... Вот пускай и ответит: почему царя Расстригой, Гришкой Отрепьевым называли.

— Все тут ранее думали, — неслышно ответил бледными губами Шуйский, когда пристав стал понуждать его к ответу.

— Все?! Ответ, достойный первого советника государева... А видал ли князь-боярин в Туле, когда на поклон туда ездил, вот этого человека?

По знаку выступил вперед диакон Григорий, который давно примкнул к войскам Димитрия и шел за ним от Путивля до самой Москвы.

— Видел! — беззвучно, одними губами пролепетал Шуйский.

— А не слышал ли, как звать его, князь-боярин?

Шуйский только утвердительно кивнул головой.

— Скажи, как звать тебя, — обратился к диакону Басманов.

— Григорием... Юшкой звали в миру, Юрием сиречи. Богданов сын, Отрепьев прозвищем.

— Что же молчишь, князь-боярин?

— Да и я так сказывал... А тут мне все напротив, что иного человека возит за собою царь и имя дал ему — Гришкино...

— Так, ведомо нам и то. Вот теперь к вам, отцы духовные, владыки, речь велит держать государь. Кто из вас знал сего человека до настоящей поры? Не будет ли такового среди нас?

— Я знаю Григория, — заявил митрополит Крутицкий, — видывал его порою в келье у низложенного патриарха Иова... Так он и слыл: Отрепьев родом, диакон Гришка.

— И я его видывал,— подтвердил слова товарища протопоп благовещенский.

— И я... — И я...— еще раздалось два-три голоса из рядов духовенства.

— Слышишь, князь-боярин! Как дело просто. Стоило пойти тебе да спросить: отцы бы и поведали тебе правду чистую. Не дали бы поносить имя царское... Теперь — другое... Сам же ты повестил народ московский,— вот, недавно еще,— что не царевича убили злодеи в Угличе, что истинный царь идет на Москву, сын Грозного царя, Димитрий Иоаннович...

— Сам, сам,— торопливо запричитал старик, словно почуввав надежду на спасение в этом нападении после той бездны отчаяния, куда он был погружен за мгновение перед тем.— Сам все сказывал... И снова крест целовать могу: не признал я в убитом царевича Углицкого. Иным, чужим казал мне он себя... Как думал, так и народу сказал. Вот, пусть царь о том памятует, не судит строго меня, грешного.

— Не царь — земля судит тебя, князь-боярин! Перед Божиим судом стоишь ты, как и сам государь стать готов в каждый миг, по правоте своей! А тут вдруг — сызнова на иное ты речь повернул: самозванием лял царя! Как же это, князь-боярин? Не молчи. Все может тебе на пригону быть, слово самое смелое... Только не молчание. Тебе оно смерть принесет, да и дела не раскроет до корени. А государю — только правда и дорога. Говори, князь-боярин: с чего думы свои поизменял? Али только и одно, что сам на трон сесть задумал, как тут послухи говорили?

— Спаси Господи и помилуй... Я уж все скажу... Только бы такой напасти не возвели на меня, на царского верного слугу... Старый я, недужный. Помирать пора, не о бармах царских, не о тяготе такой умышлять... О-ох... Испить бы. Уж все поведаю...

Отпив из ковша, который подал ему пристав, Шуйский медленно заговорил:

— Вот так думалось: Бог счастья послал! Царь крови Иоанновой к нам идет... Спас его Господь. Я так народу и говорил, чтобы замирились все, брат бы на брата войною не пошел. Это — первой всего, по мне. Тихо бы да ладно бы все было в царстве нашем богоспасаемом... Вот... И в Тулу срядился. И грамоту подписывал, кою дума боярская постановила полякам послать: что истинный царь у нас объявился, Димитрий Иоаннович... Вот... А тут, как съездил в Тулу... поглядел... Уж не посетуй, государь... все скажу... Лука-

вый меня попутал... Гляжу: мало лицо царское схоже с тем, какое у младенца, у царевича Углицкого видел, еще до убийства... когда на Москве с покойным Иваном царица и царевич проживали. Того не помыслил, старый, что с годами и лик меняется... Взяло меня сомнение... А тут, на Москве, — новые речи: как мог уцелеть столько лет царевич? Кто порукой? Може, тот мертв давно, а вороги чужим подменили? Вон, слышь, Литву с собой, ляхов ведет новый царь... Веру отнять старую, отцову задумал... Новую, ляхскую, навязать думает... Прости, государь, говорю, как сам велел... Всю правду истинную... Вот и я всколебался... Стал за людьми говорить... И в том — вина моя... И писал... А как прослышал, что хотят братья на братьев войной пойти, рать собирают, чтобы к Москве царя с его полками не допустить, тут, души людские жалеючи, — иное присоветовал: впустить лучше царя... Да ежели правда, что клепят на него... Лучше ж пусть малое число душ загинет, мол, меньше бы крови пролилось, ежели бы тут что случилось с царем да с ближними к нему, с ляхами с его... Каюсь и милости прошу царской...

Тяжело отозвалась на всех покаянная речь Шуйского, во всем ее смирении полная яду.

Неожиданно, словно почуяв, что думали сидящие вокруг люди, заговорил сам Димитрий.

— Не все еще сказал ты нам, князь Василий. Горшее стерпел бы и ты, и каждый из вас, кабы твердо веровали, что я — истинный сын Иоаннов... Отец мой — кровь вашу проливал, не то ручьями — потоками... И после долгих лет, после Новгорода, после злой опричнины деяний — царил еще немало лет, слова не услышав ни от кого, не то чтобы нож из-под полы готовил на царя своего — боярин и князь прирожденный!

Вот что горько, что невыносимо сердцу нашему... Почему и суд мы назначили всенародный. Почему и пришли на него, вопреки обычаю вековому... Невместно бы царю московскому тягаться с холопами его, хоша бы и княжеского рода, первого в земле... Но ради душ смятения, ради умов колебания пришли мы сюда свое слово сказать великое. Писали мы грамоты: как избавил нас Господь от ножа годововских подсыльников... И тут объявить желаем: как то дело было!

Своим подкупающим, искренним, молодым голосом, который также порою рвался и дрожал от волнения, как старческий голос Шуйского, повторил Димитрий старый рас-

сказ о своем спасении. О жизни сперва в России, потом — за грядями ее.

— Вот как дело было! — закончил он речь свою. — Коли самозванцем меня величают, где отец и мать мои родные? Пусть назовут мне род мой, имя мое. Сам того хочу. Не покараю никого, кто бы ни пришел с этим словом ко мне. Как верю я в то, что есмь сын Иоаннов, о чем вам сейчас и свидетельств дал мой, — так верю я в спасение в свое и в то, что не явится человека, который мог бы делом уличить неправду слов моих... А клеветы... наносы... изветы... измены! Вам, отцы владыки, вам, бояре, вам, выборные земские, пусть всего ведомы происки врагов наших и врагов земли! Пришел я и сел на трон прародительский, волею Господа сел! Сажу на нем — для блага земли и детей моих, коими вас почитаю, до самого последнего. Как Бог повелел, стану править и владеть вами... А князя — судите, как вам Бог и совет велят. Мы все сказали.

Вышел Димитрий. И сейчас же, как ответ на его смелую, открытую речь, прозвучал тяжкий приговор князю Василию Шуйскому:

— Смерти достоин изменник и бунтовщик!

Бубны гремят бирючей... Сзывают они народ к месту казни первого боярина, князя Василия Шуйского.

Но там уж, на всей площади вокруг Лобного места, и без того черно от толпы.

Едва протиснуться может отряд стрельцов, окружающий телегу, на которой везут осужденного к месту расплаты за все его ковы и вины...

Вот он и на помосте. Трясется весь мелкой дрожью... Вот уж и руки связали... Кафтан сняли парчовый... Рубаху разорвал на шее помощник палача.

А сам заплочный мастер стоит, лезвие топора пальцем пробует.

Шепчет последние молитвы Шуйский...

Вот уж и к обрубку роковому подвели его...

Мысли мутятся в старческой голове... Все пролетает вихрем: и воспоминания о далекой юности, и многолетняя борьба за почет, за власть, и надежды на царские бармы, на обладание землей... Вот-вот, сейчас, тот, за плечами, что-то резанет, ударит глухо, переломит, перехватит позвонки, гортань... Кровь хлынет струями из перерубленных жил... И — всему конец... Да что же так медлят... Скорее бы... Скорее!

Крикнуть готов был это слово Шуйский, лежа лицом на плахе... Но иное он слышит:

— Не руби! Стой... Слово царское... Милость злодею... Прощение Шуйскому...

Гонец пробивается сквозь толпу, которая стихийно раздвигается, путь дает вестнику милости и прощения...

Взял Басманов, бывший главным распорядителем, указ царский, читает:

— Жизнь дарует царь Димитрий Иоаннович изменнику-князю. В ссылку ссылает его навсегда...

Заволновались толпы.

— Да живет царь милостивый! Многие лета жив буди царь Димитрий!

Гроном прокатились клики... Подняли Шуйского, который омертвел совсем, на ногах не держится. Кафтан надевают ему, шубой окутывают...

Тело ослабло совсем у старика. А ум — не угас... Работа-ет мысль... И в сознании ярко шевелится мысль:

«Помиловал... Живым меня оставил... Так не жить же тебе, мальчишка, за эти минуты смертельные, тяжкие, какие я изведal по милости твоей! Ссылка — не смерть... А смерть — вот тебе ссылка будет от меня единая!»

И Шуйский сдержал свое слово!

Все, казалось бы, шло так хорошо для Димитрия.

В конце июля приехала на Москву вдова Иоанна, царица Мария, в иночестве старица Марфа, и перед всем народом обняла, признала в новом царе своего воскресшего сына.

Торжественно венчался Димитрий на царство и даже ради этого простил сосланного злейшего врага своего, князя Василия Шуйского, к себе приблизил по-старому...

Блестяще начал свое правление юный царь — милостями, дарами щедрыми, при всеобщей радости и добрых предзнаменованиях природы.

8 мая 1606 года короновал он Марину Мнишек, первую из женщин, священной короной Русского царства и венчался с нею...

Весело справлялась свадьба!

А через девять дней, 17 мая, рано утром, толпа мятежников с князем Василием Шуйским во главе ворвалась во дворец, и час спустя — нагой труп Димитрия, изуродованный, поруганный, валялся на Лобном месте... Во рту у него была дудка скомороха, на животе — грязная маска...

Потом тело выбросили в грязный ров...

Но московские жители, не участвовавшие в убиении, введенные в заблуждение соумышленниками Шуйского,

начали волноваться. Рассказы чудесные пошли кругом, связанные с мертвым Димитрием...

Тогда Василий Шуйский, уже избранный царем голосами нескольких десятков бояр и воевод, приказал разыскать тело.

На Москве-реке стояла башня потешная, выстроенная Димитрием для военных забав, низ которой изображал генну огненную. В этой башне сожгли тело Димитрия.

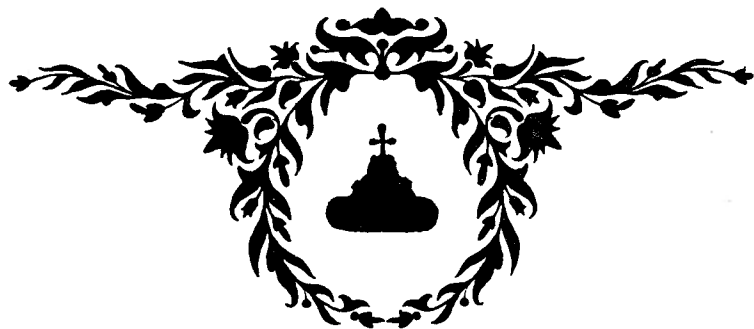
Но и того показалось мало мстительному, трусливому старику.

Собрали пепел, лежащий кучей после сожжения, зарядили им пушку, глядящую на запад от Москвы, и выстрелом по ветру развеяли самый прах человека, который называл себя Димитрием Иоаннычем и так быстро воцарился на Руси...

Быстро вознеслась, ярко загорелась и еще быстрее закатилась эта крупнейшая падучая звезда на темном горизонте московской истории...

Но не умер в памяти и в душе народной Димитрий и после того, как развеяли по ветру легкий пепел его. Второго «убиенного царевича», Лжедимитрия Тушинского создал сейчас же себе народ.

Так сильно любил он загадочный облик несчастного Углицкого царевича.



ВО ДНИ СМУТЫ



Часть первая

МОСКОВСКОЕ РАЗОРЕНИЕ

Глава I

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО

(11 СЕНТЯБРЯ 1613 ГОДА)

Москва от древних лет торговый городок была, таким навсегда и осталась.

Тяжкая пора приспела для всей Московской Руси, начиная с 1598 года, как только, по смерти царя Федора Ивановича, последнего из рода Рюриков, воцарился на Москве и над всею Русской землей Борис Годунов, потомок татарского князька Четая, ближний боярин, любимец и советник Ивана Грозного в его последние годы.

Умный правитель Руси, жестокий Иван IV, так ценил Годунова, что женил своего наследника, Федора, на Ирине, сестре Бориса. И тому же Годунову, умирая, Грозный поручил заботу о своем болезненном и слабоумном сыне.

И тогда еще, после долгих лет опричнины, были на Москве люди, более знатные родом и довольно опытные в деле управления землей. Но старый правитель недаром десятки лет «рубил густой боярский лес», чтобы царственным росткам его корня не застилали света побеги древних княжеских родов... Знатный опекун мог воспользоваться слабодушием Федора, свергнуть его с трона и повести новую династию вместо рода Даниловичей, потомков Ивана Калиты.

Этого Грозный не хотел. И он был уверен, что Борису, татарскому выходцу по крови, в ум не придет взяться за скипетр. Иван был убежден, что умный Годунов постарается только сберечь царство для своих будущих племянников, для детей Ирины и Федора... И, наконец, если бы Борис и посмел протянуть руку к наследию Калиты,— бояре и князья не позволят выскочке татарскому вознестись над ними...

Так думал старый, мудрый правитель... Но даже и его успел обмануть умный, изворотливый Годунов... Обманул его и при жизни, и по смерти.

Детей не было у Федора и Ирины... И рождались, да не жили... И шли толки, что в этом повинен был тот же

«свояк царский», Борис, которому даже брошено было в глаза открытое обвинение в одном детоубийстве, в гибели Углицкого царевича Димитрия...

Но спокойно принимал Борис все упреки, презрительно улыбался, слыша «недобрые толки» о его делах... Он знал, что сила за ним. Недаром он рос и воспитывался при дворе Ивана Грозного, ломал душу, гнул и лукавил десятки лет, изучил все отрасли правления, все ходы и выходы дворцовой жизни, где предательство и тайное убийство, топор палача и яд, незаметный, но верный — одинаково легко пускались в ход, как лесть, подкуп и пресмыкательство перед нужными людьми.

Все пустил в ход Борис, не остановился ни перед чем, особенно в 1598 году, когда собрался Земский собор для избрания царя. Друзья и сродники Годунова щедро задаривали более влиятельных членов собора. Патриарх Иов давно был дружен с правителем, как назывался Годунов после отречения его сестры, царицы Ирины, от наследия царского, врученного вдове после смерти Федора Ивановича, последнего из рода Ивана Калиты. Московские выборные и послы из городов знали давно, что землею правит Борис от имени царя Федора, и правит хорошо.

— От добра — добра не ищут! — говорили городские выборные и заранее наметили Годунова в заместители его скончавшегося шурина на осиротелом троне московских царей...

Бояре!.. Много врагов было у Годунова среди знатного боярства, среди остатков тех «великокняжеских родов», которых почти вконец извела опричина, для этого и созданная Грозным, тоже не без совета и участия Годунова... И теперь «княжата», то есть потомки древних княжеских родов, слишком были слабы, чтобы бороться влиянием и даже подкупом с Годуновым. Их времена прошли.

Да и кого могли они выставить в этот решительный миг, как соперника Годунову!..

Тянул руки к венцу и бармам Мономаха пронырливый, лукавый Рюрикович, князь Василий Шуйский... И по родословной, конечно, у него было больше прав, чем у потомка татарского мурзы, хотя бы и шурина царского...

Но слишком не любили бояре эту «язву», как звали они старика.

— Мягко стелет, жестко будет спать!.. — говорили они.

А московские и областные послы и слышать не хотели о Шуйском, о старинном вотчиннике новгородском.

— Посади его на царство, — он Москву затрет, свой Новгород на первое место высунет!..

Так говорили на Москве. И годуновские сторонники, конечно, постарались раздуть эти опасения...

Мог бы бороться с «Годуном» другой Рюрикович, князь Федор Иванович Мстиславский. Но он, человек немолодой, далекий от придворных интриг, мало знакомый с управлением, слишком любил покой и не пожелал сам в такое тревожное время променять свое почетное, первое место в царской думе на более высокое, но несущее заботы и опасности, положение главы царства.

Попытался было Богдан Бельский, тоже родич царский, бывший наложник извращенного Иоанна Грозного, ухватить власть, которая ждала: кто сможет ею овладеть?.. Но его попытка не удалась, и князь поплатился за нее — опалой, ссылкой и разорением. Максимилиан Австрийский, чужой принц, выставленный дьяком Андреем Щелкаловым, конечно, был не опасен для Годунова.

Пока друзья и родичи вели выборную работу, сам Борис отошел в сторону; потом, избранный, проделал блестящую комедию отказа, заставил себя долго просить прежде, чем взял скипетр, давно уже захваченный им на деле, раньше, чем воссел он на трон, к которому упорно, незаметно, ценою преступлений и нечеловеческих усилий шел уже двадцать лет подряд.

И враги должны были умолкнуть, смириться перед заведомым злодеем, хотя и мудрым государем, Борисом I, решившим уже давно, что надо рядом прекрасных дел изгладить из памяти людской все дурное, что знают о нем люди, в чем вина, может быть, и не без оснований. Только завоевав всенародную любовь, можно было считать, что род нового царя укрепит и даст новую династию, заменив Даниловичей рода Калиты, которые в двести с небольшим лет из маленького княжества на Москве-реке создали большое Московское царство!..

— Рубахи последней не пожалею для людей моих! — сказал Годунов при воцарении.

И это была не фраза. Он знал, что хорошая жатва бывает только после щедрого посева. Это он изведал, затратив почти все родовые богатства на подготовку своего избрания. И теперь готов был опустошить царскую казну, ставшую его достоянием, только бы завоевать одно сокровище, овладеть одним богатством, стоящим превыше всего: любовью народной для себя и для своих детей.

Конечно, с годами он преуспел бы и в этом, как успевал доньше во всем остальном. Слишком хорошо знал умный, даровитый правитель и людей, и свои силы, умел учитывать каждый шаг, каждый шахматный ход свой и вражеский на той огромной доске, какою являлось для него и для его недругов Московское царство... Но было нечто, чего не мог учесть и предвидеть даже такой прозорливец-правитель, как Годунов.

Постепенно, за два века, произошли многие перемены в бытовых и экономических взаимоотношениях людей, населяющих эту землю. Но старые, вековые правители, особенно Грозный, стремились и умели пресекать всякие проявления недовольства, с какой бы стороны они ни пришли.

Совсем иначе стало при «новом» царе, да еще при таком, который торжественно объявил о своей готовности всем жертвовать для народа.

Тяготы земские, налоги, подати, идущие в казну; поборы, чинимые в свою пользу воеводами и мелкими чинами, еще более тяжкие, чем «царский сбор», — все это давно было не по душе народу, главным образом, на южных и западных окраинах царства, где особенно тяжел был гнет господский над пахотным населением.

Мера, необходимая для укрепления власти, проведенная Борисом, — прикрепление людей к земле, «крепь вековая» — сразу взволновала низы. Там поднялся громкий ропот и говор, что «новый царь» обещает одно, а делает другое...

Вместо облегчения, которого ждали и требовали массы и даже более зажиточное, городское население, — навалились на людей новые пути, новые тяготы, вызвавшие повсюду глухое недовольство и злобу. Конечно, и с этим волнением успел бы справиться постепенно царь Борис, одним давая льготы, других сжимая в тисках суровой власти, смиряя силой буйную гольтубу, которая особенно зашевелилась уже и под конец царствования Федора; причем «добрая соседка», Речь Посполитая, тоже влила свою долю яду в общую кипень московских неурядиц, желая использовать как можно лучше переходную пору, переживаемую сильным врагом...

Все это видел и понимал Борис, против всего находил способы борьбы... И не справился только с одним.

Современники Годунова толковали в один голос, что «само небо» ополчилось против царя, обаготившего свои

бармы кровью многих жертв, до невинного царевича Углицкого включительно.

Иначе, конечно, они и думать не могли, с ужасом наблюдая, какой поток стихийных бедствий обрушился на Московское царство.

Ряд неурожайных лет, засухи, бури, голод всенародный, обращающий москвичей в людоедов, бунты и набеги врагов — все это ураганом закружилось чуть ли не с первого года царствования «кровавого» Бориса-царя.

Нечеловеческую энергию проявил Годунов. Раскрыл царскую казну, находил людей и посылал рати на мятежников, готовился к большой войне, угрожающей и с запада, и с юга... Но враги тоже воспользовались минутой. Из тьмы могил поднялся призрак, с кровавой зияющей раной на шее, встал убитый отрок Димитрий, и по земле пронеслась весть:

— Царевич Углицкий, Димитрий — воскрес... Не его убили слуги Годунова. Убит другой, а царевич — жив!

Слишком силен был удар, хотя и ждал его постоянно Годунов. Но справиться с призраком он был не в состоянии. Земля сразу заколебалась под ногами. Годунов сломился и погиб. Смерть его искупила многое дурное, сделанное этим честолюбцем при жизни. Считая себя виновным перед Непобедимым, он сам ушел и от власти, и от жизни, полагая, что месть Божества удовлетворится этим, не коснется его отрока-сына, не повинного ни в чем.

И тут ошибся старый прозорливец Годунов.

Короной и жизнью заплатил сын за грехи отца... Позором купила жизнь свою дочь Годунова, Ксения, ставшая наложницей Самозванца, вошедшего победителем в Московский Кремль, принявшего власть и царство.

Но и этот не долго усидел, хотя есть основание полагать, что он был истинный сын Грозного. Стоит вспомнить, как Иван IV молил еще весною 1553 года своих свояков, Романовых-Захарьиных:

— Не дайте боярам извести сына моего (тоже Димитрия, умершего вскоре), как то им обычно... Скройте и берегите с ним в чужие земли, куда Бог укажет!..

И потом, в своих завещаниях детям, уже стариком, Иоанн часто говорит о том же, что им придется скрывать свое имя и спасаться от злобы князей, бояр, недругов своих, в чужом краю... Те же бояре, как, например, Бельский, Колычевы и другие, — почуяв на себе опалу Грозного, желая уверечь от смерти детей, — укрывали их под чужими именами

в монастырях, отдавали надежным людям из простого словия.

Нет ничего мудреного, что царица-инокиня Марфа, получив наставление от мужа, или сама, зная повадки своих врагов, особенно Годунова,— заблаговременно скрыла второго Димитрия, царевича Углицкого, и удар подосланных убийц достался подставному лицу, бедному ребенку, взятому и обреченному на жертву взамен царственного отрока...

Как бы там ни было — Димитрий-царь, вошедший на престол при помощи польских денег и войск, при содействии понизовой, казацкой вольницы,— не усидел и году на своей высоте, оттуда рухнул в грязь и прах, смешанный с кровью... Даже пепел его был развеян пушечным выстрелом по ветру... Так приказал новый царь, Василий Шуйский, на четыре года успевший захватить царскую власть.

Но этот пепел родил новую смуту, новые беды и разруху для Московского царства, для всей земли... И поляки с гетманом Жолкевским, разбив русскую рать под Клушином, стали настоящими господами смятенной земли...

Считая с воцарения Бориса и по конец 1610 года, когда начинается эта повесть, почти двенадцать лет рвались связи и скрепы, которыми прежняя власть спаяла воедино области, составляющие Московское царство. Шведы на севере, поляки с запада и с юга вошли в пределы обесиленного государства, и чужое иго уже готовилось для самобытной страны славянской, давно определившей себя и свое назначение в горделивом заявлении:

— Москва есть Третий Рим нетленный, опора и защита вселенского православия, угнетенного турками и латинами!..

Настал последний миг, грозный час, когда должна была решиться участь целого племени великорусского. Надо было или оправдать свои гордые стремления, или сознаться в бессилии и склонить голову под властью шведов и соединенной Польши и Литвы.

Польские отряды сидели в Московском Кремле, и гетман Жолкевский диктовал законы семи верховным боярам, которые кое-как правили землею в эту пору безвластия и лихолетья... И эти же бояре, желая избавиться от нового Лжедмитрия, Тушинского вора, отброшенного весной 1610 года к Калуге, решили призвать на царство сына короля Сигизмунда Вазы, юного королевича Владислава.

В Москве, в этом сердце страны, в древней столице цар-

ства Калиты, разыгрывались важнейшие моменты всей трагедии.

Осады, голод, пожары и разгромы перенесла богатая, торговая Москва... Целые улицы лежали в развалинах... Китай-город, Кремль несли следы ядер, разрушения и огня...

Но быстро оправлялась Москва после самых тяжелых ударов... На пепелище росли новые дома и усадьбы со сказочной быстротой... Вымершие, убитые — заменялись тысячами, десятками тысяч новых, пришлых людей... И снова жизнь загоралась в Москве белокаменной, сияли огни в сотнях ее церквей, которых особенно много настроил покойный Федор-царь и царь Борис... Черно в храмах от молящихся... А еще люднее на базарах, на торгах славной, богатой Москвы, лежащей на самом пути из «варяг в греки», с Запада, промышленного и торгового, на богатый, сказочный Восток...

Несмотря на раннее утро, шумно илюдно было 11 сентября 1610 года на большом торгу у Пресни-реки, за Тверскими воротами.

Целым городком, с тесными, людными улочками и переулками раскинулись навесы, шатры, палатки и ларьки разных торговцев в самом причудливом беспорядке. Ближе к берегу стали обозом деревенские возы, телеги, на которых окрестные крестьяне привезли на продажу зерно, сено, живность, пряжу, кожи, ткани, все, что нашлось в обиходе для сбыта в ближней торговой Москве.

Кони тут же привязаны у задков телег или отведены в особую коновязь, оберегаемую сторожами. Пешие стрельцы-стражники, с алебардами и пищалями, виднеются тут и там, посланные для охраны торгога. И конные вершники медленню пробираются в толпе или рысью объезжают окраины торгога, готовые настичь «лихого человека», помешать ссоре, драке, а то и явному грабежу, какой теперь не редко происходит среди белого дня...

Сотни и сотни бродящих торговцев снуют со своими лотками на голове или у пояса на перевязи, среди люда, волною заливающего все обширное место торгога. Квасники с бочонками или с медными жбанами на голове особенно звонко и голосисто выкрикивают свой товар. Но их голоса тонут в общем шуме и гаме, наполняющем воздух.

И только резкие, пронзительные голоса торговков, сидящих у своих ларьков и корзин с разной зеленью, со снедью, с лакомствами или снующих между толпой, только эти

звонкие выклики выделяются порою из общего гула и роко-та, висящего над торгом.

В рыбном конце, под навесами, стоя у бочек и полубочонков, наполненных товаром, степенные, пожилые продавцы поглядывают на своих молодцов, которые горланят на всю площадь:

— Ры-ыба ха-арошая!.. Донской малосол!.. Снеточки белозерские!..

— Ко-ожи!.. Ко-ожи коневые... Ко-ому ко-ожи!— звучит из другого угла.

— Во-от клюква!.. Во-от крупна!.. По яго-оду-у по клюкву!— надрывается хор женских голосов.

А дальше выкликают деготь, мед, ободья и посуду, рукавицы и пояса, словом, все, что можно продать и купить... А между шатрами, при въездах и выездах с торгова, на ближней паперти соседнего старинного, деревянного храма — всюду сидят нищие, калеки, слепцы с поводьями. Иные просто тянут «Лазаря» либо стих о том, «как Христос во ад сходил»; другие свои гнусавые, тягучие напевы сопровождают звуками старых, скрипучих, разбитых бандур или тягучим гудением кобзы...

Юродивые, босые, полуобнаженные, а то и совсем нагие, позвякивая веригами, мелькают тут и там, заходят порою в ряды лавок, принимают там подавание и, поев или раздав принятое другим нищим, снова прорезают толпу, которая почтительно расступается, давая дорогу «людям Божиим», стараясь уловить доброе или дурное прорицание среди того постоянного, невнятного бормотанья, с каким обычно ходят блаженные в людской толпе.

Белое духовенство, попы вместе с мирянами явились на торг запаста что можно, посходнее да подешевле. Черные рясы инок и монахинь тоже не редко видны в разноцветной толпе московского люда, пришедшего на торг. Ближние монастыри, да и дальние тоже,— зная, что будет много народа на торгу, высылают туда своих сборщиков за подаванием. Особенно теперь дорог каждый грош, когда, в пору лихолетья, оскудели даже монастырские казнохранилища... Да не мало монастырей и совсем упразднилось. Враги пришли, ограбили обитель, братия разбежалась... И только пустующие, выгорелые кельи, оскверненные храмы — остались вместо богатых, людных общежитий монастырских...

Особенное оживление, конечно, наблюдается около усадьбы, стоящей поближе к самым воротам, где елка, тор-

чащая над уличным коньком избы, говорит внятно, что здесь именно находится кружало, царев кабак, без которого обычно и торг не в торг!..

Подобно тому как вся Москва и пригороды выслали на торг своих представителей, также и в кабаке и перед ним сошлись мужики, словно выборные ото всего люду, наполняющего площадь торгова и ближние переулучки.

Тут и крестьяне, и возчики, и торговые люди, и служилый народ, стрельцы, казаки, холопы боярские и почище люда, не исключая и духовных, особенно из «ченцов», или иноков и послушников монастырских...

Иные, выпив свою чарку, снова отправляются на торг, другие — часами сидят в шинке или подле него, распивая взятую посудину... И чем выше поднимается солнце, чем больше прибывает народу на рынок,— тем шумнее и гуще толпа в кружале и вокруг него.

А небольшая кучка донских казаков, молодых и старых, еще до свету попав сюда, расположилась словно табором. Кони стояли привязанные у частокола, и поочередно один из компаний наведывался к ним. Сами же донцы, раскинув свои бурки и потники под развесистой рябиной, сперва выпили все, что было у них в баклагах, потом снесли пустой бочонок, или «барылок», как его называли, в кабак, наполнили там, осушили, закусывая сухой таранью и хлебом, привезенным с собою. И еще не раз наполнялся и осушен был барылок. Часть из собутельников уже насосалась до отказа, и, громко похрапывая, спали тут же, среди шума и гомона, опьянелые лыцари. Остальные продолжали кутеж. Подозвав несколько веселых торговков, любящих вино, а то и просто гуляющих бабенок, которых не мало на каждом торгу, казаки затеяли лихую пляску, подпевая себе при этом. А один, постарше, бросив пару монеток слепцу-бандуристу, привел его к рябине и крикнул:

— Буде тебе кота хоронить! Жарь плясовую!..

И непривычными к «светским» напевам пальцами заиграл бандурист плясовой мотив. А казаки, отплясывая своего гопака под эти чужие напевы, во всю глотку, вразрез бандуре, выводили по-своему:

Гей, дуб-дуба! Дуба-дуба,
Дивчина моя люба!
Набрехала на мене,
Шо я лазыв до тебе!..

И с этими залихватскими звуками выбивали тяжелые чеботы частую дробь гопака по измятой, истоптанной траве на лужайке под рябиной.

Густая толпа зевак сошлась и глядела на пляску казацкую, на бесшабашное пьяное веселье, переходящее порою всякие пределы благопристойности.

На одном из самых бойких углов торгога, поближе к воротам, раскинулись шатры и навесы стрельцов-городовых московских, которые не пренебрегали и торговой наживой, пользуясь при этом разными льготами и поблажками со стороны правительства; оно не могло слишком щедро оплачивать солдатскую службу и потому давало иные способы подрабатывать, сколько кому не хватало на жизнь.

Стрельцы имели и свои постоянные места в городских торговых рядах, и выезжали на временные рынки, на торгога и подторжья, даже на ближайшие ярмарки, имели своих подручных и приказчиков, частью из родни, частью — наемных.

Торговый люд, купцы и даже гости наезжие московские косились на торгога-стрельцов, соперничество которых в торговле отнимало лишние барыши. Но напрасны были челобитные и устные прошения. Стрельцы продолжали вести торг и многие сильно богатели. Не брезговали торговым делом не только рядовые стрельцы, — записывались в это дело десятники и головы стрелецкие. Тысяцкие и воеводы лично не занимались торговлей, но им сами торгога-стрельцы несли дары от усердия своего. А то и брали у начальства деньги, пускали их в оборот и несли крупные барыши этим «потаенным» половинщикам, стоящим по виду далеко от мелких торговых дел.

Здесь, на Пресненском торгу, несколько стрелецких навесов вели торг исключительно боевыми припасами, свинцом, порохом, или «зельем», как он назывался тогда. Старое или новое оружие лежало тут же на земле, у ларей, или висело на столбах навесов.

У одного из них сидел немолодой, степенный стрелецкий голова Ефим Озеров. Поглядывая на толпу, которая почти сплошную массою двигалась мимо ларя, он поглаживал свою седеющую бороду клином и порою обращался к долговязому парню лет восемнадцати, племяннику своему, служившему у дяди подручным.

— Не зевай, Афонька, не зевай!.. Гляди, толчаекакая!.. Подбери-ка лебарду немецку, которая на углу приставлена. Сронит кто ее грехом, поранит людей. А мне в ответе быть за тебя, ротозея!.. Фефела!.. Да покупателей усердней зазывай!.. Вон к куму-то, к Ивану, третий уже подошел. А мы с тобой и без почину еще!.. Сыч ты деревенский!.. И

за что я кормлю-пою такую орясину!.. Идол хинский!..

Подбодренный ворчаньем дяди-хозяина, Афонька еще пуще и звончее стал зазывать народ, выхваляя товар, привезенный Озеровым.

— Пищали заморские!.. Зелье само лучшее... Лебарды, тесаки отточенные!.. Пистолы английские!.. Свинцу — свинчатки кому... Пульки готовые, рубленные!..

Как раз в это время, отделясь от компании, бражничавшей под рябиной, появился в этом углу торгога приземистый, широкоплечий, сухощавый, но могучий на вид казак и направился к ларьку Озерова, самому крайнему в оружейном ряду.

Не обращая внимания на поклоны и причитанья Афоньки, который весь просиял при виде покупателя, казак подошел к прилавку и обратился к Озерову:

— Почем нынче вешишь зелье?

— Алтын с деньгою у меня. Другие — две берут... А мне бы поскорей расторговаться... Так я деньгу за то и уступаю...

— Та брешешь, гляди!.. Ну, все одно... Сыпь полную! Сколько влезет!..

Казак протянул Озерову большую роговую пороховницу, совершенно пустую. И из-за широкого пояса достал небольшой, толстого полотна мешок и кинул его тоже на прилавок.

— От и сюды, в запас... Насыпь и свешай!..

Ловко и быстро, хотя без внешней суетливости, Озеров взвесил пустую пороховницу, наполнил порохом, снова прикинул на безмене, отметил на прилавке мелком крючкова-тые знаки-цифры, проделал то же с пустым мешком, насыпал туго порохом, завязал, взвесивши, и положил перед покупателем. Быстро подсчитав сделанную мелом запись, он заявил:

— Шесть алтын четыре деньги за все про все. Еще чего не надо ль, почтенный друг, льщарь служивый!..

— Як не надо? Надо!.. Свинец будет...

— По три алтына две деньги. Печатная свинчатка, мерная, большая! Гляди, таких нигде и не найдешь, окромя как у меня!.. Да и свинец — отборный, что золото! Заговоренный. Не целя попадешь, в кого наметил!.. Одну дать, либо две свинчатки?..

— Ты заговоры знаешь, брате?.. Четыре отсчитай, а то и пяти!.. Та потяжелее, слухай, выбирай!.. Не скоро попадем опять на торг. Позапастися надо. В кошу у нас и то припасу мало... Надолго не стает...

Пока стрелец выбирал и взвешивал «свинчатки», от которых резались или просто откусывались куски для пуль, покупатель полез в глубокий карман своих широчайших шаровар и, достав оттуда кожаный засаленный большой кисет с тютюном, стал встряхивать его и рыться внутри, отыскивая монету для уплаты.

Озеров насторожился. Его тонкий, настроенный слух торговца различил звон золота в темном, засаленном мешочке, до половины наполненном табаком.

Кинув исподлобья жадный взгляд на кисет, Озеров дружелюбно заговорил:

— Лобанчики звенят... Ну их, брат, ты мне и не давай!.. Хе-хе!.. Не хватит сдачи, не то што у меня, а целый торг хоша обери!.. Не те года у нас!.. Полтина!— взяв поданную монету, продолжал он.— Энто ладно, Полтину разобью, в карманах понашарю. А ты богатенькой!— с поклоном подавая сдачу, еще любезнее начал Озеров.— Не из царской ли дружины из бывлой, что с тютюном — лобанчики мешаешь?.. Аль при верховных при боярах... Али... Ась?..

— Як то знаты, чога не знаешь!.. Може, шо я и царский... Та лих, царя якого! Отгадай, коли такой цикавый... Не один стал царь тепер у нас в земле. Як думаешь, стрелец-приятель?.. Як гадаешь?

— А што мне и гадать... Мое дело — продать. Кому ты присягал — тот твой и царь. А я ни поп либо пономарь, штобы пытать у лыцаря: «Ты како веруешь?..»

— У-у!.. Башка ты, хоть и москвич! Не Головин ли...

— От Красных мы озер... Так — Озеровы нас так и прозвали. А... слышь-ко, сват... Есть у меня товарец про твою честь... отменный, нерядовой!.. Гляжу я, погляжу: ты сам-от — лыцарь ба-альшой руки!.. Хоша и не в уборе... Да, ведомое дело: теперя и дворяне, князья-бояре, сами попростей одемшись, на выход выйти норовят... штоб грех какой в пути не приключился... Грабителей тьма развелась! Свои — своих, чужих — чужие душат!.. Да обирают среди бела дня... Особливо коли в мощне погуще у неоглядного господчика... у зеваки!.. Не про тебя я. Вижу, маху сам не дашь, коли бы што приключилось... Ась?..

Озеров громко рассмеялся, хлопнув по плечу казака.

— Ну, ладно. Зубы у меня не болят. Не заговаривай... Товар какой особый есть?.. Скажи аль покажи... Я погляжу.

— Пищаль, мой братец! — озираясь, понижая голос, таинственно заговорил стрелец.— Да, не простая... из царских

кладовых, из оружейных!.. Уж как она ко мне попала,— мне знать про то да Богу!.. А тебе ею владеть... Стань так... спиною туды, штобы люду прохожему не было приметно... Я покажу...

Из-под прилавка он достал пищаль, завернутую в рядно. Быстро развернув его, он показал казаку, не давая в руки, чудесную восточную пищаль с раструбом на конце. Ствол витого железа, ложе и длинный, узкий приклад, украшенные богатой инкрустацией, подтверждали слова стрельца, что пищаль не простая, «царская».

— Ась, какова?..— блеснув на солнце дулом и перламутром насечек, золотыми разводами на прикладе, спросил Озеров и быстро опустил пищаль в уровень стойки, чтобы не привлечь к ней внимания проходящих.

Огнем сверкнули глаза казака при виде редкой, дорогой пищали, которую он оценил мгновенно. Но лицо у него осталось спокойно, ничто не дрогнуло в нем, только губы сжались еще плотнее под черными, нависшими усами.

— С виду не так штобы воно...— процедил он лениво, словно нехотя.— Не дуже... Кхм... Неказиста!.. Видали мы и лучше!..

— Ой ли!.. Слышь, дед у меня, так ён тоже видал, как боярин лапочки гусины едал... Говорит, сладки! Хоша самому едать не доводилось... Ты дело толкуй: берешь ай нет?..

— Коли больно много не запросишь, по-московски, по-вашему... яка цена?..

— Три дашь?..— осторожно заглядывая в глаза казаку, проговорил Озеров.

— Три... Та чога: «т р и»?.. Три гривенника!.. Четвертака... або — полтинника... Та ну, сатано, сказывай!..

— Ру-бле-ви-ка!..— медленно отчеканил стрелец.

Казак только протяжно свистнул вместо всякого ответа и протянул руку за своей покупкой.

— Свистни во душло, будешь есаулом! — не сдержав досады, проворчал Озеров.

— Есаулом!.. Эге! Я ж и так вже им давно...

— Вот то-то!— снова искательно заговорил стрелец, видя, что казак совсем собирается уходить.— Сам я вижу: не простой казачина!.. Товар кажу, какой бы и полковнику иному был под стать да впору. А ты — свистать почал... штоб барыши мои развеять, што ли! Не годится так, пан есаул!..

— Эге! Я и позабыл приметы ваши купецкие да бабы

забобоны московские... Ну вот. Все одно, пропадать деньгам! Полтинника три дам за мушкету.

— Себе дороже!— принимая суровый вид и укутая снова в рядно пицаль, ответил Озеров.

— Ховай, бис твоему батькови! Не треба! По твоему запросу я не купец!..

И есаул, пристегнув пороховницу на место, взяв под мышку свинец и мешочек с порохом, кинул небрежно стрелыцу:

— Здоров будь, брате!..

Повернулся и спокойно тронулся прочь от ларя.

— Стой, стой! — встрепенувшись, крикнул Озеров, чуть не хватая казака за его жупан.— Стой, пане гетман!.. Куда бежишь!.. Запрос — в карман не лезет. Ай не слышал?.. Накинь, а я — спущу... Столкнемся авось... Прибавь маенько!..

— «Накинь... прибавь»! Накинуть можно... Та було б за що!.. В пицали браку чи не мае?.. Ось подивлюсь: як из нее палят?..

Мозолистая, заскорузлая, сильная лапа есаула потянулась к пицали. Он осторожно, как святое причастие, взял ее и начал снова разворачивать рядно.

— Гляди, бери! Кота в мешке не продаю, не бойся. Товар мой хоша и «темные», а, гляди: на солнышке горит што звездочка в ночи!.. Каки насечки, затычинки, нарезинки по ложе, на прикладе скрозь... А дуло, дуло-то! Турецкое! И сталь — витая, не тянутая, не простая, как у иных пицалей... Поди, што самово султана турецкого была... Да вот ко мне попала... А от меня — к тебе... так вот и просится. А весу — словно нету в ей... Как перушко!.. Клад, не пицаль! Берешь?..

— Берешь, дак гроши даешь! А тамо до дому снесешь рушницу та стрелить схочешь,— а самого, дивись, побей!.. А то, може, и с браком. Заместо кочерги и приведется бабам отдаты!..

— Сдавалось, ты — казак... ан вижу: хуже бабы!.. Пицаль в его руках, и ён не чувствует: добра аль нет?.. Да будь я не в Москве... што — показать ее, голубушку, не можно... так — сам носил бы... спать с собою клал бы, как жену... как бабу!.. Вот каков снаряд тебе дается в руки! А ты ошшо... Ну, долго не люблю калякать. Гляди, вот зелье! Вишь, щепоть какая!.. На три пицали наших, мейских бы хватило, для тутошних! Вот пыж. Бери, стучи курком. Слышь, полегоньку!

Дай искру, пусть бабахнет кверху... Лих, от отдачи рыло береги. Сильна отдача, знаешь...

— Ты — мне!.. Слыхал: не учи ученого, съешь... овса моченого!..

Ставши тверже на своих, слегка изогнутых, сильных ногах, есаул навел дуло на белую тучку, плывущую по осеннему, ясному небу и спустил фигурный курок пицали, изображающий голову дракона.

Грохнул выстрел. Всполошились стаи голубей, сидящие на городской стене, на крыше и в амбразурах башни противотной или шныряющие между лошадей, где так много рассыпано зерна и всякого корма.

Тучами взлетели и воробы, которых тоже всегда много на торгах.

А люди, так же как птицы, испуганно метнулись во все стороны, охваченные диким, безотчетным ужасом. Женские вопли, плач детей сливались с криками, разносящимися по всему торгу:

— Налет литовский!.. Враги набежали!.. Литовцы!.. Ляхи!.. Казаки!.. Тушинцы!.. Хватай! Вяжи!.. Коли!.. Руби!.. Бейте, братцы!.. Грабят!.. наших бьют!.. Выручай!..

Торговки стали поспешно убирать свои товары, мужики у возов ухватили вилы, топоры и сгрудились перед своим обозом. Стрельцы-торгаши, схватив свое оружие, кинулись на выстрел. За ними поспели и стражники, объездчики и пешие, охраняющие торг. Казаки, перекликаясь зычными голосами, стали со всех концов рынка сбегаться также туда, где раскатился выстрел. На пути они выхватывали из-за пояса пистолы и бежали с оружием наготове. Гуляки-донцы тоже из-под рябины бросились к месту предполагаемой свалки.

Сверкали бердыши в руках, у многих наведены были ружья, и только никто не мог разобрать: где произошло нападение, кто враг, с кем нужно вступить в бой?..

Издали увидя есаула, окруженного густою толпою москвичей, угрожающих оружием, казаки-донцы ринулись прямо туда, с громким криком:

— Туча! Есаул наш, Туча тамо!.. наших бьют!.. Хлопцы, не выдавай!..

Прорвавшись сквозь стену россиян, донцы стали перед есаулом, выхватя свои кривые сабли, нацелясь пистолками, держа наготове и кинжалы в зубах, очевидно готовые дорого продать свою жизнь.

— Кыш, мужичье! — гаркнул седой, здоровый донец,

взмахивая своим тяжелым чеканом, а другой рукою наводя на толпу длинноствольную пистоль. — Очищай дорогу донцам-молодцам! Не то грешневики ваши, да треухи, да малахаи и кныши так пробуровим... и с черепками, с горшками с пустыми, шо на плечах у вас заместо головы!.. Слышь!.. Палить будем!..

Еще мгновение, случайный первый выстрел — и завязалась бы жестокая, кровавая свалка; но Озеров и Туча, понимая всю величину опасности, успели кинуться между казаками и москвичами, которые стеной так и валили, на-двигаясь друг на друга...

Оба вместе, надрываясь, кричали, каждый — своим. — Аль очумели! Спятели, православные!.. Никакова налету и слыхом не слыхать!.. Видите! Нихто не обижен... Пищаль, слышь, покупал казак, так пробовать задумал! — убеждал своих Озеров.

— Тю! Дурни донские!.. Как распетушились!.. Наших не замают. Глянь, заступники яки, на пустой след... Тьфу, пьяные рожи! Плясать идите, як плясали!.. — орал на казаков рассерженный Туча.

— Торг здесь идет, торг! Уразумели ай нет, люди добрые! — уговаривал самых бестолковых стрелец. — Никакой обиды нет и не было никому!.. Торг, одно слово, торг!..

— Штоб ты леший подрал!.. Вон оно што!.. Пищаль, слышь, покупал донец, так пробовал... А, дьявол вас дери!..

— Часы такие смутные... И в дому-то на полатах спишь, так черти снятся... А они, дуболомы энтакие, на торгу стали пищаль пытаты!

— Палят... народ хрещеный зря пужают!.. Донцы треклятые, неумные!.. Попужать бы их ослопами да рогатиной!..

С бранью, с ворчаньем стали расходиться по своим местам и торговцы, и стражники. Торг снова загудел, загомонил, как раньше, своими тысячеголосыми переливами.

А Туча спокойно, словно бы ничего не произошло, отошел от толпы товарищей, которые его расспрашивали, что тут произошло, и сунул что-то в руку Озерову, стоящему перед своим ларем.

— Твое, бач, счастье! На, бери! Давай рушницу.

— Што!.. Два рублевика! — протянул Озеров, поглядев, что ему сунул донец. — Не! Пляши на Калугу! Ступай, приятель, отколь пришел!..

Поглядел Туча, не говоря ни слова, забрал свои деньги и пошел к своим.

— Казак кряжистый! — почесывая затылок, проворчал стрелец и позвал покупателя снова.

— Гей, слышь! Набавляй полтину и бери! Уж больно ты мне по сердцу пришелся!..

Туча, словно не слыша зазываний, шел развальной походкой все дальше и затянул своим сильным, густым голосом:

Ихав казак с Дону,
С Дону — тай до дому!.. Гей...

— Эх, пень проклятый!.. Слышь! Друг сердечный, уса-тый таракан запечный!.. Вернися! Иди, бери за свое! Шут с тобой! Где нашего не пропадало! Сыпь рублевики!.. Почину ради уступаю. Почин — велико дело!.. Гей!..

Отмахнувшись от Афоньки, который по знаку дяди кинулся за Тучей и почти силой тащил его к ларьку, — есаул спокойно вернулся, положил на прилавок два рублевика, которые так и лежали у него в ладони, наготове, взял пищаль, обернул ее рядом и наставительно заметил стрельцу:

— Просил бы без лишку да по чину, то не сидел бы без почину. А у меня рука — легкая. И шведы, и литовцы, и поляки мою руку знают. По два раза — ни разу не бью. Как раза дал, так и наповал! Мне пищаль продал, так теперь, гляди, и жену с дочкой до вечера цыганам продашь за хорошую цену!..

Донцы и молодежь, которая еще толпилась у ларька, расхохотались.

— Типун тебе на язык да десять под язык! — отплеываясь, ворчал Озеров.

— Ох, брат, да ты глядишь ли, кому товарец продал! — обратился к Озерову средних лет человек, одетый просто, но хорошо, в синем кафтане тонкого сукна, перехваченном черкесским кушаком, к которому подвешен был большой кинжал в серебряных ножнах, а с другой стороны — торчала рукоять немецкой широкоствольной пистолы. Это оружие и богато расшитый ворот белой рубахи тонкого полотна, выглядывающий из-под распахнутого кафтана, показывали, что это не торговый или посадский человек, не слуга боярский, как можно бы судить по темному короткому наряду и простой шапке, с узкой барашковой опушкой и красным, су-конным верхом.

Это был небогатый служилый дворянин, Петр Горчаков, который с тезкою своим, князем Петром Кропоткиным, с

Никитой Пушкиным да с Василием Кондыревым, такими же мелкопоместными дворянами, пришел на торг, кинулся на выстрел и потом задержался у озеровского ларя, привлеченный сценой купли-продажи диковинной пищи.

Озеров, услышав замечание Горчакова, не торопясь оглянулся, окинул говорящего внимательным взглядом и, решив, что надо ответить незваному собеседнику, почесал в затылке и лениво проговорил:

— Я, слышь, не дьяк да не подъячий розыскной. Не сам болярин из приказа из Сыснова, Разбойного, штобы пытать у каждого: «Ты хто? Да ты откуда?..» За энто мне полушки не дадут поломанной на всем торгу! А тута, гляди-ко, на ладони два свеженьких рублевика, как стеклышко!.. А ты уж спросы чини, допросы да разбирай, коль уродился такой мудреный дядя!.. Вот те и весь мой сказ!

— Добро! Выходит: «Денежки на кон, а там хошь и сам на кол!» Все буде ладно! Хоть виру, цену крови — принимаешь рублевиками... Торгаш прямой как есть, хошь и стрелец ты московский! — укоризненно проговорил Горчаков.

— Хо-хо-хо! — вдруг лукаво, весело рассмеялся Озеров, задетый укором и решивший оправдаться и перед этим надоедливим «полупанком», как в уме назвал стрелец Горчакова, и перед своими товарищами, которые, оставя лари на попечение подручных, подошли к навесу Озерова послушать, о чем речь пойдет?

— Ха-ха-ха! — сильнее раскатился стрелец, видя общее изумление, вызванное его неожиданным весельем. — Ужли за дурака меня почел ты, господин хороший! Ну, пусть он вор, из шайки воровской царька калуцкого, омманного!.. Ты, друг, не обижайся, слышь! — мимоходом кинул торгаш Туче. — К примеру говорится, сват... не то чтобы тебе в обиду!.. Пусть — вор он, так я толкую. Да на нем, гляди, и без моей пищи — оружия палата!.. Снаряду боевого столько, что на пятерых на наших хватит! И сабля, и ножей, слышь, два, да две пистолы, да фузея... да вон чекан тяжелый!.. На лавку прямо хватит на целую. День можно торговать!.. А очами он загребуш да жаден. Не из поповской ли из долгогровкой породы! А скажи, есаул, не потай!.. Вот у меня — ошшо одну пищаль купил он. Ладно! Пушай теперь попробует, приходит с нею на злое дело, на разбой али грабеж казакский, как в обычае то у них... Так у меня, — помимо «государского» большого самопала, — ошшо в дому четыре-пять пищалей про сыновей... племянных не считая да челя-

динцев. И тем припасено снаряду про всяк случай!.. Пусть сунется! Тарахнем на ответ, мое поштенье! Костей, поди, не соберет мой лыцарь!.. А ты коришь: пищаль зачем я продал!.. Хо-хо-хо!..

Озеров снова раскатился довольным смехом.

Из толпы торговцев, приезжих на Москве, которые особой кучкой стояли поодаль, выдвинулся среднего роста, худощавый, но сильный и гибкий станом торговец, лет тридцати, Савва Грудцын. Каждое движение его, порывистое и широкое, выдавало затаенную нервность и удаль натуры.

— Тарахнете?.. — пощипывая реденькую свою, рыжеватую бородку, въедливо заговорил он, обращаясь не к одному Озерову, а ко всем его соседям по торгу, стрельцам и москвичам, торговым людям. — Што не тарахнули, когда неверных ляхов в Московский Кремль, в святое место пропускали!.. А? Али тогда и пищали у вас не тарахнули!.. Давай ответ, торгаш стрелецкий, петел с хвостом с куриным!..

— Што не тарахали!.. Д-д-да! — почесывая затылок, медленно заговорил Озеров, очевидно подыскивая полочнее ответ на прямо поставленный, ядовитый вопрос. — Слышь, дело-то не наше вовсе... Д-д-да!.. Бояре верховные, все семеро — их, слышно, сами звали: мол, в Кремле быть надо польской рати... Кремль от вора от калуцкого оборонить, што больно близко подошел к Москве, слышь, к самой... в Коломенском, слышь, селе стоял царек со всею ратью... Ну, и тово... поляков допустили, бояре, слышь... Мы — ни при чем. Мы — как приказ был даден!.. А бояре... Коли не так што сотворили, — они дадут ответ и перед Богом... да и перед землею! Это уж как Бог свят!..

Есаул, Тимошка Дзюба, молодой еще, рослый, могучий казак, давно уже порывался вставить свое словцо и теперь врезался в речь Озерова...

— Бог! Сам плох, не даст и Бог! — громким, вызывающим тоном начал он, выступая из толпы товарищей, и, становясь перед Горчаковым, продолжал: — Слыхал ай нет пословку такую, мякина! Крупа московская... Вы — тюфяки, а не Христова раты! Вон энто, — он кивнул на Горчакова, — молодчик, хват московский, он «тушинцами» лаёт нас, зовет ворами... А «тушинцы», гляди, уже в селе Коломенском, сам говорит, тут, под Москвою, встали!.. И царь у нас — не выродок литовский, не Владислав либо Жигимонт, латинец, еретик!.. Димитрей свой, хрещеный, православный царь-государь!.. С царевичем, с царицею Мариной...

— Не царь, а воровской «царек» и Самозванец, Сидорка-вор у вас... С Маринкой, с ведьмой!— начиная горячиться, отрезал Горчаков.— Да и за собой ведет тот вор окаянный воров да татей таких же; людей разбойных насыляет на Русь святую, на землю на родимую!..

Седой, степенный есаул Порошин, удержав Дзюбу, который уже ухватился было вместо ответа за рукоять сабли, гулко забасил, поглаживая свои длинные усы:

— Послушаю, у москвичей язык уж так-то ловко мелет!.. И на што тут столько ветряков-помолов поставлено на въезде, на Пресне, тута да на Яузе-реке!.. Без них — все смелете, што ни попало на жернова московские. «Сам вор и — воровской царек!..» Э-эх ты! Не молод, брат, да, слышь, и не умен, как видно по речам. Не кипятись, не фыркай, паря. Дай слово мне сказать!.. Ну, «вор» у нас... Ну, «воровской царек»!.. А хто у вас-то? Бояре хуже вора! Предатели, изменники свои. Как в Тушине стояли мы с Димитрием, с царем, так все бояре ваши главнейшие у нас в гостях перебивали... Челом добьют смиренно вору-то. Тот им чинов подаст, и вотчин, и земель, и деревень, как добрым. А там, глядь — у Шуйского-царя опять и объявились. Тот жалует желанных «перелетов», бояр лукавых... Пока и этого царя не скинули и клобуком его не накрыли... Вот что бояры-то ваши делать горазды! Семибоярщина у вас, я слышал. Собо-ром выбирали правителей, набрали семь... А считать — осьмой к ним затесался... Голицын, князь Василий, самый-то лукавый боярин... Сам Владиславу присягать сзывал народ, а сам себя в цари московские ладил не таясь!

— Присягали Владиславу, да не все!— отозвался неожиданно пожилой дьяк.

— Ну нет, Иван Елизарыч, што зря толкуешь!— перебил дьяка его товарищ, видя, что на них обратили внимание.— Присягали Владиславу, так оно и есть. Не зря, слышь, сват, собор собирали Земский.

— Вестимо, соборное дело,— поддержал Кропоткин второго дьяка, снимая шапку и приветствуя обоих.— Собор земли — великое дело. И цари его слушали, не то што мы, людишки последние. Слышь, Грамматин, те правду бают.

— Собор,— не унимаясь, возразил тот, кого называли Елизарычем, дьяк Иван Елизаров Курицын.— Уж ты не знаешь, какой собор был собран? По чину ли, по ряду! Ни-ни! От городов людей и не сзывали... Кто был в Москве под рукой из людей служилых да из торговых — тех на собор и звали... А что сам князь Мстиславский писал на города в гра-

мотах, которые были про Владиславу присягу? Слышал?

— Я слышал,— угрюмо, нехотя отозвался Грамматин, чувствуя, что некстати завязался спор с ярким противником партии Владислава.

— Ну, ты слышал, так они не слышали. Вот што в грамотах боярских написано: «Нужды-то нет, чтобы от городов людей собрать, да и ехать на Москву небезопасно... И порешили Владиславу крест целовать, чтобы смуте конец положить». Нешто это было настоящее, всеземское решение! Как скажете, люди добрые?

Молчанием ответила толпа. Но их поникшие головы и насушенные брови ясно говорили, что думают люди московские, хотя и присягнули они Владиславу.

Первым снова подал голос есаул Порошин.

— Вот она, правда-то! Как масло на воде всегда выплывет. И к такому-то царю, леший его знает, кем избранному,— великое посольство от Москвы ехать собирается, челом бить: шел бы царством владеть!.. Привезут из Литвы «царя», неча сказать! На трон московских государей православных — Жигимонт сынка пошлет, Владислава... Коли не сам еще на трон ползет, ксендзов с собою насажает тут же!.. И уж тогда над верой православной вдосталь поглумится! А наш-то вор — не вор, да, говорю, хрещеный! И кругом нево — все православные, не люторы, не латинцы да ксендзы треклятые с гуменцами пробритыми на самой плещи!.. Черти гололобые! Вот первое вам дело! Скажу еще и другое. Мы с «вором» да теснимся дружно в круг... У нас и сила!.. Мы еще покажем ляхам, и Литве, и гетману Жолкевскому... Счеты сведем еще!.. А вы... Гляжу на вас... Э-эх, стадо беспастушное!.. Хотя то бы поглядели, што на Руси на всей теперя сотворилось! Што ждать еще нам надо... Подумайте вы, бороды худые!..

— Молчи! И без тебя, чай, знаем!— угрюмо проворчал другой торгаш, голова стрелецкий, Философов, стоящий в толпе.

— То-то вот, «молчи»!— не унимаясь, продолжал Порошин.— Не по идраву пришлось. Правда глаза колет. Я по земле Московской погулял, по вашей... Вон тута стоят кругом, я вижу, люди из разных концов... со всех краев земли Русской.

— Вестимо! На торгу, как в боярских закромах: со всех полей собран хлеб-разносей!— отозвались голоса из толпы, которая теперь еще теснее сгрудилась вокруг кучки спор-

щиков, видя, что начался словесный бой, без угрозы для чьей-либо жизни.

— Так вот, люди добрые! — вдруг обратился смышленный казак к толпе. — Вы бы нам и порассказали, что делается теперь по всем углам? А мы послушаем. Гей, ты не из смолян? — обратился он к коренастому парню лет двадцати пяти, в белых портах и рубахе, с дырявою сермягой на плечах, с измызганным грешневином на спутанных, белесых волосах. Водянистые светлые глаза выделялись на темном, обветренном, исхудалом лице, опущенном редкой светлой бородашкой и усами.

— Оттедова! — почесывая затылок, отозвался парень.

— Вот то-то, гляжу я, больно мне рожа твоя знакома. Глупая, белесая, как и надо быть у вашего брата, у смоленских круподеров. Поведай, парень, сладко ли вам живется с той поры, как польский короленок, царь московский, избранный пан Владислав, литовская собака, — вас милует да жалует!.. В полон берет, стреляет, топит, режет!..

— Во... во... во! — широко ухмыляясь, подтвердил парень. — Так все и есть, дядя. А ты из насой стороны, сто ли ца?..

— «Што ли ча!..» Нет, не из «васой»!.. Тамо дураков и без меня довольно. Сюда ты как прикатил: верхом али в колымаге...

— Гы-гы-гы! — загоготал парень. — Вярхом... да в колымажке!.. Гы-гы!.. Песечком! Эхе-хе! Нет ни лосадки, ни телеги... Ноне нет ницаво! На рубежи послаи мы, знатца... Так думалось: послободнее тамо, на рубежах!..

— Ну, и што же? — спросил Кропоткин.

— Мурзы, слышь, отогнали нас, — отстраняя сюсюкающего парня, заговорил его товарищ, одетый также, но чуть пообрядней. И бойко продолжал: — Мордва, чуваши да мурзаки татарские, что близко к рубежам понаселились, они тамо и шмыгают... Землю захватом забирают, кормов нам не дадут ни для скота, ни для себя... С мястов гоняют, чуть осядем где-нигде... Мы вот собрались и гайда на Москву!..

— А тут, гляди: вам закрома открыли... поят и кормят досыта? — спросил Порошин.

— Ку-уды-ы-ы!.. И то день третий, почитай, не евши... В обители поночевали ночи две, тамо и покормились маненько... Работы нет... Дялов-то никаких... Потуже животы перетянули поясами и терпим!.. А теперь — ошшо куда ни есть пойдем, искать удачи...

Ступай туды — неведомо куды... ищи тово — неведомо

мо чеве! — усмехаясь, произнес Порошин. — Ай, молодцы ребята. На ногах не стоят, а духу не теряют... А ты отколь?..

— Каширские мы будем! — забасил пожилой, высокий, худой мужик в азяме и овечьей шапке, к которому обратился есаул.

— Известно, хто мы! — подхватил стоящий рядом человек помоложе первого, в свитке домотканого сукна, в коневых сапогах. — Мы-ста однодворцы. Да — тесно стало на Кашире ноне... А на Москве, слышь, надобе людей и ратных, и служилых... да и всяких, хто головы на плечах не теряет... Што день — здесь драча да битва идет... Уж сами видели, чуть побывали здесь. Мы к боям охочи... Мы — люди боевые, однодворцы. Вот и пришли, поищем счастья, доли, коли Господь пошлет...

— Бог на помощь, друзья! — с поклоном обратился к ним Порошин. — Ваша правда. Где теперь и подраться, коли не на Москве. Что час, то льется кровь, да сколько понапрасну!.. Я хоть казак, да не дурак, я понимаю... Хоть было б из чеве чинить кровопролитье!.. Нет, никому не лучше от всей свары московской от вашей. Всем боль и досада великая, как я вижу да слышу!.. Хошь и нет тута вора-царя, как в Калуге ноне у нас!.. Ну, ты — чем радовать нас хочешь? — обратился он к чисто, нарядно одетому, кудрявому мужику, очевидно торговцу, который высунулся вперед из толпы и ждал, когда ему можно будет вставить свое слово.

— Мы, новгородцы, от государя Великого, от Новгорода, от господина...

— Дела пытаешь али от дела лытаешь?.. Сказывай, молодец! Мы послушаем.

— Чаво и сказывать!.. Забрались к нам свеи... Пока ошшо — помалости теснят. Их — половина, наших половина выборных сидят по избам земским, по приказам по всяким... Хошь и дерут, да и не до последней шкуры... А все душа болит, што присягнули иноверному кравевику мы ноне... Царевич свейской — лютор... И стал он государем у нас... и господином Святой Софии, нашей Заступницы... И наш Великий Новгород таперя...

От волнения не договорил, умолк новгородец, тяжело дыша.

— Новгород Великий стал вотчиной у люторской земли, у Свеи! — договорил за него нарочито громко и внятно Порошин. — Слыхали!.. Да, слыхали мы и это. А вора-то царя у вас, слышь, нету!.. И в голове царя-то нет, как вид-

но, у москвичей, у всего люду православного, российского! — вызываяще заключил свою речь есаул.

— Ты, слышь, усатый боров, хохол чубатый! Ты к чему это про вора, про царя нам гводишь который раз!.. — сердито заговорил из толпы благообразный пожилой торговец, стоящий особняком с кучкой молодежи, очевидно его подручных или родственников.

— Ты зачем душу нам бередишь своей докукой да распросом! — настойчиво, властно продолжал он, обращаясь к Порошину. — Помочь-то можешь ли! А! Сказывай, смутьян донской, окаанный!.. Неча подковыривать без толку. Помочь-то чем беде, знаешь ли?

— Помочь! Я — нешто Господь Бог!.. С Ево помощью — сам каждый пусть себе и помогает, как и чем знает! — ответил Порошин, сбавляя тон перед сверкающим взглядом и властной речью неожиданного противника.

— Вот то-то и оно: сам себе каждый!.. Да с Божьей помощью!.. Это так. И мы на том с тобой сошлись... Мы так же мыслим... А я уж полагал, — и вовсе ты злодей, земли родной предатель, слуга разбойничий калуцкого царька!..

— Мы-ста... да мы-ста!.. А кто же это «мы», скажи, пожалуйста! — задорно спросил Порошин, недовольный своей невольною уступчивостью перед каким-то торгашом.

— Мы кто?.. Нижегородцы!.. Вон тезки новгородцев, почитай, да малость поумнее. Не охаем, не вешаем башки! К себе на помощь царька не просим воровского, чтобы нас в кучу собирать... Как толковал речистый энтот дядя с усами да с хохлом, донец чубатый... Вот мы кто! Мы — сами по себе...

— Угу! — откликнулся Порошин. — Так, стало быть, коли у вас на печи тепло да баба толстая лежит под боком, — так пропадай вся пропадом земля!..

— Н-ну!.. Это ты... послушай... не моги! — Сжимая кулаки, сдвигая брови, двинулся с угрозой здоровяк-нижегородец на глумливого есаула.

— Потихе! Не ерепенься, дядя! — остановил его стрелец-торговец, стоящий рядом. — Обиды нету никакой покуда для тебя. Словами начал спор, так што уж с кулаками лезть на драку. Не пристало. Тебе вопрос дают, — давай ответ, как оно водится.

— Верно! — подал голос торгаш-рыбник, Федька Белозерец, от которого далеко несло запахом свежей и соленой рыбы. — Пускай он и казак, а правда чувствуется мне в его речах... Кой-што уж я смекаю... Не знаю дотошно, к чему он всю

речь поведет... А вижу: тянет он из нас по словечку правду, словно масло на воду... Тесно нам стало, облегла печаль всю землю, не то штобы один край али область... А мы друг с дружкой еще сцепиться рады... ровно псы голодные али волки лютые из-за волчихи в течку ихнюю, в вешнюю... Право! Неладно это, што и говорить... Вот я который год езжаю на Москву из Белозерья... А ни у нас, ни здесь доселева такой нужды, докуки и печали не слыхивал, не видывал, как в энти злые годы!.. Здесь, на Москве — еще вам с полгоря. А погляди по иным местам, по городкам, по селам... Волки, лисицы бродят по опустелым домам, по жилью людскому. Вороны хищные слетаются из лесов на груды мертвых тел, что гниют повсюду, на дорогах, на площадях городских... Люди зверьми стали: подстерегает один другого, чтобы убить, ограбить... А то и жрут друг друга с голодухи-то!.. Матери детей губят, чтобы те муки меньше узнали! А ляхи за нашими гоняются, кто от них убегает, добро прячет, за теми враги злых псов спускают, словно на волков алибо на кабанов, — на людей хрещеных! Прямое лихолетье, не зря и названо!.. Смутилась Русь. Ей, матушке, не сладко... А нам, сиротам бедным, маломочным, и прямо помирать без покаянья — одно осталось!.. А мы еще...

— А вы к себе Литву зовете, ляхов! — завел опять свое Порошин. — Посольство шлете, бояр первейших, вящих... Чуть не полсбора Земского, который, еще нет трех недель, кончился у вас... Четыреста людей знатнейших, служилых, воевод, митрополита Ростовского с попами, дьяков умнейших думных, всю царства знать, красу посольством отрядили!.. Куды?.. Сказать то даже срам!.. Челом до земли бить Жигимонту, мол: «Приди, володей землею и нами!.. Обороты нас в латинскую ересь... Попов сгони, нам насажай ксендзов... жен наших, дочерей возьми на поруганье... Последнюю рухлядишку отбери, как повсюду отбирал доселе у православных, где только твоя власть да сила была!..» Што! Аль не так... Молчите?.. То-то!.. Нету вора-царька у вас, да есть зато бояре лукавые, заведомые воры!.. Они уж много лет всю землю продают да предают кому ни попадя!.. Из Тушина перелетывали на Москву, царю валяему, Василью Шуйскому лизали... руки, покуль до смерти ево не укусили, постригли силой!.. А лучше ль стало и потом! Ничуть не лучше!.. Ворохами «цари» явились. Што ни боярин захудалый, что ни подьячий — вор, мздоимец, мшелоимец, не то что «царик» наш, — и тот орет на всех на вас: «Я — есмь твой господин, и Бог, и царь!..» Не так?.. Аль

правду молвлю?..— обводя толпу взглядом, кинул вопрос Порошин.

— Пока все так... Не прилыгаешь много! — среди общего угрюмого молчания отозвался Кропоткин.

— И вовсе не лгу! Чай, крест на шее висит и у меня!.. Чай, землю я жалею свою, донскую... вашу... всю как есть! Одна земля, как мы — едино стадо... Учился в бурсе в киевской и я, не мало годов тому назад... Не забыл Писанье... Нам пастыря единого бы надо... А пастыря и нету!.. И без него — беда! Так оно и выходит: пушай хоша и «вор», да будет он о д и н покуда... А там... Что Бог пошлет. Стеною взяться надо, заодно. Тогда врага прогнать легко нам будет. Называть начнем, много их, врагов наших!.. И ляхи, и люторы, и свея, и своя вольница понизовая... А сочти, так нас — куды-ы больше, чем их... Одолеем всех, только бы разом, дружно за дело приняться! А у нашего «царька»... пушай по-вашему будет, мы его пока «царьком» повеличаем!.. Царевич есть у него, еще дитё малое, безвинное. Он на Руси родился, на наших очах. Крещеный, растет среди люду православного на святой Руси... Авось ему Господь пошлет удачу, и станет он как прирожденный царь! Земля помаленьку оправится от грозы, от лихолетья... А там?.. Што наперед загадывать! Теперь у всех одна забота: избыть беду великую, разруху земскую! И никто не знает, как за дело взяться... Вот и надо, братцы мои...

— Подожди маленько! — перебил есаула Кропоткин. — Слушал я тебя, никак и разобрать не мог: што ты есть за птица? Сам от себя тут бобы разводишь, али «царек» подослал тебя... Как всюду теперь люди подкупные шатаются, народ простой на свою руку тянут, речами разум отымают!.. И не понять сразу: от Бога ты али?..

— От черта! — добродушно усмехаясь, dokonчил сам есаул. — Ничаво, толкуй как хочешь. Я не в обиде, господин честной.

— Я обижать и не мыслю. Сдается, ты душа прямая, русская... Только глядишь, приятель, вовсе не туды, куды бы надо...

— Поверни, наставь, господин. Я хоша и грузен, да все же не костылями к земле пригвожден, как был Христос Спаситель Наш на Древе на Святом... Как распята теперь мать-земля православная!..

— Все так, все так! К тому и речь веду! — продолжал Кропоткин. — «Не пропал понапрасну мой день!» — так скажу себе, коли мы с тобою поразумеем друг друга, казак

мозговитый... Не беда, што на торгу ненароком мы с тобою повстречались, а в другой раз, може, на Страшном Суде свидимся, коли Господь повелит!..

— Угу!.. Вон ты какой... Ну, слушаю... толкуй свое...

И Порошин даже наклонил слегка голову, готовясь слушать Кропоткина. Насторожилась и толпа, почуяв что-то особенное в тоне собеседников.

— Скажу сперва про дело ближнее. Хоша Великое посольство и снаряжено челом бить крулю Жигимонту, послал бы Владислава на Москву, на царство... Да мне, как и другим, меня и поумнее, и позначнее, — то залегло на уме: не велика будет корысть короне польской от зову нашего... Хотя бы и пришел к Москве Владислав. Ты слыхал ли, дядя? — как звать, не знаю...

— Федькой Порошиным дразнили издавна. Лет десять в есаулах...

— Ну, вот, пан есаул Порошин, слыхал ли ты: на чем стоять приказано посольству, ай нет?..

— Так... краем уха слышал...

— Обоими послушай, — я скажу тебе по всем статьям!

И, загибая пальцы, Кропоткин начал с расстановкой:

— Речь первая: обязан царь Владислав блюсти в земле Московской и в иных царствах и областях российских обычаи старинные. Владеть землей по старине, храня законы и веру православную нерушимо!..

Оба дьяка, Елизаров и Грамматин, взобравшиеся теперь на груды бревен, чтобы лучше видеть и слышать, словно по уговору вынули из глубоких карманов своих однорядок по листу, исписанному четкими строками, и стали глядеть в них, словно проверяя: верно ли говорит Кропоткин? А тот между тем продолжал свое:

— Вторая речь: прибыть к Москве немедленно должен крулевич. Тута патриарх его окрестит, штобы и не пахло от него ляхом... И тогда уж венчать на царство станет по древнему обычаю. На третье: суд и право должен царь давать по старине. Менять законы дозволено не ему, не новому царю, а всей боярской думе с собором Земским сообща, никак не иначе. Потом, все дани, пошлины, вся подань по-старому идет, без прибавленья. Без думы царь менять того не может али прибавить на душу противу прежнего!..

— Вот это так! Умно, коли бы этак стало дело! — загудели кругом довольные голоса, особенно торговых людей.

— Войну ли начинать, мир ли писать, то на волю думы

и царя,— продолжал высчитывать на память Кропоткин.— Российским торговым людям — всем вольный выезд за рубеж: московским аль областным, все едино. А для гостей для иноземных — по-старому въезд сюды ничуть не легче... Да казнить бояр либо служилых людей без думы новый царь Владислав никак не волен. А награждать да возвышать по заслуге, а не своим произволом либо хотеньем царским, как дума и правители укажут, глядя тамо: кто чего заслужил?..

— Ого!.. По-новому дело, гляди!— разнесся говор в толпе, все нарастающей вокруг.— У нас раней ничего такого и не бывало на Руси!

— Дак и царей с Литвы же не бывало, гляди, у нас доселе! Надо на первых порах поостеречь малость и землю, и себя, штобы за спиною сыночка старый круль-отец нас к лапам не прибрал.

— Ну, стой, государь мой милосливый... как звать-величать тебя — не ведаю,— заговорил с бревен дьяк Елизаров.— Это ты малость маху дал и народ с толку сбиваешь, можа, и не по своей воле... по незнанью. Были эти речи, как ты сказывал, в первом договоре с Жигимонтом, который Тушинский патриарх, рекомый Филарет, а по-истинному,— митрополит Ростовский Жолкевскому-гетману подписать еще по весне давал. А тута, на Москве, бояре старые, князья гордые повыкинули обе речи и про вольный выезд, и про награду по выслуге. Это на руку худородным-де людям, а князьям да боярам в ущерб. Вот они и постарались... Земский собор тоже по-ихнему постановил... вестимо, и собор такой «боярский» больше был он, а не Земский...

Ропот недовольства пробежал по толпе. Тогда подал голос дьяк Грамматин.

— Не смущайтесь, люди православные! Не все оно так, как тута вам сказано. Верно, выкинуты две речи. Да собор и бояре не зря их захерили. Не на пользу они Земле, а на вред и на смуту. Главное осталось: новый царь Владислав без Земской думы да без бояров и шагу ступить не может... А бояре дело свое знают, потачки не дадут, ни крошки не уступят своего полякам!..

— И, куды!— загудели голоса.— Бояре кому уступят ли!

— Себе самим, чай, сколь надо!.. Где давать другому!..

— Самим, гляди, не хватит, их только к делу припусти!..

Все «сберегут», да, слышь, не для народа, а для себя!..

— Ништо! Пускай бы, лих, не ляхам досталось!..

— Хоша толсто брюхо боярское, ныне пуще разопреть у живоглотов. Лопаться, гляди, станет!.. То-то любо... Мы поглядим! — весело выкрикнул стрелецкий голова Оничков.

— Дай дело договорить,— огрызнулся на него Порошин и снова обратился к Кропоткину.

— Н-ну... а хрестьянам как?.. Кабальным да иным людишкам черным и тяглым какие выйдут новые волюгты да права от вашего Владислава, не слышать ли? Уж больно всем малым людишкам ноне тяжело, немоготу стало. Полегше все ждут и просят. Как же им буде, сказывай! Не слышал ли?

— Как не слышать! Все будет... как и встарь бывало. Али, сказать вернее, как Годунов Бориска повершил, воссев на царство. Пахарям уходить за рубеж невольню из земли. А польским холопам — к нам, сюды нету ходу. Каждый у себя тyani тягло... И вольный Юрьев день останется порушен, как и при Борисе стало. Штоб вовсе не было его, дня Юрьева... Штобы люди тяглые, пахари сидели на земле крепко, на веки вечные!.. Штоб не шатались хлебобобы по всем концам...

— Вона! Нам, выходит, вековечная «крепь»!.. Нету больше Юрьева... Вот те и Юрьев день, и вольный праздник! Ау, слышь, бабка, поминай как звали!— подталкивая рядом стоящую старуху, проговорил один из крестьян в толпе и протяжно свистнул при этом, почесывая в затылке.

Старуха, досадливо отмахнувшись от парня, еще больше насторожила уши, стараясь не проронить того, что говорилось в середине круга.

— Бояре печалуются больно, што их земли опустели, што люди разбежались... Вот и хотят так закрепить людей при пашне, штоб ходу не было им никуды. Но, главное, што вера и закон в земле по-старому должны стоять, как при отцах, при дедах наших было!— закончил свою речь Кропоткин.

— Хо-хо-хо!— раскатился смехом Порошин.— Да нешто Жигимонт — ребенок малый! Нешто он на речи те пойдет!.. Нешто пошлет сынишку, штобы стал слугой боярам московским, а не царем и государем всея Земли!.. Пустое дело задумали...

— Ты смышлен, коряга!— усмехаясь сдержанно, ответил Кропоткин.— Так думают и на Москве у нас, кто поумнее... Да, слышь... пусть потолкуют ляхи да послы-то наши... Мы здеся времени тоже зря тратить не станем. По-

маленьку все образуется на Руси... Города столкнутся между собою... И люд честной надумает: «Как быть, беду штобы избыть?..» Вон города уже обсылаются стали между собою, шлют грамоты запросные... Советы советуют: што начать, к чему приступить?.. Ярославль — Костроме, Нижний — Вологде голос подает... Знаешь, как в песенке старинной поется:

На святой Руси — петухи поют!
Скоро будет день на святой Руси!..

Дождемся и мы ясного солнышка... Слышно, зашевелилась земля... Стали думать где-нигде людишки согласнo, по-хорошему... Патриарх Гермоген слово великое сказал: «Сбирать рать земскую!» Его слово мимо не пройдет...

— Рать земскую... легко ли! И так, слышь, все поразорились! — слышались голоса.

— Легко ли! — с досадой крикнул толпе Кропоткин. — И вы полегчить себе думаете... Не видите, што за мука из того облегченья явилась для вас и для всей Земли!.. Это, слышал я, конек в обозе шел да воз тянул. И тяжело ему то дело показалось. Он легче захотел, ночью от коновязей и утек! А волки, што кругом рыскали да не смели в табуне при людях на коней напасть, перехватили вольную лошадку да и по косточкам разнесли... Так и вы себе со своим облегченьем хотите, што ли! Штобы враги, кругом стерегущие, и нас поодиночке повырезали, в полон увели и землю бы всю расхитили. Вот и станет вам полегше тогда!..

— Да што ты... Нешто мы так хотим... Нешто позволим! — поднялись протестующие громкие голоса.

— «Хо-отим! По-озволим»!.. Без вашей воли учинится, коли легкости искать станете, как и до сих пор искали... Подумайте, от чего разоренье да пагуба пошла?! От какой причины малой!.. То ли мы знали на Руси!.. Сбыли с плеч татар! Такую грозную орду, што три века над нами измывалась, — разбили с Божьей помощью... Литву и немцев-крыжаков колотили за милую душу! А тут — горсть литвинов да кучка ляхов, отряд-другой из Свечи набежал... И Русь целая покорствует, молчит, выносит надругательство такое!.. Долго того не будет! С чужими недругами справимся, как-никак... Не чужие, свои есть враги, опаснее Литвы и шведов... Вы, казаки!..

— Мы! — всколыхнувшись, отозвались донцы. — Ишь, што сказал!.. Земле мы не враги.

— Как лучше, мыслим, сделать бы!.. — пробасил ста-

рик-казак со шрамом от виска до подбородка, одноглазый, но еще могучий, как дубовый кряж.

— Я верю: мыслите вы хорошо, да делаете худо! — возразил Кропоткин, когда утих общий гул. — Чай, и сами того не разумея, так творите... Сто тысяч земской рати собрать бы можно без больших затей... И ляхи, и свечи затряслись бы, вон из земли пустились бы наутек!.. Да вот вы, казаки, с царьком своим нам руки завязали!.. Из бояре не пристало выбирать никого в цари. Ненавидят друг дружку бояре и князья, завидуют. Своему не дадут надеть царского венца да бармы золотые... Волею-неволей нам и пришлось ладить с Жигимонтом... штобы только Самозванца-вора не пустить теперь на трон царей московских!.. А ежели бы да вы, казаки, сголосились, сошлись бы вместе, выбрали бы царя по совести, по правилу, по-Божьи. Ужели в целой земле не сыщется главы, которую Господь поизволил бы помазать на царство, как встарь царя Давида?.. Слышь, пан есаул, когда своих увидишь в Калуге там алибо где, так передай им, што от меня ноне-то слышал... Порассудите вместе... Авось Бог даст...

— Царя избрать Землею?! — подхватил горячо Порошин. — Чего бы лучше и желать! Да как ево ты отыщешь да изберешь! Где взять ево, царя, для всей земли!..

— Начать лиха беда. А там — Господь укажет. Слышь, уж и в сей час носится слухок один...

Кропоткин опасливо оглянулся, нет ли близко поляка, и продолжал:

— Сам Гермоген, святейший патриарх, великий старец, кому подобало, тем, слышь, имечко одно называл пристойное!..

— Кого?.. Кого?.. — звучали голоса.

— Есть сын у Филарета, митрополита Ростовского, у Никитыча Романова... Михайлой звать юношу... Уж то-то отрок милый!.. Всем по душе, кто его видывал. По крови близок роду царя Ивана. Все то знают.

— Как не близок! Племянник внучатый. Недалняя родня! — подтвердил дворянин Пушкин, стоящий рядом с Кропоткиным.

— Михайло Романов!.. Слыхали, знаем, видели! — раздались голоса.

— Ох, молод, слышь! Бояре верховодить при ем учнут! — кинул толпе Грамматин.

— Али батька Филарет... Крутенек отец святой, митрополит! Все в свои руки любит взять! — вздыхая, протянул

осанистый, полный поп, тоже не побрезговавший протиснуться в толпу, послушать занятых речей.

— Ну, энто ты врешь, батько! — решительно отрезал Порошин, стоявший в раздумье. — Филарета-патриарха, али митрополита Ростовского по-вашему, — я еще из Тушина знаю... Да и все мы его почитаем. Добрейшая душа, хошь и высокий саном. По отцу пошел, по Никите Романову. Тот, как воеводой у нас на Диком Поле сидел, никого не обидел, всем был рад помочь!.. Вот и сын по отцу пошел... Гляди, и внук в деда да в отца удался, не иначе... Так думаешь ты, господин, шток Филаретов сынок?.. Его бы в цари?.. Как я смекаю, нам лучше и искать не надобно!.. Род большой, родня царская и к нам — всегда были Романовы-Захарыины dobroхоты... Это бы чево лучше!..

— Сынок батьки Филарета, дружка нашего из Тушина! — загомонили казаки. — Гляди бы, дело в самый раз. Коли не малолетнего царенка Тушинского, так Романову пристало быть нам государем!..

— Истинно, в самый раз! — подтвердил Порошин. — Кабы по швам все царство не полезло да вся земля бы так не расшаталась, как ноне вот!.. Попробуй назови, хоша бы Михаила... Загомонят бояре ваши да князья и сотней голосов один голос покроют: «Нет, меня царем! Я — старше! Я значнее!» Видали, слышали!.. Только новая потеха да свара завяжется. И ляхи наперекор пойдут, и свеи со своим круленком. Все поперек горла нам станут, нас отшибут, коли взаправду выберем да назовем своего царя, не иноземного... Не быть пути с того дела, как умом ни раскидывай...

— Не в пору слово молвить — и пути тому не быть! Ты прав, седой бирюк! — согласился Кропоткин. — Да, слышь, дело выйти может... Одуматься решила ноне Русь! Сбирается, растет ополчение рязанское. Прокофий Петрович Ляпунов, главный воевода ихний, в узде держат полки умеет. Сто тысяч, бают, скоро соберется, как вести идут от разных городов и мест... Земля зашевелилась!.. Кого ни спроси, у всех одна-единая дума: прогнать бы лиходеев, врагов набеглых!.. Да государя отыскать потом, штокбы земля не сиротела боле, как до сих пор!..

— Во, во! — живо отозвался тот же степенный нижегородец, который и раньше говорил. — У нас Куземка Минин, говядарь богатый, — про то лишь толкует. От Гермогена от самого, от патриарха грамоты к ему были потайные... помимо бояр да ляхов. Он одно долбит: «Время-де собирать землю, два ста алибо три ста тыщ народу. Вон не-

другов! Да Господа молить почнем: послал бы нам хорошего царя... Да своего, не чужеземца... Да кроткого, штокбы землю пожалел, штокбы окрепла Русь апосля лихолетья... Да штокбы...

— Штокбы мед с неба пролился... Штокбы галушки в рот валилися с сосны али с березы! — насмешливо подхватил Порошин. — Э-эх! Што и толковать! Как было, видели; што Бог пошлет еще — увидим!.. Ну, а тебе спасибо, господин, што серостью не погнушался нашей! — отвесил есаул поклон Кропоткину. — Открыл глаза помалости, потолковал по чести, по душе!.. Бог весть, што ждет еще нас впереди? А ежели случаем доведется, — за слово твое доброе — везде я твой слуга. Федька Порошин я, есаул донской!

— Князей Кропоткиных, Петра не забывай, коль што случится! — с поклоном назвал себя Кропоткин.

— Князей! Ишь ты! — с новым низким поклоном повторил Порошин. — Челом те бью еще раз! Не позабуду нашей беседы... Ну, братцы, солнце высоко. Нам пора. Гайда и на коней! — крикнул он своим.

— И то! Счастливо, братцы, оставаться! — крикнул Дзюба москвичам, уводя за собою донцов.

— Счастливы путь и вам... Мир вам... до первой драки! — отвечали весело москвичи, провожая взглядами донцов.

А те уже сели на своих приземистых, горбоносых, выносливых мангачков и потянулись гуськом прочь по Смоленской дороге.

— А нуте, песню, братцы! Да повеселее! — послышался голос Тучи. И сейчас же он сам лихо затянул:

Гей, дуб-дуба-дуба-дуба!..
Дивчина моя любя!
Набрехала на мене,
Шо я лаяв до тебе!

Подхватили донцы, и быстрее зарысили их кони, словно подбодренные раздольной, залихватской песенкой...

— Веселый, слышь, народ! — проговорил кто-то из толпы.

— И смерти не боятся, — ответил другой голос. — Пограбить только любят.

— Уж не без того... Особливо в эту тяжкую пору! — отозвался третий.

Вдруг гулкий, протяжный удар колокола пронесся

над головами в тихом, теплом воздухе, и гул пролился, расплываясь и тая, как будто в глубокой небесной синеве.

Служба отходила в ближнем храме.

Как один человек, обнажили все люди на торгу головы и стали осенять себя истовым, размашистым крестом.

— Спаси Господи и помилуй Русь!— прозвучал чей-то сдержанный голос из толпы, начавшей расходиться от ларька стрельца Озерова.

— Спаси Господь, помилуй православных рабов твоих!— словно многократное эхо отозвались кругом голоса.

— Вождя пошли нам! Помилуй Свой народ, Христос Распятый! Оборони всю землю от разгрома! — громко молился Кропоткин, крестясь на главы ближнего храма.

И все кругом, вслух или про себя, вторили этой молитве, твердя:

— Аминь, да будет, Господи!..

Редкие, звучные удары колокола словно сливали свой голос с задорными звуками песни, постепенно замирающими вдали, с говором и гомоном, снова стоящим над людным торгом у Пресни-реки.

В это самое время новый шум, крики, звон бубенцов и гомон слышались от Тверских ворот.

Бесконечным поездом потянулись из них кибитки, брички, телеги и повозки дорожные, нагруженные доверху разной кладью. Почти на каждой телеге, кроме возницы, сидел еще челядинец либо двое. А в бричках и долгушах дорожных сидело и по несколько человек разного вида: челяди боярской, холопов, кухарей, конюхов. Сзади, привязанные к бричкам, шли верховые кони, покрытые темными дорожными попонами. Как будто вся челядь большого дворца, царского или патриаршего, совершала переезд из Москвы куда-нибудь далеко.

Конные вершники для обороны ехали по сторонам обоза. Все встречные возы и колымаги, державшие путь на Москву через те же Тверские ворота, вынуждены были остановиться и своротить куда-нибудь в сторону, очищая дорогу бесконечному встречному поезду, тесня при этом люд, наполняющий все пространство кругом. А люди с торга так и ринулись к самым воротам, толкаясь, стараясь протиснуться поближе, поглядеть на диковинный, небывалый поезд.

— Однава, слышь, и было так!— говорит внуку здоровый, высокий старик-посадский, глядя на огромный обоз, трусящий от ворот вдаль, по Смоленской извилистой дороге,

идушей между холмами, вершины которых густо уставлены ветряными мельницами.— Однава и видел я такое! Когда царь Иван Васильевич, мучитель боярский, в свою опричную слободу в Александровскую с Москвы съезжал!..

— Какая там опричная слобода!— отозвался дьяк Граммати́н, очутившийся рядом со стариком.— Простое дело, на нынче отъезд Великого посольства назначен. Вот челядь да клажу и пустили вперед... Скоро и сами посылы проедут, гляди...

— Где скоро!.. Теперь, слышь, только в Успенском соборе служба ранняя отошла. На той службе патриарх Гермоген поученье посла́м отъезжающим сказывал... Пока прощанье буде, пока што... Раней часу али двух пополудни им не проехать...— заметил товарищу Елизаров.— А вот и мы с тобой, кум, не скоро, видно, ноне домой попадем, хоша и живем недалече! Как думаешь!..

— Да уж ништо... Затерло нас, так выжидать надо!..

Оба дьяка, выбрав небольшое возвышение, с которого лучше было видно и дорогу, и ворота городские, присели на траве, короткой, но зеленеющей после недавних дождей.

Больше полутора часов тянулся поезд, совершенно запрудив ворота и узкую улочку предместья, которая рядом деревянных небольших домишек подбегала к самой городской стене и к этим воротам.

Как только хвост обоза вынырнул из-под ворот, толпа, дожидавшая терпеливо во все это время — люди, желающие попасть в город,— лавиной полились под сводами приворотной башни. Сюда же врезался и длинный ряд возов и повозок, бричек простых и боярских возков, которые были задержаны встречным поездом у самых стен столицы.

Едва эта лавина с криками, жалобами, с треском ломаемых осей и колес, с бранью и гомоном прокатилась под воротами и разлилась на все стороны по широкой Тверской, по двум Ямским и по иным, боковым улицам, как от Кремля снова слышался гул и шум большого поезда, звон литавров и трубы, звучащие резко и протяжно...

Толпы москвичей зачернели от Кремля до ворот, теперь едоль всей улицы, по которой потянулось блестящее шествие. Все люди на торгу, все обитатели предместья у Тверских ворот уж заняли давно места, толкая и ссорясь друг с другом за лучший уголок...

Сперва из ворот показался небольшой, хорошо вооруженный отряд конных драгун, за ними ехали копейщики-иноземцы, состоящие на службе у Московского государства.

Первою быстро и грузно двигалась обширная колымага митрополита Ростовского Филарета Романова, который одно время был поставлен патриархом царем Василием Шуйским, потом тем же Василием был смещен и сделан митрополитом Ростовским. Взятый из Ростова в плен войсками Самозванца, Филарет был принужден Тушинским царьком принять снова сан патриарха всея Руси.

Полный двор был как и на Москве у Шуйского, так и в Тушине, у Самозванца. И Салтыковы, и Шереметевы, и Трубецкие, прирожденные Рюриковичи, — не брезговали принимать чины и милости от Тушинского царька. И митрополиты, и попы — все было у него. Не хватало патриарха. Гермоген, избранный после Иова, не пошел бы, конечно, никогда в Тушино, к вору, против которого старался ополчить всю землю. И Самозванец обрадовался случаю назвать патриархом такого знатного князя церкви московской, любимца и россиян, и казаков, каким явился плененный митрополит Ростовский.

Внешне отдавая ему всяческие почести, но окружив неусыпным надзором, чтобы Филарет не убежал, — царек заставил святителя принять патриарший сан и писаться этим чином, править службы патриаршие, как это делал Гермоген на Москве. Желая выведать лучше истинное положение дел, вызнать силу и слабость Самозванца, надеясь принести пользу и окружающим, и всей земле вообще, — Филарет не стал открыто во враждебные отношения с вором, хотя и не вмешивался в правительственную деятельность его.

А между тем собирая вокруг себя самых знатных и влиятельных из бояр и правителей, окружающих вора, Филарет успел завязать постоянные сношения с Москвою, давал туда добрые советы и, наконец, вместе с Трубецким, Салтыковым и другими из бояр, которые для виду служили царьку, выработал и послал на подпись Жолкевскому «статьи», на основании которых могло состояться призвание Владислава на московский престол.

Затея удалась. Переговоры были завязаны 17 августа. Земский собор утвердил «статьи», и было снаряжено великое посольство, о котором выше шла речь.

Но в эту пору вор был уже отброшен войсками русскими, при помощи Жолкевского от Тушина — к Калуге. Тогда Филарет, сговорясь с Москвой и под рукою получив согласие Жолкевского, сделал вид, что хочет отправиться к Смоленску, в лагерь Жигимонта для дальнейших перегово-

ров... Небольшой отряд поляков повез на запад умного митрополита Ростовского. А на пути русские напали на конвой Филарета превосходящими силами, отбили святителя и привезли в Москву.

Поморщился Жолкевский, узнав об этом, но самым любезным образом явился первый приветствовать Филарета.

Неприятно было гетману видеть в Москве умного дипломата-архипастыря, которого уже дважды называли в народе, как преемника царской власти.

Но поляка успокоили такие друзья-москвичи, как предатель дьяк Андронов и его покровитель, трусливый, продажный боярин Салтыков.

— Да скуфья же на башке у Никитыча! Его теперя в цари никак не оберут... Вот сын у него один как перст... Мишка-паренек... Тово, слышно, хотят царем назвать иные!..

Так шепнули Жолкевскому приятели — предатели своей земли.

И умный гетман постарался, чтобы именно Филарета и другого кандидата на престол, князя Василия Василича Голицына, послали во главе великого посольства к Сигизмунду под Смоленск.

— Ну, а инокиню, жену Филаретову и сыночка ихнего я тут велю хорошо постеречь! — решил Жолкевский.

И теперь, пускаясь в путь к Смоленску за королевичем Владиславом вместе с Великим посольством, гетман дал особый, тайный наказ Гонсевскому, которого вместо себя оставил на Москве.

Старицу Марфу, бывшую Ксению Романову, юношу Михаила и патриарха Гермогена поручил он неусыпному надзору своего заместителя.

В поезде гетман ехал в своей дорожной карете, сейчас после Филарета, окруженный небольшой свитой и конвоем польских легких всадников.

За ним колыхалась на ременных широких тяжах заграничная колымага князя Василия Голицына, который и в пути, ссылаясь на лета и слабое здоровье, искал покоя и всяких удобств. Бесконечным поездом, по две, по три в ряд, потянулись колымаги, возки остальных членов посольства. Сзади на простых бричках тряслись и подпрыгивали на выбоинах мостовой послы из торговых и посадских людей, из незначительных и неродовитых боярских сыновей, из мелкого дворянства, которых тоже придали в компанию знатным

послам, чтобы усилить значение посольства, сделать его действительно великим.

С челядью и свитой до 1200 человек выехало из Москвы по Смоленской дороге 11 сентября 1610 года.

У ворот возок Филарета остановился, и поневоле остановился весь остальной поезд, хвост которого еще оставался против самого Девичьего монастыря на той же Тверской.

Небольшая пустая каптанка, следовавшая рядом с митрополичьим экипажем, подъехала совсем близко. Филарет в последний раз простился с Михаилом, который, весь в слезах, сидел против отца на переднем месте колымаги.

— Ну, храни тебя Господь, чадо мое любезное!.. Блюди себя, к ученью будь прилежен... Родительницу слушай пуще всего! Она тебя родила, вскормила... Без меня хранила много лет. Дважды, трижды жизнь тебе дала. Так не посмей ослушаться ее, особенно пока меня не будет!.. Дай еще раз поцелую да перекрещу тебя!..

Затем, стараясь не дать воли слезам, набегающим на его большие, пронизательные, светлые глаза, Филарет обратился к старице Марфе:

— Ну, старица родимая... челом тебе! Прощай... Но-но... не вой, не причитай... и слез не лей!.. Не пристало тут перед народом... Непригоже нам. Мы не мирской народ, не муж с женою, как все!.. Нам плакать при расставанье непригоже! Я потому и взял тебя сюда, што обещала помалкивать... Вот так... Прости, Христа ради, коли есть за што... Да сына береги мне... Себе его побереги... и — царству!.. Помни, што сказывал тебе... Бывает так, поедут по медведя охотники, а дома у них куница красная объявится сама... Помалкивай! На Шереметевых, на Лыковых, на нашу да на твою родню уж я в надежде буду... Там коли што, мы спшишемся... Я скоро все налажу... Лишь бы время нам провести, своих злодеев тут усмирить да свею выгнать... А там, ну, там мы поглядим!.. Пора... прости!.. Дай поцелую тебя по-христиански!..

Истово трижды облобызавшись, как в день Пасхи, благословил Филарет бывшую жену свою и сына. Они вышли из колымаги, низко поклонились отъезжающему, вошли в ожидающий их возок, и долго-долго он стоял, пока не проехал мимо весь остальной поезд.

Михаил, заливаясь слезами, отирая их своими худыми, нервными пальцами и рукавом бархатного кафтана, влез на козлы и следил все время за колымагой отца, пока головная часть поезда не нырнула в лощину, переехав по

бревенчатому мосту узкую Пресню-реку, и не скрылась за первым, крутым поворотом извилистой дороги между холмами...

Старица Марфа, отирая заплаканное лицо, позвала сына:

— Мишенька, поди сюды... Што на козлы забрался... Не подобает...

— Приду, мамонька... Ошшо маленько погляжу... Вон снова колымагу батюшкину видно... На малую годиночку пожди!— взмолился юноша и снова стал глядеть вдаль.

Дорога, сорвавшаяся сначала в лощину, там вдали снова поднялась на верх холма и протянулась мимо темного соснового бора. Там теперь показались первые экипажи поезда, хвост которого только стал спускаться в первую лощину по той стороне реки... Потом снова повернули вдали экипажи, следуя извивам дороги. Не стало видно знакомой колымаги дедовской...

Грустный вернулся к матери в возок Михаил. Кони повернули, тронули ровной рысью обратно, к городу.

Бледная, с лицом, залитым слезами, что-то шепча беззвучно, сидит старица Марфа, насильно постриженная Борисом Годуновым, оторванная от мужа, от мира, от всех радостей и сохранившая только одно сокровище: своего единственного сына.

Судорожно прижимает она к своей груди юношу. А тот и сам прижался к матери, прижал руку к губам, удерживая рыдания. И только негромко, по-детски всхлипывает, словно чувствует, что надолго расстался с любимым отцом, что много испытаний им обоим и матери-старухе предстоит еще впереди, после долгих лет ссылки, нужды и горя, которые перенес уже в свои тринадцать лет этот тонкий, хрупкий на вид, красивый и ласковый отрок с большими, печальными глазами.

Глава II

У ГОНСЕВСКОГО

Под предлогом обереженья совершенно незащищенного Кремля от захвата шайками Самозванца поляки успели уговорить верховных бояр, и те пропустили сперва небольшие отряды польские в стены московской твердыни.

Первым согласился на это простодушный, недалекий от природы Иван Никитыч Романов, обойденный предателем, лисою Салтыковым. А там и остальные правители, напо-

ловину — своею волей, наполовину — под давлением и угрозами «союзников», — дали желаемое разрешение.

Гетман Гонсевский и полковник Струсь ввели сначала небольшой отряд по уговору. Но недаром есть присловье: «Пролез бы палец, а там и вся рука просунется...» Скоро сильный польский гарнизон занял не только Кремль, но и главные сторожевые посты в Китай-городе, под тем предлогом, что надо всегда иметь охранную стражу перед главной твердыней, занятой гарнизоном.

Польские и литовские воины разместились на обширном посольском дворе, теперь опустевшем, и в других домах. Начальство облюбовало пустующие палаты знатных бояр, а то и выселяло живущих в своих хоромах москвичей, если те охотой не уступали места незванным гостям. А Гонсевский и Струсь устроились превосходно в опустелых дворцовых теремах и зажили совсем по-королевски, окруженные своими холопами и московскими челядинцами. Огромные царские погреба и частные, в боярских домах, еще были наполнены винами, наливками и сычеными медами, всем, чего не успели увезти с собою обитатели Кремля, уходя с насиженных гнезд...

И рекой лились теперь напитки, многие десятки лет хранимые в глубоких, прохладных подвалах. Припасов тоже пока вдоволь было и в самом Кремле, и свежее отовсюду подвозили отряды, посланные на разведку. Больше «за кулак», чем за плату, получали поляки этот провиант и только смеялись, слыша проклятия и вопли ограбленных людей, которые неслись вслед грабителям...

Только что в небольшой компании кончил полуденную трапезу свою гетман Гонсевский, когда ему доложили, что пришел дьяк Грамматин, друг и приятель поляков, приспешник боярина Салтыкова и старшего дьяка Андропова, который стоял во главе партии москвичей, тянувших руку за поляками.

Гонсевский, хотя и был навеселе после обильного обеда и собирался отдохнуть, но сейчас же, взяв с собою Струся, прошел в дальний небольшой покой, куда приказал впустить и дьяка.

После первых приветствий завязалась живая беседа.

Грамматин, часто имеющий сношения с поляками, которые в посольствах являлись в Москву, довольно бойко говорил по-польски, только с тяжелыми ударениями, резко, нескладно по-московски произнося носовые и шипящие звуки польской речотливой и певучей речи.

— Уехало, Бог дал, Великое посольство!.. Авось теперь дело сладится! — говорил Грамматин, приятно улыбаясь обоим «новым хозяевам» Кремля. — А еще принимая во внимание, что уехали самые упорные недруги его милости круля Жигимонта и крулевича Владислава, можно надеяться, что и тут, на Москве потише станет, как некому будет мутить народ. Особенно умно сделал пан гетман Жолкевский, что Филарета и Голицына убрал... полуцарька этого, как его у нас называют.

— О, пан гетман — мудрый политик! — самодовольно потирая грудь и живот, отозвался ленивым, дремотным голосом Гонсевский. — Ну, что нового вообще? Какую там, слышал я, речь говорил сегодня в Успенском костеле в нашем патриарх Гермоген... И такую, что даже плакали многие... И Филарет-лиса... И Голицын, старый проныра... и другие...

— Вот об этом деле я и пришел потолковать с вельможными панями! — торопливо отозвался Грамматин. — С паном Андроновым нынче у нас было совещание. И он тоже полагает, что панам ясновельможным надо знать, о чем говорил патриарх отъезжающим послам, а Филарету и Голицыну, князю особенно наказывал.

— Говори, мы послушаем, пан Ян, — поудобнее раскинувшись в широком, мягком кресле и отдуваясь слегка, сказал Гонсевский.

— Сначала говорил свое сказанье святейший патриарх, как оно обычно говорится в напутствие. А потом разгорячился, словно вырос на амвоне, и грозно стал заклинять послов, всякими карами земными и небесными грозил, если они забудут наказ, данный им здесь от Земского собора. «Смерти и мучений не должны вы бояться и проявить стойкую душу и ревность великую к вере нашей святой православной!.. Если и пострадаете на земле, на небесах будете почтены и возвеличены. Там ждет вас радость неизреченная... И на земле имя ваше будут чтить внуки и правнуки, поминая, как свято сдержали вы присягу свою, как честно берегли имя русское и веру святую, прадедовскую!» Он говорил, а старые бояре, словно ребята малые, слезами обливаются... Меня и то слеза пробрала. А Филарет и князь Голицын первые на колени упали, руку подняли, как для присяги, и в один голос патриарху отвечать стали...

— А что они там отвечали? — презрительно улыбаясь, процедил сквозь зубы гетман.

— Да обещали помнить приказы патриаршие... И клятву

дали, сказали, помнится, так, что «...скорее на смерть и на муку обрекут себя, чем решатся изменить святой вере православной и родной земле»... И все за ними то же повторили, и клятву дали.

— Э! Пустое... Как думаешь, пан Струсь, что значат клятвы московских бояр! Дорого они стоят, тяжело весят!.. Ха-ха!.. И Тушинскому они клятвы давали... И Шуйскому, которого потом в наши же руки предали... Так я верю этой клятве... Так наш яснейший круль верит клятве, которую дали россияне юному Владиславу... Вот я сегодня как раз получил цидулку от пана Льва Сапеги, от канцлера и друга короля. Там, под Смоленском иное дело затеяно, новая каша заваривается. Уже многие города ваши по доброй воле присягу дали самому Жигимонту... И старому нашему государю куды лучше пристало быть правителем на соединенных тронах Московии и Речи Посполитой, чем молодому, почти мальчику, Владиславу сесть на московский трон, который сейчас колышется, словно малая лодка на бурной волне!.. Нет, трудно было нам в Москву войти!.. А выйти будет и того труднее... Где польский конь недельку мог пастись, там он и навсегда себе луга займет!.. Как скажешь, пане Струсь?

Полковник хотя под хмельком и не меньше гетмана, но по натуре не хвастливый и более рассудительный; он только медленно покачал головой в знак несогласия.

— Не так, по-твоему? А как же? Говори, пане полковник. Интересно узнать твое мнение. Ты довольно порыскал по земле Московской. Знаешь этот народец...

— То-то, что знаю! — веско, значительно заговорил Струсь. — Такие прямые, преданные люди, как пане Грамматин... Они здесь редки... Больше лукавый, ненадежный народ. С тобой одно говорит, а с врагами твоими — другое... И тех, и других за рубль продать готов тут каждый...

Гонсевский понял намек, но только презрительно поморщился. А Струсь, словно не замечая ничего, продолжал:

— А затем, нельзя недооценивать здешние ратные силы... Сейчас их нет... Сейчас мы господа... И в Кремле, и в Москве... Но если москвичи что заберут себе в голову... Особенно насчет веры и царя... Колом не выбить. Московита убьешь, так еще повалить потом надо, потому он все на ногах стоять будет!..

— Верное слово твое, пан полковник! — не выдержав, польщенный тонкой похвалой, отозвался дьяк.

Гонсевский стал серьезнее. Слова Струся заставили его

собраться с мыслями, и он сообразил, что лишнее наболтал перед продажным пособником и «другом» Грамматиным. А Струсь продолжал:

— Помнит пан гетман, как полковник, лихой рубака Рожнецкий с небольшими силами почти отрезал Москву от всей земли и царя Василия в осаде держал, чуть не голодом морил здешний народ... И подумай, что может быть, если кругом подымутся люди... и нас тут окружают!..

— Что же, нет еще полков и войск у Жигимонта?.. — надменно кинул гетман. — Нас не дадут в обиду... Придут на выручку... и покажут этим мужикам, что значит ввязаться в драку с польским и литовским храбрым рыцарством... Как под Клушином показали... Как под Смоленском... Как мало ли где!..

— Верно... Да говорят те же москвичи: «Худой мир — лучше доброй ссоры». И я с ними заодно так полагаю... И если бы хотел король меня послушать... Конечно, я человек небольшой... А только знаю россиян... Лучше бы не затевать с ними дальних проволок... Сделать все, как уговор был... И послать скорее королевича на царство, пока еще место не занято...

— Не занято!.. Ха-ха-ха! — раскатился Гонсевский. — А кто же его займет, хотел бы я видеть? Какие были кандидаты, и тех мы сплывили к Смоленску... А кто же еще?..

— Отца отправили, сын остался! — внимательно наблюдая за Грамматиным, сказал Струсь. — Как думаешь, пан Грамматин, верно я говорю?..

— Истинная правда, пане полковник! И умен же ты, право, двоих москвичей за пояс заткнешь... Все правда. Наших лучше не дразнить... А второе, что про Михаила Романова ты намекнул... Отец уехал... Так многие тут и рады. Подольше бы не возвращался: крут да властителен митрополит Ростовский. Не будь его, и наши все священники заодно с патриархом стояли бы за Михаила, а не за Голицына, как это раньше было после пострижения Василия Шуйского, царя... Филарета нет, так остался его давнишний доброт, наш патриарх святейший... И вся родня Шестовых, из рода которых мать Михаила, старица Марфа... И Шереметевы большую силу имеют... И родня большая и богатая у Романовых... Даром что Годунов, их опасаясь, троих братьев Никитичей замучил в тюрьме и в ссылке... Если нужно опасаться чего королевичу Владиславу, так только со стороны Романовых. Любили их и раньше на Москве и в областях, где всюду вотчины богатые, романовские, испокон века на-

ходятся. А после гоненья годиновского прямо почитает как святых народ наш семью романовскую... С ними тягаться осторожно надо... Есть счета у меня старые и с ихним родом, и с шестовскою семьею. А правду надо сказать: друзьями их хорошо иметь, Романовых... Да и врагами — плохо!.. Сильный род и умный... Особенно Филарет. Нет хотя его уж на Москве, а голову даю в поруку, что все он здесь наладил, пока сам не вернется... Десяткам, сотням народу приказы да наказы дал. Особенно — монахам своим, приятелям да помощникам... И, как по нотным крюкам, все будут заодно тянуть его друзья, хотя он и в отлучке...

Слушает, тербит свой седеющий ус пан Гонсевский...

Долго еще шла задумевшая беседа между дьяком-предателем и двумя главарями польской рати, оставленной в Кремле Московском.

Пообещал сам Сигизмунду написать о своих соображениях пронырливый приказный... и, уходя, с удовольствием нащупал в кармане тугой кошелек с ефимками, которого не было там, когда переступал Грамматин порог жилища гетмана.

Глава III

ПОД ГРОЗОЙ

(12—13 АПРЕЛЯ 1611 ГОДА)

Дружно развернулась весна над западной русской окраиной в 1611 году.

Зашевелился и огромный лагерь польский, широкое кольцо земляных окопов и бастионов, которыми поляки обвели твердыни Смоленска, отрезав город от целого мира, лишив его возможности получать припасы и помощь откуда бы ни было.

Вылезать стали из своих землянок осаждающие. Приглядываются, откуда придется снова приступ вести.

Показались и смольняне на стенах своих, где тройкой в колымаге свободно проехать можно, да притом и развернуться. Валы наново подсыпать стали, проломы чинят, бревна подтаскивают. Из пятидесяти тысяч жителей за зиму и трети не осталось — от ран вымерли за полгода, от голода, а больше — от повальных болезней. Но не сдаются они. Не думает о сдаче воевода храбрый, испытанный, хотя и молодой еще боярин Шеин. Уж не в первый раз ему встре-

чаться приходится с войском Речи Посполитой, бил он, били и его, но сейчас он и не мыслит о поражении.

Сдать Смоленск — значит половину Московского царства, всю западную часть, отдать в руки полякам. Этого не может допустить верный воевода.

Как только в начале октября приехало в лагерь Сигизмунда великое посольство, король, не желая начинать переговоры, прежде всего заявил:

— Никаких речей посольских слушать не стану, пока не дадут приказа Великие послы Шеину, чтобы сдал мне немедленно Смоленск. Мой он был, наш, польский. Нашим и быть должен. А то стыд и срам! Москва сыну моему на царство присягала... А смольняне мне, отцу их государю, смеют такой позор чинить, воли моей не слушают...

Выслушали московские послы приказ короля, только головами покачали.

Филарет, потолковав с Голицыным, с боярами, дьяками и священниками посольскими, так ответил польским вельможам, посланным для переговоров:

— Дивимся мы немало тому, что здесь слышать и видеть привелось. Первым делом, встреча была нам неподобающая! Не так во всех странах христианских принимают послов чужой державы... Да не простых послов, а Великое посольство от целой Русской земли... И послы те пришли не с чем плохим, а трон предлагают сыну вашего круля... И нам даже кормов обычных не дали, как водится всегда. А тут, в разоренном краю — и за деньги мало чего достать можно... Да и не все послы деньгами запаслись в большом количестве, зная, что им содержание от короны вашей идти должно.

— Уж на это был дан ответ, — заносчиво заговорил известный недруг московский, канцлер Лев Сапега, стоящий во главе уполномоченных от Сигизмунда. — Здесь мы и наш круль в чужой и вражеской земле. Самим порою не хватает необходимого, а не то что целому отряду в тысячу двести человек, как у вас, — все готовое принести... Уж не взыщите... Что сами имеем, то и вам даем... А вот насчет Смоленска какой ответ дадите яснейшему крулю Жигимонту?..

— Да и сам бы он, нас не спрашивая, мог знать, какой ответ мы можем дать на его предложение! — чистой польской речью продолжал Филарет. — Посланы мы ото всей Земли, где из Москвы Московский патриарх всея Руси, святейший Гермоген со всем освященным собором восседал, где дума высшая боярская и правители-бояре с выборными от

городов дело решали. Наказ прямой нам дан. И от этого наказа мы, послы, отступить не смеем. Слов наших никто не послушает, если бы мы и решились изменить долгу и присяге. А менять наказа по одной грамоте патриаршей или по приказу бояр-правителей и думы боярской, — без обоюдной поруки да без подписи всех выборных Земского собора, — мы тоже не можем и не согласимся никогда. Это первое. А второе, что говорили вы о бесчестье вашему крулю от упорства смолян... И этого не видим мы. Таков жребий войны: один нападает, другой защищается как может...

— Против кого защищается Смоленск! Против отца своего признанного государя, королевича Владислава, избранного вашею же думою всенародной, собором Земским вашим! — горячо заявил Сапега. — А Смоленск и Владиславу не хочет присягнуть. Разве это не бунт, не обида имени крулевскому! Наш яснейший повелитель зачем на Русь пришел, военные труды и опасности сносить? Чтобы землю вашу успокоить и замирить. Сына любимого вам в государи отдает. А ему такое дерзкое неповиновение оказано от воевод смоленских и от граждан!.. И то еще сказать надо: можно ли отца от сына отделять! Смеет ли подданный Владислава отцу его, крулю нашему, не покоряться!.. Никак не смеет!.. Не слыхано того... Воровской это бунт, мятежное дело, а не честная война. Вот как думает наш яснейший круль и мы, паны все, Рада его ближняя.

Переглянулись между собою московские послы, пошептался Филарет с Голицыным и снова первый заговорил:

— Как будто оно и не все так, что ты, яснейший пан гетман, тут нам говорить изволил. Замирить желает нашу землю яснейший круль Жигимонт. Так оно и вовсе легко сделать. Согласно уговору, подписанному от имени круля гетманом Жолкевским с московскими людьми, пусть теперь же отзовет пан круль войска свои от Москвы, сам от Смоленска отступится. Пускай позволит царевичу Владиславу ехать на Москву поскорее, там принять веру православную и венчаться на царство... И замирится разом вся земля. И благодарны мы будем крулю яснейшему за его подмогу... А что смоляне не присягают Владиславу, как Москва, как другие города это сделали... И этому можно скоро помочь. Снимите осаду города, не стойте здесь, как враги, отойдите, как друзья... И головою ручаемся мы, Великое посольство, беспрекословно присягнут всем городом смоляне царевичу Владиславу... Только нашею, русскою, должна остаться эта твердыня, а не отойти к Польше да к Литве. А третье, что

говорил пан Сапега, будто нельзя государей — отца от сына отделять... И если присягали Владиславу на царство, так и крулю Жигимонту покорствовать должны люди русские... И оба царства: Московское, наше, и ваша Речь Посполитая — словно бы воедино тем слились... Думается, и тут не прав ты, пан гетман и товарищи твои, паны Рады вашей. Хотя то припомнить надо, как сам круль ваш, милостивейший Жигимонт, при живом отце, при круле свейском, при Ягане Вазе, сел на трон Литвы и Польши... И ваша Речь Посполитая не покорилась свейскому крулю-отцу... Не слилась ваша земля и корона с землею и короной Свей. Каждая сама по себе осталась!..

Голицын и другие послы тоже заговорили наперебой, указывая на этот наглядный, близкий полякам пример.

Вспыхнул Сапега, не ожидавший такого простого и сильного возражения со стороны «неучей, варваров московских». Прерваны были совещания на некоторое время. Потом снова начались. То в обширный стан посольский, которым раскинулись москвичи, являлись паны для переговоров, то к себе на совещания звали послов, в лагерь Сигизмунда, который и сам принимал посольство, сурово укоряя его за неподатливость, грозя и убеждая.

Ничего не помогло. Послы, верные клятве, данной Гермогену, твердо стояли на своем.

Март пришел. Шестой месяц живут под Смоленском послы московские, но не отступают от своих постоянных речей, требуют от Сигизмунда исполнения условий, подписанных от его имени Жолкевским.

Видят послы, что дело их проиграно, вести к ним дошли дурные, что в Москве поляки совсем хозяевами стали, что многие города присягнули не Владиславу, а Сигизмунду и старый король решил без всяких договоров, силою меча добыть для себя лично престол московский... Видят главные члены посольства и еще одну печальную вещь. Уменьшается их число, тают их ряды. Подкупом, угрозами, обещаниями наград агенты Сигизмунда склонили больше половины посольства вернуться в Москву и хлопотать, чтобы изменены были прежние условия, чтобы признала дума и собор старого круля вместе с сыном — повелителем царства...

И вместо Великого посольства, представлявшего чуть ли не половину целого Земского собора, заседавшего в Москве в августе прошлого года, осталась под Смоленском его третья часть, самые главные и самые упорные: Филарет,

Голицын, хворый, но непреклонный, затем дьяк Томило Луговской и другие...

Теперь совсем перестали поляки стесняться с оставшимися «мятежниками, упрямыми», как в глаза величали послов Сапега и его товарищи. Даже бесстыдный «тушинец», знатный боярин Салтыков, совершенно перешедший теперь на сторону Сигизмунда, поселившийся в польском лагере, позволил себе кричать на послов, бранил грубой бранью первейших людей России.

Видя, что не помогают угрозы и уговоры, что нельзя сломить сопротивление Филарета, Голицына и других членов посольства, получить их согласие на новые условия, на слияние Москвы и Польши, Сигизмунд решил прибегнуть к открытому насилию.

В конце марта послы обнаружили, что находятся под стражей. Явился тот же Сапега и глумливо заявил:

— Не хотела бабушка толочна есть — рожна поест! Не хотели милостей, собирайтесь, панове послы, на новую квартиру. Немедленно в Вильно выезжайте. Там с вами вельможный круль наш дальнейшие разговоры поведет, если еще не согласитесь на его требования!..

— Мы — неприкосновенные люди, послы, особы священные по всем законам Божеским и человеческим! Никуда ехать не должны и не хотим... И не поедem, разве силой, нарушая всякие законы, возьмете, плените и повезете нас! — твердо отвечал Филарет и все остальные его товарищи, снова клятво давшие: стоять за Русь «честно и грозно», до конца!..

— Так и будет, как вы говорите! — пренебрежительно кинул в ответ Сапега и ушел. Через две недели опять явился посланник от Сигизмунда.

— Круль Жигимонт велит вам готовиться в путь на завтра. На одном судне всех вас в Вильно повезут пока. Места немного там. Так лишней челяди не берите с собою, только кто крайне необходим.

— Ни сами мы на судно не сядем, ни людей своих не отпустим. Мы — послы Московской великой державы, а не рабы и не холопы вашего Жигимонта! А если силой возьмете нас — по целому миру пройдет та весть, покроет позором круля вашего и имя польское.

— Брешите, московские собаки! «Сердит, да не силен...» — ваша же поговорка есть... И толковать с вами не стоит много.

Ушел посланник короля.

А на другой день, 13 апреля 1611 года, явился сильный отряд. Отогнали к стороне всю челядь посольскую, начали вещи осматривать и переключивать, сундуки, ларцы ломать... Все расхватали рейтары и жолнеры Жигимонта, что только было у бояр. Потом — принялись их самих обыскивать, дорогие шубы снимали, цепи золотые, украшения всякие... И за жалкий скерб челядинцев принялись накомоец. Этого не могли выдержать слуги московские, в драку вступили с грабителями, свое отымать стали... А воины словно и ждали этого, будто вызывали на борьбу челядинцев посольских, накиннулись на них, стрелять, рубить стали. Всех почти избили, только те и уцелели, кто в самом начале от беды ушел, куда-нибудь спрятался.

Силой потом на судно посадили послов, в Вильно повезли.

Подавленные, опшеломленные видом страшного избиения своих слуг, возмущенные грубым насилием над ними самими, тронулись в путь Филарет и его товарищи. Но сдаться и не думают... И не только их собственная твердость помогает этим страдальцам... Есть еще причина, по которой сохраняют остатки бодрости и сил московские недавние «Великие послы, а теперь жалкие пленники круля Сигизмунда Вазы.

Еще задолго до прибытия Великого посольства под Смоленск — недели за три, — много новых торговцев разными товарами, все больше съестными и боевыми, появилось в польском лагере. И раньше целый огромный табор торговцев и маркитантов расположился в тылу осаждающей армии Сигизмунда. А теперь он еще усилился и оживился. Появились смуглые физиономии греков-купцов и русских людей и голландских... Между ними много челядинцев, которые в Москве раньше проживали на дворе у Романовых, Филарета и Ивана, у Шереметевых, Сицких, Лыковых, Головиных и других. Все они, словно охваченные внезапною жадой наживы, раздобыв где-то довольно крупные суммы денег, занялись торговлей в лагере польском. Когда явилось посольство, конечно, и в его стане появились те же торговцы и поставщики... Но они при поляках словно и не узнавали своих старых, прежних господ... И только оставшись наедине, без посторонних очей, эти мнимые торгаши передавали своим господам все, что успели вызнать и высмотреть в польском лагере, сообщали также вести из осажденного города, с которым сумели войти в сношения... Эти же «купцы» брали письма от Филарета и других послов, с нарочными

гонцами, со своими «подручными» и приказчиками отсылали их в Москву, тем же путем получали и передавали ответы, письма, целые «повести», какую в феврале 1611 года привез послам один «купец»!

В этой повести сначала шла история царства во дни Иоанна IV Мучителя, потом описывались происки Годунова, убийство Димитрия Углицкого, царение Федора Ивановича, избрание Годунова, подстроенное умно хитрым царедворцем и правителем. Дальше шло описание Смуты, Самозванщины в сжатых, но сильных словах и затем уже, подробно, по письмам того же митрополита Ростовского, описывались испытания Великих послов, их стойкость и, не жалея красок, рисовалась злоба и предательство поляков. Заканчивалась «Новая повесть» эта призывом ко всенародному ополчению, как того желает и патриарх Гермоген, рассылающий повсюду окружные грамоты, несмотря на то что Гонсевский окружил строгим надзором престарелого святителя...

Хорошо составил «Новую повесть» дьяк Елизаров-Курицын, которому семьи Романовых и Шереметевых поручили работу...

— Эта повесть да послания Гермогена, святителя блаженнейшего, всю землю подожгли! — сказал Филарету «торгаш», доставивший ему письма и посылки из Москвы. — В Ярославле уже рать большая собирается. Из Нижнего сильные отряды на помощь идут... Кругом беспокойно на Руси... Вологда, Пермь далекая, Хвалынский старый, алибо Вятка по-нонешнему, — отовсюду те же вести: народ подымается, ляхов да свеев из земли выгонять хотят, потом и вам на помощь придут, послам великим. В обиду вас не дадут! Только и вы стойте крепко за веру православную!..

Так говорит, сверкая глазами, с пылающими щеками, юркий на вид, пронырливый торгош, который всюду совался со своими товарами, низко кланялся полякам, божился и торговался нещадно целыми днями...

А здесь, наедине с Филаретом — явился совсем иным, незнаваемым, готовым и жизнь и свободу отдать за родную землю, за веру свою прадедовскую...

Оттого и бодрились до последней минуты московские Великие послы, слыша такие добрые вести.

Даже когда пленниками на тесном, грязном речном суденышке повезли их в неволю, в Вильно, — на борту барки очутился какой-то пронырливый, смуглый торгош — «валлах», как он называл себя, одинаково плохо говорящий на

всех европейских и восточных языках. Он и по-польски лепетал с небольшой стражей, которая частью помещалась на барке, частью ехала за нею вдоль берега, и по-«москальски» кое-как объяснялся с москвичами. Знал и шведскую речь, и по-немецки немного. А по-турецки, по-гречески — совсем сносно говорил.

Оказывая всякие услуги хорунжим и сотникам польским, меняя на добычу и продавая жолнерам водку, вино, которое доставал неведомо откуда и где, Янко-валлах то вертелся на барке, то исчезал куда-то, будто за «провиантом», то снова появлялся, снабжал напитками и табаком желающих, даже порою в долг, твердя при этом:

— Бог видит, он отдаст, если ты не сможешь!.. Янко-валлах обидеть легко, он — бедный, честный торгош... Его обидишь, душа твоя грех понесет... Бери и отдай, лучше будет!..

Смеялись поляки над глупцом-торгашом.

— Богом пугает! Осел татарский!.. Разве Бог станет мешаться в расчеты между солдатом и торгошом! Есть Ему, Господу нашему, много дел поважнее...

И, конечно, большинство так и не платило долгов «валлаху». Но он особенно даже не напоминал об этом...

Больше всего дивились поляки, что Янко продовольствует и москвичей, у которых почти не осталось ни рубля после ограбления под Смоленском.

Несмотря на это, торгош чего-чего не натащит пленникам, которых очень скудно кормили в пути за счет Сигизмунда.

— Ничего! Паны хорошие. Почтенные люди, знатные бояре все... И ихний старший архиепискуп, митрополит, тут же... Когда-нибудь и они мне пригодятся, если я с товарами на Москву приеду... Ведь не убьют же их у вас! — не то спрашивает, не то утвердительно говорит хитрый валлах. — Не приказано же вам известить их всех в пути!..

— Не приказано. Да и в Москву они не скоро пойдут!.. Когда уж круль яснейший Жигимонт сядет на престол московский... не прежде...

— Ну, так это скоро будет! — радостно кивая черной кудлатой головою, залепетал торгош. — Тогда и я на Москву приеду... Мне эти бояре и долг отдадут, и еще пару ефимков на бедность прибавят. Я знаю, это — хорошие паны, бояре...

Смеются поляки надеждам Янко... Но они бы совсем иначе отнеслись к юркому торгошу, если бы видели,

что не только провизию, а также изрядные суммы денег передает он пленным, письма им носит, засунув их хорошенько в середину белого каравая или во что-нибудь иное...

При помощи денег пленники могли заручиться расположением стражи, и с ними стали обращаться гораздо человечнее и мягче, чем в первые дни.

Но еще больше, чем все льготы и некоторая обеспеченность денежная, подымали дух у москвичей вести, и на пути доходившие до них, и в самом Вильно, где недолго оставались пленники.

Письма говорили, что еще в декабре прошлого года Гермоген открыто в Успенском соборе, созвав сотни купеческого, московского и иного простого, неслужилого люда, под страхом отлучения от церкви запретил признавать Владислава царем и крест ему целовать. Владыко говорил о мужестве и стойкости смольнян, о твердости послов, не уступающих даже перед насилием врага... И заклинал общими силами встать на защиту веры и Земли.

Узнав об этой сцене, ляхи почти узником сделали Гермогена, учредили над ним строжайший надзор. Но говорят, что «дома и стены помогают». У себя, в Московском Кремле, сидел пленным патриарх и находил сотни случаев сообщаться с остальной Русью, посылать письма или изустные приказы и увещания.

В январе уже этого года боярский сын Роман Пахомов и посадский человек Родион Мойсеев, нижегородцы, повидав Гермогена, вернулись домой и целую область, не один Нижний Новгород, подняли теми словами и посланиями, какие привезли от святителя... Подметные письма явились повсюду на Москве и в других городах, и открыто сноситься стали города и области между собою, готовясь собрать большое земское ополчение против врагов.

По словам писавших, польский гарнизон в Кремле был объят смертельным ужасом, чуя опасность... И поэтому увоил надзор за всеми главнейшими боярами, которых Струсь держит в Кремле, как заложников, как поруку за безопасность свою и своих людей...

Слезы набежали на глаза Филарета при чтении этих вестей. Радость и тоска склублились, смешались в смятенной душе. Надежда явилась, что хотя и не скоро, но придет избавление, выкупят из неволи своих ходатаев русские люди, как только одолеют врагов... Но — когда это еще будет!..

И сколько мук придется самому перенести, не так за себя, как за юношу-сына, который там, в руках врагов, беззащитен и слаб... И мать его, старица Марфа... Столько уж пришлось ей вынести лишений, горя, гонений от Годунова, столько слез выплакали ее глаза, теперь потускнелые, а когда-то блестящие и гордые!.. И сколько ему придется в польской неволе страданий перенести!..

Как солнечным лучом прорезало тьму в душе Филарета, когда, развернув послание, осторожно подsunутое ему уже под самым Вильно «валлахом», он увидел знакомый почерк жены, а ниже — вились тонкие, нетвердые еще черты, выведенные рукою юноши, — Михаила.

«Здоровы, бодры они! — прочитав письмо, думал про себя Филарет. — Может, не совсем оно и так... Для меня пишут, чтобы я не тосковал... А я так далеко и кинуться не могу, хотя бы на денек на один, побывать там, увидеть их... И снова пускай бы в неволю... Господи! Неужто не увижу я сына моего... Подруги моей скорбной... края родимого!.. Или уж на том свете придется свидеться с ними!.. Ей, Господи, за что такую муку терплю!..»

И сильный, непреклонный, умный человек горько, тихо плакал, глядя на ровные строки, выведенные далекой, любимой рукою...

Наконец, осушив глаза, он снова начал перечитывать одно место в письме старицы Марфы:

«А то дело большое, какое ты знаешь, — эй, господине, не по душе мне, право. Хотя теперь, хоть и после, когда потише станет в земле, а юному дитяти не под силу будет тягота. Я, пока жива, сама его отговорить потщуся и другим на твоё дело задуманное помогать не стану. Хоша другие все как сговорились — по-твоему толкуют, что тому юноше только дело то делать и належит. И большие попы, и самый старший, и бояре, и люди черные, да и казаки-воры и те думают по-твоему. А я не хочу и не хочу. Довольно горя было, не стану сама больше искать и кто мне мил, тому не дам за непомерное тягло браться».

Улыбнулся скорбно Филарет и думает:

«Бойтся мать за сына... То и забыла, что я ему тоже отец. Не пуцу на гибель или на опасность крайнюю. А уж если так решено, что Владиславу на Московском царстве не сидеть, если сам Жигимонт себя волком перед Землею обнаружил... Так, кроме сына моего, некому и владеть царством! Это — слепой увидит, не то что зрячий... И ста-

руха образуется, помягче станет, как до дела дойдет...»

Думает так пленный митрополит Ростовский. И забывает свою неволю, ласковее, светлее становится его скорбное постоянно, суровое лицо.

А барка тихо плывет по речным волнам.

Часть вторая

ЗЕМЛЯ ОПОЛЧИЛАСЬ

Глава I

СДАЧА СМОЛЕНСКА

(17 июля 1611 года)

Больше году боярин Шеин, молодой, но, неустойчивый и даровитый воевода, выдерживал осаду Сигизмунда, который со своей литовско-польской ратью тесным кольцом обложил древний Смоленск.

50000 человек, вместе с войсками, с посадскими и пригородными жителями, село в осаду, спасаясь за высокими, несокрушимыми стенами от набега ляхов.

А теперь — и пятой части не насчитывается среди осажденных. Не столько умерло от ран, в бою, сколько погибло от голода, от повальных болезней, особенно беспощадных в жаркую летнюю пору. Женщины, дети, старики, все, кто послабее, — валились тысячами каждый месяц. Выжили только самые сильные, закаленные от природы. И, шатаясь от слабости, от голода, с распухшими от цинги деснами, с отеком лицом подымались воины на стены, отражали приступы врага, который тоже, очевидно, утомился от долгой, тяжелой осады, от больших потерь и очень осторожно приступал каждый раз к твердыням города.

— Что кровь свою даром проливать! Изморим, голодом возьмем упорных москалей! — решил Сигизмунд. И его ожидания наконец сбылись.

Видя, что помощи ждать неоткуда, получив от «языков» вести, что Великое посольство увезено в плен, что Гонсевский прочно сидит в Кремле и не сегодня-завтра Русь признает круля Жигимонта и сына его, Владислава, своими господами, Шеин решил сберечь остатки рати, которая так стойко, с беззаветным мужеством боролась против врага, вынося тяжкие лишения.

После недолгих переговоров Сигизмунд разрешил русским войскам выйти из Смоленска, но знамена московские должны были склониться перед крулем-победителем, вся артиллерия оставалась в его распоряжении, смольняне — присягу дать должны были на верность Сигизмунду и Вла-

диславу и Смоленск — становился польским городом.

17 июля 1611 года, без литавров и труб, молча, выступили истомленные остатки русской рати из крепости, где каждый уголок был полит их кровью... Склонив знамена перед сияющим Сигизмундом, горделиво сидящим на боевом коне в кругу своих гетманов и вельмож, прошли мимо победителей побежденные герои и двинулись дальше, в печальный путь свой на разоренную родину...

Воеводу Шеина не отпустил на свободу король и приказал ему явиться в свой шатер, где пришлось еще проживать Сигизмунду, пока очищали город, заваленный трупами, чтобы придать ему приличный вид для торжественного вступления туда круля и победоносных войск.

Громко гремела музыка в польском лагере, отслужено было торжественное молебствие всеми полковыми ксендзами с примасом Гнезненским во главе, проживающим также в военном стане у короля.

Не поспешил на слова благодарности начальникам и целому войску старый, умный король. Обещал и отдых, и награды богатые, когда кончен будет поход. Затем, окруженный ближайшими вельможами, Сапегой, Жолкевским, Хотькевичем, Лисовским и другими, вернулся в свой шатер.

Сюда велел он привести и воеводу Шеина.

Бледный, истощенный явился и стал перед Сигизмундом побежденный храбрец. Смело, в упор глядел он в нахмуренное лицо короля, который не сразу заговорил с «упорным москалем».

Король ждал, что сломленный воевода выразит ему покорность, станет просить о милости, о свободе. И молчаливое, вызывающее молчание юного боярина сначала взорвало Сигизмунда... Но в то же время новое ощущение, невольное почтение к отважному врагу, который, даже потеряв свободу, не утратил своего достоинства и гордости, овладело душою Сигизмунда Вазы.

— Ну... что теперь нам скажешь, отважный воевода московский... когда не за стенами крепостными, а перед нашим лицом стоишь?.. Как посмел ты, раб ничтожный, не слушать наших слов и приказаний и не сдавать Смоленска до сих пор?.. Ваши же правители, бояре из Москвы, тебе писали, что мы владеть должны этой твердынею... Их как ты смел не слушать, когда уж нашей власти королевской не признавал? Тебя судить велим мы без пощады... Но раньше сами знать хотим, что твоему упорству причиной? Почему ты не признал сына нашего, Владислава, царем сво-

им, когда ему присягнули чины духовные с боярами московскими, народ, войска и на Москве и по другим вашим городам?.. Что приведешь ты в свое оправданье?

Ни звука не слетело с бледных, крепко сжатых губ воеводы. Он только по-прежнему глядел прямо в глаза королю.

— Ты смеешь так глядеть на нас? Строптивый раб, презренный! Берегись! Еще ответ ты должен дать, как смел разорить и обезлюдить наш прекрасный город Смоленск! Ты обратил его в гробницу... Сколько жизней унесено в боях из нашей славной рати!.. И общее мнение, что ты не силами людскими, а с помощью чар и духов ада мог так долго только с горстью людей отражать наше сильное, отважное воинство. За это больше всего достоин ты казни. Как чернокнижника — властям духовным нашим велю тебя предать... Пытать тебя велю, чтоб правду ты сказал. Ты слышишь ли? На дыбу, на огонь пойдешь!.. Ты слышишь, раб? Безумный пес!

— Я слышу! — медленно, хрипло, словно выжимая с трудом из горла слова, заговорил наконец воевода. — А ты, великий круль, меня ты видишь ли?.. Я побежден, в плену... Но не слыхал, чтобы по рыцарскому обычаю можно было глумиться так над побежденным неприятелем... Не я сейчас стою перед тобою, круль Жигимонт. Вся Русь стоит перед тобою... Ты мне грозишь огнем и дыбой?.. Я на все готов. Но ты родную землю, ты Русь пожег огнем, ее ты кровью залил без права и вины... Бог не простит того... Я вижу, ты мне в глаза глядеть не можешь, как я гляжу, твой пленник, разбитый твоею силой воевода... Ты словно бледнеешь передо мною... перед пленным врагом. И не напрасно это, державный круль. Ты чувствуешь, что пред тобою сейчас вся Русь стоит. Она пока — побеждена, разбита... Но — берегись, перемениться могут дни... Не стерпит долго насилия вся земля. Русь зашевелилась... она восстанет!.. И тогда, гляди, как бы не пришлось подавиться кусками наших тел всем, кто терзал нас, беззащитных!.. Захлебнутся недруги наши тою кровью, которую пролили так жестоко, так несправедливо! Бог слышит мои слова! Аминь — говорит на них вся земля наша Русская...

— Убрать, увести его! К профосу! Он с тобою, дерзкий, пусть потолкует!..

Драбанты схватили и увели Шеина, а Сигизмунд, багровый от гнева и стыда, обратился к Сапеге:

— От страха и голода, видно, рассудок потерял этот грубый москаль...

— Конечно, так и есть, яснейший круль! — поспешно отозвался Сапега.

Но Сигизмунд уже словно и не слышал ответа. Мрачный, он погрузился в тяжелое раздумье.

И многие кругом стояли невеселые, задумчивые, словно их и не радовала большая удача, какая выпала с захватом Смоленска.

Примас, сменивший после торжественной мессы парадное облачение на свою обычную фиолетовую сутану, появился в шатре и приветствовал снова короля и его свиту.

— Во имя Отца и Сына и Духа Святого, мир с вами!

— Аминь! — отозвались присутствующие.

— Аминь! — будто просыпаясь ото сна, проговорил Сигизмунд, осеняя себя крестом. Затем огляделся вокруг.

— Все в сборе, если не ошибаюсь... И гетманы, и канцлер, и паны сенаторы... С молитвою можем мы и приступить к совету, на который я вас сегодня созывал.

Архиепископ прочел краткую молитву, прося у Святого Духа содействия и просветления ума и души на предстоящем совете. Все уселись по знаку короля, и он, сидя у стола в своем мягком, широком кресле, облокотясь на поручни, первый заговорил.

— Святой отец, и вы, паны сенаторы и гетманы, и все вожди мои! Еще раз, вознося хвалу Творцу, благодарю вас за те труды, лишения и заботы, которые мне помогли достигнуть славной цели. Смоленск, древнее достояние нашей короны, отнятое хитрыми, злыми соседями-москалями, снова в наших руках! Этот город с его твердынями — словно камень драгоценный, потерянный надолго, опять теперь сияет на державе великой Речи Посполитой. Нелегко досталось это завоевание наше. Эллины, осаждая Трою, меньше бед перенесли, чем наши доблестные воины. И все заслужили почетный, славный отдых. Между тем и на родине за эти долгие месяцы войны накопилось не мало самых важных и неотложных дел. Уж даже ропот к нам дошел, что сейм очередной давно пора открыть, а мы здесь медлим, хотя и не по нашей то было вине... Так вот, одно с другим соединить нам надо. Домой поведем на отдых доблестное войско наше, награды раздадим ему... И — сейм откроем, как надо по статуту Речи Посполитой, чтоб нарекающих лиших не было на наше имя королевское. А после — опять за мечи и за мушкеты возьмемся, снова на коней и по старой дороге, мимо нашего Смоленска-города, — на врагов пойдем. Нас еще ожидает древняя Москва. Ее возьмем, как тут Смоленск

взяли... И уж тогда милости и богатства польются щедро на всех, кто послужит делу и после, как до сих пор служил. Что скажете на это, панове — Рада?.. Со мною вы согласны или нет?..

— Согласны, да... На отдых не мешает...

— Согласны мы... да не совсем, яснейший круль...

Нерешительно, недружно звучат голоса. И, вопреки смыслу слов, — скрытое неудовольствие слышится в тоне даже у тех, кто изъясняет свое согласие на словах.

Нахмурился еще сильнее прежнего Сигизмунд. Давно отвык он от противоречий со стороны своего совета.

— Что значит: «согласны не совсем»? — невольно вырвался у него гневный вопрос. — Когда я говорю, что так будет хорошо... Какие же еще могут быть речи?..

— Тогда бы нас, яснейший круль, и звать, и спрашивать не надо! — осторожно, но решительно заговорил Жолкевский, давно уже недовольный всем поведением и политикой Сигизмунда. Не обращая внимания на гневный взгляд, который метнул король, гетман спокойно dokonчил:

— А если уж позвал нас на совет... Ежели спросил наше мнение... Сдается, надо и выслушать своих советников, яснейший пан круль!

— Да... просим выслушать и нас! — поддержали гетмана еще голоса.

— Ах, вот уже как! Если спросил о чем-нибудь слуг своих государь, так уж и слушать их волю должен, по-ихнему поступать... Вашим умом, не своим мне надо жить теперь! Извольте! — с притворным смирением заговорил Сигизмунд, скользя взглядом от одного к другому. — Да, заодно, быть может, и корону вам мою передать, и трон, и власть, дарованную мне Богом и всем народом польским и литовским!.. Что же, извольте, говорите! Прекословить я не стану!.. Ваш слуга!..

Он умолк в злобном, чутком ожидании, и наступило короткое общее неловкое молчание.

— Помилуй, яснейший круль!.. Мы вовсе не думали!..

— Мы даже не желали ничего подобного... Это — совсем не так!.. — раздались отрывочные, смущенные голоса сенаторов и начальников, с которых не сводил своего сверлящего, пытливого взора старый, опытный в управлении людьми круль Сигизмунд.

— Вот как!.. Да знаете ли вы сами, чего вам надо желать, о чем следует думать? Интересно послушать!..

— Чего бы нам надо? Будто мы не знаем! — смущаясь

взглядами и язвительными речами государя, по-прежнему спокойно и смело заговорил Жолкевский.— Бог Единый видит и знает, что людям надо и чего не надо... А вот что на уме у нас?.. О том прошу послушать, державный круль.

— Послушаем, послушаем, пан гетман. Прошу сказать!

— Повинуюсь, яснейший! Тут нет посторонних глаз и ушей. Мы собрались, первые сановники короны, ближние слуги и помощники круля нашего... И потому я без риторических фигур и восклицаний, без того, что нужно для народа и для чужих государей, попросту буду говорить, всю правду.

— Отлично... только поскорее нельзя ли?— нетерпеливо отозвался Сигизмунд.

— Я говорю, как мечом рублю: медленно, но верно, каждое слово должно в цель попадать... Придворной и женской болтовни не изучил, больше по чужим краям, на полях войны шатаюсь, а не обтираю стены виленского и варшавского замка и краковских палат его крулевской мосцы,— угрюмо отрезал гетман, передохнул и снова веско, медлительно продолжал:— Так вот, говорю я: за много-много лет впервые Бог большую удачу даровал нам над Москвою... И это вышло неспроста! Земля их зашаталась, внутренние раздоры ослабили опасного нашего соседа... Мы это заметили, взвесили... и это дало нам возможность быстро стать господами в ихнем краю... Что дальше будет — кто знает!.. Быть может, судьба кичливую Москву и все ее необозримые владенья предаст на вечное наследье крулевичу Владиславу...

— А почему бы и не мне, Жигимонту?..

— Пусть так. Я не Господь Бог, раздающий владения и царства на земле... Но... все мы знаем, что Владислава хочет народ московский, а не его отца... Да это все впереди! Если же мы хотим добиться какой-либо удачи, если дело завершить желаем, так не пировать, не отдыхать, не сеймовать надо, а воевать! Сейм с его пустыми речами, со сварою, со всяким шумом вздорным подождет! Куй железо, пока не остыло, старая мудрость говорит. А кусок железа огромный, тяжелый лежит перед нами, да и не совсем еще раскаленный. На юге Московии, правда, казаки и вольница теребят родной край, как псы разъяренные. Мы тут, с запада пашем глубоко нашими саблями и арматами Московскую землю... С северо-запада враги наши, шведы, нам на руку играют, тоже врубаются топорами в российские дремучие леса. Нов-

город, Псков вот-вот оторвутся от Московии и попадут в руки шведам со всеми богатыми областями своими. От моря Балтийского, куда давно добираются наши хитрые соседи-москаля, — далеко теперь откинем мы опасных соперников... Но все это надо скорее вершить! Пока не опомнились россияне, не слились в один поток их силы, сейчас разбитые на узкие ручьи!.. Упустим час, оправиться успеют москаля... и тогда... Да, то самое тогда нам будет, что уже не раз бывало под Москвою... Позор, урон и поражение!

Жолкевский остановился, словно желая видеть, какое впечатление произвели его слова.

Король сидел хмурый, но уже без прежних признаков раздражения и гнева.

Одобрительный ропот остальных слушателей показал, что они разделяют мнение гетмана.

— Кончил, пан гетман?— гораздо мягче и любезнее прежнего спросил Сигизмунд.

— Еще два слова, если позволит его крулевская мосца!.. Стоячего врага надо повалить, на этом я настаиваю... Но лежачего добивать не стоит. Если Бог пошлет завершение нашим замыслам и польская, литовская наша вера и сила возьмут верх на Москве... Надо готовить себе там друзей и слуг не пытками, а ласками и милостью... Юному крулевичу Владиславу и так не легко будет править мятежными, упорными москвитями. Зачем же еще обозлять их излишней строгостью... А не удастся нам вконец одолеть надменных москалей... Они как-нибудь извернутся, как и прежде то с ними бывало... Живучий, неподатливый народ!.. И свои порядки, свои цари останутся у них... Так нужно тут, на окраине, поскорее и попрочнее отхватить, что успеем... И в то же время не очень досаждают врагу. Говорят, обозленная пчела сильно жалит, даже умирая. Соседями все-таки навечно нам останутся москаля... И если не теперь, так на детях наших выместят чрезмерные обиды... О, я знаю их, жила в Московии: злопамятный народ! Во всем следует соблюдать меру и справедливость... Если только в делах войны можно говорить о справедливости... Нет, точнее скажу: благоразумная осторожность дает больше, чем безумная отвага, хотя бы и несла она удачу... Вот все теперь, что мне казалось необходимым изложить яснейшему крулю и вельможным панам Рады его.

Снова сочувственный гул покрыл речь гетмана.

И Сигизмунд в свою очередь несколько раз утвердительно медленно кивнул своей красивой, седеющей головой.

— Почти все верно... Кроме одного... Я немало удивляюсь перемене, какая произошла с нашим отважным гетманом. Он говорил об осторожности, о благоразумии... Невольно думается, что его подменили... И подбросили Речи Посполитой ласкового теленочка вместо отважного льва, каким мы знали пана рыцаря...

— Если немедленно звать на дальнейший бой — значит быть ласковым теленком?.. Тогда одно остается сказать: настоящие львы торопятся с поля битвы спрятаться под платье придворным красавицам Варшавы! — ответил колкостью на колкость несдержанный гетман.

Сделав вид, что не понял намека, Сигизмунд продолжал, чуть повысив голос:

— Мы слушали пана гетмана. Теперь договорить свое желаем. Скажу сначала об одном, об опасеньях гетмана. Жолкевский ли боится москалей?.. И можно ли поминать о поражениях в эту минуту, когда громкой славой покрылось наше оружие и войско и корона!.. Не думает ли гетман, испытанный стратег и полководец, что пришла пора... И если мы с таким трудом и мукою, ценою тяжелых лишений взяли Смоленск, стоящий на окраине царства, который больше наш, чем московский... Не думает ли гетман, что и Москва запросилась уже к нам в руки? Нет, хотя и сидят в Кремле наши воеводы с полками нашими... Плохой расчет у пана гетмана. Еще не скоро можем мы двинуть на Москву свои измученные, ослабленные долгою осадой рати. Да и московские дела еще не дошли до надлежащего развала. Пусть их земля еще поопьянеет... Пусть братскую рукою они наносят раны друг другу... чаще, глубже да больнее... Пусть горячею кровью поистечет хорошенько земля врагов... Тогда и мы вернемся из Варшавы, явимся в самую пору, чтобы кончить затеянную нами великую игру! И схватим тогда кусок, который повкуснее...

...А может быть... кто знает... может быть, и взаправду доверяют нам свое царство россияне!.. Может быть, не для оттяжки времени ведут они переговоры, как мы до этих пор полагали... На милость, говорят, нет закона, а на глупость — не бывает образца!.. Это — их присловье, московское... Посмотрим! И свет истинной, единой католической веры просияет в этой варварской доньне стране... Но... это все дело

десятков лет... А не одной осени, как полагает, видно, пан Жолкевский. Что скажет нам теперь отец святой, пан примас, и паны сенаторы и воеводы?.. Понятен ли наш уход к Варшаве?..

Конечно, на заданный вопрос не могло быть другого ответа, как единодушное согласие, которое и послышалось со всех сторон.

Молчал один Жолкевский.

— А пан гетман отчего молчит? Или еще не согласен с нами? Не ясно здесь было доказано: что надо делать? Воевать или переждать? Еще непонятно?

— Мне все понятно, яснейший круль!.. Но... — пожимая плечами, ответил неохотно Жолкевский. — Еще раз и я повторю свое: кто может знать, что его ожидает!.. Порою безумье храбрых вырывает из рук у судьбы такой великий дар, какого не мог своими расчетами добиться самый мудрый на земле!.. Как угадать!..

— Ну вот вы и гадайте сами, панове, на костях или на звездах! — с досадой снова забрюзжал Сигизмунд. — А я — ваш король! И должен не гадать, а рассуждать и думать. Так и будет. Вопрос решен. Пана гетмана Хотькевича пошлем мы к Москве, на помощь Гонсевскому, а сами будем собираться домой!

Решив еще несколько очередных дел, Сигизмунд распустил совет.

Когда Жолкевский с полковником легкой конницы, Лисовским, головорезом-литвином, шел к своей ставке, они увидели, что Сигизмунд верхом, с небольшой свитой, поскакал к Покровской горе, откуда открывался вид на весь Смоленск.

Круль хотел еще раз полюбоваться своей славной добычей до въезда в завоеванный город.

— Не пойму я нашего круля! — не то про себя, не то вслух проворчал Жолкевский, следя взором за группой, быстро скачущей вдаль под лучами июльского солнца, знойно, несмотря на ранний час дня.

— У него — свои расчеты! — усмехаясь, отозвался Лисовский. — Слышал, пане гетман, он надеется, что не упустит здесь ничего, наоборот... А сейм, правда, открывать давно пора... По дружбе, за великую тайну скажу пану гетману, как постоянному своему заступнику и покровителю... Еще в начале этого года, отпуская некоторых москалей из Великого посольства на родину, тех, которые оказались поговорчивее, выразили согласие на изменение договора, под-

писанного с тобою, вельможный гетман, в августе прошлого года... Вот, отпуская этих наших «друзей», пан круль вошел в тайное соглашение с самыми влиятельными из них... Не поскупился большие деньги отсыпать таким слонам, как...

— Келарь троцкий, Авраамий Палицын, как Вельяминов, Салтыков, слезливая баба... и дяку Андронову довольно перепало, и помощнику его, Грамматину, лысому псу... Знаю, все знаю... Да половина из этих «друзей», как ты называл, пан, только до границы лагеря нашего остались нам друзьями... Струсь мне пишет из Москвы и другие приятели наши, что тот же Палицын заодно с патриархом, с Гермогеном ихним против нас поднимают ополчение... Плохо тут рассчитал скупой наш круль. Плакали его червонцы... Не хотят уж теперь и Владислава москали неверные... Прогадал старик наш.

— Не совсем... Не о Владиславе и хлопочет он, о себе скорее... И даже не скрывает этого... А на Руси все-таки он закупил себе тоже друзей, как там ни говорить... Особенно из партии Салтыкова... И теперь хочет дать время своим сторонникам, чтобы они подготовили побольше голосов за него для избрания на трон московский... А мне дал разрешение кинуться на ихние земли с моими головорезами, «лисовчиками»... Там — пограбить что можно, побольше страху нагнать, смуту усилить... Будто от Заруцкого наши набег и налеты идут... А попутно просил сеять слухи, что Владислав еще слишком молод и не сумеет оборонить Московское царство от всех внешних и внутренних врагов... Что только мудрый и опытный, прославленный победами государь, как он, Жигимонт Ваза, может дать покой измученной стране и народу... Только он вернет прежнюю силу и блеск державе русской. И народ московский сам должен требовать от воевод своих и от бояр, чтобы скорее призвали они не Владислава, а его на царство...

— Просто и хорошо! — насмешливо улыбнулся Жолкевский. — Думает пан, что москали такие простецы, как с виду кажутся... Забывает, как предан этот народ своей вере... И не подумают там посадить католика на трон... Да еще такого друга ксендзов, каков наш старик... Плохую он игру затеял, не двойную, а тройную, нечистую, надо правду сказать!.. Добра из этого не выйдет ни ему, ни нам, ни Речи Посполитой, о которой я только и забочусь... Мне дела нет до выгод и барышей Сигизмунда Вазы, способного променять нашу корону на шапку царя-схизматика. Плохо он делает... Говорит — одно, глядит — в другое место...

— А вершит дело по-третьему!.. Ты прав, вельможный пан гетман. Но это же и есть настоящая королевская наука. И сам Макиавелли...

— Пускай сам черт или его бабушка говорят что хотят, а я по-старому одно признаю: лучшая ложь — это правда. «Иисус Распятый и мой меч!» С этим бы старинным кличем ринуться вперед, от Смоленска — на Москву! Пока москвичи сами не пришли отбирать то, что мы урвали у них нынче... Но... пока воля не моя... «Скажи, враже, як круль каже!» Подождем, увидим!.. А вот мы и пришли. Прошу пана полковника в мой шатер, выпьем чарку-другую венгерского. Есть у меня еще тут с собою заветный бочоночек!..

Глава II

У ГЕРМОГЕНА

(АВГУСТ 1611 ГОДА)

После короткого и сильного ливня с грозой — освеженные стоят сады Московского Кремля, среди которых тонут и царские палаты, и хоромы боярские, и даже приказы и по сольские дворы, здесь находящиеся.

Вековые липы, стройные березы, клены и сосны столетние осенили также все внутренние строения древнего Чудова монастыря, его кельи, служебные постройки, поварни, конюшни, все обширное хозяйство, заключенное в стенах обители.

Здесь, почти на положении узника, живет теперь и патриарх Гермоген, дряхлый, болезненный, но еще сильный духом старец.

Всяческим почетом и блеском старались окружить поляки Гермогена, пока он, склоняясь на уговоры сильной кучки бояр, соглашался на призвание Владислава. Но как только была перехвачена Гонсевским одна из грамот патриарха, посылаемых по городам с призывом ополчиться против ляхов и шведов, — за святителем был учрежден самый строгий надзор. И если бы только гетман и полковник Струсь не опасались вызвать взрыва крайнего негодования со стороны целой Москвы, они давно бы бросили старика в темницу, такого слабого и кроткого на вид, но столь опасного в своей незащитности, более грозного для них, господ Кремля и Москвы, чем несколько полков, вооруженных с головы до ног.

Сидя у раскрытого окна своей кельи, выходящего в гу-

стой монастырский сад, сейчас наполненный ароматами и прохладой на закате августовского теплого дня, Гермоген, держа далеко от глаз, пробежал взором по строкам небольшого «столпчика», письма, начертанного на длинном, узком куске синеватой плотной бумаги. Большие круглые стекла, помогающие при его старческой дальнорзости, лежали тут же, на столе, где видны старинные фолианты в кожаных переплетах и небольшие тетради, исписанные крупным, четким почерком самого патриарха. Чернильница и несколько очиненных гусиных перьев лежат тут же, наготове.

То, что читал патриарх, очень волновало его. Ясные, небольшие, но полные ума и жизни, еще не потускнелые, несмотря на годы, глаза старца напряженно вглядывались в путаную вязь начертанных в послании строк, словно за этими строками он видел что-то страшное, отвратительное.

Отложив письмо, нервным движением своей художавой руки аскета-постника придвинул к себе поближе Гермоген небольшую полоску бумаги, взятую из кипы, заготовленной тут же, омочил перо и быстро начал выводить буквы, нажимая пером, которое жалобно и густо поскрипывало на бумаге, как будто и ему было тяжело и тоскливо, как и тому старику, рука которого водила пером.

Стук в дверь, осторожный, но уверенный, нарушил тишину кельи.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй ны! — раздался за дверью старческий голос служки Пахомия, уже много лет неразлучного с Гермогеном.

— Амины! — ответил тот, неторопливо отложив перо и вкладывая начатое послание между листами большого, раскрытого на столе, фолианта, который также неторопливо хлопнул и отодвинул от себя.

— Святейший владыко, там пан Пясецкий пожаловал! — отдав поклон, почтительно доложил служка. — Что ему сказать? Хочешь ли видеть ляха? А то, може, не здоров ты, батюшка, а? Я ему...

— Нет! — остановил служку Гермоген. — Я гостю рад!.. Проси, проси его, Пахомишко.

Снова поклонившись, вышел служка и впустил ротмистра Пясецкого, который помогал Гонсевскому и Струсю нести гарнизонную службу в Кремле.

Благодаря его небольшому знакомству с русской речью, ему поручали сношения с Гермогеном, который не умел или не желал ни слова понимать по-польски.

— Здрув, пане отче? — с почтительным поклоном осведомился «гость».

— По твоим молитвам, как видно, чадо! Терпит Бог грех и носит мать-земля.

— Так, так, так!.. То и слава пану Богу!.. Не бардзо помешал?..

— Нимало, нет, пан воине честной!.. А ты што, со мною пришел часок скоротать в беседе... алибо есть што новое?.. От нашей чести не желаешь ли чего-либонь?.. Сказывай. Аз смиренный богомолец за людей и не отрину ничьего глагола, как сам Христос Спаситель Наш заповедал миру. Ну што же, чадо, нет ли новой вести... доброй алибо хоша и дурной у тебя на запасе?.. Все заодно. Господь дает и дождик и ведро... вот как нонешний день было. Гроза с утра, а под вечер сколь тихо и хорошо стало... Так сказывай...

— Ведро... То само, цо воду носить... а зачем, святой отец, говоришь про ведро?..

— Нет, ты не уразумел меня, пан. Я — про иное. Дни ясные, по-нашему, есть ведро.

— Ага, ага! Розумеем! Ясны день... То ж лето еще на дворе, то й день ясны... Розумеем!.. А вот слышал... кхм... кхм... есть у нас... не! есть у вас в Пскове... кхм! новый царь Деметрий Самозванный. Якой — Сидорка беглый, как ваши же москали толкуют!.. Беглый из стрельцов! Пан отец не слышал, га?

— Отколь мне слышать! Вот што придет и скажет ваша милость алибо хто иной из вашей братии, — то я и знаю. Совсем в неволе здесь я, владыко всей христианской паствы православной, патриарх всего царства Российского... О-ох, в неволе тяжелой!.. Знать, так хочет Бог!

— Но! Цо ж то за неволя! Хе! Бояре все ваши, правители в Кремле тут сели с нами, когда подошло ополчение ваше дурацкое!.. А когда разоидется оно... Тогда нам свободней бендзе и святому отцу полная воля будет... То ж осада была, а не замыкать мы хотели святого отца патриарха! Брунь Боже! Никогда!.. Теперь, когда московское правительство, до приезда избранного царя Владислава и круля Жигимонта, находится под нашей охраной... под нашей владой и укрытием нашим, — покойно могут спать все... И пан святой отец, как здешней веры князь и господин, — тебя хранить мы должны до приезда царя Владислава! Куды ж идти тебе! Кругом — весьма небезопасно. Казаки — бунтари, шведы, разны Самозванцы да самобранцы!.. Самовольцы никчемные! Бродяги и сбродняжи треклятые! Мы только

храним персону вашу, высокую, пан ойцец! Якая ж тут неволя!.. Напрасно...

— Неволі нет, ты мыслишь? Вы в Кремле здесь господа. Вон у тебя ключи висят за поясом от выездов и въездов... Ты говоришь: я волен. Ин верю тебе, чадо. Так прикажи каптанку мне заложить... Я до Троицы поеду, помолиться мощам святых угодников Божиих...

— До Тройцы!.. Кхм... Дороги ж небеспечны еще... Казаки там... разбойники есть ружны... И пан ойцец разве ж не видал этой Тройцы алибо цо! Алибо здесь молиться мало места, в Кремлю да на Москве!.. Помилуй Боже!.. Тысячи церквей у вас тут. И на што так много!..

— Добро, ты прав. До Тройцы далеко и небеспечно... Так — в монастырь Донской!..

— На другом коньцу Москвы! Далеко ж то... и жарко... Пан ойцец... он устанет!

— А ежели... к Богородице, что на Пожаре!.. Рядом это, слышь, к Василию Блаженному собираюсь я давно... Все как-то не припадало!..

— О!.. То... Кхм... кхм... То — можно! Добже, добже! Еще народу сейчас много на углах. Же бы нам не помешали, мы попозднее поедем!.. Полсотни улан я сберу и сам поеду с ими... на всяк случай... Кхм... кхм... Охранять владыку ж...

— Нет! — почти гневно вырвалось у Гермогена, до сих пор забавлявшегося изворотами Пясецкого. — Нет! С охраной ехать молиться не хочу! Здесь посижу лучше! А то какой я пастырь стаду, коли с целой волчьей стаей поеду по храмам Божиим, по церквам московским! Лучше тут и помолюсь, в этой тесной келье!

— Цо мувит пан отец! Не разобрал я... Бардзо скоро сказано...

— Это я так... про себя говорил! Досказывай, што про Сидорку начал! Уж — третий Самозванец, выходит! Из стрельцов он, ты говоришь? Да, сам он про себя что сказывать придумал! Все же знают, что еще в декабре в прошлом зарубили второго Самозванца, вора Тушинского, его же разбойники-воеводы!.. Как, слышь, ожил этот, третий, после двух смертей!.. Занятно мне узнать...

— Кхм! — лукаво улыбаясь, заговорил Пясецкий. — Разве ж много надо, чтобы обмануть ваших дураков-россиян! Всякой сказке готовы верить, только бы поразбавить можно было!.. А эти, самозванцы... цо они ни скажут, али бы только на царстве повелиться!.. Хоть не на длугий час! Он, тэн Сидорка муве, цо... кхм... Же он есть — чародей!

Чарнокнижник! Же может каждый раз помереть и оживиться, як схочет себе сам! Два раза, говорит, он юж обмирал. А как в могилу ляжет, как положили его... он оживет разом и улетит! И знову — царр!.. Ха-ха-ха! А дурни верют! И умны люди, которым это сходно, роблют такой вид, цо также верют!..

— А... честные да чистые душою... Те как же?..

— Не вем! Не вем! Таких там, у самозванув, не бывает!..

Такие — здесь, с нами все сидят... Ваши все правители — бояре найвенкшие... и сам ойцец патриарх Московский... От было б дуже ладно, ежели б им пан отец теперь написал... же тэн Сидорка — есть вор и блазень!.. Цо пан яснейший Владислав есть едины российский цесарь и московский царр!.. Одразу б тогда всяки мятежи и скончились по слову святого ойца патриарха!.. Може, напишешь, пане отче?

— Пан... пан... все — пан!.. У вас, слышал я, говорят: алибо пан, алибо пропал! Я про Сидорку напишу, пожалуй, штобы лишней смуты вор завести не успел в народе христианском. А только... с кем отправлю я посланье?..

— Нам, пане ойче, его отдай! Мы уж до дела его доправим, пошлем по всем концам земли...

— Добро, пусть так... Я напишу потом... позднее. Утром загляни, возьмешь посланье. Готово будет...

— И про царя Владислава...

— Нет, слышь, пан ротмистр, про это не напишу... Не посетуй! — решительно проговорил Гермоген. — Не в первый раз отказываю в этом, знаешь! Ваш круль и сын его не захотели принять статей, подписанных вашим же гетманом от имени Жигимонта... Так и дело с концом. Чему не суждено, тому и не бывать!

— Я вем... я вем! — сверля своими маленькими, заплывшими глазами старца, зататорил Пясецкий. — Я вем, на цо у пана патриарха надея есть! Я то добже вем!.. Те ж ваше мужицке ополчение, цо шло на нас, — теперь скоро и разольеца, як вода... Еще и десяти дней нету, як казаки заманули до себе «водцу» главного, Прокопа Ляпунова... та и — зарубили! На шматочки раскромсали, разнесли!.. Хе-хе!..

— Ты... правду мне?.. — бледнея и становясь от этого почти совершенно прозрачным в лице, не сразу спросил старец. И, не получая ответа, сам продолжал, тоскливо покачивая головой: — Да, вижу и так: ты не солгал! Уж больно радостен и ясен лик у тебя, врага моей земли!.. Господи, прими и упокой чистую душу смелого вождя! — за-

шептал про себя Гермоген. — Надеждой он был для Земли... а для меня, для старца — надеждой и радостью последних дней моих!.. Твоя воля, Господи!.. — тихо шептал заупокойные молитвы старец. А Пясецкий снова осторожно завел свою речь.

— Может, святому отцу на мысли пришло, цо од нас... Як там юж мувили разны лиходеи, злодзеи московски... Же то мы подослали альбо подкупили казацку шайку. Даю слово гонору, цо...

— Не божись, пан! Правды не укроешь. Я только подумал... а ты мне сам и сказал все, што знать мне было надобно... Могу ли я не поверить такому почтенному лыцарю, каков ты есть! Всею верю. Еще што скажешь? Чем порадуешь старика!..

— А про тех же казакув. Собираются они еще в этом месяце большой круг зебрать... И хотят присягу учинить тому сыну панны Марины от Тушинского Самозванца... И при нем, як при малолетнем царе, большой совет будет до его полных лет... Тут и бояре ваши... и казацки гетманы, и воеводы... И все сойдутся, чтобы Землею править... И знову, значит, бой начнется...

— А больше ничего? — глухо спросил патриарх, голова которого теперь совсем поникла и белоснежная, длинная борода прикрыла исхудавшие руки, беспомощно скрещенные на груди, как для молитвы...

— Не! Ниц боле не имею... Прошу выбачения, ежели я чем расстроил пана патриарха... Я сам не думал...

— Нет... ничего! — машинально ответил старец, погруженный в горькие свои думы.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй ны! — снова задрезжал за дверью старческий тенорок Пахомия.

— Аминь! Што тамо еще! — отозвался Гермоген.

— Святейший владыко, столярюк тамо пришел! — доложил служка, стоя у порога. — Как ты, слышь, приказать изволил аналой твой поисправить, што расхутился... да шкапчик, который для книг, да...

— Впусти... впусти, коли пан ротмистр того не заброняет! — словно сдерживая внезапно охватившее его волнение, проговорил старец.

— О, не, не, не! — подымая вверх свои потные, жирные руки с видом благородного протеста, затараторил Пясецкий.

Служка впустил столяра и отошел, ожидая распоряжений.

Пришедший был человек лет пятидесяти, с сединой в

длинных кудрях, с вьющейся седеющей, рыжеватой бородой, с голубыми веселыми глазами и доброй привлекательной улыбкой, которая почти не сходила с его строго очерченных, полных губ.

Он сложил у двери, к стороне, свой ящик с инструментами, пилу, топор с короткой рукояткой и, низко поклонившись, подошел принять благословение Гермогена, который поднялся с своего кресла и даже сделал шаг навстречу.

— Благослови, святой отче!

— Господь тебя благослови и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь! — Осеняя истовым, отчетливым крестом подошедшего, с особенным чувством проговорил старец, дал поцеловать свою руку, сделал было невольное движение, как будто хотел сам поцеловать голову, склоненную к его руке, но удержался и негромко проговорил:

— Вот служба мой... Пахомий покажет тебе, сыне, што делать надо!..

— Так, так! — принимая величественный вид, выставляя при этом еще больше свое отвислое брюхо, вмешался Пясецкий.

Отдав поклон, Пясецкий вышел в сопровождении старого служки, Пахомия. Чутко насторожились оба оставшиеся.

Вот уж за дальним переходом звенят по каменным плитам монастырского коридора шаги Пясецкого и служки.

Сразу протянув обе руки к пришедшему, Гермоген проговорил, задыхаясь от радостного волнения:

— Мир... мир тебе, сыне... друже возлюбленный! Брат о Христе!

Троекратно облобызались теперь старец и пришедший, мирянин по виду, а на деле — инок-чернец, прославленный по всему царству настоятель Троицкой лавры, архимандрит Дионисий.

Три года тому назад, когда Сапега со своими отрядами осадил лавру, Дионисий сумел поднять дух защитников этой крепости-обители, и соединенные полки литовцев и ляхов отошли с большим уроном от стен святыни, глубоко чтимой всем народом русским.

Тогда и теперь — неутомимый монах отдавал свои силы на помощь тысячам обездоленных людей, которые стекались под защиту стен и башен лавры. Громадные сокровища, собранные столетиями в подвалах монастырских, составленные из лепт народных, Дионисий теперь тратил на помощь тому же народу, на спасение родины.

Давнишняя дружба соединяла его с Гермогеном, и разница лет исчезала, казалась неощутительной благодаря тому сходству, сродству их чистых, отважных и любящих душ, каким были проникнуты они оба.

Мимо печального пожарища, в какое обратили поляки Москву при вести о приближении ополчения Ляпунова и князя Димитрия Трубецкого, мимо польских стражей, под видом рабочего мужика-плотника, удалось пробраться Дионисию к заточенному старцу-патриарху. И теперь слезы стояли в добрых голубых глазах инока, когда он глядел на исхудавшее восковое лицо своего друга и духовного владыки.

— Привел-таки Господь, святой владыко, свидеться нам в сем мире, в юдоли плача и горя!.. А я, по правде сказать, и не чаял того!..

— Нечаемое свершается днесь, как в святом писании сказано... Я, патриарх всея Руси, под чужою личиною должен принимать духовных чад своих, самых близких сердцу!.. Обманом, таючись, беседу с ними веду... Ох больно это, нестерпимо тяжко!..

После небольшого молчания он снова заговорил:

— Што поделаешь! Так, видно, надо... Спасать землю родную — самая крайняя пора настала! Вот и душою того ради кривить приходится на старости лет! Против своей воли, видит Господь... ради спасения ближних неправду приемлют уста мои, и то перед врагами явными, от коих пощады ждать нельзя!.. Ну, сядем... потолкуем. Про Ляпунова-то слышал?.. Знаешь?..

— Как не знать!.. Двадцать второго числа июля свершилось злое дело! Ляхи подстроили, сами казаки то говорят... Вчера, в девятый день поминали душу новопреставленного раба Прокофия, защитника преславного веры и Руси... Как подумаю, што не стало его... так даже в груди жмет и давит...

— А мне нонче «приятель» вон энтот, што тут при тебе стоял, поведал весть нерадостную... Поверишь ли, брат Денисий, в очах и слез уже не стало у меня, чтобы оплакать наши беды, коим нет конца!.. Нет вождя, избранного Господом. Земли опорой он был, последнею надеждой россиянам... И попустил Всевышний...

— Бог знает, что с нами творит. Я глубоко верю, что иного вождя пошлет, крепкого заступника нам и избавителя... И мы должны веровать... крепиться до конца! Иначе —

все пропало, коли мы дух утратим твердый да бодрость мужескую, как надлежит в такой час!

— Ты ли не камень, брат Денисий!.. Я про тебя, слышь, немало знаю! Обитель, чу! — выносишь один на своих плечах... Брат Авраамий, келарь ваш... Он, што говорить, умная голова, тебя не глупее... Да больно душою шаток. Гордыни много в нем, мирской он еще... Мало в нем иноческого, от Бога што, не от людей...

— Да, наш речистый брат Авраамий слаб на соблазны мирские... Как говорит пословка: «Хошь в грязной беседе, — да первым сидеть!..» Так и он...

— Да, да, слышал... как он было за Жигимонта распинаться тут принялся, когда вернулся от Смоленска... А теперь как, после грамоты моей? Или не унялся малость?

— Получше стал... Да и сам видит, не больно сила велика у ляхов... Когда наших ополченцев почитай сто тыщ подошло под Москву... И кабы не ссоры да раздоры вековечные... Следов бы теперь не осталось, духом бы ляхским не пахло в целой Земле, не то в стенах кремлевских!..

— Охо-хо!.. Будет ли когда конец испытаниям!.. Еще мы — што! Душа болит, но сыты-укрыты живем... А люд-то бедный... Голодный, бесприютный... Ты, брат Денисий, чай, по-старому поишь и кормишь тысячи нищего люду!.. Надолго ли еще хватит тебе казны-то монастырской?..

— Што там казна!.. Казны еще изрядно... Повытрясется наша мошна — из иных мешков понаберем кусков, как говорится... Не помирать же с голоду крещеным! Дети там малые, недужные, дряхлецы, воины раненые... Куды же им, ежели не в нашу крепкую обитель!.. Бог Единый им Отец и защита... Не подыхать же голодным людям, словно псам забеглым!.. Из народных, из мирских же подаваний собралась несметная казна в обители в нашей... Так пусть теперь и воротится к народу в годину грозную... Авось, как времена получше станут, — што взято у нас, сторицей нам вернут потом люди Божии... Таков мой расчет.

— Расчетливый ты у меня хозяин, што толковать. Господь тебя люби да помогай! Как доселе делал, так и делай. Гляди, не ошибайся. Сторицею, воистину, народ и Бог вернут обители, что теперь даешь взайм народу да Богови!..

Как малого ребенка, нежно погладил старец по голове бородатого инока и совсем ласково продолжал:

— Сердешный ты мой друг!.. Как был, таким и по сю пору остался... Сердце золотое, душа — адамантовая!.. Гля-

жу я на тебя — и словно легче мне становится на душе. А то уж больно темно вокруг, просвету ни малого не видать было!.. Пожарский-князь ранен... Ляхи — Ляпунова сгубили... Сын Маринки да убитого царька воровского, того гляди, воссядет на московский престол, куда его казаки вознести собираются... Я и то уж грамоту собирался писать нижегородцам, а те шобы Казанскому митрополиту переслали... Слушают его донцы. Пусть погрозит им карой Божией и мягко поувещает, чтобы бросили затею неподобную!.. Иначе — снова смута землю зальет... кровь потечет реками... А тут еще Смоленск поддался ляхам!

Хвалились мне недавно приставники мои, литовцы... Гонец оттуда прискакал с «радостною» вестью... Да, слышь, Хотькевича на помощь здешним ляхам шлет Жигимонт из-под Смоленска к Москве... Горе, горе!..

— Горе! — эхом отозвался Дионисий. — А што в Смоленске было, как рассказывают!.. С голоду — грызли землю люди, падалью питались... Раненые лежали без помощи, и раны загнивали у них, и черви ползали в ранах, по живым людям... Спаси Господь...

Затихли оба под наплывом скорби.

— Ну, рассказывай, што есть еще. Жду заодно, — печально заговорил Гермоген, нарушая молчание.

— Немного, слышь, вестей, святой владыко... да все — одна другой чернее!.. Увидеться с тобой хотелось, хоть повздыхать, поплакать вкупе да душу отвести... Жду испить от уст твоих целебный бальзам словес твоих премудрых, господине! Вот твердость мою поминал. А не хватает и твердости... Сил мне новых дай, утешь, разговори, отче! Изнемогаю... слышь, изнемогаю!.. Не стар я еще... И крепок... А вот тебя слабее духом, хоша ты телом тощ и слаб... и годами стар...

— «Плоть немощна — дух силен» — как оно писано есть... Ты прав, мое чадо любимое, не сдаюсь я еще!.. А почему?.. Много тебе говорить не стану. Гляди мне в очи прямо... Верую я! Видишь?.. Так веруй и ты! Надеюсь я, гляди!.. И у тебя в душе пускай не гаснет надежда, как у икон — лампад неугасимый!.. И загорятся души людские от огня того святого, небесного... И страхнут они вражье иго с себя, как паутинку малую... Знаю: минет наша ночь! И солнце над землею святорусскою ярко встанет и загорится, как встарь! Вещаю я не от себя, Небесные глаголы слышу и говорю тебе! Так — веруй, чадо... веруй!..

— Я верую... я духом оживаю, святой владыко... Еще...

еще вещай! — падая на колени перед старцем, прильнув головой к краям его одежды, стал молить инок.

— А што ж тебе еще надо!.. По вере — дается нам. По вере своей и по делам твоим спасен ты будешь... как и Земля родная спасется по вере чистой по своей.

— Скорее бы! А я себя не пожалею, помочь бы только люду крещеному.

— Ну, ну, добро! Садись да слушай. Мы о делах еще маненько потолкуем.

Среди наступившего молчания старец взял из книги письмо, которое вложил туда при появлении Пясецкого, и положил листок перед собою.

— Писать я начал тут, как знаешь, грамоты по городам... Подымать земскую силу захотел... А больше всего — нижегородцу, Козьме Минину веры даю. Он с помощью Божьей зачнет дело, помимо казаков... Тамо уж многое налажено. Да теперь, как узнал я вести про Смоленск, про сынка воровского... про убийство Ляпунова, вижу, часу терять нельзя, минуты единой. Вот грамоту поспешную я начал... Пусть рати собираются без промедленья! Вождя бы подыскали... и за дело, пока казаки со своим Воренком безлепицы какой еще не натворили новой!.. Вот столпчики припрятать. Пошли из лавры их, да поскорее... Тут раньше были люди у меня... А ныне и ворон ко мне не залетит из Русской земли, как в сказках говорится... Бог тебя послал... Пока жив я... Недолго уж осталось... Чувствую, сыне... Не печалься, брате! Тут разлучимся, свидимся на Небе!.. А грамотку не мешкая пошли...

— Не премину! Завтра поскачет гонец надежный... Дружков не мало в обители найдется... Еще што повелишь?..

— Пишу я тамо: как соберутся ополченья, — подале б от казаков держались, не вязались бы с непутевыми... с ордою их немирной... Не след мешать пшеницу с плевелами. А Бог им доброго вождя пошлет!.. Я верно знаю... И на бой с недругами!.. И потом, на главное место... мудрейшего вождя!..

— Воеводу-то отыщут... Есть люди ратные и добрые... Еще не вывелись в земле. А вот как апосля!.. Кого в цари возьмем! Ужли же иноземца!.. Иль снова из бояр выбирать придется... Лукавые, предатели они, как Шуйский-царь был... Али смутьяны и злодеи, как Годунов, как этот «черный» царь-убийца...

— Светлее найдется!.. Почитай что и сыскан. Пока — толковать опасно... Вот словно вижу его, небесного избран-

ника... Только до поры не назовем... Слышь, Скопина, князя-стратига нашего убрали скорехонько злодеи... Зачуяли враги, что он был бы царь, избранный всею землею!.. Так... лучше нам теперь помолчать... Вон и Филарет сам пишет: «Пока — молчок...» А он дела такие понимает!..

— Святой владыко, ты... про Михаила?.. Уж дважды речи шли, ево бы взять на царство... И говор-есть кругом... Уж разнеслись речи...

— Тс! Помолчи!.. Пусть дело само разрастется... Казаки, слышь,— и те стеною готовы встать за отрока... Затеиник Филарет им угодил и лаской всех привадил, покуда в Тушине его за патриарха держал царек воровской... Сам отрок... его я хорошо знаю... И благолепен, и благодатью Божией осиян немало!.. Да еще... Ин добро!.. Потерпим, поглядим... Кому там надо,— ты шепни словечко... с разбором, слышь! И да поможет Бог доброму делу свершиться без помехи!..

— Господь поможет! Сердце шепчет, што буде так!..

— Ишь, и ты прорицать стал, только лишь речь о царе зашла!.. Ох, нужен, нужен... Земле осиротелой царь надобен! Так уж привычна Русь. Она теперь без головы помазанной стоит, шатается, словно опьянелая! Царь — голова настанет, и ладно станет по всей земле... А, слышь, чадо, у нас нынче злые и добрые вести в одно смешались... Бродит вино в чану, новое, молодое... Великой чан тот — земля родная! Доброе вино и бродить должно посильнее... Так будем верить, и терпеть, и ждать!

— Терплю и верю, святой владыко. Буду ждать... Настанет светлый миг!

— Амины! А мы с тобою теперь помолимся хорошенько... штобы поскорее настал этот светлый денек...

И оба перешли в передний угол, к иконам, где простерлись с тихой горячей молитвой, от которой легко стало у обоих на душе.

Глава III

ПРЕД ПОДВИГОМ

(АВГУСТ 1611 ГОДА)

Около недели прошло после свидания Дионисия с патриархом.

Особенное оживление наблюдалось с самого утра в обширной усадьбе нижегородского выборного земского старо-

сты Кузьмы Минина, по прозванью Сухорука, по занятию — мясника, или «говядаря», как называли тогда.

Правда, день выпал праздничный, но в доме шли не совсем обычные приготовления и на поварне, где сама Миниха с засученными рукавами возилась с тестом и начинкой для пирогов, и во дворе, где готовились к большому приезду гостей, и в горницах, где накрывали столы, убирали все по-парадному, изрядно и красиво. Такие приготовления бывали в доме только на Пасху, на Рождество да на день ангела самого хозяина. А сейчас, хотя и кишит Нижний всяким народом, ради Макарьевской ярмарки наехавшим сюда чуть ли не со всех концов земли,— но у Сухорука самого нет никаких особых причин готовиться к большому приему, хотя бы ради какого-нибудь семейного торжества.

Слуги в доме и соседи, стораая от любопытства, в сотый раз судили и рядили: чего ради такие необычные приготовления идут? Но самые осведомленные знали только, что «гости званы» на нынешний день и сам протопоп Савва будет беспрерывно...

Чтимый во всем Нижнем за свою строгую жизнь и умные, горячие проповеди, отец Савва, и правда, не всех удостаивал своими посещениями. Но у Минина бывал не раз, и таких приемов ему не готовили. Значит, иной еще, более важный гость ожидается...

Словно ничего не замечая или, вернее, не обращая внимания на волнение, царящее вокруг, сам домохозяин рано утром засел у себя в небольшой горенке, служащей канцелярией и деловым покоем, щелкал счетами, подводил итоги в больших тетрадах, куда вносились городские, торговые и иные сборы, которыми заведовал Кузьма. Сюда же он велел привести и английского торговца, Джона Вольслей Меррика, который, как иностранец, невзирая на праздник, просил принять его по спешному делу.

Меррику надо было торопиться с отъездом, чтобы попасть к известному сроку на корабль, отплывающий из Архангельска в Англию, на родину; а ему не давали отпуска городские власти, так как не были выплачены купцом еще некоторые пошлины и сборы.

Пока земский староста рылся у себя в тетрадах и в книгах, отыскивая статью англичанина, пока подсчитывал полученные сборы и высчитывал, сколько следует получить еще, разговор пошел о печальном состоянии торгова и, конечно, коснулся общего горестного положения Московской земли.

Служанка внесла угощение, сыченый мед, небольшую

флягу заморского вина, несколько сортов наливки, печенья и сласти на блюде.

Англичанин с удовольствием смаковал наливки, пробовал русские снэды и своим ломаным русским языком выражал искреннее сожаление хозяину, который живыми красками сумел нарисовать иноземцу тяжелое положение родной земли.

— Охо-хо-хо! Вот то-то и оно, Жак Волосеевич! — глупо вздохнул Минин, перекрестив англичанина из Вольслея в Волосеевича по обычаю россиян: не стесняться с иноземными названиями. — Беды не мало было на Руси. А такой еще не ведывали ни мы, ни наши деды, ни прадеды!.. Уж много-много лет и не слыхали того, что самим ноне терпеть довелось... От чего и у сильных, твердых мужей слезы из очей льются, бегут, словно у баб алибо у детей малых!.. Забота одна у всех, одна печаль-кручина: как из той беды себя нам вызволить?.. Как да чем весь мир хрепченный избавить от врагов!.. Меня ты разумеешь ли, приятель?..

— О, йэс!.. О, та!.. Я ньет маку... я плоко каварить... А панимайт я все! Террор — у нас зави такое деля...

— Как ты его ни зови, а все легче не станет! Вот ты ко мне пришел со своей бедой-кручиной. Торговлишка у тебя плохая была... Не то расторговаться, — ошшо, баешь, с убытками воротиться до дому... Да ты ж до мой вернешься! Там, дома у тебя лад и покой... Там всю усталъ, всю досаду позабудешь. Што здесь потерял, там наверстаешь. Кругом тебя — семья, желанные, родные... За них — нет страха у тебя в душе... Ночью ты не встаешь, ровно пес цепной — не бродишь по усадьбе, не сторожишь: не видно ли злодеев чужих... али — своих, что хуже даже ляхов!.. Не ждешь, што враг нагрянет ненароком, обложит город, попалит жилища... Добро твое расхитит, опозорит женку... растлит девицу-дочь... Храмы, святыни Божьи — все опоганит!.. Тебя с детьми далеко уведет... в полон и в рабство ввергнет без пощады!.. Отцовские могилы будут поруганы, потоптаны, и даже прах отцов в земле не улежит, а вырыт будет и по ветру развеян!

— Террор! Террор! Вам нада ваш семля... забрать савет... как наш парльямэнт! И лорди ваши... и джэнтльмэнс... и кнайт... простой ваш люти... И делай эрми... зольдат, панимай... и прогонить враги! Ви — многа, их — ньет многа, я слыхала!..

— Вот то-то и беда, што нас не мало. Как будто даже

слишком многовато, так оно выходит, как поглядишь!.. У вас всей-то земли вашей клочок алибо два. Гонцов пошлете, разгоните сеунчей, а дни через три — они и назад могут с ответом. И зачинай тогда, што в ум запало, к делу приступай... Там оборону строить либо помощь миру, какая есть потребна... У нас — не то! Земля Московская, ох, — великонька!.. Ее и в год вся не обойти, не смерить! Положим, и враги в ней могут потонуть, захлебнуться, якобы в воде глубокой... Своею кровью подавятся!.. Но раней и нашей крови много прольется на родную землю... И видит это Бог... и терпит... Видно, за грехи наслал нам испытанье... Да, слышь, тяжка, непереносима кара Божия... Что за мука, сказать нельзя...

Умолк, тяжело задумался Кузьма.

— Та, та!.. Твой правда...

Выйдя из раздумья, Минин достал из поставца несколько свернутых столпчиков — писем.

— Во, гляди! Цидулы пишем сами и получаем из городов иных... Есть тут издалече, из-за Урала... Вижу я: понимаешь ты меня... Отраднo с приятным человеком душу отвести... Во, гляди... Пишут: им тоже в тягость наша теснота! Купечеству — разор. А хлебоборбу? Ложись да помирай! — одно осталось. Все дорого, нехватки, всюду голод. А то и мор гуляет по земле... Пора, пора за дело приниматься, за земское, за подвиг за великий... Бояр ждять нечего... Они себя уж показали. Теперя наш черед, людишек худородных, последних самых что ни есть... хто любит землю да веру святую чтит!.. Вот, братец Жак, совет ты поминал... По-нашему — выходит Земский собор. Али там, скажем: «Великой совет вся земли...» Уж сами мы видим: одно осталось спасенье — собраться миром да избрать царя. А... где уж тут?! Ни времени, ни часу. И не только враги теснят нас проклятые, — между своими споры идут бесперечь!.. Собралось ополченье великое, и было три вождя. Наш, земский, Ляпунов. Второй, дружок казацкий, боярин, князь Дмитрий Трубецкой; атаман Заруцкой третьим был у них, главный коновод орды казацкой. Так нашего-то, земщину, — взяли и убили! За то, што ворам — казакам — потачки не давал... И всякого убьют, кто полной воли им давать не захочет. Оттого и страх кругом, и вождей хороших не объявляется у земского люду. А на воров-казакoв плоха надежа. Ты понял ли, друг сердечный?.. А будешь у себя, — скажи, пожалуй, своим поведай, как тяжко было нам, как мы с бедой справлялися, призовя Творца Всевышнего на по-

мощь!.. Одни отцы святители теперь нас и выручают, ведут за собою мирян. Святейший патриарх Гермоген да Савва, Дионисий, Палицын ошшо Авраамий, келарем он в той же Троице-Сергиевой лавре... Знаешь!.. Новгородский владыко Исидор да Казанский митрополит... Таких наберем не мало... Да сохранит их Господь и да поможет им, а они за нас пуская умолят Бога да нам помогают своими поучениями...

— Йэс! Патриарк... ваш сами глянни пастор... и ваш другой священник... О, эта карашо. Типэрь — найти адин... штоби лорд-диктатор биль. Штоби он вадиль зольдат... Штоби праганиль враги... очищаль земля... А послы — парльямэнт и — вибираль тсарь!.. О, йэс! Так карашо!..

— Не миновать иначе. Ты — чужак и то уразумел. А мы — слезами плачем да ждем, когда-то приспее святое дело в добрый час!.. Вот обыскаемся с иными городами. Уж дело на мази. Волею Господней, видно, сотворилось, што Жигимонт, круль польский, самый главный недруг наш, домой ушел на некое время... Поворовал, пограбил, Смоленск забрал себе и насытился на время. На помочь только ляхам, што в Кремле Московском засели, — гетмана свово послал... Да энто не больно страшно. Передохнем маленько, с силами сберемся — и за дело... Полгода, годик бы еще нам роздыху взять... Господи, услышь молитвы детей Твоих!..

Словно в ответ на это моление чей-то сильный, приятный голос раздался за дверьми каморки, зачиная обычную молитву, произносимую монахами при входе куда-нибудь:

— Господи Иисусе Христе...

— Сыне Божий, помилуй нас! Амины! — торопливо закончил Минин, узнав знакомый голос. — Милости прошу, брат Вонифатий! Гостёк тут есть... так он не помешает: сам — англичин и добрый человек!..

Хозяин обменялся поклоном с вошедшим иноком, который учтиво отдал поклон и англичанину.

Это был светловолосый, уже немолодой человек лет сорока пяти. Его открытое лицо, суровая складка между бровей и особенно горделивая постань, вся повадка и выправка напоминали не смиренного инока, а скорее — военного человека, да еще не рядового воина, а витязя, привычного повелевать и видеть вокруг общее повиновение. Весь иноческий наряд, костыль, сума через плечо, как обычно у монахов, идущих за сборами, — вовсе не вязались с полными внутреннего достоинства приемами монаха, с его быстрым, упорным

взглядом, каким он, забыв порой смирение, приличное его сану, окидывал собеседника.

Инок занял место на лавке, указанное ему хозяином, а Вольслей поднялся.

— Я собираль домой... Гуд-бай, казаин!.. Козимо Миньин, йэс! Я верна кавариль! Твой сам панимай: ест многа дель для мой... Я — маркт пляхой... Тавар — прадаваль мала!.. И рубель-рубель нада собирать от ваш купси... Ти как шиталь, мистер Козимо?.. Я прошлин и сбор фор мэгедзин... как многа нада вам ешо платить?.. Ту рубель энд тшети-ретэн пени?.. Йэс?.. — мешая русские слова с своей родной речью, спросил англичанин.

— Так, друг мой любезный... Ошшо не донесено... — взглядывая в тетрадь, сказал Минин. — Следует с тебя... два рублика... четыредэсать денёг... да, слышь, две чети... Тут — мало! — взяв деньги, отсчитанные и поданные ему Джоном, заметил Кузьма. — Али уж свои за тебя додаты?.. Казна — чужая, не моя, градская. Тута за все надоть чох в чох!..

Взяв еще медяк, поданный англичанином, он продолжал:

— Купеечку нашел... Добро. Подожди, сдам полкупейки сдачи, как надобно... Во, получай, в расчете мы теперя. А вот тебе и квиток. Тамо покажи, в избе земской, получишь ярлык на выезд. Ну, будь здоров! Хозяюшке твоей поклон. Хоша ее и не видал, заглазно знаю мистрессу твою... Судя по мужу, чаю — хороша и разумом взяла! Ты — башковитый и душевный парень! Прости! Счастливый пути!

Пощеловавшись по русскому обычаю и проводив гостя до сеней, Минин вернулся к иноку, который тоже обменялся поклоном с Вольслеем.

— Хороший господин, видать... Такой учливый, хоша и бусурманин! — пророкотал своим сочным голосом инок.

— Да-а! Народ у их куда дошлее нашего. Да теснота большая. Дак вот и в наши дебри глухие заносит Господь торговых иноземных гостей... Им добро — и нам не худо. А ты, слышь, ноне и в путь собрался, брат Вонифатий. Так ли?..

— Да все уж поужолил свое хоботье и сборы, что послал Господь для обители... Попутчика Бог дал. Купец-знакомец едет на Володимир. А оттель до Москвы рукой подать, гляди!

— Не чаял я, што ты из долгоруких, — улыбаясь, заметил Минин. — Видать, что к большим походам попри-вык, пока в миру воином живал!.. Ну, с Господом... Пошли Бог добрый путь на ясные дни... во всех делах удачу! Для

владыки, для патриарха, вот я цидулу махоньку покуль приготовил. Бери, припрядь... Что далее будет, больше отпишу... Про все тут... Про Воренка... про псковичей... На все его слова ответ даю, какой умею. Про дела про наши неважные... Добей от нас челом святителю-владыке святейшему!.. Ждем от него писаний и посланцев. Припрятал писанейцо-то?.. Добрый путь!.. А это вот... прошу я, Христа ради, на свечи да на масло получи, честной отец. Не посетуй, што мало. Чем богаты, тем и ради!

— И-и, друже!— принимая деньги и пряча их в кису, проговорил монах.— От тебя бы и брать не надо подавня! Не знаю я, што ли, сколько ты даешь тут... не то просящим, а кто и просить не идет... а поглядит своим голодным зраком в очи твои пресветлые!.. Да не обижу, возьму и я. Господь тебя вознаградит сторицею. Рука бо дающего не оскудеет!.. Прощенья, брате, прошу! Оставайся здоров.

— Меня прости!— с поклонами провожая инока, сказал Минин.— Скорее ворочайся!

— Не миновать, што снова скоро побывать! А владыке-патриарху я все доложу. И ты пописывай. Теперя купцы потянут с торгу на Москву гусем... Свезут што надо...

— Без конца потянут!.. Уж я не премину... Глянь, и сосед валит, да еще не один!— увидя двоих новых гостей, воскликнул Кузьма.— Ты, брат Вонифатий, удачливый. Сам за порог, так на твое место иные на порог!.. Прости! А ты, братан, пожалуй милости, в горницу входи!— обратился он к соседу своему, к торговцу Федору Приклонскому, вошедшему в сени. Затем поклонился и второму, Василию Онучину.

— И ты, Васенька, входи! Вы ноне — скопом! Коли к пирогу энто гужом потянули, так раненько, гляди... Не пора обедам... О! Ошшо гостек! Ну, видно, от дверей не отойти мне ноне, как оно говорится в присказке в старинной: «Ворота у околицы до веку прикрывать да раскрывать!» Милости прошу! Сюды... сюды!.. Все — гости дорогие! Гей, Демущка!— кликнул он приказчику — парню, подошедшему в сени.— Скажи-ка тамо хозяйке, медку бы нам подали... да ошшо чево ни на есть... Да поживее!

С поклонами, с говором входили гости один за другим и занимали места в большой парадной горнице, у накрытого стола, куда привел их хозяин.

Все это были люди, мало знакомые между собою, приезжие торговые гости из разных городов. Но между ними выдавался своей сановитостью и нарядом Пимен Семеныч

Захарын-Юрьев, родич Филарета, служилый боярин, и князь Кропоткин, одетый тоже по-праздничному, как подобало его званию и чину. Им обоим Минин указал место в переднем углу, где под иконами осталось еще одно свободное место, словно ожидающее кого-то.

— Хозяину и дому мир и благодать с хозяйшкой его да с детками... с чадами и домочадцами!..

— С хорошим днем да с праздником!..

— Со Спасом со святым!

С этими пожеланиями и приветствиями входили и размещались гости.

— Спаси Господь и нас, и нашу землю!— молитвенно отозвался хозяин, кланяясь гостям.— Челом бью, други, сваты... братья дорогие!.. Благодарствую, што зовом моим не погнушались, послушали меня... Честь в моем доме мне оказали!.. Погостевать пришли-пожаловали!..

Затем, налив первую чару, поднял ее и возгласил:

— За здравие святителя-патриарха Еромогена всея Руси! За него перву чару пьем, коли нет царя, штобы пить ее, как от веку водится!.. Да воскреснет Бог и да сгинут недруги, все лиходеи наши!..

— Амины!— пророкотал общий отклик.

Чару неторопливо осушили до дна. Слуга снова наполнил чарки.

— Пока ошшо не все мы собрамшись, хто нынче зван, так грамоту владыки-патриарха апосля послушаем да обсудим... А покуль — свое у каждого найдется, чай, штобы сказать хотелось. Так полагаю. Люди все свои. Што поважнее, то и повыложим. Пимен Семеныч, гость дорогой! Какие у тебя вести, не поведаете ли, пожалуй?— обратился хозяин к Захарыну-Юрьеву.

Оглядевшись кругом, медленно заговорил боярин, словно обдумывая и взвешивая каждое словечко.

— Гм... да... У меня, слышь... нового, слышь, маловато... Вот, слышь, самому хотелось доведаться, што на Низу, слышь... у вас-де што творится?.. Гм!.. Как уезжал, мне молвила золовка, старица Марфа, слышь... «Побудешь-де, братец, ты теперя на вольной волюшке! Нас держут здеся ляхи, словно узников, в Кремле... Што вся Земля? О нас не позабыла ль? На выручку спешит ли?» ...Так старица Марфа, госпожа честная, мне сказывала на прощанье. Да отрока, слышь, повидать удалось... Племянника, красавчика — Мишаньку...

— Видал его, боярин?..

— С им говорил! Каков, скажи!— слышались голо-
са.— Всем нам знать охота!..

— Уж так-то мил! Уж то-то доброта! Разумен как да
речист! Иной и в пятьдесят того не разберет, што он, мой
светик, в пятнадцать годков разумеет! Тоскует все, што тес-
нота в Земле... Мне сказывал однава: «На волю бы мне! Со-
звал бы я дружину... Сам на коня да и повел бы за собою всю
земщину!.. Дворяне, хлебоборбы, служилые — все, чай, пой-
дут на выручку Земле!» Побей Господь, слышь, сам мне так
говорить изволил!..

— Еще бы не пошли! Все пойдем!— вырвался общий
отклик, как из одной груди.

— Ну, вот! Ну, вот! «Сам,— слышь, бает так он мне,—
сам пускай я сгину, а от врагов очистил бы край...»

— Нет! Пусть живет!.. Ошшо он пригодится, отрок
благодатный!— отозвался громко Минин.

— Подоле пусть живет!— подхватили голоса.

— Э-эх, дай Господы!.. А малый, слышь, хошь куда! Вы-
прóсил у матери маненько деньжат, слышь... Живут и сами
куды как скудновато... А мне и бает, слышь: «Где кого уви-
дишь, кто нищ и наг,— вот и раздавай помаленьку, гляди!..»
Право.

— Миленок наш! О чем ему, отроку, уже забота приспе-
ла!.. О, Господи, храни его Пречистая!

— А станет постарее,— гляди, совсем мирской заступ-
ник будет!

Эти восклицания покрыли речь Захарьина. Он выждал
и снова заговорил.

— Што и говорить! Прямой заступник! Такого и в роду
у нас еще доселе не бывало. Отец хорош да ласков, владыко
Филарет... Да мать, слышь, сама — Шестовых роду знач-
ного... И умница, и ангел во плоти, не потаясь скажу...
А отрок их еще милее!.. Видит Бог, не по родству, по душе
говорю, как перед Истинным!..

— А, слышь, какие вести от Филарета да што чуть про
великое посольство?.. Кто знает повернее?.. Был здесь слу-
шок некоторый?..— кинул вопрос Приклонский.

— Зачем слушок!— заговорил молодой еще, нарядно,
по-купечески одетый гость, с выщипавшимися волосами и юною
бородкой, оттеняющей своим темным пушком румяное
лицо с добрыми серыми глазами. Это был Федор Боборы-
кин, наполовину купец, наполовину — служилый человек,
из каширских дворян-однодворцев, разбогатевший удачны-
ми торговыми оборотами и принявший купеческую складку.

— Зачем слушок!— повторил он.— И сам вот я к вам
с верными вестями. Был я по торговым и по иным делишкам
на Литве... и тамо владыку Филарета сам повидал, хоша
и с опаскою великою! Стерегут святителя ляхи! Цидулу
от него принял да свез на Москву к старице Марфе, к чест-
ной госпоже. Ответы взял. Отседа повезу опять туды их...
Дешево товары я ляхам продаю... Так и они меня полюби-
ли... Всюду доступ мне чинят... И попригляделся я хоро-
шенько к ихним порядкам и делам. Как я видел — не
страшны нам ноне ляхи да Литва! Смоленск, правда, от-
хватили у нас... да и сами в кровь разбились о кулак наш
о русский; уж не скоро сызнова круль ихний нагрянет к
нам, на Русь... Под Москву не сам же он поехал, Хотькевича
послал, и с небольшою ратью... А тот Хотькевич известен
нам, вояка неважный!.. Приспееет пора, ослопьями погоним
их прочь из царства! Одна беда: все первое и вящее бояр-
ство тамо сидит, захвачено в полон треклятым Жигимон-
том!.. Почитай, и совету воинского алибо земского некому
здесь и подать. Да авось Земля сама в делах поразберет-
ся... Дела хоша и тяжкие, да не больно мудрые!.. Погнать
врагов надо! Тогда и Владислава-еретика на трон сажать
не доведется. Своего найдем царя. Так пишет святитель
Филарет... И старый князь, Василь Василич Голицын,
с им заодно стоит. А прочие, кто тамо... Толкуют: «Только
почнете вы святое дело, выбивать учнете врагов, тогда и
нас Жигимонт отпустит, рати московской поопасается! А мы
придем к вам и станем на подмогу царству и советом, и кровь
пролить не убоимся, коли нужда приспееет!» Вот што слы-
хать доподлинно, честные господа!

— Да! Починать пора бы!— зашумели кругом.— С како-
го лишь конца почнешь, кто ево ведает!.. Задумаем, как луч-
ше... ан, глядишь,— и хуже дело станет! Закипят враги от
злости, што потревожим их да не одолеем... Прижмут тода
ошшо сильнее Русь и народ православный!.. Думать надо
туго!..

— Да, обтолкуйте... подумайте, други мои, господа чест-
ные!— поднял голос Козьма.— Крепче думу думайте, живее
дело решайте... пока терпенье есть ошшо у людей... Пока
последнее не повалилось! И то уж чернь у нас, тута, как
и на Москве, от голоду за топоры да за ножи берется... да...
Господи помилуй! Лучше не вспоминать. А што ошшо есть
у ково?..

— Мои такие вести, што их, поди, все знают, про Новго-
род наш про Великой!— угрюмо заговорил Кречетников,

пожилой посадский, зажиточный, торговый человек.— Как свеи взяли город наш и кремль Новгородской?.. Слышали, да!

— Да, как им удалось?..

— Шешнадцатова июля, я слыхал, случилось лихое дело... Бой, што ли, был у вас?

Кречетников оглядел всех, кто засыпал его вопросами, провел по лицу рукой и негромко, скорбно начал:

— Какой там бой! Обманом да подкупом в ворота пробрались... Наши схватились было малость с ихними полками... Да видят, што не устоять, и уступили... штоб до конца не разорить угла родного да стены Святой Софии охранить от поруганья вражеского... от пролитья крови у алтаря Господня!.. Митрополит наш Сидор да с ним князь-воевода Иван Никитыч Одоевский запись написали... И стало так, што не царь московский, а свейский королевич Карлус нам ноне государь. За свейским королевичем вся земля Новгородская, до Пскова и за Псковом! А государить будет он в Новгороде особо и от земли Расейской, и от Свеи. Оно словно бы по-старому, вольным городом стал наш Новгород. Да, лих, не по своей вольной воле, по вражьему, по свейскому хотению! Без веча старого, без воевод посадских и выборных... а с лютором-круленком на плечах! Коль вмогуту, так, братцы, выручайте!

Выйдя со своего места, Кречетников в землю поклонился всем остальным гостям Минина.

Печальное молчание настало после его слов. Каждому хотелось найти слова утешения, надежды... Но их не было...

Но Минин первый справился с угнетенным состоянием.

— Э-эх, не кручинься, сват Василий Пармены! Господь не выдаст — свеи не сожрут! Мы с Саввою, с отцом протопопом, толковали уж о деле вашем. Скоро он быть дол... Да стой, гляди,— живо заговорил хозяин, глянув в окно.— Вот он сам и жалуется. Недаром сказано: звезду помянешь, звезда выгянет...

И он пошел встречать протопопа, который явился в сопровождении еще шести-семи человек, среди которых был и Сменов, друг Минина, приказной дьяк московский в Нижнем.

Савва, дав благословение хозяину и всем гостям, занял почетное место под образами. Остальные вошедшие разместились на свободных лавках и табуретках, придвинутых слугами. Выпили, стали закусывать, только стук ложек был слышен в комнате.

Наконец отодвинув от себя остатки еды, Савва оглядел стол. Все насытились. Можно было начинать и беседу.

— О чем толковали без меня?— спросил он, обращаясь к хозяину, Минину.

— Помалости о разном,— откликнулся немедленно тот.— Ждали, отче, как ты пожалуешь, теперь головное и почнем толковать. А между прочим, шел тут толк про Михаила, Федорова сына, Романова... слышь, Юрьевых-Захарьиных роду... Господь почиет на отроке, коли послушать, што люди говорят...

— Воистину! Слыхал я тоже слухи... Што там Господь пошлет... Он надоумит нас, когда час приспее... А вот покудова больно плохо у нас кругом! Беда! Крест тяжкий несем мы все теперя! За наши грехи послал Господь... Ужель отринем испытание Божие... Уж до конца чашу пить! Как Сам Христос Распятый отц и желчь испил в Свой грозный час!..

— Вот, вот... Владыко-патриарх также само пишет!.. Вот грамотка его последняя; чел я ее, сколько раз, и не сочту. Почитай, всю вытвердил наизусть!.. Слушайте, господа честные, што пишет владыко...

Откашлявшись, Минин действительно почти на память стал читать послание Гермогена, написанное торопливо, больною, дрожащей, старческой рукой...

Это было последнее письмо, какое мог послать патриарх. Поляки убедились, что старец сносится с Землей, возбуждает дух москвичей и всех россиян, зовет их на борьбу,— и Гонсевский совершенно постарался отрезать Гермогена от внешнего мира, окружив его темницу усиленным надзором.

Громко, внятно читал Минин это послание, не зная того, что оно является как бы завещанием непреклонного духом, но слабого телом старца, который через полгода тихо угас от истощения, от нравственных мук и телесных лишений, каким подвергался в своем заточении.

«Благословение архимандритам, и игуменам, и протопопам, и всему святому собору, и воеводам, и дьякам, и дворянам, и детям боярским, и всему миру от патриарха Гермогена Московского и всея Руси. Мир вам и прощение и разрешение. Да писать бы вам из Нижнего в Казань к митрополиту Ефрему, чтоб митрополит писал в полки к боярам учительную грамоту да и казацкому войску, чтоб они стояли крепко о вере и боярам бы говорили и атаманам бесстрашно, чтоб они отнюдь на царство проклятого Маринки панына

сына не благословляли, и на Вологду ко властям пишите ж, да и к Рязанскому пишите же, чтобы в полки также писал, к боярам учительную грамоту, чтобы унял грабеж, корчму, и имели бы чистоту душевную и братство и помышляли б, как реклись души свои положить за Пречистыя дом и за Чудотворцев и за веру, так бы и совершили!..

Да те бы вам грамоты с городов собрати к себе, в Нижний Новгород, да прислати в полки к боярам и атаманам, а прислати прежних же, коих ести присылали ко мне с советными челобитными бесстрашных людей: свияжанина Родиона Матвеева да Романа Пахомова, а им бы в полках говорить бесстрашно, что проклятый отнюдь не надобе, а хотя буде и постражете, и вам в том Бог простит и разрешит в сем веце и в будущем; а в города же для грамот посылати их же, а велети им говорити моим словом. А вам всем от нас благословенье и разрешение в сем веце и в будущем, что стоите за веру неподвижно, а аз должен за вас Бога молити».

Знакомая всем подпись заключила это спешное, наскоро набросанное послание, в котором сквозили мучительные опасения старца за судьбу родины, чуялось лихорадочное напряжение, с каким он, не выбирая выражений и оборотов, повторяя одно и то же несколько раз, старался сильнее высказать свою главную мысль, врубить ее в сознание тех, кто будет читать тревожный, отчаянный призыв, мольбу: не щадить себя и стать на защиту Руси и православия.

Крупные капли пота выступили на лбу Козьмы, когда он закончил чтение.

Послание пошло по рукам, каждый вглядывался в неровно набросанные, дрожащею, очевидно, рукою выведенные строки, словно хотелось им открыть еще более глубокий, тайный смысл за этими призывами и мольбой. Иные благоговейно целовали подпись, будто касались губами исхудалой, прозрачной руки святителя...

Минин, между тем перешепнувшись с Пахомовым и Моисеевым, о которых поминалось в послании Гермогена, взволнованным голосом, негромко, но решительно, почти властно заговорил:

— Внемлите, други и братья! И ты, святой отец! Час, видно, подоспел... Сил более не хватает выносить обиды от недругов! Хоть кара нам дана и по грехам... Да — Землю всю жаль!.. Робяток неповинных... Али за грехи отцов им тоже погибать? Али для всей Руси пришла теперь гибель!.. Вон и патриарх святейший наказывать строго изволит

упросить митрополита Казанского, чтоб устыдил разбойников-казаков!.. Собираются, никак, они Ворёнка сажать на трон да присягнуть проклятому! Теперь не пора для обоюдной свары, для перекуров стародавних. Казаки же — народ крещеный, не вовсе басурмане. Авось одумаются, коли им крепко поговорит митрополит Казанский. Он с ними ладил завсегда. Честной отец, не исполнишь ли приказа патриаршего? До Казани не больно далеке. Не съездишь ли, пожалуйста!..

— Готов! — коротко отрезал протопоп. — Да со мною, чаю, и еще кто ни есть поедет?

— Вот, наших двое! — указывая на Онучина и Приклонского, подтвердил Минин. — Да, ошло вот, — дворянин московский, князь Петр Кропоткин... Да разве, кум, тебя ошло просить! — с поклоном обратился он к дьяку Сменову. — Ты — человек ученой, дело знаешь... И мы тебе все верим же!..

— Я не прочь. Как люди, так и я! — быстро отозвался Сменов. — Нам от людей не отшибаться... Еду, Миных. Твой слуга, мирской работник!..

— С того тяжкого дни, как пал преславный воевода Прокофий Ляпунов от рук буйных лиходеев, казаков, — рассеялись земские рати, ополчение, што на выручку собралось, врагов прогнать примерялось... Но полки нетрудно снова собрать. Прежние начальники согласны за дело снова взяться... Города нам пишут, что людей дадут, и денег, и припасу... Може, тут есть люди, кто знает, что на местах задумали братья, христиане православные?.. Послушаем их речей.

— Да... Надо бы услыхаты! — раздались голоса.

— Чаво много баяты! Калужские — все наши наготове! — первый откликнулся Смирной, пожилой, степенный торговец. — Пушай люди починают, а мы не отстанем!

— Из Галича нас тут целых трое, — заговорил темно-волосый Савва Грудцын. — Вот, значит, я...

— И я! — подал голос его товарищ, служилый человек, Яков Волосоминон.

— Из Галич и моя! — подал звонко голос Отлан Сытин, молодой мурза, одетый наполовину по-татарски, наполовину по-московски, с дорогим оружием за поясом, с ятаганом в блестящих ножнах при бедре.

— Галичане родной земле да вере православной искони служили! — за всех повел речь Грудцын. — Чуть клич пойдет по Руси: на врага, в бой! — галичане в последних

не бывали, все первыми... Послужим сызнова, по-старому. А выберут, Бог даст, царя, так мы и того охотнее вступим в дело. Тогда будет кому заслугу нашу награждать... А мы и людишек соберем, да малость и казны дадим, коли такое дело... А ежели в цари выберут, ково мы сами метим, тогда...

— О том речи покуда впереди!— остановил Минин словоохотливого галичанина.— А што Кострома скажет?— обратился он к Головину да Жабину, двум влиятельным обывателям-костромичам.

— За правду... за сирот... за Землю всю, вдовицу печальную — ужли не встанем!— даже срываясь с своего места, горячо проговорил Жабин, молодой, красивый богатырь.— Мы же не казаки... А, слышь, и те в совесть пришли, на ляхов в бой собралися! Как прослышали, што идет Хотькевич на помощь своим, запертым в Кремле Московском. Так неужто мы их хуже, за крест святой, за родину грудью не постоим! Уж себя не пожалеем, а с треклятыми потягаемся...

— Скорее бы очистить только Землю да боярина нашего юного, Михаила...— начал было второй костромич, Головин.

Но Минин снова остановил не вовремя начатую речь:

— Ладно! Добро. Ошшо кто слово молвит?..

Поднялся грузный, толстый татарин, князек Иссупов и громко заговорил, кланяясь на все стороны:

— Бачка!.. Арзамас — нас пасылали сюда.. Москов нам брат... А лях — ми будим бить! Айда на ляхи!..

Сказал и сел, даже отдуваясь от трудного для него дела: передать по-русски наказ арзамасцев-татар.

— Молчит Москва... вот как и я молчал доселе!— начал Кропоткин, на которого теперь перевел свой взгляд Минин, как бы приглашая тоже высказаться по общему примеру.

— У ляхов — Кремль Московский!— так же негромко и печально продолжал князь.— Владыка Гермоген, бояре, вельможи, какие есть еще у нас в земле,— какие не взяты в полон Жигимонтом, все тамо! Держат их ляхи крепко взаперти!.. Но ежели у стен Москвы, испепеленной врагом, покажутся земские дружины!.. Чаю, из пепла люди выдут им на помощь, как птица Феникс, век не сгорающая и в самом огне! Поляки пожгли дома, пограбили добро. В пустыню, в погорелое кладбище обратили весь престольный град... Отцы и деды восстанут из гробов поруганных... Святители московские появятся из рак своих... Из соборов, из усыпальниц своих тяжелых, каменных восстанут князья, цари...

В челе дружины земской встанут, ужас нагонят на врага и предадут его нам в руки, когда Господь захочет! Вот што мне сдается... Недаром знамения уж были...

— Были, сыне, были!— проговорил Савва, захваченный ярким настроением Кропоткина.— У нас, здесь, в Нижнем ошшо в мае видения чудесные являлися инокам и мирянам, известным своею жизнью отменно чистою... Господь сам знаки дает. Это ты верно, княже, молвил... С нами Бог!

— Верю, честной отец!...— упавшим голосом, потрясенный своим порывом, откликнулся Кропоткин.— Но... поспешайте!.. Христом Богом закливаю! Сил не хватает выносить, што ныне на долю всем досталось!..

— Помилуй Бог! И впрямь уж нет терпенья!..

— Хоть погибать, да Землю выручать!..

— В безвременье который год томимся! Ужель не будет и конца смуте да разоренью нашему!..

Эти возгласы послышались со всех сторон.

Их снова покрыл сильный голос Минина:

— Нет! Близок он, конец разрухе нашей!.. Теперь — я молвлю слово, как уже давно надумался до этого дня...

Все стихли. Помолчал и Минин несколько мгновений, словно собираясь с мыслями, и снова начал:

— Как вижу я и слышу, дружины боевые будут у нас... Пожалуй, не менее, ежели не более того, што с Прокофием Ляпуновым шли под Москву от Рязани да от Ярославля... Уж и теперь просится к нам на службу не мало прежних полков, хоша и не устроенных порядком, но людных, опытных в ратном деле. Они покинули земский стяг, когда не стало Ляпунова в живых. А дела не кинули, ищут только надежного вождя... Казну — сберем и здесь, и по городам иным... Обители святые тоже придут нам на подмогу. Уж троицкие владыки, Дионисий да Авраамий Палицын, сказали нам свое верное слово. Другие монастыри, чай, тоже не поскупят на такое дело, для Земли освобожденья! Одначе есть ошшо препона... Как дело повести?.. Братся ли вновь с казаками заодно... али спасать нам Землю одною земщиной, одною земской грудью?.. Казаков не мало, што и говорить! Могучая орда! Да не видать добра от этой хищной рати, одну беду сулила до этих пор помога да услуга казацкая... И патриарх святейший тоже наказывал: идти Земле войною противу свеев, ляхов с литвою и... казаков! И коли рати наши соберутся — стать от казацкого табору подале, стоять розно... Их не звать к совету, к ним не ходить. До крови с ими биться и смирять их, штобы Земли не хити-

ли, как хитят до сих пор в годину столь великих бед!.. Штобы они уж более не мутили никого своим царенком Воровским да Маринкою-еретицей треклятой!.. Штобы злобой да неправдами разными не разгоняли земский ратный люд!.. Подале от греха, так менее и согрешишь! Так приказывал патриарх-владыко...

Сразу заговорили в несколько голосов гости Минина, едва он умолк.

— Чево уж тут! Все видимо давно! Нечистый попутал нас с казаками этими...

— Казаки нам враги, не лучше ляхов...

— Што подале от кузницы, менее дыму да копоти, не мимо говорится!..

— На всех врагов своих — тяжелой рукой надоть ополчиться... Тода и толк буде, и дело впрок пойдет!..

— Свои враги, домашние куды опаснее и злее, чем чужие лиходеи!

— Ну, и быть по тому!— снова заговорил Минин.— Последнее ошшо словечко дозвольте молвить. Отец честной, мирские все дела у нас на этот раз покончены. Но остается дело святое, вселенское еще на череду. Мы тута вначале растолковались, што Господь посылает на нас кару не иначе как за грехи великие! Алибо за чужие. За Годунова ли аль за царя иного... Теперя уж не время и разбирать того... Так искупить мы должны прегрешения те тяжкие... молитвою, раскаянием да постом, на целую землю наложенным! Владыко-патриарх того желает... Очистить Русь и нас хочет от греха. И мы на то согласны. Твори молитву, отче, вместе с нами. Здесь мы тому благому, великому делу и почин положим ноне. По Руси отсель пускай несется это слово старца-святителя: «Очистим грех молитвой да постом...»

— Аминь! Аминь!— снова подхватили все.

Осенясь широким крестом, Савва обратился к иконам и, полный трепета и скорби, вдруг, словно по наитию, заговорил не обычные слова заученных молитв, а то, что сейчас рвалось из груди, просилось на язык.

— Царь Небесный! Жизни и благ Податель!— молился Савва.— Ты, Утешитель страждущей души... Внемли молению рабов Твоих, склоненных во прахе! Услыши и прими святой обет. Очисти души наши ото всякой скверны, яко тело мы очистим здесь постом, раскаянием и молитвою прилежною! Нас вознеси из бездны зои, яко мы возносим воздыхания и мольбы наши к престолу Твоему... Дай про-

зрение душам темным, во гресех пребывающим... Слей в единении все наши братские сердца на гибель врагу и поругателю Земли и веры!.. Дай одоление над насильниками! Верни покой измученному люду христианскому, отжени невзгоду, даруй нам мир! Каемся во многих грехах своих! Молим Тебя, Господи... Не отрини сиротской нашей мольбы!

Рыдая, упал на колени Савва.

Все пали ниц вслед за ним, бия себя в грудь, заливаясь слезами.

Глава IV

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ

(ОКТАБРЬ 1611 ГОДА)

Черно от народу на Соборной площади нижегородской. И кого-кого тут только не видно! Свои горожане, селяне из пригородных и дальних сел и деревень, торговый, приезжий люд, земские ратники свои, нижегородские, ярославские, костромские, вологодские, галицкие, всякие. Большинство — из дружин великой земской рати, разошедшихся из-под Москвы в конце июля месяца, после убийства Ляпунова, любимого вождя народного.

Нищие, женщины, дети, бедные и богатые, старые и молодые — все скинулись в одно море голов, в многоцветное живое поле, сверкающее всеми оттенками радуги, благодаря цветистым одеждам более зажиточного люда. Красные верхи шапок у казаков, которых тоже не мало на площади, мелькают, как большие цветы мака либо как сказочный «жар-цвет» папоротника на Иванов день... Оружие на войнах, начищенные шишаки иных дружинников, кольчуги, латы поблескивают на солнце живыми огоньками, грозными и веселыми в одно и то же время.

Говор и гомон стоит над толпой, разливаясь в морозном воздухе ясного, погожего дня. И гулкий зов колокольный перекачивается над этими спутанными, рассеянными, невнятными звуками, как проносится тяжкий громовой раскат над темным лесом, трепещущим и шумящим листьями под налетом грозы...

Десятники с целой ватагой подручных сторожей соборных и «рядских», из торговых рядов, стараются сохранить порядок хотя бы вблизи паперти и очищают путь для шествия духовных и мирских властей к собору из ближней Зем-

ской избы, где все они заранее собрались на совещание.

Но усилия сторожей и десятников напрасны. Едва успеют они пробить пролом в сплошной стене народной в одном месте и двинутся дальше, как тут же народ снова слился в одну скалу, в одно сплошное, многоголовое тело, во все стороны растекающееся под давлением собственной силы и тяжести.

Охрипли десятники, надрываясь от окриков на толпу, стихийно напирющую со всех сторон.

— Да идолы! Да вы куды же прете!.. Простору, што ли, мало на всей на площади, што в энтот конец вас несет, галманов! Все тиснутя в одно пятно! Вот стадо безголовое! Истинно, овечье стадо!— толкая без стеснения тех, кого толпа вынесла в передние свои ряды, пуская в ход и кулаки, и рукоятку метлы, взятой у метельщика, злобно бранился здоровый рыжебородый десятник, стоя у самых ступеней паперти.

И за ним на паперти, тоже уступами темнеет стена людей, набившихся туда чуть не до свету. Смех раздался здесь среди группы парней и девушек.

— А ты козлом либо бараном приставлен, видно, што так бодать всех норовишы! — зазвенели сверху молодые голоса. Уверенные в своей безопасности, они не могли упустить случая позубоскалить, как это особенно любят бойкие нижегородцы.

— Гей, рыжий дядя с помелом!— вырвался сверху чей-то задорный голос.— Ты што, на Лысу гору собираешься лететь? Так ошшо рано! Пожди, как полуношница отойдет... тады и махай!..

— Што-й-то,— подхватил другой, уже раздраженный, грубый голос.— Али не вольно народу и при храме святом постоять уж ноне!.. Ну, дела! Таперя не то што бояре, али-бо вояки, али там подьячие с дьяками-кровососами... свой брат, всяка шушера последняя, ярыжки земски норовят потешиться над нами! В рыло да под бока толкнуты! Гляди, кабыть и вас не потолкали на ответ. Нас — сколько здесь так, лучше ты — молчок,— борода рыжая, рожа бесстыжая, голова без мозгу!

— Анафемы! С чево вы взбеленились! — огрызнулся неохотно десятник.— Да стой, шут с вами! Власти вот к собору пойдут, так вершники ужо постегают вас не по-моему!.. Почешетесь, идолы! А нам за то, видно, в ответе быть: пошто путей не очищали!.. Дороги вперед не сделали... Черти вы полосатые!

— Властям ли мы дорогу не дадим? Пройдут, ништо!

— Брюха у их — бо-ольшие! Пропрутся все, брюхами наперед выпятя! Особливо наш боярин-воевода звенигородский! Бочку в брюхо влей — ошшо для ведра место останется!..

Хохот раскатился в ближайшей толпе от этих замечаний, прозвучавших с разных сторон. А с другого конца площади послышались другие, громкие возгласы, подхваченные и задними рядами, стоящими на окраинах, где сплошное море людей вливалось во все соседние с площадью улицы и переулки узкими ручьями и потоками живых тел.

— Идут, идут!.. Попы и воеводы!.. И Минин с ими, староста наш, Кузёмка!

— Вся земская изба со всем приказом!.. Народ ядреный! Все как на подбор!

— Алябьев только не вышел ростом, второй воевода... Зато, гляди, как усищи-то распустил! Ровно кот сибирский!.. Усатый!..

— Не! Наш Кузёмка, глянь-ко!.. Сухорукой, Миныч!.. Рядком идет с боярами, гляди!

— И хошь бы што тебе!.. Ума — палата, хоша торгаш простой и говядарь!

— Да, башка прямая... Ему бы воеводой али — самим царем пристало быть... Он показал бы ляхам Кузькину маты!.. Ого-го-го!..

Пока толпа делилась впечатлениями, наблюдая подходящую толпу «властей», вершники с арапниками в руках врезались в гущу народную, прочищая путь к собору. Слышались их окрики на толпу, хлопали арапники, неслись крики боли, вызванные ударами, которые рассыпали вершники направо и налево, словно бы это и на самом деле были не люди, а стадо овец, стоящее на пути.

— Дорогу, гей!.. Дорогу попам да воеводам!.. Да шапки долой! Мужичье корявое!— орали вершники.

Толпа сделала невероятное усилие, раздалась на две стороны, и между этими двумя стенами очистился небольшой проход, по которому шествие и двинулось к паперти.

Но усилие, сделанное толпой, даром не прошло.

Вопли, крики ужаса и отчаяния понеслись из гущи народной.

— Ой, задавили!.. Ай, помираю... Задавили!..

— Душу пустите на покаяние, люди добрые,— хрипло стонал чей-то голос.

— О-ох! Ста-аричка... не жмите старичка-то...

— За гробом, што ли, пожаловал старичинка в этаку лаву!— слышался ответ полузадушенному старику... Но все-таки его подняли над толпой и кое-как, по плечам людским, перекатили на более свободное место.

Много женщин и детей поплатилось увечьями, даже жизнью в эту минуту за свое желание поглядеть на то, что делается нынче в Нижнем Новгороде.

Иных, как и старика, тоже выпускали из давки, поднимая над головами и предоставляя пробираться по живой массе людей до свободного края этой скипевшейся гущи тел.

На паперти особенно сильна была давка. Целые ряды, стоящие впереди, были сброшены вниз напором задних, стоящих у стены, людей. А внизу сброшенные с паперти тоже не находили места и оставались стиснуты напирющей с двух сторон толпою.

Наконец шествие прошло и скрылось в дверях собора, где проход был приготовлен заранее. Стало немного по-свободнее. Разлилась снова толпа, заполняя все свободные клочки земли. И опять посыпались шуточки и замечания со всех сторон.

— Ну, вот прошли! Не хрупкая посуда! От тесноты не лопнули бока боярские!..

— Ох, уж так-то нам бояре надоели, хуже горькой редьки!.. Измаяли! Поборы да побои! А обороны нету никакой!.. Ни нам, ни всей земле!

— По шапке, видно, давно пора и бояр, и всех властей теперешних!.. Ослопья взять да самим и вступить в дело!..

— Вестимо! Энти все бояре, торгоши-купцы, мироеды да толстосумы,— только казну свою берегут да брюхо растяг. А до нас, бедных, им и дела нету! И горюшка мало!..

— Э-э-эх! Будет час... подоспеет минутка добрая!.. Уж и мы над ними поотведем свою душеньку!— грозя на воздух кулаком, выкрикнул парень-бурлак, в рваном зипуне, в лаптях, с измызганной шапчонкой на спутанных темных волосах.

В это время Минин, отстав от процессии, остановился на паперти с дяком Сменовым, который уже поджидал там Кузьму, стоя у самых дверей храма.

— Так, слышь, кум, коли у тебя все наготове, выносить сюды вели стол и все там!— говорил Минин дяку, дожившему ему о сделанных приготовлениях.

— Позябнем малость, да што поделаешь! Нам Господь заплатит... А я с народом тута потолкую... Слышал, нелад-

ное парни тамо выкликают... Смуту больше плодят!.. Они — пришлые, што говорить! А промеж них — и наши затесались... И другие пристанут. Глупое слово, што мед, всех манит... Ты похлопочи... А я уж тута...

— Да, почитай, все и готово, кум. Велю повынести!— отвечал Сменов.

Он вошел в собор и скоро вернулся в сопровождении двух-трех человек, которые вынесли на паперть большой простой стол и писцовые книги в переплетах, тетради, чернильницу, перья.

Потеснив зрителей, установили они все это у стены, за колонной, и Сменов, похлопывая рукавицами, присел к столу.

Двое-трое подьячих, помогавших своему начальнику, стояли тут же, охраняя дяка и стол от неожиданных натисков толпы, стоящей кругом.

В это время Минин, стоя на верхней ступени паперти, поклонился на все четыре стороны народу, давая знак, что желает говорить.

Ближние ряды сейчас же погасили свой говор и гул. Постепенно и дальние уgomонились, когда зазвучала и пронеслась громкая речь всеобщего любимца, обращенная к толпе.

— Челом вам бью, народ честной, соотчичи мои, нижегородцы! И вьящие люди, и простые. И вольный, и кабальный люд, и чернь! И ратники, и приезжие да пришлые, гости торговые и иные!.. И люду служилому, всем — мой поклон! Прошу меня послушать на малый час.

— Што!.. Што ошшо!..— слышались возгласы в дальних рядах.— Вы, тише! Гей, робя, не гомонить!.. И мы послушать охочи, што буде наш Кузьмек толковать!

— Толкуй, отец родной! Што скажешь!.. Што прикажешь! Мы — за тебя! Мы — сам ведаешь — твои работники! Слуги верные!.. Ты нам, а мы тебе! Кто не знает дядю Кузьму нашего!— слышалось из передних рядов.

Потом настала тишина. Только колокол мерно, редко гудел над головами, голубиные стаи ворковали на крыше собора и какой-то шелест, невнятное гудение исходило от огромной толпы, хотя и молчала она почти вся... Как будто дышало громко и тяжело какое-то огромное сказочное существо и его ритмичные вздохи наполняли воздух.

— Вот ныне я иду в собор и слышу: костит народ на чем свет стоит и власти земские, и попов, и бояр... И нашу братию, толстосумов жадных, торгошей, нещадною лаей

лаяли... Я слушаю и мыслю про себя: не мимо слово сказано, «глас народа — глас Божий!»...

— Што!.. Што он рассказывает там! — пораженные не-ожиданностью, заволоновались люди. — Не нас корить начал, своих, гляди, шпыняет!..

— Молчи, гей, ты! — прикрикнули другие, останавливая говорящих. — Пушай Кузьма говорит! Занятно поначалу. Чем-то кончится!..

Выждав, пока стихли отдельные голоса, Минин продолжал свою речь:

— Не мало уж лет живу я на свете. Сам вырос тут. И на очах моих, пожалуй, с полгорода выросло да людьми стало. А николи еще не бывало того, што ноне видеть да слышать довелось! Враги не доступили до наших стен ошшо; нужда и голод нам не грозит. А слышу, што брат на брата уже восстать готовы иные люди лихие, неразумные! По какой причине! За што!.. А потому, што вся Земля затмилась! Ни правды нет, ни власти, ни царя!.. Вот мы живем покуль благополучно... но ждем и день, и ночь: беда и к нам нагрянет, как на других давно нагрянула! Все пуще глазу берегут последнюю копейку, коли она еще в мошне лежит-позвякивает... А у кого имеются залишки, тот никому и гроша не уделит! Все боязно: вдруг самому не хватит!.. Торгов не стало, дела все плохи. Подорожало все: хлеб, мука, соль, рыба и говядя... Ни к чему и подступу нету. Голодны люди... От голодухи — злоба рождается. Блеснула искра, и, глядишь, пожаром сухую клеть пожрало, словно соломинку! Да и не того ошшо нам надо ожидать впереди! Есть города... десятками их знаю... Хошь помянуть престольную Москву! Кто из нас в ей не побывал, кто матушки не видал! А ноне што! Пожарище одно! И вороги засели в Кремле высоком, белокаменном, где святыни Божии... И такое тамо творят!.. Вам, чай, самим ведомо, што теперь на Москве от ляхов сотворилось!.. Смоленск вот возьму, полста почитай народу тамо жило. Хвалили Бога. А ноне — нету и десяти тыщ во всем городе! Разбоем разбили смоленцев ляхи, литва да венгры Жигимонтовы. Все забрали, увели в полон, кого хотели... А остальных покинули на голод, на нищету! Жизнь одна и осталась на мученье у бедняков. Там... — Голос Минина дрогнул, оборвался.

Дрогнула невольно и толпа, ожидая чего-то страшного.

Оправясь, он снова повторил:

— Там — матери детей своих малых кидали в огонь,

штобы скорее кончилась мука малых, невинных страдальцев, исходящих от голоду... Там люди в зверей оборачивались, падаль жрали, да не конскую... а... человечью... Живых братьев губили и пожирали... Да... Кто тут есть в народе из смолян?.. Откликнись! По правде чистой я говорю либо нет?..

— Да уж такая правда, што лучше бы нам ее и не слышать сызнава! — донесся скорбный, дрожащий голос из группы бурлаков-смоленцев, стоящих вдалеке.

— Одни ли вы, братаны! И другие, поди, вам не уступят... Скорби да лиха вдоволь повсюду! Слышь, Новгород Великой, наш отец, — в руках врагов! Гляди, с им то же буде, што было и с Москвою, со Смоленском, со Псковом, где снова укрыли казаки злодея, Сидорку-самозванца, штобы землю терзать да грабить! Дорогобуж и Вязьма, Коломна, Арзамас... Тверь... Им — никому не слаще! А горше всех, как вижу, придется нам, други и братья!..

— Мы — вязьмичи! Все верно дядя говорил!..

— И про нас, про дорогобужских!..

— Калуцких, слышь, позабыл! Обнищали в прах от казаков да от ляхов разорились дочиста!

Эти отклики доносились из разных концов площади. Заговорили и нижегородцы:

— Слышь, Кузька говорил: здесь, у нас — хуже прочих буде! Как энто! Да почему!..

— Скажу! Послушайте только. Не зря я молвил слово! — громко выкрикнул Минин, прорезая тревожный народный говор и гул.

— Покуль враги ошшо куды не сильны. Шайкою набежали, урвали, што могли, да и восвояси воротились для роздыху по славным делам своим, разбойным! Но, што ни день, крепче будет их напор. И вот когда сызнава придут великою ордою литовцы и ляхи, тогда и наш черед настанет, доберутся и до Нижнего, как до иных добирались городов. Повыгонят они нас из углов наших, из домов дедовских... И когда мы будем ютиться по лесам да по дебрям, словно стая диких волков бездомных... вот тогда помянем великой грех наш! Взывала к нам земля родная! Не помогли мы ей... И сами будем за то, как звери дикие, гонимы и бесприютны. А Русь, Земля святая — разрушена... пропала... И нет возврата!..

Общий неудержимый крик, как удар грома, вырвался из груди у всей толпы.

— Нет! Нет!.. Нет!.. Того не буде! Не дадим мы Русь...

Мы заслоним собой, своею грудью!.. Не буде, слышь, того, што ты поминаешь!..

— Того не будет, говорю я тоже!— всею силой выкрикнул Минин, покрывая клики народные.— Коль сами вы решите, што не бывать тому, так и вправду — не будет! Коли уверуете, што костыми надо лечь да Землю оборонить! Казну отдать нам надо на дело великое! Не хватит,— жен, детей своих заложим... Себя навеки запишем в кабалу,— да выручим святую Русь-матушку!..

— Все отдадим! Себя не пожалеет! Не выдадим!— прокатился ответный крик народный по площади и туда, к Оке и за Волгу перекинулся, заставил дрогнуть тихий воздух морозный!..

— Да услышит вас Господь!— восторженно, подымая к небу лицо, залитое радостными слезами, воскликнул Минин.— А вы меня ошшо послушайте, родимые! Послушайте на самый малый час!— кланяясь, прокричал он снова в толпу.

Не сразу, но утихомирилась взволнованная, потрясенная толпа.

— Кончается служба. Сейчас сюды и воеводы выдут. Они объявят всему миру православному, што порешили мы начать для спасения Земли. Казну собирать начнем. В ком сила да отвага есть молодецкая — в ополчение должен записываться. Не больно страшен враг еще покуда. Могу поведать вам одну радостную весточку. За разом взялися казаки, послушали слов святителя-патриарха и иных отцов митрополитов. Ударили на Хотькевича всею силой и отогнали его от Москвы, не дали войти в Кремль, на подмогу ляхам, што тамо засели, окаянные!.. Спасибо казачкам великое... А все же мы особняком теперь порешили идти на защиту родины и веры... Выберем вождя, мужа разумного, испытанного, искусного в боевом деле!.. И — с Господом!

— Ково же, Миньч, нам выбирать!.. Назови, Кузьма! Кого просить нам надо! Свои, слышь, воеводы не годны! Им воевать не с ляхами, а с бабою, и то с плохую, слышь, с самую ледащую!— раздались голоса.

— Ну, тише, вы там, балагуры!— строго прикрикнул Минин в ту сторону, откуда долетело острое словцо.— Власть надо чтить! Без власти — куды хуже, чем с властью с самую плохую! Видели доньне пример тому! А кто бы нам в вожди годился... Есть один... Немало и доселе он вытерпел, отчизну бороня. При смерти был от ран. Теперя по-

легше ему стало, слышать. Неподалеку от нас он, доблестный князь Димитрей!..

— Князь Димитрей Михайлович!.. Князь Пожарской, воевода!.. Ну, вестимо, кому другому вести дружины, как не ему!.. Его вождем! Его просить мы станем! И воеводы пускай идут вместе с нами, да вместе и поклонимся князю!..

Пока эти переговоры шли в народе и говор, галдеж рос и становился все сильнее, все шире, из собора вышли попы с протопопом Саввою, воеводы, дьяки приказные, дворяне служилые, вся администрация Нижнего, торговые головы и посадские старосты.

Минин вкратце передал воеводам, о чем он толковал с толпой, как на его речи откликнулся народ, потом снова стал на краю паперти и поднял свой сильный, напряженный голос, усмиряя рокот шумящей толпы.

— Гей, тише все! Пусть власти говорят!.. Тише, братцы! Помолчите часочек!..

Алябьев, пользуясь наступившим затишьем, важно выступил из окружающей его кучки представителей властей и пронзительным, высоким тенорком заговорил:

— Мир вам, честной народ, нижегородцы и всякие иные прочие! Свершили мы моление усердное перед Господом, послал бы он удачу начинанию нашему великому. Отседа по всей Земле прокатиться клич должен: «Земля и Бог!..» И с этим кличем ударим дружно на врага!..

Голос у воеводы сорвался и от напряжения, и от волнения. Он приостановился, глотая торопливо воздух.

— «Земля и Бог!» Вот любо! Ладно сказано!— послышались возгласы.— Воевода, а славно говорит, ровно бы и путный!..

— Понаучился от нашего Кузёмки!— пророкотал чей-то необъятный бас.

Но Минин снова замахал руками, требуя молчания, и голоса смолкли.

— Для ратных ополчений немалая казна нужна теперь!— овладев голосом, снова повел речь Алябьев.— Так всем советом воинским, святительским и земским мы приговорили: несите каждый третью денугу ото всех своих пожитков, от казны от всякой, какая только есть у кого на дому, у служилых, у тяглых, у торговых и посадских людей... И у священного чину, все едино, без выбору! А кабальный, черный да тяглый люд — тот што может, пусть дает!.. А кто укроет скарб свой али казну свою какую-либонь аль утаит именье и добро,— и сведает про то другой и объявку

подаст,— силой отнимается третья часть у таковых утайщиков, да сверх того — от гривны денюга возьмется на пеню в пользу доказчика! Буде по сему!

— Да разве кто утаит хоть грошик для родины, для рати! Вы бы, воеводы, их не растащили!.. А мы последнее дадим!— поднялись обиженные, раздраженные голоса.

— Куда нести?.. Кому давать?.. Кто собирает-то?— спрашивали другие.

И у всех уже руки потянулись к карманам, где лежит киса с деньгами, или за пазуху. Другие — поспешно кинулись к своим жилищам, особенно кто жил ближе от площади.

В то же время из боковой улицы, от приказа прошли служители с такими же столами и всякими принадлежностями для записи, как и у дьяка Сменова на паперти. Они устроились на ровных местах в разных концах площади, у заборов и домов. За каждым столом сидел дьяк и двое подьячих, да стояло несколько стражников для охранения порядка.

— Вот, родимые!— отозвался Минин на общие запросы, указывая на столы с дьяками.— Недалече идти!.. Кто волит, в сей час записать свое может и внести, што причитается с его. Не пропадет ни гроша мирского, я тому порукой!.. А от себя я не третъ записал. Вот,— указал он на трех своих подручных, которые пробрались сюда через толпу, катя ручную повозку с мешками и коробами.— Все отдаю, што в дому нашлося получше да подороже... И казну всю почитай!.. Маленько на развод оставил, детям на прокорм... А то — Господь подаст им, так мыслю!.. Кладите, пареньки! Сдавайте здесь, куму, он запишет!— приказал Минин своим подручным.

Гул одобрения прокатился в окружающей толпе.

— И мы... И я!.. Пустите! Я желаю... Меня пустите наперед!— заголосили все, тискаясь, почти сбивая с ног друг друга, стараясь первыми подойти к столу.

У других столов происходила почти такая же давка.

— Родные! Стой! Не напирайте все разом! И то, подьячих и кума мне сшибли, почитай, и с местов... Гей, за руки берись, передние!— приказал Кузьма, спускаясь ниже, в самую толпу.— Так. Частоколом стойте и не пущайте валом валить. А вы, братцы, не больно напирайте!.. Вот через цепь и будем пускать помалости!.. Поспеем все, коли помог Господь и разбудил в нас души дремлющие!— радостно, взволнованно выкрикивал Минин.

— А ты, бабушка, куды! Тоже третью денюгу принесла!— обратился он к древней, бедно одетой старушке, которую окружающие из жалости почти пронесли среди давки к столу дьяка Сменова.

— На дело на святое... землю беронить, бают, гроши давать надо. Вот собрала я на саван было... шешть алтын,— зашамкала старуха.— Вот прими, Хришта ради... А меня, как помру, пушкой и в шарафанае шхоронят люди добрые...

Перекрестившись, принял медяки Минин и низкий поклон отвесил нищей старухе.

У многих кругом слезы выступили на глазах.

Еще неделя минула.

Сначала Минин прибыл передовым гонцом, а потом, за ним следом, оба воеводы, Савва с попами, земские и служилые люди, много торговых и простых людей явились в усадьбу к князю Димитрию Михайловичу Пожарскому с просьбою принять начальство над ополчением, которое быстро стало собираться со всех концов в Нижний Новгород.

Князь, еще не совсем оправившийся от ран, выслушал просьбу и ничего не ответил сразу. Задумался глубоко.

Затихли в ожидании ответа воеводы, Минин и все, сидящие за столом, против князя Димитрия. На скамьях у стен сидели выборные люди попроще, а в соседней горнице за раскрытыми дверьми теснились в молчаливом ожидании те, кому уж не хватило места в первом покое.

Несколько минут длилось напряженное молчание.

Князь несколько раз, глубоко вздохнув, словно собирався заговорить, но снова погружался в раздумье, склоняясь на руку красивой, крупной головой. Наконец выпрямился и твердо, решительно проговорил:

— Пускай Господь будет свидетель!.. Он видит, знает, што творится на душе у меня в этот самый миг! Я земно кланяюсь и вам, посланцам Земли родимой... и Нижнему... и всем, кто вспомнил про меня, про немощного. Сами, люди добрые, видеть можете, сколь я телом ослаб... здоровьем гораздо плох стал ноне! Взыграло сердце у меня, чуть я услышал, что ополчаются люди, сбираются отразить врагов неотвязных! Коли Бог пошлет, хоша немного оправлюся,— ваш слуга и земский! У любого знамени стану на месте, какое укажут мне воеводы старшие, послужу по силам чести воинской, делу ратному. Но за то штобы взяться,

што вы хотите!.. Нет! И мыслить о том невозможно... Прошу и не трудить себя и меня речами да уговорами напрасными! Вождем быть не беруся. Мое слово — твердо.

Общий возглас недоумения, почти испуга и огорчения сильнейшего вырвался у всех. Послышались голоса взволнованные, возбужденные, негодующие даже:

— Да што!.. Да как же это!.. Ты... да быть не может!

— Помилуй Бог! Тово не может быть! Ты не пужай!

— Помилосердуй! На коленях станем тебя молить!..

А ты уж не тово!..

С этими возгласами поднялись с мест своих все, кроме обоих воевод, и словно приготовились упасть к ногам Пожарского.

Люди, стоящие за дверьми, высунулись сюда, в передний покой, и теперь стояли тоже в общей толпе.

— Да вы понапрасну разом так зашумели, люди добрые... И слова не дали мне говорить, — делая движение, словно желая встать, и снова опускаясь в свое глубокое кресло, заговорил князь Пожарский, слегка подымая голос, чтобы покрыть говор, не сразу затихший в покое. — Велика честь, оказанная вами воину недужному. Уж не знаю, выпше бывает ли еще! Не мог бы отказаться, кабы... Нет, прямо говорю: не смею и принять той чести! Большая честь, да и ответ несказанно великий налагает она на душу. Я умею вести отряд один, небольшой... И смерти не страшуся в бою. Сами видите: почитай, в капусту искрошили меня на поле брани... Не прятался я николи, повстречав врага... То — одна статья. А есть еще другая! На защиту земли сберется тьма ополчений ратных. Ежели вести дело умеючи — сразу, как метлою, можно очистить Русь ото всех налетных сил вражьих, от чужой, злой нечисти! А тамо сберется земская громада — и будет царь у нас, по-старому. И мир, и радость на весь мир крещеный! Мне все уж толком растолковал ваш староста, Кузьма. Воистину, разумный муж совета, одно и можно сказать про него. Но што я ему ответил, как с ним порешил, — как ни старался, как ни бился ходатай земской ваш, — то и вам, бояре и отцы святые, повторяю... вам, горожане, весь честной народ. Не тамо вы ищите вожда, где найти его можно бы. Я телесную немощ свою добре знаю. И духом слаб, да и учен мало, штобы повести всю земскую дружину, тысячи и тьмы воинов... Не мне подходит дело такое великое. Прошу не посетовать! Вождем я вам не буду. Не хочу брать греха тяжкого на душу свою!..

Опечаленные, растерянные, молчали все кругом, поглядывая то друг на друга, то на Пожарского, который сидел с грустным, но решительным лицом, то — на Минина, словно от него ждали совета и помощи.

Понял их взгляды «печальник общий», и, встав почти перед князем, как бы желая повлиять на него не только словами, но трепетанием всего тела и души, огнем глаз своих, негромко, глухо повел речь Сухорук:

— Открыто, за всех скажу, князь Димитрей Михайлович, не ждали мы, што слово «нет» услышим от тебя!.. Такое дело!.. Мы все — даем, што можем... От тебя одного только и ждем: составишь ты наши рати, заведешь порядок, по всем отрядам вождей поставишь али тех, кто избран отрядами, поиспытаеть как след и утвердишь по местам... И думалось: как наносит Господь тучу с грозой и с градом на ниву зрелую — так нанесет на врагов Он земскую нашу рать и смочет их с лица родной земли, как прах полей смывается потоками вешними, дождевыми... Вот што думалось... А ты!.. Экое горе! Новая беда приспела... Нашли мы вожда, а он нашел отсказку от дела. Ты, князь, судить себя не можешь, поверь чести. А ежели, так скажем, и прав ты... Скажем, и слабосилен, и духом дела не охватишь... А Бог-то на што! Он — пастушонку дал силу, штобы одолеть Голиафа, таку громаду в броне да в шишаке, с мечом и копием!.. А отрок с пращою вышел с мочальною!.. Не убоялся, за родной народ выступил на ратоборство малец супротив великана замороженного!.. А ты, князь, нам тута говоришь... Да нет! И быть того не может! Пытаешь просто нас, усердьё наше да покорливосты! Аль мало было челобитья перед тобою! Так вот, пал я на колени — и не встану с колен, покуль не согласишься на наши слезы да прошенье земное!.. Просите все!..

Но кругом все уже стояли на коленях, кроме воевод.

— Молим... просим... Не отказывай... — неслись мольбы.

— И вы... и вы просите на коленях! — неожиданно властно обратился Минин к воеводам. — Пред Господом склонитесь, не перед человеком! За весь народ молитесь, как мы молим!

Невольно пали на колени оба чванливые боярина, Алябьев и Звенигородский, и запричитали растерянно:

— Уж сделай милость, не откажи!.. Ты видишь, всенародно молим тебя, словно царя какого!.. Не откажи... по-выручи!.. Помилуй!..

Торопливо поднялся Пожарский, опираясь на свой кос-

тыль, стал подымать воевод, которые и по годам, и по разряду были гораздо старше его.

Потом потянул Минина, который грузно поднялся с колен, видя, как тяжело князю стоять и подымать всех.

А Пожарский быстро, громко, словно не владея собою и словами своими, заговорил:

— Ну, ладно... ну... ну, я вам уступаю!.. Пусть Сам Господь мне... Надеюсь на Него, Вседержителя!.. Ну, в добрый час!— обнимая и целуя воевод, Минина, всех, стоящих поблизости, весь дрожа, повторял воевода.— В добрый час!.. В час добрый...

Восторженными кликами ответила толпа на это согласие.

— Дай Боже час добрый!.. Живет князь-воевода на многие лета!..

Когда стихли приветствия, Минин подошел и отдал земной поклон Пожарскому.

— Дозволь мне, князь-воевода, особливо на радостях ударить перед тобою челом в землю! На много лет живи, князь-воевода, крепкий щит и оборона земли родимой и народа православного!..

— Нет, ты погоди!— ласково грозя Минину, остановил его Пожарский.— С тобою речь особая пойдет у нас. Не сетуй, удружу и я тебе за твою ласку да за дружбу.

Вы, воеводы и послы честные, послушать прошу, што скажу вам теперь. Согласен я собирать и строить рати земские. Поставлю стан, к Москве, на бой полки поведу.

Но есть еще особая забота в обиходе ратном, в быту военном. Доведется не один десяток тысяч люду кормить, поить, одеть да снарядить к бою. Вот это и сложите на Кузьму Миныча, на старосту вашего. С тем и беруся стать главою рати, коли Кузьма берется служить мне правою рукою, будет промышлять о нужде войсковой, как я сказал. Штобы опричь войны да строю ратного не знать мне боле никаких забот. Авось тогда и справлюсь с Божьей помощью... А иначе — и думать не хочу!

— Как быть, Кузьма,— снисходительно обратился Алябьев к мяснику, стоящему в раздумье.— Мы чаем: не откажешь для дела общего... Послужишь миру! А...

— И думать не моги отказаты!— заговорили все кругом.— Слышь, родимый, ты ли откажешь! Скорее, кормилец, давай согласие! Не томи! Все просим, слышь! Кланяемся земно, Кузьма, родной, не выдай! Выручай!..

Шум внезапно оборвался, как это бывает после силь-

ных подъемов и гула толпы. Тогда спокойно подал голос Минин:

— Не стоило и кланяться так много, почтенные! Коль воевода-князь мне дал приказ, пойду без всякого инова зова, без просьбы, слышь, усиленной! Я — твой слуга во всем, князь-батюшка! Мне думалось только: на кого я дом и делишки все свои оставлю!.. Да и решил в себе: как будет, так и пускай будет! Господь поможет да соседи выручат, так думается мне.

— Свои дела оставлю, а твои неусыпно день и ночь буду досматривать!— живо отозвался сосед и кум Минина, Приклонский. Онучин, другой сосед, в то же время подошел к Минину:

— Надейся, кум, на меня! Не то приказчиком, батраком служить тебе готов. А ты за то для всей для земли постарайся!..

— Ну, так и есть! Душа не обманула!— пожимая руки обоим друзьям, весело произнес сияющий Кузьма.— Не осиротеет мой домишко теперь!

— Твоя душа што земская душа!— слышались голоса.— Нешто она обманет.

— Живет Кузьма Миныч!..

— Живет наш князь — Димитрей-воевода!

— Да процветет родимая Земля! Да красуется она от века и до века!— сильно выкликнул Минин.

Все дружно подхватили его клик.

Глава V

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

(15 НОЯБРЯ 1612 ГОДА)

Почти оттремела гроза, больше десяти лет бушевавшая над царством Московским. Последние отголоски ее, в виде неприятельских шаек, наездников-головорезов, «лисовчиков», своих разбойничьих таборов, густо рассеянных по всем углам Руси, еще тревожили мирное население царства, которое понемногу стало приходить в себя, успокаиваться после ужасов и разоренья смутной поры.

Но и против этих летучих шаек принимались решительные меры. Воеводы рассылали сильные отряды ратников повсюду, где только появлялись разбойничьи и неприятельские шайки.

Снаряжался поход и против главного бунтаря, казац-

кого атамана Заруцкого, который ушел к самой Астрахани с Мариной и ее сыном, Воренком, как звали его на Руси.

А Москва не только была очищена от польских отрядов, но и весь гарнизон, засевший было в Кремле, с полковником Николаем Струсем во главе, очутился в плену у своих бывших пленников, московских бояр-правителей.

Правда, они теперь бессильны стали. Все дела вершит Великий совет земской рати, собранный при всеобщем ополчении земском.

Но и этот совет только на время принял на себя тяжесть власти в бурную пору народной жизни.

Уж по городам послали гонцов и грамоты призывные, чтобы собирались «изо всех городов Московского государства, изо всяких чинов людей по десяти человек из городов, от честных монастырей — старцы, митрополиты, архиепископы и епископы, архимандриты и игумены, и бояре, и окольничие, и чашники, и стольники, и стряпчие, и дворяне, и приказные люди, и дети боярские, и головы стрелецкие, и сотники, и атаманы, и казаки, и стрельцы, и всякие служивые люди, и гости московские, и торговые люди всех городов, и всякие жилецкие люди»... А собирали их на «оббирание царское и для суждения, как наново землю строить»...

Князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой, главный любимец и воевода многочисленных казацких полков, и стольник — воевода земской рати, князь Пожарский, очутились во главе временного правления в государстве. Прежних правителей-бояр и князей самовластных и лукавых, с князем Мстиславским во главе — совершенно устранили от дел.

Особое оживление и скопление народа замечалось в Кремле Московском утром 15 ноября 1612 года.

Было ясное, морозное утро. Длинные, синеватые тени падали от зданий на белую, плотную пелену снегов, одевающих бревенчатую, неровную мостовую кремлевских улочек, заулочков и площадей, а на солнце этот снег загорался разноцветными искрами, словно по нем сыпался и перекашивался тонкий слой невидимых глазу алмазов...

Стрельцы и иноземцы-алебардисты и копейщики стояли на караулах в дубленых полушубках поверх своих нарядных кафтанов, в рукавицах и валяных сапогах поверх цветных, узорчатых сапог с узкими, торчащими кверху носками.

Несколько пушкарей и затинщиков сгрудились у большой востовой пушки, банили, прочищали ее и потом стали заряжать, приготавливаясь к салюту.

Цепь часовых охватила широкий простор перед Красным крыльцом, а за этой цепью, на окраинах площади и во всех улочках и переулках, выходящих сюда, скинулись темные массы народу. И все больше подваливало его, особенно когда стали люди выходить из церквей.

Перезвон колокольный кремлевских соборов и монастырских церквей был на исходе и, благодаря ясности воздуха и мерзлой земле, отражающей все звуки, казалось, что звуки колокольные реют и поют где-то высоко в воздухе.

И когда уже смолкли кремлевские колокола, — еще перекликались, замирая вдали, колокола в Китай и в Белом городе...

Медленно, тяжело ступая своими больными ногами, не подымая от земли взора своих темных, печальных, даже — суровых на вид, глаз, — спустилась с крыльца старица Марфа, бывшая жена Филарета, митрополита Ростовского и патриарха Тушинского. До того, как Годунов силой заставил мужа и жену принять монашество, старицу-инокиню звали Ксенией Ивановной, из роду старых бояр Шестовых. Дочь и сына разлучили с нею, не позволили взять в тот дальний, бедный монастырь в Заонежье, куда сослал подозрительный Годунов жену Федора Никитыча Романова, в иночестве принявшего имя Филарета. Его заключил Годунов в отдаленной Антониево-Сийской обители, а детей, девочку тринадцатилет и мальчика трех лет, тоже сослал вместе с их теткой по отцу, княгиней Черкасской, на Белое озеро и поселил там под самым строгим надзором.

Когда первый Димитрий Самозванец, как его называли тогда же, овладел престолом, он немедленно вызвал в Москву всех разосланных оттуда Романовых. Дочь Филарета, Татьяна, скоро вышла замуж за князя Катырева-Ростовского, а сын, Михаил, жил с матерью, старицею Марфой, и отцом, митрополитом Ростовским, Филаретом, в его «престольном» городе, в Ростове до 1608 года. Услыхав о приближении к Ростову шаек Тушинского вора, второго Самозванца, Филарет отправил жену свою бывшую и сына в Москву, а сам остался помогать защитникам города отбиваться от нападения тушинцев.

Этими шайками вора-царька митрополит Ростовский и был захвачен на паперти собора ростовского, куда не хотел архипастырь впустить разъяренной орды.

Его отвезли в Тушино, где вор уговорил угрозами и лаской Филарета принять титул патриарха. Вору, имевшему вокруг себя бояр из лучших родов Русской земли, хотелось

иметь и главу церкви, каким на Москве был тогда Гермоген.

Это было еще во время царя Шуйского, которого Филарет ненавидел и презирал больше, чем Тушинского вора. Но как только Шуйского не стало и вор был оттеснен к Калуге, Филарет снова успел попасть в Москву, где мы и видели уже его во главе Великого посольства, судьбу которого мы знаем.

Дочь Марфы и Филарета умерла незадолго перед этим днем, когда старица с единственным сыном Михаилом, побывав в кремлевских храмах, возвращалась к себе, в келью тихого женского монастыря, стоящего у самых стен кремлевских.

Старица, одной рукою опираясь на костылек, другую возложила на плечо юноши-сына, худощавого и стройного, но несколько бледного и печального для своих пятнадцати лет. Правда, траур по любимой сестре, лишения, вынесенные в первую ссылку, когда чуть ли не голодать приходилось детям и их тетке в суровом Белозерье, затем ужасы осады и настоящая голодовка, пережитая так недавно в Кремле, осажденном земской ратью, — все это отразилось и на здоровье, и на характере мальчика. Но и еще что-то особое было в этом худощавом, не по-детски серьезном лице с большими глазами, как рисуют у мучеников. Глаза эти то загорались внутренним светом, то погасали, и вся жизнь из них скрывалась куда-то глубоко. Не то причудливость нрава, не то повышенная, чрезмерная нервность проглядывали в этом лице, в глазах, в судорожном, легком подергиванье мускулов и углов рта. Брови тоже порою дергались у Михаила, как будто он вдруг увидел что-то неприятное и собирался закрыть глаза, избегая дурного зрелища, но сейчас же и удерживался. Помимо этих странностей, необычайная кротость и ласка светились в больших, темных глазах юноши, почти мальчика. И губы его часто складывались в мягкую, грустную полуулыбку.

Он бережно вел мать, хотя и сам ступал неверно по обледенелым, скользким ступеням своими слабыми, пораженными ревматизмом ногами...

Еще издали узнали обоих толпы народа, стоящие за линией стражи, и громкими кликами приветствовали москвичи старицу и Михаила, представителей самого любимого и чтимого рода боярского во всей Руси. Страдания семьи Романовых, ум и деятельность Филарета, мужество старицы во время сидения в Кремле с ляхами, кротость и милосердие Михаила разносились тысячеустою молвою,

и любовь народная, которою пользовались Романовы-Захарьины еще со времен Ивана Грозного и его первой жены, Анастасии Захарьиной, умевшей умерять порывы ярости в своем супруге-царе, — теперь эта любовь возросла до величайших размеров.

Села в свой возок на полозьях старица с сыном и двумя послушницами, скрылся в ближайших воротах возок.

Поклонами провожал их на всем пути народ. Воины, казаки — все старались выказать почтение матери и сыну.

О них говор шел в толпе, пока они были на виду. О них продолжались толки и тогда, когда уже скрылся из глаз знакомый москвичам возок старицы Марфы.

— Ишь, дал Господь, не больно извелася телом в пору сидения тяжкого! — слышался чей-то женский голос.

— Как не извелася! — отвечала другая баба, в шугае, в повойнике. — Ишь, ровно снегова, такая белая стала... И сыночек ровно из воску литой... А, слышь, на што юн отрок, да больно милосерд! Недужных приизрал, поил-кормил голодных сидельцев-то кремлевских, ково тут ляхи заперли с собою...

— И старица добра же ко всем была... Романовых род издавна славится тем. Вон и в песнях поется про Никиту Романова, про шурина царского...

— Вестимо, поется! Потому при Грозном царе, и то умели Романовы постоять за Землю, за народ православный... Не пошли небось в опричнину! Земщиной остались Романовы, все до единого... Слышь, Никитская улица — откудова так зовется она? Все от Никиты Романова! Слышь, вымолил у Грозного царя он такую вольготу, грамоту выпросил тарханную...

— Какую там ошшо грамоту! Скажи, коли знаешь! — полетели вопросы к старику, земскому ратнику, ополченцу, который стоял среди народа.

— А вот, — живо отозвался словоохотливый, крепкий старик-ратник. — Слыхали, чай, все вы, грозен да немилостив был царь Иван Кровавый. Што день, то казни. Больше он невинных казнил, не тех, кто топора бы стоил али петли. Кого вздумается, — на огне палит, мечом сечет, водою топит! А брат жены евонной, Анастасии Захарьиной, — Никита, слышь, Романов сын, дед родной Михайлы-света, отец, выходит, Филарета-митрополита... Энтот Никита веселую минутку улучил, счастливую да и выпросил: «Шурин, царь-государь, Иван Грозный Васильевич! Немилосердый и жестокой царь московской! Хочу я душе

твоей дать облегчение хошь малость! Крови пролитие поменьшить желаю... Скажи мне слово свое великое, царское: коли по улице моей, по Никитской, пройдет на казнь осужденный человек да кликнет всенародно: «Романовы и милость!» — ты тому человеку должен пощаду даровать немедленно и отпустить вину его али безвинье!.. Што бы там за ним ни было!»

Слышь, под веселую руку послушал шуряка, присягнул ему царь, дал грамоту тарханную за большим орлом, за печатью... И было так до конца дней Ивановых. Не мало душ крещеных спаслося улицею тою... Стали потом и нарочно по Никитской казнимых-то водить, опальных бояр в их последнюю годину страшную... Оттоль и слывет та улица — Никитская...

— Помилуй, упокой, Господи, душу боярина усопшего Никиты! — запричитал в толпе худой монашек, тоже прислушивающийся к говору народному.

— Заступник был народный, што говорить! Деда ошшо помнят Никиту Романыча...

— Вот бы нам — царя такого! — вырвался у кого-то живой возглас.

— Кто знает! Может, будет таковой, коль Бог пошлет... да мы сумеем избрать себе от корня от хорошего отводок свежий, юный и цветущий! — подал голос Кропоткин, стоящий в толпе поблизости от старика-ратника. — Вот, скажем, как Михаил Романов живет на доброе здорье! — прямо назвал князь, бросил в толпу заветное имя. — И то, как ведомо, сам Гермоген два раза о нем же говорил властям и воеводам и боярам... Да те тогда послушать не хотели... А теперя — иные времена! Вот был я сейчас наверху, в теремах. Владыко-митрополит о том же Михаиле, слышно, мыслит... Его штобы на царство... А што, как оно и сбудется! Што скажете, люди добрые... По сердцу ли вам-то будет?..

— Чего бы лучше! — слышались отклики. — Прямая благодать! Слышь, не мимо молвится: из одного роду — все в одну породу! ...Яблочко-то от яблоньки — далеко ли катится!... Дело ведомое!..

Громко толковала толпа. В морозном воздухе речи разносились далеко.

Кучка бояр незадолго перед тем стала спускаться с крыльца и остановилась в половине его, стала прислушиваться к речам в том углу, где, недалеко от самого крыльца, толковал с людьми Кропоткин.

Стояли тут князья: Андрей Трубецкой, Мстиславский, Воротынский, Андрей Голицын, Василий Шуйский, боярин Лыков, все бывшие члены семибоярщины, и еще два-три боярина.

Особенно не понравились речи князя и народные Мстиславскому и Шуйскому.

Первый не вытерпел даже и, забыв свое высокое положение, вступил в переговоры с толпой.

— Поговорочки я тут слышу! — заговорил он громко. — А вот еще я пословицу слыхал: «В семье не без урода!» Алибо иную: «Простота — хуже воровства!» С глупым хошь клад найдешь, да не пойдет впрок и добро! А с умным — потеряешь, а все ж таки придут и от потери барыши!.. Ну, можно ли смущать честной народ словами пустяжными! Тут про царя мы слово услышали! И тут же имя детское несут людям в уши!.. На несмышленочка-малолетка можно ли, хоша бы и на словах, примерять столь тяжкий убор! Слышь, шапку Мономаха!! Бармы, слышь, царские и скипетр многих народов сильных и земель толиких державу древнюю!.. Да и в такую пору тяжкую, когда и муж, испытанный трудами ратными и думными, надежный, престарелый, ведомый всему миру своей высокою породой и разумом... хотя бы вот меня взять для примеру... и тот не мог бы легко справлять подвиг царский, не сразу одолел бы невзгodu, какую нагонил Господь на Землю нашу!.. А тут — в пеленках бы еще царя породил, князек речистый! Было бы одинаково с тем, о ком ты толкуешь!

— Была у нас Агаша! — глумливо отозвался Кропоткин. — Так она сама себя хвалила за добра ума перед судьями; обиди, вишь, ей, што люди ее не похвалят! И ты бы, князь-боярин, ждал ласки от других, а сам себя не возносил бы, право! Оно бы пристойней, лучше бы было!.. Истинный Господь!..

— Молчи, холоп! — крикнул вне себя Мстиславский и, замахнувшись своим жезлом, уже двинулся было вперед, чтобы расправиться с незначительным, худородным князьком, но другие товарищи-воеводы удержали заносчивого боярина.

А Кропоткин и сам рванулся навстречу бывшему боярину-правителю, главнейшему из семи верховных бояр, ненавистных и ему, как всей Москве. Остановясь на нижних ступенях, он кинул вызывающе свой ответ Мстиславскому:

— Я не холоп, а князь такой же прирожденный, как и ты! Да нет! Т а к и м, слышь, сам быть не желаю! Я ляхов на святую Русь не призывал. Тута с ними в Кремле не за-
пирался против своих же братьев россия! Им я не служил, Земли не продавал им! Да сам теперь и не лезу в цари,— хоша меня и не зовут, как и тебя, князь-боярин! Не хаю я по злобе тех, на ком явно почиет сияние благодати Господней... Што, князенька, слыхал? С тобою мы, выходит, и впрямь не равны!

Кинув такой ряд злых укоров и обид бывшему правителю, Кропоткин сошел обратно вниз и обратился к толпе: — Оставим их!.. Пойдем к сторонке да потолкуем!

Целый косяк народу, все больше пожилые, почтенные люди отошли с Кропоткиным к огаде Благовещенского собора, и там затеялась у них живая, горячая беседа на тему об избрании царя... Имя Михаила повторялось здесь со всех сторон...

А Шуйский, оттянув своего горячего приятеля снова на площадку крыльца, скорбно завздыхал, запричитал по своей обычной сноровке:

— Оле! Оле!.. Вот времена пришли! Што терпим мы теперь, князья-боляре! Лях так не надругался над нами, над узниками, как тута князишка худородный... Как тамо в сей час было! — указывая на палаты дворцовые, простенал ханжа Шуйский, схожий с дядею, бывшим царем. — Везде гонят! Чего и ждать от черни, от смердов, от нищих да захудалых князьков, когда и тамо, в очах у святителя-митрополита, перед царским престолом не потомки Рюрика — Воротыньские, Мстиславские алибо Голицыны — стоят впереди, а заступил им место торгашок из Нижнего, смерд последний, Кузёмка Минин!.. Да ошшо захудалый князь, Пожарских роду, самого пустого, незначного, из недавних дворян!.. Вот времена!..

Жалобы Шуйского, искренние и жгучие, при всей фальшивости их слезливого тона, подхватил дьяк Грамматин, недавно вышедший из тех же палат, откуда вынуждены были, униженные, удалиться князья-боляре.

— Охо-хо-хонюшки, боярин, князь великой!.. Да нешто ноне — прежние времена! Смутилась Земля — вот все и замешалось. А, Бог даст, как выберем царя... И, вестимо, уж из самого из первого роду, не из пригульных тамо, бояр либонь из чужих, иноземных прынцев... Вот дело-то по-старому станет крепко, истово, по дедовским обычаям. Не мало лет хожу я по белу свету, всего нагляделся. Бывает

так в лесу порою: идет гроза, качает деревья! Косматые вершины те сгибаются... Все спуталось в ту пору: и сучья, и листья!.. И не разобрать, кормилец, кто тут на ком!.. А минула буря... глядь — стволы большие-то, могучие — по-старому стоят незыблемо! Ну, сучья там поломало... Ну, понесло дерёвца, которые помоложе, послабее... Трава совсем помята, вот как народ простой войной повыбьет!.. А кто был велик и силен,— гляди, так и остался; гляди, ошшо владычнее, ошшо сильнее станет!..

Милостиво кивая головой, Шуйский, довольный, проговорил:

— Умен ты, дьяк! Твоими бы устами...

— Попьем медку, боярин, не крушися! — подхватил речистый дьяк. И совсем таинственно заговорил: — Уже ли вам, главным семи боярам, не одолеть недругов... Кто бы там они ни были!

— Где же энто: с е м ь! — угрюмо отозвался князь Андрей Трубецкой. — Иван Романов-Юрьин потянул племянникову руку, вестимо дело... Он — за Михаила! И Шереметев, родич ихний, старый смутьян, от нас откинуться норовит... Туды перешел! А може, Бог весть... Не то себя на трон ведет... не то — отрока Романова!.. Шереметев с Филаретом — большие, стародавние дружки! Еще бы ничего, кабы братан мой!.. Казаки все за ним, за князем Димитрием... Я толковал было с им...

— Он сам хочет, я слыхал! — осторожно заметил Грамматин. — Сам идет в цари. Таборы-то казацкие, правда, у него надежная помощь! Столько сабель да пищалей!.. Рать земская поразошлась, поразъехалась! С дворянами и иными, со стрелыцами — и то трех тысяч не набрать сей час воинов... А казаков полшты тысяч счетом в руке у князя Димитрия... Может в цари себя ладить!

— И он! — с досадой отозвался Мстиславский. — Вот на! Да сколько же царей на череду теперя будет! Есть из чево выбирать!..

— Да, ест ь к о м у и выбирать! — внушительно заговорил снова дьяк. — Народу тьма, и земских наших, и казаков... Можно иных разбить, посорить промежду собою... Иных — дарами задарить... Купить людей не трудно! Я служить готов... И поторгуюсь с людьми, которы позначнее, повиднее... И... силки поставлю, где можно... Слуга боярский, бью челом!..

— Без барышку не останешься, приятель! Ты — нам... а мы — тебе!.. — сказал Шуйский.

И тихо, быстро шепнул стоящему близко дьяку:

— Ко мне загляни попозднее!

— Не поскупимся на услугу другу! — откликнулся и Воротынский. И когда Граммати́н, подойдя поближе, стал ему кланяться на милостивом слове, князь тоже шепнул ему:

— Ко мне бы ты по ночи завернул!..

— С Авраамием бы Палицыным надо нам дело починать! — громко заговорил довольный, сияющий от ожидаемой прибыли, хитрый дьяк. — Он — иннок куды речистый! Господь послал ему великий дар! И верно служит отец честной тому...

— Кто даст ему поболее! — отозвался, молчавший до тех пор, тоже правитель бывший, Лыков. — Слыхали мы про Авраамия...

— Н-н-ну... не скажу того! — возразил дьяк. — Видал я, в ину пору загорится у него душа... так он и доброго не мало натворит, по чистой совести, без купли, без обману. На похвалу он больно лаком... Любит, штобы хорошая молва о нем широко неслася! Вот... на этом его и можно изловить всего скорее!.. Ну, а тогда он послужит хорошо! Его любит народ кругом!

— Ты прав! — отозвался Шуйский, подзывая знаком дьяка. — Уж, я смеаю, как с ним нам быть!.. А ты, дьяк, слышь, гляди...

И князь-боярин стал что-то шептать Грамматину.

— Эх, дал бы только нам Господь удачу, кому-либо из наших, все едино! Тогда мы покажем энтим... выскочкам, холопам недавним... мужичью московскому, как перед нами, потомками прямыми ихних старых князей и государей, им величаться можно али нет!.. Уж мы потешимся тогда!.. Поотведем душеньку над...

— Потеше, слышь! — удержал товарища Лыков. — Не дома ты, не в своей опочивальне! Да, чай, и в дому теперя предателей найти немудрено! Теперь помалкивай...

Шуйский между тем, проводив Грамматина, который вернулся в палаты, обратился к товарищам:

— Ну-к што ж, князь-бояре! Несолоно хлебали — и по домам теперь пора ко щам! Спасибо, што домой-то отпустили нас без «проводжатых»... Ха-ха-ха!.. А я, признаться, того боялся, как ехал во дворец...

Воротынский приосанился, даже руку на меч положил при этих словах.

— Посмеют ли!.. Да ежели бы... Тогда, гляди, и камни

возопиют... Нет! Мы свое спокойно дело проведем! Не захотят взять Владислава в цари, так кто-либонь из нас быть должен государем! Вот поглядите! Пусть собор сберет-ся только... и мы...

— Да! Мы уж помутить сумеем в добрый час! — улыбаясь, закончил Шуйский речь приятеля. — А теперя ходу, други любезные...

Только собрались приятели оставить площадку, как на ней появился думный дьяк Лихачов, «печатник» царский, то есть канцлер государственный. За ним шел Пимен Семеныч Захарьин и человек десять иноземной стражи в полном вооружении, с заряженными мушкетами.

— Повременить прошу, бояре-князь! — обратился Лихачов к группе бывших правителей. — Указ есть, до ваших честей касаемый...

Предчувствуя недоброе, застыли на местах князь.

А Лихачов своим привычным к думскому покладу, ровным, четким голосом заговорил:

— Бояре-князь, Андрей Васильевич Трубецкой, Федор Иванович Мстиславский, Андрей Васильевич Голицын, Иван Михайлыч Воротынский да Василей Михайлович Лыкин. Боярин-вождь, князь Димитрий Михайлович Пожарский с товарищи приговорили: по разным городам вас развести, отдать за приставы впредь до разбора и суда алибо. как советом всей Земли и рати будет тамо уже порешено над вами.

Переглянулись князь, огляделись кругом, словно ожидая со стороны толпы сочувствия и помощи. Но близко стоящие люди молчали, с любопытством наблюдая, что происходит. А подальше слышались далеко не сочувственные возгласы:

— Добро! Ништо!.. Как скоро спесь-то посбила... Пришел черед и боярам-насилыникам, предателям отчет давать...

Подняв головы, гордо двинулись вперед опальные князь, окруженные стражей, и скрылись за поворотом. А им вслед неслись уже громкие насмешки и глумливые крики:

— И тута без бою сдалися отважные стратиги наши!

— Они привышны трусу праздновать, толстопузые!.. Кто ни приди да зыкни, — наши воеводы и хвост поджали, в подворотню идут молчком, ровно псы побитые!..

— Ай да князь честные... Последыши великокняжецкие!..

— Охо-хо-хо!— скорбно покачивая головой, снова запричитал Шуйский и обратился ласково к Лихачову:

— А слышь-ко, Федя, дружок... Ты там, тово... маненько не обчелся?.. Аль про меня не писано стоит в указе твоём... Асеньки?..

— Нет, благодетель! про тебя — ни словечушка... — с поклоном отозвался Лихачов. — Авось потом, погода немного и до тебя дойдет... Коли уж так тебе завидно, князь-господин!..

— Шутник ты, вижу, Федя!.. Хе-хе-хе!.. — раскатился довольным смешком Шуйский. — Я не завистлив! Лучше уж домой потороплюся. Пусть про меня покудова и вовсе позабыли бы! Не осержуся, право! А ты, дружок, не напоминай за старую дружбу, за хлеб, за соль... Прощай, дружок...

И Шуйский быстро двинулся с крыльца к колымажным воротам, где ждала его каптанка, чтоб отвезти домой.

Лихачов в это время примостился у балюстрады крыльца, разложил тут кусок хартии, приготовил походный письменный прибор, так называемый «каламарь», от греческого слова *каламос*, тростник, которым писали в древние года. Сняв теплые рукавицы и похлопывая руками, он полез за пазуху за «воротными часами», висящими на цепочке.

— Кажись, по солнцу глядя, — пора и на «перебранку» люд честной созывать! — проговорил он, поглядел на часы и снова спрятал их, бормоча: — Так и есть! Самое время! Гей, колоти в казан! — крикнул он стрельцу, который сидел на крыльце у большого широкого барабана с круглым дном, установленного на особой подставке близ широкой балюстрады крыльца. — «Дери козу», служивый!.. Знак подавай пищальникам!.. Пушай пищаль бабахнет, сзовет народ! А то маловато людей сошлось, как видно! — приказал Лихачов, приглядываясь к людям, стоящим за цепью часовых.

Гулко прозвучали удары барабана, тяжелые, резкие, раскатистые, словно бой далекого, большого колокола, надтреснутого у краев.

Всколыхнулась толпа. Из нее стали выбираться и протискиваться вперед ратные люди, все больше немолодые, и дворяне служилые, и торговые представители разных городов, которые входили в состав Великого совета всей земской рати.

Пушкари у большой пушки, или «затинной пищали», завоились.

— Уйди, ожгу!.. Поберегися! — крикнул «пальник», раздувая горящий фитиль, толпе зевак, которые слишком близко стояли у жерла пушки.

Он поднес разгоревшийся хорошо фитиль к затравке. Ухнула пушка своею широкою металлическою грудью... Прокатился выстрел, отдаваясь эхом за Москвой-рекой, вспугнув несметные стаи голубей и воробьев, ютящихся под кровлями палат и храмов Кремля.

Трубы и барабаны с разных концов города, сначала ближе, потом издалека, стали откликаться выстрелу пушки. Загремели литавры... В свободном пространстве, обведенном цепью часовых, стали собираться выборные, члены совета...

Много ратников сгрудилось у самого крыльца, словно ожидая кого-то.

Толпа народная вдали стала еще гуще и все старалась ближе надвинуться, оттеснить хоть немного линию стражи, которая стояла плечом к плечу, поперек себя держа свои бердыши, образуя ими непрерывную ограду вокруг свободного места, назначенного для собрания выборных.

Скоро показались младшие воеводы земской рати: Репнин, Масальский и Пронский, молодые князья Маисуров, князья Волконский и Козловский, воевода Кречетников. Затем, продолжая горячую беседу, начатую еще в палатах, показались на крыльце почетные члены совета: Савва-протопоп, Минин, Авраамий Палицын, гетман Просовецкий, воевода Измайлов. За ними шли гурьбой другие видные лица: Иван Никитыч Романов, Вельяминов, бывший тушинец, и Салтыков, «сума переметная», живой, бодрый, несмотря на свои года, с алчным блеском скряги в бегающих, лукавых глазах, Плещеев; князь Хворостин, набожный и добрый вельможа, следовал за другими. Компанию завершали два дьяка — Грамматин и Андронов, «общие приятели, дружки и предатели», как их звали, но люди опытные, знающие свое дело, они были нужны молодому правительству московскому.

Их пока терпели... И только потом суд был назначен над ними. Андронов даже жизнью заплатил за свои «измены». Наказан был и их покровитель, Салтыков. Но пока еще они не чуяли над собою грозы и величались среди первых людей Земли, какими были все другие, стоящие тут, лица.

В ожидании главных вождей между появившимися на крыльце правителями продолжался разговор, начатый в палатах дворца.

— Я так мыслю, торопиться не след! — оживленно настаивал Палицын, продолжая неоконченную речь. — По всем по самым дальним городам тоже надо грамоты посылать призывные, и по Сибири и повсюду! Не обминуть бы самых малых уголочков! Да пособрат на Москву народу тьму целую, на Земский на собор... Найдется места довольно поразместить почетных да желанных гостей. Посидят, посудят. Да ежели тогда ково уж назовут — так то имя выйдет из целой всенародной груди и весь мир его услышит да признает... И Бог благословит того избранника... А так трень-брень... поскорее да поживее... Штобы не вышло по-годуновски, как он собор подстроил... Али и того хуже! Разумный ты мужик, Кузьма, сам порассуди!.. Скажи по чести...

— Люди рассудили уж, те, что поумней меня! — глядя в умные, но затаенные глаза монаха своими простыми, бойкими глазами, с безответным, смиренным жестом отвечал Минин, мужик тоже себе на уме. — Да и тебя, честной отец, они, слышь, поразумнее будут, так я полагаю по серости своей мужицкой... Те люди, коим Бог вручил власть над Землею, а стало, и забота ихняя обо всем, а не наша! Те люди, честной отец, кои от Господа и честь, и удачу, и над врагом одоление получить сподобилися... Кто разгони врагов, ослобонил Москву... Кто в единый год успел выставить рать, силу несметную... Ты же видел сам, отче: пошли мы к Ярославлю... Ну, рать как рать.. Так тысяча десятка полтора... А двинулись оттоль через двадцать ден, тучею грозовой!.. Несметными ордами! Уж на што казаки задорны, злы и нетрусливы — а хвост поджали! Нашего вождя слушают, как батьку-атамана, Трубецкова-князя своего, альбо там иных... «Земля пошла!» — только и речей было слышно по целому царству. А коли Земля пошла, кому же и судить о великом земском деле, о выборе царя, как не ей самой! И вышло так. Неслыханное дело совершилось. При ратном войске — словно бы Всеземский совет объявился самочинно. От разных городов, разных чинов собрались выборные люди... Дела судили, грамоты давали, какие надобно. Вон и в твою смиренную обитель поновили две тарханные грамоты. Вам от того прибыль. Да и никому обиды не было. Всем хорошо стало. Там, помаленьку да полегоньку, послали людей с указами, с книгами писцовыми, отымать почали от бояр земли государские да дворцовые, царские, удельные угоды и прочее, што они порасхватили под шумок, в пору безвременья, в годы разру-

хи общей... Што на себя воровски позаписали, помимо права и закону... И то погляди, земля, почитай, чиста от врагов... Еще два-три кулака дадим — и последних погоним прочь! Чево же ждаты! Зачем ошшо гадать да мерекать! Царя хотим! Слышь, истомился и то народ православный! Хоша и ладно все, да — верх не довершен! У всех тревога на душе: «А што, коли опять... А вдруг да снова почнется смута!..» А царь у нас будет — и тревоги той не станет. Он нужен всем, как знамя в бою ратникам! Вот уразумей, отче: готов доверху храм... А нету креста на кумполе — и церковь не есть священна! Не зовется х р а м о м... Так пусть царь засияет над землею. Пусть храм земли родимой, обновленной, очищенной от крови, от всякой скверны, веками накопленной, — пусть станет свят, когда народ по внушению Божию царя себе назовет и поставит.

— Ай да Кузьма! И риторика ученого наставит гораздо! Авраамия свалил! — слышались голоса окружающих бояр.

— Что же, признаю, красно говорит нижегородец! Но... и я не спор вести хотел... — с притворным смирением проговорил Авраамий, косясь на бояр и на толпу ратников и молодых воевод, которые, заинтересовавшись речами Минина, взобрались на средние ступени крыльца, не решаясь подняться выше из уважения к старшим начальникам.

— Сдается мне только... — начал было снова монах.

Но Минин, не давая досказать, влился в его речь:

— Што, теряя понапрасну дни, найдешь ты што-либо? Отец честной?.. Не полагаю, батько! Устанут пуще люди. Слышь, и так поустили. Кто Русь спасал, те по домам потянут, как оно уже и началось. И тут, по-старому, подьячие да дьяки учнут всеми делами вертеть да те самые князья-бояре знатные, кто землю до разгрому допустил, до лихолетья тяжкого и долгого!.. Вот мешканье к чему приведет, а не к иному, как ты толкуешь! Не про тебя скажу... Но иные — рады бы отдать любую половину казны своей, штобы стало так, как ты советуешь. Потом они погреют лапы по-старому в земском сундуке, навестают все убытки и протори, все подкупы и закупы, когда их верх возьмет!.. Да нет! Вот слышит Бог: тово не будет!..

Мощный, хотя негромкий, сдержанный, как рокот дальних громов, пролетел гул одобрения снизу в толпе и среди старших начальников-воевод.

— Ай да Минин... Молодец! Спасибо!.. Так, Кузьма! Не будет!..

А Минин сильнее уже поднял голос, чтобы слышали люди, стоящие в кругу, и народ, темнеющий за ними.

— Коля Бог подаст, грядущю весною воссядет царь на троне московском и процветет, как некий крин прекрасный... Я, Минин, вам, миряне православные, головою в том ручаюсь!..

— Живет Кузьма! Живет земли радетель! — откликнулись радостно толпы народа.

— Потихе, вы! — остановил клики Кузьма. — Царю покличете в свою пору. Его повеличаете. Теперь боярам честь давайте. Я — мужик простой, так мне величанье-то ваше и вовсе не пристало!..

Порывисто заговорил Савва, тронутый искренним смирением Кузьмы.

— Ну а скажи, «мужик» ты мой любезный, што мил есть Господу паче иных князей родовитых да вельможей значных... Кого возьмем себе в цари?.. Ужели — ляха?

— Бояре бы взяли... Да земля не дозволит!

— Вестимо так, Миныч... Ну, мысленное ль то дело: лях — царь Руси!.. Влацлав али Жигмунт сидит в Кремле, творит обряды в святых соборах наших!.. Только што боярам и пристало о подобном думать... Вот кабы такова... От Рюрика... от корня старовечного... Скажем, как Голицын-князь Василийч, господин...

— Отец честной, мы здесь не на соборе! — живо перебил протопоп Минин. — Вон люди дожидаются меня... Апосля потолкуем!..

И он обратился к стоящим пониже младшим воеводам и тысяцким:

— Ко мне, поди... Пошто, рассказывайте!..

Наперебой заговорили начальники отрядов, которым Минин поставлял все необходимое для жизни и для боя.

— Рать новая пришла от Арзамаса.

— Две сотни подвалило калужан! — доложил другой.

— Слышь, сузальцам, нам, кормов не хватает!

— Я с Муром, сокольничий, Масальский-князь, Василийч... Попомни, запиши. На службишку явился... Уж ты меня пожалуй...

— Нам отпустил бы холопей с конями да телегами, — слышалось с другой стороны. — Они кладь подвезли, теперя домой ладят поживее. Пришли их посчитать, Миныч!

— А нам — казны пушкарской да припасу надоть...

— Пожди, дай мне! — осадил соседа громадный, нескладный воин, скорее напоминающий мужика, одетого

в кольчугу, с бердышом и в простой шапке барашковой на голове. Он гулко забасил:

— Мы-ста — поморяне! Кормы уж больно плохи... Такие шти нам дают... тыфу!

Он плюнул сердито.

— Мы-ста не обвыкли! Нам рыбки бы... хошь соленькой, коли не свежей... Снеточков бы... Да ошшо...

— Не разом, слышь! — крикнул наконец Минин. — По ряду речь ведите! Нет даже мочи. Вот я в сей час! Степаныч, — обратился он к дьяку Сменову, которого взял с собою в поход. — Ты со мною... Записывай, а я пойду опросом!..

Спустился в толпу, ожидающую его внизу, он стал опрашивать поочередно каждого, говорил свои решения Сменову, который с письменными принадлежностями, висящими на груди, с тетрадкой шел за другом и записывал его распоряжения.

— Боярин-воевода!.. Трубы! Трубы! — слышался говор бояр на верхней площадке крыльца.

Стрелец снова подал знак ударом по своему барабану. Трубы и литавры загрели с низу, из отрядов, выстроенных там в виде почетного караула.

Пожарский в сопровождении князя Дмитрия Трубецкого появился наверху. Несколько азиатов-телохранителей, остановясь немного поодаль, замерло в неподвижной группе. Затем показался и престарелый князь Шереметев со своими двумя-тремя помощниками по делам совета ратного.

Младшие вожди, выборные земские и войсковые, ратники и казацкие головы выстроились против крыльца полукругом на свободном месте, охраняемом стражей от натиска народной толпы.

Когда умолкли трубы, литавры и приветствия войска и народа, Пожарский отдал на все стороны глубокий поклон.

— Поклон Земле и рати православной! — прозвучал в наступившей тишине его сильный и приятный голос.

В это время казацкие выборные, стоящие особой большою группой, желая почтить своего любимого военачальника, зычно крикнули:

— Князь Трубецкой живет на многие лета!..

— А Минин-то что ж! — раздались громкие голоса. — Забыли нашево радетеля! Кто на поляков последний ударил?.. Кто Хотькевича прогнал?.. Кузьма Захарыч!..

— На мно-оги ле-ета пусть живет Кузьма! — прокатилось по площади.

Младшие воеводы и ратники, с которыми толковал Минин, на руках внесли его на верхнюю площадку и поставили перед лицом толпы.

— Спаси вас Бог, дружки,— с трудом передохнув, с поклоном проговорил Кузьма.— Ой, помолчите-ка малость!.. Боярину и князю-воеводе, слышь, молвить вам слово дайте!

Толпа стихла понемногу.

Громко разнеслась речь Пожарского.

— Привел Господь,— мы во Кремле Московском! Очищена святыня. По церквам нет уже боле ни падали — копей, ни трупов человеческих, што тамо гнили много дней... Горят лампады, свечи озаряют лики святые дедовских, прадедовских икон!.. Сверша мольбу и воспев хвалу помощникам нашим, чудотворцам московским, пришли мы на одно постановление: пора царя избрать всею землею. Пока текли дела неважные — советы и помощь подавали нам вы, люди добрые! Но ныне дело таково велико, что *вся* земля должна сказать свое решенье... Мы приказали изготовить грамоты призывные, немедля по городам их разошлем, во все царства: Московское и Казанское, и Сибирское, и Астраханское, и по иным областям... Да выберут они тамо от каждого города по десяти разумных, благонадежных мужей. Сюда сберутся выборные люди. С ними учнет дума боярская и собор освященный духовенства нашего советы советовать! И тогда выбрав на совете Великом, на соборе всей Земли царя, наречем богоизбранного, и воссядет он на трон царей московских. Так любо ли, люди ратные и иные, советники земские?

— Любо! Любо! — дружно откликнулись все земские ратники и выборные.

Казаки неохотно подали голос.

— Нельзя инако,— пусть оно и тако!.. Мы волим так! На это и мы сдаемся!

— Гей, батько! Сголошаться либо нет?..— вдруг прорезал общий говор сильный голос есаула Тучи, который обратился к Трубецкому со своим вопросом.

— Поспел спросить! Ты бы еще погода немного... Ты бы к вечерку... Алибо — завтра поране! — посыпались шутки и от своих, и от земских.

— Коли тебя в цари возьмут, я сголошаюсь! — не смущаясь нисколько смехом и шутками, встретившими его первое выступление, еще громче рявкнул Туча.

Хохот прокатился кругом.

Смеялись и бояре наверху. Улыбнулся невольно и сам Трубецкой.

— Молчи, коза! Не потешай людей! — крикнул он есаулу. — Не срами себя и табор!..

— Ну, я молчу! — согласился Туча.

Хохот стал еще пуще.

— Князь-воевода, мне не дозволишь ли словечко народу молвить! — спросил Минин у Пожарского, стоя на крыльце.

— Изволь! Прошу, Кузьма, сказывай, што имеешь...

Снова поклоны обычные отдал Минин.

— Честной народ, вы, Божье ополченье земское, и казаки, лыцари отважные! И все, кто здесь стоит, челом вам бью! Привел Господь услышать нам благую весть. Народ собирается избрать себе царя. И радостно, огульным громким кличем, с веселым смехом, принял эту весть люд весь, измученный, запуганный, што не смеялся, не улыбался уже долгий ряд годов! Как добрый знак, как предвещенье счастья пусть прозвучит тот народный смех веселый. Да никогда не плачут больше очи его, как плакали они досель не то што слезами, а кровью горячею, лет восемь, почитай, подряд!.. Пусть слышит Бог!.. А вот теперь — скажу вам, какого бы царя иметь нам надоть! Весной его мы станем выбирать... Так цвел бы он, как мак, как мах, как вешний цвет! Штобы очи были ласкою полны... Штобы душа его незлобная сияла и грела нас, как солнышко весной поля обогревает после зимней стужи... Штобы нас любил... и мы штобы его любили, как любят дети доброго отца! Пусть будет юн! То не беда. Придет с годами знанье... Пусть будет тих, не грозен! Земля вся за него, коли нужда придет, — Земля грозой могучей встанет!.. Пусть будет он и справедлив и милосерд, штобы Бога заменил нам на земле!.. Штобы за царя за доброго — Бог дал Руси удачу и грех простил!.. Помолимся об этом, мир честной, люди православные!..

Словно в ответ — прогудел первый удар соборного колокола, зовущего на молитву.

Кузьма обнажил голову и перекрестился широко.

Все кругом сделали то же, и негромко, но дружно пронеслось по площади одно общее желание, словно рокот прибоя отдаленного:

— Пошли Господь!..

Часть третья

ИЗБРАННИК ЗЕМЛИ

Глава I

У СТАРИЦЫ МАРФЫ

(НОЯБРЬ 1612 ГОДА)

Тишина и покой царят в трех невысоких, но довольно просторных горницах-кельях, занимаемых старицей Марфой с юношей-сыном и послушницей, находящейся тут бессменно для услуг.

Зимнее солнце кидает лучи сквозь замерзшие стекла небольших оконцев, прорезанных в толстых стенах монастырского здания. Но мало свету и тепла от бледных, зимних лучей, и две печурки ярко пылают в двух горницах, громко и весело потрескивают сухие поленья, покрываясь рубинами пылающих углей и налетом серого, быстро рассыпающегося пепла.

Глядя в огонь, близко от печурки, на невысоком табурете сидит зябкий Михаил и видит чудные образы в легких переливах пламени, в игре светотеней среди горящих и истлевающих поленьев...

Старица Марфа сидит неподалеку, у стола. Фолиант в тяжелом кожаном переплете с металлическими застежками и углами развернут перед нею: Четьи-Минеи митрополита Макария — ее настольная книга.

Но не читает старица. И мысли ее унеслись далеко отсюда, в дальний литовский Мариенбург, где в тяжелой неволе томится ее супруг прежний, теперь — инок, как и она, — митрополит Филарет.

Потом ярко загорелось в ее воображении дорогое лицо недавно умершей юной дочери, Татьяны... Слезы наполнили глаза, но так и застыли под припухшими, тяжелыми веками, словно скупелись там, тяжелые, свинцовые слезы безутешной скорби. Мало отрадного хранится в памяти измученной старухи, только потери и страдания...

Вдруг с затаенной тревогой она бросила взор на сына.

— Мишанька, да ты што... Нездоровится тебе али што!.. К печурке ты все, к теплу подсаживаешься... Знобит

тебя, што ли?.. Не прозяб ли... не продуло ли, как мы ноне в собор с тобой ездили да апосля во дворец ходили... А, Мишань!.. Скажи, милый...

И, тяжело поднявшись, она подошла к сыну, потрогала его голову, заглянула в его темные, большие глаза. Потом, не находя тревожных признаков, спокойнее уже подвинула к себе мягкий табурет и уселась поближе к сыну.

— И, што ты, родимая! — весело между тем заговорил юноша. — Здоровешенек я! Так только, с виду Кашеем Бессмертным кажуся... А силы у меня много... Братана Васю я вот как под себя подминаю, хоша он куды какой толстый да ядреный супротив меня... А што при огне сидеть охоч... Так уж повадка у меня такая. Знаешь, люблю тепло... И ногам тогда полегше... А то зимою ноют ноги-то, что я застудил на Белоозере... помнишь!..

— Помню... помню... — глухо ответила мать. — А, слышь, о чем толковал с тобою воевода князь Димитрий, как подозвал тебя... Не прислушалась я... С людьми заговорила... Скажи, сынок...

— Да што... Так, пытал: учусь ли я чему да как... Охоч ли я к науке да к делу ратному... А тамо речь пошла иная! «Вот, — говорит, — царя выбирать собирается царство наше Московское. Какого бы ты царя выбрал?..» — он меня пытается. А я и говорю: «Штобы был и храбрее, и мудрее, и добрее всех на свете!» А он мне на ответ: «Ну, парень, такова и не бывает! Хоша бы одно што, и то бы ладно!..» Засмеялся и погладил меня по голове, ровно дите малое. Я и застылся... А ты меня и позвала тут... Я и подошел...

— Да... чуяло мое сердце: с толку тебя они сбить хотят! Отроку малому и таки задачи задают! Лукавый народ!.. Не слушай их... и не толкуй с ими помногу. Што вопрос от них, а ты на ответ: «Да, нет, либо — не знаю!» Слышишь!..

— Слышу, матушка... Я уж попомню... А... слышь... почему так?.. Князь Димитрей такой добрый да отважный воевода... Он врагов разгонил от Москвы... нас из плену выручил... Нешто он мне зла захочет, што ты...

— Ну, буде! Не допытывай... Больно молод еще ты, не разумеешь, дитятко мое роженное. Подале от соблазну, оно и лучше! А где больше на свете соблазну бывает, как не здесь, средь теремов царских, под самой сенью трона царского! Уехать бы скорее нам отсюда хошь в вотчину к себе — да и конец!

— Уехать... теперя, когда царя выбирать собирают-ся люди все... И не погляжу я на ево, на избранного... не увижу всей красоты да величия царского... А я уж думал!.. И во сне мне даже снилось... Вот выбрали царя... А он — нам не чужой... Вот словно батюшка али дядя... Я ведь слышал, хотели батюшку в цари... Да он священноиннок, так не можно... А снилось мне, што и я тута, при венчанье царском. И мне почет, как родичу цареву... А у меня от радости и дух заняло... И будто снялся я с места, как стоял, и — порх!.. Полетел-полетел высоко, к самому солнцу, оттуда вниз гляжу и радуюсь на все... Чудный сон то был, родимая!

— Ох, дитятко! Ишь, какие сны тебе видятся... Величие снится... Брось! Не думай...

— Знаешь, родная... — почти не слыша слов и вздохов матери, задумчиво глядя в огонь, продолжал юноша. — Стал бы я царем... уж сколько бы всево-всево содеял!.. Неверных бы османов вконец поразил и Гроб Христов очистил от языков неверных. А дома, на Руси — о всех бы подумал! Всем бы дал утеху, помочь... Правый и скорый суд бы оказывал я земщине моей... Бояр?! Тех — вот бы как держал я, в ежовых рукавицах! Как батюшко нам часто говаривал... От своевольства их поотучил бы! Уж они б узнали... Они б меня боялися и слушали, вот как деда, царя Ивана, слышь... Пра, маменька... Што на меня глядишь так, ровно бы испужалась чего?..

— Дитя! Дитя!.. Скорее б ты изведаль мятеж, составы тайные, смуту и заговоры... Вот чем бояре удружают царям, коли те не больно воли им дают! Я видела! Я знаю... Я чаю, дитятко, рубахи ты так частенько не меняешь, как в эти годы цари у нас сменялися, на престоле царства Московского и вся Руси! Ужли же сына дала бы я на поруганье, ежели бы и взаправду! Выдам тебя на потеху хитрому да алчному боярству, приказным, ключкодеям?.. Алибо поверю сына злобной черни слепой и пьяной и разнузданной!.. Да ни за што!.. И сны штобы такие тебе не снилися! Ты слышишь ли, Мишанька! — строго, почти грозно обратилась она к удивленному юноше.

— Да уж, ладно... Ты, мамонька, не трепыхайся так... А то была недужна еще недавно... Я и думать не стану ни о чем, што ты не хочешь... А в голову коли само пойдет, я «Отче наш» читать начну... и позабуду то... Уж, право... не серчай!..

Ласковые речи и нежное объятие, в которое заключил

ее сын, успокоили старицу. Но вдруг она снова вздрогнула.

— Ох... Мужчины сюды идут... да не один... Ты слышишь... По каменному полу гулко шаг стучит... там, в проходе ближнем... Не сюды ли? Не ко мне ли? Да зачем?... — встревожилась старица. — Иди-ко, иди-ко в тот покой, в дальний... Коли не к нам, я позову тебя... Иди... Не надо, штобы чужой глаз видел тебя... Ты больно глаз принимаешь... Иди...

Едва ушел Михаил, как за дверью зазвучал мужской, знакомый Марфе голос, произнося обычные слова:

— Господи Иисусе Христе...

— Помилуй нас! Аминь! Входи, братец, Пимен Семеныч!.. Жалуй, милости прошу!

— Слышь, не один я! — входя, объявил Захарын.

И за ним вырисовалась грузная фигура князя-воеводы казацкого Дмитрия Трубецкого.

Он тоже отдал поклон иконам и старице.

— Челом тебе, старица честная, Марфа Ивановна. За доuku на нас не сетуй и не осуди, Христа ради!..

Несмотря на довольно раннюю пору дня, Трубецкой был уже навеселе, но это выражалось только в живой краске, проступившей на его полных щеках, да в веселом блеске маленьких, словно маслом подернутых, глаз.

— Мир вам! Милости прошу садиться. Будьте гости.

Наступило небольшое молчание. Старица ждала, чтобы гости объяснили причину необычного и внезапного посещения.

Трубецкой, и вообще не умеющий стесняться или идти в обход, покрутив свои длинные, по-казацки отпущенные усы, сразу заговорил:

— Кхм... кхм... Я — без обману! Зачем пришел — о том вдруг и скажу. А прибирать речь к речи да словцо к словцу не горазд, не умею, хошь и до старости дожил!

— Сказывай, князенька, прошу милости... Што прямее, то лучше... Было бы лишь на добро нам и вам...

— Еще ли тебе мало! То ли не добро!.. Там, слышь, весною собираются сына твоего на царство посадить.. Так я...

— Спаси и помилуй Господи! — с неподдельным испугом вырвалось у старицы.

— Твоего родного сына в цари, слышишь, маты!.. А ты...

— Пускай Господь Всесильный меня покарает... но

сыну не дам испить злую чашу! Умру сама, а вот — не дам... и не позволю! — почти крикнула Марфа.

— Слышь, боярин,— негромко обратился к Захарьину Трубецкой.— От радости, видать, повихнулась мать честная наша!.. Ай нет?.. Как мыслишь...

— Ты не шепчись! С ума я не свихнулась!— раздразнительно проговорила Марфа.— А вот ты сам мне скажи перед образом святым Спасителя... Говори: пошел бы сам теперя ты в цари ай нет?.. Душой не покриви!

— Кхм... кхм... Мне — штобы царем... Затем вот я с тобою и толковать почал... Другие наобещали мне... Вот твой свояк да шури, Иван Никитыч... да иные ошшо... Все — мужики лукавые! Я знаю повадку московскую вашу! Сулят немало! А как придется к расплате, как приспее пора делить добро,— и топорича дать, слышь, пожалеют... Право!.. Я — што же! Я и в цари бы не прочь! Хоша не надолго, да все бы повеличался всласть! Слово сказать стоит, так меня казаки живо «помазуют»... али што тамо ошшо надо... Да, пора теперь такая... больно непокойная. Вижу сам, што царства мне долго не удержать в руках... Не стоит и починать. А еще и то, душа моя не терпит утеснения никакого, хоша бы и царским саном... Милее мне всего на свете воля, пиры да сдобные бабенки!.. Хо-хо-хо!.. Мне ли быть царем! Трудна задача, место неспособное, тяжелое для моего обычаю... А вот помочь другому в деле алибо помешать — это я здорово могу! Дак штобы не мешать, а помогать — прошу я от вас, от Романовых — отвальное! Уразумела... Мне бы дали воеводство — Вагу целиком! Да по все дни мои, штобы без смены! Штобы уж теперя написан и дан мне был приговор. А как царем настанет твой сыночек,— штобы и он... Да Филарет, когда домой вернется из полону литовского,— штобы согласие было дадено! Поди, за юного сынка отцу придется долгое время землею править... Царь малолетний на троне будет лишь сидеть да приговаривать: «Быти по сему!» Так как, мать честная,— согласна?

— Я и в себя-то не приду, князь-батюшко! То ты мне сына — царем нарекаешь... То у меня за послугу — чуть не полцарства просишь на откуп!.. Што ты, шутить затеял над бедной, беззащитной сиротою... Алибо...

— Сестра, послушай ты меня! Тут шутки нету,— вмешался Захарьин.— Обиды тоже не ищи! Князь всю правду-истину сказал. Ответить только можешь, што ты отпишешь

Филарету... А што уж он нам прикажет, как отвечать да обещать велит — так оно и будет!

— Во, во! Попал в мету, как говорится! Мне боле и не надо. Вижу я, честная мать, и впрямь отшиблась ты от дел мирских и не вникаешь... Дак отпиши, слышь, поскорее Филарету. Он што скажет мне,— уж я тому поверю. Он — не обманет, нет!.. Он у нас — гордыня!..

— Добро! Ему я вскоре отпишу! — сурово ответила старица.

— Слышь, поскорее... Дело, слышь, такое...— начал было снова Трубецкой.

Но его перебил голос за дверью:

— Господи Иисусе...

— Амины!— не дав договорить, радостно откликнулась старица, узнав голос.— Иван Никитыч, ты!.. Скорее жалуй!.. Входи уж!..

Вошел Романов, отдал обычные поклоны и, видя расстроенное лицо золовки, спросил:

— Што приключилось такое, сестрица милая...

— Мы тут толковали... знаешь сам о чем!— ответил за нее Трубецкой.— Дак поговори-ка сам!.. В сумлении, как видно, мать честная... Поговори... а мне уж и пора. Челом тебе, матушка... И вам — до увиданья!..

Ушел Трубецкой.

— И не пойму... да што это творится?! — нервным, напряженным голосом кинула вопрос Марфа.

— Што не понять!.. Господь племянничка любезного в цари ведет, и только! — успокоительно заговорил Романов, медленно опускаясь в кресло и вытягивая свои больные, искалеченные цепями в ссылке ноги.— Затем я, слышь, и поспешил к тебе, сестрица. Пошли уж толки повсюду. Словно ком, катится и растет молва, для нас хорошая... Што и как оно будет — нам неведомо покуда. А надобно до срока лишь одно нам сделать...

— Што... што?..

— Убрать Мишаньку в место скрытное, да понадежней, на всяк случай... «Подале положишь — поближе возмешь!..» Князь Трубецкой... Он зычен, да не лют. Есть тихие, подкусные собаки. Есть Шуйский, змий лукавый... и другие с ним... От них бы нам отрока укрыть подальше да повернее!.. как мыслите: куды?..

— На Кострому! — отозвался Захарьин.

— Там, как ни таи,— разузнают скоро... Больно людно в городе... Нет, в глушь бы с им... А што... Сестра, послу-

шай: нет ли таких деревень у нас подале отсюда, чтобы вам засесть — и ни гугу! Ни слуху и ни духу отгудова, пока время не приспееет... Подумай...

— Есть вотчина одна... Шестовых, наша, родовая... Село и храм. Хотя близко Костромы, да бор густой кругом. Не зная хорошо, и путей туды не сыщешь!..

— Вот это и ладно. Село-то как звать? Поди, его я знаю...

— Домнино — село. Пожди, братец... Оттоль теперь мужик приехал, староста Иван с обозом... Сусаниных, Иван... Он много лет у нас, у Шестовых, в роду на службе был... Ему скажу... и с ним... Он нас свезет туды с Мишанькой...

— Вот и добро... А тут скажи: на богомолье, мол, в Троицу... алибо там в иное место собираешься... Так всем толкуй покуда!.. А с полпути — к себе и повернешь, в село твое...

— Ты не учи уж меня... не толкуй много! Сама птенца укрою от напасти всякой... Тучами ево одену, в скалы заключу!.. А сберегу! Не выдам лиходеям!..

— Ну, так зови своево мужика, толкуй с им... А нам тоже дела ошшо есть! — с поклоном, берясь за шапку, сказал Романов. — Сидит тамо один мужик такой ражий за дверьми... Не он ли?..

— Он самый... Мимо пойдете — поклечьте сюды, коли не в труд!..

— Помилуй! Господь храни тебя и Мишу!..

— Храни тебя Господь, сестрица!..

Оба боярина вышли из кельи.

Грубоватый, сиплый от мороза и дальней дороги голос раздался за дверью:

— Господи Иисусе Христе...

— Входи, входи, Иван! — позвала старица.

Сусанин, широкоплечий, приземистый мужик лет за пятьдесят, вошел, истово перекрестился на иконы, принял благословение от старицы и поцеловал край ее мантии.

— Звать приказала, госпожа честная.

— Иван, послушай, — сразу, порывисто, заговорила Марфа, стоя перед Сусаниным. — Дело таково, што часу терять не можно... За тайну скажу тебе! Побожись, што не выдашь.

— Матушка! — сказал только мужик.

— Ну, верю, вижу... знаю, каков ты для нас, для дому нашего слуга верный!.. Так, слышь... о царе речи

пошли... и перекоры уж начались... Ково да как на царство Господь пошлет?.. И вышло так, што иные мыслят выбрать царем моего Мишаньку...

— Ну!! В добрый час да повершиться бы благому делу! Аминь, Господи!..

— Тише... Стой, помолчи! Не к месту радость твоя великая!.. Я того не желаю! По какой причине — после скажу... Пока меня послушай хорошенько. Мы нынче ж из Москвы сберемся на богомолье ехать. Ну уж не позднее завтрего! Подале от Москвы, на Троицкой дороге, нас поджидай со всем своим обозом... Штобы был запас припасен... Штобы к Домнину поспели мы скорешенько доехать, никуды не заезжая... Окольными путями, минуя города да поселки людные, торговые. Уразумел, Антоныч?..

— Все буде, госпожа честная, в самый раз налажено! Так доедем, что и ворон летучий не соследит следов наших, и зверь рыскающий за нами не утонится!.. Не то што злые люди... либо кто... Уразумел я все...

— Как вижу, понял!.. Ну, иди же с Богом!

Руку дала поцеловать старосте Марфа. Он ушел.

А она кинулась в дальний покой взглянуть на сына.

Пригретый шубейкой, наброшенной на ноги, он спал, примостясь на теплой лежанке, и во сне был еще нежнее и прекраснее...

Тихо перекрестила юношу мать и позвала послушницу, приказала ей собираться к отъезду на богомолье.

Глава II

НА ПЕРЕЛОМЕ

(7 ФЕВРАЛЯ 1613 ГОДА)

Необычное движение, говор и шум наполняют полутемный простор Успенского собора в Кремле. Смешанные, нестройные звуки уносятся и замирают под высокими сводами храма. Темные лики икон, озаренные пудовыми свечами и тяжелыми золотыми и серебряными лампадами, сдается, глядят и дивятся невиданному собранию людей, пришедших сюда не для молитвы, а для иных дел.

Больше пятисот человек одних выборных от городов съехалось в Москву для «обирания царя», как гласили призывные грамоты. Сюда еще надо прибавить митрополитов, архиереев, иноков московских и приезжих, всех попов из главнейших храмов столицы, так называемый «освя-

щенный совет». Затем шли главные бояре и князья-воеводы, думные дворяне, придворные чины, которые под общим именем «синклита» принимали неперменное участие в каждом Земском соборе, а в обычную пору составляли думу государеву. Сюда же входили и дьяки приказные с подьячими, «печатники» и другой приказный люд из более важных и чиновных... Больше тысячи человек должно было войти в состав великого Земского собора, созванного весной 1613 года в Москве. К февралю собралось уже около шестисот, и поэтому заседания отдельных групп могли еще происходить в палатах кремлевских. Но общие собрания назначались в Успенском соборе, где наскоро устроили необходимые для этого приспособления.

Тут были места для «властей», то есть для духовных лиц, было устроено место для верховного воеводы и его товарищей. Вносились скамьи для более почетных и пожилых «послов земли». А народ попроще и молодежь занимали места где придется, стоя проводили заседания или усаживались где попало, на ступенях амвона, у стен, между колоннами, на прилавках свечных, у входа...

Хотя самая святость места, где собирались послы, налагала печать известной сдержанности на участников собора, но многочисленные пристава все-таки мелькали здесь и там, наблюдая за сохранением порядка и пристойности.

Иноземная стража и свои стрельцы стояли при входе в собор, на паперти и внутри, у дверей, широко раскрытых для послов, без конца прибывающих со всех сторон.

Недалеко от мест, назначенных для воевод и бояр, сгрудилась довольно большая кучка людей, сначала довольно мирно обсуждавших предстоящие для решения вопросы, однако потом беседа перешла в жаркий спор. Лица раскраснелись, резко вызывающе зазвучали голоса, задвигались руки... Вот-вот, казалось, от слов и споров та и другая сторона перейдет к рукопашному бою.

— Не будет того, што ты толкуешь, и во веки веков не может быть! — надрывался один из спорщиков, наскакивая на другого.

— Вот поглядим, как — буде либо нет! Помалкивай пока! — грозно откликнулся другой. — Прикуси язык, пока те глотки-то не заткнули!..

— Ты мне глотки-то не зажимай! — еще горячее выступал первый. — Я те так ее зажму, што и не ототкнешь апосля!..

Уже стали сжиматься кулаки, там и здесь стали заноситься руки...

— Да што вы, чада!..

— Лепо ли так творити!

Протопоп Савва и Палицын, врезаясь в самую гущу спорящих, вместе стали увещевать самых задорных.

— Негоже спор затевать в такие часы великие да в месте столь священном!

— На благое дело мы стеклися, а тута такой грех!..

— Што же! — громко подхватил Трубецкой. — Благим матом и орут, как дурни! Чево дивишься, батько протопоп... и ты, отец честной! Приспешники крулевские! Чево захотели... Не буде на царстве Владислава, вот вам и весь сказ!

— Ну, ин добро! — жирным, сиповатым голосом отозвался боярин Салтыков. — А вот што князь-воевода Пожарский сам примерял было... и нам сказывал, штобы прынца Карлусова Филиппа Свейского призвать, как это скажешь...

— Ко всем чертям и Свею... и прынца энтого! — раздались снова напряженные голоса. — Нам своего надоть!.. К ляду всех и с чужеземцами крулями да прынцами!

— Вестимо, всеконешно, што надо своего! — прорезал шум острый, неискренний голос Грамматина. — Што за беда, коли и присягали все мы Владиславу!.. Выгнали мы ляхов прочь, так и присяга с ними ушла! Ведь так, господа поштенные?.. И то пустое, што Жигимонт доселе томит в плену, не отпускает всех, почитай, вящих бояр-князей и митрополита Ростовского... Найдем царя! А уж он пускай своих вернейших слуг поищет на Литве... Коли еще в живых они останутся... Коли Жигимонт, на нашу вероломность рассердяся, не прикажет их тамо всех прирезать!.. Так, што ли, я говорю, поштенные?..

— Слова такие, да помыслы у тебя иные, воровская ты, лукавая личина! — оборвал дьяка князь-боярин Шереметев. — Ты не мешайся, дьяк. В чужую посуду хвостом не лезь, знаешь!.. Мы посваримся либо помиримся, — все без тебя! Без вас, смутьянов, дело куды милее... Все скажут!..

— Молчу, боярин-князь! — с преувеличенным смирением проговорил дьяк. — Ты посильней меня, я и молчу... Как будто и не я здесь на совете предстою со всеми... И не моей родной земле желаю добра и счастья... да царя скорее бы найти! Молчу... молчу!..

Вельяминов, видя поражение своего единомышлен-

ника, поспешил прийти ему на помощь и громко объявил:

— А слышно, рать великую собирает Жигимонт. Сюды идет и сам желает стать у нас царем... И будто бы бояре стоят за то... И будто их не мало... Да, слышь, бояться прямо говорить, штобы иные казаков не натравили и чернь на них московскую...

— Пусть сунется старый волк!.. Мы ему покажем! Обратного пути, пожалуй, и до лесу не найдет!— зашумели кругом.

— Да, скорее мы черта возьмем, чем ляха старого!— послышалось из кучки казацких есаулов.— Али мало нам ляхи беды и горя нанесли до сей поры! Ай позабыли, бояре.

— Не надо ляхов нам! Молчи про ляхов!— разнесся общий крик.

— Уж он молчит!— ласково, успокоительно заговорил Шуйский.— А я вот вам, люди добрые, вопрос задам... Што, ежели просить бояр старинных... Вот Шереметев тут нам налицо... Да сам князь Трубецкой Димитрей... Да Голицын, князь Василий, што в плену... Какие люди!..

— Видели мы твоих бояр! Нет, их не надоть!.. Найдем иного...— прозвучали ответы толпы выборных.

— А хоша бы и выбрали меня, так я бы сам не пошел!— решительно отозвался Шереметев.— Не те мои года! Тут молодого надо!..

— А про меня никто и не поминай!— также громко выкрикнул Трубецкой.— Я у себя на воеводстве либо в стане в своем казачьем — давно уже и царь и Бог... Не надо больше мне ничего!..

— А што же позабыли, люди добрые!— забасил смуглый, черноволосый, угрюмый на вид, царевич сибирский Арслан.— Не мало есть и на Москве царевичей природных, крещеных, хоша и не русской крови... Да много лет они уж служат верою и правдой царству и всей земле... Их обминуть не след!.. Вот, скажем, Шах-Кудлай... Либо Касимовский-царевич, Али-Магома... Сам тоже от царей сибирских я веду свой род... И все дела, порядки царские не мало знаю...

— Как ты их не знаешь! — резко прервал его Минин.— Когда разруха в земле была,— тебя, царевича, везде видели люди, всюду встречали!.. И не одного, а с ордою с хорошею!.. И люд, и землю грабил ты!.. Ту, слышь, самую землю, што и отцов, и дедов твоих кормила, и тебя, царевич

славный... И сыновей твоих, гляди, не мало лет еще будет питать!.. Тебя ли нам не брать в цари?..

— Ты смеешь, раб! — хватаясь за саблю, крикнул Арслан.

Воеводы, стоящие кругом, сразу заступили Минина, хватаясь за свои тесаки.

— Но тише ты, Бурхан, божок калмыцкой!.. Сибирское отродье! Наших не замай!..

Арслан боязливо попятился.

Минин поспешил заслонить его от воевод, которые уже готовились по-своему расправиться с царевичем.

— Бросьте, родимые! — стал он уговаривать своих.— Придет нужда, и я меч взять в руки смогу... А с им... Ты, слышь, царевич светлый, черномазый! — насмешливо обратился он к Арслану.— Хошь на кулачки, попросту, по-русски... Нет! Э-эх ты... Сибирский Мухарь, мушиный царь!..

Хохотом проводили царевича, который поспешил скрыться в дальней толпе.

— Што за смех! Опомнитесь! — остановили весельчаков пожилые, степенные «выборные», обратившие внимание на шумную выходку.

— Сейчас придут, слышь, власти... Послы от всей земли сберутся. Мы сошлись вперед о деле потолковать... Штобы назвать уж сразу одного царя, прямого... и порешить на том... Штобы народа глас — единый, нерозный, как кристалл, неразлитой — отсеle прозвучал бы ровно глас Божий... А вы за балагурство! Не подobaет! — сурово заметил седой, изможденный инок, представитель строгой Соловецкой обители, непривычный к кипучей московской жизни, где самые важные дела делались с бойким говором и смешками.

— Што ж дурного, брат Акинфий! Мы — судим да рядим,— отозвался Авраамий, задетый этим косвенным выговором, так как он тоже был в толпе весельчаков, осмеявших Арслана.— Иначе, слышь, брат о Христе, и не ведется. Вон выкликали уж много имен, а ни одного не прозвучало в ушах, как Божий блавест, как звон могучий колоколов больших соборных, што на Пасху зовут народ узнать благую весть о Воскресении Спасителя Христа!.. Те — чужаки, иные — больно старые... Ну, а иные... молоды ошшо, так думается мне!

— Ты энто про кого смекаешь?.. — раздались голоса.— Сказывай, отец Авраамий...

— Да... думалось бы мне про Михайлу Романова...
— Чего бы лучше и надо... Вот это дело! — снова раздалась отклик отовсюду.

— Послушайте, што я сказать имею, честные господа! — подал голос Иван Никитич Романов, видя, что минута наступила благоприятная. — Не знаю, как святитель Филарет... Ошшо вестей оттуда не имеем... А матушка-родительница отрока, она, слышь, и помышлять об этом деле не желает! Бойтся, слышь!

— Да мы ее на царство и не позовем! Мы прочим сына...

— Кто прочит-то! — поднялся крик из другой кучки, где стояли сторонники других кандидатов. — Сказывайте про себя, не по всех! Нам Романова и не надобе! Голицына, княж Василья Васильева... То иное дело! Прямой царь! Из полону его выкупить и наречи!..

— Нет! — шумели другие. — Шуйского царем! Его всех лучше!..

— Наш Воротынский-царь! — голосила небольшая кучка. — Он и родом постарше-то Романовых будет... И муж совершенный, не отрок неразумный!..

— Присягу-то! Присягу-то поминайте, люди православные! — надрывались сторонники Польши. — Мы Владислава как усердно звали, присягнули ему!.. Он сам по себе, а ляхи будут сами по себе!.. Его возьмем, а ляхов сюды не пустим! Присягу не ломайте, слышь!..

— Эк невидаль! Врагу да из-под ножа, почитай, присяга была дадена! И Бог простит тот грех! И батько разрешит! — успокаивали опасливых сторонники Михаила.

— Я разрешаю данную мне от Бога властью! — громко объявил Савва.

— А я так нет... Маненько погожу, поосмотрюся, подумаю! — откликнулся и Палицын.

А крики снова стали нарастать. Опять стояли люди друг против друга, поодиночке и кучками, готовясь от обидных слов перейти к делу.

— Предатели!..

— Изменники вы сами! Боярские оглодки!.. Последыши воровские! Тушинцы! Недоляшки!

— Гречкосеи!..

— Опришники! Обидчики, разорители земские!.. Собачьи головы! Метлы поганые!..

— Цыц, черная земля! Орда кабальная, холопы стадо!..

— Гляди, холопы в ослопы бы не приняли вас, боляр дырвях!..

— Вот я тебе и сам!..

Уже заносились руки... Передние ряды стали поталкивать друг друга... Жестокая свалка могла затеяться в храме. Кто был при оружии, ухватились за рукоятки кинжалов и мечей...

Но Минин так и втесался в самую гущу, пройдя ее из конца в конец и, словно плугом борозду провел, оставил за собой свободное узкое пространство, разделившее обе враждебные партии.

— Стой! Тише, вы! — расталкивая людей, уже готовых сцепиться, повелительно окрикнул он спорящих. — Все власти у дверей!.. Бояре, воеводы... И послы от чужих городов... От всей земли... Срамиться бы не след перед чужим народом и людьми начальными...

С ворчаньем, медленно стали расходиться спорщики по своим местам, отведенным для представителей Москвы.

В торжественном шествии появилось сперва духовенство, митрополиты: Иона Сарский, Кирилл Ростовский и, всеми чтимый, Ефрем Казанский, затем Дионисий, игумен Троицкой лавры, иноки, священники заняли свои места. За ними — на «начальных» местах — расселись бояре и воеводы с Пожарским во главе. «Печатник» царский, дьяк Лихачов с подручными дьячками занял место за особым столом. Разместились подальше и младшие чины, московские и иные дворяне, головы стрелецкие, есаулы, дети боярские, торговые, цеховые и слободские люди, выборные от Москвы и иных городов. Представители каждого города сидели одной кучкой, без разбора по сословиям.

Ратные люди поместились особым, пестрым, красивым гнездом.

Осенил всех крестом престарелый Ефрем.

— Во имя Господа Вседержителя, Отца и Сына и Духа Свята! Призываю благодать Божию на помыслы и на деянья ваши! Любовь и мир да внидут во все сердца!..

— Амины! — пророкотало по рядам людей, затихших невольно в эту последнюю минуту. И снова воцарилась напряженная тишина.

— С чистым духом, помоляся Господу, собралися мы здесь решить дело великое, каковое даст мир Земле, изгладит, уврачует тяжкие раны, ею понесенные! Просили мы Всевышнего, да вразумит Он нас и да внушит то имя, кое всем нам принесет и тишину, и счастье! Да отженет от нас

все помыслы лукавые, плохие и просветленные пошлет, ако посылал Израилю во дни избрания царя Давида и иных!

Смолк, опустился на свое высокое место Ефрем.

Заговорил Дионисий:

— Именем Господа Спасителя, Распятого за ны,— благословляю вас, чада мои возлюбленные! Да будет здесь незримо послан вам дух мудрости и чистоты душевной!

За Дионисием заговорил Пожарский:

— Уж, почитай што, месяц мы толковали, ни на чем сойтися не могли! Пора и конец положить разнотолкам да разномыслию. Время не терпит. Хоша и не ото всех городов и царств съехались послы на собор наш Земский,— да ждать уж более и не можно нам! Распутица большая вешняя приспела больно рано! Из Сибири дальней али из иных углов и к лету не дождемся мы выборных! Так будем и решать, как Бог пошлет!.. Вот начертили мы тут три статьи, как дело показало. Я их оглашу пред вами, люди добрые. А вы решайте, с Богом! Первое. Отколе мы царя себе хотим?.. Из чужих ли краев, как уж не раз и толковали... Как многие того желают, чтобы не почалось ремства и пререканий между своими боярами... Алибо у себя искать государя? Второе теперь. Ежели здесь обирать кого на царство,— каков быть должен избранник Бога и народа?.. Из старинных княженицких ли родов, али из своих бояр московских, алибо изо всего служилого дворянства искать можно?.. И выкликать нам должно поименно: ково мы волим. И третье. Как при новом царе земле стоять? По-старому, на его полную волю... Али и порядки новые завести надобно... Штобы и сама Земля через послов своих да выборных и с думой боярскою и со властями духовными бесперестанно тута, на Москве промышляла о делах по государству?.. Так, первое: с в о й царь нам надобен либо — чужого можно звать, лишь бы веру принял православную да дал присягу не нарушать Земли обычаев и законов. Штобы с нами думал заодно да с собором с Земским непрестанным... Как скажете?

— Свой... Свой!.. Свой!— раздались сначала отдельные, редкие крики. Потом они стали чаще, сильнее... Слились в один общий гул:— Своегоооо!..

— Не надобе чужого! Попутались и то мы с «чужаками»! Буде!..

— Сдается, все стоят против чужого!— громко крикнул Трубецкой, когда стихли общие голоса.

— Ну, где же все!.. Так, кое-кто!..

— Считайте голоса!..

Это Шуйский, Палицын, Вельяминов, видя крушение своих замыслов, потребовали долгого, утомительного подсчета голосов, желая затянуть дело.

— Приставы, слышите вы, считайте голоса! — дал приказ Пожарский.— Возьмите дяков поболее себе на подмогу... Скорее бы это было...

— Чаво считать! Чужова не желаем! — грянуло в эту минуту под сводами храма из всех почти грудей.

— И то! Считать не надо! Ни к чему! Видно и так: все люди, как один, свой голос подают! — обратился к Пожарскому Шереметев.

— Да всех-то больно мало!— громко отозвался голос какого-то сторонника Владислава.

— Немного, да! — подхватили его единомышленники.— Пообождать бы с таким великим делом. Ошшо подъедут...

— Чего ждать ошшо! — не вытерпя, поднял голос Савва.— Бог нас вразумит! Где двое собралися во Имя Христово,— тамо и Он Сам-Третей!— забыли, што писано есть!..

— Добро! — решительно заговорил Пожарский, обращаясь к Лихачову.— Пиши! Речь первая. «За своево все голоса подавали». Супротив иноземца общее решение... А я, признаюсь... сам было в уме полагал... Штобы не было своим обиды: «Тово-де взяли, а меня-де — нет!» Думалось, из Свєи Филиппа вызвать... Карлусова сына. Алибо есть ошшо у швабов... Их преславный император Рудольф послал бы нам каково пристойного из принцев, сыновей своих... Но ежели земля тово не пожелала...

— Нет... Нет!.. Не надоты!..

— Так и запиши!.. Ну, а кого же из своих мы волим?.. Надумано уже?.. Али в сей час ошшо учнем гадать да думать?.. Просить наития у Господа... Все молчите вы, люди добрые... Никто не назовет... Да, надо называть с умом да и с опаской... Штобы лишней свары не поднялось снова!.. Так, я спрошу у вас, отцы честные, святители... И у вас, князья-бояре, синклит весь царский... Скажите, поведайте вы мне: есть ли у нас царское приращение алибо вовсе нету! Подайте мне ответ благой!

Палицын поднялся. Видя, что все стоят за «своего» царя, чутьем прозорливого политика угадывая, чье имя прозвучит сейчас, он пожелал первым назвать это имя,

первым оказать сильную поддержку безусловному «избраннику» Земли.

— Дозволишь ли сказать, князь-воевода...

— Пожалуй, говори... Ждем... Назови нам имя!..

— Нет... Я не про то, сперва... Назвать, пожалуй, дело легкое. Да тут на ветер называть нельзя. Много уж ныне поминалось имен... А мне так сдается: сперва бы поразобраться надобе, какого нам пристало избирать себе царя?.. Имя тогда само найдется, выявится, как солнце из-за черной тучи!.. Да уж тогда все разом подхватим это имя и по всей Земле разгласим, вознесем к престолу Божию! Никто уж того имени отринуть не посмеет!..

— Пожалуй, так. Ин объяви, отец честной, што думаешь?..

— Какой нам царь пригоден есть?.. Еще гремит над головами гроза и не утихла брань в пределах царства... Сдается, попервоначалу воеводу нам смелого надобно... Штоб был отважный, мудрый... Штобы покой и силу и славу уготовил всей Земле и царству нашему!..

— Воеводу!.. Вестимо!.. Царь-воевода должен быть!.. Князя Пожарского царем! — слышались возгласы с разных сторон.

— И думать нечего о том! — громко, негодующим голосом отозвался Пожарский. — Тише вы там!.. Дайте говорить честному иноку... Молчите все!..

Передохнув во время перерыва, плавно, ровным, сильным голосом привычного к своему делу проповедника дальше повел речь Авраамий.

— Да, тогда же мне и пришло на мысли снова: «Мало ль воевод преславных найдется в нашем царстве!..» Уж ежели лучших выбирать, так придется сразу двоих алибо троих нам выбрать... не то и четверых... Вот как бывало у римлянов... И пусть все они будут — цари!

— Нет! Нет! Один!.. Нам — одного лишь надо! — слышался общий взрыв голосов.

— И я скажу: нам надоть одного! Так, скажем, самого мудрого?.. Знатнейшего из всех иных по роду, по породе?.. Но мало ли в совете царском наберется разумных и знатнейших князей, бояр... Вон к Жигимонту только мы послали их почитай што сотни три с людьми служилыми, с дворянами считая... Отборные все люди! Пошли они, седые, разумные, высокие породой. И, слышь, доселе назад ни с чем и не вернулись!.. Так, видно, породы и ума, все это — мало

для царя!.. Когда Земля сама себе державца выбирает... Старого взять?.. Гляди, он больно стар... Не одолеет тяготы великой, сану царского... А ежели взять помоложе?.. Братие, поведайте! Што, ежели да взять нам молодого!.. Разумные, седые советники послужат ему своим разумом и знанием... Могучие воеводы ему силою своею послужат... А царь послужит Господу за нас своею юной, чистою душою, далекою от всякого греха и скверны житейской!.. Да сам — расти и поучаться будет делу царскому... Юноша-царь и народ свой любить сумеет больше, горячее, чем человек немолодой, усталый от годов...

— Ну да... вестимо!.. Стариков не надо! — откликнулась риторика громада людская, захваченная умной, вкрадчивой, красивой речью инок.

— А коли так... Я, пожалуй, теперя имя назвать могу! — сильно начал Авраамий. — Приходили ко мне люди многие... Со слезами просили назвать... Галичане, ярославцы, костромичи, да и казаки были... И все в одно... Все бажают: взять Михаила Романова!

Оборвал речь умный оратор.

Но весь простор, заполненный людьми, подхватил и закончил ее:

— Михайлу!.. Сына Филаретова!.. Его мы волим!.. Пусть Михайло будет царь!

— И мы все — за Михайлу Романова! — врезали свои сильные голоса есаулы казацкие.

— Мы — Трубецкого волим!..

— Владислава...

— Царь — Воротынский!..

Так надрывались редкие голоса.

Но их покрыл, затопил общий гул:

— Нет!.. Михаила!!!

— Гляди, так разом и пройдет отродье Филарета! — зашептал Шуйский Грамматину, сидящему рядом. — Поотложит бы дело хоша на короткий час... Да посулить ошшо послам посулы и дать наличными... Еще сейчас смутить всех можно... А, как мыслишь?..

— Да, можно, княженька... как ни толкуй, а для такого дела — мало нас! Послов еще не съехалось чуть не половина из тех, што были званы... Ты объяви, да подтверже!

— Бог дал нам добрый час!.. Дошли до дела! Послушайте, люди добрые, што я сказать желаю! — подымаясь, громко заявил Шуйский.

— Князь просит речи! Тише! Тихо, вы! — ударяя

по столу рукоятью тяжелого кинжала, прикрикнул Пожарский на казаков, которые больше всех галдели и горячились.

Высоко поднял свой голос Шуйский среди стихающего общего ропота и гула.

— Сказал я тут: «Вот и дошли до дела, дал Господь!..» То не было совсем у нас царя... А то уж он и назван всею Землею! Алибо... почитай што всею. Жаль, маловато послов от дальних городов сошлось к нам покуда. Да и свои, московские, иные, как видно, за своими делами — досугу не нашли явиться на собор на Земский... У каждого, и то сказать, в дому делов не мало, поисправить то, што недруги наезжие понатворили бед у нас! Да и половины жильцов не собрать теперь супротив прежнего на Москве... Но как-никак... а Бог послал нам свое изволение... Почитай, без разногласия назвали мы тут имя одно счастливое. Ему народ желает вручить бразды державы нашей. Пускай тот отрок, всем нам ведомый, ото всех любимый, пусть он, без пятна на белоснежном детском одеянии своем, без крови на руках невинных, — Русью правит счастливо и мирно! Пусть принесет с собою Божью благодать Земле и трону прадедов моих, государей от корня Рюрикова!.. А все же отцы святители, синклиты царские, и вы, люди добрые, воины и миряне православные! Не послушаете ли совету моего... Все лучше оно будет, кабы собрать ошшо гораздо боле голосов, чем нас теперь, особливо — земских, из южных городов, кои по распутице сюды не успели... Да от севера царства и от востока... А то не было бы апосля обиды, што не спросили в таком деле совету у многих сильных городов. Помыслите, хотя бы вас коснулось, и вы бы недовольство питать могли, зачем не подождали вас!.. Не надо новое царенье старыми перекорами да недовольством зачинать! Теперь особливо новые налоги пойдут, на все нужда. Казна пустует. А иные и скажут: «Нас на совет не звали, мы и дани не дадим!..» Новая беда... Лучше ж повременить маненько, да штобы все уж ладно было! Я, слышь, не передумывать собираюсь... Не новое дело починать! Мы — голос дали! Вот сколько нас! Так и повестим остальных... Ужли пойдет кто супротив нашего решения, Господом внушенного!.. Быть тово не может. А порядок будет соблюден. Порядком — и царство держится... И уж коли царь што повелит, — ни в одном углу никто ослушаться не смеет, каки бы тяготы ни налагал государь. Потому — сами выбирали,

согласье дали, руку приложили ко грамотам выборным... А где рука, тамо и голова!.. Уж дело известно!.. Вот и подумайте! Отложить — не значит порушить дело, а только укрепить благое начинанье! Вот и решайте: прав я али нет! А я свое сказал.

Поклонился, сел Шуйский. По тому вниманию, с каким его слушали, старый мудрец понял, что его дело выпорает.

Действительно, хитрая речь, и деловая, и льстивая, и пугающая, незаметно сделала свое дело.

Не говоря о воеводах и боярах из партий, враждебных Романовым, священники и многие «послы» убеждены были лукавыми доводами Шуйского...

Сразу было поднялись протестующие голоса, особенно среди казаков, галичан, костромичей и других ярых сторонников Михаила.

— Чаво там ждаты!.. Земля, поди, услышит наш общий приговор! Она не скажет «нет!».

— Кто не приехал, на себя пеняй! Времени довольно было, хошь с того свету добратся до Москвы... Всех оповестили... Знаем мы, што Земля скажет... То же, што и мы!

— Все мы были заодно! Так и будем навечно! Царь Михаил! Живет на многи лета!

Большинство подхватило этот возглас. Но слышались и протесты.

Тогда Пожарский обратился к освященному собору, к митрополитам, попам и монахам:

— Как ваша дума, святители, отцы честные, иноки благочестивые! Бояре! Весь собор!.. Теперь ли с делом сразу порешим?.. Аль нас взаправду мало и надо города спросить, из коих нет послов?..

Первые подали голос «власти» духовные.

— Штобы перекоров лишник не было... Штобы зажать рты несатым врагам царства... Пождем еще!.. Иные — подъедут... А по городам послать грамоты запросные — все ли волят Михаила?..

Бояре то же подтвердили.

Поднялся Минин, заговорил:

— И я так мыслю, как тут бояре и власти толковали. Бог нам дал царя! Уж сердцем вещим чую я, уж словно вижу... Кто тут нами назван был, тот и будет царем, а не иной никто! Но пусть по-ихнему! Недельки две пождем... По городам, по ближним пусть поедут выборные, которы тут от людей прибыли. Пусть скажут, спросят: хотят ли люди

Михаила?.. И в иные города заедут с той же речью... И, люди добрые, вот слышит Господь мои слова! Словно звон пасхальный гудет в ушах моих, чуется мне, как всюду народ назовет Михаила-царя!.. Уж такое испытанье, поди, и слепым откроет очи их незрячие... Глухие души и те услышат и «аминь» скажут тогда! Пусть поедут люди!.. Пусть спросят на местах!..

— Добро!.. Идет!! Мы — едем... поедем все!.. — отозвались выборные от городов, недалеко лежащих от Москвы.

— Да здравствует царь Михаил! — прокатилось по толпе.

С шумом, с радостным говором стали расходиться послы, казаки, воины...

Степенно покинули собор «власти», черное и белое духовенство и бояре.

Глава III ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ (10 ФЕВРАЛЯ 1613 ГОДА)

Полный месяц обливает своим холодным, ясным сиянием большое, занесенное до половины снегами село, где расположился значительный польский отряд из числа тех, которые еще не вернулись домой, а рыскали по Московскому царству, поджидая Владислава или самого Жигимонта, обещавшего привести большую рать на Русь и поправить все, что потеряно было за последний год.

Высокие языки пламени и мириады искр разлетаются по ветру от больших костров, разложенных польскими патрулями, охраняющими сон своих товарищей. Темнеют вокруг костров очертания воинов в полном вооружении... Иные лежат на снегу, закутавшись в бурки, отнятые у казаков, или в богатые меховые шубы, захваченные при грабежах у россиян.

Лошади тоже вздрагивают порою от холода и жмутся к огню, тянут морды ближе к дыму и пламени, словно ловят теплую струю воздуха, чтобы обогреть себя.

В большой, довольно просторной хате, отведенной главному начальнику, полковнику Краевскому, собрались почти все ротмистры, капитаны и хорунжие, составляющие нечто вроде штаба при отряде.

Только из окон этой хаты и видится свет, падая

красноватыми узкими полосами на сверкающий снеговой покров, озаренный луною. Шум и говор несется из хаты, из ее единственной, довольно обширной горницы, которая вместе с небольшими сенцами и составляет все помещение избы.

Большой некрашенный стол, стоящий, по обычаю, в переднем углу, окружен молодыми и пожилыми воинами, поляками, литовцами, венгерцами, немцами, которых тоже немало пришло в Россию с полками Хотькевича, отброшенными от Москвы великим земским ополчением.

Два смоляных факела озаряют простор избы, оставляя густые, темные тени в ее углах и над полатами, занимающими почти треть пространства. Кроме того, на столе поставлен дорогой канделябр, украденный из богатого боярского дома, а может быть, и из царских палат, и в нем, оплывшая, тускло мигают тонкие сальные свечи, чадая и потрескивая, когда фитиль нагорит и свеча начинает гаснуть. Одна восковая, из церкви взятая, толстая свеча, — укрепленная кое-как в серебряном, большом шандале, — стоит подле хозяина, полковника, озаряя ярко его усатое, отмеченное шрамом, лицо и целую кучу золотых и серебряных монет, лежащую тут же. Перед другими собеседниками тоже лежат кучки монет, но не такие внушительные. Фляги с вином, полные и опустевшие кубки и чарки стоят тут же, оставляя мокрые круги на дереве стола. Рейтары, заменяя прислугу, убирают пустые фляги и жбаны, наливают кубки, приносят новые запасы водки, меду и вина, всяких напитков, которые составляют значительную часть груза в обозе, следующем за отрядом.

Играет в кости шумная, веселая, полупьяная уже компания. Табачный дым носится по горнице, клубами, длинными прядями вырывается в холодные сени вместе с теплым, душным воздухом, когда слуги раскрывают двери, унося или принося что-нибудь.

Перед одним только, почилым уже, тучным, краснолицым ротмистром лежит куча денег почти такая же внушительная, как и перед полковником. Он каждый раз, взяв в руки кубок с костями, раньше чем выбросить очки, долго шевелит бокалом, перебрасывает в нем кости, в то же время тихо шепча не то заклинания, не то — молитвы, а скорее, и то, и другое вместе, причем быстро осеняет свободной рукою свою грудь мелкими, частыми знаменами католического креста.

И почти никто не выбрасывает таких крупных

очков, как этот ротмистр. А каждый свой удачный удар, каждый выигрыш он запивает полными чарками водки или вина, все равно, что стоит поближе, что подолет ему слуга.

— Пан ротмистр, нынче пану везет, как москвичу, который сорвался с польской петли! — не то шутя, не то выражая неудовольствие, бросил партнеру Краевский, придвигая ему новую, изрядную щепоть золотых, и ефимков, и рублевиков, всего, что набрали почтенные воины за свое пребывание во вражеской, богатой раньше, Москве.

— Ну, у меня ни один не обрывался! — пробурчал довольным тоном счастливый игрок. — Разве, бывало, разведешь хороший костер под ногами у висельника... Чтобы он пятки мог согреть немножко... Тут, случалось, веревка и перегорит, и попадет москаль на угольки, там и поджаривается... А иначе — ни-ни!.. Повешен, так висит, псы крив!..

— Пан — молодец известный!.. Стой! Моя, моя ставка, наконец! — обрадовался Краевский. — А теперь — пану ротмистру... Кидай, вацпан! Твой черед!..

— Видно, Зоська разлюбила пана полковника, — досадливо заворчал ротмистр, ожидавший взять ставку. — Ишь, больно сегодня вацпан полковник в игре удачлив... Примета старая...

— Ну, не стоит думать о Зоське!.. Твое здоровье, пан полковник!..

Чокнулись, зазвенели кубки и чарки серебряные и позолоченные, тоже из московских кладовых.

— Вижу я, паны, от скуки вы плетете вздор! — оставляя чарку, сказал Краевский. — А вот когда царя возьмут себе москаль — снова нам с ними бой предстоит... Тогда и веселее будет... А рыскать по городкам, по селам, собирать кур да яйца в жалких домишках да избах... Это не больно весело!..

— Выбор уж был, как слышно! — заметил капитан Маскевич, знающий по-русски и собирающий слухи и вести по пути. — Какого-то Романова выбрали на соборе москаль.

— Которого? Яна Никитича, Филаретова брата?.. Мы встречались часто на Москве с этим боярином... Еще на ноги припадает... словно с галеры каторжник беглый... Помнишь, пан капитан? — обратился Краевский к меланхоличному, длинному, сухопарому литвину, который молча тянул трубку, посапывал, ставил ставки и проигрывал их одну за другой.

— Дьявол подери всех москалей! Много их навидался я... а толку мало! Какая ставка?..

— Сто золотых набралось... Не злотых польских, нет... Московских лобанчиков... Я кидаяю...

— Да! — забубнил снова толстый ротмистр. — Золото еще водится у москалей! Иной нищим лайдаком выглядит... А потормоши его — и брызнет золотой дождик... Хе-хе!.. Надо только знать, где кого проколоть, чтобы оттуда хлынули струйкой червончики!..

— А вправду, ротмистр, говорят, что ты да пан Струс живьем их резали?.. А?..

— Нет, этого не случилось! Мало ли что нанесут люди по зависти! Миндальничать на войне не приходится, конечно... Но... чтобы от живого резать куски мяса... Не, пан полковник. Это — сказки! Брежут москаль!..

— И я так ду... — начал было Краевский и не досказал.

Громкий выстрел донесся издали, за окнами... Поднялась тревога, шум... Зазвучали громкие, оживленные голоса патрульных солдат, все ближе и ближе...

— Что там случилось?.. Не враги ли подбираться стали?.. — тревожно заговорили игроки, бросаясь из-за стола, натягивая шубы, пристегивая сабли...

Но вошел гусар, вахмистр, и успокоил всех.

— Москаля там изловили... на подводе ехал ночной порой... Хотел убежать... По лошадям стреляли... а его схватили! — доложил усац.

— Пусть сюда ведут его! — приказал полковник.

— И кучера?..

— Нет... не надо!..

Вахмистр ушел.

— А гусь-то, пожалуй, попался с начинкой! — обратился к полковнику капитан Кабержицкий, сподвижник Струса, попавшего в плен россиянам. — Может, позвать людей, пан полковник, да огоньку приготовить...

— Подождем. Сперва посмотрим, что это за птица... Может, так... просто ворона, а не гусь...

— О!.. Бывало так в Москве в пору осады, что и ворона казалась нам мясистой и вкусной!.. Наголодались там, мое почтение!.. Я все посты лет на сто выполнил за эту пору горькую!.. Того гляди, живым на небо попаду!..

— Уж лучше в ад! — смеясь, возразил полковник. — Там будет повеселее!..

Снова распахнулась дверь из сеней, ворвался клуб хо-

лодного, парного воздуха, и в этом тумане обрисовалась фигура осанистого, просто, но чисто одетого бородача, вроде посадского или зажиточного горожанина, в тяжелой волчьей шубе, туго опоясанной красным поясом. Рысья шапка с наушниками полузакрывала полное, пылающее от мороза лицо.

— Ух и шуба же! — довольным тоном протянул капитан Маскевич и, подойдя, потянул за воротник, отворачивая его подальше от лица пленника. — Ба! Старый приятель! — по-русски вдруг заговорил он, узнав вошедшего. — Кого я вижу! Не зря сейчас я поминал Москву...

И капитан обменялся крепким рукопожатием с человеком в волчьей шубе.

— Вы знакомы?... — удивился Краевский.

— Еще бы! Наш давнишний приятель!.. Дьяк думский, Грамматин, пан Ян... Почтенный человек! Его я не дам в обиду! Сам круль наш знает этого достойного пана!..

— Тогда раздеться и присесть прошу пана Яна Грамматина... В нашу компанию!.. Это — все свои паны начальники... А я — Краевский, Юзеф-Хризостом-Бонавентура, из Подляшья, герба Чинских... Приятно свести знакомство.

— За ласку — низко кланяюсь пану полковнику! — довольно сносно заговорил по-польски дьяк. — Попировал бы с друзьями... Да время не терпит! По делу я...

— Как!.. Разве... не поймали пана наши гусары... Разве...

— Я сам дал себя изловить... так, для приличия... Еще со мною едет тамо человек... мой кучеренок... А он и не кучер на самом деле... А из наших, из служилых людей... Выборный он, с собора едет, из Москвы... И держит путь на Тверь... Вот я с ним и увязался... когда шепнули мне...

— Что я ловлю тех птичек, которые едут из Москвы, с этого пустейшего собора... кого вы там еще избрали! Скажи-ка толком, пан Ян!.. Владислав — ваш коронный царь. Ему дана присяга от целого народа... Какой там еще такой Романов!..

— Его капитан должен хорошо знать... Тот самый отрок Михаил, что сидел в Кремле со старицею Марфой, с женою бывшей Филарета...

— Ах, помню... знаю! — отозвался Маскевич. — Этот мальчуган!.. Такой... приятный... Но в цари избрать ребенка!.. Что за дичь!

— Хотят посадить!.. И ничего не поделаешь... Мы,

русские, значит, ничего не можем сделать... А вы... если захотите...

— Что?.. Что такое! — заволновались все.

— Можно взять в плен его и вместе с матерью... Да и... туда! К отцу на увиданье на Литву и отправить под надежной охраной... чтобы русские по пути не отбили дорогой добычи!.. Тогда не посадят мальчика царем московским... И Владиславу к трону открытый путь!..

— Что дело, то дело! Я понимаю пана Яна... Признателен за дружбу и совет такой прекрасный!.. У нас друзей немного среди россиян! Тем более верных и преданных, подобно пану... Я, без сомненья, все протори, расходы, покрою пану... Даже вот... сейчас!

Собрав в пригоршню кучку золотых, полковник достал из кармана шаровар небольшой кисет, всыпал туда червонцы, еще набрал и переложил туда одну горсть, затянул шнурок кисета и подал его Грамматину.

— Не откажи принять, пан... От души подарок!..

— Благодарствую, пан полковник!.. И брать не за что... Да, говорят, и отказаться не следует от дара, чтобы не обидеть дарителя!..

— Да уж, не обижай меня, пан Ян... А я и крулю напишу... И в случае удачи... Он тоже пану Яну, я знаю... выразит свою любовь и ласку полновесною монетою... Круль наш не любит быть в долге перед своими друзьями!..

— Не о том у меня забота, вельможный пан полковник!.. Не для награды... Другое у меня на душе!.. Уж больно у нас великая рознь идет с Романовыми... А вдруг они и первыми станут во всем царстве!.. А я — на задах... Легко ли это мне! А яснейшему крулю я и цидулу кстати захватил с собою... Тут все ему пишу... И хотели бы бояре взять его самого или Владислава... Да черный люд, мелочь вся — мешают нам в этом деле... Есть там Куземка Минин, по прозванью Сухорук... Мясник, нижегородец... Ну, вот тот самый...

— Что в день злосчастной октябрьской битвы под Москвою вырвал победу из рук у нашего отважного пана гетмана Хотькевича?! Знаю я его! — хмуро проговорил Краевский. — Он, значит, за этого Романова!.. Ну, так он его и увенчает! Это — дьявол во плоти, а не человек. Если он вмешался, так дело будет...

— Нет, не будет! Не стану жив, а помешаю этому! — гневно, злобно выкрикнул Грамматин. — Скажу по дружбе пану полковнику... Князь Шуйский и многие другие знат-

ные лица меня просили... И вот тут я все пану написал... Что надо делать, куда разослать отряды, чтобы захватить успешнее и отрока и мать-старуху... А там... Там не мое уж дело, что бы ни случилось! Я умываю руки...

— Вот, цену такую чистоплотность в людях, пане Яне! Все выполню по твоим словам, мой сановный пан дяк... А там, пан говорит, с ним за возницу «посол» поймался земский... Я тоже было парочку перехватил... допрашивал их сам... как следует. Представились круглыми дурачками... сколько я ни бился с ними, хоть ты что! Не знают ничего и не слыхали и не видали!.. И как их звать, тоже забыли... Наглецы. Я за насмешку тоже подсмеялся над хамами! Висят оба в лесу, кормят ворон своими телами... А ты уж, пан, я вижу, собираться задумал в путь... Что скоро так!..

— Просил бы, пан полковник, домой меня пустить теперь же. По вашим же делам похлопотать мне надо, пока еще не поздно... О Владиславе промыслию... пока еще не признан новый царь! Пока пустует трон... Челом всем быю, панове!..

— Челом!.. А, понимаю! По-нашему то — «падам до нуг!..» Счастливый путь! Гей! Ясько! Проводи пана до сени, и пусть несколько человек поедут издали конвоем, до большой дороги доехал бы благополучно гость!.. Понял?..

Еще что-то шепнул полковник седому, bravому вахмистру.

Грамматин, уже снова укутанный в свою шубу, подвязанный, с рысью шапкой на голове, вышел за вахмистром.

Веселая компания снова принялась за кости и вино, шумно обсуждая предстоящую «королевскую охоту», как выразился Краевский.

А вахмистр привел дяка к широким, прочным пошевням, усталым сеном для сиденья; поверх сена разостлан был домотканый ковер. Овчинная полость прикрывала ноги сидящих.

Кучер Грамматина лежал на дне пошевной под полостью и уже дремал.

Услыша движение и тяжелые шаги подходящего Грамматина и вахмистра с несколькими гусарами, он встряхнулся и сел, оправляя кругом себя сдвинутый ковер, полость, взбивая сено на сиденье.

— Отпустить проезжих москалей! — громко приказал

вахмистр гусарам, которые, стоя около своих коней, сторожили сани и возницу. — Да проводите их до большой дороги, чтобы видеть, куда поехали эти ночные шатуны. Пан полковник допросил, и обыскали мы москаля в волчьей шубе... Он — мирный обыватель из соседнего городка... А все-таки приглядеть не мешает... Хитрый народ москали... Иной вот как этот соня — хлоп, возница старый, в армяке на холоде дрожит... А покопаться в нем, так найдешь какого-нибудь попа переряженного или посланца с тайными важнейшими вестями! — ухмыляясь в усы, говорил своим гусарам вахмистр. А сам искоса наблюдал при свете луны, как передернулось лицо у мнимого возницы. — Ну, да эти не такие! Это — простой народ... Пусть едут ко всем дьяволам... Гей ты, соня, — видишь, пан твой уже сел... Гони коней... А вы, трое, проводите!

Тронулись пошевни, скрипя полозьями... Заныряли по выбитой дороге, быстро влекомые вперед парой сытых, бойких коней. Трое всадников на поджарых конях тряслись в седлах, провожая москалей. Длинные, скачущие, мелькающие на искрящемся снегу тени отбрасывали кони и люди под сиянием полной луны, уже склоняющейся к нижней черте прозрачного небосвода, усеянного мириадами звезд.

Глава IV

У СУСАНИНА

(ФЕВРАЛЬ НА ИСХОДЕ)

Еще в полном разгаре лютая, суровая зима на всем просторе северо-восточной окраины Московского царства. Жесткие морозы по ночам трещат и словно топором ударяют в бревенчатые стены деревенских изб, наполовину занесенных снегами.

Южнее — там совсем иное дело. В Астрахани — весна с цветами и птицами уже разгорается, пригрела землю и людей... И по Волге — теплом повеяло... Дикое Поле уже задышало глубже, хотя еще невнятно, готовясь сбросить с себя глубокий снеговой покров и зазвенеть ручьями вешних потоков по оврагам...

И отголоски этих далеких пробуждений земли от зимнего сна словно отдаются чуть внятно и здесь, на просторе полей от Валдая до Москвы, и в чащах вековых вологодских, пермских и костромских лесов... Солнце уже дольше стоит

на чистом, холодном небе. Еще не греет оно, но уже лучи его сверкают ярче, чем в пору глубокой зимы...

А в тихие полуденные часы, если не дует холодный северный ветер, сосульки, висящие под застрехами крыш, начинают даже слегка обтаивать и ронять редкие капли, словно слезинки сожаления об уходящей зиме.

Багровея, спустилось солнце в один из таких дней за густую чащу бора, среди которого стоит село Домнино, родовая вотчина Шестовых.

Еще не успело скрыться солнце за темной пеленой вечернего тумана, одевающего запад, как с другой стороны вырезался и засиял в небе светлый серп луны на ущербе.

В избе старосты Сусанина все прибрано, дела дневные кончены.

В большой, опрятной горнице, в углу, против печи и полатей стоит деревянная кровать под пологом. На ней лежит в жару рослый молодой парень, сын старосты, ратник, раненный в стычке с поляками. Товарищи-земляки подобрали и доставили домой раненого. Священник, как мог, подал помощь бедняку. Но мало знаний и средств у него в распоряжении... Тогда на помощь пришла деревенская знахарка, древняя старуха Федосьевна... Ее травы, мази, шептанья так же мало помогали, как и молитвы и настойки попа. Но все-таки, видимо, справляться стал с лихорадкой и недугом своим сильный, крепкий, юный организм. Проблески сознания начали являться все чаще у парня, охваченного горячкой. Губы не так чернеть и пересыхать стали, как раньше.

Но вся семья была глубоко опечалена хворью старшего сына. А мать-старуха совсем извелась, дни и ночи просиживая у изголовья больного...

И вот теперь, пользуясь передышкой, тем, что сын заснул спокойнее, не мечется, не бредит в жару, — старуха сидит у оледеневшего оконца и смотрит на улицу деревенскую, словно выжидая кого-то. Порою вздыхает и скорбно покачивает головою Сусаниха, а затем снова вперяет взгляд слабых, подслеповатых глаз на пустынную дорогу, слабо озаряемую сиянием ущербленного лунного серпа.

Светец был уже зажжен, и лучина горела узким, острым язычком пламени, потрескивая порой. Дочь старухи, девушка на возрасте, принялась за свою вечернюю пряжу, изредка останавливая жужжащее веретено, чтобы переменить лучину. А там снова свивалась бесконечная нить, прыгало и вертелось говорливо веретено.

Вдруг больной застонал слегка и что-то запросил.

Не успела подняться старуха, как дочь, отбросив гребешок и веретено, уже была у постели, взяв по дороге ковш с квасом, стоящий на столе.

Приподняв немного голову брату, она дала ему глотнуть из ковша. Он затих и снова лежал на подушке, бледный, с темными кругами у глаз.

Старуха, опустившись на прежнее место у окна, следила за движениями дочери и, когда та вернулась к своей кудели, спросила негромко, боязливо:

— Што, доченька... Што с Ваней... Не помирает ошшо?.. Мне-то, милая, и поглядеть порою на ево страх берет! Сердечушко-то вконец измаялось!.. Болезный мой!..

— Не, мамонька... Пошто помирать!.. Кажись, полегше стало ему... Вот и сейчас — затих.

— Ох, только бы навовсе не затих!.. Владычица, на што рожала ево, муку терпела, штобы в недобрый час пуля вражья змеєю ужалила... и навек бы не стало у меня сыночка первенького... Красавчик мой, роженный... Любезненькой!.. На ково же ты меня покинуть хочешь... Да с кем же я остануся, сирота, старуха старая!..

С горьким плачем громко запричитала старуха, раскачиваясь своим костлявым, высохим станом, перетянутым под мышками темным фартуком. Впалая от лет и от работы грудь судорожно вздрагивала от подступающих рыданий.

— Ну, мамонька, нишкни!.. Услышит ошшо Ваня... Што хорошего... Авось, даст Бог, оздоровит братец... Он ишь какой... Все звали: «Ваня-богатырь!..» А уж веселый да какой забавник!.. Да ласковый! Весь в тятеньку пошел. И уж, бывало, штобы меня обидеть, как прочьи братовья над девчонками измываются... Ни в жисть! Родименький мой бра-атик... мой Ванятка!..

Уронив руки с пряжей, тихо, всхлипывая по-детски, заплакала и дочь, только что уговаривавшая мать не проливать напрасно слезы...

— Ну, вот! Даве — матка... а теперь ты заголосила! — с добродушной грубоватостью обратился к сестре младший сын, лет двадцати, вошедший в избу с топором, которым колот дрова под навесом. — Жив брат ошшо, а вы над ним, как над покойником, запричитали да завыли с маткою... Нешто хорошо! Оправится, Бог даст, Ванюша. Слышали, отец Игнатий сказывал, што рана не глубокая. И пули не осталось, она прошла насквозь!.. А пристала огневица к брату. Покуль везли ево домой-то на санях, и разнемогся...

Оправится! Не войте! Не надсаждайте душеньку. Тошно и без вас!.. Отца еще не видно... А уж пора бы... Вон, гляди, как солнышко село и метель поднялась...

— Вот, вот! И самого-то нету! И хворый сын... А тут второй, большак, и к матери с укором!.. Да как ты можешь!.. Да я тебя... Да вот... возьму ухват! Не погляжу, што вырос... што с усами... Отпотчую... Да ошшо батьке скажу. И он тебя! Поди, отец Игнатий тоже не скажет, што смеешь ты зыкать на мать-то!.. Ох, уж и времена пришли! Последнее... О, Господи... Микола Скоропомощник!.. Мать Троеручица!.. Заступница святая... Да тяжело как!.. Да не перенося моей душеньке!..— снова тихо заплакала старуха...

— Поземка-то все крутее!— говорит парень, глядя в оконце на метель, разыгравшуюся не на шутку в самое короткое время.— И што это отец!.. В обители в Ипатьевской застрял! Так нечево бы... Али, помилуй Бог, заплутался... Быть тово не может! Уж каждый кустик, кажину тропочку так, сдается, знает... Глаза ему завяжи, не собьется... Да и Гнедко найдет домой дорогу, коли бы што и приключилось...

— Нишкни ты, чудодей!.. Весь как есть в отца. Про все ему опека да забота. Уж и так-то тошно! А ты ошшо запричитал, не лучше бабы! Святители! Да штой-то со мною нонеча. Вот местечушка себе в дому не найду!— с тоской неожиданно подняла голос старуха.— Беда какая близится... Али смерть-лиходейка глядит к нам через прясло?.. Либо што... Ты б, доченька, на Ванюшку взглянула. Што больно он затих... Да нет! Сама хочу... сама!..

Осторожно заглянув за полог, старуха присела там в уголке и, скорбная, с неподвижным лицом, затихла, словно заснула с открытыми глазами...

— Зябко чтой-то мне!— поеживаясь, проговорила дочь.— В избе, што ли, холодно... Ай так оно, с чево-либо... Садись сюда, брательник. Скажи мне што... развеи маленько тоску... Сердечушко мое погрей, расшевели... Ох, Васенька... ужли ж помрет Ванятка?.. Скажи по правде истинной...

— Ну... уж и помрет!.. Вывезла тоже... Легкое ли дело: помирать! Сусанины у нас живут подолгу, чай, знаешь! Ну, похворает... А уж ты: «Помрет!...» Ворона! Вон дядя Клим. Ведьмедь его ломал да грыз три раза. Без глаза ноне, без руки... А — жив, силен, как словно и хвори с ним не бывало никакой... Сусанины крепки! Вот нет отца в

такую пору... Душа што-то... словно ноет внутри... Да пес больно завывал к ночи... Слышала, поди... Вот словно бы к беде какой...

— Да грызлись мыши уж так-то этою ночью, как и не бывало николи!— также негромко, голосом, полным жути, откликнулась сестра.— Да... сон такой привиделся мне... страшный!..

— Молчи! — почти крикнул на нее брат, охваченный внезапным, безотчетным страхом.— Стой... никак, подъехал кто-то...

Бросился к оконцу парень, потом к дверям и, угрюмый, вернулся к сестре.

— Нет... тихо... не видать!.. Слышь, Груня, спой песню алибо што... Экая мука!.. А тут ошшо метель несет да воет, словно хоронит ково... Пой, Грушенька... Пожди... залаял пес... Нет... Почудилось... Тоска...

Стоя у оконца, Василий не сводил глаз с дороги.

Сначала негромко, потом все звучнее стала выводить своим не сильным, но приятным голосом девушка заунывные слова печальной песни о лучине. Но брат перебил ее после нескольких первых колен:

— Ну, вот и батюшка... Да... кто с им?.. Што такое!..

Он рванулся было к дверям, но остановился на полпути, выжидая.

— Сюды, сюды прошу, пан капитан! Темненько здесь... Не взыщи, родимый!— послышался за дверьми громкий голос старика Сусанина.

Домашние вздрогнули, так странно, не по-обычному звучал знакомый, близкий этот голос. Слово огромная тревога звенела в нем, но старик старался скрыть тревожные ноты, затаить их в своей груди.

Дверь распахнулась. Поляк, военный, появился в избе, а за ним вошел и Сусанин; оба были занесены снегом. Лица, бороды, усы — все было бело от напавших хлопьев, которые быстро начали таять в теплой горнице, еще раньше, чем вошедшие сняли с себя верхнюю одежду и стали отряхиваться от снежного налета.

— Сын хворый у меня! — не умолкая, продолжал Сусанин, помогая гостю снять шубу, развязать башлык, прикрывающий уши.— Вся семья при нем... Вот и не слышали нашего приезда... и не встретили порядком... Не вынесли в сенцы огня такому гостюжданному да дорогому!.. Сесть милости прошу!.. Здорово, жена, детки! Челом

добейте пану капитану... К нам в гости его милость завернуть изволили! Великая нам честь!..

— Челом тебе, кормилец, добродей! — низко кланяясь, отозвалась семья Сусанина. — Уж погостой у нас... Уж не взыщи, коли што не так... Помилуй, кормилец!..

— Чем потчевать тебя прикажешь?.. — обратилась к гостю старуха. — Пивко есть стоялое... Али бражки прикажешь... Вот пенного не поосталося нимало! Ты уж не взыщи!

— Ну, все ёдно есть... Давай пивка... У вас быва пиво дóбже!..

Облокотясь на стол, огляделся гость кругом.

— То есть твоя хата... Цожь... чистенько тут... А инны ваши хлопы, як быдло... як звери живут... в покою и навоз, и скотина... и птица всяка... Фуй!.. Вонь — до одурения! А ты не так... Не!.. Вшистка ладно...

— Кому какую долю пошлет Господы! В черной, в курной избе и не искать уж чистоты либо порядку... Я — старостой зовуся... и достаток есть у меня, хоша и не большой... С тово здеся и приглядней у меня... Испить прошу, коли милость твоя будет! — принимая от жены жбан, ковш и наливая пива, подал гостю полный кубок, резанный из дерева, Сусанин.

— Милости прошу! Не обессудь! — закланялась по обычаю старуха.

— А! Славно! — осушив кубок и крикнув, похвалил гость. — И пиво крепко у тебя. А сам ты што же?..

— И я... и я... вкушаю!.. Твое здоровье, пан капитан!.. — Осушил ковш и отер усы Сусанин.

Жена и дети отошли в дальний угол и присели там на лавке.

— Ну, теперь слухай, цо нам тшеба от тебя! — придвинувшись совсем близко к Сусанину, негромко начал гость. — Как раз тебя я шукал, когда повстречал тебя у околицы... Отряд зо мною тут... стоит недалеко, в лесе... Мы были в вашем селенье... в Домниной... Там не нашли, чего шукали... А хлопы перепугались вшистки!

— Вестимо дело, глупы мужики... Мыслят, коли пришел лях, так не для добра! Не миновать, быть худу... Ан не всегда оно так бывает...

— Во... во! Вижу, разумный естесь хлоп! Недарма мне и указали найти тебя... Дак слухай, цо я скажу... Живешь

ты по-людски. А як схочешь — по-пански будешь жить! Вот, выбирай, цо нравится тебе...

Гость обнажил свой кинжал, положил на стол и рядом бросил увесистый кошель, в котором глухо позвякивали рублевки.

— Што выбрать мне... Вестимо, уж не это! — в руки кинжал и пробуя острие, спокойно на вид проговорил Сусанин. — Востер-то, ровно бритва... Вот, слышал я, такими ножами на Москве... Когда в осаде пришлось вам сидеть, порою пленных вы... Как голод вас дошкулил, так вы...

Сусанин жестом окончил свою речь.

Зорко поглядел на мужика гость, не умея сразу разобратъ: глумится над ним старик или по простоте говорит, что на ум взбрело? Но тот сидел спокойный, простодушный, потрагивая с любопытством кинжал, который потом придвинул к поляку.

— Пустое люди врут! Як можно вериць! — пробурчал тот. — Ну, выбрал альбо не?..

— Я выбрал! А скажи, пан, какую я услугу вам должен оказать...

— Пустую... самую пустую... Ты вещь, же Владиславу присягу дала вся Московская земля... Слышал...

— Слышал... слышал!.. Давненько уж это было...

— Давно... не давно... а присяга есть в силе же!.. А вот иные сдуру себе царя другого выбирают... У Филарета — мальчик... сын... Так казаки его царем называли...

— Ужли... его называли! — сильно прорвалось у старика. Но он сейчас же сдержался и спокойно продолжал: — Уж энти казаки-головорезы! Смутьяны да лихие заводчики смут и раздора!.. Уж лучше бы им и не быть на белом свете!.. Дак што же я?.. Мы от царей далеко!..

— Який он там царь! То еще есть дело впереди! А вот, я знаю, близко он, той Михаил из маткою укрывается... В Залезно-Боровский кляштор они ездили на богомолье... Теперь вернулись в город, в другой ваш... монастырь... Так вот, его бы повидать нам хотелось... Напомнить бы ему о присяге Владиславу. Он, може, и сам не схочет зламать той присяги... откажется от трону!..

— Вестимо дело! Присягу как порушить!.. А... кто ж вам поведал, што боярич и с матушкой тут, близко?.. Али свои, из домнинских, из здешних?.. Они тебя и навели на мой двор, а?..

— Не! Я из Москвы узнал и про них... и про тебя... Желаете получить пенендзы?.. Так подымайся... и в путь! А ежели нет...

— Чево уж!.. Понимаю, пан капитан! Не малолеток я! Слышь, капитан, я провожу вас... Видно, так оно и надо, што ты ко мне попал! Кошель свой спрячь... Да! Спрячь ево и не дивися! Не зря ты мне о присяге напомнил, пан. Присягу, слышь, и я давал... По той присяге... и поведу я вас, друзья!.. А деньги ваши брать за службу не желаю! Короток сказ!..

— Як хцеш! Твое дело!— с довольным видом, пряча кошель, отозвался гость.— Як то у вас мувать: «Блаженному — спасенье, а вольному — воля!» И, кеды мувиц по правде,— не много и обещали всем отрядум, ктуры разосланы, же бы шукаць Михайила тэго... А я первый же разыскал... Хо-хо-хо!..

Он самодовольно рассмеялся.

— Ишь ты!.. Много отрядов вас разослано, сказываешь... Так, слышь, торопиться надо. Ночь да еще метель расходилась... Ишь, воеет! Скоро не дойти, гляди... хоша и близко обитель, где старица с царем укрылися... Это ты верно сказывал: из обители Железно-Боровской сюды они направили путь... Думали от недругов укрыться!.. Засели за стенами святыми... Ан и до них вы добралися... Молодцы! Я, слышь, поведу вас не простой, открытою дорогою, где увидеть заране могут да упредят в обители, штобы ворота запирали, штоб к обороне изготовилися! — громко, повернув голову в сторону сына, проговорил Сусанин.— Не-ет! Мы их перетакаем! Я вас... лесными тропами поведу... путем коротким... Прямо, куды вам следует пойти! И не заметит пес единый, как будете у врат... у самых широких... и все войдете туды... што вам надо,— то и получите... И я уж свою награду тогда сыщу!..— загадочным каким-то, торжественным голосом проговорил старик.— Идем, пан капитан.

И Сусанин снова стал одеваться в дорогу, подвязал шубу, надел валенки.

— Идем!.. Идем!— тоже кутаясь в свою шубу, довольный, отозвался поляк.— Ты ж есть молодец! И не ждаем того... Мыслил, придется шум поднять... может, и так!..

Он сделал жест, как режут кинжалом.

— А ты хлоп розумный, як я бачу... И юж кеды прибудет наш царь Владислав...

— Ну, уж я тогда челом ему ударю!.. Пущай награду пожалует за верную службу за мою! Чай, встретимся мы с ним! — многозначительно проговорил старик.— Да поскорее мне Бог послал бы эту встречу!.. Где буду я, и он бы там предстал, пред троном...

— Цо говоришь?..— спросил капитан, который в это время налил и осушил еще кубок на дорогу.

— А, так... Дела свои смекаю неважные...

И негромко, быстро обратился старик к сыну, который помогал ему одеваться в путь:

— Слышал... Уразумел!.. Коня бери, гони в обитель!.. Пусть тамо оберегаются... Не этих... Эти не скоро... слышь, вовеки эти туды не попадут!

— Отец! — подавленно шепнул парень, поняв намерения старика.

— Нишкни! Убью... От Москвы скоро послы будут, слышь... звать на царство... Ты скажи... Ну, буде!.. Остальное сам вернусь — доправлю! — громко заговорил Сусанин, надевая шапку.— Готов я, капитан... Вот, лишь сына... сын хворый у меня тут... С им попрощаюсь...

Неторопливо подошел он к пологу, за которым старуха и дочь стояли, оцепенелые от ужаса. Они тоже почуяли, на что решился старик.

Обняв поочередно жену и дочь, он им шепнул:

— Храни вас Господы! Лихом не поминайте!.. Старуха, ты... Нет, апосля доскажу... не то еще реветь да причитать почнешь не в час!.. Ну, слышь, доченька, покорна перед маткою будь, когда... Да нет, не то... А он... в жару... без памяти, сердешный Ванятка мой! — глядя на больного, проговорил старик.— Он и не чует... и не видит он... И — лучше так!

Склонясь над больным, долгим поцелуем, словно с мертвым, простился с ним отец, и две горячие слезы скатились на пылающую голову парня.

— Ну, вот и готово дело. В путь, пан полковник...

— Какой полковник... Ротмистр я покуда... А за нашу птичку, поди, и капитана дадут, ежели не пулковника... Ха-ха!.. Славный ты хлоп! Ходим!..

Быстро вышли из горницы хозяин и гость...

А мать, дочь и сын — с места не могли двинуться, обессиленные, скованные ужасом и горем.

Глава V

ЗЕМЛЯ ПРИЗВАЛА

(14 МАРТА 1613 ГОДА)

13 марта 1613 года, во время вечерни, прибыло в Кострому посольство из Москвы, отправленное от Земского собора просить на царство Михаила Романова.

Во главе стоял архиепископ Рязанский Феодорит и родич названного царя, престарелый боярин Феодор Шереметев. Авраамий Палицын, значительные иноки и другие и белое духовенство, бояре и воеводы входили в это посольство.

Иван Никитич Романов по болезни не поехал. Но Пимен Захарьин был тут и вечером же поехал в Ипатьевский монастырь с несколькими лицами и уговорил старицу Марфу принять на другой день послов.

При ликующем перезвоне всех костромских церквей торжественным крестным ходом двинулось шествие к воротам Ипатьевского монастыря, отделенного небольшою речкой от городской земли и обнесенного крепкими стенами.

Все духовенство Костромы, светские власти и поголовно почти все население города потянулось с послами молить старицу и Михаила не отвергать призыва, так как уж заранее шла упорная молва, что мать и сын не хотят согласиться на выбор, павший на Михаила.

Толпы народа, окрестные жители, приехавшие за десятки верст, стояли шумным лагерем и сгрудились у монастырских стен против Костромской дороги, едва вдали за сверкали на солнце хоругви, золотые и серебряные оклады икон, парчовое облачение духовенства и блестящее оружие, горлатные шапки и золототканые одеяния бояр, воевод, своих воинов и наемной стражи, которая сопровождала посольство. Барабаны порою били свою дробь, и она сплеталась с колокольным ликующим перезвоном, с молитвенными напевами клира...

Едва остановилось шествие у ворот, как навстречу ему вышла, вся в черном, иноческом одеянии старица Марфа, держа за руку сына, словно опасаясь отпустить его, чтобы не взяли, не увели от нее единственную радость жизни.

Поклоны отдали оба иконам, подошли под благословение к Феодориту и стали в ожидании.

Челом ударили все миряне и юному царю, и матери его.

— Каковы в своем здоровье есте царь-государь, Михаил Феодорович, и матушка ты, государыня, старица великая, Марфа Ивановна!.. — обычную речь повел Шереметев.

— И штой-то... И как это! — вдруг, почти гневно, со слезами в голосе заговорила старица. — По какой такой причине... Можете ли сына так величать, коли он не поволит вам на царство... Коли я разрешения на то не дала!.. И слышать не хочу... И не желаю!.. — все громче истерично подымала голос старуха-мать, прижимая к себе сына, словно стараясь укрыть его от опасности.

Слезы так и хлынули из ее глаз.

Дрожал весь и Михаил и неожиданно, словно не владея собой, тоже громко обратился к Шереметеву, к Феодориту, ко всем:

— Што за причина!.. Не зовите меня царем! Не хочу... И не стану... И не хочу!..

И слезы также часто-часто покатались из широко раскрытых, испуганно глядящих темных глаз юноши.

— Мамонька, не тревожь себя. Не плачь! — уговаривал он тихо, ласково мать. — Не бойся. Не пойду я к им на царство... Не порушу твоей воли!..

Говорит... а против воли глубокая тоска и словно сожаление звучат в его решительных словах.

Как только прослышал от окружающих юноша, что его избрали царем, тысячи самых неожиданных, ярких мыслей, надежд и ожиданий закружились вихрем в уме, затрепетали в груди у юноши. Смелые планы, светлые картины счастья народного и величия родины, готовность всем помочь, всех порадовать так теснили сердце Михаилу, что он вскакивал по ночам, тихо, чтобы не разбудить старуху-мать, опускался на пол перед божницей, где неугасимая лампада трепетно озаряла лики святых... И, обливаясь слезами, жарко, целыми часами молился юноша, давал обеты, просил у Бога просветления и сил на такое великое дело, какое сулила ему судьба...

Мать молчала первое время. Но когда пришли верные вести, что посольство уже снаряжено из Москвы, она опять напомнила сыну все свои прежние речи о судьбе царей, рисовала ему положение царства в эту смутную, грозную пору, прямо запрещала принять избрание, и он должен был дать обещание, что откажется от власти... Он понемногу и сам стал страшиться той великой, блестящей, но трудной

доли, о которой мечтал и по ночам посылал к Небу свои горячие мольбы...

А сейчас нервный трепет, искренний испуг и волнение матери совершенно захватили, передались и впечатлительному до болезненности Михаилу, и он также резко, с такими же рыданиями твердил послам:

— Нет... нет... И оставьте... и не сказывайте мне ничего...

Выждав, пока успокоились оба, старуха и сын, кротко, но внушительно заговорил митрополит Рязанский:

— Ин добро! Как Господь вам, государям, на душу положит, тако и речете нам... Да надо ж хотя повыслушать послов земских-то... Нелеть тут при всем народе такие речи вести... и такое действие делать, показывать черни несогласие великое. Вон смутились люди и то!.. На колени пали... Руки тянут к тебе, старица великая. И к тебе, государь-батюшко... Неужли их смиренное моление отринете!.. Повыслушайте речи посольские. А уж тогда... Как Бог пошлет!..

Истощенная первым, сильным взрывом, только голову молча склонила Марфа, и все шествие, кроме народа, преследовало в монастырский собор во имя Святой Троицы, стоящий среди обители.

Здесь, после краткого молебствия, Шереметев обратился первый к Марфе. Он в сжатых словах передал ей ход дела, созыв Земского собора, его толки, первое решение, постановленное еще 7 февраля, и отправку послов на места для более широкого оповещения Земли, для лучшего осведомления о ее истинных намерениях и выборе.

— В априлии, день в двадцать первый сызнова собрался весь собор великий Земский,— закончил боярин свой доклад.— Почитай, ото всех городов главнейших подоспели послы, и те вернулись, которые по местам ездили... И бояр первосоветных вызвали из ссылки ихней... штобы никому обиды не было... штобы все прилучились к делу великому, к избранию царскому!.. Ибо и не бывало еще на Руси такова примеру доселе, штобы Русь сама себе выбирала царя... Бог ставил их... И ныне то же содеялось! Как единой грудью вся Земля нарекла Михаила Романова царем!..

— Вот слушай, старица великая! Внимай, государь-батюшко... Честь вам станут!..

И боярин дал знак дьяку огласить соборное определение об избрании на царство Михаила.

— Мать честная, старица великая! — снова обратился к ней Шереметев.— Ты видишь ли сей список! Тут целая земля руку приложила... Ужели отринет ее моления слезные твой юный сын, наш государь преславный!.. Слышь, еще до согласия до царского, а уж все города присягают ему... Зовет царя весь народ православный! Склони же слух свой! Дай нам сына на царство!..

— На царство сына дати!.. Ты бы еще попросил, боярин: «Отдай, мать, сына на смерть, на глум, на поруганье!..» Это — прямее будут речи, чем твои теперя! Я тогда скорее им поверю, пойму их... Жертва великая... Но... ежели бы Бог приказал... Он знает, што творит... Тогда бы я для Родины и сына отдала, не пожалела... для спасенья царства!.. Да теперь не то дело! Коли вам надо иметь кого на престоле,— вы и сажайте себе любого... И сводите сызнова, и заточайте, и схиму принимать их заставляйте!.. Силою, как Шуйского-царя... Живыми в гроб царей своих кладите, отпевайте! Ваша воля! А сына моего нет! Не дам, и не просите! Куды ему! Земля так замутилась! Ему ли совладать, отроку юному, с такой грозой великой!.. Из вас, бояр немолодых, разумных,— и то ни один не совладал в невзгоду великою... А вы теперь... Нет! Сын не пойдет на трон... Он сам решил! Он сам вам скажет...

— Молю, сестра о Боге! Смягчися, старица великая! — принялся Феодорит увещать старуху.— Слышь, государыня; я пред тобою кладу свою главу! Я, яко пастырь церкви,— именем Господним — прошу тебе так гордо говорити! Народ избрал себе царя по внушению Божию. Ужли тому не покоришься?! Сам Господь его назвал, не люди... «Михаилу на царстве быти!» — такой единый клич раздался на великом соборе Земском! И все присягу дали: царю избранному прямить по чести и повиноваться беспрекословно... Слышала, читали тут запись крестоцеловальную... И помогать собор тот Земский будет, не расходясь, штобы полегше царством править было отроку-царю... Глас Божий был... Упорствовать не можно! Мольбы послушай! Сирота-Земля родная перед тобою и перед государем-батюшкою нашим ныне горько плачет... Верни Земле покой, дай ей царя!.. Соизволь на царство сыну!

— Святой владыко, уж не взыщи и ты... Отец его в полоне, в неволе! Так сыну осталась я одна в охрану. Когда в Кремле сидели мы в осаде... и голодом морили нас столь страшно, што люди тамо людей же... Ох, нет... И вспоминать не могу!.. В ту пору все жены вышли из Кремля... Лишь я

одна осталася, для-ради сына!.. Не как жена, плоть слабая,— как некий крепкий муж, все вынесла... на што ни нагляделась в ту пору... И волосы тут сразу поседели у меня... Так я и дерзаю говорить здесь перед послами земскими не с робостью смиренной, как жене обычно да еще в моем сане в иноческом... Хоша и силой тоже постригали... Вы знаете... да и я тово не забыла!.. И, чтобы ево, штобы после Михаила... Нет! Сказала, нет! И он, слышь, не желает!..

— Я не хочу! — прозвучал дрожащий отклик юноши.

— Еще меня, молю, послушай, честная старица! — vystупил неожиданно Палицын.

— Ин, сказывай... толкуй уж заодно! Уста я никому не заграждаю... Да и меня не уломать вам, видит Бог!..

— Пусть слышит Он, што я по чистой правде тебе скажу... И клятву все дадут, миряне и власти духовные, што истину я поведаю... Боишься ты за сына... Разумею! Да, слышь, не пойму: чего тебе бояться надо?.. Бояр боишься... Нету прежней силы у бояр московских да княжат прегордых, што и царям указку подносили... Твоя правда! Часть в полоне томится, на Литве... А прочие... В Москве сидели все они в соборе Успенском... Жаль, не было тебя... Там Шуйский был, и Трубецкой, и Воротынский, и Голицын Андрей... Были все «цари», как в шутку их прозвали за происки... Они тянули свои жадные руки к златому венцу... Да обожглися, чу!.. И сами громко возгласили: «Царь Михаил Романов да буде на Руси!..» Уразумела! Пора ли теперь бояться их, бояр крамольных! Али они должны перед избранником всея земли, перед царем венчанным преклониться смиренно, служить ему по правде... иль — на плаху да в заточенье отправляться... Нет им выходу иного! Теперь — возьмем иное. Со Свеей — замиренье настало... Ляхи прогнаты покуль... казаки буйные... те сами первые заголосили: «Михайлу нам... алибонь — никово иного!..» Помысли же! Все власти, все бояре и до последнего смерда — служить смиренно Михаилу станут не за страх, а за совесть. А совесть — великое дело! Крепче цепей адамантовых; тверже присяги всякой держит людей в покорстве... Поняли люди, што единое спасенье им и земле: взять в цари Михаила. Он яко стяг священный, за коим идут рати народные... Он словно Божий зов, коему все веруют... Он яко солнце стал у всех в очах, и любят все его, кто любит Русь родную. Молва о нем прошла по царству из края в край... Царь Михаил успокоенье царству прине-

сет! А ты боишься бурь... Устали мы, страна покоя просит!.. Дай мир Земле, дай Михаила нам!

С громкими мольбами обступили послы Марфу и юношаря. Многие кинулись на колени, ловили, целовали края мантии старухи, полы кафтана юноши.

Бледная, подняла опущенную голову Марфа.

— Ты, отче, прав! Меня ты вразумил, старуё, неразумную!.. Челом тебе бью за слово доброе... Да, есть еще забота... Узнают ляхи, што сын — царем... Отца тогда из полону и выпускать не пожелают... Замучат его там, страдальца безвинного!..

— И, государыня, о чем толкуешь! У нас же на Московских значных людей не мало в полоне сидит же!.. И ксендзы ихние есть, и полковники... Не посмеют ляхи, своих людей жалеючи, ничего поделат с нашими послами заточенными. А мы уж и людей послали, штобы размен свершить... — успокоил Марфу Шереметев.

— Ну, ежели так... Благословенно буди имя Господне! По Всеблагого Господа хотению, по вашему усердному прошенью — волим, штобы ты, сын мой, принял сан царский, как Земля и Бог желают...

С трепетом, бледный, как стена, склонился Михаил перед матерью, и она возложила руки с благословением на шелковистые, мягкие кудри юноши.

Дрогнули стекла в стенах собора! Тихо отзываясь, зазвучали, слабо загудели колокола на звоннице от кликов восторга и радости, от приветствий царю Михаилу, которые загремели в стенах храма и вырвались наружу, подхвачены были десятками тысяч людских грудей...

2 мая 1613 года совершилось в Москве торжественное венчание Михаила в Успенском соборе.

Сначала Шереметев и другие родичи царя управляли делами царства вместе с Земским собором, который не разъехался, как это обычно бывало, выполнив свою главную задачу: избрание царя. Почти десять лет непрерывно продолжались заседания этого собора, причем только обновлялись послы земские, депутаты от городов, монастырей и сословий, составляющих свободное население царства.

Кабальные люди и хлеборобы-пахари не имели своих представителей на соборе.

Понемногу стала успокаиваться и крепнуть земля. Особенно когда вернулся на родину отец Михаила, Филарет.

14 июня 1619 года у той же Пресни-реки, за Тверскими воротами, встречал царь Михаил со всеми своими боярами и воеводами Филарета, вернувшегося из польского плена, где он томился восемь лет.

В ноги пал отцу царь, желая почтить и родителя и страдания его...

И в ноги поклонился отец сыну, как царю, помазаннику Божию, избраннику всенародному. Через несколько дней, по просьбе чинов Земского собора, патриархом Московским и всея Руси был наречен Филарет, и придано было ему звание еще более высокое. «Великим государем», наравне с сыном-царем, стали величать патриарха, который в действительности и являлся теперь истинным правителем царства. Он постарался прежде всего наладить ход внутреннего управления страной, уменьшить произвол, лихоимство и насилие новых правителей, воевод и бояр, поставленных от Михаила, которые, пользуясь неопытностью юноши, творили всякое зло, даже не считаясь с голосом и влиянием Земского собора, где умели создавать для себя заручку и защиту...

С соседними государствами тоже понемногу взаимоотношения вошли в надлежащую колею.

На семьдесят шестом году от роду умер Филарет. Но Михаилу уже было около тридцати шести лет. Он успел приучиться к порядкам и правлению царскому под руководством умного отца. Это помогло ему вынести тяжелую войну с Польшей в 1633—1634 годах, заключил с нею «вечный мир» 17 мая 1634 года у речки Поляновки...

И когда царь Михаил скончался в 1645 году, сорока девяти лет от роду, он оставил своему наследнику, шестнадцатилетнему царю Алексею, царство, усиленное намного против прежнего. Судьи творили суд без прежней «кривизны и неправды», было набрано иноземное войско, и своих стрельцов стали обучать иноземному строю. Казна не пустовала, запасов военных и всяких много было собрано за время этого царствования, особенно за последние, самые «тихие» годы, когда прочный мир повсюду оберегал границы царства лучше, чем пушки и войска...

Тишина воцарилась в Земле, а между тем она росла понемногу, ширилась и крепла...

И юный Алексей, мягкий и кроткий по природе, хотя очень живой и способный, мог жить безбурно, по своим

природным склонностям, и заслужил от народа прозвание Тишайшего царя...

Так закончился тяжелый период Смуты в русском государстве.



КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Адамант — алмаз, бриллиант.

Азям — сермяга, верхний кафтан халатного покроя.

Алебарда (лебарда) — холодное оружие, длинное копье, поперек которого укреплены топорик или секира (фр.).

Амвон — в православных церквях возвышение перед алтарем, с которого произносится проповедь, читается Евангелие.

Арапник — длинная ременная плеть, бич с пеньковым, волосяным или шелковым навоем, для хлопанья на охоте.

Арман — деталь военного снаряжения.

Бармы — драгоценные оплечья у русских князей и царей. Бармы надевали во время коронации и торжественных выходов.

Бачка — сокращенное: батюшка, отец.

Бердыш — холодное оружие, широкий длинный топорик с лезвием в виде полумесяца.

Белое духовенство — так называют не принявших постриг, как правило, женатых священнослужителей.

Бесталанный — несчастный, талан — удача, счастье.

Бирюч (бирич) — глашатай в Московской Руси, объявлявший на площадях волю князя, помощник князя по судебным и дипломатическим делам.

Вериги — тяжелые железные цепи, обручи, носимые на голом теле; форма самоистязания религиозных фанатиков.

Вершник — верховой, верхом едущий, конный.

Воевода — военачальник, правитель; начальник области.

Вязций (вящший) — большой, великий; вящие люди — знатные, санные, богатые.

Гайтан — шнурок, тесьма, на которой носят тяжелый нательный крест.

Галман — бранное слово: олух, грубиян, невежа.

Горлатный (горланий) — меховой.

Грешневик — хлебное изделие, печется из гречневой муки.

Докука — действие докучающего, просящего; сама просьба, хлопоты просителя.

Драбант — телохранитель.

Дьяк — в Московской Руси должностное лицо, ведущее дела какого-либо приказа.

Ертоул — сторожевой авангард.

Ефимки, ефимок — русское название западноевропейского серебряного иоахимсталера, из которого в начале XVII в. в России чеканились серебряные монеты.

Жолнер (жалон) — солдат, поставленный для указания линии фронта.

Забобоны — вздор, пустяки; вздорные слухи, вести.

Земщина — выделенная Иваном Грозным в управление боярам, главным образом на окраинах, часть государства, в отличие от *опричнины*.

Земский староста — чиновник с судебно-административной и полицейской властью, управлявший крестьянским населением определенного района.

Земская изба — первая ступень суда и расправы в городах и селах.

Иезуиты — члены католического монашеского ордена; иезуиты считают допустимым ради «вящей славы Божьей» любое преступление.

Казненные — здесь наказанные.

Каптанка — колымага, карета.

Келарь — инок, заведующий монастырскими припасами.

Ксэндз (ксендз) — в Польше священнослужитель в католической церкви (польск.).

Киса — мошна, карман.

Клеврет — приспешник, приверженец (старослав.).

Кляштор — обитель, монастырь (польск.).

Ковы — вредные замыслы, злоумышление, заговор.

Клейнод — войсковые регалии в казацких войсках (знамена, бунчук, трубы), символ власти (булава и ее разновидности) у польских и украинских атаманов.

Коневый — из коневой юфти — мягкой кожи, шкуры коня.

Конек — гребень кровли, стык двух скатов крыши.

Крин — цветок лилии (старослав.).

Кружало — питейный дом, кабак.

Крыжак — крестоносец, воин крестовых походов.

Кош — корзина.

Лайдак — ледащий человек, шатун, плут и деляга.

Легат — посол, нунций (лат.).

Ледащий — плохой, негодный, хилый.

Лента — древняя еврейская мелкая монета; в широком смысле — вообще денежка, грош.

Лобанчик — так называли на Руси французскую золотую монету с изображением головы; червонец.

Лютор — лютый, неистовый человек, злодей.

Маштак — очень малорослая лошаденка, лошадь-карлик; в переносном смысле — приземистый человек.

Мирянин — человек, не имеющий духовного звания.

Мишелоимец — взяточник, мшель — мзда, корысть.

Нунций — постоянный дипломатический представитель Папы Римского в государствах, с которыми Папа поддерживает дипломатические отношения.

Однорорец — государственный крестьянин.

Ока — здесь местность, пограничная с кочевой степью.

Скольничий — придворный чин в Московской Руси, сопровождал князя в путешествиях, принимал участие в переговорах с иностранными послами.

Опричина — часть государства при Иване Грозном, подчиненная дворцовому правлению, с особыми правами; противоположное земству.

Орясина — жердь, дубина, толстая хворостина.

Ослоп — жердь, дубье, колья; у ратников — палица, окованная дубина.

Паства — верующие, живущие в одном приходе и отправляющие религиозные обряды в одной церкви.

Патер — католический монах в сане священника (лат.).

Паперть — крытая площадка перед входом в церковь.

Петель — петух.

Пестун — тот, кто пестует кого-либо, заботливый воспитатель.

Пицаль — старинная пушка, заряжаемая со ствола.

Повойник — старинный головной убор русских крестьянок в виде повязки, надеваемой под платок.

Повалуша — общая спальня, холодная изба, куда вся семья уходила на ночь из топленной избы — чистой горницы.

Полночный — северный.

Полушка — старинная медная монета достоинством в четверть копейки.

Поставец — род небольшого шкафа с полками.

Потентант — властелин, властитель (лат.).

Пошевни — широкие сани, обшитые изнутри лубом.

Призирать (призрить, призреть) — дать приют и пропитание.

Приказные люди — мелкие чиновники, канцелярские служащие.

Прилыгать — прихвастнуть, мешать выдумку с правдой.

Примас — титул главного епископа в католической церкви, а также лицо, носящее этот титул.

Приказ — учреждение, ведавшее отдельной отраслью государственного управления в Московской Руси с XVI в.

Пристав — должностное лицо, приставленное к кому-либо для наблюдения, надзора.

Протор, протори — издержки, расходы.

Профос — военный парашник, убиравший в лагере все нечистоты; военные полицейские служители и полковые палачи (нем.). В русском языке переделано в прохвост.

Рака — в христианской церкви — гробница, в которой хранятся мощи святых.

Рейтар — солдат кавалерии в наемных армиях Западной Европы и в России XVII в.

Рожно — изделие из ржаной муки, ржаной печеный хлеб.

Ремство — ненависть, злоба, досада или злопамятство.

Руга — пожертвование монастырям от царей, месячина и «жалованные», случайные средства.

Свитка — верхняя длинная одежда у украинцев.

Сермяга — грубое некрашеное сукно, кафтан из него.

Сиречь (сиречи) — то есть, иными словами.

Сеунч — радостная весть, преимущественно о победе.

Скуфья — остроконечная бархатная черная или фиолетовая шапочка у православного духовенства.

Смерд — крестьянин-земледелец.

Стратиг — воитель, военачальник, вождь, воевода (лат.).

Стольник — придворный чин, должность, прислуживал царям во время торжественных трапез, сопровождал их в поездках. Позднее стольники назначались на воеводские должности.

Стряпчий — название некоторых должностных лиц. В Московской Руси — придворный, несший хозяйственные обязанности.

Столбчик — старинный документ в виде свитка.

Сугубый — здесь вдвое больший, двойной.

Схизма, схима — высшая монашеская степень, требующая по церковным правилам от посвященного в нее выполнения суровых аскетических правил.

Схизматик, схимник — монах, принявший схиму.

Сыченый — сдобренный чем-то, подслащенный.

Тарасы — бойничные щиты.

Тарханная грамота — документ, дававший особые преимущества, тархан — владелец вотчины, пользовавшийся такими преимуществами.

Тяглый — обложенный податью, повинностью, тягло — налоги и повинности.

Фузея — мушкет, ружье (фр.).

Хинский — вздорный, дурной, хинь — ахинея, вздор, чушь.

Хоботье — нижний конец молотовища, особый кривой рычаг.

Цикавый — любопытный.

Чаровница — волшебница, способная кого-либо пленить.

Чашник — придворный чин в Московской Руси, виночерпий, в чьем ведении находятся напитки.

Чекан — ручное оружие, топорик с молоточком.

Черное духовенство — монашествующее духовенство, в отличие от белого духовенства.

Чеботы — мужская и женская обувь, высокий башмак с острыми, кверху загнутыми носками.

Шандал — подсвечник.

Шишак — островерхий шлем.

Шпын — насмешник, шут; здесь: провокатор.

Шугай — род короткополой кофты с рукавами, отложным круглым воротником и застежкой.

Ярыжка, ярыга — в Московской Руси низший полицейский чин, служитель в приказах.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕТИЙ РИМ

Часть I. Детство царя	5
Часть II. Светлая пора	91

НАСЛЕДИЕ ГРОЗНОГО

Часть I. Дмитрий-сирота	297
Часть II. Царь из могилы	350

во дни смуты

Часть первая. Московское разорение	397
Часть вторая. Земля ополчилась	451
Часть третья. Избранник земли	522

<i>Краткий пояснительный словарь</i>	<i>566</i>
--	------------

Статья о жизни и творчестве Льва Жданова
помещена в книге «Стрелы у трона».

ГОСУДАРИ РУСИ ВЕЛИКОЙ

Литературно-художественное издание

Жданов Лев

ТРЕТИЙ РИМ

Романы

Редакторы М. М. Подзорова, Е. В. Стаднюк
Художник Б. Н. Чупрыгин

Художественный редактор Н. В. Егоров
Технический редактор Л. Б. Демьянова
Корректор М. Г. Курносенкова

ЛР № 010006
03.10.1991 г.

ИБ № 6636

Сдано в набор 12.07.94. Подписано к печати 13.02.95. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура таймс.
Печать высокая. Бумага типогр. № 2. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,43. Уч.-изд. л. 30,31.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 5243. С023.

Издательство «Современник»
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Факс 941-35-44
Тел. 941-36-69 (приобретение тиража)

Книжная фабрика № 1 Комитета РФ по печати.
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.

Многотомная серия «Государи Руси Великой» познакомит читателя с наиболее значительными произведениями исторического жанра — как широко известных авторов, так и надолго преданных забвению и теперь открываемых заново. Тысячелетняя история России, от легендарного Рюрика до последнего Романова, предстанет в разнообразии оценок и интерпретаций. Книги сопровождаются справочным аппаратом.

*В 1991—1995 годах
издательством выпущены романы:*

Дмитрия Балашова
«Младший сын», «Отречение»;

Валентина Пикуля
«Фаворит»;

Владислава Бахревского
«Тишайший»;

Валерия Язвицкого
«Иван III — государь вся Руси»;

А. К. Толстого
«Князь Серебряный»;

Антонина Ладинского
«Последний путь Владимира Мономаха»;

Алексея Толстого
«Петр Первый»;

Алексея Югова
«Ратоборцы»;

Всеволода Соловьева
«Юный император», «Касимовская невеста»,
«Капитан гренадерской роты», «Волхвы», «Великий розенкрейцер»;

Валентина Костылева
«Иван Грозный»;

Ивана Лажечникова
«Басурман», «Последний Новик», «Ледяной дом»;

Валентина Иванова
«Русь Великая»;

Михаила Волконского
«Мальтийская цепь», «Слуга императора Павла»,
«Ищите и найдете»;

Евгения Карновича
«Любовь и корона», «Самозванные дети»;

Дмитрия Мережковского
«Петр и Алексей», «Александр Первый»,
«14 декабря. Николай Первый»;

Григория Данилевского
«Мирович», «Княжна Тараканова»;

Евгения Салиаса де Турнемир
«Петербургское действо»;

Николая Гейнце
«Дочь Великого Петра»,
«Коронованный рыцарь»;

Льва Жданова
«Стрельцы у трона», «Последний фаворит»;

Сергея Бородина
«Дмитрий Донской»;

Даниила Мордовцева
«Лжедмитрий», «Державный плотник»,
«Великий раскол», «Царь и гетман»,
«Царь Петр и правительница Софья»,
«Пойманы есте Богом и великим государем»;

Рафаила Зотова
«Таинственный монах,
или Некоторые черты из жизни Петра I»;

Петра Полежаева
«Царевич Алексей Петрович»
«Фавор и опала», «Бирон и Волынский»;

Фаддея Булгарина
«Димитрий Самозванец»;

Грегора Самарова
«На троне Великого деда. Жизнь и смерть Петра III»,
«Адъютант императрицы»;

Нестора Кукольника
«Иван III, собиратель земли Русской»;

Ивана Наживина
«Глаголют стяги»;

Теодора Мундта
«Царь Павел»;

*В 1995 году издательство
предполагает выпустить романы:*

Михаила Волконского

«Тайна герцога», «Брат герцога»;

Николая Полевого

«Клятва при Гробе Господнем»;

Петра Краснова

«Цареубийцы»,
«Цесаревна», «Екатерина Великая».

